UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00276511 3

This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1963

891.79
К 75
R1
III
8396
Kogan

П. Коганъ.

Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы.

Томъ первый.

ВЫПУСКЪ I.

Николаевская эпоха Западныя. вліянія: сенъ-симонизмъ и гегеліанство. Бѣлинскій — Три главныхъ направленія въ русской литературѣ 40-хъ годовъ: офиціальная народность, славянофильство и западничество. Булгаринъ.—Хомяковъ. Кирѣевскіе. Аксаковъ. — Чаадаевъ. — Бѣлинскій — Герценъ.

Изданіе III.

Гл. Упр. военно-учебныхъ заведеній допущено для фундаментальныхъ библіотекъ военныхъ и юнкерскихъ училищъ.

Книгоиздательство „ЗАРЯ".
Москва—1911.

отвѣчаетъ и проситъ доставлять ихъ ему.

PG
3016
K51
1911
t. 1
vyp. 1

LIBRARY
NOV 1 1963
UNIVERSITY OF TORONTO

865588

Verified
3 vols.

Типографія «Общественная Польза», уг 3-й Тверской-Ямской, д. 34-35.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Въ предлагаемыхъ „Очеркахъ по исторіи русской литературы“ я держался того же плана, какъ и въ вышедшихъ раньше очеркахъ по древней и западно-европейскимъ литературамъ. Я старался дать по возможности болѣе или менѣе полные очерки жизни и литературной дѣятельности главныхъ представителей русской литературы. Но при этомъ я не упускалъ изъ вида той задачи, которая представляется мнѣ наиболѣе важной въ каждомъ историко-литературномъ обзорѣ: знакомство съ корифеями нашей литературы должно раскрыть передъ читателемъ главныя вѣхи идейнаго пути, пройденнаго русскимъ обществомъ. Не претендуя дать полную картину смѣны философскихъ и общественныхъ идей, а также художественно-литературныхъ формъ, я старался, однако, повсюду въ избранныхъ мною крупнѣйшихъ произведеніяхъ русской литературы улавливать общія идеи, которыми жило общество. Первый выпускъ посвященъ писателямъ-публицистамъ, начало дѣятельности которыхъ относится къ 30-мъ и 40-мъ годамъ истекшаго столѣтія и во главѣ которыхъ стоятъ имена Бѣлинскаго и Герцена. Во второй выпускъ перваго тома войдетъ обзоръ литературной дѣятельности писателей-художниковъ, выступившихъ на литературное поприще въ эту же николаевскую эпоху, т.-е. тѣхъ писателей, плеяду которыхъ открываютъ имена Тургенева, Гончарова и т. д. Второй томъ будетъ посвященъ новѣйшей литературѣ вплоть до нашихъ дней. Указатель источниковъ, которыми я пользовался при составленіи этой книги, приложенъ въ концѣ.

П. К.

Май 1908 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Во второмъ изданіи перваго выпуска сдѣланы незначительныя измѣненія. Главный упрекъ критики теряетъ свое значеніе вслѣдствіе выхода въ свѣтъ второго выпуска „Очерковъ". Во второмъ выпускѣ сдѣланъ обзоръ главныхъ группъ, и направленій, обозначавшихся въ „оппозиціонной Россіи" 40-хъ—60-хъ годовъ. Отсутствіе такого обзора, какъ справедливо отмѣчено критикой, было бы большимъ пробѣломъ, но мнѣ казалось, что этотъ обзоръ болѣе умѣстенъ тамъ, чѣмъ здѣсь.

П. К.

Сентябрь 1909 г.

Отдѣлъ I.

Николаевская эпоха.—Западныя вліянія: сенъ-симонизмъ и гегеліанство.—Бѣлинскій.

I.

Николаевская эпоха.—Основной принципъ правительственной системы.—Бюрократія.—Чиновничество, церковь, армія, внѣшняя политика Россіи.—Общество.—Теоретическое обоснованіе системы „офиціальной народности".—Формула: православіе, самодержавіе, народность.—Прогрессивные элементы.—Наука.—Графъ Уваровъ.—Положеніе университетовъ.—Культурная роль университетовъ: Грановскій.—Положеніе литературы.

Содержаніе и тонъ русской литературы въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX вѣка опредѣлялись прежде всего тяжелыми условіями тогдашней дѣйствительности. Другимъ важнымъ факторомъ, оказывавшимъ воздѣйствіе на развитіе нашей литературы, были вліянія, шедшія съ Запада. Роль русской дѣйствительности николаевскаго царствованія была глубоко отрицательной. Она сводн-

лась къ подавленію всякой свободной мысли. Все, что стремилось къ лучшему будущему, стояло внѣ офиціальной жизни. Всѣ усилія власти были направлены къ тому, чтобы остановить естественное развитіе русскаго общества, утвердить старыя формы жизни и отжившія представленія. Вліянія, шедшія съ Запада, сыграли двоякую роль. Они не были однородны и разбивались на двѣ главныя струи. Одна шла глубоко вразрѣзъ съ господствующей системой, и потому ея отраженіе въ литературѣ столкнулось съ внѣшними препятствіями. Это были соціальныя ученія французскихъ мыслителей, идеи Сенъ-Симона и Жоржъ-Санда, и нѣтъ ничего удивительнаго, что николаевская полиція свои главные удары направила на писателей, проводившихъ эти идеи, а самыя идеи не могли получить полнаго и всесторонняго выраженія въ русской литературѣ. Вторая струя шла изъ Германіи. Опасность нѣмецкой философіи для существующаго уклада не представлялась столь очевидной. Системы Шеллинга и Гегеля могли быть предметомъ обсужденія, такъ какъ споры объ отвлеченныхъ вопросахъ съ меньшими треніями уживались рядомъ съ николаевскимъ режимомъ. Нельзя было критиковать язвы современной дѣйствительности, но можно было говорить объ общечеловѣческихъ идеалахъ. Не позволялось выяснять антихудожественный характеръ дутыхъ патріотическихъ драмъ, но разрѣшалось углубляться въ дебри эстетики и устанавливать художественныя цѣнности вообще. Тогдашняя цензура строго карала оцѣнку дѣйствительности съ точки зрѣнія цѣлесообразности и разумности, но она не всегда мѣшала выработкѣ общихъ широкихъ воззрѣній на міръ, жизнь и искусство. Устраненная отъ жизни, русская мысль на первыхъ порахъ радостно устремилась на высоты метафизическихъ умствованій. Германская философія послужила выходомъ для жаждущаго дѣятельности ума. Если не было прак-

тическаго примѣненія для бурлившихъ силъ русскаго творческаго генія, загнаннаго въ сторону отъ живой современности, то самыя силы въ неблагопріятной обстановкѣ тѣмъ болѣе закалялись. Запрещалось вступать въ бой, но не всегда удавалось запретить запасаться оружіемъ. Вотъ почему вліяніе нѣмецкой философіи, несмотря на ея отвлеченный характеръ, не прошло безслѣдно въ исторіи русской общественности. Разъ получивъ толчокъ къ высшимъ стремленіямъ, разъ переживъ пламенный порывъ къ міровой гармоніи, наши гегеліанцы не могли уже подходить къ мрачнымъ сторонамъ окружающей жизни безъ широкихъ точекъ зрѣнія, безъ энтузіазма, зажигавшаго жажду активнаго воздѣйствія на нее. Бѣлинскій петербургскаго періода съ его нетерпѣливымъ боевымъ пыломъ не могъ бы явиться безъ его московскихъ увлеченій.

Разсмотрѣніе упомянутыхъ факторовъ должно предшествовать изученію русской литературы.

14-е декабря было знаменательнымъ днемъ въ исторіи Россіи въ двухъ отношеніяхъ. Съ него ведетъ свое начало новѣйшая исторія русскаго освободительнаго движенія. Этотъ же день послужилъ началомъ той реакціоной системы, въ которой бюрократическій строй впервые ясно и глубоко сознаъ себя. Бюрократическая система получила всестороннее теоретическое обоснованіе, вобрала въ себя всѣ стороны жизни, привела къ строгому единству и законченному порядку все разнообразіе элементовъ общественной жизни. Декабрьскій переворотъ былъ задуманъ безъ народа, и идеи декабристовъ не имѣли глубокихъ корней не только въ народныхъ массахъ, но и въ сознательной части общества. Впечатлѣніе, произведенное декабрьскими событіями, было исходнымъ пунктомъ, опредѣлившимъ задачи новаго царствованія. Бдительный надзоръ съ цѣлью помѣшать повторенію декабрьскаго возстанія,—такова была эта задача. „Покончивъ съ мятежомъ и съ тайнымъ

обществомъ, правительство, — говоритъ Шильдеръ, — увидѣло передъ собою важную задачу: устранить на будущее время всякую возможность подобнаго явленія, чтобы всегда быть въ состояніи задушить въ самомъ зародышѣ всякій умыселъ враговъ существующаго порядка. Но для достиженія подобной цѣли нельзя было по-прежнему пренебрегать настроеніемъ общественнаго мнѣнія, отнынѣ надо было знать, что затѣвается въ обществѣ, какія мысли его волнуютъ, что въ немъ говорится, о чемъ оно размышляетъ; для успѣшнаго рѣшенія подобной задачи предстояло проникнуть въ сердце и тайные людскіе помыслы". Этой задачей опредѣлялись и методы, и средства системы. „Проникнуть въ сердце и тайные помыслы" было возможно только путемъ всесторонней бюрократической опеки надъ обществомъ и сложной системы полицейскаго сыска. Никакими средствами нельзя было пренебрегать, и неудивительно, что среди другихъ средствъ бдительнаго надзора начальникъ Третьяго Отдѣленія Бенкендорфъ указывалъ на то, что „вскрытіе корреспонденціи составляетъ одно изъ средствъ тайной полиціи и притомъ самое лучшее, такъ какъ оно дѣйствуетъ постоянно и обнимаетъ всѣ пункты имперіи".

Таковъ былъ основной принципъ системы. Посмотримъ, что она сдѣлала изъ русской жизни, науки и литературы. Россія была отдана во власть безконтрольнаго чиновничества, работа живыхъ общественныхъ силъ была замѣнена работой канцелярій, гдѣ создалась своя бумажная жизнь, замѣнившая настоящую. Усилія грандіозной бюрократической машины были направлены къ поддержанію стройности и порядка въ этомъ бумажномъ царствѣ. Чиновники были отвѣтственны только передъ высшими чиновниками, интересовались больше тѣмъ, чтобы угодить начальству, чѣмъ заботиться объ интересахъ населенія. Въ эту эпоху утверждалось то бумажное отношеніе къ дѣлу,

которое въ офиціальномъ терминѣ „все обстоитъ благополучно“,—терминѣ, полномъ безсознательнаго сатирическаго яда,—нашло свое лучшее выраженіе. Въ эту эпоху отливался въ свою окончательную форму тотъ типъ чиновника, который Островскій впослѣдствіи заклеймилъ въ своемъ „Доходномъ мѣстѣ“ и идеальную противоположность котораго Грибоѣдовъ опредѣлилъ стремленіемъ „служить дѣлу, а не лицамъ“. Чиновники были послушными орудіями въ рукахъ начальства, которое третировало подчиненныхъ какъ лакеевъ, а эти послѣдніе не находили лучшаго средства возстановить свое поруганное человѣческое достоинство, какъ примѣнять подобное же обращеніе къ еще болѣе мелкимъ чиновникамъ. Извѣстный дневникъ А. В. Никитенка даетъ обильный матеріалъ для характеристики нравовъ тогдашней бюрократіи. „Что такое Мусинъ-Пушкинъ? — пишетъ Никитенко въ январѣ 1846 года о попечителѣ учебнаго округа.—Не страдаетъ ли онъ повременамъ умопомѣшательствомъ? Какъ онъ обращается съ своими подчиненными! Недавно онъ позвалъ къ себѣ нѣсколькихъ учителей гимназіи и разругалъ ихъ „болванами, дураками, пустыми головами, шутами“ и пр. И онъ таковъ со всѣми подчиненными, имѣющими въ немъ нужду, кромѣ, впрочемъ, профессоровъ университета. На-дняхъ онъ одного изъ служащихъ у него прогналъ, грозя кулаками“. Отъ людей, жившихъ и дѣйствовавшихъ въ подобной средѣ, конечно, нечего было ждать добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу. Взяточничество и вымогательства были страшнымъ бичемъ населенія, а взамѣнъ этого оно для удовлетворенія своихъ нуждъ не получало ничего, кромѣ никому не нужной безконечной бумажной переписки, характеръ которой прекрасно опредѣленъ откровеннымъ признаніемъ Фамусова „подписано—и съ плечъ долой!“ При господствѣ произвола чиновничество воспиталось въ убѣжденіи, что не оно при-

звано служить населенію, а, напротивъ, это послѣднее отдано ему въ полное распоряженіе. Никитенко такъ описываетъ генералъ-губернатора Дьякова, который „уже нѣсколько лѣтъ признанъ сумасшедшимъ, и, тѣмъ не менѣе, ему поручена важная должность генералъ-губернатора надъ тремя губерніями". Каждый день его управленія тяжело доставался населенію. „Утро онъ обыкновенно проводитъ на конюшнѣ или на голубятнѣ: онъ страстный любитель лошадей и голубей. Всегда вооруженъ плетью, которую употребляетъ для собственноручной расправы съ правымъ и виноватымъ. Одну беременную женщину онъ велѣлъ высѣчь на конюшнѣ за то, что она пришла къ его дворецкому требовать 150 рублей за хлѣбъ, забранный у нея на эту сумму для генералъ-губернаторскаго дома. Портному велѣлъ отсчитать сто ударовъ плетью за то, что именно столько рублей былъ долженъ ему за платье".

Произволъ и мертвый формализмъ царили во всѣхъ областяхъ государственнаго управленія. Церковь была частью бюрократической машины и находилась въ полномъ подчиненіи у свѣтской власти. Не было и тѣни религіозной свободы, дѣла о расколѣ трактовались какъ государственная тайна. Какъ и во всемъ, общество было устранено отъ участія въ обсужденіи важныхъ церковныхъ вопросовъ, и они рѣшались въ тайникахъ канцелярій. Русская армія была гордостью страны со времени наполеоновскихъ войнъ. Она считалась непобѣдимой, но внутри ея развивались язвы, подтачивавшія ея силы. Управляемая обычнымъ бюрократическимъ методомъ безъ участія общественнаго контроля, она подверглась общей участи, превратилась въ послушную машину безъ внутренней прочности. Хищничество и слѣпая вѣра въ силу бумажнаго воздѣйствія привели къ тому, что и здѣсь все обстояло благополучно только на бумагѣ. Въ дѣйстви-

тельности же рутина, невѣжество и отсутствіе инициативы не позволяли слѣдить за успѣхами военной техники, и крымскій разгромъ послужилъ жестокимъ урокомъ для бюрократической самонадѣянности. Во внѣшней политикѣ Россія являлась оплотомъ реакціи во всей Европѣ. Всюду, гдѣ вспыхивало революціонное движеніе, русскія войска являлись на помощь легитимизму. Именно въ эту эпоху положено было начало печальной славѣ Россіи, которая въ глазахъ передового европейскаго общества надолго осталась тормазомъ прогресса, политической свободы и научнаго изслѣдованія. Долгое время наше отечество служило пугаломъ для европейскихъ конституціонныхъ стремленій и предметомъ ненависти, которая рѣзко проявилась во время Крымской войны, когда на Россію ополчились не только враги, но и недавніе ея друзья. Обществу ничего не оставалось дѣлать при подобномъ режимѣ. Его не спрашивали, за него думали. Если, по ученію Монтескьё, гражданинъ имѣетъ право дѣлать все, чего не запрещаютъ законы, то, по принципамъ тогдашней бюрократіи, гражданамъ запрещается дѣлать все, на что не выдано соотвѣтствующаго разрѣшенія. Министръ народнаго просвѣщенія графъ Уваровъ, объясняя закрытіе „Московскаго Телеграфа", сказалъ между прочимъ о Полевомъ: „Надо было отнять у него право говорить съ публикой—это правительство всегда властно сдѣлать и притомъ *на основаніяхъ вполнѣ юридическихъ*, ибо въ правахъ русскаго гражданина нѣтъ права обращаться письменно къ публикѣ". Само собою разумѣется, что на такихъ же *юридическихъ основаніяхъ* гр. Уваровъ могъ отнять у Полевого право читать и ходить, такъ какъ подобныя привилегіи не числятся въ правахъ русскаго гражданина. Если среди высшей администраціи появлялся честный чиновникъ, это производило впечатлѣніе чуда. Когда Перовскій возсталъ противъ мошенничествъ

безъ которыхъ, „какъ безъ воздуха“, не могутъ жить купцы, это „привело всѣхъ въ восторгъ“. Впервые министръ обратилъ вниманіе на настоящія народныя нужды. „А кажется,—говоритъ Никитенко,—тутъ нѣтъ ничего необычайнаго. Это только простое выполненіе своего долга. Однако это *величайшая рѣдкость* у насъ... всѣ мѣтятъ *поверхъ* Россіи, и никто не заботится о томъ, что бѣдной Россіи ѣсть нечего, что воры-чиновники грабятъ послѣднее достояніе народа, что правды въ ней нѣтъ, и пр., и пр.“.

Такова была дѣйствительность. Въ ней было мало новаго для русскаго обывателя, который, въ сущности, всегда былъ предметомъ правительственной опеки и не былъ избалованъ вниманіемъ къ его нуждамъ. Новаго въ николаевской эпохѣ было то, что она, быть-можетъ, впервые глубоко и всесторонне сознала себя, подыскала теоретическое обоснованіе полицейско-бюрократическому режиму, создала своего рода философскую систему. 14-е декабря имѣло то значеніе, что за идеями какъ бы признана была сила, ихъ испугались. Явилось сознаніе, что съ идеями нужно бороться не однѣми только полицейскими мѣрами. Необходимо было создать что-нибудь похожее на идейную подкладку, на теоретическую предпосылку бюрократическаго произвола. И западнымъ соціальнымъ ученіямъ было противопоставлено свое доморощенное, явившееся прямолинейнымъ, наскоро состряпаннымъ обобщеніемъ существующаго порядка. Эта доморощенная политическая философія, за которой Пыпинъ утвердилъ названіе „офиціальной народности“, сохранилась до нашихъ дней на столбцахъ реакціонно-патріотическихъ органовъ. Ея основная идея заключалась въ томъ, что мертвящая бюрократическая система имѣетъ свои корни въ глубинахъ народнаго сознанія, соотвѣтствуетъ національному складу русскаго народа. Это былъ удачный оборотъ мысли, который долженъ былъ па-

рализовать разрушительное дѣйствіе шедшихъ съ Запада идей. Этимъ путемъ надѣялись сразу воздвигнуть преграду между Европой и Россіей. Нужно было сразу отдѣлить насъ отъ Запада. Такимъ образомъ николаевская эпоха не только положила начало всѣмъ тѣмъ идеямъ, которыми до сихъ поръ живетъ русская литература, она дала теоретическое оружіе и полицейскому русскому консерватизму. Застой былъ возведенъ въ идеалъ. Національный русскій характеръ былъ истолкованъ въ духѣ полной гармоніи съ стремленіями обскурантизма. „Мы, т.-е. люди XIX вѣка,— заявилъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Уваровъ, — въ затруднительномъ положеніи; мы живемъ среди бурь и волненій политическихъ. Народы измѣняютъ свой бытъ, обновляются, волнуются, идутъ впередъ. Никто здѣсь не можетъ предписывать своихъ законовъ. Но Россія еще юна, дѣвственна и не должна вкусить, по крайней мѣрѣ теперь еще, сихъ кровавыхъ тревогъ. Надобно продлить ея юность и тѣмъ временемъ воспитать ее. Вотъ моя политическая система... Мое дѣло не только блюсти за просвѣщеніемъ, но и блюсти за духомъ поколѣнія. Если мнѣ удастся отодвинуть Россію на 50 лѣтъ отъ того, что готовятъ ей теоріи, то я исполню мой долгъ и умру спокойно. Вотъ моя *теорія*".

Итакъ, „движеніе впередъ" было признано несоотвѣтствующимъ національнымъ потребностямъ русскаго народа. *Теорія*, это слово все-таки было произнесено, хотя покуда теоріей было объявлено только отрицаніе всякихъ теорій. Ея основная мысль, что Россія — особое государство, что историческіе законы, выяснившіеся изъ развитія старшихъ народовъ, для Россіи не примѣръ,—эта основная мысль чисто отрицательнаго характера обусловила и всѣ другіе принципы офиціальнаго народничества, сообщивъ имъ тоже характеръ отрицанія. Эта теорія идеализировала рус-

скій народъ не за тѣ новыя соціальныя и политическія истины, которыя онъ могъ противопоставить Западу, не за свой особый путь развитія и поступательнаго движенія. Она усматривала оригинальность русскаго народа въ отсутствіи способности къ какому бы то ни было развитію, въ его якобы органической ненависти ко всякому прогрессивному движенію, въ его косности и преданности старому политическому и общественному укладу, который представлялся застывшимъ и незыблемымъ. Здѣсь кстати замѣтить, что эта идея неподвижности была главной чертой, отличавшей офиціальное народничество отъ славянофильства, которое тоже исходило изъ противопоставленія Россіи Западу, но которое, какъ мы увидимъ, было въ значительной степени прогрессивнымъ ученіемъ, соединяло идеализацію русской старины и русскаго національнаго характера съ идеей развитія и вѣрило въ возможность поступательнаго движенія Россіи на самобытныхъ началахъ.

Что же противопоставляло офиціальное народничество Западу въ русскомъ народѣ въ качествѣ его оригинальныхъ національныхъ свойствъ? Русскій народъ въ религіозномъ отношеніи не знаетъ тѣхъ потрясеній, которыя пережило западное общество. Православіе — первый самый главный устой русскаго народа. Онъ не знаетъ сектантскаго вольнодумства и протестантскаго раціонализма. И если дѣйствительность рѣзко противорѣчила этому оптимизму офиціальной церкви, если расколъ и распространеніе сектантства являлись живымъ опроверженіемъ этого воззрѣнія, то теорія не хотѣла видѣть того, что происходило въ дѣйствительности. Она объявляла расколъ недоразумѣніемъ, результатомъ крамолы и преступной воли и не сомнѣвалась въ томъ, что полицейскими мѣрами удастся искоренить это явленіе, нарушавшее офиціальную гармонію, — вѣчная ошибка самонадѣян-

ной бюрократіи, отождествляющей себя и народъ и видящей въ нежелательныхъ для нея, но естественныхъ явленіяхъ народной жизни только проявленіе преступности.

Въ политическомъ отношеніи такимъ же незыблемымъ устоемъ являлось самодержавіе, которое понималось офиціальной народностью въ видѣ полицейско-бюрократическаго строя. И здѣсь Россія противопоставлялась Западу не какъ носительница идеи оригинальнаго политическаго строя, въ которомъ силы народа получали возможность свободно дѣйствовать и развиваться. Незыблемость самодержавнаго принципа теорія обосновывала отсутствіемъ потребностей въ народѣ, отсутствіемъ въ немъ политическаго честолюбія, общественнаго инстинкта и склонности къ управленію. Политическая оригинальность Россіи сводилась, такимъ образомъ, тоже къ политической пассивности и косности. Это свойство было положено въ основу третьяго принципа офиціальной теоріи — принципа народности. Въ сущности, этотъ третій принципъ былъ не чѣмъ инымъ, какъ сочетаніемъ двухъ первыхъ; что разумѣлось подъ нимъ, всего лучше показываетъ циркуляръ министра народнаго просвѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ отъ 27-го мая 1847 года, предписывавшій, что „русская народность въ чистотѣ своей должна выражать безусловную приверженность къ православію и самодержавію“, а „все, что выходитъ изъ этихъ предѣловъ, есть примѣсь чуждыхъ понятій, игра фантазіи или личина, подъ которою злоумышленные стараются уловить неопытность и увлечь мечтателей“. Русскому народу приписывалось благочестіе и смиреніе. Отреченіе считалось чуть ли не главной его добродѣтелью. Крѣпостное право и невѣжество провозглашались основами народной жизни. Россія отстала отъ западной науки, и въ этомъ ея счастье и оригинальность, такъ

какъ западная наука и философія подорвали авторитетъ вѣры и власти. Россія до сихъ поръ не избавилась отъ рабства, но это свойственно духу русскаго народа, такъ какъ онъ не нуждается въ личной свободѣ и не желаетъ выходить изъ патріархальнаго строя жизни, при которомъ помѣщикъ является отцомъ и покровителемъ своихъ крестьянъ. Русскому народу не предоставлено право голоса въ рѣшеніи своей участи, но онъ и не любитъ властвовать и по національному складу своему требуетъ надъ собой опеки. Словомъ, патріархальный строй мыслей и жизни, свойственный всякому народу въ извѣстную стадію его развитія, объявлялся вѣчной основой русской народности только потому, что эта стадія развитія затянулась въ Россіи позднѣе, чѣмъ въ другихъ государствахъ. Если дѣйствительность и здѣсь часто нарушала стройность теоріи, если крестьянскіе бунты, убійства помѣщиковъ и голодовки противорѣчили розовому взгляду на патріархальный бытъ, то теорія усматривала, какъ и всегда, причину не въ своемъ собственномъ несовершенствѣ, а въ частныхъ преступныхъ усиліяхъ. Когда дѣйствительность не всегда укладывалась въ рамки теоріи, когда факты говорили, что смиреніе и отреченіе — далеко не безспорныя качества русскаго народа, теорія не стремилась развиваться въ духѣ заявляющихъ о себѣ новыхъ потребностей. Она говорила, что нужно раздавить самыя потребности. Если есть недостатки, то они происходятъ не отъ несовершенства законовъ и учрежденій, а отъ неисполненія этихъ законовъ и отъ людскихъ пороковъ. Средствами къ исправленію людей должны служить усиленіе надзора, строгое воспитаніе, строгая цензура книгъ и т. д. Словомъ, подавленному и угнетенному обществу рекомендовалось уничтожить въ себѣ послѣднія стремленія къ лучшей жизни, даже самыя попытки критики.

Лучшей аргументаціей своей непогрѣшимости система считала ссылку на внѣшнее величіе и могущество Россіи. Огромное пространство ея территоріи, страхъ, внушаемый ея арміей сосѣдямъ, спокойствіе внутри страны, противопоставляемое волненіямъ на Западѣ,—все это въ глазахъ системы офиціальной народности являлось лучшимъ свидѣтельствомъ ея превосходства надъ западными державами. Мы уже видѣли, какія внутреннія язвы подтачивали государственный организмъ, готовя ему гибель, какъ непрочны были эти кажущіяся спокойствіе и могущество. Еще до Крымской войны, которая была фактическимъ пораженіемъ этой системы, болѣе проницательные враги Россіи, не обольщавшіеся ея внѣшней силой, называли ее „колоссомъ на глиняныхъ ногахъ".

Такова была офиціальная господствующая Россія. Таковъ былъ строй русской жизни и теоретическія основы, на которыя онъ опирался. Но рядомъ съ этой Россіей жила другая: критическая, оппозиціонная, подавленная и гонимая, составлявшая меньшинство, но пламенно рвавшаяся впередъ изъ этого застоя и подготовлявшая будущее. Ей почти не было мѣста въ офиціальной дѣйствительности, но она тѣмъ не менѣе чувствовалась, проявлялась и среди гоненій шла къ торжеству новыхъ идей и воззрѣній, потому что это торжество было неизбѣжно вслѣдствіе естественнаго развитія страны. Таковъ всегда ходъ борьбы между матеріальной и духовной силой. Физическое торжество первой и подавленность второй являются невѣрными показателями истиннаго соотношенія силъ борющихся сторонъ. Внутренній процессъ совершается по большей части въ направленіи, противоположномъ внѣшнему. Часто чѣмъ больше торжествуетъ грубая сила, тѣмъ шире становится область, захватываемая

потокомъ новыхъ идей. Могучая въ мѣрахъ внѣшняго воздѣйствія, матеріальная сила не въ состояніи услѣдить за движеніемъ идей, какъ бы беззастѣнчиво и прямолинейно ни дѣйствовала она. И николаевская эпоха не избѣжала этого закона. Общественная мысль зрѣла и развивалась вопреки всѣмъ усиліямъ николаевской полиціи. Чтобы понять обстановку, въ которой приходилось дѣйствовать оппозиціонной Россіи, необходимо охарактеризовать положеніе тогдашней науки и литературы. Это были два единственныхъ пути, которыми среди всеобщаго застоя двигалось дѣло русскаго прогресса.

Надзоръ за этими путями находился въ вѣдѣніи министра народнаго просвѣщенія, который былъ верховнымъ властителемъ въ дѣлѣ народнаго образованія и главою цензурнаго вѣдомства, т.-е. безконтрольнымъ властелиномъ русской литературы и печати. 21-го марта 1833 г. на постъ министра народнаго просвѣщенія былъ назначенъ Сергѣй Семеновичъ Уваровъ, взгляды котораго опредѣляются приведенной выше тирадой его. А между тѣмъ Уваровъ былъ просвѣщеннымъ человѣкомъ по сравненію со своими предшественниками Шишковымъ и Ливеномъ, и его взгляды представлялись еще слишкомъ смѣлыми по тогдашнему времени. Незадолго до своего назначенія министромъ Уваровъ въ качествѣ товарища министра былъ командированъ для осмотра московскаго университета. Въ отчетѣ, представленномъ имъ Императору Николаю, онъ указывалъ на то, что въ основѣ правильнаго образованія должны лежать „истинно-русскія охранительныя начала православія, самодержавія и народности, составляющія послѣдній якорь нашего спасенія и вѣрнѣйшій залогъ силы и величія нашего отечества“. По мнѣнію Уварова, „въ нынѣшнемъ положеніи вещей и умовъ нельзя не умножать, гдѣ только можно, число умственныхъ

плотинъ". Какъ смотрѣлъ Уваровъ на крѣпостное право, всего лучше видно изъ его мыслей, записанныхъ Погодинымъ. Онъ считаетъ, что этотъ институтъ не можетъ быть тронутъ „безъ всеобщаго потрясенія". Крѣпостное право одно осталось отъ всего, что было „прежде Петра I", и вопросъ о немъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи. И даже этотъ бюрократъ съ крѣпостническими взглядами не могъ удержаться до конца николаевскаго царствованія. Въ концѣ 40-хъ годовъ, когда началась эпоха террора въ области науки и литературы, Уваровъ оказался слишкомъ либеральнымъ. Въ началѣ 1849 г. среди другихъ мрачныхъ слуховъ распространились слухи о готовящемся закрытіи всѣхъ университетовъ. Это уже было нѣчто большее, чѣмъ уваровщина, и Уваровъ рѣшился на смѣлый шагъ. Въ „Современникѣ" появилась безъ подписи автора статья „О назначеніи русскихъ университетовъ и участіи ихъ въ общественномъ образованіи". Самъ Уваровъ былъ редакторомъ и цензоромъ статьи. Мысли, проводимыя въ ней, были ультраблагонамѣренны. Существованіе университетовъ оправдывалось тѣмъ, что „отсюда образованные, благородные юноши ежегодно исходятъ на вѣрное служеніе обожаемому Монарху". Назначеніе университетовъ опредѣлялось такъ: „разливать благотворный свѣтъ современной науки, не меркнущій въ вѣкахъ и народахъ, хранить во всей чистотѣ и богатить отечественный языкъ, органъ нашего православія и самодержавія, содѣйствовать развитію народной самобытной словесности, этого самопознанія нашего и цвѣта жизни, передавать юному поколѣнію сокровища мудрости, освященной любовью къ вѣрѣ и престолу". И эта статья показалась опасной и навлекла на Уварова неудовольствіе государя! „Комитетъ 2-апрѣля 1848 г.", учрежденный потому, что существующихъ органовъ

для пресѣченія вредныхъ идей казалось, повидимому, мало, призналъ статью объ университетахъ предосудительной, несмотря на идеи „преданности государю и любви къ Россіи". Комитетъ находилъ дерзостью тотъ фактъ, что „частное лицо принимаетъ на себя разбирать и опредѣлять тономъ законодателя сравнительную пользу учрежденій государственныхъ, каковы университеты и другія учебныя заведенія". По мнѣнію комитета, „сіи разсужденія могли бы быть представлены отъ автора на благоусмотрѣніе высшаго начальства въ видѣ скромныхъ желаній человѣка, почитающаго себя знакомымъ съ этимъ дѣломъ". На объясненіи, представленномъ Уваровымъ, императоръ Николай I положилъ резолюцію, въ которой между прочимъ было сказано: „Нахожу статью, пропущенную въ „Современникѣ", *неприличною*, ибо ни хвалить, ни бранить наши правительственныя учрежденія, *для отвѣта на пустые толки*, не согласно ни съ достоинствомъ правительства, ни съ порядкомъ у насъ, къ счастью, существующимъ. Должно *повиноваться*, а разсужденія свои держать *про себя*". Въ концѣ 1849 года графъ Уваровъ вышелъ въ отставку, уступивъ свое мѣсто Ширинскому-Шихматову, котораго тогдашніе каламбуристы называли Шахматовымъ, увѣряя, что „съ назначеніемъ его и министерству, и самому просвѣщенію въ Россіи данъ не только *шахъ*, но и *матъ*".

Нетрудно догадаться, въ какомъ положеніи находилось дѣло народнаго образованія подъ руководствомъ подобныхъ администраторовъ. Вскорѣ мы увидимъ, что переживалъ Бѣлинскій, столкнувшись въ университетѣ съ той муштрой, которая практиковалась по отношенію къ студентамъ. Уже въ концѣ александровскаго царствованія, когда правительство отъ либеральныхъ начинаній первой половины царствованія перешло къ открытой реакціи, универси-

теты подверглись гоненіямъ. Въ 1819 году знаменитый Магницкій, „членъ главнаго училищъ правленія“, произвелъ ревизію казанскаго университета, а вскорѣ въ качествѣ попечителя казанскаго округа совершилъ полный разгромъ его или, какъ тогда выражались, коренныя реформы. Во что превратились профессорскія каѳедры при Магницкомъ, всего лучше показываютъ инструкціи, которыя давались профессорамъ относительно плановъ преподаванія. „Благоразумное преподаваніе политическаго права“ должно было показать, что „правленіе монархическое есть древнѣйшее и установлено Самимъ Богомъ“. Профессоръ теоретической и опытной физики „обязанъ во все продолженіе курса своего указывать на премудрость Божію и ограниченность нашихъ чувствъ и орудій для познаній непрестанно окружающихъ насъ чудесъ“. Профессора медицинскихъ наукъ должны были предотвратить „то ослѣпленіе, которому многіе изъ знатнѣйшихъ медиковъ подверглись отъ удивленія превосходству органовъ и законовъ животнаго тѣла нашего, впадая въ гибельный матеріализмъ именно отъ того, что наиболѣе премудрость Творца открываетъ“. Наконецъ, профессору исторіи вмѣнялось въ обязанность „распоряженіями по части учебной и духовной Владимира Мономаха“ доказать, что Россія „въ истинномъ просвѣщеніи упредила многія современныя государства“. Неудивительно, что большинство профессоровъ не могло удовлетворять подобнымъ требованіямъ и было уволено Магницкимъ, а тѣ, кто остались, открывали слушателямъ своеобразныя истины въ родѣ того, что „гипотенуза въ прямоугольномъ треугольникѣ, какъ говорилъ профессоръ математики, есть символъ срѣтенія правды и мира, правосудія и любви, чрезъ ходатая Бога и человѣковъ, соединившаго горнее съ дольнимъ, небесное съ земнымъ“. При императорѣ

Николаѣ правительство обращаетъ особое вниманіе на университеты. Принимаются всякія мѣры для того, чтобы обезпечить благонамѣренное вліяніе университетовъ. Для этого прежде всего правительство стремится превратить ихъ въ спеціальные дворянскіе институты. Въ секретномъ циркулярѣ министра народнаго просвѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ указывалось на то, что „возрастающее повсюду стремленіе къ образованію“ грозитъ „поколебать порядокъ гражданскихъ сословій, возбуждая въ юныхъ умахъ порывъ къ пріобрѣтенію роскошныхъ знаній“. Были приняты мѣры къ тому, чтобы затруднить доступъ въ университеты дѣтямъ купцовъ и мѣщанъ. Надзоръ за студентами пріобрѣлъ характеръ мелочного и придирчиваго вмѣшательства въ ихъ жизнь. Студенты разсматривались не какъ взрослые люди, а какъ дѣти, требующія опеки. Даже ихъ поведеніе, манеры, прическа, „наружный образъ“ стали предметомъ надзора.

И тѣмъ не менѣе, несмотря на всѣ стѣсненія, университеты уже начали выполнять свою высокую культурную миссію. Правительство Николая I недаромъ обратило такое серьезное вниманіе на разсадники знанія. Сквозь оковы, наложенныя на нихъ желѣзной рукой, пробивалась прогрессивная мысль. Въ университетахъ сосредоточивается все лучшее въ области ума и таланта, что было тогда въ Россіи. Никакіе цензоры и жандармы не въ состояніи услѣдить за развитіемъ „вредныхъ“ идей и, по справедливому замѣчанію И. Н. Бороздина, вся послѣдующая освободительная борьба въ основныхъ ея фазисахъ тѣсно связана съ русскими университетами. Особенно крупную просвѣтительную и общественную роль сыгралъ московскій университетъ, который меньше другихъ подвергался гоненіямъ, отчасти благодаря тому, что

попечителемъ его состоялъ графъ Строгановъ, сравнительно просвѣщенный и либеральный человѣкъ. Такіе профессора, какъ Грановскій, были свѣтлымъ явленіемъ на мрачномъ фонѣ русской жизни. „Жандармы“ просмотрѣли выступленіе на сцену Кудрявцева, Соловьева, Кавелина, Пирогова и другихъ. Прямолинейный полицейскій умъ направлялъ свою силу на тѣ явленія, которыя непосредственно становились въ оппозицію царившему гнету. Тамъ, гдѣ прогрессивныя идеи облекались въ болѣе сложныя формы, борьба съ ними требовала тонкаго ума, которымъ не обладала бюрократія, и эта борьба не могла быть столь же успѣшной, удары опекающей власти не всегда были направлены противъ главныхъ позицій врага. Этимъ объясняется, почему при всѣхъ стѣсненіяхъ и преслѣдованіяхъ такіе профессора, какъ Грановскій, успѣли выполнить свою высокую культурную миссію и, по выраженію Герцена, сыграть роль „миссіонеровъ человѣческой религіи“. Въ научной работѣ, даже лишенной боевого пыла, таились идеи, подготовлявшія паденіе обскурантизма. Университеты уже въ николаевскую эпоху пріобрѣтаютъ тѣ черты, которыя впослѣдствіи они удержали въ качествѣ обычныхъ явленій, присущихъ высшей школѣ. Эти явленія—подозрительное отношеніе къ университетамъ правительства, высокій авторитетъ имени профессора не только въ качествѣ представителя науки, но и въ качествѣ общественнаго учителя, беззавѣтная самоотверженность студентовъ въ качествѣ застрѣльщиковъ, а иногда и единственныхъ жертвъ освободительной борьбы, наконецъ, тѣсная связь между университетской наукой и публицистикой,—все это превращало университеты въ главные, повременамъ единственные оазисы бѣдной русской общественности, гдѣ никогда не замирали научная мысль и соціальный инстинктъ.

Съ университетами тѣсно связано развитіе русской литературы. Положеніе этой послѣдней мало отличалось отъ положенія науки. До 1848 года дѣйствовалъ цензурный уставъ 1828 года, по которому, какъ выразился одинъ цензоръ, можно было даже и „*Отче нашъ* истолковывать якобинскимъ нарѣчіемъ“. Разрушительное дѣйствіе этого устава усиливалось практикой, которая установилась при его примѣненіи. Въ упомянутомъ уже выше докладѣ Уварова будущій министръ коснулся не только университетовъ, но и цензуры. Уваровъ высказывалъ ту мысль, что недостаточно „укротить въ журналистахъ порывъ заниматься предметами, до государственнаго управленія относящимися“. Вникнувъ „ближе въ сей предметъ“, Уваровъ убѣдился, что „вліяніе журналовъ на публику не безвредно и съ литературной стороны; развратъ нравовъ пріуготовляется развратомъ вкуса“. Этимъ опредѣлялся характеръ отношеній цензуры къ печати. Нѣтъ надобности приводить классическіе примѣры подвиговъ цензуры. Они слишкомъ хорошо извѣстны. Достаточно ограничиться небольшимъ отрывкомъ изъ дневника Никитенка, хотя и относящимся къ началу 50-хъ годовъ, но характернымъ для всей николаевской эпохи. „Дѣйствія цензуры,—говоритъ онъ,—превосходятъ всякое вѣроятіе. Чего этимъ хотятъ достигнуть? Остановить дѣятельность мысли? Но вѣдь это все равно, что велѣть рѣкѣ плыть обратно. Вотъ изъ тысячи фактовъ нѣкоторые самые свѣжіе. Цензоръ Ахматовъ остановилъ печатаніе одной ариѳметики, потому что между цифрами какой-то задачи помѣщенъ рядъ точекъ. Онъ подозрѣваетъ здѣсь какой-то умыселъ составителя ариѳметики. Цензоръ Елагинъ не пропустилъ въ одной географической статьѣ мѣста, гдѣ говорится, что въ Сибири ѣздятъ на собакахъ. Онъ мотивировалъ свое запрещеніе необходимостью,

чтобы это извѣстіе предварительно получило подтвержденіе со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ. Цензоръ Пейкеръ не пропустилъ одной метеорологической таблицы, гдѣ числа мѣсяца означены по старому и по новому стилю обыкновенно принятою формулою: $\frac{\text{по стар. стилю}}{\text{по нов. стилю}}$. Онъ потребовалъ, чтобы наверху черточки стояло *по новому* стилю, а слова *по старому* — внизу. Таблицы между тѣмъ, какъ состоящія изъ цифръ, представлены были на разсмотрѣніе уже по напечатаніи, такъ какъ нельзя было предвидѣть, чтобы онѣ могли подвергнуться запрещенію. Издателю предстояло все вновь печатать. Онъ обратился къ попечителю, и, наконецъ, тотъ, по долгомъ и глубокомъ размышленіи, насилу согласился разрѣшить, чтобы таблицы остались въ первоначальномъ видѣ".

Эта краткая выписка краснорѣчивѣе всѣхъ цензурныхъ уставовъ и циркуляровъ той эпохи. Она ярко рисуетъ практику цензурнаго дѣла. По ней нетрудно видѣть, въ какихъ тискахъ билась русская мысль. Такова была дѣйствительность николаевской эпохи. Неудивительно, что литература не сразу нашла пути къ этой дѣйствительности, огражденной всевозможными заставами отъ вторженія критики и просвѣщенной мысли. Неудивительно, что литература начала съ отвлеченныхъ умствованій и утопическихъ мечтаній. Она создавала тѣ туманные идеалы истины и практическаго дѣла, которыми издалека озаряла недоступную ей реальную жизнь. Она не могла сразу облечь эти идеалы въ тѣлесную форму, и долго въ лучшихъ умахъ и благородныхъ сердцахъ преобладалъ страстный наивный идеализмъ, не претворенный въ конкретное дѣло, горѣлъ тотъ энтузіазмъ, который разрѣшался либо увлекательнымъ паѳосомъ, либо ге-

роическимъ порывомъ. А идеи, шедшія съ Запада, давали богатую пищу для этой умственной жизни.

II.

Западныя вліянія. — Различіе историческихъ условій, вліявшихъ на развитіе общественной мысли въ Германіи и во Франціи.—Нѣмецкая метафизическая философія.—Локкъ и Юмъ.—Кантъ и его ученіе о познаніи.—Фихте.—Шеллингъ.—Гегель.—Абсолютная идея; діалектическій методъ; гегеліанство и дѣйствительность.

Въ этихъ идеяхъ нетрудно подмѣтить двѣ основныя струи. Въ одной чувствовалось біеніе соціальнаго пульса новой жизни. Другая уносила отъ земли въ потусторонній міръ, подальше отъ жизни, въ область абстрактныхъ построеній. Изъ Франціи распространялось первое теченіе, изъ Германіи шло второе. Было много причинъ, въ силу которыхъ нѣмецкая мысль долгое время уклонялась въ сторону отъ соприкосновенія съ дѣйствительной жизнью. Въ первую половину XVII столѣтія Германія представляла собою арену, гдѣ справлялъ свои кровавыя оргіи религіозный фанатизмъ. Тридцатилѣтняя война, доведшая населеніе до нищеты, голода и людоѣдства, обезцѣнившая человѣческую жизнь, превратившая цвѣтущіе города въ груды развалинъ, а лѣса и нивы — въ безплодныя пустыни, надолго остановила культурное развитіе страны. Эта война закончилась Вестфальскимъ миромъ, раздробившимъ Германію на сотни мелкихъ самостоятельныхъ полугосударствъ - полупомѣстій. Эта разрозненность политическихъ интересовъ надолго убила національную политическую и соціальную мысль

въ Германіи и вызвала горячее стремленіе найти въ общности умственныхъ интересовъ единство, котораго не было въ политической жизни. Извѣстно, какъ долго держался установленный Вестфальскимъ миромъ строй германской государственной жизни, и какъ долго не могла оправиться Германія отъ удара, нанесеннаго ей Тридцатилѣтней войной. Въ XVII столѣтіи, когда въ Англіи Локкъ создавалъ свои великія государственныя, религіозныя и педагогическія идеи, когда во Франціи рядомъ съ ложно-классической поэзіей, отражавшей блескъ расцвѣтшаго абсолютизма, раздавались уже могучіе удары общественно-сатирическаго бича въ комедіяхъ Мольера,—въ это время въ Германіи ни въ художественной литературѣ (если не считать романа Гриммельсгаузена [1]), ни въ области научной и философской мысли (если не считать одиноко стоящаго Лейбница) мы не встрѣчаемъ почти ничего, на чемъ можно было остановить внимательный взоръ. Въ первой половинѣ XVIII столѣтія, когда во Франціи уже началась подготовка политическихъ идей, приведшихъ къ революціи, въ Германіи развивались эстетическіе и философскіе споры. И, наконецъ, во второй половинѣ XVIII вѣка, когда во Франціи разразилась политическая буря, въ Германіи, гдѣ тоже наступала своя эпоха просвѣщенія, она выразилась въ преобладаніи художественныхъ и отвлеченныхъ интересовъ. Даже Шиллеръ, съ его пламеннымъ стремленіемъ къ свободѣ, получившій отъ революціи званіе французскаго гражданина за своихъ „Разбойниковъ“, относился отрицательно къ французской революціи и кончилъ свою литературную дѣятельность разрывомъ съ дѣйствительностью и культомъ искусства. Величайшій же поэтъ этой эпохи Гёте не скрывалъ своего отвращенія къ революціи. Невозмутимымъ взоромъ олимпійца

---

[1]) См. подробнѣе мои „Очерки по ист. зап.-европ. лит.“. Т. I.

смотрѣлъ онъ на волнующееся человѣчество, и въ то время, какъ во Франціи лились потоки крови за судьбы человѣческаго общества, онъ продолжалъ работать надъ своимъ Фаустомъ, мученикомъ теоретической мысли [1]). Въ 1830 году происходилъ во французской академіи знаменитый споръ между Кювье и Сентъ-Илеромъ [2]), а 2-го августа 1830 года въ Веймарѣ, гдѣ жилъ Гёте, были получены извѣстія объ іюльской революціи. „Что скажете о великомъ событіи?—обратился Гёте къ одному знакомому, пришедшему навѣстить его;—вулканическая кора прорвалась; все залито пламенемъ; это уже не разсужденіе при закрытыхъ дверяхъ".—„Страшная исторія, — отвѣтилъ пріятель,—но другого и нельзя было ожидать въ такихъ обстоятельствахъ и при такомъ министерствѣ; дѣло должно было кончиться изгнаніемъ королевской фамиліи".—„Мы не понимаемъ другъ друга,—возразилъ Гёте,—я вовсе не говорю объ этомъ народѣ; меня занимаетъ совсѣмъ другое. Я говорю о публичномъ спорѣ въ академіи между Кювье и Сентъ-Илеромъ, — о спорѣ, который имѣетъ такое великое значеніе для науки" [3]). Въ этомъ разсказѣ отразился не только Гёте, но и преобладающіе интересы интеллигентной Германіи. Для нея волнующіеся милліоны обозначались пренебрежительной кличкой „этотъ народъ", а споръ Кювье и Сентъ-Илера былъ вулканическимъ пламенемъ. Въ первой половинѣ XIX вѣка и германская и французская мысль остались вѣрны себѣ; Гегель царитъ надъ первой, Сенъ-Симонъ—надъ второй. Великій спекулятивный умъ, жадно стремящійся проникнуть въ тайны потусторонняго міра, и соціальный мечтатель съ пла-

---

[1]) См. подробнѣе тамъ же.

[2]) Подробнѣе о Кювье и Сентъ-Илерѣ см. во II т. моихъ „Очерковъ по ист. зап.-евр. лит.".

[3]) *Шаховъ*. Гёте и его время. Стр. 296—297. Изд. 3-е.

менной любовью къ землѣ, къ страждущему и угнетаемому человѣчеству,—таковы два образа, которымъ долго поклонялась русская молодежь, искавшая приложенія своимъ умственнымъ силамъ и своему благородному порыву.

Новая нѣмецкая философія ведетъ свое начало отъ Иммануила Канта (1724—1804). Мы не имѣемъ въ виду дать здѣсь очерка этой философіи. Но для пониманія литературныхъ направленій въ Россіи необходимо остановиться на ея основныхъ идеяхъ. Канту принадлежитъ самое глубокое обоснованіе такъ-называемой *критической* философіи. Задача этой философіи заключалась въ томъ, чтобы установить границы нашего познанія. До Канта мы встрѣчаемся въ Германіи съ господствомъ метафизическаго направленія. Метафизика стремилась найти рѣшеніе вопросовъ о такихъ предметахъ, которые находятся за предѣлами нашего чувственнаго опыта. Она стремилась разрѣшить вопросъ о первоначальныхъ основахъ всякаго бытія, о Богѣ, о сущности міра и т. д. Такова задача, поставленная себѣ метафизикой,—задача, которая представляетъ полную противоположность цѣли, поставленной впослѣдствіи позитивной философіей. Послѣдняя отказалась совершенно отъ познанія сверхчувственнаго, потусторонняго міра. Позитивная философія ограничила свою задачу изслѣдованіемъ вопросовъ, относящихся къ тѣмъ явленіямъ, которыя доступны нашимъ чувствамъ. Она считаетъ иной міръ недоступнымъ нашему познанію. Различіе задачъ обусловливаетъ и различіе методовъ. Метафизика для осуществленія своей цѣли пользуется главнымъ образомъ умозрѣніемъ, позитивизмъ—опытомъ и наблюденіемъ, почему методъ перваго направленія носитъ названіе спекулятивнаго, а методъ второго направленія называется эмпирическимъ. Само собою разумѣется, что ни Бога, ни сущности міра, ни другихъ предметовъ метафизики, кото-

рыхъ нельзя ни видѣть, ни слышать, ни осязать, невозможно познать путемъ опыта и наблюденія. Поэтому метафизику приходится для познанія ихъ обращаться къ своему разуму, искать внутри себя отвѣта на относящіяся къ нимъ вопросы, вѣрить, что внутри насъ уже отъ природы заложены идеи объ этихъ предметахъ. Такимъ образомъ, умозрительный методъ основанъ на убѣжденіи въ томъ, что въ человѣкѣ существуютъ прирожденныя идеи уже до всякаго опыта и наблюденія. Не касаясь спорныхъ вопросовъ о метафизическомъ направленіи, принимавшемъ въ разныя времена разные оттѣнки, необходимо, однако, замѣтить, что указанные два признака, всегда въ общемъ оставались ея преобладающими признаками. Въ окружающемъ насъ мірѣ она старалась отыскать не относительные законы, управляющіе его жизнью и доступные человѣческому научному изслѣдованію. Она стремилась найти высшее абсолютное начало, изъ котораго можно было бы сразу объяснить все разнообразіе формъ жизни этого міра, и, во-вторыхъ, она стремилась познать этотъ абсолютъ, извлекая его свойства и сущность изъ человѣческаго разума.

Неудивительно, что при такихъ задачахъ и методахъ философія часто переходила въ область фантазіи. Стоило столкнуться съ какимъ-нибудь явленіемъ, которое не поддавалось научному объясненію, и тотчасъ же для его объясненія абсолюту произвольно приписывалось новое свойство, благодаря которому явленіе становилось совершенно понятнымъ. Чтобы подтвердить фактъ существованія такого свойства, ссылались на прирожденную идею, говорящую намъ объ его существованіи. Возьмемъ, напримѣръ, такое явленіе, какъ поднятіе воды въ трубочкѣ, изъ которой выкачанъ воздухъ и которая опущена въ сосудъ съ водою. Путемъ наблюденія и опыта изслѣдователи пришли къ заключенію, что явленіе это объясняется давленіемъ

воздуха. Но для метафизика, искавшаго объясненія внутри самого себя, отводившаго опыту второстепенное значеніе, приходилось придумать какое-нибудь свойство для абсолютной силы. И явленіе объяснялось тѣмъ, что природа боится пустоты. При этомъ философія не замѣчала, что она произвольно приписывала абсолюту первое приходившее въ голову свойство человѣка. Любой пробѣлъ въ научномъ изслѣдованіи природы, исторіи и общественной жизни заполнялся легко и просто при помощи ученія о прирожденныхъ идеяхъ.

Еще до появленія главныхъ философскихъ произведеній Канта философская мысль возстала противъ фантастовъ, произвольно наполнившихъ міръ безчисленными силами. Со времени Бэкона (1561—1626) начинается исторія постепенныхъ завоеваній эмпирическаго метода. Въ своемъ сочиненіи „Novum Organon" онъ развиваетъ ту мысль, что понятія и законы, извѣстные намъ, составляются такимъ образомъ. Мы собираемъ факты, наблюдаемъ ихъ и производимъ надъ ними опыты и только тогда приходимъ къ этимъ общимъ понятіямъ и законамъ, т.-е. пріобрѣтаемъ тѣ общія знанія, которыя даютъ намъ возможность постигнуть единичное. Такимъ образомъ, уже Бэконъ этимъ индуктивнымъ методомъ наносилъ ударъ метафизической философіи, предполагавшей въ насъ отъ природы наличность того, что еще нужно было найти, т.-е. наличность этихъ общихъ знаній. Еще болѣе рѣзко расходится съ ученіемъ о прирожденныхъ идеяхъ философія другого англійскаго мыслителя, Джона Локка (1632—1704). По ученію Локка, тѣ идеи, которыя философія считаетъ врожденными, въ дѣйствительности эмпирическаго происхожденія, т.-е. получились путемъ опыта. Въ умѣ не можетъ быть ничего такого, чего раньше не было въ чувственномъ воспріятіи. Наша душа — листъ бѣлой бумаги, чистая

доска (tabula rasa), на которой можно вывести все, что угодно. Прирожденныхъ идей нѣтъ уже по одному тому соображенію, что нѣтъ ни одной идеи, которая бы признавалась всѣми. Дѣти и дикари сначала узнаютъ отдѣльные предметы, а потомъ уже пріобрѣтаютъ постепенно общія понятія, вытекающія изъ нихъ. Локкъ ставитъ своей главной задачей показать, какимъ образомъ возникаютъ идеи въ нашемъ умѣ. Процессъ этотъ, какъ извѣстно, Локкъ представляетъ такимъ образомъ. Существуетъ двоякаго рода опытъ: во-первыхъ, внѣшній опытъ или ощущеніе. Окружающее производитъ извѣстное раздраженіе на наши органы внѣшнихъ чувствъ, и мы составляемъ посредствомъ внѣшняго опыта идеи ощущенія. Внутренній опытъ или рефлексія — это внутренняя дѣятельность нашей души надъ полученными впечатлѣніями, дающая болѣе сложныя идеи, идеи рефлексіи. Само собою разумѣется, что идеи ощущенія должны возникнуть ранѣе идей рефлексіи. Это ученіе Локка имѣло важныя послѣдствія. Оно намѣчало важную задачу, именно — изслѣдованіе самой нашей познавательной способности. Вмѣсто произвольныхъ умствованій метафизики она впервые ясно формулировала принципы и критеріи объективнаго познанія.

Рядомъ съ Локкомъ въ качествѣ противника метафизическаго направленія необходимо поставить англійскаго же мыслителя Давида Юма (1711—1776), съ его философіей критическаго скептицизма. Юмъ выводитъ всѣ наши идеи изъ чувственныхъ впечатлѣній. Мы комбинируемъ эти впечатлѣнія и въ концѣ-концовъ у насъ образуются привычныя комбинаціи, подъ вліяніемъ которыхъ возникаютъ ассоціаціи. Изъ этихъ ассоціацій и состоятъ самыя сложныя наши понятія. Такимъ образомъ, эти понятія не есть нѣчто, объективно существующее внѣ насъ; они не представляютъ собою и прирожденныхъ идей. Они состоятъ

исключительно изъ упомянутыхъ ассоціацій. Словомъ, въ итогѣ Юмъ стоитъ на той же точкѣ зрѣнія, что и Локкъ: понятія получаются изъ опыта, а прирожденныхъ идей не существуетъ. Эту точку зрѣнія Юмъ примѣняетъ къ изслѣдованію понятія причинности. Оно получается въ насъ въ силу того же закона ассоціаціи. Воспринимая рядъ впечатлѣній, мы привыкаемъ группировать ихъ такимъ образомъ, что изъ двухъ явленій то, которое неизмѣнно предшествуетъ другому, мы считаемъ причиной, а второе — слѣдствіемъ. Отсюда ясно, что ко всему выходящему за предѣлы опыта понятіе причинности не можетъ быть приложено, и Юмъ своимъ скептицизмомъ являлся такимъ же врагомъ метафизики, какъ и Локкъ. Оба эти мыслителя расчистили путь критической философіи. Но, провозгласивъ опытъ единственнымъ источникомъ нашего познанія, они мало удѣлили вниманія самой познавательной способности.

Этотъ пробѣлъ и должна была пополнить философія Канта. Догматическая метафизика не отводила никакого мѣста опыту. Скептическое направленіе все выводило изъ опыта. Кантъ не примкнулъ ни къ той, ни къ другому; онъ стремится выяснить роль мышленія и опыта въ созданіи реальнаго знанія, указать, по выраженію Вундта, естественныя границы каждому изъ обоихъ источниковъ познанія. Средній путь, найденный Кантомъ, между раціоналистами и эмпириками, заключался въ слѣдующемъ. Онъ сходился съ Юмомъ въ томъ отношеніи, что признавалъ, что понятія наши могутъ прилагаться только въ области опыта. Но, съ другой стороны, онъ признавалъ, что нашему разуму свойственно нѣчто апріорное, нѣчто предшествующее опыту. Это „нѣчто“ есть апріорныя функціи нашего познанія, особая способность нашей организаціи познавать всѣ воспріятія въ опредѣленныхъ формахъ. Эти формы предшествуютъ опыту. Уже

для того, чтобы какой-нибудь опытъ сталъ возможнымъ, необходимо заранѣе имѣть способность, напримѣръ, соединять сказуемое съ подлежащимъ, причину съ слѣдствіемъ. Итакъ, вопросъ рѣшался въ концѣ-концовъ слѣдующимъ образомъ: формы познанія представляютъ собою апріорную способность нашей организаціи. Но компетенція этихъ формъ простирается только на тѣ предметы, которые даются намъ опытомъ. Т.-е. согласно съ ученіемъ эмпириковъ выходило, что мы все-таки не можемъ познать ничего лежащаго за предѣлами опыта. Но вносилась и существенная поправка: одинъ опытъ не объясняетъ всего процесса познанія. Критическая философія утверждала, что существуютъ до опыта логическія понятія, въ которыхъ мы необходимо мыслимъ сущее и безъ которыхъ мы ничего мыслить не можемъ. Но, съ другой стороны, эти потятія или, вѣрнѣе, эти доопытныя способности сами по себѣ безъ опыта не могутъ проявиться. Только въ матеріалѣ, доставляемомъ опытомъ, они получаютъ жизнь.

Что же это за апріорныя понятія? Кантъ подвергаетъ ихъ изслѣдованію. Уже наша чувственность обладаетъ такими прирожденными понятіями. Когда какой бы то ни было предметъ производитъ раздраженіе одного изъ нашихъ органовъ чувствъ, то въ этомъ актѣ все случайное дается опытомъ, все имѣющее характеръ всеобщности и необходимости является функціей познанія. Такими необходимыми формами чувственнаго созерцанія, по Канту, служатъ пространство и время. Если мы думаемъ о видѣнной нами розѣ, что ея больше нѣтъ, то одно представленіе останется,—это именно представленіе о пространственныхъ отношеніяхъ частей цвѣтка между собою и къ другимъ предметамъ, а съ другой стороны, останется въ сознаніи и соотношеніе во времени представленія о данной розѣ съ прочими существовавшими до и

послѣ представленіями. Воззрѣнія пространства и времени не могутъ сравниться ни съ какими другими воззрѣніями. Мы можемъ представить себѣ, что нѣтъ видимаго міра, нѣтъ отдѣльныхъ предметовъ, о которыхъ мы получили представленіе, но представить себѣ, что нѣтъ пространства и времени, мы не можемъ. Слѣдовательно, время и пространство всеобщи и необходимы, они принадлежатъ не внѣшнему міру, а намъ самимъ. Они — чистыя воззрѣнія, не имѣющія внѣшняго объекта. Они апріорны и доопытны. Но они не имѣютъ жизни, пока опытъ не даетъ имъ содержанія, не доставляетъ для нихъ матеріала. Такова первая ступень познанія, именно чувственное познаніе. Въ ней апріорными элементами, формами являются время и пространство, а содержаніемъ, эмпирическимъ элементомъ, служатъ впечатлѣнія нашихъ органовъ чувствъ.

Вторая ступень познанія — дѣятельность разсудка. Здѣсь тоже Кантъ различаетъ апріорный и эмпирическій элементы. Дѣятельность разсудка состоитъ прежде всего въ образованіи понятій. Видя цѣлый рядъ столовъ, мы отвлекаемъ ихъ существенные признаки и создаемъ понятіе о столѣ вообще, понятіе стола, не существующаго какъ конкретный предметъ, но такое, въ которое входятъ всѣ отдѣльные столы. Далѣе изъ понятій разсудокъ образуетъ сужденія. Цѣлый рядъ видѣнныхъ нами молній даетъ намъ возможность составить себѣ понятіе о молніи. Цѣлый рядъ испытанныхъ колебаній воздуха далъ намъ возможность составить себѣ понятіе о сотрясеніи воздуха вообще. Но почему мы знаемъ, что первая (молнія) является причиной второго (сотрясенія воздуха)? Откуда мы знаемъ, что оба эти понятія находятся другъ къ другу въ отношеніи причины и слѣдствія? Кто намъ далъ право соединить эти два образованныя нами понятія другъ съ другомъ посредствомъ понятія

„производитъ“ и сказать „молнія производитъ сотрясеніе воздуха“. Правда, мы имѣли возможность наблюдать, что второе всегда слѣдуетъ за первой. Но откуда мы знаемъ, что оно всегда и будетъ слѣдовать за ней? Ясно, что эта связь не дана намъ опытомъ. Ее надо искать въ самой познавательной способности. Эти связующія понятія Кантъ называетъ категоріями. Категоріи—такія же чистыя формы разсудка, какъ пространство и время — чистыя формы чувственности. Кантъ считаетъ, что всѣхъ категорій, принадлежащихъ разсудку, двѣнадцать, или, вѣрнѣе, четыре, изъ которыхъ каждая подраздѣляется на три второстепенныя. Иначе говоря, разсудокъ до опыта располагаетъ двѣнадцатью принципами мышленія, которыми онъ пользуется для установленія связи между понятіями, получаемыми при помощи опыта. Эти категоріи: количества (единство, множество, все), качества (положеніе, отрицаніе, ограниченіе), отношенія (субстанція, причинность, взаимодѣйствіе) и модальности (возможность и невозможность, бытіе и небытіе, необходимость и случайность). Разсудокъ не можетъ соединять понятія иначе какъ по одной изъ этихъ формулъ, но, съ другой стороны, эти формы не есть сверхъопытныя идеи, онѣ только способности разсудка, и, если бы не было опытнаго матеріала, эти способности не могли бы проявиться. Хотя Кантъ былъ врагомъ догматической метафизики, но, несомнѣнно, въ этомъ предвзятомъ дѣленіи чувствуется ея вліяніе.

Такимъ образомъ, чувственное созерцаніе, возможное благодаря присущимъ намъ понятіямъ времени и пространства, позволяетъ намъ получить чувственныя представленія и составляетъ первую ступень процесса познанія. Дѣятельность разсудка, возможная благодаря присущимъ намъ категоріямъ, позволяетъ разсудку образовывать понятія и сужденія и составляетъ вторую ступень процесса познанія. Наконецъ, третью

ступень представляютъ разумъ и идеи. Человѣческій разумъ не довольствуется сужденіями. Связавъ, напр., два понятія посредствомъ категоріи причинности, онъ продолжаетъ свою работу дальше. Выведя сужденіе, что молнія — причина сотрясенія воздуха, онъ ищетъ причины самой молніи, затѣмъ причины этой причины и т. д., пока не доходитъ до сознанія необходимости первой, абсолютной причины, для которой нѣтъ причины. Мы создаемъ такимъ образомъ идею первой причины. Такимъ же путемъ получаются и другія идеи — о душѣ, о вселенной и т. д. Эти идеи отличаются отъ продуктовъ нашей познавательной способности на двухъ первыхъ ступеняхъ ея дѣятельности, т.-е. отъ представленій, понятій и сужденій. Онѣ не обладаютъ такой точностью и ясностью, какой обладаютъ наши представленія о чувственныхъ предметахъ. Представленія и понятія соотвѣтствуютъ извѣстнымъ реальнымъ предметамъ, идеи никакимъ реальнымъ предметамъ не соотвѣтствуютъ. Онѣ являются какъ результатъ сознанія ихъ необходимости въ нашемъ разумѣ. Величайшая опасность именно въ томъ и заключается, что мы склонны вѣрить, что за каждой идеей стоитъ чувственный предметъ, подобно тому, какъ за понятіемъ стола стоитъ реальный столъ. Докантовская метафизика склонна была за идеями души, вселенной, божества предполагать существованіе реальной души, реальной вселенной и реальнаго божества, которыя могутъ быть предметомъ познанія. Въ дѣйствительности же они только постулаты, требованія нашего разума. Мы видѣли, что свойства познавательной способности—пространство, время, категоріи—приложимы только въ области эмпирическаго матеріала. А абсолютное, безусловное не можетъ быть объектомъ опыта, оно не можетъ быть матеріаломъ чувственныхъ впечатлѣній, которыя являются основами всякаго знанія. „Пока мы считаемъ эти идеи только идеями, то-есть

абсолютными и непознаваемыми, до тѣхъ поръ мы стоимъ на стезѣ истины, но какъ только начинаемъ производить попытки къ ихъ познанію, мы тотчасъ впадаемъ въ бездну заблужденій". Ошибка прежней метафизики въ томъ и заключалась, что она занималась изслѣдованіями о Богѣ и душѣ, выводила спекулятивнымъ путемъ ихъ свойства, создавала на основаніи ихъ произвольныя построенія относительно морали, религіи. Великая заслуга Канта заключается въ томъ, что онъ доказалъ безплодность человѣческихъ усилій познать абсолютное, познать идеи. Но если познать идей нельзя, то онѣ служатъ пограничными пунктами нашего познанія и указываютъ направленіе, которому долженъ слѣдовать умъ человѣка. „Идеи могутъ разсматриваться какъ цѣли, къ которымъ слѣдуетъ стремиться. Напримѣръ, нравственнаго совершенства нѣтъ на землѣ,—оно лишь идея нашего разума, а не реальный предметъ, тѣмъ не менѣе къ нему слѣдуетъ стремиться всѣми силами души". Идеи,—говоритъ Кронненбергъ,—направляютъ, по ученію Канта, всякое человѣческое стремленіе высшаго порядка какъ въ области познанія, такъ и въ сферѣ практической дѣятельности. „Идеи даютъ не то, что есть, а то, что должно быть". Такимъ образомъ Кантъ опредѣлилъ границы нашего познанія, установивъ, что оно не можетъ переходить за предѣлы опыта, обратиться на область сверхчувственнаго. Онъ разграничилъ область знанія и вѣры, устранивъ ихъ смѣшеніе и указавъ первому совершенно ясныя задачи.

Но если Кантъ установилъ, что областью познанія можетъ быть только опытъ, если чистому разуму онъ поставилъ опредѣленныя границы, то, съ другой стороны, онъ призналъ, что существуютъ извѣстные доопытные, апріорные постулаты. Существуютъ безусловные нравственные законы, извѣстныя познанія, имѣющія характеръ всеобщности и необходимости, суще-

ствуютъ до всякаго опыта. Эти нравственные законы опредѣляютъ нашу дѣятельность. Здѣсь Канту приходится согласовать возникающее противорѣчіе. Если нравственный законъ не чувствуется, какъ ярмо, и является предметомъ уваженія даже при всѣхъ отступленіяхъ отъ него, то ясно, что онъ не навязанъ намъ чужой волей, а исходитъ отъ насъ самихъ. Нравственная дѣятельность — свободная дѣятельность. Между тѣмъ критическая философія Канта, какъ мы видѣли, привела его къ выводу, что свободы въ мірѣ нѣтъ, что все совершается въ непрерывной причинной связи, все заключено въ желѣзную цѣпь необходимости. Отсюда слѣдуетъ, что свободы слѣдуетъ искать внѣ природы, въ высшей, чѣмъ она, сферѣ. Она не предметъ познанія. Человѣкъ принадлежитъ чувственному и эмпирическому міру, онъ—созданіе природы и подчиненъ, какъ все прочее, закону причинности, т.-е. не свободенъ. Но, съ другой стороны, какъ существо разумное, онъ долженъ быть свободнымъ и принадлежать къ умопостигаемому міру. Въ человѣкѣ какъ бы два характера. Его эмпирическій характеръ—результатъ необходимости. Всякая черта его, всякое душевное движеніе — неизбѣжный результатъ всего предыдущаго. Но рядомъ съ эмпирическимъ долженъ существовать другой умопостигаемый характеръ, принадлежащій къ міру свободы, которая для насъ непознаваема. Умопостигаемый характеръ является корнемъ эмпирическаго. Всякій, совершая какой-нибудь поступокъ, сознаетъ желѣзную силу необходимости, но въ то же время чувствуетъ и свою свободу, т.-е. чувствуетъ, что могъ бы поступить иначе. Лучшее доказательство этой зависимости эмпирическаго характера отъ умопостигаемаго—раскаяніе. Въ моментъ совершенія поступка онъ подчиняется естественной необходимости; въ моментъ раскаянія чувствуетъ, что въ корнѣ корней его характеръ свободенъ. Такъ старает-

ся Кантъ примирить необходимость съ свободой. Чистый разумъ человѣка оперируетъ только въ сферѣ опыта, для него свобода—идея, нѣчто непознаваемое, потому что она не соотвѣтствуетъ никакому реальному предмету. Для практическаго разума свобода является чѣмъ-то дѣйствительно существующимъ. Она—постулатъ практическаго разума. Богъ, вселенная, душа для практическаго разума—реальныя существованія, для чистаго разума они непознаваемы. Человѣкъ является какъ бы гражданиномъ двухъ міровъ—чувственнаго, или міра природы, гдѣ онъ подчиненъ необходимости, и умопостигаемаго, или міра свободы, гдѣ онъ свободенъ.

Это ученіе Канта, внесшее извѣстную ясность въ область познанія, въ то же время страдало отсутствіемъ единства міровоззрѣнія. Кантъ изгналъ изъ области познанія сверхчувственный міръ, но въ то же время не отвергъ этого міра, а, напротивъ, призналъ его первенство. Кантъ объявилъ, что къ области нашей познавательной способности относится только міръ явленій, феноменовъ, т.-е. міръ такихъ предметовъ, которые дѣйствуютъ на наши ощущенія, являются матеріаломъ опыта. Что такое вещь въ себѣ — das Ding an sich, т.-е. сущность вещей, „нуменъ", мы не можемъ познать. И, тѣмъ не менѣе, Кантъ не устранилъ этого міра нуменовъ. Онъ все-таки косвенно призналъ хотя и проблематическое существованіе этихъ сверхчувственныхъ предметовъ, призналъ ихъ воздѣйствіе на наши чувства и этимъ до извѣстной степени впалъ въ тотъ догматизмъ, которому объявилъ войну. Послѣдующая философія въ значительной степени вернулась къ докантовской метафизикѣ. Она стремится установить единство міровоззрѣнія, недостающее ученію Канта, стремится снова познать абсолютное единое начало, изъ котораго сразу объясняется все разнообразіе видимаго міра. Величайшимъ изъ преемниковъ

Канта, обрѣвшимъ это единство въ цѣльной философской системѣ, былъ І. Г. Фихте (1760—1814). Для Канта законы познанія и нормы нравственности раздѣлены рѣзкой границей. Фихте стремится уничтожить этотъ дуализмъ. По его мнѣнію, философія начинается съ того, что „*я*“ сознаю себя. Можно сомнѣваться въ реальности чего угодно. Но нельзя сомнѣваться въ реальности „*я*“. Но для того, чтобы „*я*“ могло опредѣлить себя, оно должно отличить себя отъ всего остального, потому что опредѣленіе чего бы то ни было невозможно, если не представить противоположнаго, чѣмъ оно ограничено. Нельзя мыслить *А*, если не мыслить въ то же время *не-А*, т. е. нѣчто такое, что не входитъ въ *А*. Вотъ почему и „*я*“ не можетъ дойти до сознанія себя, если не противопоставить себѣ нѣчто противоположное, „*не-я*“: всякій „субъектъ“ сознаетъ нѣчто служащее для него „объектомъ“. Такимъ образомъ, и „*я*“ и то, что мнѣ кажется внѣ меня лежащимъ міромъ, въ сущности только противопоставленія въ актѣ самосознанія. Это слѣдуетъ особенно замѣтить, потому что мы склонны это „*не-я*“ принять за особое существованіе, считать внѣшній міръ за нѣчто отдѣльное отъ нашего „*я*“, за нѣчто чуждое ему. Мы склонны забыть, что то, что намъ кажется отдѣльнымъ отъ насъ внѣшнимъ міромъ, есть, въ сущности, созданіе нашего „*я*“, созданіе, необходимое для нашего „*я*“, чтобы оно могло сознать самого себя. Внѣшній міръ не что иное, какъ нѣчто извлеченное нашимъ „*я*“ изъ себя въ актѣ самопознанія. Между тѣмъ этотъ продуктъ творческой дѣятельности духа принимаютъ за потустороннюю реальность. Внѣшній міръ, „*не-я*“, является лишь той функціей, черезъ которую „*я*“ ограничиваетъ и опредѣляетъ себя. Фихте создаетъ сложную и запутанную картину того, какъ субъектъ объективируетъ весь внѣшній міръ. Наше эмпирическое „*я*“ заставляетъ предполагать безсознательное „*я*“, абсо-

лютно свободное, сверхъ-индивидуальное. Оно и есть основа мірового бытія. Такимъ образомъ Фихте вернулся къ докантовской метафизикѣ. Онъ нашелъ въ лицѣ абсолютнаго субъекта то безусловное начало, дѣятельностью котораго объясняется весь міръ. Онъ объявилъ внѣшній міръ призракомъ и иллюзіей, принимающей видъ реальности только въ актѣ самопознанія абсолютнаго субъекта.

Въ философіи Фихте познанію природы отводилось второстепенное мѣсто. Внѣшній міръ обращался въ призракъ, въ порожденіе нашего „*я*“. Шеллингъ (1775—1854 г.), вмѣстѣ съ Фихте и Гегелемъ имѣвшій огромное вліяніе на Бѣлинскаго и его сверстниковъ, внесъ въ этомъ отношеніи существенное измѣненіе въ систему Фихте. Для послѣдняго природа была лишь средствомъ реализаціи нравственной цѣли. Но уже Фихте видѣлъ въ ней произведеніе разума, т.-е. далъ толчокъ той идеѣ, что ея жизнь представляетъ извѣстную цѣлесообразность, даетъ возможность отыскать въ ней печать этого разума. Но Фихте самъ не занялся дѣломъ изученія природы. Онъ не стремился все разнообразіе явленій подраздѣлить такимъ образомъ, чтобы природа предстала въ видѣ цѣлесообразнаго цѣлаго. Представить природу въ видѣ великой системы, возникшей изъ разума, который при помощи ея преслѣдуетъ опредѣленную цѣль, — такую задачу поставилъ предъ собою Шеллингъ въ своей натурфилософіи. Это стремленіе Шеллинга совпало съ стремленіями современнаго ему естествознанія перейти отъ изслѣдованія фактовъ и частностей къ установленію связей между различными силами природы, къ общимъ взглядамъ. Но натуралистъ и натурфилософъ не одно и то же. Первый изслѣдуетъ природу какъ данный объектъ. Онъ изслѣдуетъ ея внѣшнія явленія и не стремится проникнуть въ ея сущность, узнать намѣренія создавшаго ее разума. Для натурфилософа глав-

ная задача—отыскать именно духовное начало, внутренній субъектъ, стоящій за внѣшнимъ объектомъ. Натуралистъ пользуется эмпирическимъ методомъ, натурфилософъ можетъ отыскать сущность природы, стоящій за ней разумъ, апріорнымъ путемъ, пользуясь данными опыта только для провѣрки своихъ апріорныхъ построеній. И Шеллингъ нарисовалъ цѣльную поэтическую картину жизни природы, гдѣ наука и фантазія причудливо переплетались между собою. Онъ воспользовался и данными естествознанія. Но онъ, не задумываясь, заполнилъ поэтическими вымыслами всѣ пробѣлы, которые оставило несовершенство науки, и природа изъ собранія случайныхъ явленій и законовъ превратилась въ колоссальный одухотворенный организмъ. Всѣ отдѣльныя явленія, всѣ существа, населяющія міръ, всѣ ихъ дѣйствія перестали быть случайными обособленными элементами. Все это части единаго организма. Все это—проявленія единой міровой души, ступени единаго жизненнаго процесса. Такимъ образомъ, Шеллингъ началъ съ того же исходнаго пункта, съ котораго началъ и Фихте. У него все познаніе тоже развивается изъ абсолютнаго „*я*“. У него природа тоже не есть нѣчто существующее внѣ духа. Она возникаетъ въ духѣ. Безсознательное „*я*“ порождаетъ внѣшній міръ, какъ средство сознать себя. И когда сознаніе пробуждается, это порожденное имъ „*не-я*“ представляется сознанію какъ нѣчто извнѣ данное. И Фихте исходилъ изъ этой же мысли. Но Шеллингъ въ противоположность ему рѣшилъ показать процессъ развитія природы, какъ созданія духа, на самой конкретной дѣйствительности. И Шеллингъ самъ не замѣтилъ, какъ онъ постепенно отклонился отъ точки зрѣнія Фихте, и какъ природа изъ объекта, существующаго только въ сознаніи, постепенно превратилась въ самостоятельный объектъ, существующій внѣ сознанія, а само сознаніе стало чѣмъ-то вторич-

нымъ, проявляющимся лишь на извѣстной стадіи развитія природы. Если Фихте,—говоритъ Виндельбантъ въ своей „Исторіи философіи“—,показывалъ, какъ „*я*“ ради своей практической цѣли утверждаетъ природу въ качествѣ „*не-я*“, какъ „*я*“ становится природой, то натурфилософія преслѣдовала противоположную задачу—вывести, какъ природа становится „*я*“. Бытіе и мышленіе, субъектъ и объектъ въ догматической метафизикѣ и критической философіи играли неравноцѣнную роль. Первая считала природу независимой отъ познанія, вторая признавала ея продуктомъ познанія. Уже Фихте положилъ начало *философіи тожества*, т.-е. ученію, согласно которому бытіе и необходимые акты разума тожественны, такъ какъ ученіе Фихте въ самой природѣ видѣло не что иное, какъ одинъ изъ актовъ духа. Шеллингъ былъ истиннымъ творцомъ философіи тожества. У него ступени познанія находятся въ полномъ соотвѣтствіи съ ступенями природы, такъ какъ и познаніе и бытіе, субъектъ и объектъ, оба коренятся въ общей высшей сущности, въ абсолютномъ познаніи. Въ этомъ абсолютномъ познаніи, которое одновременно является абсолютнымъ тожествомъ, въ этомъ Разумѣ кроется источникъ всѣхъ конечныхъ вещей. Субъективное и объективное присуще всѣмъ конечнымъ вещамъ, которыя суть не что иное, какъ формы или виды обнаруженія абсолютнаго тожества. Словомъ, и Фихте, и Шеллингъ вернулись къ основной задачѣ метафизической философіи, оба стремились познать абсолютъ, причемъ для Фихте это былъ абсолютный субъектъ, для Шеллинга—абсолютное тожество, въ которомъ субъектъ и объектъ — одно.

Но Шеллингу, по справедливому замѣчанію Куно-Фишера, для довершенія своей системы оставалось рѣшить послѣдній вопросъ. Какимъ образомъ „*я*“ завершаетъ свое самопознаніе? Какимъ образомъ „*я*“,

представляющее собою абсолютное тожество, поставившее само себя, въ концѣ-концовъ можетъ созерцать себя и не только созерцать себя какъ объектъ, но также познавать себя какъ свой продуктъ, т.-е. какъ объектъ, поставленный самимъ „я". Самосозерцаніе „я", по ученію Шеллинга, можетъ завершиться только въ такомъ объектѣ, въ которомъ оно познаетъ свой собственный продуктъ и вполнѣ сознаетъ свою собственную дѣятельность. Эта задача можетъ быть рѣшена не созерцаніемъ природы, а только созерцаніемъ искусства. Отсюда тотъ культъ искусства, который имѣлъ такое огромное вліяніе на романтическую школу въ Германіи, а у насъ на Бѣлинскаго и его друзей. Творенія искусства—отраженія міровой души, единаго Разума, отъ котораго исходитъ весь міръ. Художественная дѣятельность имѣетъ творческій характеръ, она свободна и въ то же время подчинена принужденію, она сознательна и безсознательна, она имѣетъ обдуманный характеръ и въ то же время импульсивный, она создаетъ безсознательно, а формируетъ съ помощью сознанія и рефлексіи. Личность художника Шеллингъ окружаетъ особымъ ореоломъ. Поэты-художники принадлежатъ къ числу рѣдкихъ роковыхъ демоническихъ людей; ими руководитъ высшая сила, у нихъ есть рокъ. „Художникъ инстинктивно вкладываетъ въ свое произведеніе, кромѣ того, что онъ выразилъ въ немъ съ очевиднымъ намѣреніемъ, какъ бы цѣлую безконечность, которую ни одинъ конечный разсудокъ не способенъ развить вполнѣ". Художественное произведеніе заключаетъ въ себѣ выраженіе „безконечной гармоніи". Словомъ, въ художественномъ созерцаніи завершается самосозерцаніе „я", философіей искусства заканчивается шеллинговская система, носящая названіе „трансцендентальнаго идеализма". Въ своей „Syst. des transc. Ideal." Шеллингъ написалъ знаменитыя восторженныя слова въ честь

искусства, которыя стали евангеліемъ романтиковъ и эстетовъ. „Искусство есть истинный и вѣчный организмъ и въ то же время документъ философіи, постоянно и все вновь подтверждающій то, чего философія не можетъ выразить во внѣшней формѣ, именно—изображающій безсознательное въ его дѣятельности и творчествѣ и его первоначальное тожество съ сознательнымъ. Искусство есть высочайшее явленіе для философа именно потому, что оно какъ бы раскрываетъ ему Святая Святыхъ, гдѣ въ вѣчномъ и первоначальномъ единствѣ въ единомъ пламени пылаетъ то, что обособлено въ природѣ и въ исторіи и что вѣчно должно расходиться въ жизни и дѣятельности, а также въ мышленіи. Взгляды на природу, искусственно создаваемые философами, въ искусствѣ являются первоначально и естественно. Природа есть поэма, написанная первотаинственными чудесными письменами. Однако если бы загадка могла раскрыться, мы бы увидѣли въ ней *Одиссею духа,* который, чудесно обманываясь, ища себя, бѣжитъ отъ самого себя; въ самомъ дѣлѣ, смыслъ міра проглядываетъ сквозь чувственную оболочку его лишь такъ, какъ значеніе словъ — сквозь ихъ звуки, какъ страна фантазіи, составляющей предметъ нашихъ желаній, сквозь полупрозрачный туманъ“.

Если упростить и грубо формулировать эту тонкую философію искусства, она сведется къ ясной формулѣ. Послѣдняя задача познанія у него—старая задача метафизики: постигнуть первоначальныя основы бытія, постичь абсолютъ. Искусство—посредникъ между человѣкомъ и абсолютнымъ началомъ. Его задача—раскрыть тайны абсолютнаго, приподнять завѣсу вѣчной тайны. Искусство играетъ ту же роль, какую играли религія и церковь для вѣрующаго. Оно пробуждаетъ то восторженное созерцаніе, которое приводитъ человѣка въ общеніе съ божествомъ. Поэтъ — жрецъ или

пророкъ. Его посѣщаетъ то вдохновеніе, которое позволяетъ ему облекать дыханіе абсолютнаго разума въ конкретныя формы. Мы вскорѣ увидимъ, что въ своей первой крупной статьѣ „Литературныя мечтанія“ Бѣлинскій перефразируетъ вышеприведенныя слова Шеллинга, когда подводитъ итоги своему эстетическому міросозерцанію. И въ наше время, когда такой жгучій характеръ принялъ конфликтъ между символической и реалистической школой, когда снова разгорѣлся споръ о томъ, въ чемъ задача искусства: въ раскрытіи ли тайнъ потусторонняго міра или въ объясненіи явленій жизни,—и въ наше время символическая школа, преемница романтизма, въ своемъ воззрѣніи на задачи искусства стоитъ на почвѣ шеллинговской философіи.

Вліяніе этой системы было неизмѣримо. Натурфилософія не имѣла непосредственнаго значенія для естествознанія. Положительная наука не признаетъ фантазіи и апріорныхъ догадокъ. Она считаетъ истинными только выводы, добытые эмпирическимъ путемъ. Но исторія положительныхъ наукъ не разъ отмѣчала случаи, когда фантазія и поэтическое провидѣніе предвосхищали выводы точнаго знанія, и мечтатель оказывался предшественникомъ ученаго. Нетерпѣливая мысль ума, жаждущаго гармоніи и единства, умѣла создавать невѣрную, но такую заманчивую картину, что эта картина часто оставалась двигающимъ стимуломъ кропотливаго ученаго въ его колоссальномъ терпѣніи, въ его медленной эмпирической работѣ. По шатобріановскимъ „Мученикамъ“ ученому нельзя изучать исторію первыхъ вѣковъ христіанства, а по „Собору Парижской Богоматери“—Средніе вѣка. А между тѣмъ эти „Мученики“ и скоттовскій „Айвенго“ вдохновили такого историка, какъ Огюстенъ Тьерри. Изъ „Натурфилософіи“ Шеллинга естествоиспытатель не извлечетъ ни одного новаго точнаго закона, а между

тѣмъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ Шеллинга Эрстедъ открылъ электромагнетизмъ, а сколько знаменитыхъ геологовъ, физіологовъ и т. д. были послѣдователями и сотрудниками Шеллинга. Достаточно назвать Окена и Стеффенса.

Еще болѣе значительное вліяніе имѣла философская система Гегеля, который началъ съ исходной точки зрѣнія Шеллинга, былъ въ началѣ его другомъ и единомышленникомъ, а впослѣдствіи — соперникомъ и противникомъ.

Сущность философіи Гегеля сводится къ слѣдующему. То, на что смотрѣли какъ на абсолютныя противоположности и противорѣчія,—разумъ и матерію, духъ и природу, самоопредѣленіе и внѣшній детерминизмъ,—онъ стремился объединить и примирить не путемъ внѣшняго согласованія, но путемъ яснаго сознанія того единства, которое лежитъ за предѣлами ихъ различія и даетъ весь смыслъ такому различію. Если единство мысли, единство разума съ самимъ собою должно быть раскрыто во всемъ познаваемомъ мірѣ, во всѣхъ „мелочахъ природы“, во всемъ сложномъ движеніи исторіи, то это единство должно быть чѣмъ-либо бо́льшимъ, чѣмъ простое тожество, которое философія находила въ немъ. Гегель даетъ абсолютному началу новое названіе. Это Абсолютная идея или Абсолютный Разумъ. Для того, чтобы достигнуть самосознанія, этотъ Абсолютный Разумъ въ своей творческой игрѣ полагаетъ природу какъ нѣчто другое и отличное отъ себя. Природа есть, такимъ образомъ, его „инобытіе“, его относительная противоположность. Онъ полагаетъ это другое для того, чтобы вернуться къ себѣ изъ этого другого и сознать себя въ этомъ другомъ, достигая, такимъ образомъ, полноты самосознанія. Абсолютное есть нѣчто ничѣмъ неограниченное, слѣдовательно, его противоположность не можетъ стоять внѣ его, иначе она ограничивала бы его,

превратила бы абсолютное въ конечное. Противоположность абсолютнаго должна заключаться въ немъ самомъ. Истинный характеръ абсолютнаго выражается, такимъ образомъ, въ его самоотрицаніи. Полагаемое имъ самимъ противоположное есть его собственное отраженіе. Въ этомъ противоположномъ абсолютное находитъ себя и возвращается къ себѣ какъ осуществленное единство себя и другого. Міровой процессъ есть поэма абсолютнаго. Этотъ процессъ представляетъ собою постепенное самораскрытіе абсолютнаго, которое достигаетъ своей конечной ступени въ разумномъ существѣ—человѣкѣ. Человѣкъ постепенно возвышается надъ природой, познаетъ ее и себя самого и сознаетъ въ себѣ абсолютное. Такимъ образомъ, жизнь міра, исторія человѣчества, развитіе искусства и религіи,—все это образуетъ безпрерывное движеніе, которое является элементомъ вѣчнаго развитія Абсолютной Идеи. Абсолютная Идея раскрывается въ этомъ развитіи человѣчества, искусства, религіи, общества, а въ особенности философіи, въ которой человѣческій духъ познаетъ истину во всей ея полнотѣ. Такъ какъ абсолютное заключается во всемъ, то процессъ, которымъ оно возвращается къ себѣ чрезъ полагаемое имъ самимъ инобытіе и сознаетъ себя въ немъ,—этотъ процессъ есть законъ всякой дѣйствительности. „Скрытая во всемъ сила абсолютной истины, — говоритъ Вл. Соловьевъ въ своей статьѣ „Философія Гегеля“, — расторгаетъ ограниченность частныхъ опредѣленій, заставляетъ ихъ переходить одно въ другое и возвращаться къ себѣ въ болѣе истинной и свободной формѣ. Въ этомъ всепроникающемъ, всеобразующемъ движеніи весь смыслъ и вся истина существующаго — живая связь, внутренне соединяющая всѣ части физическаго и духовнаго міра между собою и съ абсолютнымъ, которое внѣ этой связи, какъ нѣчто отдѣльное, и не существуетъ вовсе“.

Если грубо выразить эту мысль, то ее можно формулировать такъ. Абсолютное приходитъ къ самопознанію путемъ извѣстнаго процесса. Наши понятія и всѣ конечныя вещи заключаютъ въ себѣ тотъ же процессъ внутренняго развитія. Въ нихъ скрыта сила абсолютной истины. Поэтому ни вещи, ни понятія нельзя разсматривать какъ независимыя обособленныя существованія, относящіяся только къ самимъ себѣ. И тѣ, и другія—части цѣлаго, стадіи въ единомъ процессѣ. Объектъ логической мысли не можетъ быть чуждымъ или внѣшнимъ по отношенію къ самой логической мысли. Сущее, какъ предметъ мысли, есть мыслимое, и только какъ мыслимое оно и можетъ быть логически познаваемо нами. Мы даже не можемъ знать другого сущаго, кромѣ мыслимаго, внѣ мысли мы не знаемъ ничего, и дѣйствительное истинное познаніе возможно лишь при условіи внутренняго единства познающаго и познаваемаго, мыслящаго и мыслимаго. Бытіе и мышленіе одно и то же. Истина присуща намъ такъ же, какъ и объектамъ, она содержитъ въ себѣ и осуществляетъ все, и намъ нужно только дать ей познавать себя въ насъ, т.-е. раскрывать свое содержаніе въ нашемъ мышленіи; содержаніе же это есть то самое, которое выражено и въ бытіи предмета. Всякій предметъ существуетъ поистинѣ только вмѣстѣ со всѣмъ, въ своей внутренней логической связи со всѣми другими; такимъ онъ и мыслится: въ его понятіи нѣтъ ничего такого, что бы не было въ его дѣйствительности, и въ его дѣйствительности нѣтъ ничего такого, чего бы не содержалось въ его понятіи.

Такимъ образомъ, абсолютное наше познаніе и конечныя вещи являются не отдѣльными элементами, а частями процесса, вѣчнаго движенія. Въ чемъ же заключается этотъ процессъ? Гегель называетъ его діалектическимъ методомъ. Всякое понятіе и всякая вещь тѣмъ самымъ фактомъ, что они опредѣлены, заклю-

частъ въ себѣ свое отрицаніе. Какое бы сужденіе ни было высказано нами,—мы, въ силу законовъ нашей логической способности, неизбѣжно приходимъ къ признанію и противоположной истины [1]). Самое опре-

---

[1]) *Бельтовъ* въ своей книгѣ „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію" приводитъ рядъ интересныхъ примѣровъ, подтверждающихъ эту мысль. Напримѣръ, въ данную минуту движущееся тѣло находится въ данной точкѣ, но въ то же время находится и внѣ ея, потому что если бы оно находилось только въ ней, оно, по крайней мѣрѣ на мгновеніе, стало бы неподвижнымъ. Словомъ, о положеніи движущагося тѣла мы дѣлаемъ два противоположныя и одинаково вѣрныя утвержденія. Всякое отвлеченное право, дойдя до своего логическаго конца, превращается въ безправіе, т.-е. въ свою собственную противоположность. „Венеціанскій купецъ" Шекспира—лучшее тому доказательство. Возьмите теперь экономическія явленія. Каковъ логическій конецъ „свободнаго соперничества"? Каждый предприниматель стремится побить своихъ соперниковъ, остаться единоличнымъ хозяиномъ рынка. И, конечно, нерѣдки случаи, когда какому-нибудь Ротшильду или Вандербильду удается счастливо осуществить это стремленіе. Но это показываетъ, что свободное соперничество ведетъ къ монополіи, т.-е. къ отрицанію соперничества, къ своей собственной противоположности. Или посмотрите, къ чему ведетъ принципъ трудовой собственности. Мнѣ принадлежитъ только то, что создано моимъ трудомъ. Это какъ нельзя болѣе справедливо. И не менѣе справедливо то, что я употребляю созданную мною вещь по своему собственному усмотрѣнію: я пользуюсь ею самъ или мѣняю ее на другую вещь, почему-либо для меня желательную. Вполнѣ справедливо, что я поступаю съ этой вымѣненной вещью опять какъ мнѣ выгоднѣе. Положимъ, я продалъ ее, а на деньги нанялъ работника, т.-е. купилъ чужую рабочую силу. Это, съ одной стороны, справедливо, такъ какъ я имѣю право располагать своею вещью какъ мнѣ выгоднѣе, съ другой—несправедливо, такъ какъ я эксплуатирую *чужой* трудъ и тѣмъ отрицаю принципъ, который лежалъ въ основѣ моего понятія о справедливости. Собственность, пріобрѣтенная моимъ собственнымъ трудомъ, родитъ мнѣ способность, созданную трудомъ другого. Словомъ, всякое понятіе, доведенное до своего логическаго конца, неизбѣжно переходитъ въ свою противоположность.

дѣленіе понятія есть уже отнесеніе его къ понятію, отрицающему его, есть уже ограниченіе его, т.-е. утвержденіе, что оно не абсолютно. Мы можемъ произнести слово *свѣтъ* только потому, что одновременно уже предполагаемъ понятіе *тьмы*. Всякое понятіе самымъ фактомъ своего существованія уже предполагаетъ существованіе противоположнаго. Поэтому логическая дѣятельность состоитъ изъ трехъ моментовъ: тезиса, антитезиса и синтеза. Всякое явленіе, развиваясь до своего логическаго конца (тезисъ), превращается въ свою противоположность (антитезисъ). Лишь за первымъ моментомъ, когда понятіе, будучи ограниченнымъ, утверждается, какъ истинное, раскрывается второй моментъ — самоотрицаніе понятія вслѣдствіе внутренняго противорѣчія между его ограниченностью и тою истиной, которую оно должно представлять. Оба понятія примиряются въ третьемъ, высшемъ, которое представляетъ третій моментъ—синтезъ. Какъ только это новое понятіе утверждается, оно неизбѣжно переходитъ въ свою противоположность и т. д. Отсюда становится яснымъ и тотъ процессъ, которымъ Абсолютная Идея приходитъ къ самосознанію. Она приходитъ къ нему тѣмъ же діалектическимъ путемъ. Уже самое понятіе абсолютнаго заключаетъ въ себѣ его противоположность, инобытіе, представляющее собою антитезисъ. Чрезъ это инобытіе абсолютное возвращается къ себѣ въ человѣческомъ духѣ, который представляетъ собою третій моментъ—синтезъ. Человѣкъ возвышается надъ природой и сознаетъ въ себѣ абсолютное. Исторія есть постепенное осуществленіе этого сознанія по тому же діалектическому методу. Историческія явленія не случайны, они—стадіи діалектическаго процесса, въ которыхъ раскрывается абсолютное. Но высшая дѣятельность—философія, потому что въ ней человѣческій духъ, являющійся синтезомъ абсолютнаго и природы, самъ находитъ высшій синтезъ своего развитія.

Гегелевская система заключала въ себѣ одно существенное противорѣчіе. Съ одной стороны, она претендовала на званіе абсолютной истины, съ другой—самая сущность діалектическаго метода заключается въ непрерывномъ движеніи, въ постоянномъ приближеніи къ абсолютному, при невозможности завершенія этого процесса. Въ самомъ дѣлѣ, ученіе Гегеля справедливо называютъ панлогизмомъ. Въ сущности, кромѣ логики, это ученіе ничего не признаетъ. Логическая мысль—начало всего. Міровой процессъ есть логическій процессъ. Но міровой процессъ еще не завершился. Абсолютнаго еще нѣтъ. „Богъ какъ самосознательное Существо становится только въ человѣкѣ и чрезъ человѣка: Онъ не есть, а только будетъ въ концѣ исторіи". Такимъ образомъ, по справедливому замѣчанію кн. С. Н. Трубецкого, панлогизмъ пришелъ къ самоотрицанію. Послѣ Гегеля произошелъ расколъ между его учениками. Образовались правая и лѣвая гегеліанскія группы. Лѣвая была склонна признать то самоотрицаніе, къ которому пришелъ панлогизмъ. Гегеліанская правая возстала противъ такого „искаженія". Она утверждала, что абсолютное совершенно и равно себѣ отъ вѣка; что логическій процессъ не не временный, а вѣчный, и что „становится" не абсолютное, а только его откровеніе, его раскрытіе во времени. Такимъ образомъ, споръ сосредоточился на значеніи „скорбной драмы временнаго бытія", по выраженію С. Н. Трубецкого, на нашей временной дѣйствительности. Является ли она перелистываніемъ вѣчнаго текста" или „представляетъ самостоятельное развитіе"? Здѣсь мы сталкиваемся съ важнымъ вопросомъ,—съ вопросомъ объ отношеніи гегеліанской философіи къ дѣйствительности. Разъ міровой процессъ есть логическій процессъ, разъ мышленіе и бытіе — одно, то каждый моментъ дѣйствительности является необходимымъ и неизбѣжнымъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ

логическимъ законамъ. Все дѣйствительное разумно, все разумное дѣйствительно. Это знаменитое положеніе Гегеля давало оружіе въ руки консерватизма и квіетизма. Борьба противъ дѣйствительности представлялась безсмысленнымъ возстаніемъ противъ абсолютнаго. Фраза Гегеля давала поводъ къ оправданію отрицательныхъ сторонъ существующей дѣйствительности. Подобное толкованіе гегелевской фразы представляется по меньшей мѣрѣ спорнымъ. Не все существующее Гегель считалъ дѣйствительностью. Дѣйствительное выше существующаго. Дѣйствительность развертывается какъ необходимость. Но, по Гегелю, необходимо далеко не только то, что существуетъ. Все существующее, въ силу скрытой въ немъ истины абсолютнаго, переходитъ въ новыя формы существующаго, и въ конечномъ счетѣ разумнымъ оказывалось только безпрерывное движеніе впередъ, постоянное крушеніе старыхъ формъ. Такъ можно было понять эту философію мнимаго примиренія съ дѣйствительностью, и недаромъ Герценъ назвалъ ее алгеброй революціи. Правда, самъ Гегель былъ скорѣе склоненъ къ толкованію своей системы въ консервативномъ духѣ. Онъ считалъ, что абсолютная истина уже найдена имъ. Онъ готовъ былъ объявить, что процессъ раскрытія абсолютнаго уже завершился въ той современности, которую онъ засталъ, и онъ провозглашаетъ Прусское королевство царствомъ разума (Vernunft-Staat). Абсолютное найдено, дальше итти некуда, для философіи закрыта возможность дальнѣйшаго развитія.

Таковы главныя философскія системы, оказавшія столь мощное вліяніе на даровитую русскую литературную молодежь 40-хъ годовъ. Въ печальную эпоху николаевскаго гнета эти системы, рисовавшія картины міровой гармоніи и порядка, должны были найти горячій откликъ въ благородныхъ умахъ, оторванныхъ отъ дѣйствительности и пламенно стремившихся къ идеалу и къ вѣчной справедливости.

III [1]).

Сенъ-Симонъ.—Его ученіе: отношеніе къ наукѣ и къ религіи, къ рабочимъ и предпринимателямъ. — Попытка примиренія религіи и науки.—Защита промышленнаго строя. — Фурье и организація фаланги. — Жоржъ-Сандъ. — Романы, въ которыхъ рѣшается семейный вопросъ: „Индіана" и „Жакъ".—Соціальные романы: „Грѣхъ г. Антуана".—Идеализація деревни.

Философскія системы германскихъ мыслителей при всемъ ихъ различіи имѣли одну общую черту. Онѣ уносили въ міръ отвлеченностей и такъ или иначе заставляли искать въ земной жизни, въ волнующемся житейскомъ океанѣ только матеріалъ къ познанію абсолютнаго. Мы видѣли уже, что особыя историческія условія послужили главной причиной развитія этихъ абстрактныхъ стремленій въ Германіи. Не таковы были историческія условія во Франціи, гдѣ революція оставила XIX вѣку сложное наслѣдство. Въ то время какъ нѣмецкіе мыслители стремились проникнуть въ тайны абсолюта, французскіе бились надъ рѣшеніемъ другой великой задачи, выдвинувшейся на первый планъ послѣ промышленнаго переворота. Революція ликвидировала феодально-католическій строй, отмѣнила привилегіи родового дворянства. Но послѣ промышленной революціи лицомъ къ лицу постепенно становились два новыхъ враждебныхъ класса: буржуазія и пролетаріатъ. Разрѣшить антагонизмъ между трудомъ и капиталомъ стало еще болѣе трудной задачей, чѣмъ рѣшеніе прежняго конфликта между привилегированнымъ дворянствомъ и третьимъ сословіемъ.

На зарѣ XIX вѣка выступаетъ геніальный мыслитель, имя котораго царитъ надъ соціальными ученіями

---

[1]) Содержаніе этой главы въ болѣе подробномъ изложеніи читатель найдетъ во II томѣ моихъ „Оч. по ист. зап.-евр. лит.". Здѣсь нельзя было не привести ее, иначе исчезла бы связь между отдѣльными главами этой книги.

XIX вѣка. Сенъ-Симонъ (1760—1825) провозглашаетъ послѣдней задачей общественнаго устройства облегченіе участи „самаго бѣднаго и самаго многочисленнаго класса общества“. Угнетенное матеріальное и духовное состояніе массъ и средства къ экономическому и умственному подъему — таковъ основной вопросъ, надъ разрѣшеніемъ котораго билось XIX столѣтіе. Религія и наука на первыхъ порахъ оспариваютъ другъ у друга право стать во главѣ этого движенія. Сенъ-Симонъ старается создать такую систему общества, которая ведетъ къ осуществленію этой задачи и въ которой церковь и наука идутъ рука-объ-руку и находятъ себѣ достойное примѣненіе.

Разсмотримъ прежде всего отношеніе Сенъ-Симона къ одному изъ этихъ факторовъ—къ наукѣ.

„Истинная конституція не можетъ быть изобрѣтена, она должна быть открыта. Истиннымъ законодателемъ является не король, не законодательныя собранія. Такимъ законодателемъ слѣдуетъ считать философа, изучающаго движеніе цивилизаціи и резюмирующаго свои наблюденія въ общественномъ законѣ, который и становится руководящимъ принципомъ законодательства“. Довольно почета Александрамъ Македонскимъ! Да здравствуютъ Архимеды! — восклицаетъ Сенъ-Симонъ. Эта мысль совпадаетъ совершенно съ научнымъ духомъ новаго времени. Только наблюденіе и опытъ могутъ служить надежными руководителями при созиданіи государственныхъ системъ и соціальнаго строя. Сенъ-Симонъ идетъ еще дальше. Естественныя науки, по его мнѣнію, должны лечь въ основу всей дѣятельности человѣчества. Психическая жизнь человѣка сводится на химическія соединенія и реакціи органическихъ элементовъ, входящихъ въ его тѣло. Въ самыхъ важныхъ вопросахъ политики рѣшенія должны быть теперь выводимы прямо изъ данныхъ естественныхъ наукъ. „Если бы физіологи и философы

согласились смѣло соединить свои усилія, они свели бы всѣ политическіе вопросы къ соображеніямъ гигіены". Такимъ образомъ, Сенъ-Симонъ является строгимъ позитивистомъ и матеріалистомъ; онъ вѣритъ только фактамъ и непосредственно вытекающимъ изъ нихъ обобщеніямъ. Онъ передаетъ руководство жизнью и обществомъ въ руки химиковъ и естествоиспытателей.

Таковъ первый принципъ его ученія. Но стоитъ углубиться въ это ученіе, и мы убѣдимся, что Сенъ-Симонъ не всегда такъ строго держится экспериментальнаго метода. Ратуя за научное изслѣдованіе, онъ, однако, недоволенъ медленной, кропотливой работой, его охватываетъ нетерпѣніе при видѣ того, что накопленіе фактовъ не сопровождается быстрыми широкими обобщеніями; онъ привѣтствуетъ поэтому нѣмецкую философію за то, что она заявила протестъ противъ „маніи наполнять кладовую дичью и никогда не садиться за столъ". Пора покинуть ползущій несмѣлый методъ a posteriori и итти по пути истинно царскаго творческаго апріорнаго метода. Итакъ, рядомъ съ строго-научнымъ методомъ Сенъ-Симонъ провозглашаетъ второй принципъ, не особенно отличающійся отъ принципа, на которомъ строились теоріи реакціонеровъ. Если необходимы и апріорныя построенія, если не всѣ выводы требуютъ предварительнаго изученія фактовъ, тогда на сцену снова должны выступить изобрѣтеніе и предсказаніе; тогда религія опять вступаетъ въ свои права, тогда снова приходится признать принципъ авторитета, нужно вѣрить на слово, не требуя доказательствъ.

Изъ этого противорѣчія Сенъ-Симонъ выходитъ слѣдующимъ образомъ. Авторитетъ необходимъ для невѣжественныхъ классовъ, для которыхъ ученые создаютъ религію. Такимъ образомъ „религія есть совокупность примѣненій общей науки, при посредствѣ которыхъ просвѣщенные люди управляютъ невѣжественными".

Въ Средніе вѣка наука была служанкой богословія, выводы обѣихъ не могли противорѣчить другъ другу и должны были совпадать. Эту гармонію возстановляетъ Сенъ-Симонъ съ той разницей, что взаимное отношеніе ея элементовъ существенно измѣнилось. Въ Средніе вѣка папа зналъ абсолютную истину благодаря откровенію. Поэтому наука не играла самостоятельной роли рядомъ съ предписаніями церкви; она только защищала и аргументировала подсказанныя церковью истины. У Сенъ-Симона, напротивъ, самая религія устанавливается при помощи науки. „Религія,—говоритъ онъ,—старѣется совершенно такъ же, какъ другія учрежденія, и такъ же, какъ они, религія по необходимости должна по прошествіи извѣстнаго времени возрождаться. Согласно этому Сенъ-Симонъ смотритъ и на роль духовенства. Если „священникамъ не остается болѣе дѣлать никакихъ открытій въ научномъ направленіи, данномъ основателемъ религіи, тогда религія становится тираннической; тогда она вызываетъ презрѣніе, а ея служители утрачиваютъ пріобрѣтенныя ими раньше богатство и вліяніе". Духовная власть должна принадлежать папѣ и духовенству, но они должны быть избраны изъ среды ученыхъ натуралистовъ. Естествоиспытатель и философъ на папскомъ престолѣ—таковъ религіозный идеалъ Сенъ-Симона.

У Сенъ-Симона трудно отыскать стройную систему, опредѣленное соціальное и политическое міросозерцаніе. Онъ оставилъ человѣчеству геніальные фрагменты, часто обрывки мыслей, а не научно провѣренную теорію. Въ своихъ построеніяхъ онъ часто въ нетерпѣніи покидалъ почву фактовъ, поднимался въ область химеръ и строилъ воздушные замки, но это не умаляетъ его великаго значенія. Какъ ни спутаны отдѣльныя части его ученія, какъ ни велико въ нихъ еще вліяніе принципа авторитета, но нельзя не видѣть,

что въ этомъ ученіи зданіе научной соціологіи обрисовывается совершенно ясно. Никакія уклоненія въ сторону не могутъ затмить основныхъ идей Сенъ-Симона, выступающихъ съ поразительною яркостью. А эти идеи заключаются въ утвержденіи, что „процессъ общественнаго развитія идетъ по неуклоннымъ законамъ, подъ давленіемъ безошибочно цѣлящихъ естественныхъ факторовъ“, что только пережитый опытъ, изученіе исторіи позволяютъ намъ опредѣлить эти законы, что прежніе пріемы исторической науки необходимо отвергнуть; „до сихъ поръ писалась только біографія власти, т.-е., онъ хочетъ сказать, исторія политическихъ перемѣнъ въ лицахъ; между тѣмъ государственныя конституціи составляютъ лишь формы, внѣшность, поверхностныя явленія исторической жизни; существо общественнаго строенія—въ распредѣленіи собственности, въ организаціи хозяйства, въ раздѣленіи классовъ“. Всѣмъ наукамъ, которыя такъ или иначе соприкасаются съ изученіемъ человѣческаго общества, Сенъ-Симонъ далъ могучій толчокъ. „Философія исторіи,—говоритъ въ своихъ *Очеркахъ* Т. Барановскій,—соціологія, политическая экономія, отчасти право въ своихъ высшихъ обобщеніяхъ и до настоящаго времени непосредственно примыкаютъ къ Сенъ-Симону“.

Великій толчокъ, данный Сенъ-Симономъ научной соціологіи, не сразу становится яснымъ благодаря его фрагментарной манерѣ изложенія, благодаря принципу авторитета и идеѣ божественнаго происхожденія общества, отъ которыхъ не свободенъ авторъ. Подобно этому и самый идеалъ общественнаго строя, нарисованный Сенъ-Симономъ, возбуждалъ немало недоразумѣній. Въ то время какъ одни считали его провозвѣстникомъ соціализма, другомъ рабочихъ, другіе видѣли въ немъ апологета правъ крупныхъ промышленниковъ и капиталистовъ.

И тѣ, и другіе могутъ извлечь изъ сочиненій Сенъ-Симона немало доводовъ въ пользу своего мнѣнія, но среди этихъ противорѣчій сенъ-симоновскаго ученія объ идеальномъ обществѣ все-же можно уловить преобладающія идеи, если принять въ расчетъ историческія условія, при которыхъ писалъ Сенъ-Симонъ.

Въ новомъ хозяйственномъ и общественномъ строѣ, который проектируетъ Сенъ-Симонъ, господствующая роль должна принадлежать работающимъ классамъ. Праздные люди должны утратить всякое значеніе. Трудъ будетъ высшею добродѣтелью въ этомъ грядущемъ обществѣ; всякія общественныя привилегіи должны быть отмѣнены; труду и способностямъ долженъ быть предоставленъ полный просторъ для развитія. Въ своей *Промышленной системѣ* Сенъ-Симонъ говоритъ, что государство должно прежде всего позаботиться объ „обезпеченіи участи пролетаріевъ, причемъ работоспособнымъ должна быть гарантирована работа, а неспособнымъ къ работѣ—содержаніе". Умирая, Сенъ-Симонъ сказалъ своимъ ученикамъ, что вся жизнь его резюмируется одною мыслью: обезпечить всѣмъ людямъ возможно большее развитіе ихъ способностей; при этомъ онъ указалъ способъ, которымъ можно достигнуть осуществленія такой задачи, а именно—организацію особой партіи рабочаго класса. Таковы мысли Сенъ-Симона, на которыя опирались его послѣдователи, справедливо видѣвшіе въ ихъ авторѣ друга рабочаго класса, защитника труда и врага эксплуатаціи.

Но можно привести другія мысли автора *Новаго христіанства*, діаметрально противоположныя изложеннымъ. Власть въ будущемъ идеальномъ обществѣ,—говоритъ Сенъ-Симонъ въ другомъ мѣстѣ,—должна принадлежать промышленникамъ и банкирамъ; они должны прогнать изъ своихъ салоновъ либеральныхъ фразеровъ и болтуновъ, соединиться съ купцами и

фабрикантами и стать господами. Сенъ-Симонъ даже подсказываетъ рабочимъ, съ какими рѣчами они должны обращаться къ предпринимателямъ: „Вы богаты, а мы бѣдны; вы работаете головою, а мы руками; изъ этого основного различія слѣдуетъ, что мы должны вамъ подчиниться“.

Для того, чтобы объяснить это противорѣчіе, необходимо принять во вниманіе, что того антагонизма труда и капитала, который развился въ позднѣйшее время, въ эпоху Сенъ-Симона во Франціи еще не существовало. Праздными людьми въ эту эпоху были не фабриканты и предприниматели, и въ основу раздѣленія общества на праздныхъ и рабочихъ Сенъ-Симонъ кладетъ другую группировку. Если Франція потеряетъ до 3,000 лучшихъ физиковъ, химиковъ, математиковъ, поэтовъ, живописцевъ, механиковъ, инженеровъ, архитекторовъ, банкировъ, негоціантовъ, земледѣльцевъ, хлопчатобумажныхъ фабрикантовъ, лучшихъ плотниковъ и т. д., то нація, утративъ цвѣтъ общества, превратится въ тѣло безъ души. Но если, сохранивъ людей таланта, Франція взамѣнъ этого потеряетъ 10,000 богатѣйшихъ землевладѣльцевъ, живущихъ по-дворянски, и тысячи кардиналовъ, маршаловъ, придворныхъ и всякихъ другихъ чиновниковъ, то отъ гибели этой безполезной части общества не получится никакого вреда для страны. Отсюда ясно, что къ числу праздныхъ людей Сенъ-Симонъ относитъ главнымъ образомъ классъ богатыхъ землевладѣльцевъ, также людей, управляющихъ устарѣлымъ государственнымъ механизмомъ, а къ числу работающихъ—всѣхъ, кто содѣйствуетъ развитію промышленнаго строя. Отсюда ясно, что Сенъ-Симонъ, свидѣтель первыхъ шаговъ индустріализма, еще раздѣляетъ вѣру въ великія блага, которыя развитіе промышленности должно принести всему человѣчеству. Онъ еще не знаетъ,—или развѣ только изрѣдка смутно пред-

чувствуетъ,—что эти блага достанутся только предпринимателямъ и тяжело лягутъ на рабочихъ. Вотъ почему онъ не отдѣляетъ интересовъ первыхъ отъ интересовъ вторыхъ и, говоря о промышленникахъ, имѣетъ въ виду одинаково и предпринимателей, и рабочихъ; приглашая отдать предпринимателямъ власть въ государствѣ, онъ не имѣетъ въ виду освятить власть эксплуататоровъ труда, какъ нерѣдко понимали его проповѣдь въ послѣдующіе періоды,—онъ хочетъ передать власть въ руки промышленнаго класса вообще, взятаго въ его цѣломъ, предприниматели же, банкиры, изобрѣтатели и ученые выдвигаются на поверхность, какъ естественные руководители и выразители интересовъ этого класса, какъ наиболѣе талантливые члены общей нераздѣльной группы, а не какъ эксплуататоры низшихъ слоевъ этой группы. Если онъ говоритъ рабочимъ: „Подчиняйтесь предпринимателямъ, потому что они богаты и образованны, а вы бѣдны и невѣжественны", то онъ хочетъ этимъ сказать: у васъ общіе съ ними интересы и задачи, но нельзя же всѣмъ быть правителями, а потому предоставьте завѣдываніе дѣлами тѣмъ, у кого больше данныхъ для плодотворнаго осуществленія этой вашей общей задачи. Если онъ называетъ просвѣтителей либеральными болтунами, а демократію и свободу — пустыми словами, то это потому, что вопросы о государственномъ строѣ кажутся ему отжившими свое время, устарѣлыми; ученіе о верховенствѣ народа, созданное вдохновителями революціи, было, по его мнѣнію, важно, какъ крайность, противопоставленная другой крайности, именно идеѣ божественной власти; но теперь политическія проблемы должны отступить на второй планъ передъ соціальными и хозяйственными; вотъ почему толки о демократіи и свободѣ совершенно безплодны и излишни при возникновеніи новыхъ задачъ, когда нужно рѣшать вопросъ о распредѣленіи ролей и обя-

занностей въ новомъ промышленномъ обществѣ. Промышленный классъ въ цѣломъ должен направлять жизнь; что же касается распредѣленія ролей и благъ въ средѣ самого этого класса, то Сенъ-Симонъ мало занимается этимъ вопросомъ; онъ еще не предвидѣлъ здѣсь раскола; онъ почти совершенно не знаетъ того, что мы въ настоящее время называемъ рабочимъ вопросомъ въ современномъ значеніи этихъ словъ; онъ думаетъ, что отношенія между рабочими и предпринимателями сами собой сложатся въ патріархальную счастливую систему; что сами собой выдвинутся „прирожденные геніи индустріи, финансовые сеньоры, вдохновляемые артистами и руководимые учеными, а подъ ихъ патронатомъ, по указанію ихъ благожелательныхъ и просвѣщенныхъ рѣшеній, организуется все трудящееся человѣчество“. Система Сенъ-Симона построена на ошибочномъ принципѣ, что интересы предпринимателей, цѣль которыхъ—увеличеніе богатствъ, совпадаютъ съ интересами всего общества, счастье котораго растетъ съ ростомъ богатствъ. Сенъ-Симонъ предполагалъ, что съ развитіемъ и укрѣпленіемъ этого новаго индустріальнаго феодализма можно будетъ установить и новую религію, которая будетъ обязательнымъ руководствомъ для всего общества.

Какъ въ наукѣ, такъ и въ своемъ соціальномъ проектѣ Сенъ-Симонъ, такимъ образомъ, не чуждъ прежнихъ авторитарныхъ представленій. Но религія духовная диктуется у него выводами науки, а религія соціальная—законами естественнаго развитія общества. Папскій престолъ долженъ занять естествоиспытатель; королемъ долженъ стать промышленникъ.

Крупные предприниматели не разъ ссылались впослѣдствіи на Сенъ-Симона въ подтвержденіе своихъ притязаній. Сенъ-Симона, который навсегда остался чуждъ интересамъ спеціально-рабочаго класса, какъ такового, и порой готовъ былъ видѣть въ Священномъ

Союзѣ осуществленіе своей системы, причисляли къ реакціонерамъ. Правда и то, что многіе его ученики изъ проповѣдниковъ всеобщаго обновленія превратились подъ конецъ въ предпринимателей, заняли хорошія мѣста, стали во главѣ крупныхъ банкирскихъ предпріятій и грандіозныхъ сооруженій и тѣмъ наглядно подтвердили, куда при извѣстномъ прямолинейномъ толкованіи вела сенъ-симонистская доктрина. Но едва ли геніальнаго утописта можно дѣлать отвѣтственнымъ за корыстную и практическую дѣятельность его учениковъ. Лучшимъ доказательствомъ того, что ученіе Сенъ-Симона имѣло не только одни эти послѣдствія, является тотъ фактъ, что ученики, глубже проникшіе въ смыслъ его обрывочно брошенныхъ мыслей, выпустили черезъ четыре года послѣ его смерти книгу *Изложеніе доктрины Сенъ-Симона*, которую Рудольфъ Зингеръ назвалъ „основной книгой современнаго соціализма“ и которая придаетъ значительную опредѣленность идеаламъ учителя. Время успѣло уже дать нѣкоторые поучительные уроки утопистамъ; они начинали теперь понимать, что хотя промышленность и увеличиваетъ общее богатство, но это благо далеко не всѣмъ выгодно. Составители *Изложенія*, во главѣ которыхъ стоялъ Базаръ, и указываютъ на этотъ фактъ. Такъ, введеніе паровыхъ машинъ содѣйствуетъ общему увеличенію богатствъ, но отъ этого не легче рабочимъ, вытѣсненнымъ машиной и остающимся безъ хлѣба. Можетъ-быть, машины и приведутъ впослѣдствіи къ дальнѣйшему росту промышленности и дадутъ больше работы нуждающимся,—напримѣръ, типографіи заняли большее количество людей, чѣмъ раньше переписка,—но пока это совершится, милліоны безработныхъ будутъ умирать съ голоду въ переходное время. „Утѣшатъ ли ихъ наши разсужденія? Потерпятъ ли они съ своей нищетой, потому что статистическія вычисленія доказываютъ, что по прошествіи извѣстнаго

В. Г. Бѣлинскій.

UNIV. OF MICH.

числа лѣтъ у нихъ будетъ хлѣбъ? Несомнѣнно, здѣсь механика ничего не понимаетъ... но соціальное предвидѣніе должно слѣдить, чтобы завоеванія индустріи не были похожи на захваты войны; погребальныя пѣсни не должны больше примѣшиваться къ пѣснямъ радости". Тѣмъ не менѣе сенъ-симонисты все-же остаются защитниками промышленнаго строя. Эксплуатація однихъ классовъ другими всегда лежала въ основѣ общественнаго строя, и хотя эксплуатація не исчезла и въ настоящее время, но она ослабѣла; крѣпостничество было шагомъ впередъ по сравненію съ рабствомъ; теперешнее положеніе рабочаго, его личная свобода и работа по найму является новымъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ ослабленія эксплуатаціи. Дальнѣйшій и послѣдній шагъ долженъ заключаться въ реорганизаціи права собственности. Въ современномъ хозяйствѣ право собственности есть, въ сущности, право получать процентъ или ренту, т.-е. доходъ, не основанный на трудѣ. Для устраненія этой формы необходимо сдѣлать государство наслѣдникомъ всего частнаго имущества; если право наслѣдства будетъ отмѣнено и всякое частное имущество будетъ переходить къ государству, тогда исчезнетъ возможность полученія дохода, не основаннаго на трудѣ. Такимъ образомъ, государство должно взять на себя задачу организаціи производительныхъ силъ. Оно должно распредѣлять средства производства. Верховнымъ принципомъ распредѣленія должна служить знаменитая формула сенъ-симонистовъ: „Отъ каждаго—по его способностямъ, каждой способности—по ея дѣламъ". Такимъ образомъ, неравенство сохраняется, болѣе способные получаютъ больше и остаются руководителями производства; но вмѣшательство государства является надежной гарантіей для рабочихъ, что ихъ потребности будутъ приниматься въ расчетъ при организаціи производства.

Несмотря на нѣкоторые пріемы и идеи, усвоенные

Сенъ-Симономъ отъ писателей реакціи, онъ сыгралъ великую роль въ исторіи соціальнаго движенія во Франціи и даже въ другихъ странахъ.

Организація производства на началахъ справедливости,— этотъ идеалъ, какъ путеводная звѣзда, манитъ не только соціологовъ и экономистовъ, но и художниковъ слова. Почти одновременно съ Сенъ-Симономъ выступаетъ другой великій мечтатель, Фурье (1772—1837), такой же энтузіастъ, столь же искренній въ своихъ побужденіяхъ и еще болѣе наивный и трогательный въ своихъ грезахъ. Фурье исходитъ изъ мысли, что для счастья человѣка первымъ условіемъ является богатство. Бѣдность и нужда—источникъ физическихъ страданій и нравственныхъ униженій; матеріальная независимость, напротивъ, является основой всякой другой свободы. Между тѣмъ современное общество организовано такъ, что оно не только не производитъ всѣхъ возможныхъ богатствъ, которыя могли бы обезпечить всеобщее счастье, не только растрачиваетъ попусту производительныя силы, но даже значительную часть ихъ губитъ и разрушаетъ. Къ числу такихъ силъ, которыя ничего не вносятъ въ общую сумму богатствъ, принадлежатъ, напр., люди праздные, проводящіе жизнь въ ничегонедѣланіи, ихъ лакеи, лица, заключенныя въ тюрьмы, какъ классъ людей вынужденной праздности, наконецъ всѣ выброшенные современныхъ обществомъ и враждующіе съ нимъ: мошенники, игроки, воры, разбойники и нищіе, борьба съ которыми требуетъ содержанія полиціи и администраціи, учрежденій тоже непроизводительныхъ; сюда же относятся рабочіе „отрицательнаго производства", т. е. производства, служащаго не для удовлетворенія естественныхъ потребностей человѣка, а вызываемаго несовершенствомъ соціальной организаціи; такимъ отрицательнымъ производствомъ является, напримѣръ, постройка стѣны, ограждающей садъ отъ воровъ, и т. п.

Нужно создать организацію, которая устранила бы эту безплодную колоссальную трату человѣческой рабочей силы. Главное зло нынѣшней организаціи, это— институтъ наемныхъ рабочихъ; работая изъ нужды, по найму, для чужого дѣла, рабочій чувствуетъ отвращеніе къ такому труду, и не удивительно, что производительность его сильно уменьшается. Кромѣ того въ современной организаціи производства нѣтъ единства; каждый думаетъ только о себѣ и стремится къ разоренію конкуррента. Фурье предлагаетъ новую организацію, которая устранитъ всѣ эти отрицательныя явленія. Въ основу этого строя должна лечь образцово организованная община. Частная собственность въ ней не уничтожена, но собственникъ обязанъ отдать свою собственность общинѣ для совмѣстной эксплуатаціи; доходъ, который онъ получитъ при этомъ на внесенную имъ часть, будетъ гораздо больше дохода, который онъ получаетъ при частномъ способѣ эксплуатаціи этой части; поэтому, присоединяя свою часть къ общему имуществу, собственникъ только выиграетъ. Вторая особенность коммуны Фурье заключается въ томъ, что въ ней нѣтъ наемнаго труда: всякій работаетъ въ общемъ производствѣ и изъ выработаннаго продукта получаетъ часть, соотвѣтствующую степени его участія; благодаря этому въ коммунѣ не будетъ рабочихъ, не заинтересованныхъ въ продуктахъ своего труда. Далѣе вся работа въ фалангѣ,— такъ называетъ Фурье эту общину,—должна производиться подъ руководствомъ одной власти; эта власть направляетъ эксплуатацію земли и руководитъ различными отраслями промышленности, такъ какъ земледѣліе и промышленность соединяются въ фалангѣ вмѣстѣ; власть эта будетъ стоить дешево, ей не нужны ни тюрьмы, ни полиція, такъ какъ поводъ къ грабежу, насиліямъ и пр. исчезнетъ, разъ фаланга будетъ доставлять своимъ членамъ не только все необходимое,

но и полный комфортъ, разъ исчезнетъ нищета, и всякій легко можетъ получить все, что ему нужно. Общая кухня въ десятки разъ сократитъ совокупную стоимость массы мелкихъ кухонь. Машины и усовершенствованные способы производства будутъ вводиться легко, такъ какъ исчезнетъ главное препятствіе къ ихъ быстрому введенію, а именно связанное съ этимъ пониженіе зарабатной платы и вытекающая отсюда вражда рабочихъ къ машинамъ. Фаланга не подавляетъ, однако, индивидуальности: всякій, исполнивъ свою часть работы, можетъ остальное время проводить какъ угодно, можетъ даже не пользоваться общей кухней, хотя прямой расчетъ заставитъ его предпочесть общій столъ отдѣльному. Благодаря соединенію въ общихъ рукахъ и производства, и потребленія богатство всѣхъ членовъ фаланги во много разъ превыситъ обычные доходы при современномъ строѣ. Весь продуктъ будетъ дѣлиться на три неравныя части: $^5/_{12}$ идутъ труду, $^4/_{12}$—капиталистамъ и $^3/_{12}$—на вознагражденіе таланту, и при этомъ всѣ, по расчету Фурье, будутъ въ выигрышѣ: талантъ будетъ вознаграждаться гораздо щедрѣе, чѣмъ теперь, доходы капиталиста увеличатся въ три—четыре раза, а плата за трудъ возрастетъ въ шесть—восемь разъ. Фаланга имѣетъ общій грандіозный дворецъ, въ которомъ помѣщаются общій храмъ и театръ. Каждый выбираетъ и меблируетъ себѣ квартиру по своему вкусу (число семействъ, составляющихъ фалангу, Фурье опредѣляетъ примѣрно въ четыреста). Дворецъ этотъ называется фаланстеромъ. Обиліе воздуха, красивая архитектура, тропическія растенія внутри и роскошные сады снаружи, просторъ и общее довольство дѣлаютъ жизнь обитателей фаланстера свѣтлымъ раемъ. Страданіе и злоба невѣдомы обитателямъ этого новаго Эдема. Основаніе одной фаланги вызоветъ немедленно подражанія; весь міръ покроется этими пріютами; зло и горе отойдутъ въ

область мрачнаго прошлаго; царство Божіе осуществиття.

Таковы были мечты утопистовъ. Въ нихъ научное изслѣдованіе и фантазія еще перемѣшаны. Попытки нѣкоторыхъ капиталистовъ основать фаланги въ духѣ Фурье на практикѣ почти всегда терпѣли фіаско или удавались въ сильно урѣзанномъ видѣ. Но значеніе утопистовъ въ исторіи человѣческой мысли отъ этого не умаляется: они хотя и не рѣшились, но все-же выдвинули на первое мѣсто чрезвычайно важный вопросъ объ организаціи производства, о борьбѣ съ бѣдностью, и идеи ихъ не остались безъ послѣдствій: уже во время революціи 1848 года толпа потребовала отъ палаты провозглашенія принципа права на трудъ, и правительство вынуждено было устроить національныя мастерскія, чтобы доставить работу всему рабочему населенію Парижа.

Судьба „самаго бѣднаго и многочисленнаго класса общества“ стала основной проблемой XIX вѣка.

Сенъ-симонисты сыграли извѣстную роль не только въ экономической исторіи, но и въ исторіи женскаго вопроса. Они въ лицѣ одного изъ главныхъ сенъ-симонистовъ, Анфантена, создали знаменитое ученіе о реабилитаціи плоти. Они провозгласили христіанство слишкомъ односторонней религіей, которая изъ двухъ началъ человѣческаго существа отвела мѣсто только духу, признавъ тѣло и его потребности грѣховными. Поэтому христіанство не могло охватить всего общественнаго быта человѣка. Анфантенъ возстановляетъ права плоти и возстановляетъ нарушенную, по его мнѣнію, гармонію. Уваженіе къ этимъ правамъ онъ доводитъ до того, что дѣлитъ людей на постоянныхъ и непостоянныхъ, предоставляя первымъ мѣнять женъ или мужей когда угодно.

Среди мечтателей XIX вѣка, оказавшихъ огромное вліяніе на русскую литературу, нельзя пройти мимо

имени Жоржъ-Сандъ (1804—1876). Она была одновременно и поборницей правъ женскаго сердца, и страстнымъ соціальнымъ реформаторомъ. Она росла среди запутанныхъ отношеній переходной эпохи. Ея дѣтство, протекавшее среди раздоровъ между бабушкой и матерью, научило ее рано понимать соціальные конфликты. Въ деревнѣ у аристократки-бабушки она научилась любить догорающіе остатки стараго дворянства, научилась любить деревню и идиллическій строй патріархальной жизни. Въ домѣ матери она вращалась среди демократовъ и либераловъ, презиравшихъ старыя аристократическія преданія. Ея неудачный бракъ съ пустымъ человѣкомъ раскрылъ передъ нею весь ужасъ безправнаго положенія женщины. Въ началѣ 40-хъ годовъ, когда она уже была знаменитой писательницей, она была захвачена потокомъ соціальныхъ теорій. И пророки соціальнаго обновленія, и серьезные изслѣдователи, и просто шарлатаны — все это толпилось въ салонѣ даровитой женщины. Не удивительно, что въ ея поэзіи звучали разнообразные мотивы, въ которыхъ не было единства, въ которыхъ то слышался властный крикъ женскаго сердца, требовавшаго права на свободную любовь, то наивный призывъ къ состраданію въ защиту обездоленныхъ массъ, то раздавались восторженные панегирики рыцарской чести и блеску дворянскихъ замковъ, то трогательно говорилось о простотѣ сельскаго существованія.

Первый періодъ литературной дѣятельности Жоржъ-Сандъ, это—періодъ борьбы за права женскаго сердца. Романы этой эпохи, это—безконечная грустная повѣсть страдающей женщины, которую бракъ или общественныя предубѣжденія отдѣляютъ отъ любимаго человѣка. Въ это время она пишетъ „Индіану“, „Валентину“ и „Жака“, выводитъ вереницу женскихъ образовъ, представляющихъ видоизмѣненія одного общаго типа. Въ „Индіанѣ“ сталкиваются женщина, полная чув-

ствомъ своего человѣческаго достоинства, съ сухимъ, тщеславнымъ и самолюбивымъ человѣкомъ. Дельмаръ требовалъ отъ нея покорности. Она была „высокомѣрна и суха въ своей покорности“ и не хотѣла служить объектомъ для его самоуслажденія. Ея послушаніе было послушаніемъ раба, который ненависть сдѣлалъ своимъ достоинствомъ, а несчастье—своей заслугой. Но гордая и упрямая по отношенію къ мужу, она проявляетъ удивительную мягкость, всепрощающую нѣжность и кротость, когда дѣло касается ея любовника, который оскорбляетъ ее и котораго она хочетъ любить открыто и свободно. Если Жоржъ-Сандъ борется за права женщинъ, то она добивается ихъ только въ одной области—въ области любви. Вопросъ семейныхъ отношеній она рѣшаетъ совершенно въ духѣ современныхъ ей утопическихъ мечтаній. Она обращается къ доброму сердцу сильныхъ, тѣхъ, на чью долю выпадали выгоды сложившагося порядка, и требуетъ отъ нихъ самопожертвованія. Романъ „Жакъ“—типичное произведеніе въ этомъ стилѣ. Жакъ—тотъ образъ мужа, который представляется идеаломъ романисткѣ. Передъ свадьбой онъ освобождаетъ свою невѣсту отъ той „гнусной и нелѣпой“ клятвы въ вѣчномъ повиновеніи и любви, которую диктуетъ общество. Онъ произноситъ свою. Если онъ не можетъ ручаться за вѣчную любовь, то клянется вѣчно уважать ее. И Жакъ вѣренъ себѣ. Когда она полюбила другого, онъ кончаетъ жизнь самоубійствомъ, чтобы предоставить ей свободу. Если принять въ расчетъ, что случайно умерли и дѣти Жака, которыя могли помѣшать новому браку, то станетъ понятнымъ, насколько дѣланной является такая развязка, какъ наивно рѣшенъ вопросъ. Главная ошибка утопическаго соціализма—смѣшеніе соціальнаго и моральнаго вопросовъ, рѣшеніе перваго при помощи второго—переносится Жоржъ-Сандъ въ область семейныхъ отношеній.

Когда во второй половинѣ своей дѣятельности романистка расширила область своего творчества и перешла къ широкимъ экономическимъ и соціальнымъ вопросамъ, она осталась на почвѣ утопическаго соціализма. Ея романъ „Грѣхъ г. Антуана"—характерное произведеніе въ этомъ смыслѣ. Передъ нами представители всѣхъ общественныхъ группъ: идеализированный отпрыскъ старой аристократіи г. Антуанъ, съ его рыцарскими понятіями о чести, съ его вѣрой въ людей и дворянскимъ благородствомъ, предприниматель Кардонне, истинный вождь современной промышленности, вызывающій къ жизни колоссальныя предпріятія, сковывающій стихіи, человѣкъ съ желѣзной волей, не знающій покоя, съ утра до вечера, подобно полководцу, отдающій распоряженія. Это—представитель буржуазіи, только-что побѣдившей, только-что отмѣнившей дворянскія привилегіи и провозгласившей свободу конкурренціи. Онъ знаетъ, что за нимъ исторія, чувствуетъ себя сильнымъ, а свое положеніе непоколебимымъ. Но здѣсь же въ лицѣ его сына Эмиля передъ нами будущее. Это—соціалистъ утопическаго склада, фурьеристъ и мечтатель. Ему еще неясно это будущее. Въ спорахъ его съ отцомъ побѣда на сторонѣ отца. Его сынъ не можетъ противопоставить стройной и законченной системѣ капиталистическаго строя другой порядокъ, основанный такъ же прочно на условіяхъ реальной дѣйствительности. На ясные вопросы отца сынъ отвѣчаетъ туманными мечтами. Подобно утопическимъ соціалистамъ, онъ думаетъ, что можно сохранить основы капиталистическаго строя, оставить власть въ рукахъ предпринимателей и въ то же время создать всеобщее счастье. Онъ думаетъ рѣшить соціальный конфликтъ, обращаясь не къ организаціямъ эксплуатируемыхъ, а къ доброму сердцу эксплуататоровъ. Онъ еще вѣритъ, что интересы тѣхъ и другихъ не расходятся и что ихъ антагонизмъ—резуль-

татъ взаимнаго непониманія. Крестьянинъ и рабочій Жанъ дополняетъ рядъ выведенныхъ фигуръ. Это не живой человѣкъ, а идеализація. Онъ—артистъ въ душѣ, человѣкъ порыва и высшихъ запросовъ. Онъ спасается отъ преслѣдованій полиціи. Кардонне готовъ вернуть его къ порядочной жизни, но для этого Жанъ долженъ стать обыкновеннымъ рабочимъ, отказаться отъ собственной жизни, отъ устройства собственной хижины согласно со своими вкусами, и т. д. Несмотря на соблазнительныя условія, которыя предлагаетъ Кардонне смышленому и полезному крестьянину, послѣдній отказывается и предпочитаетъ свою скитальческую жизнь. Таково рѣшеніе вопроса. Отзвуки сенъ-симонистскихъ, а особенно фурьеристскихъ идей слышатся въ этомъ произведеніи, гдѣ мечтательному уму Эмиля Кардонне рисуется община наподобіе фаланги,—община, объединяющая промышленное и сельскохозяйственное дѣло, гдѣ больше пламеннаго стремленія къ всеобщему счастью, чѣмъ трезваго пониманія реальныхъ условій.

Въ концѣ жизни, утомленная борьбою, свидѣтельница бурь и революціонныхъ ужасовъ, Жоржъ-Сандъ съ особенной любовью обращается къ природѣ и деревнѣ. Она хочетъ вернуться къ идеалу „покоя невинности и грезъ". „Въ тѣ дни,—пишетъ она,—когда зло приходитъ вслѣдствіе взаимнаго непониманія и ненависти между людьми, призваніе художника состоитъ въ томъ, чтобы прославлять кротость, взаимное довѣріе, дружбу и напоминать людямъ зачерствѣлымъ или павшимъ духомъ о томъ, что чистота нравовъ, нѣжность чувствъ и первобытная справедливость все еще живутъ или могутъ жить на свѣтѣ. Не въ прямыхъ намекахъ на совершающіяся бѣдствія, не въ призывѣ и безъ того волнующихся страстей заключается путь къ спасенію; нѣжная пѣснь, звукъ деревенской свирѣли, сказка, убаюкивающая маленькихъ ребятъ безъ

страха и страданія, будутъ болѣе дѣйствительны, чѣмъ изображеніе дѣйствительныхъ золъ, раскрашенное густыми красками преувеличеннаго вымысла".

IV.

Бѣлинскій. — Дѣтство. — Школа. — Университетъ. — Юношеская трагедія „Димитрій Калининъ". — Вліяніе Надеждина. — Кружки. — Станкевичъ. — Вопросъ о „переворотѣ" въ направленіи Бѣлинскаго по переѣздѣ въ Петербургъ. — Начало славянофильства. — Послѣдніе годы жизни Бѣлинскаго.

Въ рѣдкую эпоху теоретическая мысль и дѣйствительность были отдѣлены другъ отъ друга такой глубокой пропастью, какъ въ это мрачное время. Съ одной стороны—гармоническія системы нѣмецкой философіи, съ высоты которыхъ безконечное разнообразіе видимаго міра получало стройность и единство, и соціальныя мечты французскихъ утопистовъ, сулившія осуществленіе всеобщаго счастья при помощи одного нравственнаго усилія. Съ другой стороны—печальная русская дѣйствительность, бюрократическая вакханалія и крѣпостное право, — живое отрицаніе и нѣмецкой гармоніи, и французскихъ соціальныхъ чаяній. Въ эту эпоху жилъ и писалъ Бѣлинскій, въ лицѣ котораго соединилось теоретическое стремленіе нѣмецкаго ума къ философскому единству, пламенный порывъ французскихъ мечтателей къ соціальной справедливости и „великое сердце", судорожно и больно сжимавшееся отъ каждаго стона русскаго общества, отъ слезъ и страданій, наполнявшихъ русскую землю. Съ болѣзненной силой воспринялъ Бѣлинскій все то, что могла открыть эта эпоха жадному уму и чуткому сердцу. Точно нарочно судьба бросила этотъ нетерпѣливый

умъ въ омутъ противорѣчій николаевскаго времени. Для каждой эпохи существуетъ свой типъ творческаго генія, который особенно сильно способенъ воплотить ея надежды и разочарованія. Именно въ Англіи съ пуризмомъ ея общества, съ ея консервативнымъ національнымъ складомъ, съ ея строгою обрядностью и охраной внѣшнихъ формъ жизни и обычаевъ гордый индивидуалистъ могъ въ высшей степени пережить ту міровую тоску, которую пережилъ Байронъ. Именно тамъ могъ развиться его титаническій порывъ къ одиночеству, его тоскующее презрѣніе къ человѣчеству. Жизненный путь Бѣлинскаго отъ колыбели до послѣдняго издыханія былъ усѣянъ терніями. Съ ранняго дѣтства его пытливый умъ бился въ тискахъ, которыми николаевская эпоха сжала все, что выходило изъ рамокъ строя, начертаннаго бюрократическимъ режимомъ. Мы видѣли, что мертвящая сила этого режима проявлялась всюду, – и въ казенномъ характерѣ тогдашняго просвѣщенія; въ безсодержательности и пошлости обывательскаго существованія; въ безконтрольномъ могуществѣ хищнаго чиновничества; въ практическомъ безсиліи теоретической мысли и завоеваній западной философіи и науки.

Бѣлинскій вынесъ всѣ удары этого режима, и подъ этими ударами развивался его творческій геній съ такимъ страстнымъ порывомъ къ свободѣ, на какой способенъ только орелъ, заключенный въ клѣтку. Въ ужасахъ николаевской эпохи нашелъ онъ неисчерпаемый источникъ доказательствъ въ защиту поруганнаго человѣческаго достоинства, въ пользу незыблемыхъ правъ человѣческой личности.

Бѣлинскому было пять лѣтъ, когда отецъ его переселился въ 1816 г. въ г. Чембаръ Пензенской губерніи. Нетрудно представить себѣ картину захолустной жизни, среди которой протекало дѣтство отзывчиваго и болѣзненно-чуткаго ребенка. „Общество, которое

дитя встрѣчало у отца,—разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Лажечниковъ,—были городскіе чиновники, большею частью члены полиціи, съ которыми уѣздный лѣкарь (отецъ Бѣлинскаго) имѣлъ дѣло по своей должности (отъ которой ничего не наживалъ). Общество это видѣлъ онъ нараспашку, часто за ерофеичемъ и пуншемъ, слышалъ рѣчи, обращавшіяся болѣе всего около частныхъ интересовъ, приправленныя цинизмомъ взяточничества и мелкихъ продѣлокъ, видѣлъ воочію неправду и черноту, не замаскированныя боязнью гласности, не закрашенныя лоскомъ образованности, видѣлъ и купленное за ведерку крестное цѣлованіе понятыхъ, и свидѣтельствованіе разнаго рода побоевъ, и пр. Прибавьте къ безотрадному зрѣлищу гнилого общества, которое окружало его въ малолѣтствѣ, домашнее горе, бѣдность, нужды, вѣчно его преслѣдовавшія, вѣчную борьбу съ ними, и вы поймете, отчего произведенія его иногда переполнялись желчью, отчего въ откровенной бесѣдѣ съ нимъ изъ наболѣвшей груди его вырывались грозно обличительныя рѣчи, которыя, казалось, душили его". Эта безотрадная картина не утрачиваетъ своего значенія даже вслѣдствіе поправокъ другихъ современниковъ, которые свидѣтельствуютъ, что она страдаетъ преувеличеніями, а главное, что отецъ Бѣлинскаго, человѣкъ умный, понимавшій своего даровитаго сына, держался по возможности въ сторонѣ отъ провинціальнаго общества и не участвовалъ въ продѣлкахъ тогдашней администраціи. Если не всегда лично, то по разсказамъ зналъ онъ, что творилось вокругъ. Въ семьяхъ знакомыхъ помѣщиковъ видѣлъ онъ потрясающія картины крѣпостного быта, и этого было достаточно, чтобы печальная русская дѣйствительность получила надлежащее освѣщеніе въ умѣ Бѣлинскаго уже съ ранняго дѣтства.

Въ семьѣ тоже не было мира и согласія. Мать пред-

ставляла собою типъ екатерининскаго вѣка, когда „идолопоклонство чинамъ и общественнымъ званіямъ замѣняло вѣру въ человѣческое достоинство“. Она помнила, что была дочерью флотскаго офицера, и относилась свысока къ мужу-поповичу, который былъ склоненъ къ юмору и насмѣшкѣ и равнодушно относился къ ея упрекамъ. Семейныя трагедіи отравили беззаботную пору дѣтства будущаго писателя. Мало отраднаго дала Бѣлинскому и школа. Достаточно вспомнить, что одинъ изъ преподавателей чембарскаго уѣзднаго училища, гдѣ учился Бѣлинскій, былъ „страстный любитель наказаній, розогъ, которыя онъ употреблялъ иногда въ видѣ ласки, наказывая ими сквозь платье, ради потѣхи совершенно невиннаго и прилежнаго мальчика“ и успокаивая потомъ немилосердно избитаго мальчика ласками и щекоткой. Передъ родителями такая система воспитанія оправдывалась „будущей пользой“. Немногимъ лучше обстояло дѣло и въ пензенской гимназіи, куда Бѣлинскій перешелъ изъ чембарскаго училища. Въ этой гимназіи незадолго до поступленія Бѣлинскаго происходила знаменитая сцена—„погребеніе кота мышами“: ученики выносили на рукахъ учителя словесности изъ класса—нетрудно догадаться въ какомъ видѣ. Но таково уже великое значеніе знанія, что прикосновеніе къ его источнику, даже загрязненному и поруганному, оказываетъ неотразимое дѣйствіе на пытливый умъ, ищущій свѣта. Среди мертвящей провинціальной педагогіи Бѣлинскій отыскалъ лучи свѣта. Онъ, подростокъ, сталъ другомъ и почти равнымъ собесѣдникомъ одного изъ немногихъ мыслящихъ и образованныхъ преподавателей, М. М. Попова, у котораго Бѣлинскій нашелъ книги и журналы. Поповъ, преподаватель естественной исторіи, страстно любилъ литературу, и часто уроки естествознанія превращались въ горячіе дебаты о Шекспирѣ, Байронѣ и Пушкинѣ.

Вотъ что дало дѣтство и отрочество Бѣлинскому. Тяжелая крѣпостническая дѣйствительность въ общественной жизни, отсутствіе ласки и женскаго призора въ семьѣ, школьная рутина и свѣтлый міръ идей, манившій его въ твореніяхъ поэтовъ и въ журналахъ, гдѣ уже благодаря Полевому и Надеждину вѣялъ духъ западной философской и критической мысли. Въ университетѣ Бѣлинскій столкнулся на первыхъ порахъ съ тѣми же спутниками своей горькой доли—съ бѣдностью и казеннымъ формализмомъ, съ своимъ одиночествомъ и сиротливостью. Инспекторъ Чумаковъ „самымъ грубымъ образомъ“ грозилъ прогнать изъ университета всѣхъ своекоштныхъ, которые „черезъ недѣлю не будутъ имѣть форменной одежды“. Денегъ у Бѣлинскаго не было и, чтобъ исполнить требованіе Чумакова, приходилось выпрашивать ихъ у отца, но присылка ихъ сопровождалась бранью, которая, по словамъ бѣднаго студента, „раздирала душу, приводила въ отчаянье“. Жизнь на казенномъ коштѣ (одно время сносную) Бѣлинскій въ сентябрѣ 1830 г. называетъ ужасной: „Лучше быть подьячимъ въ чембарскомъ земскомъ судѣ, нежели жить на этомъ каторжномъ, проклятомъ казенномъ коштѣ“. Но зато здѣсь закипѣла та умственная жизнь, которой Бѣлинскій жадно искалъ въ пензенскомъ захолустьѣ. „11 нумеръ“, гдѣ жилъ Бѣлинскій, сталъ свидѣтелемъ горячихъ споровъ о классицизмѣ и романтизмѣ, о Пушкинѣ, Державинѣ и Ломоносовѣ, о лекціяхъ профессоровъ, о журнальныхъ статьяхъ. Здѣсь передъ кружкомъ товарищей прочелъ Бѣлинскій свою юношескую трагедію, которой суждено было сыграть роковую роль въ его университетской карьерѣ, которая лучше всякихъ изслѣдованій говоритъ о томъ, что первый порывъ его литературнаго вдохновенія принадлежалъ страдающему народу. И какъ бы ни уклонялся впослѣдствіи Бѣлинскій въ сторону отвлеченныхъ умство-

ваній, этотъ первый порывъ никогда не угасалъ въ немъ и всегда согрѣвалъ благороднымъ чувствомъ его произведенія.

Какъ ни мелодраматиченъ сюжетъ „Димитрія Калинина“, даже въ настоящее время нельзя отрѣшиться отъ обаятельнаго дѣйствія нѣкоторыхъ мѣстъ ея. Ея главный герой Димитрій—герой во вкусѣ юношескихъ трагедій Шиллера и Лермонтова. Рядъ трагическихъ тайнъ окружаетъ его. Онъ воспитывается въ домѣ помѣщика. Онъ—побочный сынъ его, но никто этого не знаетъ. Его ненавидятъ въ домѣ всѣ, кромѣ отца, который обращается съ нимъ какъ съ своими дѣтьми. Онъ любитъ Софью, законную дочь своего отца, и она отвѣчаетъ ему пламенной взаимной страстью. Но вотъ отецъ его умираетъ, и домашніе начинаютъ вымѣщать на немъ свою злобу. Софью хотятъ насильно выдать замужъ за гнуснаго соблазнителя князя Кизяева, а благороднаго Димитрія (который числился по бумагамъ сыномъ крѣпостной и которому отецъ не успѣлъ передъ смертью дать отпускную) заставляютъ служить лакеемъ во время свадебнаго пиршества. Не помня себя, Димитрій убиваетъ брата Софьи Андрея. Его арестуютъ. Но Димитрій бѣжитъ изъ тюрьмы; съ „разорванной цѣпью на рукѣ“ является снова въ домъ Лѣсинской, послѣ пламеннаго объясненія съ Софьей, не видя исхода, онъ, по ея просьбѣ, убиваетъ ее, а затѣмъ, сорвавъ съ руки цѣпь, закалывается, трагически воскликнувъ: „Свободнымъ жилъ я, свободнымъ и умру!“ Трагедія полна ужасовъ. Помимо главной интриги, въ нее вплетены печальная исторія женщины, соблазненной Кизяевымъ, трагедія Сурскаго, пріятеля Димитрія, и т. д. Но въ чемъ авторъ не поскупился на краски, это въ изображеніи страданій крѣпостного народа. Онъ описываетъ жестокія расправы на конюшнѣ, гдѣ безпощадно дерутъ всѣхъ — и стариковъ, и женщинъ. Онъ разсказываетъ тяжелую исторію, какъ

жадная Лѣсинская погубила счастье цѣлой зажиточной семьи, безчеловѣчно ограбивъ ее, а затѣмъ сдавъ въ солдаты единственнаго сына въ отместку за то, что разоренный мужикъ осмѣлился запротестовать. Умерла съ горя мать. Спился и погибъ отецъ. И при видѣ этихъ ужасовъ авторъ влагаетъ въ уста Димитрія слова, которыя точно выхвачены изъ шиллеровскихъ „Разбойниковъ“ или „Коварства и любви“. „Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами? Кто далъ это гибельное право—однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ для потѣхи или для разсѣянья содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, братьями, со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердный Боже, Отецъ человѣковъ, отвѣтствуй мнѣ! Твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ змiевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?..“

Извѣстны послѣдствія перваго литературнаго выхода Бѣлинскаго. Онъ послужилъ истинной причиной его исключенія изъ университета.

На административныхъ порядкахъ университета лежала печать бюрократическаго формализма. Имъ же было проникнуто и университетское преподаваніе. Профессора читали по чужимъ руководствамъ. „Умнѣе Пленка не сдѣлаешься, хоть и напишешь свое собственное“,—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, объясняя, почему онъ „будетъ читать по Пленку“. Шевырева и Надеждина еще не было на словесномъ факультетѣ.

Тускло и холодно, по выраженію К. Аксакова, свѣтило тогда „солнце истины“ въ московскомъ университетѣ, но „живыя, не подавленныя силы находили къ ней дорогу“. Какъ въ мертвящемъ преподаваніи пензенской гимназіи Бѣлинскій жадно ловилъ слѣды свѣта и знанія, такъ и здѣсь, въ университетѣ, онъ и кружокъ его даровитыхъ товарищей сквозь тусклый свѣтъ „солнца истины“ разглядѣли его настоящій яркій блескъ. То, чего не давали сухія лекціи профессоровъ, студенты находили въ тогдашней литературѣ, въ товарищескихъ бесѣдахъ и горячихъ спорахъ. Здѣсь складывался увлекательный типъ юнаго гегеліанца, съ его пламенной вѣрой, съ его поспѣшными обобщеніями и апріорными построеніями, съ его незнаніемъ фактовъ и реальной дѣйствительности, съ его философскимъ паѳосомъ и практической непригодностью,—тотъ типъ, черты котораго собраны въ Рудинѣ и разсѣяны въ герояхъ романовъ 40 и 50-хъ годовъ. Появленіе на университетской каѳедрѣ Надедина, въ концѣ пребыванія Бѣлинскаго въ университетѣ, еще болѣе всколыхнуло умы молодежи. Еще до него интересъ къ философскимъ вопросамъ былъ пробужденъ проф. Павловымъ. Надеждинъ вліялъ не только какъ профессоръ, но и въ качествѣ журналиста. Критика Полевого и Надеждина была однимъ изъ главнымъ факторовъ, будившихъ умы. Правда, новѣйшіе изслѣдователи уничтожили тотъ ореолъ, которымъ было окружено имя Надеждина въ качествѣ вдохновителя и главнаго учителя Бѣлинскаго. Въ первомъ томѣ венгеровскаго изданія сочиненій Бѣлинскаго приведены цѣнныя данныя, свидѣтельствующія о томъ, что многія стороны дѣятельности Надеждина имѣли отрицательное значеніе въ исторіи развитія русской мысли.

Тѣмъ не менѣе, его лекціи все-таки были важнымъ факторомъ умственнаго развитія молодежи въ 30-хъ го-

дахъ. Быть-можетъ, правильнѣе всего его роль опредѣляется въ слѣдующихъ словахъ К. Аксакова: „Надеждинъ производилъ, съ начала своего профессорства, большое впечатлѣніе своими лекціями. Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ знаній. Тѣмъ не менѣе, строго и справедливо оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ Надеждина, прибавилъ, что „Надеждинъ много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ (Станкевичъ) будетъ въ раю, то Надеждину за то обязанъ“.

Таковы были надежды и разочарованія, которыя принесъ Бѣлинскому университетъ. Онъ далъ ему новый матеріалъ для пониманія тяжелой русской дѣйствительности. Но онъ же послужилъ просвѣтомъ въ царство нѣмецкой философіи и французской соціальной мысли. Мы видѣли уже, что эти два теченія были господствующими въ то время въ Европѣ. Они сдѣлались руководящими и для московской студенческой молодежи. Образовалось два кружка. Центромъ одного изъ нихъ, къ которому принадлежалъ и Бѣлинскій, былъ Станкевичъ. Душой второго были Герценъ и его другъ Огаревъ. Надъ умами членовъ перваго кружка царила нѣмецкая философія. Второй былъ проникнутъ духомъ французской соціальной мысли. Оба кружка знали другъ о другѣ, но между ними не было симпатіи. Гегеліанцамъ съ высоты ихъ всеобъемлющихъ теорій казались мелкими политическія, соціальныя, злободневныя стремленія ихъ товарищей, а этимъ послѣд-

нимъ представлялись слишкомъ отвлеченными, фантастичными и безплодными споры русскихъ гегеліанцевъ. Кружокъ Станкевича сталъ собираться впервые, когда Бѣлинскій и Станкевичъ были еще студентами.

Біографъ Станкевича вѣрно опредѣляетъ тонъ мыслей, господствовавшихъ въ этомъ кружкѣ, когда въ немъ окончательно установилось влеченіе къ философскимъ занятіямъ, подъ первыми сильными впечатлѣніями идей шеллингова пантеизма. „Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума. Съ какою юношеской и благородной гордостью понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго созданія,—словомъ, становился ея центромъ, судьей и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія... Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полчѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимыхъ обязанностей—высвобождать въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобъ имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумнаго существованія“.

Какъ извѣстно, съ переѣздомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ въ немъ начинается переходъ отъ прежнихъ московскихъ метафизическихъ идеаловъ къ новымъ

общественнымъ. Въ письмѣ отъ 3-го февраля 1840 г. онъ пишетъ:

„Петербургъ былъ для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе. Это было необходимо, и лишь бы послѣ стало лучше, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня на эти гнусныя финскія болота... Мы весь Божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ“.

Въ письмѣ отъ 13-го іюня 1840 г. еще яснѣе этотъ переходъ. Бѣлинскій уже сознаетъ связь между личностью и обществомъ.

„На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отрицался одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силой отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ итти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ *очеловѣченью*... Воспитаніе лишило насъ религіи, обстоятельства жизни (причина которыхъ въ состояніи общества) не дали намъ положительнаго образованія и лишили *всякой* возможности сродниться съ наукой; съ дѣйствительностью мы въ ссорѣ и по праву ненавидимъ и презираемъ ее, какъ она по праву ненавидитъ и презираетъ насъ. Гдѣ же убѣжище намъ?—На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ... Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москводушію* (т.-е. къ идеалистическому простодушію), но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?..“

Нѣтъ болѣе сжатой и яркой картины, рисующей процессъ того знаменитаго „переворота“, о которомъ такъ много писали. Былъ ли уже въ дѣйствительности этотъ поворотъ? Не было ли пресловутое „отреченіе“ Бѣлинскаго неизбѣжнымъ и совершенно естественнымъ логическимъ развитіемъ его мыслей? Дѣйствительность онъ „презиралъ и ненавидѣлъ“ всегда,— и въ московскій, и петербургскій періодъ своей жизни. Съ обобщающимъ умомъ, жадно ищущимъ философской основы, онъ тоже не разставался никогда ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ. Если въ Москвѣ въ гармоническихъ системахъ легче было не видѣть брешей и трещинъ, портившихъ картину, то на то Москва и была его юностью. То былъ медовый мѣсяцъ молодой ликующей русской мысли, а въ это время все, что нарушаетъ гармонію, кажется такимъ безсильнымъ и легко устранимымъ. Въ дѣйствительности же эти трещины и бреши никогда не были скрыты отъ глазъ Бѣлинскаго. Если въ первый періодъ онъ рѣже и не съ такой болѣзненной силой обращался къ нимъ, а во второй понялъ, что съ нихъ и только съ нихъ надо начать, — то это было необходимо, это и дало намъ настоящаго Бѣлинскаго. Только побывавъ на высотахъ, онъ принесъ съ собою внизъ тотъ пламенный энтузіазмъ, который далъ ему силу постоянно измѣрять видимую дѣйствительность съ точки зрѣнія высшихъ идеаловъ, относиться къ язвамъ тогдашней общественной жизни съ безпощадной ненавистью фанатика. Только сдѣлавъ титаническое и безплодное усиліе, чтобы усмотрѣть въ мірѣ гармонію, можно было уже потомъ такъ благородно ненавидѣть все, что нарушало эту гармонію.

Итакъ, измѣны не было. Была только вторая стадія борьбы. Въ области русской жизни это былъ переходъ отъ примиренія къ страданію или, вѣрнѣе, отъ скрытаго страданія къ открытому. „Любовь моя къ род-

ному, къ русскому, стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, „но опредѣленіе гнусно, грязно, подло“. Въ области мысли, въ отношеніи къ западнымъ мыслителямъ это былъ переходъ отъ нѣмецкой философіи къ французскимъ соціологамъ. „Съ французами я помирился совершенно. Не люблю ихъ, но уважаю. Ихъ всемірно-историческое значеніе велико. Они не понимаютъ абсолютнаго и конкретнаго, но живутъ и дѣйствуютъ въ ихъ сферѣ“.

Таковъ смыслъ этого „переворота“, который можно считать вполнѣ завершившимся къ началу 1841 года. Теперь Бѣлинскій рѣзко порывалъ съ прошлымъ, самой этой рѣзкостью свидѣтельствуя о томъ, что онъ удержалъ изъ этого прошлаго гораздо больше, чѣмъ думалъ. „Измѣна“ была вовсе не такъ страшна, но Бѣлинскій, сохранивъ вполнѣ свою жажду философскаго единства, хотѣлъ противопоставить свои теперешнія воззрѣнія прежнимъ, какъ два совершенно противоположныхъ міросозерцанія. Ему тяжело теперь вспомнить свою выходку противъ Мицкевича, благороднаго и великаго поэта, котораго онъ печатно назвалъ крикуномъ и у котораго онъ хотѣлъ „отнять священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности—его родины“... Ему тягостно вспомнить, что онъ „съ художественной точки зрѣнія“ осудилъ „Горе отъ ума“, не догадываясь, что „это — благороднѣйшее гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ“... Когда говорятъ о вліяніяхъ, содѣйствовавшихъ новому направленію мыслей Бѣлинскаго, то указываютъ цѣлый рядъ причинъ. Столкновеніе съ Герценомъ, въ которомъ Бѣлинскій почувствовалъ

впервые равнаго себѣ по силѣ противника изъ другого кружка, россійская дѣйствительность, которую онъ увидалъ въ Петербургѣ, наконецъ, вліяніе французскихъ писателей соціальнаго направленія,—вотъ что заставило его съ высотъ гегелевской философіи спуститься въ міръ дѣйствительности. Несомнѣнно, что всѣ указанные факты имѣли мѣсто. Но не слѣдуетъ забывать, что и съ россійской дѣйствительностью, и съ герценовскимъ кружкомъ, и съ французскими идеями Бѣлинскій сталкивался и въ московскій періодъ. Если тогда онъ отвернулся отъ нихъ, а теперь подхватилъ и горячо воспринялъ все, что вытекало изъ нихъ, то причиной былъ прежде всего отмѣченный выше естественный ходъ его собственнаго развитія.

Кружокъ Бѣлинскаго теперь расширился. Въ немъ ясно обозначились тѣ черты, которыя стали характерными для такъ-называемыхъ „людей сороковыхъ годовъ". Герценъ и Бѣлинскій, прежде противники, а теперь друзья, Боткинъ и Грановскій были членами этого новаго кружка, въ которомъ слились лучшія стороны обоихъ прежнихъ кружковъ: увлеченія гегеліанцевъ и эстетовъ и соціально-политическій пылъ общественниковъ. Этотъ кружокъ стали называть „западнымъ" въ противоположность тогда же возникшему славянофильству. Съ 1841 года началось изданіе „Москвитянина", во главѣ котораго стояли Погодинъ и Шевыревъ. Въ началѣ 1842 года вышла первая книжка съ своего рода манифестомъ Шевырева, открывшимъ, если можно такъ выразиться, офиціально славянофильскую школу. Въ этой статьѣ заключались намеки на „литературнаго бобыля", одѣтаго „въ броню наглости", подъ коимъ разумѣлся Бѣлинскій. Послѣдній отвѣчалъ въ 3-й книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ" статьею „Педантъ, литературный типъ", и бой загорѣлся, — бой, богатый послѣдствіями. „Педантъ"

задѣлъ враговъ, и вражда надолго стала непримиримой, хотя въ началѣ друзья Бѣлинскаго были въ хорошихъ мирныхъ отношеніяхъ съ такими вождями славянофильства, какъ Хомяковъ и Кирѣевскіе. Окончательный разрывъ московскихъ друзей Бѣлинскаго съ славянофилами произошелъ позднѣе; около средины 40-хъ годовъ Бѣлинскій развернулся во всю ширь своего таланта. „Отечественныя Записки“ стали могучимъ орудіемъ развитія русскаго общественнаго мнѣнія, образовательной силой, воспитывавшей молодое поколѣніе, и статьи Бѣлинскаго, даже безъ подписи автора, читающая масса легко узнавала. А между тѣмъ жизненный путь великаго страстотерпца русской литературы по-прежнему былъ усѣянъ терніями. Его письма отъ 1843 года полны мрачнымъ отчаяніемъ. Онъ бился въ тискахъ нужды и цензуры. „Все лучшее“ безпощадно вырѣзывалось. Все то, чѣмъ не дорожилъ критикъ, пропускалось цѣликомъ. Духовные жандармы этой эпохи проникали въ самое сердце, чтобы наносить самые больные, самые жестокіе удары. „Писать становится невозможнѣе и невозможнѣе“, „огадили мнѣ русскую литературу и вранье о ней сдѣлали пыткой“,—таковы жалобы, наполняющія письма этого времени. А молчать нельзя было, нужно было писать, заниматься „враньемъ“, такъ какъ нужда не ждетъ. Нетрудно догадаться, что́ переживалъ при этомъ человѣкъ такого душевнаго склада, какъ Бѣлинскій. Одинъ разъ Панаевъ засталъ Бѣлинскаго, ходящаго по комнатѣ въ волненіи „и съ усиліемъ махающаго правой рукой“. На вопросъ Панаева Бѣлинскій сказалъ: „Рука отекла отъ писанія... Я часовъ восемь сряду писалъ, не вставая... Если бы вы знали, какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же—все о Лермонтовѣ, Гоголѣ и Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамъ—все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ! Я рожденъ памфле-

тистомъ,—и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отчего сердце болитъ!“

Послѣдніе годы жизни не принесли отдыха и радости Бѣлинскому. Нужда и гнетъ николаевскаго режима до могилы остались его спутниками. Въ 1846 году онъ покидаетъ „Отечественныя Записки“ вслѣдствіе разногласій съ редакціей и переходитъ въ „Современникъ“, въ который ему удается вдохнуть новыя силы, собравъ подъ его знамя своихъ друзей. Но и здѣсь онъ не находитъ себѣ матеріальнаго обезпеченія и нравственнаго успокоенія. И здѣсь у него не налаживаются согласныя отношенія съ редакціей. Наконецъ, въ маѣ 1847 года измученному борьбой, больному писателю удается вырваться за границу. Поздній отдыхъ не помогъ ему. По его возвращеніи болѣзнь возобновилась: „Я хрипѣлъ и задыхался,—пишетъ онъ объ одномъ приступѣ болѣзни,—словомъ, это былъ вечеръ хуже самыхъ худшихъ дней прошлой зимы, когда я безпрестанно умиралъ“. А между тѣмъ тучи сгущались. Зловѣщіе симптомы говорили, что приближается самое мрачное время николаевскаго царствованія. Стали носиться какіе-то неблагопріятные для Бѣлинскаго слухи, „все какъ-то душнѣе и мрачнѣе,—говоритъ Панаевъ,—становилось кругомъ него, статьи его разсматривались все строже и строже“. Наступалъ 1848 годъ,—годъ великихъ броженій въ Европѣ и мрачной реакціи у насъ,—наступали послѣднія самыя ужасныя семь лѣтъ николаевскаго царствованія. Болѣзнь Бѣлинскаго становилась все мучительнѣе. „Къ веснѣ,—разсказываетъ Панаевъ,—болѣзнь начала дѣйствовать быстро и разрушительно. Щеки его провалились, глаза потухали, изрѣдка только горя лихорадочнымъ огнемъ, грудь впала, онъ еле передвигалъ ноги и начиналъ дышать страшно“.

26-го мая, въ шестомъ часу утра, его не стало. Онъ „умеръ во-время“, не доставивъ жандармамъ удоволь-

ствія и возможности сгноить его въ тюрьмѣ и навѣявъ на нихъ чувство разочарованія. Его имя долго послѣ его смерти нельзя было упоминать. Нѣсколько словъ въ обоихъ журналахъ, почти созданныхъ имъ, были единственнымъ надгробнымъ словомъ о великомъ страстотерпцѣ русской литературы. По тому времени они не могли сказать больше. Только когда миновало мрачное семилѣтіе,—въ 1856 году было впервые снова упомянуто имя Бѣлинскаго, до тѣхъ поръ остававшагося безыменнымъ „критикомъ 40-хъ годовъ".

ОТДѢЛЪ II.

Три главныхъ направленія въ русской литературѣ 40-хъ годовъ: офиціальная народность, славянофильство и западничество. — Булгаринъ.—Хомяковъ, Кирѣевскіе, Аксаковы.— Чаадаевъ.—Бѣлинскій.

V.

„Литературныя мечтанія".—Основная точка зрѣнія Бѣлинскаго въ этой статьѣ.—Взгляды на народъ, на офиціальную дѣйствительность, на русскую исторію, на прошлое русской литературы, на искусство.—Общественный элементъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ".—Либерализмъ и соціализмъ.

„Не ищите въ моей „Элегіи въ прозѣ" строгаго логическаго порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышленія. Я имѣлъ цѣлью высказать нѣсколько истинъ, частью уже сказанныхъ, частью мною самимъ замѣченныхъ; но не имѣлъ времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага, но, можетъ-быть, нѣтъ основательныхъ познаній"...

Такими словами заканчиваются „Литературныя мечтанія". Идеи развиваются органически. Всякая новая мысль, всякое новое умственное завоеваніе является результатомъ продолжительной напряженной работы общества. Но мы привыкли пріурочивать начало каждой новой литературной эры къ конкретнымъ фактамъ, къ опредѣленному произведенію, въ которомъ особенно рѣзко отлились стремленія и чаянія эпохи, которое надолго впередъ опредѣлило задачи общества. Съ этой точки зрѣнія знаменитую „Элегію" Бѣлинскаго можно поставить во главѣ новѣйшей русской

литературы. Она неясно и смутно намѣчаетъ основы того міровоззрѣнія, которое въ теченіе полувѣка оставалось господствующимъ въ русской литературѣ, которое не уступило своей позиціи и въ настоящую минуту, несмотря на поднимающіяся новыя волны, идущія изъ другихъ источниковъ.

„Литературныя мечтанія“! Наивными представляются теперь многіе выводы и обобщенія этой „Элегіи“. Давно уже тѣ, кто считали Бѣлинскаго своимъ духовнымъ предкомъ, освободились отъ офиціальнаго оптимизма, отъ идеализаціи русской старины, отъ панегириковъ старому режиму, отъ метафизической догматики, отъ всего того, что еще сквозило, какъ наслѣдіе прошлаго, въ этомъ первомъ пламенномъ порывѣ къ будущему. И, тѣмъ не менѣе, отъ обаянія этой странной „Элегіи“, полной противорѣчій и туманныхъ мыслей, не вполнѣ свободно и наше время, а для поколѣнія, вступающаго въ жизнь въ 30-е годы прошлаго вѣка, она была провозвѣстницей новой жизни, могучимъ призывомъ революціонной трубы. „У меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага“. Эта двучленная формула сжато опредѣляетъ не только благородное чувство, которымъ согрѣто первое крупное произведеніе Бѣлинскаго, но главные стимулы всей его послѣдующей литературной дѣятельности. Во многомъ мы уже не такъ смотримъ на „истину“ и иначе понимаемъ „общее благо“, но у него была любовь къ первой и жажда второго, и эта „любовь“ и это „желаніе“ способны заражать и въ настоящее время пламеннымъ энтузіазмомъ, согрѣвавшимъ ихъ, хотя наука и общественные идеалы далеко ушли впередъ, и мы вполнѣ вѣримъ великому родоначальнику новѣйшей нашей литературы, что онъ не „имѣлъ времени хорошенько обдумать свою статью“ и у него не было „основательныхъ познаній“.

Постараемся же разобраться въ главныхъ мысляхъ

„Элегіи“; въ ея лирической безпорядочности, среди ея туманныхъ мечтаній, не свободныхъ отъ стараго романтическаго паѳоса, поищемъ руководящей нити,— нити, ведущей къ литературнымъ воззрѣніямъ и общественнымъ стремленіямъ будущаго.

Основная идея философіи Бѣлинскаго, это—метафизическая идея о существованіи высшаго абсолютнаго невидимаго міра. Эта идея завѣщана метафизическому міросозерцанію еще теологическимъ. Если общество отрѣшилось отъ традиціоннаго церковнаго представленія о Богѣ, оно не отказалось отъ вѣры въ существованіе высшаго міра, откуда исходитъ таинственное вліяніе на жизнь видимаго міра. Могли измѣниться пути, ведущіе къ познанію Бога. Откровеніе смѣнила философія, традицію—апріорная дѣятельность разума, церковь и духовенство уступили свое мѣсто мыслителямъ, но у теологовъ и метафизиковъ была общая основа — подчиненіе авторитету, догматизмъ, вѣра въ существованіе абсолютныхъ истинъ. И тѣ, и другіе исходятъ изъ вѣрованій, изъ апріорныхъ построеній. Если средневѣковой человѣкъ въ подтвержденіе своихъ убѣжденій ссылался на папу, на твореніе святыхъ отцовъ, наконецъ, просто на традицію,— на вѣрованія и обычай родителей, то французскій философъ XVIII вѣка ссылался на доводы разума, на „естественныя“ потребности человѣка, на „естественную“ справедливость. И тотъ, и другой придавали абсолютное значеніе своимъ убѣжденіямъ. И для того, и для другого они были вѣрой. И тотъ, и другой были склонны провѣрять эти убѣжденія фактами дѣйствительной жизни, но ставить свои вѣрованія выше фактовъ, и, при столкновеніи первыхъ со вторыми, готовы были отвергнуть эти послѣдніе или провозгласить ихъ противоестественными. Бѣлинскій весь проникнутъ этой метафизической вѣрой. Картина міровой жизни, нарисованная имъ, не результатъ упорной на-

учной работы, не обобщеніе фактовъ, тщательно провѣренное опытомъ и наблюденіемъ, а принятое навѣру ученіе нѣмецкой идеалистической философіи. „Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ,—говоритъ онъ, варьируя слова Шеллинга, — есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать, въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико *тѣло* этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый эѳиръ“. Такова основа философіи Бѣлинскаго, заимствованная у Шеллинга, выраженная съ такимъ почти религіознымъ энтузіазмомъ, что именно у нашего писателя больше чѣмъ у кого-нибудь проявляется родство теологическаго и метафизическаго міровоззрѣній. Абсолютный вѣчный міръ—высшая, божественная идея.

Съ этой основной мыслью или вѣрой Бѣлинскаго связаны и всѣ другія идеи его „Элегіи“. Здѣшній, земной міръ не является цѣлью самъ по себѣ, онъ—только отраженіе божественной идеи, онъ — средство для ея постиженія. И природа и исторія человѣчества—только ключъ, открывающій дверь, ведущую въ царство этой вѣчной идеи. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышитъ и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человѣка, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротою непостижимою, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вулканы, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды

и поколѣнія, замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть, силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Такъ идея живетъ; мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Средневѣковой теологъ считалъ земную жизнь юдолью печали. Онъ видѣлъ ея смыслъ только въ томъ, что она служила подготовкой къ вѣчной истинной жизни. Сама по себѣ она не представляетъ цѣнности. Нецѣлесообразности и противорѣчія этой жизни не пробуждали въ немъ тоски мысли. Въ будущей жизни эти противорѣчія должны были найти свое примиреніе. Мудрость и благость Божія раскрывались чрезъ испытанія. Метафизика удержала это стремленіе къ гармоническому міросозерцанію, этотъ примирительный взглядъ на земную дѣйствительность, на природу и исторію. Для нея они тоже несовершенное проявленіе совершенной субстанціи, живущей особой высшей жизнью.

Эстетическія воззрѣнія Бѣлинскаго вытекали изъ этого же общаго философскаго представленія. На долю искусства вполнѣ согласно съ духомъ шеллинговскаго ученія выпадаетъ роль быть посредникомъ между вѣчнымъ и измѣнчивымъ, между божественной идеей и здѣшнимъ міромъ. Назначеніе искусства ввести человѣка въ область абсолютнаго, раскрыть передъ нимъ завѣсу вѣчности, показать ея отраженіе въ каждомъ явленіи жизни и природы. Бѣлинскій далекъ здѣсь отъ своихъ будущихъ воззрѣній на искусство и поэзію. Черезъ десять лѣтъ они станутъ въ его глазахъ могучими орудіями общественной борьбы, слугами земной дѣйствительности, элементами быстро бѣгущей, мѣняющейся жизни. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ онъ — преемникъ романтической эстетики, предшественникъ эстетической доктрины символизма. Кра-

сота и ея воплощеніе въ твореніяхъ искусства — ключъ къ постиженію вѣчныхъ тайнъ, лежащихъ за гранями опыта и позитивнаго знанія. Какое назначеніе и какая цѣль искусства? *Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни и природы... Искусство* есть *выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно разнообразныхъ явленіяхъ!* Прекрасно было гдѣ-то сказано, что *повѣсть есть краткій эпизодъ изъ безконечной поэмы судебъ человѣческихъ!* Искусство поэта должно заключаться въ томъ, чтобы дать читателю почувствовать дыханіе жизни, одушевляющей вселенную. Эстетическое же наслажденіе читателя должно заключаться „въ минутномъ забвеніи нашего „*я*“, въ живомъ сочувствіи съ общей жизнью“.

Съ рѣдкой чуткостью и проницательностью Бѣлинскій поставилъ въ этой статьѣ всѣ вопросы, которымъ въ 30-е и 40-е годы суждено было волновать умы мыслящей части русскаго общества. И онъ озарилъ и прошлое, и настоящее русской жизни тѣмъ примиряющимъ свѣтомъ, который являлся неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этой заимствованной горячей вѣры въ міровую гармонію, въ существованіе высшей благой идеи, управляющей міромъ. Изъ этой вѣры вытекаетъ его взглядъ на народъ и народность, вполнѣ гармонировавшій съ шеллингіанскимъ ученіемъ и совпадавшій съ будущимъ ученіемъ славянофиловъ, которымъ впослѣдствіи Бѣлинскій объявилъ безпощадную войну, когда понялъ, куда ведетъ его стремленіе къ гармоническому примиряющему взгляду на міръ. Исторія человѣчества есть раскрытіе божественной идеи. Каждый народъ выполняетъ свою долю въ этой общей жизни и работѣ. „Каждый народъ... играетъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода свою особенную назначенную ему Провидѣніемъ роль и вноситъ въ общую сокровищницу его успѣховъ на поприщѣ самосовершенствованія свою долю, свой вкладъ, другими

словами: каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества". Признаніе высокаго значенія народности, преклоненіе передъ народомъ само по себѣ ничего не говоритъ. Оно входитъ въ ученіе самыхъ разнообразныхъ, противоположныхъ другъ-другу школъ. Болѣе точно взглядъ на народность выясняется, когда отъ общаго принципа мыслитель переходитъ къ опредѣленію самаго понятія народности, къ методамъ выясненія національныхъ свойствъ и стремленій. Есть два пути въ этомъ направленіи. Можно отнестись къ народу какъ къ младенцу, не признавать за нимъ никакихъ правъ въ выясненіи своей собственной національной физіономіи и возложить эту задачу исключительно на мыслящую личность, на интеллигентную часть общества. Словомъ, можно держаться принципа „tout *pour* le peuple", но не слѣдовать при этомъ принципу „tout *par* le peuple". Но можно держаться и противоположнаго пути, и опредѣленіе народа какъ извѣстнаго организма вывести изъ тщательнаго изученія самого народа, признавъ его единственнымъ источникомъ, единственнымъ судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ. Странно было бы требовать, чтобы въ эпоху рабства народной массы Бѣлинскій сталъ на второй путь. И западники, и славянофилы одинаково повинны въ интеллигентскомъ субъективизмѣ по отношенію къ народу. И та, и другая школы были склонны навязывать народу свое личное міросозерцаніе. Бѣлинскій въ своей „Элегіи" еще не могъ предвидѣть той формы, въ которую облекся вскорѣ этотъ ставшій жгучимъ вопросъ. Въ его „Элегіи", полной примиряющаго гармоническаго взгляда на міръ, еще не чувствуется пропасти тамъ, гдѣ она фактически уже образовалась. Онъ не предвидитъ еще возможности столкновенія, для него интеллигентное общество и народная масса—одно цѣлое. Но нетрудно понять, что и въ этомъ вопросѣ у Бѣлинскаго пре-

обладаетъ та же точка зрѣнія мыслителя, склоннаго къ апріорнымъ построеніямъ, къ субъективнымъ вѣрованіямъ. Для него народъ — младенецъ, несознанныя стремленія котораго выражаются интеллигенціей. Въ его примиряющей рѣчи чувствуется гордый мыслитель, претендующій на монополію толкованія воли народной. „Наша національная физіономія всего больше сохранилась въ низшихъ слояхъ народа; посему наши писатели, разумѣется, владѣющіе талантомъ, бываютъ народны, когда изображаютъ въ романѣ или драмѣ нравы, обычаи, понятія и чувствованія черни. Но развѣ одна чернь составляетъ народъ? Ничуть не бывало. Какъ голова есть важнѣйшая часть человѣческаго тѣла, такъ среднее и высшее сословія составляютъ народъ по преимуществу. Знаю, что человѣкъ во всякомъ состояніи есть человѣкъ, что простолюдинъ имѣетъ такіе же страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и потому такъ же, какъ и онъ, достоинъ поэтическаго анализа, но высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ или, вѣрнѣе, въ цѣлой идеѣ народа“. Наше общество еще не созрѣло, наша литература еще слишкомъ находится подъ вліяніемъ Запада, чтобы быть правильнымъ выраженіемъ народнаго духа. Но придетъ время, просвѣщеніе широкой рѣкой разольется по русской землѣ, умственная физіономія народа выяснится, и тогда мыслящей части общества не трудно будетъ наложить печать народнаго духа на свои произведенія.

Легко видѣть, что Бѣлинскій является оптимистомъ, безсознательнымъ панегиристомъ господствующихъ классовъ. Онъ ждетъ просвѣщенія и счастья народнаго только отъ нихъ. Въ его глазахъ литература, творческій геній, бюрократія и высшія сословія,—словомъ, все то, что возвышается надъ народомъ,—сливаются въ одну общую благотворную силу. Нигдѣ нѣтъ протеста противъ крѣпостного права, нигдѣ мысли объ участіи

самого народа въ этой великой работѣ. „У насъ скоро будетъ *свое* русское просвѣщеніе... Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія, возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ *православія, самодержавія* и народности [1]... Благодарное дворянство, наконецъ, вполнѣ увѣрилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры, вѣрности и національности... Быстро образуется и купеческое сословіе и сближается въ семъ отношеніи съ высшимъ... Дѣятельное участіе начинаетъ принимать въ святомъ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія и наше духовенство... Да! въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена для будущаго“.

Этимъ же оптимизмомъ и примиряющимъ настроеніемъ, рожденнымъ на высотахъ управляющей міромъ божественной идеи, проникнуты и воззрѣнія Бѣлинскаго на ходъ русской исторіи. Въ своемъ преклоненіи передъ народомъ онъ находитъ радостное удовлетвореніе въ этой исторіи, которая, по волѣ Провидѣнія, вела русскій народъ къ осуществленію его назначенія въ общей жизни человѣчества. Іоаннъ III научилъ его бояться, любить и слушаться своего царя. Но при немъ жизнь народа хотя и была самобытной и характерной, зато односторонней и изолированной. Русскому народу нужно было составить „часть великаго семейства че-

---

[1]) Намекъ на посѣщеніе Уваровымъ московскаго университета въ 1832 году. Эту тираду, какъ и цѣлый рядъ историческихъ и политическихъ замѣчаній, такъ мало соотвѣтствующихъ всей послѣдующей дѣятельности Бѣлинскаго, С. А. Венгеровъ объясняетъ вліяніемъ Надеждина, который въ качествѣ редактора иногда дѣлалъ въ статьи сотрудниковъ даже вставки въ патріотическомъ духѣ. *Венгеровъ*. Полн. собр. сочиненій Бѣлинскаго. I. Стр. 426—429; 449.

ловѣческаго рода". Петръ I, „царь мудрый и великій, кроткій безъ слабости, грозный безъ тиранства", выполнилъ эту задачу. Петръ, однако, слишкомъ торопился, масса народа не поспѣла за нимъ, „осталась тѣмъ, что и была", народъ и общество пошли врозь. Но при Екатеринѣ II „проявился духъ русскій во всей своей богатырской силѣ", народъ кое-какъ „освоился съ тѣсными и несвойственными ему формами новой жизни". Въ чемъ же видитъ Бѣлинскій проявленіе русскаго народнаго духа при Екатеринѣ Великой? „Вспомните этихъ важныхъ радушныхъ бояръ, дома которыхъ походили на всемірныя гостиницы, куда приходили званый и незваный и, не кланяясь хлѣбосольному хозяину, садились за столы дубовые, за скатерти браныя, за яства сахарныя, за питья медовыя; этихъ величавыхъ и гордыхъ вельможъ, которые любили жить нараспашку, жилища которыхъ походили на царскія палаты русскихъ сказокъ... Вспомните Суворова, который не зналъ войны, но котораго война знала; Потемкина, который грызъ ногти на пирахъ и между шутокъ рѣшалъ въ умѣ судьбы народовъ"... Въ настоящее время нѣтъ надобности доказывать поверхностный и ненаучный характеръ этихъ историческихъ характеристикъ, приближающихся къ пониманію славянофиловъ и даже офиціальной народности. Не въ нихъ, конечно, заключается значеніе „Элегіи" Бѣлинскаго.

Остановимся еще на литературныхъ взглядахъ Бѣлинскаго, и основныя мысли его „Элегіи" будутъ исчерпаны. Литература, по его мнѣнію, должна быть выраженіемъ — „символомъ внутренней жизни народа". Конечно, народа въ смыслѣ Бѣлинскаго,—народа, всей своей исторической жизнью раскрывающаго одну изъ сторонъ божественной идеи. Неудивительно, что въ связи со своимъ общимъ міросозерцаніемъ Бѣлинскій не склоненъ отводить почетную роль поэтическимъ твореніямъ, которыхъ задача заключалась въ борьбѣ

съ отрицательными явленіями живой дѣйствительности. Даже въ сатирическихъ произведеніяхъ, рожденныхъ протестующимъ вдохновеніемъ, онъ старается уловить признаки и подтвержденіе разумности высшей идеи. И если рѣзкій протестъ сатирика являлся вызовомъ этой гармоніи, Бѣлинскій исключалъ его изъ числа писателей, которыхъ считалъ достойными стоять въ храмѣ истиннаго искусства. Даже отъ комедіи онъ отнимаетъ ея общественное, моральное значеніе, уничтожаетъ ея право борьбы съ зломъ, исправленія порока. „Предметъ комедіи не есть исправленіе нравовъ или осмѣяніе какихъ-нибудь пороковъ общества, нѣтъ, комедія должна живописать несообразность жизни съ цѣлію, должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства, должна быть сарказмомъ, а не эпиграммою, судорожнымъ хохотомъ, а не веселою усмѣшкою, должна быть писана желчью, а не разведенною солью, — словомъ, должна обнимать жизнь въ ея высшемъ значеніи, т.-е. въ ея вѣчной борьбѣ между добромъ и зломъ, любовію и эгоизмомъ“. Фонвизинъ не былъ комикомъ, потому что въ его драматическихъ произведеніяхъ не чувствуется „присутствія идеи вѣчной жизни“. Мы уже приводили взглядъ Бѣлинскаго на назначеніе поэта. Въ старомъ спорѣ между сторонниками безцѣльной и тенденціозной поэзіи онъ рѣшительно становится на сторону первыхъ. „Можетъ ли призваніе художника согласиться съ какой-нибудь заранѣе предположенной цѣлью, какъ бы ни была прекрасна эта цѣль? Этого мало: можетъ ли художникъ унизиться, нагнуться, такъ сказать, къ публикѣ, которая была бы ему по колѣна и потому не могла бы его понимать? Положимъ, что и можетъ. Тогда другой вопросъ: можетъ ли онъ въ такомъ случаѣ оставаться художникомъ въ своихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ“. Изъ этого взгляда исходитъ авторъ „Элегіи“ при оцѣнкѣ отдѣльныхъ

поэтовъ. Чѣмъ выше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни. Поэтому Шекспиръ, „великій, божественный, недостижимый“, „царь чародѣевъ“, взявшій „равную дань съ добра и зла“, есть величайшій поэтъ. Тогда какъ Байронъ „взвѣсилъ ужасъ и страданіе“, выразилъ „только муки сердца, адъ души“, т.-е. постигъ „только одну сторону бытія вселенной“; тогда какъ Шиллеръ „показалъ одно прекрасное жизни“, Шекспиръ „подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидѣньи біеніе пульса вселенной“. Это „безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ-будто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ, мнѣ какое дѣло! есть высочайшій зенитъ художественнаго совершенства, есть истинное творчество“. Эту же мѣрку прилагаетъ Бѣлинскій и къ оцѣнкѣ русскихъ писателей. Его „Элегія“—первая серьезная попытка дать систематическій очеркъ исторіи русской литературы. И какъ ни субъективны оцѣнки поэтовъ у Бѣлинскаго, какъ ни далека отъ насъ его основная точка зрѣнія, но даже въ этомъ наброскѣ, въ этомъ первомъ полулирическомъ обзорѣ почти всѣ главныя характеристики сохранили свое значеніе до нашего времени, а большинство поэтовъ вошло, повидимому, навсегда въ исторію литературы именно въ томъ толкованіи, которое имъ впервые придалъ Бѣлинскій. Эта краткая исторія „русской литературы“ была откровеніемъ для своего времени. Она свергала авторитеты, освященные временемъ. Критикъ не боялся подходить со своими свѣжими воззрѣніями къ рутиннымъ взглядамъ, смѣло производилъ переоцѣнку всѣхъ цѣнностей.

Кантемира и Тредьяковскаго онъ уничтожилъ рѣзкимъ, саркастическимъ отзывомъ. Прославленныя сатиры перваго были скорѣе плодомъ ума и холодной наблюдательности, чѣмъ живого и горячаго чувства.

Тредьяковскій не имѣлъ ни ума, ни чувства, ни таланта. Ломоносовъ дорогъ критику, какъ доказательство того, что „человѣкъ есть человѣкъ во всякомъ состояніи“, что геній умѣетъ торжествовать надъ всѣми препятствіями, что русскій способенъ ко всему прекрасному и великому не менѣе всякаго европейца. Ломоносовъ — это Петръ нашей литературы. Но съ нимъ случилось то же, что и съ Петромъ. Прельщенный блескомъ иноземнаго просвѣщенія, онъ закрылъ глаза для родного. Онъ оставилъ безъ вниманія народныя пѣсни и сказки. Подражаніе погубило его. Его цвѣты ярки, роскошны, но не душисты; они безжизненны. Его языкъ не былъ чисто народнымъ. Создать „языкъ невозможно, ибо его творитъ народъ“. Сумароковъ при своей рабской подражательности не имѣлъ и искры ломоносовскаго таланта. Это былъ „жалкій писака“. Царствованіе Екатерины — величественная и смѣлая эпопея. Державинъ былъ первый народный оригинальный поэтъ, несмотря на подражательный характеръ его одъ: „уму русскому былъ данъ просторъ... великая жена умѣла сродниться съ духомъ своего народа“. Державинъ — „это полное выраженіе, живая лѣтопись, торжественный гимнъ, пламенный диѳирамбъ вѣка Екатерины“ съ его гордостью и побѣдами. Мы уже упоминали, что къ Фонвизину Бѣлинскій отнесся отрицательно. Его дураки смѣшны и отвратительны, потому что „они не созданія фантазіи, а слишкомъ вѣрные списки съ натуры“. Его умные—„куклы, говорящія заученныя правила благонравія“. И все это потому, что „авторъ хотѣлъ учить и исправлять“. Сочиненія Хераскова вполнѣ заслуженно канули въ Лету. Онъ не былъ поэтомъ. Карамзинъ отмѣтилъ своимъ именемъ цѣлую эпоху въ нашей словесности. Его вліяніе было огромно. Но онъ тоже не былъ народенъ. Реформа языка, произведенная имъ, была далека отъ совершенства. Онъ сдѣлалъ нашъ языкъ въ значительной сте-

пени сколкомъ съ французскаго, не прислушивался къ языку простолюдиновъ, не изучалъ родныхъ источниковъ и только въ своей исторіи исправилъ эту ошибку. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ рѣдко бывалъ искрененъ и естественъ. Слезливость нерѣдко портила лучшія страницы его исторіи. Его „Письма русскаго путешественника“ наполнены пустяками, разсказами о томъ, гдѣ и какъ онъ обѣдалъ, о томъ, что знаменитости, которыхъ онъ видѣлъ, всѣ добры и наслаждаются спокойствіемъ совѣсти и ясностью духа. Имя Карамзина безсмертно, но сочиненія его, кромѣ „Исторіи“, умерли и не воскреснутъ. Крыловъ—„геніальный поэтъ русскій“, продуктъ народнаго духа. Его басни — лучшее доказательство того, что литература непремѣнно должна быть народной, если хочетъ быть прочной и вѣчной. Жуковскій былъ Колумбомъ нашего отечества. Онъ указалъ ему на невѣдомую до тѣхъ поръ англійскую и нѣмецкую литературу. Его нельзя назвать подражателемъ. Онъ писалъ бы точно такъ же, если бы и не зналъ нѣмцевъ. Но у него нѣтъ міровыхъ идей. Онъ не былъ поэтомъ собственно русскимъ, „имя котораго можно было бы провозгласить на европейскомъ турнирѣ, гдѣ соперничествуютъ народными славами“. Третье десятилѣтіе XIX вѣка Бѣлинскій называетъ пушкинскимъ періодомъ. Онъ былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени. „Въ это десятилѣтіе мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы... Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взростивши, не взлѣлѣявши, не создавши сами“. Вотъ почему это время не оправдало надеждъ, которыми оно было встрѣчено. Уцѣлѣлъ одинъ Пушкинъ, всѣ другія имена исчезли. Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. „Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью принимать и отражать всѣ возможныя

ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка... Онъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества—но міра русскаго, но человѣчества русскаго". Однако въ послѣднихъ его произведеніяхъ критикъ видитъ свидѣтельство упадка его творчества. Пушкинъ царствовалъ цѣлое десятилѣтіе, но теперь „онъ умеръ или обмеръ на время". Общій выводъ критика: у насъ нѣтъ литературы. Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ,—вотъ всѣ ея представители. Новый періодъ, послѣ Пушкина, не имѣетъ главы, не имѣетъ физіономіи. Но этотъ выводъ не приводитъ критика въ отчаяніе. Онъ заканчиваетъ свою „Элегію" горячей вѣрой въ наступленіе вѣка просвѣщенія и въ близкій расцвѣтъ настоящей литературы, которая явится выраженіемъ духа могучаго русскаго народа.

Таковы мысли, высказанныя въ этой знаменитой статьѣ. Въ настоящее время историко-литературная критика утверждаетъ, что эти мысли почти цѣликомъ можно найти у предшественниковъ Бѣлинскаго и что безспорную личную собственность великаго критика составляетъ только характеристика Марлинскаго [1]). И, тѣмъ не менѣе, „Элегія" была все-таки однимъ изъ тѣхъ событій, съ которыхъ начинается новая литературная эра. Съ нея можно начать исторію того гуманистически-западническаго направленія въ литературѣ, которое здѣсь намѣчено въ своихъ основныхъ чертахъ, несмотря на спутанность понятій и признаки будущаго славянофильства. Развитіе и разработка этого направленія составляли задачу дальнѣйшей дѣятельности самого Бѣлинскаго и послѣдующей литературы. Значеніе этой статьи опредѣляется какъ-разъ тѣмъ, что шло вразрѣзъ съ основной идеей фило-

---

[1]) См. предисловіе *С. А. Венгерова* къ Полн. собр. сочин. Бѣлинскаго.

софіи Бѣлинскаго. Мысль о первенствующемъ значеніи надземной „божественной идеи“ страннымъ образомъ породила въ критикѣ пламенный интересъ къ этой землѣ, страстное вмѣшательство въ ея злобу дня. Вчитайтесь въ эти метафизическія мечтанія и вы увидите, какой реалистъ говоритъ здѣсь языкомъ метафизика. Туманная теорія народности не помѣшала великому критику впервые геніально отличить тѣхъ поэтовъ, которымъ мы обязаны созданіемъ нашей національной литературы. Шеллинговская эстетика съ метафизическими задачами, поставленными ею искусству, непонятнымъ образомъ помогла Бѣлинскому вѣрно опредѣлить мѣсто почти каждаго изъ нашихъ писателей въ исторіи литературы. Наконецъ, самое цѣнное качество этой статьи — біеніе могучаго общественнаго пульса, боевой тонъ критика. Какимъ образомъ примиряющій взглядъ на природу и жизнь породилъ эту проповѣдь борьбы? Какимъ путемъ изъ спекулятивнаго метафизическаго отношенія къ вселенной родилась эта жажда активнаго дѣла здѣсь, на землѣ? Бѣлинскій не обладалъ достаточными знаніями. Онъ часто не видѣлъ трещинъ между своими отправными философскими точками зрѣнія, съ одной стороны, и своими благородными общественными стремленіями — съ другой. Онъ мѣнялъ эти отправныя точки зрѣнія, но его общественный пылъ, его чувство дѣйствительности и реальной правды никогда не покидало его. Здѣсь объ измѣнахъ не можетъ быть и рѣчи. Отъ „Литературныхъ мечтаній“ до послѣдняго издыханія Бѣлинскій былъ борцомъ. Его ученіе о примиреніи служило только отвѣтомъ на внутреннюю потребность его духа къ единству, къ философскому монизму. Оно было великимъ недоразумѣніемъ, теоретической несостоятельностью, которая нерѣдко сбивала критика въ его жизненныхъ идеяхъ, въ его откликахъ на злобу дня. Но въ общемъ оно никогда не

могло убить въ немъ чувства живой дѣйствительности и страстнаго стремленія къ общественному благу. Онъ могъ въ своей „Элегіи“ идеализировать русскую дѣйствительность, прославлять во славу міровой гармоніи и бюрократію, и сложившійся крѣпостной строй, но всякому читателю ясно, что основной тонъ статьи звучалъ въ этихъ строкахъ: „Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ... не забывай, что жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба, не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего „*я*“ въ чувствѣ любви. Итакъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжныхъ пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное „*я*“, дыши для счастья другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего „*я*“, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!.. Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?.. Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь—онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приноситъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни свой *хребетъ*, ползи змѣею между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титлъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ и голодъ, что такое угнетеніе и оскорбленіе, все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность, услужливость, отовсюду лесть и хваленія, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ

сравнитъ тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышанье, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ разыгрываться ужасная, кровавая драма; что... вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтломъ пиру и на мягкомъ ложѣ сна; что тѣни погубленныхъ тобою окружатъ твой болѣзненный одръ? Зато весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними".

Мы съ умысломъ остановились на первомъ крупномъ произведеніи Бѣлинскаго такъ подробно, потому что оно явилось предтечей и тѣхъ идеаловъ, за которые почти до нашихъ дней боролась русская литература, и тѣхъ методовъ, которыми она пользовалась въ этой борьбѣ. Какъ ни мѣнялись въ послѣдующія десятилѣтія наши литературныя направленія, русская интеллигенція надолго усвоила духъ, впервые такъ ярко проявившійся въ этой статьѣ. Необходимо теперь же установить основные признаки этого либерально-идеалистическаго теченія, на смѣну которому впослѣдствіи явилось матеріалистически-соціальное, вступившее съ нимъ въ ожесточенную борьбу въ наши дни. Въ своихъ стремленіяхъ это направленіе всегда исходитъ изъ вѣры въ абсолютныя идеи истины, добра и красоты. Откуда бы ни заимствовались эти идеи, у Шеллинга или Гегеля, изъ человѣческаго разума или изъ внутренняго чувства справедливости, онѣ всегда апріорны, и имъ всегда придается абсолютный характеръ. Впослѣдствіи идеалистическое направленіе стало исходить въ своихъ требованіяхъ и идеалахъ изъ другихъ посылокъ, изъ фактовъ дѣйствительности, изъ изученія русской жизни, но оно все-таки опиралось главнымъ образомъ на идеи общей правды, на незыблемую вѣру въ справедливость и

истину, во имя которыхъ требовало преобразованія этой дѣйствительности. Впослѣдствіи оно въ значительной степени признало существованіе частныхъ, относительныхъ, групповыхъ представленій объ истинѣ и справедливости, оно признало измѣнчивость, безпрерывное развитіе, эволюцію нравственныхъ и научныхъ представленій общества, но старалось согласовать эту измѣнчивость съ своей по-прежнему неотвергнутой вѣрой въ неизмѣнный абсолютный характеръ нравственныхъ и научныхъ идей. Матеріалистическое направленіе, напротивъ того, отвергло всякія апріорныя построенія и вѣрованія и приняло за исходную точку только дѣйствительность, только факты. Вотъ почему для матеріалистовъ нѣтъ общей справедливости и общей истины. Матеріалисты будутъ иронизировать впослѣдствіи надъ общими понятіями либерализма о честности, добрѣ и правдѣ, какъ надъ субъективными, безсодержательными словами. Матеріалисты, какъ увидимъ впослѣдствіи, не знаютъ двухъ главныхъ признаковъ идеализма: апріорности и абсолютности идей. Матеріалистическія идеи, во-первыхъ, получаются только какъ выводъ, добытый путемъ опыта и наблюденія надъ природой и жизнью. Во-вторыхъ, матеріалисты не придаютъ имъ абсолютнаго значенія. Всякая истина для нихъ временная, относительная истина, остающаяся истиной до тѣхъ поръ, пока существуютъ породившія ее реальныя условія.

Этимъ теоретическимъ различіемъ въ значительной степени обусловливается и различіе въ практическихъ, общественныхъ воззрѣніяхъ обѣихъ группъ. Если идеалистическое міровоззрѣніе тѣсно связано съ либерализмомъ, съ борьбой за освобожденіе человѣческой личности, за политическую свободу, за свободу совѣсти и мысли, то матеріалистическое пониманіе въ большей степени послужило подкладкой для соціалистической программы, оно тѣсно связано съ

борьбой за экономическую структуру общества, соотвѣтствующую условіямъ момента и потребностямъ этого общества, за организацію эксплуатируемыхъ общественныхъ классовъ. И въ самомъ методѣ борьбы оба теченія окрашены въ особые цвѣта. Идеализмъ въ борьбѣ за освобожденіе человѣчества придаетъ преобладающее значеніе идеямъ и ихъ проводнику — мыслящей личности. Матеріализмъ выдвигаетъ на первый планъ интересъ, соотношеніе реальныхъ силъ въ обществѣ, чѣмъ опредѣляется и самый общественный строй. Въ дѣятельности идеалистовъ и либераловъ преобладаетъ принципъ „tout pour le peuple", въ дѣятельности матеріалистовъ и соціалистовъ — формула „tout par le peuple".

Отмѣтивъ эти отличительные признаки обѣихъ группъ, нельзя не сдѣлать существенныхъ оговорокъ. Мы указывали только преобладающія тенденціи, но не претендуемъ на ихъ абсолютную вѣрность. Особенно къ концу XIX вѣка оба теченія во многомъ сблизились. Идеализмъ въ своихъ теоретическихъ построеніяхъ не ограничивался только субъективными и апріорными построеніями и отводилъ видное мѣсто фактамъ и ихъ строго-научному изслѣдованію. Съ другой стороны, матеріалисты не всегда были свободны отъ субъективизма. Практическая программа либерализма тоже не всегда ограничивалась субъективными „интеллигентскими" представленіями о справедливости. Она не разъ пыталась стать на сторону принципа „par le peuple" и даже оспаривала у соціализма его притязанія на монополію демократизма. Соціализмъ, съ другой стороны, не разъ былъ повиненъ въ примѣненіи старыхъ пріемовъ интеллигентскаго руководительства массами. Былъ у насъ и періодъ утопическаго соціализма и идеалистическаго матеріализма, когда оба теченія переплетались между собой, когда идеалистическій субъективизмъ старались примирить съ матеріали-

стически-объективнымъ пониманіемъ природы и жизни. Но, несмотря на всѣ уклоненія, въ исторіи русской общественно-литературной мысли XIX и начала XX вѣка эти два теченія являются основными. Даже оригинальное русское направленіе, извѣстное подъ именемъ славянофильства, въ значительной степени распадается на эти же два теченія. Въ первой стадіи своего развитія славянофильство носитъ отпечатокъ идеалистическаго либерализма. Затѣмъ изъ него же выходятъ ростки своеобразнаго національнаго соціализма. Намъ нечего прибавлять, что изъ этихъ двухъ основныхъ теченій русской научной и общественной мысли первое оставалось господствующимъ до нашего времени. Вся литература, начиная съ 30-хъ и 40-хъ годовъ, носитъ печать либерализма и идеализма. Второе теченіе рано начало пробиваться среди перваго, сначала тонкими струями, въ наши дни широкимъ потокомъ...

Бѣлинскій стоитъ во главѣ перваго теченія, породившаго ту богатую литературу, которая сразу поставила Россію на одинъ уровень съ великими культурными народами. Не разъ будетъ Бѣлинскій измѣнять свои взгляды, не разъ въ его (особенно послѣднихъ) произведеніяхъ мы замѣтимъ неясное предчувствіе будущаго, начало реализма, переходящаго въ матеріализмъ, и начало общественнаго міросозерцанія, сбивающагося на соціализмъ. Но въ цѣломъ онъ всегда идеалистъ и либералъ. Его никогда не покидаетъ пламенная вѣра въ апріорныя истины добра и правды, живущія въ его великомъ сердцѣ. Онъ всегда остается прежде всего апологетомъ правъ личности.

Только, сдѣлавъ это отступленіе, мы можемъ перейти къ характеристикѣ послѣдующихъ идей Бѣлинскаго, не отказываясь отъ традиціоннаго дѣленія всей его дѣятельности на два періода: московскій и петербургскій. Въ теченіе перваго преобладаетъ теорія, жажда гармоніи, философскаго монизма, единства. Въ теченіе

второго — интересъ къ дѣйствительности, борьба съ объективно-примирительнымъ міросозерцаніемъ, жажда дѣла. Но не забудемъ, что Бѣлинскій оставался самимъ собою въ теченіе всей жизни.

VI.

Періодъ „фихтіанства".—Культъ „я" въ этотъ періодъ.—Статья о системѣ нравственной философіи Дроздова, какъ отраженіе этого періода.—Главныя мысли этой статьи: преклоненіе предъ апріорнымъ методомъ познанія и отрицаніе эмпирическаго метода; сознаніе, какъ основа нравственности; безпрерывное совершенствованіе субъекта, какъ основная задача человѣка.—Гегеліанскій періодъ. — Діалектическій методъ и „разумная дѣйствительность"—главныя гегеліанскія идеи, воспринятыя Бѣлинскимъ.—Вопросъ о томъ, правильно ли понялъ Бѣлинскій Гегеля. — Идеализація николаевскаго режима въ письмахъ этого періода.—Статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцелѣ, какъ отраженіе гегеліанскаго періода. — Политическія и эстетическія идеи, высказанныя въ этихъ статьяхъ.

Статьей „Литературныя мечтанія" открывается періодъ философскихъ исканій Бѣлинскаго. Нетрудно видѣть, что эта статья была отраженіемъ шеллингіанскаго періода въ исторіи развитія Бѣлинскаго. Она проникнута тѣмъ свѣтлымъ настроеніемъ, которое царило въ этой философіи, превращавшей міръ въ волшебную гармонію, въ твореніе великаго художника. Она требовала отъ человѣка экстатическаго созерцанія, заставляла его закрывать глаза на не цѣлесообразность и диссонансы, заполняя пробѣлы созданіями фантазіи. Это настроеніе было общимъ настроеніемъ друзей Бѣлинскаго, и онъ былъ только наиболѣе яркимъ его глашатаемъ. Мы уже приводили слова біографа Станкевича о томъ, какимъ торжествомъ, какимъ „свѣтлымъ радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возмож-

ность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому навсегда, пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи и вѣчнаго разума".

Но уже въ „Литературныхъ мечтаніяхъ" гармонія шеллингіанскаго міросозерцанія Бѣлинскаго, какъ мы видѣли, нарушается призывами къ борьбѣ, болѣзненнымъ воплемъ по поводу зла, царящаго въ видимой дѣйствительности. И эта дисгармонія являлась залогомъ того, что Бѣлинскій отброситъ систему, какъ только убѣдится, что не все въ мірѣ есть дыханіе единой разумной идеи. Да и не была ли вообще вся эта погоня за нѣмецкими отвлеченными системами и быстрое отреченіе отъ нихъ въ концѣ-концовъ свидѣтельствомъ того, что Бѣлинскій инстинктивно искалъ въ нихъ не отвлеченій, не метафизическихъ откровеній, а только оружія для борьбы съ царящимъ зломъ? Эта мысль напрашивается сама собою, когда мы видимъ, какъ мучительно доставался Бѣлинскому переходъ отъ одной системы къ другой. До конца 30-хъ годовъ, т.-е. до времени переѣзда, Бѣлинскій охваченъ безпокойнымъ, лихорадочнымъ исканіемъ той истины, которая мелькала передъ его воображеніемъ въ вопросахъ философіи и искусства.

Шеллинга смѣнилъ Фихте.

Письма, относящіяся къ 1836 — 1837 годамъ, говорятъ объ этомъ новомъ кратковременномъ и напряженномъ увлеченіи. Подъ вліяніемъ Бакунина Бѣлинскій знакомится въ это время съ философіей Фихте и отдается ей со свойственной ему горячностью весь цѣликомъ. „Жизнь идеальная и жизнь дѣйствительная всегда двоились въ моихъ понятіяхъ",—говоритъ Бѣлинскій въ одномъ письмѣ къ Бакунину. Но, подъ вліяніемъ Фихте, онъ убѣдился, что „идеальная-то

жизнь есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ-называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота". Онъ говоритъ, что „уцѣпился за фихтіанскій взглядъ съ энергіей, съ фанатизмомъ", что Бакунинъ „первый уничтожилъ въ моемъ понятіи цѣну опыта и дѣйствительности, втащивъ меня въ фихтіанскую отвлеченность". Дѣйствительность исчезла для Бѣлинскаго. Она стала призракомъ. Осталось только *я*, осталась только мысль. „Міръ или вселенная есть Его (Бога) храмъ, а душа и сердце человѣка или, лучше сказать, внутреннее *я* человѣка есть его алтарь, престолъ, святая святыхъ. Итакъ, ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи его въ любви своей... Внѣ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ. Тѣло твое сгніетъ, но твое *я* останется, слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но *я* твое существенно и вѣчно... Что важнѣе: идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи". Вся эта тирада не что иное, какъ доведенное до своего логическаго конца ученіе Фихте о томъ, что вселенная есть порожденіе нашего *я*.

Подобно тому какъ „Литературныя мечтанія" были лучшимъ отраженіемъ шеллингіанства Бѣлинскаго, такъ въ статьѣ о „Системѣ нравственной философіи" Дроздова можно уловить отраженіе фихтіанскихъ идей.

Бѣлинскій въ этой статьѣ выступаетъ прежде всего сторонникомъ принципа прирожденныхъ идей и апріорнаго метода.—Есть, говоритъ онъ,—два способа изслѣдованія истины: *a priori* и *a posteriori*, т.-е. изъ чистаго разума и изъ опыта. Критикъ становится на сторону перваго, категорически отвергнувъ эмпирическій ме-

тодъ изслѣдованія. Должно факты объяснять мыслью, а не мысль выводить изъ фактовъ. Иначе матерія будетъ началомъ духа, а духъ — рабомъ матеріи. Если какіе-нибудь факты противорѣчатъ апріорнымъ построеніямъ, это доказываетъ только, что факты ложны. „Напримѣръ, я убѣжденъ,—говоритъ Бѣлинскій,—что поэзія есть безсознательное выраженіе творящаго духа и что, слѣдовательно, поэтъ, въ минуту творчества, есть существо болѣе страдательное, нежели дѣйствующее, а его произведенія есть уловленное видѣніе, представшее ему въ свѣтлую минуту откровенія свыше, слѣдовательно, оно не можетъ быть выдумкой его ума, сознательнымъ произведеніемъ его воли". Это свое апріорное убѣжденіе Бѣлинскій объявляетъ абсолютной истиной и не признаетъ поэзіи ни въ чемъ, что „не создано по этому закону". Но, скажутъ мнѣ, такія-то и такія-то произведенія не подходятъ подъ этотъ законъ?—Слѣдовательно, онѣ—ложны,—отвѣчаю я.—Но вѣрно ли ваше начало?—Опровергните его! — Бѣлинскій былъ законченнымъ человѣкомъ не только въ истинѣ, но и въ своихъ заблужденіяхъ. Рѣдко субъективный произволъ, на которомъ основывается метафизическое мышленіе, обнаруживался съ такой силой, какъ въ этомъ краткомъ гипотетическомъ діалогѣ. Я отвергаю и называю ложью все, что мнѣ не нравится. Я называю абсолютной истиной все, что кажется мнѣ таковой. Догматизмъ докантовской метафизики и методы философастовъ, приписывающихъ абсолюту все, что имъ заблагоразсудится, воскресли въ этихъ словахъ Бѣлинскаго. И, тѣмъ не менѣе, критикъ убѣжденъ, что именно этотъ методъ ведетъ къ познанію истины. Умозрѣніе,—говоритъ онъ,—всегда основывается на законахъ необходимости, а эмпиризмъ — на условныхъ явленіяхъ. Математика, точная и положительная наука, выведена изъ законовъ чистаго разума. Истина: $2 \times 2 = 4$, узнана не изъ опыта, а „изъ духа перенесена

въ опытъ". Всѣ гипотезы астрономіи основаны на умозрѣніи. Два величайшихъ открытія — Америка и планетная система — сдѣланы *a priori*. Въ настоящее время нѣтъ надобности приводить доводовъ эмпириковъ и позитивистовъ въ пользу того, что всѣ эти мнимыя апріорныя истины являются результатомъ опыта. Эти доводы слишкомъ хорошо извѣстны [1]).

Бѣлинскій возстаетъ даже противъ попытокъ соединенія умозрительнаго и эмпирическаго метода. Они исключаютъ другъ друга. Единственное, что онъ допускаетъ,—это—провѣрку умозрѣнія опытомъ. „Если умозрѣніе вѣрно, то опытъ непремѣнно долженъ подтверждать его въ приложеніи". Казалось бы, отсюда ясно слѣдуетъ, что опытъ остается единственнымъ несомнѣннымъ источникомъ познанія, такъ какъ онъ всегда къ нашимъ услугамъ для провѣрки истины. Но Бѣлинскій выводитъ отсюда какъ-разъ совершенно противоположное заключеніе.

Духомъ фихтіанства проникнуты и нравственныя воззрѣнія этой статьи. Для него въ нравственныхъ вопросахъ сознаніе играетъ первостепенную роль. „Совѣсть добрая есть состояніе сознанія, злая—состояніе безсознанія". И здѣсь сознающій себя субъектъ является исходнымъ пунктомъ міровоззрѣнія Бѣлинскаго. Человѣкъ созданъ для сознанія и потому можетъ быть счастливъ только вслѣдствіе сознанія; слѣдовательно, сознаніе есть его естественное, нормальное, а потому и блаженное состояніе, которое проявляется въ равновѣсіи человѣка самому себѣ, въ мирѣ и гармоніи съ самимъ собою; безсознательность же есть состояніе неестественное, болѣзненное, разрушающее равенство человѣка съ самимъ собою, миръ и гармонію его духа, слѣдовательно, разрушающее его

---

[1]) См., между прочимъ, книгу Дицгена „Сущность головной работы".

счастье. Тѣ, кто отрицаютъ существованіе совѣсти на основаніи „безконечной разности“ понятій о добрѣ и злѣ, впадаютъ въ ошибку. У насъ, напримѣръ, уваженіе къ родителямъ — одна изъ священныхъ обязанностей, а есть дикари, у которыхъ дѣти вѣшаютъ родителей на деревьяхъ. Но эти дикари дѣйствуютъ не по внушенію своей совѣсти, а вслѣдствіе неправильныхъ понятій своего разума, и они правы передъ своей совѣстью. Совѣсть есть только слѣдствіе сознанія хорошаго или дурного поступка, а не самое сознаніе, и потому не можетъ направлять нашей дѣятельности, которая должна опредѣляться сознаніемъ или разумомъ. Не совѣстью, а сознаніемъ опредѣляемъ мы, что хорошо или дурно. Итакъ, у всѣхъ народовъ могутъ быть разныя понятія о добрѣ и злѣ, смотря по степени ихъ сознанія, но совѣсть вездѣ одна и та же. Степень сознанія — единственный критерій человѣческаго достоинства. Зародышъ всего прекраснаго можетъ скрываться въ каждомъ человѣкѣ, но пока онъ не разовьется сознаніемъ, всѣ хорошіе поступки „будутъ плодомъ его животности, будутъ безсознательны“. Люди, не развившіе этого зародыша сознаніемъ, не имѣютъ никакой цѣны, потому что добрые поступки — слѣдствіе ихъ организма, а не воли.

Высшая задача человѣка — безпрерывное стремленіе къ совершенству. Таковъ основной законъ нравственности. Причина этого закона заключается въ немъ же самомъ, т. е. въ томъ, что „человѣкъ есть органъ сознанія природы, сосудъ духа Божія“. Человѣкъ носитъ въ душѣ своей всѣ зародыши, всѣ элементы той степени сознанія, до которой ему назначено достигнуть. Толчкомъ къ такому совершенствованію служитъ симпатія, связывающая людей между собою, тождественность стремленій и цѣлей человѣка съ стремленіями и цѣлями другихъ людей. Каждый человѣкъ развиваетъ одну сторону сознанія, а „воз-

можно-конечное и возможно-всеобщее сознаніе“ должно произойти не иначе, какъ вслѣдствіе этихъ разностороннихъ сознаній. Поэтому полное и совершенное сознаніе возможно только для всего человѣчества и будетъ „результатомъ соединенныхъ трудовъ, вѣковой жизни и историческаго развитія человѣческаго духа. Всякій индивидъ есть часть великаго цѣлаго. Развивая свое собственное сознаніе, онъ необходимо отдаетъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Каждый человѣкъ долженъ любить человѣчество какъ идею полнаго развитія сознанія, которое составляетъ и его собственную цѣль, т.-е. каждый человѣкъ долженъ любить въ человѣчествѣ свое собственное сознаніе въ будущемъ“.

Идея личнаго совершенствованія, культъ сознающаго себя субъекта, преклоненіе передъ человѣческимъ *я*, въ кратковременный періодъ увлеченія фихтіанствомъ такъ же мощно захватили Бѣлинскаго, какъ восторженное эстетическое созерцаніе, преклоненіе передъ красотой природы и искусствомъ царили надъ нимъ въ періодъ его симпатій къ Шеллингу. И подобно тому, какъ въ періодъ шеллингіанства въ гармоническомъ, полномъ свѣтлой поэзіи міровоззрѣніи Бѣлинскаго прорывался тайный скорбный крикъ о страдающемъ человѣчествѣ, такъ и фихтіанство въ изложеніи знаменитаго критика пріобрѣло ту же благородную окраску. Въ заключительныхъ пламенныхъ строкахъ, напоминающихъ скорѣе религіозный гимнъ, чѣмъ философское разсужденіе, въ мысли объ абсолютномъ сознаніи, съ которымъ сливается субъективное, земной человѣкъ съ его желаніями, горестями и радостями выдвигается какъ центральная цѣль. Стремленіе къ абсолютному не заглушаетъ мысли о земномъ, относительномъ. Дѣйствительность, этотъ призракъ, рожденный субъектомъ, становится чѣмъ-то главнымъ, и само абсолютное превращается въ свѣ-

точъ, озаряющій его. Въ самыхъ абстрактныхъ стремленіяхъ Бѣлинскаго всегда чувствовалось біеніе могучаго общественнаго пульса, и мечты о вѣчности сливались у него съ напряженной думой о скорбной драмѣ нашего временнаго существованія: „Не напрасно всѣ міры связаны между собою электрической цѣпью любви и сочувствія, и все живущее, все дышащее составляетъ звено въ этой безконечной цѣпи, не напрасно человѣкъ и родится, и умираетъ, и веселится, и скорбитъ, и горячо любитъ милое, и горько рыдаетъ, лишаясь его, и не переживаетъ своихъ склонностей, и, стоя на прагѣ вѣчности, вспоминаетъ объ нихъ еще живѣе, и рыдаетъ объ нихъ еще горше, и сладки ему слезы его; не напрасно человѣкъ стремится къ какому-то блаженству и ищетъ его всю жизнь, ищетъ его и въ шумныхъ наслажденіяхъ юности, и въ безумномъ упоеніи пировъ, и въ ужасахъ кровавыхъ битвъ, и въ тревогахъ опасностей, и въ обольщеніяхъ славы, и въ очарованіи власти, и въ нѣгѣ бездѣйствія, и въ сладости труда, и въ свѣтѣ знанія, и въ наслажденіи искусствами, и въ любви другого сердца, и... нерѣдко въ тиши монастырской кельи... Вѣчность не мечта, не мечта и *жизнь, которая служитъ къ ней ступенью!*“. Жизнь изъ призрака стала ступенью къ вѣчности, но такой важной ступенью, передъ которой померкъ яркій свѣтъ самой вѣчности! „Историческая заслуга кружка Бѣлинскаго, — справедливо замѣчаетъ Пыпинъ,—въ томъ и заключалась, что онъ понималъ свою философію не какъ школьную теорію, непричастную къ жизни, а, напротивъ, переживалъ ее какъ догматъ, какъ жизненную истину въ полномъ ея примѣненіи“.

Фихте смѣнилъ Гегель.

Уже въ письмахъ, въ которыхъ Бѣлинскій говоритъ о своихъ увлеченіяхъ фихтіанствомъ, слышатся временами отзвуки гегелевскихъ идей. Вообще фихті-

анство Бѣлинскаго было кратковременнымъ. Оно врывается въ кругъ его философскихъ исканій въ 1836 году и уже въ 1837 году чувствуется, что скоро новый кругъ идей оттѣснитъ систему Фихте. Уже въ письмѣ отъ 21-го сентября 1837 года Бѣлинскій упоминаетъ о томъ, какое вліяніе начиналъ оказывать Гегель на міровоззрѣніе кружка. „Катковъ, столкнувшись съ Егоромъ Ѳеодоровичемъ (такъ въ кружкѣ называли Гегеля), разбилъ впрахъ мою прекрасную теорію... Катковъ читаетъ эстетику Гегеля и въ восторгѣ отъ нея“.

Мы видѣли, что фихтіанство уносило мысль членовъ кружка отъ дѣйствительности и борьбы съ нею. Если дума о страданіяхъ человѣчества не покидала Бѣлинскаго въ теченіе всего московскаго періода его жизни, то тѣмъ не менѣе его положительные идеалы до начала 40-хъ годовъ заключались въ страстномъ стремленіи къ „абсолютной“ жизни, исполненной одними высшими духовными интересами знанія искусства, возвышенной любви и, сколько возможно, удаленной отъ всякаго общенія съ житейской „пошлостью“. Отсюда вытекало довольно равнодушное и консервативное отношеніе къ тому, что происходило въ жизни общества и государства. Если фихтіанство кружка и налагало на личность извѣстный долгъ по отношенію къ окружающему міру, то этотъ долгъ заключался только въ постоянномъ личномъ самоусовершенствованіи. Развивая свое собственное сознаніе,—училъ Бѣлинскій,—всякій индивидъ необходимо отдаетъ его въ общую сокровищницу человѣческаго духа. Другихъ обязанностей,—обязанностей активнаго вмѣшательства въ общественную жизнь фихтіанство, въ толкованіи кружка, не возлагало на личность. Если фихтіанское ученіе было воспринято Бѣлинскимъ въ духѣ общественнаго индифферентизма, то гегелевская система поставила его во враждебное отношеніе ко всякой борьбѣ, ко всякому активному вмѣшательству въ жизнь,

ко всякому протесту противъ ея темныхъ сторонъ. Изъ гегелевскихъ идей наибольшее вліяніе оказала идея діалектическаго развитія, согласно которой всякое явленіе есть необходимая стадія въ процессѣ самопознанія абсолютнаго духа. Эта мысль, воспринятая слишкомъ прямолинейно, требовала оправданія всего существующаго. Возстать противъ того или иного явленія было равносильно возстанію противъ Абсолютнаго разума или Абсолютной идеи. Разъ дѣйствительность развивается согласно логическимъ законамъ, разъ въ вещахъ нѣтъ ничего, чего бы не было въ понятіяхъ о нихъ, и, обратно, въ понятіяхъ нѣтъ ничего, чего нѣтъ въ вещахъ, — то ясно, что дѣйствительное и разумное тождественны между собою. „Все дѣйствительное разумно и все разумное дѣйствительно", — эта знаменитая формула стала евангеліемъ нашихъ гегеліанцевъ. Они упустили изъ виду, что тотъ же діалектическій методъ, согласно которому всякое явленіе было необходимой стадіей, могъ лечь въ основу и всякаго протеста, какъ стадіи также необходимой. Они не уловили той стороны гегеліанства, которая дала Герцену право назвать ею алгеброй революціи, именно идеи безпрерывнаго развитія, идеи, враждебной застою и консерватизму, идеи, которая превращала исторію человѣческаго общества въ исторію безконечной борьбы, а не въ механическій процессъ.

Если, по логикѣ Гегеля, все дѣйствительное разумно, то далеко не все существующее дѣйствительно, какъ отмѣтилъ еще Бельтовъ. Дѣйствительное выше просто существующаго („die Wirklichkeit steht höher als die Existenz"). Случайное существованіе не есть дѣйствительное существованіе. Необходимо не только то, что существуетъ: всемірный духъ своей безпрерывной кротовой работой подрываетъ существующее, превращаетъ его въ простую, лишенную дѣй-

ствительнаго содержанія форму и дѣлаетъ необходимымъ появленіе новаго, роковымъ образомъ сталкивающагося со старымъ. Философія Гегеля по существу вовсе не была философіей застоя. Мы видѣли, что въ самой Германіи она привела къ образованію правой и лѣвой гегеліанской школы. И у насъ въ Россіи Герценъ и Бѣлинскій сдѣлали изъ нея діаметрально противоположные выводы. Источникъ этого двойственнаго толкованія скрывается во внутреннемъ противорѣчіи самого гегеліанскаго ученія, которое, съ одной стороны, основывалось на идеѣ безконечнаго развитія, а съ другой—на идеѣ, что абсолютъ уже найденъ, и дальнѣйшему развитію нѣтъ мѣста. Вотъ почему вопросъ о вліяніи Гегеля на Бѣлинскаго нельзя рѣшать въ томъ смыслѣ, что Гегель создалъ Бѣлинскаго извѣстнаго періода или что безъ Гегеля этого періода въ развитіи Бѣлинскаго не существовало бы совсѣмъ. Гегеліанство, а особенно своеобразный, односторонній смыслъ, вложенный въ него Бѣлинскимъ, было удобной формулой, въ которую облекалось настроеніе нашего писателя въ концѣ 30-хъ годовъ. И шеллингіанство, и ученіе Фихте, такъ же какъ и гегелевская система, несмотря на все несходство этихъ ученій, служили для Бѣлинскаго одинаково удобными формулами, въ которыя облекался его страстный порывъ къ истинѣ, его пламенное стремленіе найти гармонію и красоту внѣ окружающей дѣйствительности, въ которой не было ни красоты, ни гармоніи, наконецъ, его самообманъ, его вѣра въ то, что онъ, болѣзненно чуткій писатель съ могучимъ соціальнымъ инстинктомъ, съ неутолимой жаждой борьбы и дѣятельности, можетъ заглушить въ себѣ голосъ этого инстинкта и уничтожить эту жажду. Вотъ почему безплодны всѣ споры о томъ, понялъ или не понялъ Бѣлинскій Гегеля. И въ своихъ шеллингіанскихъ, и въ своихъ гегеліанскихъ увлеченіяхъ онъ оставался самимъ собою—Бѣ-

линскимъ перваго періода съ его вѣрой въ возможность примиренія идеала и дѣйствительности, оставался великимъ русскимъ общественникомъ, загнаннымъ въ зачарованный кругъ абстракцій тогдашними цензорами, зорко охранявшими русскую жизнь отъ прикосновенія свѣтлаго ума и благороднаго сердца. „Допустимъ,—справедливо замѣчаетъ Венгеровъ,—что Бѣлинскій не понялъ Гегеля и даже совершенно „извратилъ“ его. Что бы изъ этого слѣдовало? Единственно тотъ фактъ вполнѣ второстепеннаго значенія, что умственная жизнь русской интеллигенціи 40-хъ годовъ шла безъ воздѣйствія на нее подлинной гегелевской философіи... Въ современной Бѣлинскому Франціи и Англіи Гегеля совсѣмъ не знали, и это не мѣшало имъ развить первостепенную культуру. Обошлась бы, слѣдовательно, и Россія безъ „правильно“ понятаго гегеліанства. Весь интересъ „правильно“ или „неправильно“ понятаго русскаго гегеліанства только въ томъ и заключается, поскольку онъ является *русскимъ* умственнымъ теченіемъ“.

Примиреніе съ русской дѣйствительностью, съ ужасами николаевскаго режима, началось для Бѣлинскаго еще до того момента, когда Гегель всецѣло овладѣлъ станкевичевскимъ кружкомъ. Уже въ письмѣ отъ 7-го августа 1837 г., которое, какъ мы видѣли, было яркимъ отраженіемъ „фихтіанства“ Бѣлинскаго, заключается остовъ мыслей, развитыхъ впослѣдствіи въ „Бородинской годовщинѣ“,—мыслей, которыя лежатъ темнымъ пятномъ на памяти великаго критика, являются девизомъ нѣсколькихъ печальныхъ лѣтъ его литературной дѣятельности, той эпохи, когда Бѣлинскій доходилъ до апологіи деспотизма, проповѣди рабства и дикой вражды къ прогрессу. Въ этомъ письмѣ онъ — глашатай идеаловъ офиціальной народности. „Франція есть страна опыта, примѣненія идей къ жизни. Совсѣмъ другое назначеніе Россіи“. Въ этомъ

письмѣ онъ — апологетъ рабства и кнута для Россіи. „Мы еще не имѣемъ правъ, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу—значитъ погубить его. Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи свободу—значитъ погубить Россію". Въ этомъ письмѣ Бѣлинскій—скептикъ, не вѣрящій въ русскій народъ, въ его здравый смыслъ и добрые инстинкты. Глубокое презрѣніе къ народу звучитъ въ слѣдующихъ словахъ, въ которыхъ авторъ письма выражаетъ бюрократическую вѣру въ спасительную силу опеки. „Въ понятіи нашего народа *свобода* есть воля, а воля—озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣжалъ бы онъ пить вино, бить стекла, вѣшать дворянъ, которые бреютъ бороду и ходятъ въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ". Всю надежду Бѣлинскій возлагаетъ на просвѣщеніе, а не на перевороты и конституціи. Николаевское правительство представляется ему идеаломъ правительства. Оно запрещаетъ писать противъ крѣпостного права а само „исподволь освобождаетъ крестьянъ". Все идетъ въ Россіи къ лучшему. Тирановъ-помѣщиковъ становится все меньше. Когда-то паденіе при дворѣ сопровождалось ссылкой въ Сибирь, а теперь — „много-много ссылкой въ свою деревню". Когда-то осуждали на четвертованіе фельдмаршаловъ, а теперь „и насъ съ тобою, людей совершенно ничтожныхъ въ гражданскомъ отношеніи", не будутъ четвертовать, даже если бы „мы были достойны этого". Самодержавная власть даетъ свободу думать и мыслить. Она не позволяетъ вмѣшиваться въ ея дѣла, громко говорить, переводить книги, но она пропускаетъ послѣднія изъ-за границы. „*Все это хо-*

рошо и законно, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ". Правительство не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, но онѣ „послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей". Зато оно допускаетъ изъ-за границы „все, что произведетъ германская мыслительность, самая свободная". Итакъ, къ чорту политику, да здравствуетъ наука. Къ чорту французовъ. Германія—вотъ Іерусалимъ новѣйшаго человѣчества".

Достаточно прочесть эти строки, чтобы убѣдиться, что не Гегель былъ причиной этого позорнаго политическаго индифферентизма, этой наивной идеализаціи николаевскаго режима. Этого режима одного было достаточно, чтобы временно затмить общественное сознаніе даже такого писателя, какъ Бѣлинскій. И когда явился на сцену Гегель, его удобная форма послужила только рамкой, въ которую легко можно было вставить свой политическій индифферентизмъ. „Новый міръ намъ открылся, — пишетъ въ 1839 году Бѣлинскій Станкевичу, вспоминая 1837 годъ. — Сила есть право, и право есть сила, — нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова — это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей; я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Слово „дѣйствительность" сдѣлалось для меня равносильно слову „Богъ"... Тотъ блаженнѣе, кто и кухню умѣетъ просвѣтлить мыслію безконечнаго". Философія Гегеля сразу придала смыслъ необходимости всему отрицательному: „штыку и мечу" и даже „кухнѣ". Она облекала въ систему, дѣлала элементомъ безконечнаго то, что жило въ душѣ Бѣлинскаго въ это время. Примиреніе съ дѣйствительностью стало частью, элемен-

томъ въ культѣ Абсолютнаго Разума. „Теперь, — пишетъ Бѣлинскій къ Бакунину 14-го августа 1838 г.,— когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ: что нѣтъ ложныхъ ошибочныхъ мнѣній, а есть моменты духа". Бѣлинскій даже не враждебенъ пошлымъ людямъ. „Имъ не дано жить въ духѣ... ихъ не должно ни ненавидѣть, ни презирать". *Дѣйствительность* стала идоломъ Бѣлинскаго. Онъ твердитъ это слово, „вставая и ложась спать". Оно пріучило его любить тѣхъ, кого онъ раньше ненавидѣлъ. Полный миръ снизошелъ въ его душу. „Дикость его натуры" стала исчезать. Въ это время онъ былъ ожесточенъ противъ Шиллера, котораго юношескія трагедіи „наложили на него дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ".

Статья „Литературныя мечтанія" была выраженіемъ шеллингіанскихъ симпатій Бѣлинскаго. Статья о системѣ нравственной философіи Дроздова была написана подъ вліяніемъ философіи Фихте. Періодъ „примиренія" и консерватизма, отмѣченный вліяніемъ Гегеля, вылился въ статьѣ „Бородинская годовщина". Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ пламенномъ и уродливомъ созданіи, завершающемъ періодъ философскихъ исканій, напомнимъ о другомъ кружкѣ, гдѣ шла совершенно иная работа. Правительство, которое, по словамъ Бѣлинскаго, пропускало въ Россію все, что „производила германская мыслительность", и строго оберегало Россію отъ соціальныхъ и политическихъ идей, идущихъ изъ Франціи, могло терпѣть друзей Станкевича съ ихъ философскими спорами, но не потерпѣло Герцена. И вотъ въ то время, когда Бѣлинскій мучительно гнался за абсолютомъ, Герценъ страдалъ въ ссылкѣ. Одинъ жилъ въ сферѣ абстрактныхъ умствованій, другой окунулся въ самую гущу жизни. Одинъ преклонялся передъ дѣйствительностью, другой переносилъ ея жестокіе удары. Когда Герценъ

вернулся изъ ссылки, Бѣлинскій столкнулся впервые съ противникомъ, равнымъ ему по силѣ. Оба кружка стояли лицомъ другъ къ другу. Одинъ презиралъ либеральныя увлеченія другого съ высоты своихъ абстрактныхъ исканій. Второй платилъ первому тѣмъ же презрѣніемъ за его заимствованный у Гегеля политическій квіетизмъ. Столкновеніе было неизбѣжно. Говорятъ, друзья Герцена поставили вопросъ рѣзко и прямо и потребовали у Бѣлинскаго отвѣта, какъ примирить его „разумную дѣйствительность“ съ безпросвѣтнымъ настоящимъ русскаго общества. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу тѣхъ натуръ, которыя не останавливаются на полпути. Онъ не боялся доводить свою мысль до ея логическаго конца. Онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ подтвердилъ всѣ послѣдствія своего взгляда.

Совершилось невѣроятное. Благороднѣйшій изъ русскихъ публицистовъ объявилъ себя единомышленникомъ режима гнета и насилія, мрачнѣе котораго не знало русское общество. Послѣ такого отвѣта все было кончено. Бѣлинскій и Герценъ стали врагами. Два писателя, имена которыхъ ставятся рядомъ во главѣ новаго пути, по которому пошла русская литература, были убѣждены, что дороги ихъ разошлись навсегда. Такъ, можетъ-быть, и случилось бы, если бы на мѣстѣ Бѣлинскаго былъ менѣе горячій искатель истины. Въ дѣйствительности столкновеніе оставило глубокій слѣдъ въ обоихъ противникахъ. Герценъ погрузился въ изученіе Гегеля, Бѣлинскій уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ сильно задумался. Вскорѣ мысль его приняла иное направленіе. „Бородинская годовщина“ была отвѣтомъ противникамъ по недоразумѣнію. Это было самое яркое выраженіе гегеліанскаго консерватизма. Прежде чѣмъ вступить на истинный путь, нужно было довести до абсурда свои заблужденія. Такова была натура Бѣлинскаго. По словамъ Панаева, Бѣлинскій

былъ въ лихорадочномъ состояніи, когда читалъ ему эту статью. Когда Панаевъ пытался сдѣлать возраженіе, Бѣлинскій перебилъ его: „Я знаю, что,—не договариваете,—меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убѣжденія, что-бъ обо мнѣ ни думали... Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!.. Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было или продать себя“... Въ сущности, 30-е годы завершаются въ дѣятельности Бѣлинскаго не одной, а тремя статьями: во-первыхъ, по поводу „Бородинской годовщины“ Жуковскаго, во-вторыхъ, по поводу „Очерковъ бородинскаго сраженія“ Глинки и, наконецъ, статьею „О Менцелѣ“. Вторая именно имѣется въ виду въ воспоминаніяхъ Панаева, приведенныхъ выше. Она получила наибольшую извѣстность. Но и другія двѣ не менѣе интересны для характеристики „примиренія“ Бѣлинскаго, особенно статья о Менцелѣ, которую Венгеровъ называетъ истинными „Геркулесовыми столбами“ гегеліанскаго періода. При этомъ Бѣлинскій нападаетъ здѣсь на Менцеля перваго періода, т.-е. либеральнаго нѣмецкаго писателя, а не на того, конечно, Менцеля, который впослѣдствіи былъ заклейменъ именемъ доносчика. Статьи о Бородинской годовщинѣ являются выраженіемъ патріотическаго энтузіазма Бѣлинскаго, родственнаго офиціальному патріотизму, провозглашенному Уваровымъ. Статья о Менцелѣ — гимнъ во славу чистаго самодовлѣющаго искусства, чуждаго общественнымъ идеямъ и нравственной проповѣди.

Бородинская битва для Бѣлинскаго имѣетъ двойное значеніе. Она—одно изъ великихъ историческихъ

событій, въ которыхъ раскрываются „безбрежныя равнины царства безконечнаго“. Во-вторыхъ, она—фактъ отечественной исторіи, поэтому „его субстанціальная родственность съ духомъ созерцающаго просвѣтлитъ до прозрачности его таинственную сущность“. Иначе говоря, если въ каждомъ событіи можно разглядѣть уголокъ абсолютнаго, то для русскаго въ такомъ великомъ русскомъ событіи „таинственная сущность“ становится ясной до прозрачности. Вотъ почему „Бородинская годовщина“ Жуковскаго и книга Глинки даютъ Бѣлинскому поводъ къ патріотическимъ изліяніямъ мистическаго характера. Эти статьи — своеобразное сочетаніе гегеліанства и офиціальнаго патріотизма. Ихъ главныя мысли слѣдующія. Государство не есть учрежденіе человѣческое. Народъ не есть отвлеченное понятіе. И первое, и второй суть элементы, имѣющіе высшее божественное происхожденіе. Все, что ни есть, — есть или являющійся разумъ (разумъ въ явленіи) или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума — сознавать дѣйствительность, а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, но не сочиняетъ языка, пишетъ трактатъ объ организаціи общества, но не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданское общество, которое устроится само собою безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно слагается. Хотя Бѣлинскій говоритъ далѣе объ органическомъ развитіи государства, о значеніи географическихъ и климатическихъ условій какъ исходнаго пункта жизни каждаго народа, но въ сущности для него органически и естественно сложившееся государство есть элементъ въ процессѣ раскрытія абсолютной идеи. Всякая разумность, чтобы сдѣлаться разумностью, должна явиться сперва какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. „Всякая разумность священна, т.-е. имѣетъ свою ми-

стическую таинственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идеѣ, первоначально осуществляющейся во всеобщей родовой матеріи, въ сущномъ (субстанціальномъ) началѣ". Поэтому и государство есть „непосредственное откровеніе". Космополитъ есть ложное, двусмысленное, непонятное явленіе, а не живая дѣйствительность. Царская власть не есть послѣдствіе избранія или договора, какъ сказалъ бы „какой-нибудь либеральный аббатикъ-французъ". Какъ и всякое „государственное коренное постановленіе", она не законъ „изреченный отъ человѣка", а „является *довременно*" и только выговаривается и сознается человѣкомъ. Изъ опыта нельзя вывести, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская, *отецъ* сталъ *царемъ*; но „въ умозрѣніи это очень понятно". Царь есть намѣстникъ Божій, а „царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразованіе единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума". Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное.

Словомъ, основная государственная идея Бѣлинскаго сводится къ представленію о государствѣ и о монархѣ какъ о самодовлѣющей цѣли, притомъ цѣли, входящей въ общую систему цѣлей мірового разума. Общество „не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль". Иначе говоря, государство и монархъ не должны въ своихъ дѣйствіяхъ руководиться интересами гражданъ. Страданія и нужды этихъ послѣднихъ не должны приниматься въ расчетъ, такъ какъ они всѣ въ совокупности служатъ цѣлямъ абсолютной идеи.

Личность совершенно исчезаетъ у Бѣлинскаго за обществомъ. Человѣкъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее призракомъ и

ложью, долженъ смириться передъ общимъ, признавъ только его дѣйствительностью. Петръ Великій, замучившій при помощи пытокъ своего сына Алексѣя, совершилъ „великій подвигъ великаго человѣка!“, потому что здѣсь „міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный, общее побѣдило частное“; потому что здѣсь нравственный законъ восторжествовалъ надъ естественнымъ влеченіемъ отцовскаго сердца, и Петръ явился здѣсь полубогомъ, „осуществившимъ своею личностью все могущество человѣчества“.

Таковы основныя мысли знаменитой статьи, которую впослѣдствіи съ краской стыда вспоминалъ Бѣлинскій, доведшій въ ней до Геркулесовыхъ столбовъ культъ дѣйствительности, оправдавшій здѣсь и пытки, и убійство, и муки страдающаго народа, какъ необходимыя проявленія Абсолютнаго Разума.

Примирительный взглядъ, положенный въ статьяхъ о Бородинской годовщинѣ въ основу государственныхъ воззрѣній, былъ въ статьѣ о Менцелѣ примѣненъ Бѣлинскимъ къ эстетикѣ и литературной критикѣ. Онъ врагъ поэзіи, въ которой слышатся слезы угнетеннаго человѣчества и протестъ противъ рѣжущихъ слухъ диссонансовъ жизни. Онъ называетъ жалкими безумцами тѣхъ, кто не въ состояніи уловить во всѣхъ безъ исключенія явленіяхъ лишь слѣды міровой гармоніи. „Добровольные мученики,—имъ нѣтъ покоя, для нихъ нѣтъ радости, нѣтъ счастья: тамъ гаснетъ свѣтъ просвѣщенія, тутъ гибнутъ добродѣтель и нравственность, здѣсь подавляется цѣлый народъ;—и съ воплемъ указываютъ они на виновниковъ такого ужаснаго зла, какъ-будто бы люди или человѣкъ въ состояніи остановить ходъ міра, измѣнить участь народа; какъ-будто бы нѣтъ Провидѣнія, и судьбы земнородныхъ предоставлены слѣпому случаю или слѣпой волѣ одного человѣка. Сумасброды! Внимательнѣе заглядывайте въ священную книгу судебъ

человѣческихъ, въ вѣчную „книгу царствъ“—въ „исторію“... И тогда передъ такими внимательными историками раскроется великая истина, что все благо и всегда правъ судьбы законъ, какъ думалъ Ленскій. Погибла Греція, варвары уничтожили ея статуи, время сокрушило храмы, но остались обломки статуй, сохранилась „Иліада“, и „исчезнувшая жизнь свѣтлыхъ чадъ Эллады“ воскресла для насъ въ этихъ остаткахъ. Омаръ сжегъ Александрійскую библіотеку, но „погодите проклинать Омара!“ Просвѣщеніе безсмертно. Омаръ сжегъ Александрійскую библіотеку, „но не сжегъ Гомера и Платона, Эсхила и Демосѳена, которыхъ мы знаемъ“, и т. д. Въ мірѣ нѣтъ ненужныхъ и вредныхъ явленій, все направляется не человѣкомъ, а Высшимъ Разумомъ къ высшей цѣли. Съ этой точки зрѣнія критикъ долженъ смотрѣть на поэзію и поэта. Отъ него нельзя требовать, чтобъ онъ служилъ обществу. Поэтъ, „какъ органъ общаго и мірового, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибаться и говорить ложь“. Поэтому Менцель, основная идея котораго заключается именно въ томъ, что искусство должно служить обществу, подвергается жестокимъ нападкамъ со стороны Бѣлинскаго. Онъ возстаетъ противъ французской литературы. Поэзія Расина и Мольера, это—„пошлыя сентенціи въ гладкихъ стихахъ“. Сочиненія Вольтера—„наглое кощунство надъ всѣмъ святымъ и завѣтнымъ для человѣчества“. Гюго и Эженъ Сю „обоготворили неистовство животныхъ страстей“ и выдали „мясничество за трагедію и романъ“. Романы Жоржъ-Сандъ—нелѣпыя и возмутительныя творенія, имѣющія цѣлью приложить на практикѣ идеи сенъ-симонизма. „Какія же это идеи? О, безподобныя! Именно, индустріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ: должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати

учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрѣшивъ женщину на вся-тяжкія и допустивъ ее вмѣстѣ съ мужчиною къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное, предоставивъ ей завидное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья"... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узъ брака, родства, семейственности,—словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ—въ призракъ, построенный изъ словъ на воздухѣ". Такъ отнесся Бѣлинскій къ ученію того мыслителя, который былъ провозвѣстникомъ соціализма, почти основателемъ научной соціологіи. Страннымъ образомъ, „равенство въ смыслѣ христіанскаго братства" привело Бѣлинскаго къ оправданію деспотизма и страданій народной массы, а „масонское и квакерское сектантство" сенъ-симонистовъ положило начало великому движенію новѣйшаго времени: организованной борьбѣ за интересы трудящихся массъ.

Возставая противъ тенденціозной литературы, Бѣлинскій опредѣляетъ задачи „истинной поэзіи": ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьбы человѣчества". Художникъ „въ дивныхъ образахъ осуществляетъ божественную идею для ней самой, а не для какой-либо внѣшней и чуждой ей цѣли". Поэтъ „всего менѣе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣжденій и пристрастія партій, и потому его вдохновеніе больше любитъ жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ, или изъ нѣдръ собственнаго духа вос-

производить свои гигантскіе образы, каковы—Гамлетъ, Макбетъ, Отелло"... Дѣло Питтовъ и Метерниховъ—участвовать въ судьбѣ народовъ. Дѣло художниковъ—созерцать „полное славы твореніе" и быть его органами. „Все, что есть,—говоритъ Бѣлинскій, повторяя слова Гегеля,—то необходимо, разумно и дѣйствительно". Ни въ природѣ, ни въ исторіи нельзя найти ни одной погрѣшности, ни одного недостатка въ твореніи Предвѣчнаго Художника. А искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть въ самомъ дѣлѣ. Моралисты, это—„вампиры, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и силятся заковать ея безконечность въ тѣсныя рамки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣленій".

Таковы главныя идеи, которыя исповѣдывалъ Бѣлинскій въ московскій періодъ своей литературной дѣятельности. Статьи „Литературныя мечтанія", „О нравственной философіи Дроздова" и статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцелѣ, это — три этапа въ исторіи философскихъ исканій Бѣлинскаго, это—отраженіе системъ Шеллинга, Фихте и Гегеля, трехъ великихъ германскихъ метафизиковъ, поочередно владѣвшихъ умами русской молодежи. Несмотря на различіе этихъ системъ, несмотря на своеобразное толкованіе, данное имъ нашимъ критикомъ, онъ правильно усвоилъ ихъ основное настроеніе, именно:—страстный порывъ въ трансцендентный міръ, міръ абсолютнаго, и полное отвращеніе къ активному вмѣшательству въ „скорбную драму" нашего временнаго бытія. Могъ ли долго оставаться такой публицистъ, какъ Бѣлинскій, на подобной точкѣ зрѣнія? Могъ ли долго оставаться скрытымъ отъ него тотъ фактъ, что эта философія трансцендентныхъ стремленій являлась превосходнымъ теоретическимъ обоснованіемъ гнета и насилія, что эта

пѣсня о небѣ служитъ къ усыпленію страдающихъ массъ.

Въ 1843 году великій современникъ Бѣлинскаго, Генрихъ Гейне, возвращался на родину изъ Франціи, въ которой онъ видѣлъ, что „юный чистый геній прекрасной свободы обручился съ Европой". На границѣ онъ встрѣтилъ малютку-арфистку, которая пѣла „о невѣдомомъ мірѣ далекихъ небесъ, гдѣ стихаютъ всѣ скорби и муки". Со свойственнымъ ему горькимъ юморомъ оцѣнилъ поэтъ общественное значеніе этихъ пѣсенъ.

Та старинная пѣсня на небо зоветъ
Съ отреченьемъ отъ жизни печальной.
Этимъ гимномъ всегда усыпляютъ народъ,
Нашъ народъ истуканъ колоссальный.
Мнѣ знакомъ древнихъ пѣсенъ старинный напѣвъ,
Знаю тѣхъ, кто сложилъ ихъ народу:
Втихомолку они распивали вино,
А намъ всѣмъ завѣщали пить воду.

Бѣлинскій въ Петербургѣ скоро понялъ, кому служилъ онъ своимъ гегеліанствомъ. Мы видѣли уже, что во всѣхъ его философскихъ увлеченіяхъ, въ самомъ его стремленіи къ общественному индифферентизму не переставалъ биться пульсъ общественной жизни, слышался голосъ могучаго соціальнаго инстинкта.

Когда въ 1841 году Герценъ и Бѣлинскій встрѣтились, „недоразумѣніе" кончилось, и недавніе противники пошли рука-объ-руку въ борьбѣ за общее дѣло.

VII.

Причины, обусловившія „переломъ" въ міросозерцаніи Бѣлинскаго.—Критика кружка, пробужденіе общественныхъ интересовъ, нападки на дѣйствительность николаевской эпохи и на отвлеченную философію. — Главные представители, органы и писатели-художники направленія офиціальной народности.— Отношеніе между славянофилами и западниками. — Главные представители и органы славянофильскаго направленія.—Міросозерцаніе славянофиловъ.—Связь ихъ основной идеи съ ученіемъ Шеллинга.—Мистическое представленіе о народѣ.—Историческія воззрѣнія славянофиловъ: различіе между ходомъ европейской и ходомъ русской исторіи, идеализація русской старины, взглядъ на петровскую реформу. — Православіе, самодержавіе и народность съ славянофильской точки зрѣнія.—Заслуги школы и отрицательныя стороны ея вліянія.

Переломъ въ настроеніи и міросозерцаніи Бѣлинскаго совершился въ теченіе перваго же года его пребыванія въ Петербургѣ. Въ то время, какъ въ „Отечественныхъ Запискахъ" (въ концѣ 1839 г. и въ первой книгѣ 1840 г.) появлялись гордые и самоувѣренные панегирики дѣйствительности, законченное выраженіе московскаго идеализма Бѣлинскаго, — въ это время онъ уже глубоко страдалъ отъ начинавшагося разлада. Переписка, относящаяся къ этому періоду его жизни, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ глубоко потрясла его въ Петербургѣ та самая дѣйствительность, которая представлялась въ Москвѣ такимъ необходимымъ элементомъ міровой гармоніи.

Почему Бѣлинскій отъ философскихъ исканій, отъ погони за абсолютнымъ обратился въ Петербургѣ къ злобѣ дня, окунулся въ гущу той жизни, на которую до тѣхъ поръ смотрѣлъ съ высотъ абсолютной идеи? Было много причинъ, которыя толкнули великаго писателя на этотъ новый путь и изъ метафизика и абстрактнаго мыслителя превратили его въ пламеннаго

общественнаго борца. Обыкновенно указываютъ на то, что столкновеніе съ кружкомъ Герцена произвело сильное впечатлѣніе на Бѣлинскаго и заставило его призадуматься; далѣе, Бѣлинскій сталъ внимательнѣе знакомиться съ произведеніями Жоржъ-Сандъ и французскихъ утопистовъ, которыми тогда увлекались въ Петербургѣ. Наконецъ, въ Петербургѣ онъ сталъ лицомъ къ лицу съ той дѣйствительностью, которой не видѣлъ въ Москвѣ, вращаясь въ небольшомъ кружкѣ такихъ же гегеліанцевъ, какимъ былъ онъ самъ. Несомнѣнно, что послѣдняя причина, какъ показываетъ переписка съ Боткинымъ, была самой важной. Петербургъ сразу вырвалъ его изъ предѣловъ кружка и раскрылъ передъ нимъ самый механизмъ бюрократической машины. Только въ Петербургѣ можно было увидать воочію гнетущее дѣйствіе желѣзной длани, давившей Россію. Предъ нимъ постепенно раскрывается несостоятельность его абстрактнаго отношенія къ дѣйствительности. Онъ начинаетъ понимать, что ихъ кружокъ „губилъ китаизмъ“, что они „весь Божій свѣтъ видѣли въ своемъ кружкѣ“, что они говорили о мнѣніи читающей публики, когда, въ сущности, стихотвореніе или статья восхитили „тебя, меня, Каткова, и прочихъ чудаковъ“. Онъ убѣждается, что только въ Петербургѣ можно понять, что такое читающая публика. Онъ начинаетъ „чувствовать ожесточеніе противъ идеальности“. Онъ любитъ Россію, но начинаетъ сознавать, „что это съ ея субстанціальной стороны, но ея опредѣленіе, ея дѣйствительность“ приводятъ его въ отчаяніе — „грязно, мерзко, возмутительно-нечеловѣчески“. Эта фраза особенно характерна. Сущность, субстанція, можетъ-быть, гармонична и прекрасна, но „опредѣленіе“, т.-е. явленія, — отвратительны. Старая точка зрѣнія, согласно которой отрицательныхъ явленій не можетъ быть, потому что въ каждомъ раскрывается частица абсолютнаго, исчезаетъ передъ этимъ

новымъ отношеніемъ къ дѣйствительности. „Въ Питерѣ только поймешь, что религія (конечно, въ философскомъ, а не въ теологическомъ смыслѣ,—замѣчаетъ Пыпинъ) есть основа всего и что безъ нея человѣкъ — ничто, ибо Питеръ имѣетъ необыкновенное свойство оскорбить въ *человѣкѣ* все святое и заставить въ немъ выйти наружу все сокровенное. Только въ Питерѣ человѣкъ можетъ узнать себя — человѣкъ онъ, получеловѣкъ или скотина: если будетъ страдать — въ немъ человѣкъ; если Питеръ полюбится ему — будетъ или богатъ или дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ... Публика — господа офицеры и чиновники... позоръ и оскорбленіе человѣчества и общества". Со своимъ неустаннымъ стремленіемъ къ истинѣ Бѣлинскій начинаетъ понимать, какое огромное значеніе долженъ имѣть Петербургъ въ исторіи его развитія. Петербургъ былъ для него „страшной скалой, о которую больно стукнулось мое прекраснодушіе". Онъ говоритъ теперь о томъ, что „права личнаго человѣка такъ же священны, какъ и мірового гражданина, и что кто на вопль и судорожное сжатіе личности смотритъ свысока, какъ на отпаденіе отъ общаго, тотъ или мальчикъ, или эгоистъ, или дуракъ,—а мнѣ тотъ, и другой, и третій одинаково несносны".

Трудно повѣрить, что эти строки писались въ то самое время, когда въ статьяхъ о Бородинской годовщинѣ говорилось, что человѣкъ „долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ міровымъ, общимъ, признавъ только его истиной и дѣйствительностью", когда Бѣлинскій восторгался Петромъ Великимъ, сумѣвшимъ замучить своего сына и заглушить „вопль" отца во имя общаго. Въ умѣ Бѣлинскаго шла борьба между прежними порывами къ абсолютному и новыми идеями. Еще долго въ письмахъ его попадаются фразы о неизбѣжности личнаго страданія, о не-

обходимости каждаго явленія, какъ неизбѣжнаго элемента міровой жизни. Но новые мотивы, идея активнаго вмѣшательства въ жизнь, идея борьбы съ ея диссонансами, борьбы за права и счастье человѣчества все болѣе и болѣе торжествуютъ. Въ декабрѣ 1840 года онъ уже пишетъ, что хотя идея, высказанная имъ въ статьѣ о Бородинской годовщинѣ, „вѣрна въ своихъ основаніяхъ", но ему слѣдовало „развить и идею отрицанія, какъ историческаго права". Онъ чувствуетъ, что право отрицанія такъ же священно и безъ него исторія превратилась бы „въ стоячее и вонючее болото".

Вмѣстѣ съ новыми идеями въ Бѣлинскомъ просыпается уваженіе къ французскимъ мыслителямъ: „Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую я изрыгалъ въ неистовствѣ съ пѣной во рту противъ французовъ— этого энергичнаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества". Онъ съ ужасомъ вспоминаетъ о своемъ примиреніи „съ гнусной россійской дѣйствительностью, этимъ китайскимъ царствомъ матеріальной животной жизни, чинолюбія, крестолюбія, деньголюбія, взяточничества, безрелигіозности, разврата, отсутствія всякихъ духовныхъ интересовъ, торжества безстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности,—гдѣ все человѣческое сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на угнетеніе, страданіе, гдѣ цензура превратилась въ военный уставъ о бѣглыхъ рекрутахъ... гдѣ Пушкинъ жилъ въ нищенствѣ и погибъ жертвою подлости, а Греч и Булгарины заправляютъ всей литературой, помощію доносовъ, и живутъ припѣваючи... Что есть, то разумно, да и палачъ вѣдь есть же, и существованіе его разумно и дѣйствительно, но онъ, тѣмъ не менѣе, гнусенъ и отвратителенъ". Германія теперь въ его глазахъ „государство позорное".

Въ искренней и пламенной натурѣ „переломъ" дол-

женъ былъ стать такимъ же яркимъ и могучимъ, какимъ было самое заблужденіе. Бѣлинскій могъ остановиться на новомъ пути только тогда, когда ненависть къ заблужденіямъ стала такой же сильной, какой была его ненависть къ истинѣ. Вотъ строки, которыя могутъ считаться самымъ яркимъ выраженіемъ его отреченія: „Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи? Что мнѣ въ томъ, что *я* понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣлиться со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, моими ближними во Христѣ, но кто—мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно—достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братьями моими. Сердце мое обливается кровью и судорожно сжимается кровью при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжелое горе овладѣваетъ мною при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ-мышкой чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи... Я ожесточенъ противъ всѣхъ субстанціальныхъ началъ, связывающихъ въ качествѣ вѣрованія волю человѣка! Отрицаніе—мой Богъ. Въ исторіи мои герои — разрушители стараго — Лютеръ, Вольтеръ, энциклопедисты, террористы, Байронъ (Каинъ) и т. п. Разсудокъ для меня теперь выше разумности (разумѣется—непосредственной), и потому мнѣ отраднѣе кощунства Вольтера, чѣмъ признаніе авторитета религіи, общества, кого бы то ни было!“

Этого отрывка достаточно, чтобы понять, что пері-

одъ философскаго квіетизма кончился безвозвратно, что Бѣлинскій прошелъ свой антитезисъ развитія, вернулся къ самому себѣ и сталъ тѣмъ борцомъ и страстотерпцемъ родной литературы, какимъ имя его перешло въ потомство.

Лучше всего дѣятельность его въ этотъ второй періодъ выясняется, если очертить его отношенія къ господствовавшимъ въ 40-хъ годахъ тремъ главнымъ общественно-литературнымъ направленіямъ. Эти направленія были: офиціальная народность или реакціонное направленіе, явившееся идеологіей и оправданіемъ существующаго бюрократическаго режима; славянофильство или общественно-философское направленіе, исходившее изъ идеализаціи русской народности, отрицательно относившееся къ Западной Европѣ и чужеземнымъ идеямъ, направленіе націоналистическое, иногда узко-націоналистическое, но, тѣмъ не менѣе, скорѣе прогрессивное, чѣмъ реакціонное,—направленіе, искавшее въ глубинахъ русскаго національнаго характера не аргументаціи въ пользу обскурантизма и гнета, а скорѣе оправданія идей прогресса и гуманности. Наконецъ, третье—западничество. Это было движеніе, которое надолго опредѣлило ходъ русской литературы и которое далеко не укладывалось въ рамки своего названія, охвативъ широкій кругъ идей и собравъ подъ своимъ знаменемъ величайшихъ представителей русской художественной литературы. Бѣлинскій во второй періодъ своей дѣятельности былъ центральной фигурой русской журналистики. Онъ былъ душою западнаго кружка и тѣхъ журналовъ, которые были отраженіемъ западническихъ идей. Онъ былъ непримиримымъ врагомъ офиціальнаго народничества и первый изъ членовъ кружка объявилъ войну славянофиламъ, съ которыми его друзья не сразу порвали отношенія. Поэтому статьи Бѣлинскаго и въ теченіе 40-хъ годовъ остаются лучшимъ матеріаломъ для из-

ученія развитія русской общественной и художественной мысли въ это замѣчательное десятилѣтіе.

Главные принципы, на которые опиралось офиціальное народничество, уже выяснено выше. Необходимо выяснить основныя идеи славянофильства и западничества, а также установить отношеніе Бѣлинскаго ко всѣмъ тремъ направленіямъ. Но прежде чѣмъ перейти къ этой задачѣ, скажемъ нѣсколько словъ о внѣшней исторіи указанныхъ направленій, объ ихъ возникновеніи, о главныхъ представителяхъ и органахъ, которые служили отраженіемъ ихъ идей. Образованіе этихъ трехъ главныхъ группъ въ первой половинѣ 40-хъ годовъ свидѣтельствовало о томъ, что русская общественная мысль начала дифференцироваться. Изъ міра абстракцій, гдѣ люди самыхъ различныхъ склонностей и вкусовъ сходились въ мечтѣ о міровой гармоніи, русскіе писатели спустились въ міръ дѣйствительности, и тогда каждому пришлось занять свое мѣсто. Дѣйствительность, практика, обладаетъ тѣмъ драгоцѣннымъ свойствомъ, что она разсѣиваетъ иллюзіи и обнаруживаетъ истинную подкладку всякаго человѣка. Именно дѣйствительность показала, что пребываніе въ одномъ кружкѣ такихъ людей, какъ Бѣлинскій и Катковъ, было глубокимъ недоразумѣніемъ.

Главными органами патріотовъ уваровскаго типа были въ Петербургѣ: знаменитая газета „Сѣверная Пчела“, руководителемъ которой былъ Булгаринъ, далѣе „Маякъ“ Бурачка, „Библіотека для чтенія“ Сенковскаго, писавшаго подъ псевдонимомъ барона Брамбеуса. Въ Москвѣ органомъ „патріотовъ“ былъ „Москвитянинъ“, издававшійся подъ редакціей Погодина при участіи его друга проф. Шевырева. Если къ этимъ именамъ присоединить имя Греча, друга Булгарина, мы получимъ списокъ главныхъ журналистовъ, употреблявшихъ всѣ усилія, чтобы возвести въ перлъ государственной мудрости и философскаго глубоко-

мыслія бюрократическія оргіи 40-хъ годовъ. Слѣдуетъ замѣтить, что среди журналистовъ этого лагеря были люди различнаго нравственнаго уровня. Были просто доносчики,—люди, не брезгавшіе никакими средствами, были кружки, гдѣ, по выраженію Пыпина, „странно соприкасались литература и тайная полиція". Таковыми, по преимуществу, является знаменитая чета Булгарина и Греча. Были люди, не лишенные знанія, таланта и остроумія, въ родѣ Сенковскаго, но служившіе низменнымъ вкусамъ и равнодушные къ широкимъ общественнымъ вопросамъ. Наконецъ, были люди, не лишенные искренности, широкаго образованія, представлявшіе даже извѣстную умственную силу. Къ числу такихъ, по преимуществу, принадлежали московскіе „патріоты", особенно Шевыревъ, одно время популярный профессоръ, человѣкъ, умѣвшій будить мысль. Шевыревъ вмѣстѣ съ Погодинымъ близко стояли къ славянофиламъ, но ихъ рѣзко отдѣляли демократическія и либеральныя струи, облагораживавшія славянофильское ученіе и ненавистныя угодливымъ представителямъ квасного патріотизма.

Эта „патріотическая" журналистика поддерживала и развивала своеобразную художественную патріотическую литературу. Главнымъ представителемъ этой литературы былъ популярный въ то время романистъ Кукольникъ, писавшій надутыя патріотическія драмы, имѣвшія огромный успѣхъ. Къ этой же категоріи тогдашней литературы слѣдуетъ отнести извѣстнаго романиста Загоскина, писателя, не лишеннаго искренности и фантазіи, но тоже служившаго дѣлу реакціи и застоя своими „историческими" романами. Само собою разумѣется, что направленіе это было единственнымъ, которое пользовалось покровительствомъ бюрократическаго правительства. Несмотря на извѣстный разнородный составъ его представителей, оно въ цѣломъ было добровольной идейной охраной существую-

щаго режима, апологіей основъ, на которыя всего удобнѣе было опираться этому режиму. Цѣлый рядъ фактовъ свидѣтельствуютъ о томъ, какое трогательное согласіе существовало между властями и „патріотической“ литературой, какихъ привилегій и льготъ добивались путемъ позорной угодливости литераторы извѣстнаго рода. Ни предательство, ни ренегатство, ни подлое раболѣпіе не останавливали ихъ, когда рѣчь шла о достиженіи извѣстныхъ выгодъ. Количество этихъ фактовъ, освобожденныхъ въ настоящее время отъ тьмы забвенія, въ которую повергли ихъ покровительственныя запрещенія, растетъ съ каждымъ днемъ. Достаточно перечесть въ книгѣ Лемке „Николаевскіе жандармы“ интересные документы, относящіеся къ карьерѣ одного Булгарина, чтобы понять, до какого паденія дошли писатели патріотическаго лагеря, кого выбирало себѣ въ идейные сотрудники правительство императора Николая. Карьера Булгарина— это исторія пресмыкающагося. Сынъ польскаго революціонера, онъ въ 1831 году по приказу Бенкендорфа пишетъ „правительственное сообщеніе“ о польскомъ возстаніи, гдѣ клеймитъ своихъ соотечественниковъ именемъ „злоумышленниковъ“, а ихъ попытки—„злодѣйскимъ замысломъ“, „гнусною цѣлью“. Какъ ни смотрѣть на причины и характеръ польскаго возстанія, но едва ли можетъ быть два мнѣнія относительно нравственнаго характера того факта, что именно сынъ польскаго революціонера взялся за составленіе негодующей реляціи въ защиту православія, самодержавія и русской народности отъ покушеній его соотечественниковъ. Въ 1826 году Булгаринъ пишетъ униженную просьбу, въ которой, ссылаясь на свою безпорочную десятилѣтнюю литературную дѣятельность, на то, что онъ ни разу „не погрѣшилъ противъ установленнаго порядка вещей“, умоляетъ забыть его прошлое, возбуждавшее сомнѣніе въ правительственныхъ

сферахъ. Мольба была услышана, и Булгаринъ сталъ фаворитомъ. „Пчела“ завладѣла монополіей газетнаго дѣла. „Неужто кромѣ „Сѣверной Пчелы“, — писалъ Пушкинъ,—ни одинъ журналъ не смѣетъ у насъ объявить, что въ Мексикѣ было землетрясеніе и что камера депутатовъ закрыта до сентября?“ Только газета Булгарина имѣла право сообщать тѣ скудныя политическія новости о Россіи и Европѣ, которыя правительство находило позволительнымъ знать для русскаго общества. Словомъ, за холопскую угодливость Булгарину было отдано на откупъ дѣло политическаго развитія русской читающей публики. До какой степени патріотическая литература пользовалась охраной со стороны властей, доказываетъ запрещеніе въ 1834 году лучшаго московскаго журнала „Московскаго Телеграфа“ только за то, что журналъ дерзнулъ раскритиковать нелѣпую патріотическую драму Кукольника „Рука Всевышняго отечество спасла“. Бѣдный Полевой, редактировавшій „Телеграфъ“, не зналъ, что на постановку пьесы правительство, щедрое, когда дѣло шло о возбужденіи патріотизма, израсходовало 40,000 руб., что Николай I горячо апплодировалъ пьесѣ на первомъ представленіи. Любопытный докладъ, представленный по этому поводу Уваровымъ государю, приведенъ въ книгѣ Лемке „Николаевскіе жандармы“. Таковы были представители и внѣшняя исторія „патріотической литературы“. Ее хорошо охраняли отъ конкуррентовъ. Ея представителямъ не на что было жаловаться. Въ 1855 г. „грачи-разбойники“ (какъ называлъ Пушкинъ булгаринскую клику), издававшіе „Пчелу“, получили по 24,000 рублей дохода.

Обратимся теперь къ органамъ и представителямъ двухъ другихъ направленій, которыя являются дѣйствительно общественно-литературными теченіями и не имѣютъ ничего общаго съ Третьимъ отдѣленіемъ. Славянофилы стояли тоже на національно-патріо-

тической точкѣ зрѣнія, нѣкоторые изъ нихъ были въ близкихъ отношеніяхъ съ руководителями „Москвитянина“, и поэтому неудивительно, что ихъ смѣшивали съ представителями офиціальной народности. Но между тѣми и другими лежала глубокая пропасть. Славянофильство было дѣйствительно философскимъ и общественно-литературнымъ направленіемъ, тогда какъ для Булгарина и Греча литература и философія были, въ сущности, вывѣской, прикрывавшей ихъ темныя дѣла. „Общаго между ними, — говоритъ Герценъ,—не было ничего кромѣ словъ. Крайности и нелѣпости славянофиловъ все-же были безкорыстно нелѣпы и безъ всякаго отношенія къ III отдѣленію и управѣ благочинія. До какой степени славянофилы по чистотѣ побужденій стояли близко къ западникамъ, всего лучше показываютъ строки, посвященныя имъ Герценомъ въ его „Быломъ и думахъ“. „Рядомъ съ нашимъ кругомъ были наши противники, nos amis les ennemis или, вѣрнѣе, nos ennemis les amis — московскіе славянофилы. Возвратившись изъ Новгорода, я засталъ оба стана на барьерѣ. Славяне были въ полномъ боевомъ порядкѣ, съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина“. Война обоихъ направленій сильно занимала московскіе круги. Но даже Герценъ, поставившій рядомъ Хомякова съ Погодинымъ, ясно опредѣляетъ, въ чемъ заключалась черта, роднившая западниковъ и славянофиловъ,— и тѣ, и другіе были выразителями общественнаго протеста. „Въ лицѣ Грановскаго московское общество привѣтствовало рвущуюся къ свободѣ мысль Запада,— мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности бироновскимъ высокомѣріемъ петербургскаго правительства“. Такимъ образомъ, несмотря на коренное разногласіе, славянофилы

и западники въ первой половинѣ 40-хъ годовъ еще сходились какъ друзья, несогласные въ своихъ воззрѣніяхъ, но все-таки друзья. И тѣ, и другіе были людьми европейски образованными, и какъ ни рвались славянофилы къ самобытности, какъ ни хотѣли они бороться противъ старѣющей культуры Запада, исходнымъ пунктомъ ихъ міровоззрѣнія была поэтическая и туманная философія Шеллинга, великаго нѣмца, который долго владѣлъ и умами западниковъ.

Старшими вождями славянофильства были Хомяковъ (1804—1860) и братья Кирѣевскіе (Ив. 1806—1856 и Петръ 1808 — 1856). Хомяковъ, по выраженію Герцена, былъ „Ильею Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православія и славянизма". „Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на нихъ, ботатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ устали и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ остротами и цитатами"... Оба брата Кирѣевскіе, по выраженію того же автора „Былого и думъ", стоятъ „печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія". Особенно тяжело было положеніе Ивана Кирѣевскаго, который благодаря преслѣдованіямъ цензуры разорился на своихъ изданіяхъ. И этого человѣка, „чистаго и твердаго, какъ сталь, разъѣла ржа страшнаго времени". Онъ былъ „поклонникомъ свободы и великаго времени французской революціи". И не могъ „раздѣлять пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообрядцевъ". Онъ однажды сказалъ Грановскому: „Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многаго изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ". Среди болѣе молодыхъ членовъ группы слѣдуетъ назвать братьевъ Константина и Ивана Аксаковыхъ, Юрія Самарина, Кошелева и т. д. Герценъ считаетъ 1844 годъ эпохой оконча-

тельнаго разрыва, когда споры дошли до того, что обѣ партіи не хотѣли больше встрѣчаться. Какъ глубоко любили и уважали другъ друга представители обоихъ лагерей, чего стоилъ имъ разрывъ,—показываетъ слѣдующій эпизодъ, сообщаемый Герценомъ и относящійся именно къ этому 1844 году. „Я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. „Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ онъ,—проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ того, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься“. Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился. Я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры“.

Къ чему же сводилась сущность міросозерцанія славянофиловъ? Прежде всего необходимо помнить, что славянофилы были проникнуты тѣмъ же метафизическимъ и даже мистическимъ настроеніемъ, какое преобладало вообще въ кружкахъ молодежи 40-хъ годовъ. Для нихъ міръ былъ не міромъ явленій, связь и законы развитія которыхъ необходимо изслѣдовать, а художественнымъ твореніемъ, въ явленіяхъ котораго слѣдуетъ видѣть дыханіе единой идеи, воли создавшаго его Творца. Стоя на почвѣ этого шеллингіанскаго міросозерцанія, славянофилы особенно ярко примѣнили его къ своему ученію о народѣ и народности. Мистическое представленіе о народѣ было исходнымъ пунктомъ всего славянофильскаго ученія. Въ ихъ глазахъ каждый народъ осуществлялъ въ своемъ историческомъ бытіи особую миссію, для которой онъ посланъ въ міръ Провидѣніемъ. Въ своихъ критическихъ стать-

яхъ, напечатанныхъ въ „Московскомъ Сборникѣ“ за 1847 годъ, К. Аксаковъ говоритъ о „народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненной великой тайны“, о „глубокой сущности русскаго народа“. Такова основная идея славянофильства. Народъ есть посланникъ Бога. Человѣческія старанія безсильны передъ волей Творца. Измѣнить сущность народа, направить его жизнь по иной колеѣ, не предопредѣленной свыше,— безплодная задача. Люди, задающіеся подобной задачей, вносятъ только смуту въ правильный процессъ національнаго развитія, но народъ рано или поздно разрушитъ попытки теоретиковъ и мечтателей, потому что онъ не можетъ пойти по иному пути кромѣ назначеннаго Провидѣніемъ.

Изъ этой метафизической идеи національной сущности вытекали всѣ главныя идеи славянофильства. Во-первыхъ, славянофиламъ предстояло выяснить, въ чемъ заключается сущность русскаго народа, опредѣлить характеръ миссіи, опредѣленной ему Провидѣніемъ, установить русскую національную идею. Для этого необходимо было обратиться къ русской исторіи, такъ какъ въ своемъ историческомъ бытіи осуществляетъ народъ возложенныя на него идеальныя задачи. Прошлое западныхъ и славянскихъ народовъ привело славянофиловъ къ убѣжденію, что между западнымъ, романо-германскимъ міромъ, съ одной стороны, и восточнымъ, православно-славянскимъ—съ другой существуетъ коренная противоположность. Въ „запискѣ о внутреннемъ состояніи Россіи“, представленной въ 1855 году императору Александру II, К. Аксаковъ устанавливаетъ эти идеальныя начала, раскрывающіяся въ русской исторіи. Главное отличіе этой исторіи отъ процесса образованія западныхъ государствъ заключается въ томъ, что послѣднія сложились путемъ завоеваній, тогда какъ Русское государство образовалось мирнымъ путемъ. Русскій народъ не стремится

къ государственной власти и не ищетъ и никогда не искалъ политическихъ правъ. „Самымъ первымъ доказательствомъ тому,—говоритъ Аксаковъ, — служитъ начало нашей исторіи: добровольное призваніе чужой государственной власти въ лицѣ варяговъ, Рюрика съ братьями. Еще сильнѣйшимъ доказательствомъ служитъ тому Россія 1612 года, когда не было царя, когда все государственное устройство лежало вокругъ, разбитое вдребезги, и когда побѣдоносный народъ стоялъ еще вооруженный, въ умиленіи торжества надъ врагами, освободивъ всю Москву: что сдѣлалъ этотъ могучій народъ, побѣжденный при царѣ и боярахъ, побѣдившій безъ царя и бояръ, со стольникомъ княземъ Пожарскимъ да мясникомъ Козьмою Мининымъ во главѣ, выбранными имъ же? Что сдѣлалъ онъ? Какъ нѣкогда въ 862 году, такъ и въ 1612 народъ призвалъ государственную власть, избралъ царя и поручилъ ему неограниченную судьбу свою, мирно сложивъ оружіе и разошедшись по домамъ“. Въ виду этого монархической власти не зачѣмъ ограждать себя, — ея незыблемость основана на самой сущности народнаго склада. Ту же мысль высказываетъ Кирѣевскій въ своей статьѣ „о характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи“: „Не искаженная завоеваніемъ, русская земля въ своемъ внутреннемъ устройствѣ не стѣснялась тѣми насильственными формами, какія должны возникать изъ борьбы двухъ ненавистныхъ другъ другу племенъ, принужденныхъ въ постоянной враждѣ устраивать свою совмѣстную жизнь. Въ ней не было ни завоевателей, ни завоеванныхъ. Она не знала ни желѣзнаго разграниченія неподвижныхъ сословій, ни стѣснительныхъ для одного преимуществъ другого, ни истекающей оттуда *политической* и *нравственной* борьбы. Она не знала и необходимаго порожденія этой борьбы: искусственной формальности общественныхъ отношеній и болѣзненнаго про-

цесса общественнаго развитія, совершающагося насильственными измѣненіями законовъ и бурными переломами постановленій. И князья, и бояре, и духовенство, и народъ, и дружины княжескія, и дружины боярскія, и дружины городскія, и дружина земская,— всѣ классы и виды населенія были проникнуты однимъ духомъ, одними убѣжденіями, однородными понятіями, одинаковою потребностью общаго блага". Поэтому отношенія въ Русскомъ государствѣ построены на внутренней, а не внѣшней правдѣ. Имъ противенъ духъ формализма. Въ нихъ живутъ нравственныя требованія, а не принципъ обязательствъ и внѣшней пользы. Приписывая русскому народу особый складъ, славянофилы распространяли его и на другіе славянскіе народы. Вслѣдствіе начавшагося въ началѣ XIX вѣка броженія среди славянскихъ народностей, большое распространеніе получила идея панславизма, идея всеславянскаго движенія, причемъ миссія Россіи, которая станетъ во главѣ этого движенія, увлекла патріотовъ своей грандіозностью.

Изъ этихъ общихъ историческихъ взглядовъ славянофильства вытекали его воззрѣнія на древнюю Русь и на реформы Петра Великаго. Бытъ древней Руси они возводили въ идеалъ, реформы Петра Великаго, пытавшагося пересадить къ намъ западную образованность и нѣкоторыя формы западной жизни, славянофилы считали большимъ несчастьемъ для Россіи. Въ древней Руси было, по ученію К. Аксакова, два начала: *земля* и *государство*. Земля призвала государство. Они жили мирно рядомъ, потому что „не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Землю и государство, людей *земскихъ* и людей *служилыхъ* соединяла вѣра и жизнь: „Всякій чиновникъ, начиная отъ боярина, былъ свой человѣкъ народу". Вѣчевое устройство представлялось славянофиламъ идеаломъ. Здѣсь, по замѣчанію одного

славянофильскаго критика, не было раздѣленія на большинство и меньшинство, что обозначаетъ разложеніе общиннаго начала. Вѣче было выраженіемъ этого послѣдняго. Цѣль его—вынести и спасти единство. Отъ этого оно обыкновенно оканчивается въ лѣтописяхъ формулой: „снидошася вси въ любовь". Многіе идеалы, которые западники считали результатомъ европейскаго просвѣщенія, славянофилы отыскивали въ древней Руси. Московскіе послы, говорившіе шведамъ „сотворилъ Богъ человѣка *самовластна* и далъ ему волю сухимъ и воднымъ путемъ, гдѣ онъ захочетъ ѣхать", уже выразили принципъ свободы международныхъ отношеній и торговли. Свобода вѣроисповѣданій обнаружилась въ томъ, что англичанамъ предоставлено было у насъ жить „въ своей вѣрѣ" и т. д.

Петръ Великій внесъ разладъ въ ту гармонію, которая царила въ древней Руси. Въ упомянутой уже запискѣ К. Аксакова лучше всего выразились взгляды славянофиловъ на петровскую реформу, которая служила однимъ изъ главныхъ пунктовъ ихъ разногласія съ западниками. Послѣдніе не видѣли въ реформахъ Петра искусственныхъ формъ жизни, навязанныхъ Россіи. Усвоеніе результатовъ европейскаго просвѣщенія было необходимостью, которая диктовалась естественнымъ ходомъ русской исторіи. Славянофилы утверждали противное: „Переворотъ Петра, несмотря на весь внѣшній блескъ свой,—говоритъ К. Аксаковъ,—свидѣтельствуетъ, какое глубокое внутреннее зло производитъ величайшій геній, какъ скоро онъ дѣйствуетъ одиноко, отдаляется отъ народа и смотритъ на него какъ архитекторъ на кирпичи. При Петрѣ началось то зло, которое есть и зло нашего времени. Какъ всякое неизлѣченное зло, оно усилилось съ теченіемъ времени и составляетъ коренную язву нашей Россіи. Я долженъ опредѣлить это зло. Если народъ не посягаетъ на государство, то и государство не должно по-

сягать на народъ". На Западѣ всегда шла борьба между этими двумя элементами. Въ Россіи народъ и правительство жили „въ благоденственномъ союзѣ". Въ лицѣ Петра государство посягнуло на народъ, вторглось въ его жизнь, въ его бытъ, измѣняло насильственно его нравы, его обычаи, самую его одежду. Съ этого времени произошелъ разрывъ въ русскомъ народѣ. „Служилые люди или верхніе классы оторвались отъ русскихъ началъ... зажили, одѣлись и заговорили по-иностранному". Русскій народъ сохранилъ свой духъ, но Петръ покинулъ Москву и въ Петербургѣ, отдаленномъ отъ сердца Россіи пунктѣ, окружилъ себя пришлымъ населеніемъ новообразованныхъ русскихъ. Союзъ между царемъ и народомъ, государствомъ и землей рушился, государство стало завоевателемъ, а русская земля какъ бы завоеванной. „Русскій монархъ,—говорилъ К. Аксаковъ, — получилъ значеніе деспота, а свободно-подданный народъ – значеніе раба-невольника въ своей землѣ". Аксаковъ и не подозрѣвалъ, что этимъ взглядомъ на „переворотъ" Петра онъ въ корнѣ подрывалъ мистическую вѣру славянофиловъ въ единеніе русскаго царя и народа. При первомъ же столкновеніи земли и государства онъ рѣзко сталъ на сторону первой и объявилъ второе нарушителемъ гармоніи. По мысли славянофиловъ, Петръ былъ создателемъ той чуждой народу бюрократіи, которая стоитъ между народомъ и царемъ, въ средѣ которой, какъ на Западѣ, идетъ чуждая русскому народу борьба за политическую власть. Прежде свободно повинующійся народъ сталъ рабомъ, который всегда готовъ стать бунтовщикомъ: „Изъ цѣпей рабства куются безпощадные ножи бунта". Такъ разрушилъ Петръ вѣковую гармонію, и необходимо вернуться къ прошлому, уничтожить слѣды этой реформы, уже начинающей вредно сказываться и на народѣ. Необходимо вернуться къ прошлому, пока народъ еще хранитъ древнія начала,

противится рабскому чувству и иностранному вліянію верхняго класса.

Такова въ общихъ чертахъ историческая концепція славянофильства. Она тѣсно связана съ ихъ представленіями о той роли, которую играло православно-религіозное чувство въ исторіи русскаго народа. Взглядъ на тѣсную связь между православіемъ и историческимъ развитіемъ русскаго народа постоянно высказывается въ сочиненіяхъ славянофиловъ. Въ своей статьѣ „О возможности русской художественной школы", напечатанной въ „Московскомъ Сборникѣ" 1847 года, Хомяковъ развиваетъ подробно эту идею. По его мнѣнію, христіанство представляетъ соединеніе идей свободы и единства въ нравственномъ законѣ взаимной любви. Римскій и германскій миръ построены на идеѣ антагонизма, вражды между этими двумя началами. Латинская церковь поставила въ этой борьбѣ идею единства выше идеи свободы и подчинила вторую первой. Это одностороннее пониманіе христіанства должно было вызвать реакцію, и протестантство было неизбѣжнымъ порожденіемъ католичества. Оно было односторонностью противоположнаго рода, удержало идею свободы и принесло ей въ жертву идею единства. Католическая церковь связала западное человѣчество закономъ внѣшняго единства. Протестантство уничтожило всякое освящающее начало извнѣ, протестантская церковь въ области религіи привела къ „неопредѣленности философскаго мышленія, т.-е. философскаго скепсиса", а въ области общественной жизни она привела къ состоянію „безпредѣльнаго броженія, которымъ потрясенъ западный міръ". Въ наше время судъ исторіи совершается надъ обанкротившимся латинско-протестантскимъ міромъ. Соціальныя системы въ родѣ сенъ-симоновской и философскія ученія въ родѣ гегеліанства, идя различными путями, имѣютъ одну цѣль, — пополнить пустоту, оставленную въ

западномъ обществѣ паденіемъ прежней вѣры. Онѣ обличили язву, но исцѣлить ее не могли. Онѣ раскрыли глубину бездны, въ которую опускается западный міръ, но не могли поднять этотъ міръ благодаря „субъективной произвольности, на которой онѣ основаны". Словомъ, Хомяковъ усматриваетъ причины мнимой гибели европейской цивилизаціи въ непониманіи или въ одностороннемъ пониманіи христіанства.

Ошибка можетъ быть исправлена только при условіи возстановленія утраченной гармоніи, при условіи пониманія вѣчной истины христіанства въ ея полнотѣ, т.-е. „въ тожествѣ единства и свободы, проявляемомъ въ законѣ духовной любви". Православіе является именно такимъ пониманіемъ христіанства. „Всякое другое пониманіе,—говоритъ Хомяковъ,—отнынѣ сдѣлалось невозможнымъ. Представителемъ же этого пониманія является Востокъ, по преимуществу же земли славянскія и во главѣ ихъ наша Русь, принявшая чистое христіанство издревле, по благословенію Божьему и сдѣлавшаяся его крѣпкимъ сосудомъ, можетъ-быть, въ силу того общиннаго начала, которымъ она жила, живетъ и безъ котораго жить не можетъ. Она прошла чрезъ великія испытанія, она отстояла свое общественное и бытовое начало въ долгихъ и кровавыхъ борьбахъ, по преимуществу же въ борьбѣ, возведшей на престолъ Михаила, и, сперва спасшая эти начала для самой себя, она теперь должна явиться ихъ представительницей для цѣлаго міра. Таково ея призваніе, ея удѣлъ въ будущемъ. Намъ позволено смотрѣть впередъ смѣло и безбоязненно". Въ этой тирадѣ ясно обнаруживается та связь, которую устанавливало славянофильство между православіемъ и русской исторіей. Православіе было тѣмъ идеальнымъ началомъ, которое раскрывается въ русской исторіи. Православіе — то начало, осуществленіе котораго и есть священная миссія, опредѣленная русскому на-

роду. „По заслугамъ,—говоритъ К. Аксаковъ,—дался и истинный и ложный пути вѣры, — первый — Руси, второй—Западу“.

Установивъ общія философско-историческія предпосылки, изъ которыхъ исходило славянофильство, нетрудно понять, какихъ началъ должна была придерживаться школа въ своихъ государственныхъ воззрѣніяхъ. Начала эти номинально совпадали съ принципами, которые начертало на своемъ знамени офиціальное народничество: православіе, самодержавіе, народность. Но по существу между ними было глубокое различіе. Православіе въ пониманіи славянофиловъ далеко расходилось съ толкованіемъ его у представителей офиціальной народности. Славянофилы возставали противъ вмѣшательства свѣтской власти въ дѣла Церкви и нерѣдко въ рѣзкихъ выраженіяхъ нападали на бюрократію, стремившуюся превратить Церковь въ орудіе своей политики. К. Аксаковъ въ упомянутой уже выше „Запискѣ“ возстаетъ противъ того употребленія, которое дѣлали изъ православія неумѣренные представители офиціальной народности. На почвѣ внутренняго разлада между правительствомъ и народомъ,—говоритъ Аксаковъ, —„какъ дурная траза, выросла непомѣрная безсовѣстная лесть, увѣряющая во всеобщемъ благоденствіи, обращающая почтеніе къ царю въ идолопоклонство, воздающая ему какъ идолу божескую честь. Одинъ писатель выразился въ „Вѣдомостяхъ“ подобными словами: „Дѣтская больница была освящена по обряду православной Церкви; въ другой разъ была освящена посѣщеніемъ Государя Императора“. Принято выраженіе, что „Государь *изволилъ* пріобщаться Святыхъ Таинъ“, тогда какъ христіанинъ иначе сказать не можетъ, что онъ *сподобился* или *удостоился*. Скажутъ, это нѣкоторые случаи; нѣтъ, таковъ у насъ всеобщій духъ отношенія къ правительству. Это только легкіе примѣры поклоненія зем-

ной власти". Такимъ образомъ, главное различіе между славянофильствомъ и офиціальнымъ народничествомъ въ ихъ взглядахъ на православіе заключалось въ томъ, что первое отнюдь не имѣло въ виду дѣлать изъ православія орудіе политической власти и превращать его въ опору самодержавія, незыблемость котораго коренилась, по ученію славянофиловъ, въ самыхъ глубокихъ тайникахъ народнаго духа. Другое важное различіе заключалось въ томъ, что славянофильство допускало свободу изслѣдованія и допускало широкое участіе паствы въ жизни Церкви. Церковь, по ученію славянофиловъ не могла стать на мѣсто человѣческой совѣсти, ея авторитетъ уживался рядомъ съ нравственной свободой личности. Хомяковъ вынужденъ былъ печатать свои теологическіе трактаты за границей на французскомъ языкѣ, — лучшее свидѣтельство того, какъ мало общаго было между православіемъ славянофиловъ и офиціальнымъ православіемъ патріотовъ въ родѣ Булгарина и Греча. Въ запискѣ К. Аксакова есть рѣзкія строки, говорящія о тѣхъ послѣдствіяхъ, къ которымъ приводило это стремленіе „патріотовъ", поставить власть и политическую церковь на мѣсто внутренней совѣсти и внутренняго Бога отдѣльной личности: „Моя вѣра", — сказалъ человѣкъ. — „Государь есть глава Церкви",—отвѣтятъ ему (вопреки православному ученію, по которому глава Церкви — Христосъ). „Твоя вѣра—государь". „Мой Богъ",—скажетъ, наконецъ, человѣкъ. „Богъ твой—государь; онъ есть земной Богъ". И государь является какой-то невѣдомой силой, ибо объ ней и говорить и разсуждать нельзя, и которая между тѣмъ вытѣсняетъ всѣ нравственныя силы. Лишенный нравственныхъ силъ, человѣкъ становится бездушенъ и съ инстинктивною хитростью, гдѣ можетъ, грабитъ, воруетъ, плутуетъ". Если мы припомнимъ, что эти слова писались въ запискѣ, представленной государю, то станетъ понят-

нымъ глубокая пропасть, отдѣляющая славянофиловъ отъ офиціальныхъ патріотовъ.

Въ пониманіи второго принципа—самодержавія—славянофилы такъ же мало сходились по существу съ офиціальной народностью, какъ и въ своемъ отношеніи къ православію. Уже историческія воззрѣнія славянофиловъ, приведенныя выше, свидѣтельствуютъ о томъ, что они далеко не смѣшивали самодержавія съ произволомъ и деспотизмомъ. Они оставляли монарху государственную власть, а землѣ, народу—его бытъ, независимость его жизни и нравственную свободу. Мы видѣли, что они не задумались рѣзко выступить противъ монархической власти въ лицѣ Петра, когда, по ихъ убѣжденію, она вторглась въ независимую область жизни *земли*. И въ современномъ имъ государственномъ строѣ славянофилы рѣзко осуждали вмѣшательство государства въ жизнь народа. Та картина отношеній между самодержавнымъ царемъ и народомъ, которая рисовалась славянофиламъ, вытекала изъ ихъ мистической вѣры въ невозможность конфликтовъ между этими двумя элементами. Они были врагами конституціоннаго западнаго строя. Въ этомъ послѣднемъ имъ не нравился принципъ юридическаго обязательства, который дѣлаетъ народное представительство чѣмъ-то постояннымъ, навязаннымъ монарху, которое дѣлаетъ для него юридически обязательными постановленія этого представительства, которое, наконецъ, какъ бы даетъ гарантію народа противъ измѣны со стороны монарха. По ихъ мнѣнію, русскому народу несвойственны подобныя отношенія. Гарантія, по словамъ Аксакова, есть зло: гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра. „Вся сила въ *идеалѣ*. Да и что значатъ условія и договоры, какъ скоро нѣтъ силы внутренней? Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ на это желанія. Вся сила въ нравственномъ убѣжденіи. Это сокровище есть въ Россіи, потому что

она всегда въ него вѣрила и не прибѣгала къ договорамъ".

Но, отрицая конституцію, славянофилы, тѣмъ не менѣе, и не думали превращать народъ въ безсловесную массу, въ бездушную машину, которую можно произвольно направлять въ любую сторону. Мнѣніе земли они считали великимъ элементомъ въ правильномъ развитіи государственной жизни. Имъ рисовалась не конституціонная, а другая система народнаго представительства, нѣчто въ родѣ старыхъ русскихъ земскихъ сборовъ. Эту систему отличали отъ конституціонной два существенныхъ признака. Во-первыхъ, такое представительство не постановляло никакихъ, а тѣмъ болѣе обязательныхъ для монарха рѣшеній, оно только доводило до его свѣдѣнія мнѣніе земли, имѣло совѣщательный голосъ, какъ сказали бы мы въ настоящее время. Во-вторыхъ, конституціонный строй предполагаетъ обязательное постоянное функціонированіе народнаго представительства. Славянофилы полагали, что это представительство выступаетъ на сцену только тогда, когда монархическая власть почувствуетъ потребность ознакомиться съ мнѣніемъ земли. Благодаря вѣрѣ славянофиловъ въ существованіе внутренняго мистическаго сродства между царемъ и народомъ они не предполагали на этой почвѣ возможности конфликтовъ, вопросъ о которыхъ возникаетъ у насъ прежде всего, когда заходитъ рѣчь о такомъ строѣ. Нравственная сила мнѣнія земли такъ велика, что царь не можетъ поступить вопреки этому мнѣнію, а въ важныхъ вопросахъ, именно въ такихъ, которые касаются коренныхъ основъ народной жизни, царь не можетъ не почувствовать необходимости выслушать голосъ народа. Никакихъ принудительныхъ мѣръ и гарантій не требуется. Разъ естественная нравственная связь между царемъ и народомъ порвалась, гарантіи все равно ни къ чему не послужатъ. Такимъ

образомъ, для славянофиловъ народное или *общественное мнѣніе* было великой силой, которое даетъ тонъ и направленіе государственной жизни. Правда, въ этомъ общественномъ мнѣніи нѣтъ политической силы. Оно—сила нравственная. Но въ немъ государство видитъ, чего желаетъ страна, чѣмъ оно, государство, должно руководиться. „Охраненіе свободы общественнаго мнѣнія, какъ нравственной дѣятельности страны, есть, такимъ образомъ, одна изъ обязанностей государства... Мудрые цари наши это понимали: да будетъ имъ вѣчная за то благодарность! Они знали, что при искреннемъ и разумномъ желаніи счастья и блага странѣ нужно знать и въ извѣстномъ случаѣ вызвать ее мнѣніе. И потому цари наши часто созывали Земскіе Соборы, состоявшіе изъ выборныхъ всѣхъ сословій Россіи, гдѣ предлагали на обсужденіе тотъ или другой вопросъ, касающійся государства и земли“.

Обращаясь къ современности, славянофилы подвергли ее рѣзкой критикѣ. Аксаковъ указываетъ, что установившійся послѣ Петра бюрократическій режимъ поселилъ рабскія и вмѣстѣ съ тѣмъ и бунтовщическія чувства въ народѣ. „Рабъ видитъ только одну разницу между собою и правительствомъ: онъ угнетенъ, а правительство угнетаетъ; низкая подлость всякую минуту готова перейти въ наглую дерзость“. Аксаковъ указываетъ въ своей „Запискѣ“ на то, что народъ не имѣетъ довѣрія къ правительству, а правительство — къ нему, народъ въ каждомъ дѣйствіи правительства готовъ видѣть новое угнетеніе, а правительство постоянно боится революціи и въ каждомъ самостоятельномъ выраженіи мнѣнія, въ каждой подписанной многими просьбѣ (что уважалось въ древней Руси) готово видѣть бунтъ. „Все зло,—заявляетъ К. Аксаковъ, — происходитъ отъ угнетательной системы нашего правительства,—угнетательной относительно свободы жизни, свободы мнѣнія, свободы нравствен-

ной, ибо на свободу политическую въ Россіи притязаній нѣтъ". Одной изъ заслугъ славянофильства слѣдуетъ признать ихъ пламенныя статьи въ защиту свободы слова и страстныя филиппики противъ цензуры. Печать, какъ средство выраженія общественнаго мнѣнія, являлась въ ихъ глазахъ народной святыней. „Пусть государство возвратитъ землѣ ей принадлежащее: мысль и слово; и тогда земля возвратитъ правительству то, что ему принадлежитъ: свою довѣренность и силу. Человѣкъ созданъ отъ Бога существомъ разумнымъ и говорящимъ. Дѣятельность разумной мысли, духовная свобода есть призваніе человѣка. Свобода духа болѣе всего и достойнѣе всего выражается въ свободѣ слова. Поэтому свобода слова—вотъ неотъемлемое право человѣка. Въ настоящее время этотъ единственный органъ земли находится подъ тяжелымъ гнетомъ".

Такимъ образомъ, славянофильское пониманіе самодержавія и православія глубоко расходилось съ толкованіемъ этихъ началъ въ органахъ офиціальной народности. У славянофиловъ это были тѣ начала, которыя коренились въ глубинѣ народнаго характера. Православіе являлось суммой религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній народа, самодержавіе—той правительственной формой, которую народъ добровольно учредилъ, какъ форму, соотвѣтствующую его складу, чуждому власти и политическаго честолюбія. Такимъ образомъ, третій принципъ, провозглашенный славянофильствомъ, принципъ народности, былъ, въ сущности, синтезомъ двухъ первыхъ. Благочестіе и смиреніе, отреченіе отъ политической власти, преданность правленію и монарху и общинному строю,—таковы коренныя основы русскаго народнаго характера. Славянофилы повсюду являлись апологетами этихъ свойствъ, въ художественныхъ произведеніяхъ они искали ихъ

отраженія. Причины разочарованія Онѣгина они усматривали въ его оторванности отъ народа.

Подводя итоги славянофильству, нельзя не отмѣтить его крупныхъ заслугъ въ области разработки русской исторіи, въ дѣлѣ собиранія народныхъ пѣсенъ, наконецъ, въ изслѣдованіи отдѣльныхъ сторонъ русскаго быта. Достаточно указать историческіе труды Кирѣевскаго и К. Аксакова, изслѣдованіе Валуева о мѣстничествѣ, замѣчательное изслѣдованіе Ив. Аксакова объ украинскихъ ярмаркахъ. Своими критическими статьями славянофилы содѣйствовали развитію въ русской художественной литературѣ извѣстныхъ теченій. Ихъ вліяніе сказывается и въ спорахъ Лаврецкаго съ Паншинымъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ", и въ изображеніи Любима Торцова у Островскаго. Оно отразилось на творчествѣ Достоевскаго и другихъ нашихъ великихъ писателей. Въ исторіи нашей общественности они тоже сыграли немалую роль. Какъ публицисты, они часто выступали искренними и компетентными поборниками передовыхъ идей, съ точки зрѣнія которыхъ они, какъ, напримѣръ, И. Аксаковъ, освѣщали текущіе вопросы внутренней и внѣшней политики. Но въ то же время въ нападкахъ на славянофильство было много справедливаго. Ихъ политическія теоріи были туманны. Они искали въ древней Руси коренныхъ основъ русскаго народнаго характера, забывая, что многія черты тогдашняго строя были принадлежностью не спеціально русскаго народнаго уклада, а патріархальнаго періода въ исторіи всякаго народа. Картина идиллическаго согласія между царемъ и народомъ, которая представлялась славянофиламъ новымъ словомъ государственной мудрости, подареннымъ міру Русью, была, въ сущности, обычной картиной патріархальныхъ отношеній, непримѣнимой въ современныхъ сложныхъ государствахъ съ широко развѣтвленными формами политической

жизни. А между тѣмъ славянофилы причинили немало зла своими идеями о смиреніи русскаго народа, объ его добровольномъ отреченіи отъ политической дѣятельности. Они давали часто сильное оружіе въ руки бюрократіи и квасного патріотизма. Они сами далеко не свободны отъ упрека въ проповѣди національной и религіозной нетерпимости. Наконецъ, они не всегда заботились о томъ, чтобы ограничить себя отъ направленія офиціальной народности, съ представителями котораго они находились въ дружескихъ отношеніяхъ и въ органахъ котораго помѣщали свои статьи. Поэтому неудивительно, что ихъ нерѣдко смѣшивали съ публицистами, имена которыхъ стали символомъ обскурантизма и реакціи. Не слѣдуетъ также забывать, что славянофильское ученіе въ томъ видѣ, какъ оно представлено выше, развернулось во всей своей полнотѣ гораздо позднѣе 40-хъ годовъ. Въ эти годы его вожди еще не создали глубокаго обоснованія его. Славянофилы не нашли еще настоящей аргументаціи. Ихъ теоріи носили неопредѣленный характеръ, и неудивительно, что Бѣлинскій издѣвался въ это время надъ ними, требуя, чтобы они ясно формулировали свою систему.

VIII.

Западничество, его органы и представители.—Чаадаевъ.—Европейская реакція и мистицизмъ.—„Философическія письма".—Европа и Россія и сравнительная оцѣнка ихъ прошлаго и настоящаго у Чаадаева.—Его отношеніе къ славянофильству, западничеству и офиціальной Россіи.—Чаадаевъ и освободительное движеніе.

Третье общественно-литературное направленіе извѣстно подъ именемъ западничества. Въ сущности подъ этимъ словомъ объединились почти всѣ великія

имена тогдашней философской, критической и художественной литературы. Хотя писатели, не раздѣлявшіе православно-націоналистическихъ воззрѣній славянофильства, чтившіе европейское просвѣщеніе, и приняли кличку западниковъ, но само собою разумѣется, что этотъ условный терминъ далеко не охватывалъ великаго потока идей, брошенныхъ западниками русскому обществу, не охватывалъ всѣхъ созданій художественнаго творчества, которыя причислялись къ этому направленію. Мы уже видѣли, какія отношенія между славянофилами и западниками существовали въ Москвѣ. Въ Петербургѣ Бѣлинскій послѣ своего переѣзда туда сталъ главнымъ центромъ западническаго кружка, глашатаемъ его идеаловъ. Въ своихъ статьяхъ отражалъ онъ споры и идеи, волновавшіе кружокъ. Благодаря своему критическому чутью онъ угадывалъ новые таланты и такимъ образомъ постоянно пополнялъ кадры кружка новыми могучими силами. Наконецъ, благодаря его энергіи, его неустанному труду создавались и держались западническіе органы подъ тяжелыми ударами тогдашней цензуры. Бѣлинскій былъ душою журналовъ, на которыхъ воспиталось цѣлое поколѣніе, жадно набрасывавшееся на каждую статью великаго критика.

Западный кружокъ въ Петербургѣ составился изъ ядра станкевичевскаго кружка. Послѣ того какъ Бѣлинскій примирился съ друзьями Герцена, въ новый кружокъ вошли лучшіе представители обоихъ прежнихъ кружковъ. Къ нему присоединялись свѣжія силы, сошлись тѣ люди, которые получили названіе „людей 40-хъ годовъ“. Можно сказать, что въ этомъ новомъ кругѣ преобладало то теченіе, котораго представителями во времена студенчества были Герценъ и Огаревъ. Французскія идеи были теперь главнымъ предметомъ вниманія, и, поскольку рѣчь идетъ о западномъ вліяніи въ кружкѣ, его можно было бы назвать

скорѣе французскимъ, чѣмъ вообще западнымъ. „Изъ Франціи,—писалъ впослѣдствіи Салтыковъ,—разумѣется, не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Сандъ лилась въ насъ вѣра въ человѣчество; оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ не позади, а впереди насъ". Главнымъ органомъ кружка становятся „Отечественныя Записки", душой которыхъ былъ Бѣлинскій и мнѣнія которыхъ съ 1841 года постепенно завоевываютъ себѣ господствующее положеніе. Этотъ журналъ дѣлается руководителемъ передового общества, устанавливая эстетическія понятія и опредѣляя значеніе вновь появляющихся писателей. Онъ разрушаетъ авторитетъ патріотической журналистики, развиваетъ въ обществѣ художественные вкусы, отвлекая его отъ лже-патріотическихъ драмъ и романовъ и обращая его вниманіе на Гоголя, Кольцова и вновь нарождающіеся таланты, на будущихъ корифеевъ русской художественной литературы. Среди лицъ, примыкавшихъ къ кружку, мы встрѣчаемъ уже знакомыя намъ имена Герцена, Грановскаго, Боткина. А вмѣстѣ съ ними тѣсно связана блестящая плеяда романистовъ и поэтовъ, обогатившихъ вскорѣ русскую литературу великими твореніями. Быть-можетъ, величайшая доля значенія этого западнаго кружка заключается именно въ томъ, что въ его атмосферѣ развивались Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, позднѣе—Гончаровъ, Достоевскій и проч., что здѣсь встрѣчали сочувствіе и нравственную поддержку представители свободнаго научнаго изслѣдованія въ области исторической и экономической жизни, какъ Соловьевъ, Кавелинъ, Аѳанасьевъ и т. д. Само собою разумѣется, что Бѣлинскому принадлежала главная роль въ этомъ вліяніи. Въ 1843 году Бѣлинскій въ первый разъ встрѣтился съ Тургеневымъ и сразу оцѣнилъ будущаго романиста. „Бесѣда и споры съ

нимъ,—пишетъ Бѣлинскій,—отводили мнѣ душу... Отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры". По словамъ Тургенева, когда Бѣлинскій бывалъ въ ударѣ, „не было возможности представить себѣ человѣка болѣе краснорѣчиваго, въ лучшемъ, въ русскомъ смыслѣ этого слова... Это было неудержимое изліяніе нетерпѣливаго и порывистаго, но свѣтлаго и здороваго ума, согрѣтаго всѣмъ жаромъ чистаго и страстнаго сердца и руководимаго тѣмъ тонкимъ и вѣрнымъ чутьемъ правды и красоты, котораго почти ничѣмъ не замѣнишь". Когда Тургеневъ написалъ „Парашу", въ которой, по словамъ Тургенева, было нѣсколько „едва замѣтныхъ крупицъ чего-то похожаго на дарованіе", Бѣлинскій, „всегда готовый протянуть руку начинающему и привѣтствовать все, что хоть немного обѣщало быть полезнымъ приращеніемъ тому, что Бѣлинскій любилъ самой страстной любовью,—русской литературѣ", напечаталъ о „Парашѣ" статью въ „Отеч. Записк." Однихъ этихъ словъ Тургенева достаточно, чтобы понять, какое огромное вліяніе оказывалъ Бѣлинскій на развитіе русской литературы. Почти всѣ великіе таланты послѣдующей эпохи начинали свою литературную карьеру съ благословенія Бѣлинскаго. Когда Бѣлинскій получилъ первую повѣсть Достоевскаго, онъ, ничего не ожидая, хотѣлъ пробѣжать рукопись передъ сномъ. Но первыя же страницы захватили его. Онъ не спалъ всю ночь. „Утромъ,—разсказываетъ Панаевъ,—Некрасовъ засталъ Бѣлинскаго уже въ восторженномъ лихорадочномъ состояніи... „Давайте мнѣ Достоевскаго!"—были первыя слова его. Потомъ онъ, задыхаясь, передалъ ему свои впечатлѣнія, говорилъ, что „Бѣдные люди" обнаруживаютъ громадный, великій талантъ, что авторъ ихъ пойдетъ далѣе Гоголя и пр. Когда къ нему привезли Достоевскаго, онъ встрѣтилъ его съ нѣжною, почти

отцовскою любовью и тотчасъ высказался передъ нимъ *весь*, передавъ ему вполнѣ свой энтузіазмъ". Когда Гончаровъ читалъ ему свой первый трудъ, „Обыкновенную исторію", Бѣлинскій повременамъ привскакивалъ на стулѣ съ сверкающими глазами. Онъ же угадалъ важное общественное значеніе „Антона Горемыки" Григоровича, хотя и чувствовалъ недостатки этой повѣсти въ художественномъ отношеніи. „Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязаетъ цѣлую вотчину—законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ".

Этихъ примѣровъ достаточно, чтобы понять великое вліяніе Бѣлинскаго на ходъ русской литературы. Этихъ именъ достаточно, чтобы понять, какъ узко было слово „западничество" въ примѣненіи къ тѣмъ твореніямъ, которыя оно породило, какъ неполно обнимало оно то, что связано съ нимъ. Тургеневъ и Достоевскій, Гончаровъ и Григоровичъ,—все это друзья кружка, а между тѣмъ это вовсе не были западники въ томъ смыслѣ, какъ понимало это слово славянофильство, т.-е. далеко не были только глашатаями западныхъ идей. Вообще въ спорѣ между западничествомъ и славянофильствомъ было много страстности, мѣшавшей разглядѣть общія точки соприкосновенія между обѣими школами. Славянофилы отнюдь не отказывались отъ западнаго просвѣщенія и западныхъ идей,—самый источникъ славянофильской философіи, какъ мы видѣли, скрывался въ ученіи Шеллинга. Съ другой стороны, западники вовсе не требовали механическаго насажденія у насъ европейской образованности. Въ ихъ отношеніи къ народу часто было, можетъ-быть, больше истиннаго пониманія его склада и психологіи, чѣмъ у славянофиловъ. Достаточно на-

звать „Записки охотника“. Если у славянофиловъ было нѣкоторое основаніе упрекать своихъ противниковъ въ слѣпомъ поклоненіи Западу, то это относилось только къ крайнимъ представителямъ западничества. На личности и міровоззрѣніи одного изъ самыхъ характерныхъ представителей этого крайняго западничества необходимо остановиться въ виду огромнаго впечатлѣнія, произведеннаго его литературнымъ выступленіемъ.

Впрочемъ, говоря о „крайнемъ западничествѣ“ Чаадаева, слѣдуетъ сдѣлать очень существенныя оговорки. Это былъ оригинальный мыслитель, котораго съ нѣкоторымъ успѣхомъ можно причислить и къ славянофиламъ. Вѣрнѣе, его міровоззрѣніе не походило вполнѣ ни на одно изъ двухъ господствующихъ теченій, хотя имѣло много точекъ соприкосновенія съ каждымъ изъ нихъ. Если на него обрушились удары славянофиловъ, если въ немъ видѣли человѣка, доведшаго до абсурда культъ Европы и презрѣніе къ Россіи, то причиной этого было его знаменитое „философическое письмо“, гдѣ съ рѣдкой силой заклеймлено прошлое и настоящее Россіи и возвеличена европейская цивилизація. Г. Гершензонъ въ своей книгѣ о Чаадаевѣ пытался установить, что не въ этомъ культѣ западнаго міра лежалъ центръ ученія Чаадаева, что ученіе его дошло до насъ „обезглавленнымъ“, такъ какъ письма, въ которыхъ изложены его религіозно-философскія воззрѣнія не дошли до насъ. Въ этой точкѣ зрѣнія есть доля справедливости, но, тѣмъ не менѣе, историко-культурное значеніе Чаадаева заключается, конечно, не въ его мистицизмѣ, не въ его философско-религіозныхъ воззрѣніяхъ, а именно въ тѣхъ идеяхъ, которыя произвели, по выраженію Герцена, впечатлѣніе „выстрѣла, раздавшагося въ темную ночь“. Правда, Чаадаевъ въ своемъ протестѣ противъ существующей дѣйствительности не опирался на ту

раціоналистическую основу, на которой стояла оппозиціонная мыслящая Россія, но въ немъ жилъ могучій общественный инстинктъ, непонятнымъ образомъ его мистически-религіозныя идеи приводили къ негодующему протесту противъ тѣхъ же сторонъ русской дѣйствительности, противъ которой выступало все лучшее въ русской литературѣ, и, несмотря на все своеобразіе чаадаевскихъ идей, Герценъ и участники освободительнаго движенія, какъ справедливо замѣчаетъ Плехановъ, не ошиблись, считая Чаадаева своимъ.

Чаадаевъ родился въ 1794 году, воспитывался въ домѣ своей аристократической тети, княжны Щербатовой, получилъ блестящее образованіе и вообще росъ баловнемъ судьбы. Около 1809 года онъ поступилъ въ Московскій университетъ и въ качествѣ знатнаго, богатаго, свѣтски воспитаннаго и тонко образованнаго молодого человѣка былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ представителей высшаго общества. По окончаніи университета онъ поступилъ въ гвардію и вмѣстѣ съ русскими войсками прошелъ всю Европу во время наполеоновскихъ войнъ. Послѣ войны онъ снова занимаетъ соотвѣтствующее положеніе въ высшемъ петербургскомъ обществѣ, гдѣ пріобрѣтаетъ репутацію молодого мудреца благодаря своей склонности къ серьезному чтенію. Онъ попадаетъ въ кругъ будущихъ декабристовъ, сближается съ Пушкинымъ, который къ нему обратилъ свое знаменитое посланіе, заканчивающееся словами:

Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна
И на обломкахъ самовластья
Напишетъ наши имена.

Однимъ словомъ, не можетъ быть сомнѣнія, что въ юности Чаадаевъ стоялъ въ рядахъ передовой русской молодежи. Въ 1821 году Чаадаевъ вышелъ въ отставку,

а спустя два года уѣхалъ за границу. Здѣсь совершился въ его душѣ переворотъ: онъ сдѣлался мистикомъ. Трудно установить причины этого душевнаго переворота. Вѣроятно, сильное вліяніе оказало на Чаадаева общее настроеніе европейскаго общества, которое охвачено было идеями Жозефа де-Местра, Бональда и Шатобріана [1]), прочитанныя имъ еще до отъѣзда за границу сочиненія мистика Юнгъ-Шпиллинга, наконецъ, нервное разстройство, которымъ страдалъ Чаадаевъ. Онъ вернулся въ Россію съ тою же ненавистью къ русской дѣйствительности и съ ненавистью, которая еще укрѣпилась подъ вліяніемъ пребыванія въ культурныхъ странахъ Европы. Онъ далъ ей теперь другую основу, но онъ остался пламеннымъ общественникомъ. Онъ видѣлъ послѣдствія декабрьскаго возстанія, гибель своихъ друзей. Пессимизмъ и мрачный взглядъ на Россію для нервной, впечатлительной натуры Чаадаева были естественнымъ слѣдствіемъ совершавшихся вокругъ него событій, и, вѣроятно, въ концѣ его четырехлѣтняго мрачнаго затворничества (1823—1830) онъ написалъ свои философическія письма. Въ началѣ 30-хъ годовъ Чаадаевъ возвращается къ свѣтской общественной жизни, хотя не прекращаетъ своихъ кабинетныхъ занятій, и вскорѣ снова становится однимъ изъ „львовъ“ большого свѣта, благодаря своему воспитанію, уму и образованію. Попытка поступить на службу потерпѣла фіаско: слишкомъ мало подходилъ своеобразный философъ къ требованіямъ капраловъ, правившихъ тогда Россіей. Такъ текла жизнь Чаадаева, когда въ концѣ 1836 года безъ участія автора появилось въ „Телескопѣ“ его первое философическое письмо, вызвавшее цѣлую бурю и въ правительственныхъ, и въ общественныхъ сферахъ, появилось черезъ 6—8 лѣтъ послѣ того, какъ оно вышло изъ-подъ пера ав-

---

[1]) См. мои „Очерки по ист. зап.-европ. лит.“. Т. II.

тора, который къ этому времени уже измѣнилъ свои взгляды на нѣкоторые вопросы. Николаевскіе жандармы не умѣли вдумываться въ слишкомъ тонкія и глубокія идеи. То, что написалъ Чаадаевъ, было до того неожиданно, что прямолинейный капральскій умъ не нашелъ лучшаго средства, какъ объявить автора сумасшедшимъ. Едва ли это было тонкимъ издѣвательствомъ самодовольной бюрократіи надъ человѣкомъ, который въ пламенной рѣчи обличилъ не только ея несостоятельность, но и всю ходульную философско-историческую основу, на которой бюрократія самодовольно строила зданіе своей непогрѣшимости. Въ этомъ рѣшеніи было больше искренней солдатской тупости, чѣмъ тонкаго расчета. Чаадаеву было запрещено выѣзжать изъ дому, и надъ нимъ былъ учрежденъ унизительный медико-полицейскій надзоръ. Впрочемъ надзоръ этотъ длился всего около года, послѣ чего Чаадаеву было запрещено писать. Послѣднія двадцать лѣтъ своей жизни Чаадаевъ провелъ безвыѣздно въ Москвѣ, разъ навсегда распредѣливъ порядокъ своего дня, которому онъ остался вѣренъ до самой своей смерти въ 1856 году.

Въ чемъ же заключались мысли, высказанныя въ „философическихъ письмахъ“, въ особенности въ первомъ, которое послужило поводомъ къ его унизительному наказанію?

Для оцѣнки Чаадаева необходимо принять въ расчетъ тѣ условія, въ которыхъ жило русское общество въ концѣ александровскаго и въ николаевское царствованіе. Въ сущности происхожденіе общественной психики Чаадаева и таковой у Бѣлинскаго, Герцена и славянофиловъ имѣло общую основу. Ученіе всѣхъ этихъ разнообразныхъ мыслителей вытекало изъ двухъ основныхъ причинъ: изъ отрицательнаго отношенія къ существующей дѣйствительности, съ одной стороны, и изъ полной невозможности пріобщиться

къ этой дѣйствительности, оказывать на нее воздѣйствіе — съ другой. Эти двѣ причины заставляли мыслящую часть русскаго общества искать гармоніи въ теоріяхъ, ничего общаго съ русской жизнью не имѣющихъ. Если Бѣлинскій бросился въ объятія Шеллинга и Гегеля, Герценъ — Сенъ-Симона, а славянофилы — русской старины, пропущенной черезъ призму шеллингіанства, то было бы странно, если бы среди русскаго общества, оторваннаго отъ дѣйствительности и бросавшагося на Западъ за объясненіями своего разочарованія, не нашлось мыслителя, искавшаго выхода въ западныхъ мистическихъ ученіяхъ. Чаадаевъ въ этомъ смыслѣ, быть-можетъ, болѣе всѣхъ заслуживаетъ названіе родоначальника нашего западничества. Онъ открываетъ исторію пересадокъ западныхъ теорій на русскую почву и притомъ обращается къ тому ученію, которое и на Западѣ по времени было наиболѣе раннимъ. Литература реакціи во Франціи и въ значительной части Европы была, въ сущности, скорбнымъ воплемъ объ утратѣ того единства и той гармоніи, которыя подарило человѣчеству католичество. Что такое „Духъ христіанства“ Шатобріана, какъ не безплодная попытка возродить утраченную вѣру, воспѣть красоту католической религіи? Его „Рене“ долженъ былъ выяснить спасительную роль аскетизма и монастырской жизни. Книга Жозефа де-Местра „О папѣ“ должна была возродить идею папской непогрѣшимости, бросить проклятіе реформаціи и раціонализму XVIII вѣка, разрушившимъ слѣпое подчиненіе авторитету, подорвать значеніе точныхъ наукъ, возстановить мысль о божественной волѣ, раскрывающейся въ природѣ и исторіи. А Бональдъ съ его мрачнымъ фанатизмомъ и Новалисъ, договаривавшійся до апологіи инквизиціи,—все это выразители растерянности и разочарованія, охватившаго разгромленные революціей дворянскіе классы, а вмѣстѣ съ ними и значительную часть

общества, которое не могло сразу перейти отъ стараго феодально-католическаго строя къ новому буржуазно-научному. Не случайно, конечно, Шатобріанъ былъ бретонскимъ дворяниномъ, Жозефъ де-Местръ — графомъ, а Бональдъ—виконтомъ [1]). Тѣсная связь между писателями реакціи и Чаадаевымъ не подлежитъ сомнѣнію. У него мы встрѣтимъ и апологію политическаго католицизма во вкусѣ Жозефа де-Местра, и мысль объ эстетическихъ радостяхъ и глубокихъ чувствахъ, возбуждаемыхъ христіанствомъ, — мысль, легшую въ основу шатобріановской поэзіи и протестъ противъ раціонализма въ духѣ де-Местра и Бональда и заимствованную у послѣдняго идею объ исторіи рода человѣческаго, какъ о постепенномъ воспитаніи его Божіимъ промысломъ, которое приведетъ къ Царству Божію на землѣ.

Такимъ образомъ, Чаадаевъ стоялъ на почвѣ тогдашняго европейскаго мистицизма. Онъ перенесъ его къ намъ по-своему, такъ же, какъ Бѣлинскій пересадилъ гегеліанство. И страннымъ образомъ такіе несходные въ смыслѣ философской основы писатели, какъ Чаадаевъ, Бѣлинскій и Герценъ, были соратниками и единомышленниками по своимъ практическимъ стремленіямъ. Всѣ они, какъ и ихъ друзья, съ полнымъ правомъ перешли въ потомство въ качествѣ единой свѣтлой дружины прогресса, возставшей противъ общаго врага—торжествующаго обскурантизма николаевской эпохи. Именно таково значеніе знаменитаго письма Чаадаева, которое этой стороной своего содержанія произвело впечатлѣніе „выстрѣла среди ночи“, и Герценъ не ошибся, увидавъ въ этомъ выстрѣлѣ новое под-

---

[1]) О причинахъ, вызвавшихъ разочарованіе и мистико-романтическое настроеніе въ Европѣ въ началѣ XIX вѣка, а также объ упоминаемыхъ здѣсь писателяхъ реакціи см. подробнѣе мои *Очерки по ист. зап.-евр. лит.*

крѣпленіе противъ непріятеля. Разсмотримъ главныя идеи Чаадаева.

Основная мысль перваго письма—безнадежный пессимизмъ по отношенію къ прошлому, настоящему и будущему Россіи и безусловное преклоненіе передъ Западомъ, его исторіей и цивилизаціей. Русскій народъ — печальный пасынокъ въ семьѣ европейскихъ народовъ. Мы никогда не шли рука-объ-руку съ прочими народами; мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человѣческаго рода; мы не принадлежимъ ни къ Западу, ни къ Востоку, и у насъ нѣтъ традицій ни того, ни другого. Стоя какъ бы внѣ времени, мы не были затронуты всемірнымъ воспитаніемъ человѣческаго рода. Исторія человѣческаго духа не оказала на насъ никакого вліянія. То, что въ другихъ странахъ давно стало основой общества, для насъ—только теорія и умозрѣніе. Наше прошлое печально. Всѣ народы прошли черезъ періодъ бурнаго волненія,—періодъ необходимый, которому они обязаны самыми яркими воспоминаніями, своей поэзіей, героическимъ элементомъ своей исторіи. У насъ не было такого періода. Исторія нашей юности—сначала дикое варварство, затѣмъ грубое невѣжество, наконецъ унизительное и свирѣпое чужеземное владычество, духъ котораго позднѣе унаслѣдовала наша національная власть. Ни плѣнительныхъ воспоминаній, ни граціозныхъ образовъ въ памяти народа, ни мощныхъ поученій въ его преданіи. Окиньте взглядомъ всѣ прожитые нами вѣка, все занимаемое нами пространство,—вы не найдете ни одного привлекательнаго воспоминанія, ни одного почтеннаго памятника, который властно говорилъ бы вамъ о прошломъ, который возсоздавалъ бы его предъ вами живо и картинно. Мы живемъ однимъ настоящимъ въ тѣсныхъ его предѣлахъ, безъ прошедшаго и будущаго, среди мертваго застоя. Мы въ мірѣ незаконныя дѣти, у насъ нѣтъ естественнаго внутрен-

пяго развитія, каждая новая идея безслѣдно вытѣсняетъ старыя, потому что она не вытекаетъ изъ нихъ, а является Богъ вѣсть откуда. Словомъ, мы существуемъ лишь какъ урокъ человѣчеству.

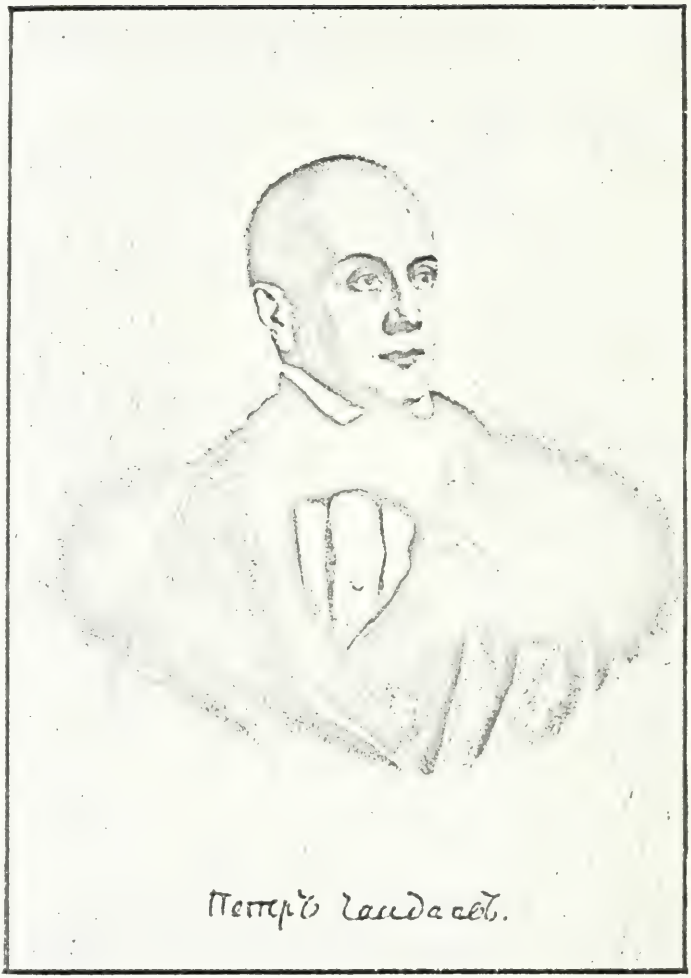
Въ противоположность намъ, западные народы образуютъ однородную семью, у нихъ при всѣхъ различіяхъ есть общая физіономія. У нихъ есть преемственное идейное наслѣдіе, и каждый человѣкъ пользуется изъ этого наслѣдства своей долей. Это идеи долга, справедливости, права, порядка. Всѣ европейскіе народы шли рука-объ-руку. Въ теченіе пятнадцати вѣковъ у нихъ былъ одинъ языкъ для обращенія къ Богу, одна духовная власть и одно убѣжденіе. Въ теченіе пятнадцати вѣковъ, каждый годъ, въ одинъ и тотъ же день, въ одинъ и тотъ же часъ, они въ однихъ и тѣхъ же словахъ возносили свой голосъ къ Верховному Существу, прославляя Его за величайшее изъ Его благодѣяній. Протестантизмъ, разрушившій это единство, является главной причиной того, что вліяніе христіанства на общество не оцѣнено до сихъ поръ въ достаточной степени. Ничто,—говоритъ Чаадаевъ во второмъ письмѣ,—такъ не способствовало искаженію картины новой исторіи, какъ предразсудки протестантизма. Онъ преувеличилъ важность возрожденія наукъ, онъ придумалъ множество разныхъ причинъ прогресса, что было, конечно, возмутительно съ точки зрѣнія нашего философа, для котораго исторія направлялась согласно цѣли Божественнаго промысла. Реформація снова повергла міръ въ языческую разъединенность, вытравила изъ сознанія разумнаго вещества идею всеобщности. Папство, напротивъ того,—видимый знакъ единства, а вмѣстѣ съ тѣмъ—въ виду происшедшаго раздѣленія—и символъ возсоединенія. Чаадаевъ не сомнѣвается въ томъ, что послѣдствія гибельнаго дѣйствія протестантизма исчезнутъ. Недаромъ папство, несмотря на всѣ невзгоды, несмотря на

собственныя ошибки, стоитъ непоколебимо и тверже, чѣмъ когда-либо. Оно лишилось своего человѣческаго блеска, но стало отъ этого только сильнѣе. Нѣкогда его поддерживало почитаніе христіанскаго міра. Теперь оно держится своимъ смиреннымъ положеніемъ среди земныхъ державъ. Оно по-прежнему централизуетъ христіанскія идеи. Если бы случилось невозможное, и папство исчезло бы, всѣ религіозныя общины пришли бы въ великое смятеніе, и они стали бы искать его, это видимое единство, которымъ такъ мало дорожатъ теперь.

Таковы основныя идеи писемъ. Исторія человѣчества есть раскрытіе божественной идеи. Раціонализмъ и критическая мысль принесли величайшее зло европейскому человѣчеству, такъ такъ подорвали вѣру въ папство, хранителя этой идеи. Но западное человѣчество не можетъ не вернуться къ этому единству, и папство — „видимый знакъ этого единства"—по-прежнему является незыблемой силой. Россія лишена этихъ традицій. Она стоитъ внѣ семьи европейскихъ народовъ. Ея прошлое и настоящее печальны.

Для того, чтобы опредѣлить еще яснѣе мѣсто, занимаемое Чаадаевымъ въ исторіи нашей общественной мысли, необходимо выяснить его отношеніе къ тремъ главнымъ общественно-литературнымъ направленіямъ, именно къ славянофильству, западничеству и офиціальной народности.

У Чаадаева была одна точка соприкосновенія съ славянофильствомъ, именно самое противопоставленіе Россіи и Европы другъ другу, самая мысль о божественной идеѣ, раскрывающейся въ исторіи человѣчества, и о той роли, которая принадлежитъ отдѣльнымъ народамъ въ дѣлѣ осуществленія божественной цѣли. Эта мысль, приводившая Чаадаева къ безнадежному взгляду на Россію, съ другой сто-



Петръ Чаадаевъ.

роны, временами заставляла его искать въ изолированномъ положеніи Россіи указанія на особый умыселъ Божества, которое, быть-можетъ, назначило русскому народу особую миссію. Уже въ то время, когда безъ вѣдома Чаадаева появилось въ печати его первое „философическое письмо“, его взгляды относительно Россіи измѣнились. Именно мѣняется его взглядъ на ея будущее. Онъ думаетъ, что даже извѣстное преимущество для нея заключается въ томъ, что она имѣетъ передъ глазами уже развитую цивилизацію старыхъ народовъ, что она можетъ отнестись къ ней съ полной свободой выбора, принять доброе и отвергнуть дурное. Самая изолированность Россіи не есть случайность, а входитъ въ общій планъ Божества, ведущій къ осуществленію Царства Божія на землѣ. И Чаадаевъ приближается къ славянофильскому ученію, выясняя особенности русскаго уклада, развившіяся на почвѣ этой изолированности, особый характеръ ея православія, чистаго отъ соприкосновенія съ страстями и земными интересами, ея свободу отъ „вѣковыхъ предразсудковъ и эгоизмовъ“, обуревающихъ Западъ, и т. д. Возвеличивая теперь православіе, онъ остается, однако, апологетомъ и католичества, и весьма возможно, что идеалъ, рисовавшійся Чаадаеву, заключался въ сліяніи обѣихъ церквей, хотя прямыхъ указаній въ этомъ смыслѣ мы не находимъ въ его произведеніяхъ. Особенно ярко обнаруживается эта вѣра въ особую миссію русскаго народа въ „Апологіи сумасшедшаго“, написанной въ 1837 году. Здѣсь наша обособленность отъ другихъ народовъ пріобрѣтаетъ значеніе не печальнаго факта, а свой особый таинственный смыслъ. Отсутствіе свободнаго почина — главная черта нашей исторіи, всякая идея у насъ почти всегда заимствована. „Но въ этомъ наблюденіи нѣтъ ничего обиднаго для національнаго чувства... Есть великіе народы—какъ и великія исто-

рическія личности, — которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно опредѣляетъ верховная логика Провидѣнія: таковъ именно нашъ народъ". Но само собою разумѣется, это сходство съ славянофильской школой, которая стала складываться почти одновременно съ появленіемъ „Апологіи", было чисто-внѣшнимъ. Онъ былъ врагъ славянофильства по существу. Его ненависть къ кичливому національному самодовольству была слишкомъ очевидна, чтобы его можно было зачислить въ лагерь Хомяковыхъ и Кирѣевскихъ. Славянофилы прославляли прошлое Россіи, Чаадаевъ, если и говорилъ о провиденціальной роли Россіи, то имѣлъ въ виду только будущее. Онъ, написавшій пламенную апологію европейской исторіи и цивилизаціи, конечно не могъ мириться съ враждебнымъ и пренебрежительнымъ отношеніемъ славянофиловъ къ Западу. Послѣднія пятнадцать лѣтъ онъ ведетъ постоянно борьбу съ „пагубнымъ ученіемъ" русскихъ націоналистовъ, и, конечно, славянофильскій поэтъ Языковъ правильно угадалъ духъ вражды, отдѣлявшій школу отъ Чаадаева, когда писалъ къ нему свое стихотвореніе:

Вполнѣ чужда тебѣ Россія,
Твоя родимая страна;
Ея преданія святыя
Ты ненавидишь всѣ сполна.
Ты ихъ отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю папъ...
Почтенныхъ предковъ сынъ ослушный,
Всего чужого гордый рабъ!..

Не трудно видѣть, насколько ближе, чѣмъ къ славянофильству, стоялъ Чаадаевъ къ противникамъ его. Правда, мистицизмъ и религіозное направленіе рѣзко отдѣляли его отъ западниковъ. Онъ отличался отъ нихъ и своеобразнымъ религіозно-мистическимъ взглядомъ на ходъ европейской исторіи. Но это не мѣшало

западникамъ видѣть въ немъ своего соратника. Не понимая его мистическихъ и религіозныхъ идей, они справедливо видѣли въ немъ страстнаго поборника европейской цивилизаціи, безпощаднаго врага надутаго патріотизма и обличителя косности и гнета русской жизни. Они могли съ недоумѣніемъ смотрѣть на его религіозныя идеи, считать его сужденія „голосомъ изъ гроба", но кружокъ Герцена и Огарева, Грановскій и молодые профессора считали его своимъ соратникомъ. И Герценъ не измѣнилъ этой точки зрѣнія до конца, и когда въ 1851 году появилась въ Парижѣ книжка Герцена „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи", Чаадаеву было отведено въ ней видное мѣсто среди поборниковъ свободы, несмотря на собственное отреченіе Чаадаева, не обладавшаго гражданскимъ мужествомъ въ большой мѣрѣ. Если по отношенію къ славянофильству и западничеству Чаадаевъ занималъ своеобразную, не совсѣмъ опредѣленную позицію, то его отношеніе къ офиціальному народничеству не оставляетъ никакихъ сомнѣній на свой счетъ. Его „письмо" наносило жестокій ударъ не только бюрократіи, но и самой философіи, на которую опиралась офиціальная народность. Это было полное отрицаніе той Россіи, которую возводили на пьедесталъ Уваровъ съ своей знаменитой формулой и шефъ жандармовъ графъ Бенкендорфъ съ его не менѣе знаменитымъ изреченіемъ: „Le passé de la Russie a été admirable; son present est plus que magnifique; quant à son avenir, il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer" (прошлое Россіи вызываетъ удивленіе; ея настоящее болѣе чѣмъ великолѣпно; а что касается ея будущаго, то оно превосходитъ все, что можетъ нарисовать себѣ самое смѣлое воображеніе).

Какъ бы мы ни относились къ общей мистической точкѣ зрѣнія Чаадаева, но не можетъ быть двухъ мнѣній относительно его значенія въ исторіи нашей

общественно-литературной мысли. Онъ принадлежалъ къ свѣтлой дружинѣ піонеровъ освободительнаго движенія. Нѣтъ нужды, что онъ подходилъ къ русской исторіи и русской дѣйствительности съ другой стороны, чѣмъ Герценъ и Бѣлинскій. Но заодно съ ними возсталъ онъ противъ этой дѣйствительности. Вѣдь и Герценъ и Бѣлинскій подошли съ разныхъ сторонъ. Одинъ отправлялся отъ нѣмецкой метафизики, другой—отъ Сенъ-Симона. Русская мысль бросалась во всѣ стороны, всюду искала истины. Она не сразу нашла истинный положительный путь. Но всѣ ея лучшіе представители были единодушны въ одномъ. Они знали, что съ стараго пути, съ пути гнета и бюрократической опеки, необходимо сойти. И въ этомъ сознаніи Чаадаевъ былъ такъ же непоколебимъ, какъ и его друзья. А мученическій вѣнецъ, которымъ поспѣшили украсить его чело николаевскіе жандармы, закрѣпилъ за нимъ навсегда почтенное мѣсто въ рядахъ передовой литературы того времени.

IX.

Міросозерцаніе Бѣлинскаго въ 40-годахъ.—Переходъ къ реальной, научно-позитивной точкѣ зрѣнія.—Приложенія этой точки зрѣнія къ исторіи, къ ученію о національности и народѣ и къ общественнымъ вопросамъ.—Эстетическія воззрѣнія.—Главныя идеи натурализма: вѣрное изображеніе дѣйствительности, анализъ ея, общественная роль искусства, отношеніе поэта къ изображаемому, чистое и тенденціозное искусство, защита угнетенныхъ. — Бѣлинскій и офиціальное народничество. — Бѣлинскій и славянофилы. — Бѣлинскій и передовая литература. — Бѣлинскій въ исторіи русской мысли.

Охарактеризовавъ общественно-литературныя направленія, возникшія въ 40-хъ годахъ, мы можемъ вернуться къ Бѣлинскому и выяснить его главныя идеи въ этотъ періодъ, когда онъ разстался съ нѣмецкой

матафизической философіей, обратился къ русской дѣйствительности и попытался подойти къ ней не съ точки зрѣнія предвзятыхъ теорій, не съ философскими предубѣжденіями, а съ точки зрѣнія фактовъ и реальныхъ отношеній. Выяснить его огромныя заслуги передъ русской литературой за эти нѣсколько лѣтъ во всѣхъ деталяхъ было бы, конечно, невыполнимой задачей въ предѣлахъ нашего краткаго обзора. Бѣлинскій былъ въ полномъ смыслѣ слова вождемъ русской мысли, общественной и эстетической. Его статьи, написанныя въ 40 годахъ, это—цѣлая энциклопедія. Онѣ касались всего: и исторіи, и морали, и общественныхъ движеній, и географическихъ книгъ, и эстетическихъ, и классовыхъ вопросовъ. Бѣлинскій производилъ колоссальную работу очистки авгіевыхъ конюшенъ, которыя представляла собою русская умственная и общественная жизнь николаевской эпохи. Въ этой работѣ было много спѣшнаго и случайнаго. Не слѣдуетъ забывать также, что надъ ней висѣлъ мечъ тогдашней цензуры. И въ то же время Бѣлинскій при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ сумѣлъ отразить тотъ поворотъ, который начинался въ міросозерцаніи передовой части русскаго общества. Мы остановимся только на главныхъ идеяхъ Бѣлинскаго.

Прежде всего круто измѣнилась общая философская точка зрѣнія. Отъ метафизическаго міросозерцанія онъ склоненъ перейти (а иногда и переходитъ вполнѣ) къ научно-позитивному, отъ спекулятивнаго метода къ эмпирическому, отъ вѣры въ существованіе прирожденныхъ идей къ объективному изслѣдованію міра явленій. Онъ начинаетъ сознавать, что абсюлютныя истины не существуютъ. Правда, онъ дѣлаетъ оговорки, старается примирить старое съ новымъ. Но къ концу его дѣятельности все яснѣе устанавливается тотъ взглядъ, что опредѣленіе справедливости, истины, добра и красоты слѣдуетъ выводить для ка-

ждаго даннаго момента и среды изъ реальныхъ отношеній этой среды. Онъ эмпирикъ-изслѣдователь, не вѣрующій больше въ гегелевскую Абсолютную идею, съ высоты которой слѣдуетъ оцѣнивать развертывающіяся передъ нами и жизнь, и исторію, и природу. Напротивъ, явленія, факты въ его глазахъ все болѣе пріобрѣтаютъ значеніе непреложной основы, а понятія, идеи — значеніе обобщеній и выводовъ, мѣняющихся въ зависимости отъ измѣненія самихъ явленій. Бѣлинскій, писавшій въ статьѣ о нравственной философіи Дроздова: „Умозрѣніе всегда основывается на законахъ необходимости, а эмпиризмъ—на условныхъ явленіяхъ", утверждавшій въ этой статьѣ, что „должно факты объяснять мыслію, а не мысль выводить изъ фактовъ",—Бѣлинскій теперь въ статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1846 года" пишетъ: „Все на свѣтѣ только относительно, важно или не важно, велико или мало, старо или ново". Онъ заявляетъ, что истина и добродѣтель вѣчны какъ понятіе, какъ мысль, но „какъ *осуществленіе*, какъ *фактъ*, онѣ относительны". „Идеи истины и добра признавались всѣми народами, во всѣ вѣка; но что непреложная истина, что добро для одного народа или вѣка, то часто бываетъ ложью и зломъ для другого народа въ другой вѣкъ. Поэтому *безусловный, или абсолютный способъ сужденія есть самый легкій, но зато и самый ненадежный*". Бѣлинскій сознаетъ теперь, что нѣтъ ничего легче какъ опредѣлить, чѣмъ долженъ быть человѣкъ въ нравственномъ отношеніи: „Но ничего нѣтъ труднѣе, какъ показать, почему вотъ этотъ человѣкъ сдѣлался тѣмъ, что онъ есть, а не сдѣлался тѣмъ, чѣмъ бы ему, по теоріи нравственной философіи, слѣдовало быть". Въ этомъ новомъ отношеніи къ задачамъ человѣческаго познанія чувствуется уже вліяніе успѣховъ научнаго знанія, приближающееся торжество методовъ естествознанія. Субъективный методъ метафизики, объясняю-

щій намѣреніями и планами Абсолютнаго все, что представляется неправильнымъ нашему *я*, смѣняется новымъ естественно-научнымъ методомъ, въ основу котораго кладется фактъ, явленіе, и который преслѣдуетъ болѣе скромную задачу — установленіе путемъ эмпирическаго изслѣдованія постоянной зависимости между явленіями, или управляющихъ ими законовъ.

Этотъ новый научный методъ Бѣлинскій примѣняетъ теперь ко всѣмъ отраслямъ знанія, которыхъ онъ касается. Касаясь теперь вопросовъ о національности и историческомъ развитіи народа, онъ смѣется надъ прежней точкой зрѣнія, согласно которой народъ былъ посланникомъ неба для осуществленія опредѣленной назначенной ему миссіи, а исторія была не чѣмъ инымъ, какъ раскрытіемъ божественной идеи, положенной въ основу ея высшими силами, стоящими внѣ нашихъ земныхъ отношеній. Онъ указываетъ на то, что и здѣсь факты, а не предвзятыя представленія о цѣляхъ Абсолютной идеи,—лучшій источникъ для уясненія смысла исторіи, для пониманія законовъ, по которымъ развивается жизнь народа. Въ этой же статьѣ онъ привѣтствуетъ тотъ фактъ, что изученіе русской исторіи приняло такой серьезный характеръ, какого оно никогда не имѣло. „Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ будущемъ“. Онъ понимаетъ теперь, что въ исторіи не бываетъ случайностей. Перескочить обратно черезъ петровскую реформу,—это равносильно попыткѣ измѣнить порядокъ временъ года. „Это значило бы признать явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія событія въ Россіи случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ“. Нетрудно видѣть, что въ этомъ нежеланіи признать „явленіе Петра Великаго“ случайностью кроется идея отрицанія роли личности въ исторіи,—идея, органически вошедшая впослѣдствіи въ матеріалистическое объясненіе историческаго про-

цесса. „Такъ думать сродно только господамъ Маниловымъ. Подобныя событія (т.-е. такія, какъ петровская реформа) въ жизни народа слишкомъ велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Вмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ и *смѣшить всѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы*, гораздо лучше, *признавши неотразимую и неизмѣнную дѣйствительность существующаго*, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями". Само собою разумѣется, что мы не имѣемъ въ виду выставлять Бѣлинскаго представителемъ матеріалистическаго пониманія исторіи. Онъ не перестаетъ еще упоминать о высшей волѣ, онъ не пытается отыскать единый факторъ, лежащій въ основѣ историческаго процесса, но онъ ясно повременамъ отвергаетъ идеалистическую точку зрѣнія, отвергаетъ роль случайностей, по крайней мѣрѣ для крупныхъ явленій народной жизни, и роль личности и ея идейныхъ усилій. Онъ дѣлаетъ такимъ образомъ рѣзкій переходъ, если не къ матеріалистической, то къ реалистической точкѣ зрѣнія.

Одновременно съ этимъ исчезаетъ и его прежнее мистическое представленіе о народѣ и національности. Онъ возстаетъ противъ крайностей націонализма и космополитизма. То, что является духомъ народа, онъ сравниваетъ съ духовной индивидуальностью, отдѣльной личностью, причемъ порой высказываетъ воззрѣнія, подъ которыми охотно подписался бы самый законченный матеріалистъ. Вы, — говоритъ онъ,—цѣните въ человѣкѣ чувство, такъ цѣните же и этотъ кусокъ мяса, который трепещетъ въ его груди, и который вы называете сердцемъ, и котораго ускоренное или замедленное біеніе вѣрно соотвѣтствуетъ каждому движенію вашей души. Вы уважаете умъ, — благого-

вѣйте же передъ этой массою мозга, „откуда по всему организму распространяются, черезъ позвоночный хребетъ, нити нервъ, которыя суть органы ощущеній и чувствъ и которыя исполнены какихъ-то до того тонкихъ жидкостей, что онѣ ускользаютъ отъ матеріальнаго наблюденія и не даются умозрѣнію. Иначе вы будете *удивляться въ человѣкѣ слѣдствію мимо причины, или—что еще хуже — сочините свои небывалыя въ природе причины*". Далѣе онъ заявляетъ, что психологія безъ физіологіи такъ же несостоятельна, какъ и физіологія безъ анатоміи. Итакъ, Бѣлинскій является матеріалистомъ, апологетомъ естественныхъ наукъ, какъ источника всѣхъ знаній. Духовный міръ—только слѣдствіе нашей матеріальной природы. Онъ здѣсь предшественникъ базаровскихъ воззрѣній, того увлеченія естествознаніемъ и матеріализмомъ, которое скоро овладѣетъ умами русскаго общества. Правда, личность для него тайна, какъ и сама жизнь, но онъ знаетъ, что „безъ нея, случайнаго и превосходнаго явленія, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродѣтели, ни красоты, такъ же, какъ не было бы ни безчувственности, ни глупости, ни безхарактерности, ни порока, ни безобразія". Чѣмъ личность является въ отношеніи къ идеѣ человѣка, тѣмъ народъ въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. „Національность есть самобытный результатъ соединенія людей, но не есть ихъ произведеніе: ни одинъ народъ не создалъ своей національности, какъ не создалъ самого себя. Это указываетъ на кровное родовое происхожденіе всѣхъ національностей". И здѣсь мы видимъ, что мистическое представленіе о народѣ, посланномъ высшими силами для осуществленія опредѣленной миссіи, смѣняется болѣе научнымъ и реальнымъ взглядомъ на національность какъ на „результатъ соединенія людей". Роль геніальной личности въ судьбахъ народа Бѣлинскій опредѣляетъ почти аналогично съ историческими матеріа-

листами. Геній и по Бѣлинскому, въ сущности, почти только тѣмъ и великъ, что подхватываетъ безсознательныя стремленія массы. „Великій человѣкъ всегда національнаенъ, какъ его народъ, ибо онъ потому и великъ, что представляетъ свой народъ“. Борьба массы съ геніемъ является экзаменомъ этому послѣднему, и его побѣда служитъ доказательствомъ его права дѣйствовать на судьбы своего отечества. Въ этой мысли Бѣлинскаго скрывается косвенное признаніе, что въ конечномъ счетѣ масса является рѣшающимъ факторомъ при опредѣленіи геніальности. Геній, который „не взялъ своего“, т.-е. который былъ раздавленъ толпой, этимъ самымъ доказалъ, что онъ не геній.

Еще рѣзче эмпирическая и реальная точка зрѣнія начинаетъ преобладать у Бѣлинскаго надъ идеалистической при рѣшеніи общественныхъ вопросовъ. Гоголь въ своихъ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“ среди другихъ странныхъ мыслей, высказалъ между прочимъ, что причина лихоимства чиновниковъ происходитъ отъ расточительности ихъ женъ, которыя жадно стремятся блистать въ свѣтѣ. Бѣлинскій въ статьѣ, посвященной этой „Перепискѣ“, по поводу гоголевскаго толкованія высказываетъ взглядъ, идущій глубоко вразрѣзъ съ его прежнимъ моральнымъ и идеалистическимъ воззрѣніемъ на общественные пороки. Когда-то и онъ думалъ, что долгъ человѣка одинъ—нравственное самоусовершенствованіе. Теперь для него порокъ — прежде всего результатъ несовершенства общественнаго строя. Онъ смѣется надъ Гоголемъ, съ которымъ не согласятся „такъ-называемые практическіе люди, которые все понимаютъ не вдохновеніемъ, а здравымъ смысломъ и опытностью“. Невозможно у однихъ уничтожить желаніе блистать, когда „другіе по своимъ средствамъ скорѣе согласятся умереть, нежели перестать блистать“. И далѣе Бѣлинскій высказываетъ мысль, уже прямо со-

прикасающуюся съ идеями научнаго соціализма: „если равенство въ средствахъ есть неосуществимая мечта, то никакія „Переписки“ въ мірѣ не убѣдятъ никакого Ира не желать быть Крезомъ или не завидовать ему“. Эта мысль крайне любопытна. Согласно ей, страсти и пороки являются результатомъ общественныхъ экономическихъ отношеній. Правда, черезъ строку Бѣлинскій снова упоминаетъ о „природѣ человѣческой“, но это не можетъ скрыть отъ насъ того факта, что идеалистъ превратился въ реалиста, метафизикъ—въ позитивиста. То, что раньше объяснялось дѣйствіемъ Абсолютнаго начала, то выводится теперь изъ реальныхъ условій дѣйствительности. Въ толкованіе фактомъ духовной жизни Бѣлинскій вноситъ матеріалистическую точку зрѣнія. Правда, эта точка зрѣнія не преобладаетъ у него. Онъ и теперь еще придаетъ важное значеніе случайностямъ, роль которыхъ, какъ мы видѣли, онъ почти сводитъ къ нулю. Онъ многое объясняетъ появленіемъ великихъ личностей, говоритъ о человѣческой природѣ вообще. Но это не мѣшаетъ увидать въ его міросозерцаніи начало поворота въ умственномъ направленіи передовой русской интеллигенціи. Долго бросавшаяся на различныя западныя теоріи, она начинала приходить къ той мысли, что единственный источникъ всѣхъ нашихъ знаній—эмпирическій матеріалъ, добытый изъ дѣйствительности, а единственныя знанія, доступныя намъ,—это относительныя условныя истины, полученныя изъ этого матеріала.

Такова первая крупная перемѣна, совершившаяся въ міросозерцаніи Бѣлинскаго. Съ ней тѣсно связано и его новое эстетическое ученіе. Въ старомъ спорѣ о задачахъ искусства Бѣлинскій занимаетъ теперь новую позицію. Раньше искусство было для него посредникомъ между человѣкомъ и абсолютнымъ міромъ. Оно открывало завѣсу вѣчности, играло такую же

роль, какъ религія, помогая человѣку вступать въ непосредственное общеніе съ Божествомъ. Пока Бѣлинскій считалъ задачей познанія раскрытіе цѣлей Абсолютнаго Разума,—и искусство представлялось ему не чѣмъ инымъ, какъ элементомъ и притомъ главнымъ, даже временами единственнымъ путемъ, ведущимъ къ сліянію съ этимъ Разумомъ. Теперь, когда задача познанія сводится, главнымъ образомъ къ пониманію міра явленій, видимой дѣйствительности и жизни, роль искусства въ его глазахъ почти сливается съ задачами точнаго изслѣдованія, пользующагося эмпирическимъ методомъ. Бѣлинскій еще до Эмиля Зола [1]), автора „экспериментальнаго романа", создаетъ теорію натуральной школы въ литературѣ. Замѣчательно, что нашъ критикъ выступилъ съ ясно формулированной теоріей задолго до Зола, съ именемъ котораго навсегда связано представленіе о расцвѣтѣ европейскаго натурализма.

Въ чемъ же заключается сущность натурализма въ литературѣ, по ученію Бѣлинскаго? Первое основное требованіе натурализма, это- сближеніе науки и литературы. Поэтъ является не кѣмъ инымъ, какъ ученымъ, изслѣдующимъ и изображающимъ жизнь и внутренній міръ человѣка, такъ же, какъ анатомъ изучаетъ человѣческій организмъ, а ботаникъ—организмъ растеній. Съ этой точки зрѣнія онъ начинаетъ оцѣнивать художественныя произведенія. „Деревня" Григоровича и повѣсть Луганскаго,—говоритъ онъ,—интересны не какъ повѣсти, а какъ мастерскіе физіологическіе очерки бытовой стороны жизни". Романъ—говоритъ онъ,—какъ всякое художественное произведеніе, есть воспроизведеніе явленій дѣйствительнаго міра во всей ихъ истинѣ. Истина такъ же есть предметъ и цѣль искусства, какъ и философія; вся раз-

---

[1]) См. II т. моихъ „Оч. по ист. зап.-европ. лит.".

ница въ средствахъ и пріемахъ. Иначе, по его мнѣнію, искусство ничѣмъ не отличалось бы отъ картъ, было бы ниже любого ремесла, потому что ремесло полезно. Въ невозможномъ не можетъ быть ничего умнаго. Небесный сводъ, при взглядѣ на который онъ прежде усматривалъ величіе единой божественной идеи, теперь представляется ему въ сухихъ астрономическихъ опредѣленіяхъ: „Что путнаго можетъ увидѣть въ небѣ поэтъ нашего времени, если онъ совершенно чуждъ самыхъ общихъ физическихъ и астрономическихъ понятій и не знаетъ, что этотъ голубой куполъ, плѣняющій его глаза, не существуетъ въ дѣйствительности, но есть произведеніе его же собственнаго зрѣнія, ставшаго центромъ видимой имъ сферической окружности; что тамъ, на высотѣ, куда ему такъ хочется, и пусто, и холодно, и нѣтъ воздуха для дыханія, что отъ звѣзды до звѣзды и въ тысячу лѣтъ не долетишь на лучшемъ аэростатѣ... То ли дѣло земля! — на ней намъ и свѣтло и тепло, все наше, все близко и понятно намъ, на ней наша жизнь и наша поэзія... Зато, кто отворачивается отъ нея, не умѣя понимать ее, тотъ не можетъ быть поэтомъ и можетъ ловить въ холодной высотѣ однѣ холодныя и пустыя фразы...“ Такова основная задача натуралистической литературы— вѣрное изображеніе видимаго міра, и природы, и жизни, вѣрное въ смыслѣ позитивно-научныхъ требованій, свободное отъ фантазіи и призраковъ. Поэтъ больше не населяетъ міра сверхъестественными силами. Онъ видитъ въ немъ рядъ явленій, воспринимаемыхъ нашими органами чувствъ, и изгоняетъ изъ него фей и духовъ.

Изъ этого перваго основного требованія вытекаютъ и всѣ остальныя идеи натуральной школы. Вторая основная задача ея заключается въ томъ, что она, помимо вѣрнаго изображенія дѣйствительности, производитъ ея анализъ. И здѣсь ея цѣли совпадаютъ съ

цѣлями науки. Все различіе между ними только въ способѣ обработки матеріала. Ученый анализируетъ факты и приходитъ къ извѣстнымъ практическимъ выводамъ, художникъ стремится къ тому же, но другимъ путемъ. Первый доказываетъ, второй показываетъ. Въ статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“ Бѣлинскій говоритъ: „Видятъ, что искусство и наука не одно и то же, а не видятъ, что ихъ различіе вовсе не въ содержаніи, а только въ способѣ обрабатывать данное содержаніе. Философъ говоритъ силлогизмами, поэтъ—образами и картинами, а говорятъ оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, *доказываетъ*, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, *показываетъ* въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ“. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, но оба убѣждаютъ, только одинъ логическими доводами, другой картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого — всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію—сознаніе, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не можетъ замѣнить искусства ни искусство — науки“. Такимъ образомъ вторая идея дополняетъ первую. Поэзіи ставятся двѣ главныя задачи, которыя стоятъ передъ точнымъ знаніемъ: вѣрная регистрація фактовъ и установленіе постоянныхъ связей или причинъ, связующихъ одинъ

фактъ съ другимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ приведенномъ отрывкѣ намѣчается и третья важная задача искусства. Устанавливая причинную связь между явленіями, оно должно понимать, что священнѣйшій интересъ общества заключается въ его собственномъ благосостояніи, слѣдовательно, просвѣтлѣніе сознанія въ соціальномъ направленіи — наиболѣе серьезная цѣль искусства. Оно должно содѣйствовать выясненію соціальныхъ отношеній, объяснять, почему „положеніе того или другого класса улучшилось или ухудшилось“ и т. д. Бѣлинскій создаетъ стройную эстетическую систему, въ которой всѣ части гармонически сочетаются одна съ другой. У него съ необыкновенной ясностью впервые въ русской критикѣ выступаетъ та идея, что реальное искусство должно быть неизбѣжно общественнымъ.

Если мы прослѣдимъ дальше за ходомъ его эстетическихъ идей, то мы увидимъ, что онъ во всѣхъ деталяхъ предвосхищаетъ теорію Зола. Онъ предъявляетъ къ поэту два новыхъ требованія: всесторонность въ изображеніи дѣйствительности и полную научную объективность. Поэтъ пересталъ быть жрецомъ, священнослужителемъ, онъ не можетъ вносить субъективный произволъ въ свои образы, ореолъ, окружавшій его, поблекъ. Не носителемъ высшихъ тайнъ, недоступныхъ простымъ смертнымъ, а обыкновеннымъ изслѣдователемъ, подчиненнымъ общимъ законамъ эмпирическаго изслѣдованія, становится онъ. Онъ не можетъ больше выбирать только одни героическія и возвышенныя фигуры. Положимъ, что образованный человѣкъ выше необразованнаго. „Но развѣ ботанистъ интересуется только садовыми улучшенными искусствомъ растеніями презирая, ихъ полевые дикорастущіе первообразы. Развѣ для анатома и физіолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ же

основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ разниться отъ науки?“ Новая научная точка зрѣнія приводитъ такимъ образомъ Бѣлинскаго къ двумъ новымъ требованіямъ: поэзія должна быть всестороннимъ отраженіемъ дѣйствительности, для нея не существуетъ недостойныхъ сюжетовъ. Поэтъ долженъ быть объективнымъ какъ ботаникъ и анатомъ. Эти новыя требованія приводятъ Бѣлинскаго, съ другой стороны, къ тому основному настроенію, которое владѣло имъ въ теченіе всей его жизни, къ скорби о тяжелой долѣ меньшого брата. Угнетенные и обездоленные являются предметомъ вниманія поэзіи, и этимъ отнюдь не нарушается ея объективный характеръ. Она слишкомъ долго служила богатымъ и сильнымъ, слишкомъ долго занималась украшеніемъ дѣйствительности. Поэтому интересъ къ мужику есть, въ сущности, возстановленіе ея истиннаго объективнаго отношенія къ дѣйствительности.

Здѣсь мы сталкиваемся съ послѣднимъ важнымъ вопросомъ, на который необходимо было отвѣтить натуральной школѣ, чтобы выяснить свою эстетическую теорію до конца, именно съ вопросомъ о томъ, должно ли искусство служить самому себѣ цѣлью, быть чистымъ искусствомъ, искусствомъ для искусства, или оно должно преслѣдовать утилитарныя цѣли, служить дѣлу проповѣди извѣстныхъ идей и новыхъ формъ жизни. И въ этомъ вопросѣ натуральная школа стоитъ на точкѣ зрѣнія эмпирической науки. Для нея самое противопоставленіе тенденціознаго и чистаго искусства представляется, повидимому, неправильной постановкой вопроса. Истинно-художественное произведеніе, т.-е. произведеніе, правильно отражающее дѣйствительность, проливающее свѣтъ на нее, не можетъ не раскрывать ея отрицательныхъ сторонъ, не можетъ не говорить нашему сознанію о необходимыхъ измѣненіяхъ. Такое художественное произведеніе отравляетъ

покой тѣхъ, кто является виновникомъ несовершенства жизни и извлекаетъ лично для себя блага изъ этого несовершенства. Оно возбуждаетъ къ борьбѣ съ этими отрицательными сторонами дѣйствительности. Но это происходитъ вовсе не отъ того, что искусство уклонилось отъ своихъ прямыхъ задачъ. Сама жизнь толкаетъ на вѣчную борьбу съ ея темными сторонами, и искусство, какъ отраженіе жизни, не можетъ преслѣдовать другой задачи. Что такое чистое искусство? „Оно,—отвѣчаетъ Бѣлинскій,—въ сущности, есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ оно уже можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху“. Но что значитъ быть „прежде всего искусствомъ“? Слѣдующія слова Бѣлинскаго поясняютъ, что онъ разумѣетъ подъ этимъ: „Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ образовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего *типическаго*,— какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго“. Словомъ, одного вѣрнаго изображенія дѣйствительности недостаточно; нужно умѣть уловить внутреннюю связь явленій и типическое въ характерахъ. Чтобы вѣрно списывать съ натуры, нужно умѣть провести явленія дѣйствительности черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь,—говоритъ Бѣлинскій. Но не слѣдуетъ думать, что онъ имѣетъ въ виду старую романтическую фантазію, которая населяетъ міръ несуществующими призраками. Это новая фантазія, которая играетъ у Бѣлинскаго болѣе скромную роль. Это та фантазія, которая дополняетъ работу эмпирика, которая помогла

Ньютону открыть законъ всеобщаго тяготѣнія. Самъ Бѣлинскій поясняетъ, что онъ разумѣетъ подъ этой способностью. Слѣдственное дѣло, даже хорошо изложенное, еще не есть художественное произведеніе. Художникъ воспользуется имъ иначе. „Онъ долженъ проникнуть мыслію во внутреннюю сущность дѣла, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого дѣла, которая составляетъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. А это можетъ сдѣлать только поэтъ“. Такъ рѣшается споръ между чистымъ и тенденціознымъ искусствомъ. Истинное искусство всегда будетъ тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Истинный поэтъ открываетъ скрытую связь явленій изъ нихъ самихъ, открываетъ ихъ внутренній смыслъ и этимъ возбуждаетъ то или иное отношеніе къ нимъ. Признавая, что искусство прежде всего должно быть искусствомъ, Бѣлинскій, однако, прекрасно понимаетъ, что „мысль о какомъ-то чистомъ отрѣшенномъ искусствѣ, живущемъ въ своей собственной сферѣ, не имѣющей ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная,—такого искусства никогда и нигдѣ не бываетъ“. Разъ искусство есть вновь воспроизведенный міръ, то можетъ ли человѣкъ не отразиться въ немъ какъ личность, какъ натура, изображать явленія дѣйствительности безъ отношенія къ себѣ? Въ твореніяхъ Вальтеръ-Скотта нельзя не видѣть тори и консерватора. Шекспиръ былъ поэтомъ старой веселой Англіи, которая въ продолженіе немногихъ лѣтъ вдругъ сдѣлалась суровою, строгой, фантастической. Мильтонъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апоѳеозъ возстанія противъ авторитета. „Такъ сильно, — замѣчаетъ Бѣлинскій, — дѣйствуетъ на поэзію историческое движеніе обществъ“; чисто эсте-

тическая критика, имѣющая дѣло только съ поэтомъ и его произведеніемъ, не принимающая въ соображеніе среды и эпохи,—обстоятельствъ, подготовившихъ его,— теряетъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, всякій кредитъ въ настоящее время. „Искусство и литература въ наше время больше, чѣмъ когда-нибудь сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общедоступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ". Итакъ, искусство становится, по ученію Бѣлинскаго, могучей общественной силой, оно можетъ не бояться этой роли, будто отводящей его отъ прямого назначенія. Напротивъ, между этой ролью и этимъ назначеніемъ нѣтъ противорѣчія. Они сливаются въ одно гармоническое цѣлое. И Бѣлинскій прославляетъ натуральную школу. Она не побоялась вывести мужика въ его сѣромъ неприглядномъ видѣ. Она не побоялась обрушиться на чиновниковъ и ихъ злоупотребленія. На нее возстали сторонники старой эстетики. Они раскрываютъ книгу и ищутъ въ ней красоты того, что одѣваетъ неприглядную жизнь въ розовые цвѣта. А между тѣмъ книга перестала лгать. Обезпеченный сибаритъ „въ вольтеровскихъ креслахъ, за чашкой кофе" переворачиваетъ листы — „и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ". „И есть отчего! Книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живутъ такъ хорошо, какъ онъ, что есть углы, гдѣ подъ лохмотьями дрожитъ цѣлое семейство, можетъ-быть, недавно еще знавшее довольство; что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету, что послѣдняя копейка идетъ на зелено-вино, не всегда отъ праздности и лѣни. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта". Онъ взялъ книгу для удовольствія, а вычиталъ то мрачное, о чемъ хотѣлъ за-

быть при помощи ея. „Такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный—свой голодъ, стоны страданій должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ“...

Таковъ Бѣлинскій въ 40-хъ годахъ. Не туманныя метафизическія грезы, а реальное знаніе стало теперь опорой его міросозерцанія. Не абстрактная несправедливость, а реальная неправда стала предметомъ его пламенныхъ обличеній. Наука какъ оружіе, общественное зло, какъ врагъ—такова теперь новая сфера примѣненія его силъ. Съ этими новыми воззрѣніями подходитъ онъ теперь къ тому, что наполняло тогдашнюю литературу. Офиціальное народничество становится предметомъ его язвительныхъ насмѣшекъ, съ славянофильствомъ онъ вступаетъ въ непримиримую борьбу, западничество находитъ въ немъ своего апостола, собравшаго подъ знамя этого направленія все лучшее въ русской литературѣ.

Разсмотримъ вкратцѣ его отношеніе къ этимъ тремъ направленіямъ. Само собою разумѣется, что при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ Бѣлинскій не могъ развить борьбу съ реакціонно-патріотическимъ направленіемъ до той широты, которая дала бы ему возможность обрушиться на мрачныя стороны николаевскаго режима со всей силой своего слова. Да и самое направленіе офиціальной народности выражалось въ слишкомъ уродливыхъ формахъ, чтобы Бѣлинскій могъ принять по отношенію къ нему серьезный тонъ. Оружіе, къ которому онъ прибѣгаетъ въ борьбѣ съ нимъ,—по большей части насмѣшка. Остроумныя уничтожающіе сарказмы по адресу Булгарина и его соратниковъ разсѣяны повсюду въ статьяхъ Бѣлинскаго. Онъ разоблачаетъ ходульность патріотической художественной литературы, издѣвается надъ ея притяза-

ніями на монополію патріотизма, на охрану чистоты русской рѣчи. Въ статьѣ „Русская литература въ 1844 году“ онъ даетъ такой убійственный отзывъ о «Москвитянинѣ»: «Кто считаетъ себя только русскимъ, не заботясь о своемъ славянизмѣ, тотъ въ статьяхъ „Москвитянина“ заблудится, словно въ одной изъ тѣхъ темныхъ дубравъ, гдѣ воздвигались деревянные храмы Перуну и обитали мелкія славянскія божества—кикиморы и лѣшіе. Надо быть истымъ славяниномъ, чтобы находить въ статьяхъ „Москвитянина“ талантъ, знаніе, убѣжденіе, интересъ, ясность и пр. Но—увы!—мы не болѣе какъ русскіе, а не славяне, мы—граждане Россійской имперіи, мы и душой и тѣломъ въ интересахъ нашего времени, и желаемъ не возврата aux temps primitifs, а естественнаго хода впередъ, путемъ просвѣщенія и цивилизаціи. Это обстоятельство совершенно лишаетъ насъ возможности понимать „Москвитянина“. Далѣе онъ издѣвается надъ заявленіемъ „Сѣверной Пчелы“, что она „по прежнему будетъ *хранительницей* и *блюстительницей* чистоты и правильности драгоцѣннаго народнаго достоянія—русскаго языка“. Въ доказательство того, какъ удачно выполняетъ „Сѣверная Пчела“ эту миссію, онъ приводитъ рядъ безграмотныхъ или напыщенно-нелѣпыхъ выраженій со страницъ самой же „Сѣверной Пчелы“, въ родѣ слѣдующихъ: „Г-жа Тадини имѣетъ звучный голосъ, хорошую методу, *выгодную физику* (?) и много жару“ или „надобно необыкновенной власти надъ собою, чтобъ...“ или „А если вы левъ или львица, то вы должны быть въ восторгѣ отъ огнедышущихъ изверженій волканической головы, на каменномъ основаніи сердца Жоржъ-Санда“.

Если офиціальное народничество не заслуживало въ глазахъ Бѣлинскаго ничего, кромѣ насмѣшки и презрѣнія, то къ другому противнику, славянофильству, онъ относился болѣе серьезно. Онъ не скрывалъ

своего уваженія къ искренности славянофиловъ. „Каковы бы ни были,—говоритъ Бѣлинскій,—ихъ понятія, или, по нашему, ошибки и заблужденія, мы уважаемъ ихъ источникъ. Мы можемъ относиться съ уваженіемъ ко всякому искреннему, независимому и благородному въ его началѣ, убѣжденію, не только не раздѣляя его, но и видя въ немъ діаметральную противоположность нашему убѣжденію". Обвиненія Бѣлинскаго главнымъ образомъ сводятся къ туманному характеру славянофильскаго ученія. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ болѣе или менѣе стройную систему славянофильство сложилось уже послѣ смерти Бѣлинскаго. Знаменитый критикъ засталъ ту первоначальную стадію его исторіи, когда оно было скорѣе сердечнымъ неяснымъ порывомъ, чѣмъ обоснованнымъ ученіемъ. Неудивительно, что Бѣлинскій потребовалъ у школы прежде всего отчета въ ея вѣрованіяхъ, яснаго изложенія ея ученія. „Положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности". Въ „Отвѣтѣ Москвитянину" Бѣлинскій сознается, что, можетъ быть, не всегда точно и ясно излагалъ мнѣнія своихъ противниковъ. „Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія. Онъ указываетъ на то, что славянофилы противорѣчатъ сами себѣ безпрестанно, что у „нихъ столько же мнѣній, сколько лицъ". Другое обвиненіе, съ которымъ онъ выступаетъ противъ славянофиловъ, заключается въ томъ, что они не постарались отграничить себя отъ офиціальной народности. И, дѣйствительно, какъ мы уже знаемъ, не всегда можно было установить границу между патріотами полицейскаго оттѣнка и искрен-

ними націоналистами славянофильской школы. „Многіе славянофилы,—говоритъ Бѣлинскій въ своемъ „Отвѣтѣ",—не любятъ вспоминать о „Маякѣ", какъ-будто чуждаются его, никогда не высказываютъ своего мнѣнія ни за, ни противъ его; подумаешь, что они и не знаютъ ничего о существованіи подобнаго журнала. А это оттого, что „Маякъ" былъ самымъ крайнимъ и самымъ послѣдовательнымъ органомъ славянофильства". По мнѣнію Бѣлинскаго, „Маякъ" могъ презирать „Москвитянина" за его половинчатость, „Маякъ" выставилъ славянофильство „на позорище свѣта въ его истинномъ, настоящемъ видѣ". За славянофилами Бѣлинскій признаетъ одну заслугу, но заслугу отрицательную; они возстали противъ русскаго европеизма, они указали только фактъ, не изслѣдовавъ его причинъ, но зато заставили своихъ противниковъ сдѣлать это. Такова ихъ единственная заслуга, имѣющая отрицательный характеръ.

Но главное значеніе Бѣлинскаго заключается не въ этой борьбѣ съ отрицательными явленіями тогдашней литературы. Новыя научныя идеи, проникавшія все сильнѣе въ русское общество, новое отношеніе къ дѣйствительности, новыя требованія къ художественной литературѣ,—все это не могло бы завоевать себѣ такъ быстро господствующаго положенія, если бы Бѣлинскій не обладалъ геніальнымъ критическимъ чутьемъ и не примѣнилъ бы новыхъ воззрѣній къ тому новому и крупному, что нарождалось въ русской литературѣ, и къ ея прошлому. Его точка зрѣнія на отдѣльныхъ писателей теперь кореннымъ образомъ мѣняется по сравненію съ тѣмъ, что мы видѣли въ „Литературныхъ мечтаніяхъ". Кантемира онъ называетъ теперь „умнымъ и даровитымъ". Писателей прошлаго онъ оцѣниваетъ теперь по ихъ отношенію къ дѣйствительности. Фонвизинъ, который въ „Литературныхъ мечтаніяхъ" удостоился пренебрежительнаго

отзыва, въ статьѣ „Взглядъ на русск. лит. 1846 г.“ названъ „первымъ даровитымъ комикомъ“, котораго „не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслажденіе“. Въ его лицѣ „русская литература какъ-будто даже преждевременно сдѣлала огромный шагъ къ сближенію съ дѣйствительностью: его сочиненія — живая лѣтопись той эпохи“. Нужно ли прибавлять, что русская литература эпохи Бѣлинскаго давала богатый матеріалъ для мыслей великаго критика. Онъ подвелъ итоги дѣятельности Пушкина. На его глазахъ развивался могучій талантъ Гоголя. Наконецъ, онъ привѣтствовалъ восходящую плеяду будущихъ свѣтилъ русской литературы. Достаточно сказать, что въ одной статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“ Бѣлинскому пришлось сразу выяснить значеніе такихъ произведеній, какъ „Кто виноватъ“ Герцена, „Обыкновенная исторія“ Гончарова, „Хорь и Калинычъ“ Тургенева, „Антонъ-Горемыка“ и „Деревня“ Григоровича, „Хозяйка“ Достоевскаго и т. д. Вся литература, анализу которой посвящены слѣдующія страницы нашей книги, является лучшимъ показателемъ положительной заслуги Бѣлинскаго въ области критики.

Такой краткій путь, но путь, полный богатаго внутренняго содержанія и напряженной мысли, прошелъ Бѣлинскій. Онъ началъ съ абстракцій и кончилъ почти позитивизмомъ и матеріализмомъ. Онъ началъ съ поисковъ единой Абсолютной идеи, изъ которой сразу можно было бы объяснить всѣ явленія видимой дѣйствительности. Онъ кончилъ тѣмъ, что стремился установить объективные методы познанія истины на основаніи фактовъ этой дѣйствительности. Въ началѣ своей дѣятельности онъ видитъ въ историческомъ процессѣ только раскрытіе божественной идеи. Въ концѣ ея онъ уже предчувствуетъ возможность научной теоріи историческаго процесса, онъ смѣется надъ

„самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы“ и требуетъ признанія „неотразимой дѣйствительности существующаго“. Мистическая идея народа смѣняется представленіемъ о національности какъ о „результатѣ соединенія людей“, предчувствіемъ новыхъ воззрѣній относительно земного происхожденія государства и національности. Литература, нѣкогда раскрывавшая въ его глазахъ гармонію божественнаго замысла, должна заняться изученіемъ дѣйствительности, изслѣдованіемъ законовъ, управляющихъ явленіями; она становится спутникомъ науки, почти сливается съ нею, разъясняя то, что совершается вокругъ насъ, содѣйствуя правильному направленію нашихъ усилій въ духѣ назрѣвающихъ общественныхъ потребностей, являясь могучимъ орудіемъ прогресса, великой поборницей передовыхъ идей. Наконецъ, исторія въ его глазахъ начинала превращаться въ закономѣрный процессъ, въ основѣ котораго лежали реальные факты, развивающіеся въ силу законовъ, свойственныхъ имъ и вполнѣ доступныхъ человѣческому изслѣдованію. Конечно, было бы чудовищнымъ преувеличеніемъ назвать Бѣлинскаго представителемъ или даже предшественникомъ матеріалистическаго міросозерцанія. До конца литературной дѣятельности его не покидаетъ идея нравственной справедливости, лежащей въ основѣ развертывающейся жизни, до конца стоитъ онъ на идеалистической точкѣ зрѣнія и прилагаетъ свои нравственныя субъективныя мѣрила къ явленіямъ дѣйствительности. Въ отношеніяхъ между личностью и обществомъ онъ до конца апологетъ личности, страданія которой глубоко отзываются въ его великомъ сердцѣ. До конца онъ больше говоритъ о томъ, что должно быть, а не о томъ, что есть. Но среди его твореній, проникнутыхъ идеализмомъ, мы видимъ проникновенныя строки, свидѣтельствующія о томъ, что этотъ страстный искатель истины

былъ недалекъ отъ того, чтобы броситься въ объятія новаго ученія, которое было съ необыкновенной яркостью и силой провозглашено почти въ годъ его кончины. Въ его недовольствѣ „говорунами“, которые видятъ произволъ и случайность тамъ, гдѣ совершается необходимый процессъ; въ его замѣчаніи „о непреложныхъ законахъ“, заключенныхъ въ „сущности самого общества и обусловливающихъ его жизнь и развитіе; въ его словахъ, что государственныя постановленія „не бываютъ закономъ, изреченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, довременно и только выговариваются человѣкомъ“; наконецъ, въ его изумительно просто высказанной мысли, что „дѣйствительность, какъ явившійся отѣлесившійся разумъ, всегда предшествуетъ сознанію, потому что прежде, нежели сознавать, надо имѣть предметъ для сознанія“, — во всемъ этомъ чувствуется научный духъ, который царитъ и въ „Коммунистическомъ манифестѣ“.

Какое же мѣсто занимаетъ Бѣлинскій въ исторіи развитія русской мысли? Его міросозерцаніе было переходомъ отъ чистой метафизики къ чисто-научному міровоззрѣнію, отъ крайняго идеализма къ матеріализму. Можно искать въ мірѣ прежде всего космическихъ силъ, считать дѣйствительность только продуктомъ единой царящей въ мірѣ идеи. Съ этой точки зрѣнія подъ разными формами мысль всегда жертвуетъ дѣйствительностью во имя этой міровой идеи. Съ этой точки зрѣнія дѣйствительность и вообще міръ явленій никогда не будутъ представлять сами по себѣ цѣли нашего познанія, всегда будутъ играть служебную роль въ пониманіи міровой жизни. И человѣческое общество, его развитіе есть одинъ изъ элементовъ въ этомъ процессѣ. Можно исходить изъ совершенно противоположнаго воззрѣнія. Міръ явленій представляется даннымъ фактомъ Всѣ наши понятія и идеи — только обобщенія видимыхъ явленій, они не имѣютъ абсолют-

ной цѣнности и реальнаго бытія, они мѣняются въ зависимости отъ перемѣнъ, совершающихся въ мірѣ явленій. Съ первой точки зрѣнія, развитіе міра есть осуществленіе опредѣленной цѣли, и различныя ступени этого развитія оцѣниваются въ зависимости отъ ихъ роли въ ея осуществленіи. Со второй точки зрѣнія процессъ развитія безцѣленъ, онъ совершается въ силу измѣненій, присущихъ самимъ явленіямъ. Развитіе человѣческаго общества совершается тоже благодаря неизбѣжно развивающимся изъ самихъ себя силамъ, входящимъ въ его структуру. Отдѣльныя ступени этого развитія не подлежатъ абсолютной нравственной оцѣнкѣ. Среди нихъ нѣтъ высшихъ и низшихъ. Всѣ они—необходимыя стадіи, и наша задача заключается въ томъ, чтобы, не внося субъективныхъ оцѣнокъ, не доискиваясь несуществующей или скрытой отъ насъ божественной цѣли, принять совершающійся процессъ развитія какъ фактъ и попытаться вывести изъ него общіе законы, которые лежатъ въ его основѣ. Въ первый періодъ своей литературной дѣятельности Бѣлинскій примыкаетъ вполнѣ къ первой изъ двухъ указанныхъ точекъ зрѣнія. До второй онъ не дошелъ до конца своей жизни. Но онъ приблизился къ ней. Онъ чувствовалъ, что въ реальныхъ условіяхъ самой общественной жизни слѣдуетъ искать законовъ, объясняющихъ процессъ ея развитія. Но онъ, какъ мы видѣли, до конца не переставалъ замѣнять произвольными логическими построеніями изученіе дѣйствительной причинной связи событій. Онъ не дожилъ до того момента, когда новыя историческія и соціальныя воззрѣнія завоевали себѣ почетное мѣсто и діалектическій идеализмъ смѣнился діалектическимъ матеріализмомъ. И, тѣмъ не менѣе, онъ останется знаменемъ русской интеллигенціи не только потому, что выступилъ глашатаемъ ея вѣры въ апріорные идеалы истины, добра и красоты, но и потому,

что его пламенное стремленіе къ истинѣ сдѣлало его предвѣстникомъ и того направленія русской общественной мысли, которое подошло къ дѣйствительности безъ предубѣжденій и въ ней самой стало искать ея объясненія.

Болѣе полувѣка отдѣляютъ насъ отъ смерти Бѣлинскаго, и онъ остается до сихъ поръ источникомъ, отъ котораго можно вести современныя намъ теченія общественно-литературной мысли. Онъ выступилъ съ нетерпѣливой жаждой истины. Его умъ не искалъ, а страстно требовалъ ея. Своей желѣзной духовной силой стремился онъ сковать въ гармоническое цѣлое все, надъ чѣмъ вѣками бьется человѣческая мысль, стремился создать цѣльный міръ, гдѣ Богъ и вселенная, исторія и общество, наука и поэзія, правда и страданіе образовали бы стройную картину, отвѣчавшую пламенному стремленію его духа. Дѣйствительность разрушила эту гармонію, разбила иллюзіи. И онъ, не задумываясь, подошелъ съ другой стороны, чтобы овладѣть неприступной крѣпостью истины. Отъ общаго и неопредѣленнаго пришлось перейти къ частностямъ, придать абстрактному конкретныя формы. Русская интеллигенція съ тѣхъ поръ разбилась на враждующія группы, идущія различными путями къ общей цѣли. Но Бѣлинскій навсегда останется именемъ, которому принадлежитъ ихъ общее поклоненіе. Онъ—символъ этой общей цѣли. Его энтузіазмъ, его пламенная ненависть, муки его жизни и муки его мысли, это—типичныя формы, въ которыя облекались этапы русской прогрессивной мысли. Можно спорить о томъ, какому направленію принадлежалъ бы его геніальный умъ, если бы не закончилась такъ рано его страдальческая жизнь. Но нельзя спорить о томъ, что значеніе его неизмѣримо шире, чѣмъ роль родоначальника опредѣленнаго направленія. Онъ уничтожилъ традиціи и расчистилъ путь философскимъ и

общественнымъ исканіямъ. Съ его именемъ связанъ самый фактъ возникновенія литературно-общественныхъ и философско-историческихъ направленій. Его общественная злоба разбила русское общество на лагери и разставила на враждебныя позиціи тѣхъ, кто считали себя соратниками. Онъ часто ошибался въ путяхъ, но одно завѣщанное имъ наслѣдіе, какъ недосягаемый идеалъ, было воспринято всѣми лучшими представителями послѣдующей литературы,—это святой образъ мученика-публициста, беззавѣтно мужественнаго борца за права угнетенныхъ и обездоленныхъ.

Отдѣлъ III.

Герценъ.

X.

Бѣлинскій и Герценъ. — Обстановка, въ которой совершалось развитіе Герцена.—Дѣтская въ барскомъ домѣ.—Слуги и народъ.—Деревня и природа.—Императоръ Николай и Герценъ.—Впечатлѣніе декабрьскаго бунта.—Огаревъ.—Университетъ.—Ссылка.—Литературныя отношенія Герцена въ 40-хъ годахъ.—За границей.—Разочарованіе послѣ 1848 года.—„Колоколъ".—Заключеніе.

Бѣлинскій былъ по преимуществу выразителемъ философскаго и научнаго энтузіазма современнаго ему русскаго общества. Онъ началъ съ него и только къ концу своей жизни сталъ все болѣе и болѣе погружаться въ міръ практическихъ вопросовъ. Его знаменитый современникъ пошелъ инымъ путемъ. Въ то время какъ Бѣлинскій искалъ истины въ восторженномъ созерцаніи, Герценъ на практикѣ знакомился съ жизнью въ тюрьмѣ и ссылкѣ.

Бѣлинскій вышелъ изъ среды бѣднаго провинціальнаго чиновничества. Герценъ былъ отпрыскомъ стараго русскаго барства. Бѣлинскій внесъ въ свое творчество желчь и слезы изстрадавшагося бѣдняка, Герценъ согрѣлъ свое уютной и теплой поэзіей патріархальнаго склада. Даже въ періодъ метафизическихъ

порывовъ неприкрашенная ненависть къ „ликующимъ, праздно болтающимъ“ и мучительная любовь къ „погибающимъ“ нарушала гармонію абстрактныхъ построеній Бѣлинскаго. Въ самый разгаръ ненависти къ торжествующимъ угнетателямъ, въ эпоху отчаянія, когда писались безнадежныя проклятія „Съ того берега“, Герценъ сохранилъ тотъ смягчающій мечтательный романтизмъ, который помогъ ему превратить свою собственную біографію въ волшебную поэму, изъ исторіи своей жизни создать „Былое и Думы“, одно изъ прекраснѣйшихъ твореній нашей литературы. Бѣлинскій началъ съ философіи и поэзіи, Герценъ съ практическихъ и соціальныхъ вопросовъ. Но въ философіи и поэзіи перваго было больше мучительной практики, а въ практикѣ второго — больше поэзіи. Бѣлинскому не выпало на долю принять офиціальный мученическій вѣнецъ, николаевскіе жандармы скорбѣли о томъ, что не успѣли сгноить въ тюрьмѣ „умершаго во-время“ писателя. Герцена правительство украсило этимъ вѣнцомъ. Онъ испыталъ тюрьму и ссылку. Но въ „свободѣ“ Бѣлинскаго было много тюрьмы и ссылки, а въ тюрьмѣ и ссылкѣ Герцена было много свободы и независимости.

Подобно Бѣлинскому, Герценъ жилъ въ эпоху раннихъ общественныхъ исканій русской интеллигенціи. Поэтому и его путь былъ въ значительной степени неровной дорогой, полной скачковъ и уклоненій. Но, отпрыскъ богатаго дворянскаго рода, онъ таилъ въ своей душѣ органическую связь съ извѣстной культурой. Бѣлинскій былъ сломленъ страшнымъ потокомъ тяжелой русской дѣйствительности, который онъ хотѣлъ охватить со всѣхъ сторонъ. Онъ взялъ на себя дѣло великана,—дѣло, въ которомъ могъ разобраться только рядъ поколѣній послѣ него, раздѣлившихъ задачу на отдѣльныя части. Бѣлинскій явился въ русскую литературу первымъ великимъ разночинцемъ,

очутившимся въ атмосферѣ господствовавшаго тогда либеральнаго дворянскаго міровоззрѣнія. Поэтому онъ сталъ внѣклассовымъ бойцомъ, истиннымъ интеллигентомъ, другомъ всѣхъ угнетенныхъ. Онъ выполнилъ великую разрушительную работу, уничтожилъ традиціи, свергъ съ пьедестала старые долго чтимые кумиры, расчистилъ путь свободной мысли и общественной работѣ, подарилъ своимъ преемникамъ горячую вѣру и соціальный энтузіазмъ, хотя не оставилъ точной общественной программы, не можетъ быть цѣликомъ зачисленъ въ родоначальники ни одного изъ послѣдующихъ общественно-литературныхъ направленій, изъ которыхъ, однако, каждое обязано ему своими лучшими идеалами. Герценъ былъ достойнымъ соратникомъ своего великаго современника. Онъ тоже выступилъ на защиту общихъ завоеваній европейской культуры. Но когда потребовалось облечь ихъ въ конкретныя формы, онъ нашелъ болѣе опредѣленный путь и почти сталъ родоначальникомъ опредѣленнаго направленія. Уютная дѣтская, довольство и счастье въ эпоху отрочества и юности, патріархальный складъ помѣщичьей жизни, религіозно-мистическая натура любимой женщины, наконецъ, крестьянинъ, крѣпостной, рабъ, горе и муки котораго проявлялись въ помѣстьѣ его отца не такъ ужасно, какъ въ другихъ мѣстахъ,— таковъ былъ кругъ чувствъ и настроеній, въ которомъ вращался Герценъ. Здѣсь инстинктивно искалъ онъ выхода своимъ сомнѣніямъ и здѣсь, въ строѣ и бытѣ русской деревни, нашелъ онъ въ концѣ-концовъ, спасеніе отъ безысходнаго отчаянія въ ту минуту, когда казалось, что ему не оставалось никакого спасенія. Между этимъ западникомъ и славянофилами было гораздо болѣе общаго, чѣмъ могло бы показаться при поверхностномъ взглядѣ. Они были отпрысками одной общественной группы, ихъ идеалы одинаково окрашены оттѣнкомъ тѣхъ настроеній, которыя воз-

никли въ усадьбахъ стараго русскаго барства. Но въ отличіе отъ нихъ Герценъ отрѣшился отъ узкаго націонализма, проникся передовыми идеалами современной ему европейской философской и соціальной мысли, и старая помѣщичья Русь предстала предъ нимъ не законченной, совершенной формой жизни, а великой почвой, на которой можно было насадить и взрастить эти идеалы. Онъ сочеталъ то, что дала ему европейская мысль, съ тѣмъ органическимъ влеченіемъ къ русской деревнѣ, которое жило въ его душѣ, слилъ западничество съ славянофильствомъ, подобно славянофиламъ увѣровалъ въ великую миссію Россіи, но эта миссія не была въ его глазахъ отрицаніемъ общечеловѣческой культуры. Напротивъ, Россіи вслѣдствіе ея своеобразнаго уклада жизни предстояла почетная роль— претворить въ жизнь идеалы, провозглашенные въ Европѣ и оказавшіеся не подъ силу этой Европѣ. Своеобразный складъ русскаго народа въ глазахъ Герцена ставилъ его не въ изолированное положеніе, а, напротивъ, превращалъ его въ безсознательнаго носителя идеи соціализма.

Отецъ Герцена, Яковлевъ, былъ богатымъ и родовитымъ русскимъ бариномъ. Его мать была нѣмка Луиза Гаагъ, вывезенная Яковлевымъ изъ Штутгарта. Представитель стариннаго дворянскаго рода, Яковлевъ не рѣшился жениться на Луизѣ Гаагъ. Плодомъ ихъ союза, не освященнаго бракомъ, былъ будущій писатель, родившійся 25-го марта 1812 года въ Москвѣ и получившій фамилію Герцена въ память того, что его мать была избранницей сердца (Herz) его отца. Первые дни его жизни совпали съ пожаромъ Москвы. Въ дѣтствѣ Герценъ любилъ слушать разсказы о вступленіи французовъ въ Москву, захватившихъ здѣсь и семью Яковлева, не успѣвшаго выбраться. Наполеонъ отпустилъ его, взявъ съ него честное слово, что онъ доставитъ его письмо императору Александру.

Яковлевъ сдержалъ свое слово. Въ эти разсказы вплетались трогательные эпизоды, въ которыхъ простой русскій крестьянинъ наивно и безсознательно игралъ благородную роль чистаго чуткаго человѣка. По дорогѣ въ ярославское имѣніе Яковлева мать Герцена случайно очутилась въ глухой деревнѣ. Можно представить ужасъ семнадцатилѣтней нѣмки среди „полудикихъ людей съ бородами, одѣтыхъ въ нагольные тулупы, говорящихъ на совершенно незнакомомъ языкѣ". „А *дикіе* эти, — говоритъ Герценъ въ „Быломъ и Думахъ" [1]), — жалѣли ее отъ всей души, со всѣмъ радушіемъ, со всей простотой своей, и староста посылалъ нѣсколько разъ сына въ городъ за изюмомъ, пряниками, яблоками и баранками для нея". По окончаніи войны Яковлевы снова поселились въ Москвѣ. Вмѣстѣ съ Яковлевымъ поселился его братъ, котораго Герценъ въ „Быломъ и Думахъ" называетъ сенаторомъ. Оба брата, двѣ нянюшки,—одна русская, одна нѣмка,— и камердинеръ сенатора Кало „единственный пріятель" мальчика,—таково было общество, окружавшее дѣтство будущаго писателя. Сенаторъ прошелъ видную служебную карьеру, отецъ Герцена „ненавидѣлъ офиціальный міръ". Мрачный образъ отца съ причудами стараго барства, съ европеизмомъ, странно преломившимся въ московскомъ домѣ и въ помѣщичьей усадьбѣ, съ тайнымъ презрѣніемъ къ людямъ и съ манерами истиннаго джентльмэна, глубоко запечатлѣлся въ воображеніи Герцена на всю жизнь. Онъ былъ „слѣдствіе встрѣчи двухъ вещей, до того противоположныхъ какъ XVIII вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей капризному развитію — помѣщичьей праздности". Онъ принадле-

---

[1]) Мы пользуемся женевскимъ изданіемъ соч. Герцена (Oeuvres d'Alexandre Herzen. Соч. А. И. Герцена. Genève-Bale-Lyon).

жалъ къ числу тѣхъ людей, про которыхъ Герценъ говоритъ въ „Быломъ и Думахъ“: „Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными вліяніями, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ“. Онъ принадлежалъ къ высшему кругу общества, и когда возрастъ помѣшалъ ему вести до конца легкомысленную жизнь, онъ сталъ одинокимъ и угрюмымъ и наполнялъ свой досугъ тѣмъ, что съ старческимъ деспотизмомъ отравлялъ жизнь окружающимъ, издѣвался надъ зависимыми отъ него людьми. „Твердая воля превращалась въ упрямые капризы, незанятыя силы портили нравъ, дѣлали его тяжелымъ“.

Среди томящей скуки барскаго дома Герцена спасла передняя, дѣвичья и деревня, какъ впослѣдствіи спасла его вѣра въ Россію на краю отчаянія. „Былое и Думы“ полны благодарныхъ воспоминаній о простомъ русскомъ человѣкѣ. Мальчикъ жадно хватался за эти пути, которые являлись соединительными нитями между нимъ и народомъ. Все отрицательное, что гнѣздилось здѣсь, отлетало отъ него. Онъ воспринималъ только здоровые элементы. Уже тогда въ простомъ народѣ, не только среди крестьянъ, но и среди дворни, онъ находилъ здоровыя основы, которыхъ не было среди „умныхъ ненужностей“ высшаго круга. „Передняя и дѣвичья составляли единственно живое удовольствіе, которое у меня оставалось. Тутъ мнѣ было совершенное раздолье, я бралъ партію однихъ противъ другихъ, судилъ и рядилъ вмѣстѣ съ моими пріятелями ихъ дѣла, зналъ всѣ ихъ секреты и никогда не проболтался въ гостиныхъ о тайнахъ переднихъ“. Онъ полюбилъ простыхъ людей. Тамъ созрѣвала идея будущаго народничества, идея о томъ, что у этихъ людей должны брать уроки высшіе слои общества. Тамъ складыва-

лась мысль, что въ передней дѣти воспринимаютъ грубыя выраженія и дурныя манеры, но въ гостиной они принимаютъ грубыя мысли и дурныя чувства. Тамъ онъ понялъ, что „разница между дворянами и дворовыми такъ же мала, какъ между ихъ названіями“; что, „представляя слугъ и рабовъ распутными звѣрями, плантаторы отводятъ глаза другимъ и заглушаютъ крики совѣсти въ себѣ“; что „мы рѣдко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчѣе скрываемъ эгоизмъ и страсти“. Онъ видѣлъ ихъ пороки и недостатки, но, „перебирая воспоминанія“ свои впослѣдствіи, онъ подвелъ итоги, и эти „пороки“ потонули въ полудѣтской простотѣ, наивности и человѣчности тѣхъ, кто покорно несли тяжелое иго рабства. И въ поэтической думѣ о старинѣ, когда существовала „династическая любовь между помѣщиками и дворовыми“, въ скорбномъ сѣтованіи на то, что нѣтъ „больше на Руси усердныхъ слугъ, преданныхъ роду и племени своихъ господъ“, чувствуется отпрыскъ стараго барства, просвѣщенный гуманистъ, который, при пробудившемся чувствѣ протеста противъ рабства, смотритъ не всегда охотно вдаль будущаго и повременамъ съ любовью обращаетъ свой взоръ въ прошлое. Нетрудно понять, какая глубокая ненависть запала въ душу ребенка, когда предъ нимъ проходили потрясающія картины крѣпостной жизни. Домъ Яковлева былъ счастливымъ исключеніемъ среди притоновъ разврата, насилія и гнета, которыми являлись тогдашніе помѣщичьи дома, но даже здѣсь у этихъ европейски образованныхъ людей мальчикъ не разъ видѣлъ раздирающія душу сцены. Шестидесятилѣтній старикъ, которому Яковлевъ велѣлъ обрить бороду за растрату оброка, рыдая навзрыдъ, безрезультатно валялся у его ногъ, предлагая заплатить сверхъ оброка сто рублей, лишь бы избавиться отъ безчестья. Даровитый крестьянинъ, по прихоти сенатора слушавшій лекціи въ университетѣ, женившійся на дочери

офицера, гибнетъ, когда его жена узнала, что онъ крѣпостной, и бѣжала отъ него; близкій къ умопомѣшательству, онъ отравляется. „Я слышалъ,—пишетъ Герценъ,—когда ядъ сталъ дѣйствовать, его стонъ и страдальческій голосъ: „жжетъ, жжетъ! огонь!“ Далѣе мальчикъ видѣлъ его тѣло на столѣ, „первое мертвое тѣло“, которое ему пришлось видѣть „въ томъ видѣ, какъ онъ уморъ, во фракѣ безъ галстука, съ раскрытой грудью, черты его были страшно искажены и уже почернѣли“. Близкій къ обмороку, маленькій Герценъ вышелъ вонъ: „игрушки и картинки, подаренныя мнѣ на новый годъ, не тѣшили меня“. Таковы были итоги его знакомства съ „передней“: онъ научился любить простого человѣка и ненавидѣть рабство.

Деревня наложила своеобразный колоритъ на эти впечатлѣнія, вынесенныя изъ барскаго дома. Деревня была уже въ дѣтствѣ для Герцена тѣмъ идеаломъ, гдѣ онъ находилъ удовлетвореніе стремленіямъ своей души. Поѣздки на лѣто въ Васильевское были отраднѣйшими моментами его жизни. „Для меня деревня была временемъ воскресенія, я страстно любилъ деревенскую жизнь. Лѣса, поля и воля вольная—все это мнѣ было такъ ново, выросшему въ хлопкахъ, за каменными стѣнами, не смѣя выйти ни подъ какимъ предлогомъ за ворота безъ спроса и безъ сопровожденія лакея“. Онъ любилъ и жалѣлъ разваливающійся старый каменный домъ „можетъ-быть оттого, что онъ въ немъ впервые встрѣтился съ деревней“, любилъ длинную тѣнистую аллею, которая вела къ нему, и одичалый садъ возлѣ него, и бѣлый песокъ, и тростникъ, гдѣ онъ игралъ, и сгорбленнаго старика, сидѣвшаго всегда предъ домомъ, а гнѣзда воронъ, покрывавшія макушки деревьевъ. И долго до конца жизни не могъ забыть онъ этого уютнаго чувства, рожденнаго въ запущенныхъ садахъ и въ покривившихся домахъ умирающаго помѣщичьяго барства. Много лѣтъ

спустя, послѣ потрясеній, вдали отъ родины, своеобразная природа родного помѣстья и теплыя чувства, пробуждаемыя ею, воскресали въ душѣ эмигранта и мятежника и звали и манили его, и чудилось, будто тамъ таится залогъ вѣчной правды и общечеловѣческаго счастья, которыхъ онъ тщетно искалъ въ революціонныхъ буряхъ Европы, въ бунтующихъ системахъ ея геніевъ. Вдали отъ родины воскресали передъ ними сельскіе вечера: „они и теперь, какъ тогда, остались для меня минутами благочестія, тишины и поэзіи“. И когда ему однажды пришлось проѣзжать черезъ итальянскую деревню, при выѣздѣ изъ которой въ нишѣ стояла небольшая мадонна съ горѣвшимъ передъ ней фонаремъ, Герценъ „былъ глубоко потрясенъ, глубоко тронутъ“. Онъ вспомнилъ Васильевское.

Деревья сада
Стояли тихо. По холмамъ
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домамъ
Уныло медленное стадо.

Идиллическія картины помѣщичьяго быта окрашивались ласкающимъ розовымъ колоритомъ въ воспоминаніяхъ Герцена. Самыя трагедіи, разыгравшіяся на почвѣ крѣпостничества, смягчались поэзіей и уютностью безраздумнаго барства, были скорѣе плодомъ безсознательнаго, наивнаго эгоизма, чѣмъ злой воли. Но въ дѣтство Герцена вторгался одинъ образъ, который казался ему воплощеніемъ жестокости, отрицаніемъ всего, о чемъ грезилъ мальчикъ въ своихъ свѣтлыхъ юныхъ мечтахъ. Съ раннихъ лѣтъ этотъ образъ сталъ для него воплощеніемъ всего, противъ чего возставала его аристократическая натура, съ его тонкими ощущеніями, съ его благороднымъ умомъ, проникающимъ въ самые глубокіе изгибы человѣческой души. Герценъ и императоръ Николай! Они

были врагами еще до того момента, когда услыхали другъ о другѣ. Все, что наполняло атмосферу, окружавшую ребенка, слезами и кровью, все, что оскорбляло его чувствительное сердце,—все это онъ объединилъ въ имени императора Николая. Для Герцена онъ былъ символъ. Въ его желѣзной личности для Герцена воплотилась идея отрицанія личности и человѣческаго достоинства,—та идея, которая была дорогимъ священнымъ стремленіемъ для Герцена и его сверстниковъ. Николай I и Герценъ—это два полюса, безпощадный холодъ и пламенный энтузіазмъ, надменное величіе и жажда жертвы, самовластная сила и чуткое сердце, откликающееся на каждый стонъ человѣчества. Никто не умѣлъ такъ ярко нарисовать во весь ростъ эпоху, когда Россія была скована желѣзными кандалами. Какъ неподвижное мраморное изваяніе, встаетъ ея холодный образъ въ „Быломъ и Думахъ“ съ мертвящей дланью, съ гнетущей силой. Все, что еще дышало въ Россіи полной грудью, все, что еще осталось отъ разнообразныхъ порывовъ ума и сердца,—все это замерло, застыло подъ леденящимъ дыханіемъ тогдашняго правительства. Декабрьскія событія оставили неизгладимый слѣдъ въ душѣ мальчика. Онъ видѣлъ нравственное паденіе русской аристократіи. Никто не смѣлъ показать участія арестованнымъ, которымъ вчера еще жали руки. „Напротивъ, являлись дикіе фанатики рабства, одни изъ подлости, а другіе хуже—безкорыстно“. Однѣ женщины не участвовали въ этомъ позорномъ отреченіи отъ близкихъ. „Жены сосланныхъ въ каторжную работу лишались всѣхъ гражданскихъ правъ, бросали богатство, общественное положеніе и ѣхали на цѣлую жизнь неволи, въ страшный климатъ восточной Сибири, подъ еще страшнѣйшій гнетъ тамошней полиціи“. Казнь Пестеля и его товарищей „окончательно разбудила ребяческій сонъ“ души Герцена. Онъ чувствовалъ, что онъ „не

съ той стороны, съ которой картечь и побѣды, тюрьмы и цѣпи". Никто, даже отецъ Герцена, не вѣрилъ въ то, что смертный приговоръ будетъ приведенъ въ исполненіе; думали, что хотятъ „поразить умы". Но общество плохо понимало смыслъ новаго курса. Жители Москвы едва вѣрили глазамъ, читая въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" страшную новость. На другой день былъ молебенъ въ Кремлѣ. Побѣду надъ пятью торжествовали въ Москвѣ молебствіемъ. Среди Кремля митрополитъ Филаретъ благодарилъ Бога. „Вся царская фамилія молилась, около нея Сенатъ, министры, а кругомъ, на огромномъ пространствѣ, стояли густыя массы гвардіи, колѣнопреклоненныя, безъ кивера, и тоже молились; пушки гремѣли съ высотъ Кремля". Никогда висѣлицы, пишетъ Герценъ, не имѣли такого торжества. „Мальчикомъ четырнадцати лѣтъ, потеряннымъ въ толпѣ, я былъ на этомъ молебствіи, и тутъ передъ алтаремъ, оскверненнымъ кровавой молитвой, я клялся отмстить за казненныхъ... Черезъ тридцать лѣтъ я стою подъ тѣмъ же знаменемъ, котораго не покидалъ ни разу". Такъ писалъ Герценъ въ 1855 г. въ „Полярной Звѣздѣ". Послѣ казни императоръ Николай совершилъ торжественный въѣздъ въ Москву. „Я,—говоритъ Герценъ,—тутъ видѣлъ его въ первый разъ; онъ ѣхалъ верхомъ возлѣ кареты, въ которой сидѣли вдовствующая императрица и молодая. Онъ былъ красивъ, но красота его обдавала холодомъ; нѣтъ лица, которое бы такъ безпощадно обличало характеръ человѣка, какъ его лицо. Лобъ, быстро бѣгущій назадъ, нижняя челюсть, развитая на счетъ черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное—глаза, безъ всякой теплоты, безъ всякаго милосердія, зимніе глаза". Если правительство этой эпохи безпощадно казнило русскую мысль, то въ другой, высшей сферѣ оно само подверглось жестокой казни. Герценъ отмстилъ за русскую литера-

туру. На вѣчныя времена на судъ смѣняющихъ другъ друга поколѣній выставилъ онъ это мрачное время и воплотившуюся въ немъ идею.

Самымъ свѣтлымъ воспоминаніемъ дѣтства Герцена была его дружба съ Огаревымъ, дальнимъ родственникомъ Яковлевыхъ. Маленькій другъ Герцена былъ извѣстенъ подъ именемъ Ника. Въ немъ „было что-то доброе, кроткое и задумчивое". Когда они въ первый разъ читали Шиллера, Герцена перазило сходство ихъ вкусовъ, они любили одни и тѣ же мѣста, и переходъ отъ Вильгельма Телля къ 14-му декабря былъ легокъ. Дружба обоихъ даровитыхъ мальчиковъ сразу пріобрѣла серьезный характеръ; шалости никогда не занимали у нихъ перваго мѣста. Они видѣли въ себѣ избранниковъ, предназначенныхъ къ великому будущему; у нихъ была общая религія. Однажды на Воробьевыхъ горахъ, запыхавшись и раскраснѣвшись, оба мальчика остановились на мѣстѣ закладки Витбергова храма. „Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой... мы постояли, оперлись другъ на друга и, вдругъ обнявшись, присягнули, въ виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу".

Мы нарочно такъ подробно остановились на дѣтствѣ Герцена. Біографіи писателей имѣютъ огромное значеніе, когда онѣ раскрываютъ отраженіе эпохи въ выдающихся сердцахъ и умахъ. Дѣтство Герцена — типичное дѣтство гуманныхъ и просвѣщенныхъ дворянъ той эпохи. Впослѣдствіи мы увидимъ, что тѣ же картины отпечатлѣвались въ умѣ Тургенева, Некрасова и другихъ чуткихъ и даровитыхъ дворянъ николаевскаго царствованія: тѣ же раздирающія душу сцены крѣпостного права, тѣ же настроенія уютнаго стараго барства, то же вліяніе простого двороваго человѣка, то же грубое прикосновеніе желѣзнаго режима къ чуткому, нѣжному сердцу, тѣ же „аннибаловы клятвы".

Юность была полна впечатлѣній такого же характера. Мы уже знаемъ, въ какомъ положеніи находились тогдашніе университеты и въ частности московскій, „этотъ разсадникъ разврата“, который правительство едва терпѣло. Попечитель Голицынъ долго не могъ привыкнуть къ мысли, что когда профессоръ боленъ, то нѣтъ лекцій; онъ думалъ, что слѣдующій *по очереди* долженъ его замѣнить, такъ что профессору богословія иной разъ пришлось бы читать въ клиникѣ о женскихъ болѣзняхъ. Несмотря на такія воззрѣнія тогдашнихъ хозяевъ русской науки, опальный университетъ росъ: „въ него, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ; въ его залахъ онѣ очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собою и снова разливались во всѣ стороны Россіи, во всѣ слои ея“. Подъ вліяніемъ одного родственника, котораго Герценъ называетъ химикомъ, онъ поступилъ на физико-математическое отдѣленіе. Въ университетѣ Герценъ быстро завоевалъ любовь товарищей, какъ добрый и смѣлый товарищъ, не только въ университетскихъ „исторіяхъ“, но и въ университетскихъ попойкахъ и кутежахъ. Онъ умѣлъ не выдать товарища и „пострадать“, когда нужно было. Но въ этихъ „страданіяхъ“ было много удали, много спортсменства богатой дворянской молодежи. Достаточно вспомнить карцеръ, куда Герценъ и его товарищи попали послѣ извѣстной „маловской исторіи“. Герценъ объяснялся съ ректоромъ Двигубскимъ, какъ балованный барчукъ. А жизнь въ карцерѣ благодаря подкупу солдата превратилась въ веселый праздникъ съ „сигарами, дичью и ликерами“. Яркая панорама университетской жизни николаевскаго царствованія развертывается въ “Быломъ и Думахъ“ съ комическими фигурами профессоровъ-чиновниковъ, съ тревожными

слухами о репрессіяхъ, о грозящихъ университету карахъ, о вѣроятномъ закрытіи, съ образами восторженныхъ студентовъ, жадно ищущихъ знаній, бросающихся отъ одной философской системы Запада къ другой, охваченныхъ наивнымъ энтузіазмомъ и жаждой жертвы; затѣмъ преслѣдованія, обвиненія въ участіи въ тайныхъ обществахъ—излюбленное обвиненіе николаевской полиціи. Что могли сдѣлать нѣсколько студентовъ?—восклицаетъ Герценъ. „Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы, въ ожиданіи теоретическихъ рѣшеній, спокойно смотрѣть на то, что дѣлалось вокругъ, на сотни поляковъ, гремѣвшихъ цѣпями по владимирской дорогѣ, на крѣпостное состояніе, на солдатъ, засѣкаемыхъ на Ходынскомъ полѣ, на студентовъ-товарищей, пропадавшихъ безъ вѣсти. Въ нравственную очистку поколѣнія, въ залогъ будущаго, они должны были негодовать до безумныхъ опытовъ, до презрѣнія опасности. Свирѣпыя наказанія мальчиковъ 16—17 лѣтъ служили грознымъ урокомъ и своего рода закаломъ; занесенная надъ каждымъ звѣриная лапа, шедшая отъ груди, лишенной сердца, впередъ отводила розовыя надежды на снисхожденіе къ молодости... За одну дурно скрытую слезу о Польшѣ, за одно смѣло сказанное слово—годы ссылки, бѣлаго ремня, а иногда и казематъ; потому-то и важно, что слова эти говорились, и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной разъ; но они гибли, не только не мѣшая работѣ мысли, разъяснявшей себѣ сфинксову задачу русской жизни, но оправдывая ея упованія“. Эти строки принадлежатъ не юношѣ-Герцену; онѣ написаны много лѣтъ спустя послѣ университета, и въ нихъ лучшій отвѣтъ всѣмъ, кто порицаетъ молодежь за ея увлеченія, за ея безумную вѣру въ свои силы, за нелѣпое стремленіе противопоставить могучей физической силѣ энтузіазмъ кучки благородныхъ сердецъ. Въ этихъ словахъ выяснена положительная

роль благороднаго безумія въ историческомъ движеніи общества.

Надъ Герценомъ и Огаревымъ уже собиралась гроза. Ихъ имена уже были замѣчены. Въ это время Сенъ-Симонъ царилъ въ ихъ кружкѣ. Не одни кутежи и увлеченія занимали ихъ. „Юношескія оргіи, разгульныя минуты, хватавшія иногда черезъ край“, были не единственнымъ воспоминаніемъ: „большая половина сердца была не туда направлена, гдѣ праздная страстность и болѣзненный эгоизмъ сосредоточиваются на нечистыхъ помыслахъ и троятъ пороки“. Богатые юноши отдавали дань молодости: „Послѣ ужина,— пишетъ Герценъ,—возникалъ обыкновенно *капитальный* вопросъ,— вопросъ, возбуждавшій пренія, а именно: какъ варить жженку?“ Такими „событіями“ пестрятъ воспоминанія Герцена. Но въ это же время его товарищи начали „съ внутреннимъ ужасомъ разглядывать“ не только то, что творилось въ Россіи, но и то, что совершалось въ Европѣ. Среди этого броженія, среди усилій понять пугавшія ихъ сомнѣнія имъ попались въ руки сенъ-симонистскія брошюры. Дѣйствіе сенъ-симонистскихъ проповѣдей на друзей Герцена было потрясающее. Они возвѣстили новую вѣру. Замѣчательно, что въ ученіи сенъ-симонистовъ Герцена прежде всего поразили не столько общія идеи соціализма, сколько двѣ идеи: съ одной стороны *„освобожденіе женщины*, призваніе ея на общій трудъ, отданіе ея судебъ въ ея руки, союзъ съ нею какъ съ равнымъ“, съ другой—„оправданіе *искупленіе плоти*, Réhabilitation de la chair!“ Это были „великія слова, заключающія въ себѣ цѣлый міръ новыхъ отношеній между людьми, міръ здоровья, міръ духа, міръ естественно-нравственный и потому естественно-чистый“. Сенъ-Симонъ легъ въ основу ихъ убѣжденій. „Удобовпечатлимые, искренне-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тотъ рубежъ, на которомъ оста-

навливаются цѣлые ряды людей, складываютъ руки, идутъ назадъ или ищутъ по сторонамъ броду—черезъ море!“ Сенъ-Симонъ былъ послѣднимъ впечатлѣніемъ университетскаго періода. Огаревъ былъ взятъ первымъ. Вскорѣ послѣдовалъ арестъ Герцена. 19-го іюля 1834 года онъ, разстроенный судьбой своего товарища, еще говорилъ о немъ съ дѣвушкой, которая воскресила его нѣсколькими словами. „До завтра“,—сказалъ онъ ей на прощанье. Во второмъ часу ночи Герцена разбудилъ испуганный камердинеръ. Полицеймейстеръ стоялъ въ дверяхъ залы, сзади толпились какія-то лица, Герценъ разглядѣлъ казацкую шапку. Нужно ли прибавлять, что обвиненія, направленныя противъ Герцена, касались не преступныхъ дѣяній, а образа мыслей. Сыщики старались проникнуть въ сокровенныя мысли обвиняемаго, напрягали усилія, чтобы изъ захваченныхъ бумагъ, изъ подслушанныхъ рѣчей, изъ гордыхъ, полныхъ презрѣнія отвѣтовъ Герцена сплести сѣть доказательствъ его преступнаго образа мыслей. Одинъ изъ инквизиторовъ „суда“, учрежденнаго надъ Герценомъ, ссылаясь на дружбу своего отца съ Яковлевымъ, предлагалъ Герцену помочь ему, намекая даже на его будущую карьеру. Для этого отъ Герцена требовалось немного: искренне раскаяться и „назвать несчастныхъ заблудившихся людей, которые вовлекли его“. Нетрудно догадаться о томъ, что отвѣтилъ Герценъ. Приговоръ гласилъ, что хотя подсудимыхъ „по закону слѣдовало бы, какъ людей уличенныхъ въ оскорбленіи величества пѣніемъ возмутительныхъ пѣсенъ, лишить живота; а въ силу другихъ законовъ сослать на вѣчную каторжную работу“, но государь въ безпредѣльномъ милосердіи своемъ во вниманіе къ молодости виновныхъ часть ихъ прощаетъ, а часть (въ числѣ послѣднихъ былъ и Герценъ) ссылаетъ „на безсрочное время въ дальнія губерніи на граждан-

скую службу и подъ надзоромъ мѣстнаго начальства".

Открылся періодъ скитаній Герцена. Ссылка дала ему еще больше матеріала для ознакомленія съ родной дѣйствительностью, чѣмъ дѣтская и университетъ. Страшно становится за Россію, когда въ „Быломъ и Думахъ" встаютъ мастерски очерченные образы тогдашнихъ безконтрольныхъ властителей Россіи, невѣжественныхъ и жестокихъ людей, которымъ ввѣрялись спокойствіе и счастье милліоновъ. Въ Вяткѣ Герценъ очутился во власти тамошняго губернатора Тюфяева. Его исторія—удивительная карьера, характерный показатель того, какихъ исполнителей требовала николаевская эпоха для осуществленія идеи тогдашняго правительства. Отецъ Тюфяева былъ чуть ли не сосланъ въ Тобольскъ и принадлежалъ къ бѣднѣйшимъ мѣщанамъ. Его сынъ, будущій губернаторъ, тринадцатилѣтнимъ мальчикомъ присталъ къ ватагѣ бродячихъ комедіантовъ, пляшущихъ по ярмаркамъ на канатѣ, кувыркающихся колесомъ. Въ одномъ городѣ его арестовали какъ бродягу и пѣшкомъ съ арестантами отправили въ Тобольскъ. Далѣе онъ писецъ въ магистратѣ; какъ ловкаго дѣльца его замѣчаютъ; онъ попадаетъ къ особѣ, проѣзжавшей черезъ Тобольскъ, въ писаря. Очутившись въ Петербургѣ, онъ дѣлаетъ карьеру. Черезъ десять лѣтъ онъ—секретарь Канкрина, затѣмъ попадаетъ на важный постъ въ канцелярію Аракчеева. Въ награду за адскій трудъ въ канцеляріи, въ этихъ „мѣдныхъ рудникахъ", на этой „фабрикѣ приказовъ и указовъ", Тюфяева, который ставилъ „повиновеніе въ первую добродѣтель людскую", назначили вице-губернаторомъ, а затѣмъ пермскимъ губернаторомъ. „Губернія, по которой Тюфяевъ разъ прошелъ по веревкѣ, и которая на веревкѣ, лежала у его ногъ". Онъ былъ „развратенъ по жизни, грубъ по натурѣ", не терпѣлъ возраже-

ній. Отправляя чиновника на слѣдствіе, онъ говорилъ ему, что „вѣроятно, откроется то-то и то-то“, и горе чиновнику, если открывалось не это. Онъ оскорбилъ сестру одного бѣднаго чиновника, и когда послѣдній вступился за честь своей сестры, Тюфяевъ велѣлъ освидѣтельствовать его. Все трепетало передъ могущественнымъ сатрапомъ, даже старикъ-нѣмецъ, инспекторъ врачебной управы. Несчастный чиновникъ былъ признанъ сумасшедшимъ и умеръ въ сумасшедшемъ домѣ. „Этотъ-то почтенный ученикъ Аракчеева и достойный товарищъ Клейнмихеля, — восклицаетъ Герценъ, -акробатъ, бродяга, писарь, секретарь, губернаторъ, нѣжное сердце, безкорыстный человѣкъ, запирающій больныхъ въ сумасшедшій домъ и уничтожающій ихъ тамъ, брался теперь пріучать меня къ службѣ“. Вятка слѣдовала за Пермью, за Вяткой— Владиміръ. И всюду передъ Герценомъ раскрывались однѣ и тѣ же картины гнета, произвола и невѣжества. Онъ видѣлъ дѣтей, „чахлыхъ, тщедушныхъ“, которыхъ гнали пѣшкомъ сотни верстъ,— дѣтей, изъ которыхъ половина умирали въ пути, при видѣ которыхъ надрывалось сердце у самого конвойнаго офицера, при видѣ которыхъ онъ бросился въ свою коляску, чтобы не выдать своихъ рыданій. Онъ долго помнилъ „благородныя черты художника, задавленнаго правительствомъ съ холодной и безчувственной жестокостью“,— геніальнаго Витберга, восторженнаго, эксцентрическаго и мистически настроеннаго. Онъ создалъ колоссальный, исполненный религіозной поэзіи проектъ храма Спасителя, который долженъ былъ воздвигнуться въ память избавленія отъ французовъ. Александръ I былъ пораженъ проектомъ, полнымъ вдохновенія. „Вы камнями говорите“,—сказалъ онъ юному артисту. Но послѣ смерти Александра I онъ былъ опозоренъ, разоренъ и сосланъ въ Вятку. Какія „чудовищныя преступленія безвѣстно схоронены въ архивахъ“ этой

ужасной эпохи! „Мы,—говоритъ Герценъ,—къ нимъ привыкли, они дѣлались обыденно, дѣлались какъ ни въ чемъ не бывало, никѣмъ незамѣченныя, потерянныя за страшною далью, беззвучно, заморенныя въ въ нѣмыхъ канцелярскихъ омутахъ или задержанныя полицейской цензурой". Но не одни тяжелыя воспоминанія вынесъ Герценъ изъ ссылки. Во время пребыванія во Владимирѣ Герценъ женился на своей двоюродной сестрѣ Натальѣ Александровнѣ, которая воспитывалась у сестры Яковлева Хованской и много вынесла отъ своенравной и деспотической старухи. Natalie сыграла большую роль въ исторіи внутренняго развитія Герцена. Переписка Герцена съ ней, предшествовавшая ихъ женитьбѣ,—яркій памятникъ той эпохи, отраженіе душевнаго состоянія людей 40-хъ годовъ. И въ ссылкѣ Герценъ оставался гуманнымъ представителемъ стараго барства, въ которомъ было много мечтательности и мягкаго романтизма. Жизнь чувства нерѣдко выступаетъ у него на первый планъ и передъ нею блѣднѣютъ кровавые призраки замученныхъ жертвъ. Въ его письмахъ къ Natalie можно нерѣдко встрѣтить фразы въ родѣ слѣдующихъ: „Вздоръ мое литературное призваніе, Богъ съ нимъ, писать можно отъ скуки, мое призваніе — ты". Она была полна религіознаго мистицизма. „По мѣрѣ роста нашего въ мірѣ духовномъ,—писала Наташа Герцену,—мы должны уничтожаться въ здѣшнемъ мірѣ; по мѣрѣ увеличенія *тамъ*, должны умаляться *здѣсь*. Потому-то намъ и необходимо отречься отъ всего, что утучняетъ внѣшняго человѣка". Ея мистицизмъ передался и Герцену, у котораго, по его собственному выраженію, до 1837 года не было ни одной религіозной идеи. А въ февралѣ 1838 года онъ уже пишетъ своей возлюбленной: „Я переплавленъ тобою въ другую форму... религіозность твоей любви — вотъ что имѣло такое вліяніе... Поглощая свою любовь, я вмѣ-

стѣ поглощалъ молитву и сдѣлался христіаниномъ". Въ теченіе извѣстнаго періода Наташа была для него всѣмъ. Онъ „всѣмъ друзьямъ сказалъ прощайте, какъ сказалъ мечтамъ о славѣ, о поприщѣ, о дѣятельности" [1]). Таковы были итоги ссылки: идея борьбы съ тѣмъ океаномъ зла, который заливалъ русскую землю,—идея, утвердившаяся какъ органическая часть духовнаго существа Герцена, идея, ставшая его путеводной звѣздой, а съ другой стороны—неясное представленіе о методахъ борьбы, о путяхъ, ведущихъ къ осуществленію завѣтнаго идеала, нѣсколько сантиментальная мечтательность богатаго дворянина, и въ самомъ изгнаніи не видавшаго нищеты и горя, пронесшихся тяжкимъ кошмаромъ черезъ всю жизнь Бѣлинскаго, наконецъ, колебаніе между безвѣріемъ и религіознымъ мистицизмомъ, навѣяннымъ любимой подругой жизни. Весь этотъ потокъ разнообразныхъ чувствъ и противорѣчивыхъ настроеній привезъ съ собой Герценъ въ Москву, куда онъ вернулся въ 1840 году изъ ссылки.

Онъ сразу занялъ видное мѣсто въ литературныхъ кружкахъ Москвы. Изъ своего кружка онъ нашелъ только Огарева. Члены станкевичевскаго кружка встрѣтили его каждый „съ томомъ Гегеля" и требовали присяги. Послѣдовало знаменитое столкновеніе двухъ принциповъ: примиренія Бѣлинскаго и протеста Герцена. Намъ уже извѣстно, что оно кончилось побѣдой послѣдняго, и когда Герценъ переѣхалъ въ Петербургъ, онъ и Бѣлинскій стали друзьями, и эта дружба уже не прекращалась до самой смерти Бѣлинскаго. Въ извѣстной книгѣ Батуринскаго „Герценъ, его друзья и знакомые" приведены любопытныя письма, относящіяся къ этой славной ссорѣ, которая показала непо-

---

[1]) Эволюція чувства Герцена подробно выяснена въ статьѣ Милюкова „Любовь у идеалистовъ 40-хъ годовъ" (перепечатана въ его книгѣ „Изъ ист. русск. интеллигенціи").

колебимое благородство обоихъ мыслителей, умѣвшихъ ненавидѣть и любить за свои убѣжденія. „Знаете ли, что съ вашей точки зрѣнія, — сказалъ я Бѣлинскому, думая его поразить моимъ ультиматумомъ, — вы можете доказать, что чудовищные порядки разумны и должны существовать“.—„Безъ всякаго сомнѣнія“, — отвѣчалъ Бѣлинскій и прочелъ мнѣ „Бородинскую годовщину“ Пушкина. — „Этого я не могъ вынести и отчаянный бой закипѣлъ между нами“. Этотъ періодъ кипучей литературной жизни былъ прерванъ новой кратковременной ссылкой, на этотъ разъ въ Новгородъ, гдѣ Герценъ провелъ мучительные дни. Здѣсь не было уже того счастья любви и религіознаго настроенія, которыя окрасили розовымъ колоритомъ владимирскіе дни. Начинался разладъ между нимъ и женою. Мистическая пелена спадала съ Герцена; раздраженіе и озлобленіе противъ новаго несправедливаго удара (на этотъ разъ Герценъ былъ сосланъ совершенно безъ всякаго основанія), возникшее въ душѣ Герцена, до извѣстной степени оскорбляло Наташу, склонную къ аскетическому взгляду на міръ, къ идеямъ смиренія и покорности. Появились первые признаки того, что Наташа, соединенная съ Александромъ, была „голубь, привязанный къ ракетѣ“. Герценъ недолго пробылъ во второй ссылкѣ. Съ 1842 г. онъ снова живетъ въ Москвѣ и въ подмосковномъ имѣніи. Это былъ періодъ страстныхъ литературныхъ споровъ, жгучей борьбы между западниками и славянофилами. Если первый періодъ его жизни, періодъ ссылки, былъ подготовительнымъ временемъ, то теперь Герценъ пробовалъ претворить свои впечатлѣнія въ слово. Онъ выступаетъ съ рядомъ произведеній, въ которыхъ чувствуется напряженная работа гуманнаго ума, стремящагося разрѣшить роковые вопросы жизни. Это былъ самый плодотворный періодъ его литературной дѣятельности, начавшійся 1842 годомъ и продолжавшійся до самаго

отъѣзда его за границу въ 1847 году. Въ это время появляются: „Сорока-воровка“, „Кто виноватъ?“ „Докторъ Круповъ“, „Дилеттантизмъ въ наукѣ“, „Дилеттанты-романтики“ и т. д. Герценъ касается самыхъ разнообразныхъ вопросовъ. Но особенно интересуютъ его семейный и брачный вопросъ, а главное—угнетенная личность во всѣхъ видахъ и ея освобожденіе. Онъ еще не поглощенъ мыслью о перестройкѣ общества, онъ еще не тотъ Герценъ-соціологъ, какимъ станетъ впослѣдствіи за границей. Онъ беретъ личность самое по себѣ, онъ напряженно вдумывается въ трагическіе конфликты, въ которые она попадаетъ, и ищетъ разрѣшенія загадки въ ней самой, въ ея страстяхъ и чувствахъ. И въ этотъ періодъ типичныя черты барства и неопредѣленные гуманистическіе порывы продолжаютъ сказываться въ его жизни и настроеніяхъ. Кутежи и похожденія переплетались съ горячими спорами, съ страстнымъ исканіемъ истины, съ изумительнымъ интересомъ къ завоеваніямъ западно-европейской мысли. Въ 1846 году произошла новая ссора среди друзей. Поссорились Грановскій и Герценъ. Послѣдній въ это время увлекался матеріализмомъ, онъ чувствовалъ, что „современное состояніе науки обязываетъ насъ къ принятію кое-какихъ истинъ, независимо отъ того, хотимъ мы этого, или нѣтъ“. Герценъ чувствовалъ, что молодежь ближе стоитъ къ нему, чѣмъ къ идеализму Грановскаго, который уже не возбуждалъ въ ней прежняго энтузіазма. Когда однажды Герценъ высказалъ свои мысли Грановскому, послѣдній, „слегка измѣнившись въ лицѣ“, сказалъ: „Я никогда не приму вашей сухой холодной мысли единства тѣла и духа: съ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можетъ, вамъ его не надобно, но я слишкомъ много схоронилъ, чтобы поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо“. Для такихъ людей, какъ Герценъ и Грановскій, такія размолвки были событіями. Можно при-

бавить, что онѣ были событіями и для умственной исторіи русскаго общества. Герценъ понялъ, что образовалась новая великая трещина; утомленный и разочарованный, онъ стремился уйти подальше оттуда, гдѣ была нанесена новая рана его сердцу. „Ѣхать, ѣхать вдаль, надолго непремѣнно ѣхать!"—такъ опредѣляетъ онъ свое настроеніе послѣ ссоры съ Грановскимъ. 21-го января 1847 года онъ навсегда покинулъ Россію.

Въ Европѣ начинается великій переворотъ въ душѣ Герцена Европа, откуда шли идеалы свободы и равенства, насмѣялась надъ ними и растоптала ихъ въ прахъ. Герценъ сразу почувствовалъ въ Европѣ, что политическій либерализмъ былъ красивой декораціей, прикрывавшей неприглядную дѣйствительность. Парижъ, котораго имя говорило ему не меньше, чѣмъ слово „Москва", произвелъ на него удручающее впечатлѣніе. Онъ увидѣлъ, что, вмѣсто „благородныхъ" идей и „возвышенныхъ" цѣлей, жизнью страны, никогда еще не падавшей такъ низко, двигаетъ одинъ рычагъ—деньги. Почти одновременно съ „Коммунистическимъ манифестомъ" формулировалъ онъ въ сжатыхъ сильныхъ выраженіяхъ сущность буржуазно-капиталистическаго строя. „Нажива сдѣлалась страстью, религіей; жизнь сведена на средство чеканить монету, государство, судъ, войско—на средство беречь собственность". Онъ уѣхалъ въ Италію, здѣсь онъ воспрянулъ духомъ. „Вся Италія, — пишетъ онъ въ „Западныхъ арабескахъ",—„просыпалась" на моихъ глазахъ! Я видѣлъ неаполитанскаго короля, сдѣланнаго ручнымъ, и папу, смиренно просящаго милостыню народной любви, вихрь, поднявшій все, унесъ и меня". При извѣстіи февральской революціи 1848 года онъ вернулся во Францію. Ему казалось измѣной не быть въ Парижѣ, когда въ немъ республика. Новое, еще болѣе жестокое разочарованіе ждало Герцена. Пролетаріатъ, отстаивавшій

на баррикадахъ идеалы соціалистическаго строя, какъ оказалось, подставлялъ свою грудь не для себя. Либеральная буржуазія захватила власть въ свои руки, воспользовавшись плодами его побѣды, провела своихъ представителей во временное правительство, которое принимало мѣры къ охранѣ собственности и закрѣпленію экономическаго гнета. Извѣстно, чѣмъ кончилась іюньская попытка пролетаріата свергнуть правительство либеральной буржуазіи. Три дня лились потоки крови на улицахъ Парижа, тысячи бойцовъ погибли подъ пулями или на эшафотѣ, и дѣло свободы было проиграно. „Вечеромъ 26-го іюля,—писалъ черезъ мѣсяцъ Герценъ,—послѣ побѣды мы слушали правильные залпы съ небольшими разстановками и съ барабаннымъ боемъ. „Вѣдь это разстрѣливаютъ!"—сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ стеклу окна и молчалъ; за такія минуты ненавидятъ десятъ лѣтъ, мстятъ всю жизнь.—*Горе людямъ, забывающимъ такія минуты*". Безнадежное отчаяніе овладѣло Герценомъ: „Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидныя противорѣчія, хаосъ; снова ломка, снова ничего нѣтъ... Жизнь обманула, исторія обманула..." Однажды утромъ, когда, измученный за ночь стонами своей больной маленькой дочери, Герценъ прошелъ пройтись, онъ увидѣлъ, что толпы народа, несмотря на холодъ и ранній часъ, покрывали бульвары, мальчишки съ крикомъ продавали бюллетени — пять милліоновъ голосовъ „клали связанную Францію къ ногамъ Людовика-Наполеона: осиротѣвшая передняя нашла, наконецъ, своего барина!" Ужасное душевное состояніе Герцена нашло себѣ выраженіе въ полномъ отчаянія посланіи „Съ того берега". „Парижъ! Какъ долго имя это гремѣло путеводной звѣздой народовъ; кто не любилъ, кто не поклонялся ему,—но его время миновало, пускай онъ идетъ со сцены... Парижъ раз-

стрѣливаетъ безъ суда... Что выйдетъ изъ этой крови? — кто знаетъ; но что бы ни вышло, довольно, что въ этомъ разгарѣ бѣшенства, мести, раздора, возмездія погибнетъ міръ, тѣснящій новаго человѣка, мѣшающій ему жить, мѣшающій водвориться будущему—и это прекрасно, а потому — да здравствуетъ хаосъ и разрушеніе!"

Годы, слѣдовавшіе за 1848 годомъ, были печальнымъ періодомъ его жизни. Въ Швейцаріи, гдѣ онъ жилъ нѣкоторое время, онъ попалъ въ среду революціонеровъ всѣхъ странъ. Русское правительство предписало ему вернуться въ Россію. Это значило итти добровольно въ Сибирь, и Герценъ принялъ швейцарское подданство, навсегда лишившись надежды увидѣть родину. Въ это же время его постигъ сильный сердечный ударъ. Разладъ между нимъ и женой, начавшійся еще въ Новгородѣ, теперь усилился. Наталья Александровна была не удовлетворена и тосковала. Наконецъ, она покинула мужа и ушла къ нѣмецкому поэту Гервегу. Впрочемъ вскорѣ она вернулась. Герценъ встрѣтилъ ее радостно: они подали теперь другъ другу руки „не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя и въ какую-то исключительность своей судьбы", а какъ „ветераны, закаленные въ бою жизни". Но воскресшее было счастье оказалось непродолжительнымъ: въ слѣдующемъ 1852 году жена Герцена умерла.

Онъ уѣхалъ въ Лондонъ почти случайно и остался тамъ потому, что ему было „рѣшительно некуда ѣхать и незачѣмъ". По цѣлымъ днямъ сиживалъ онъ одинъ, но пустота кругомъ дала ему время собраться съ силами. Онъ много думалъ и постепенно полюбилъ Лондонъ, „этотъ муравейникъ, гдѣ сто тысячъ человѣкъ всякую ночь не знаютъ, гдѣ прислонить голову, и полиція нерѣдко находитъ дѣтей и женщинъ, умершихъ съ голода, возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя обѣдать,

не истративши двухъ фунтовъ". Онъ почувствовалъ жажду дѣла и прежде всего потребность завести рѣчь съ своими, хотѣлось „имъ разсказать, что тяжело лежало на сердцѣ". Писемъ въ Россію не пропускали— книги пройдутъ сами, и Герценъ принялся за устройство русской типографіи. Вскорѣ она пригодилась. Въ 1856 году пріѣхалъ въ Лондонъ Огаревъ. Оба друга стали „за первымъ станкомъ вольнаго русскаго слова", и Герцену казалось, что ребяческая сцена на Воробьевыхъ горахъ была не тридцать три года тому назадъ, а много три. „Все измѣнилось вокругъ: Темза течетъ вмѣсто Москвы-рѣки и чужое племя около, и нѣтъ больше намъ дороги на родину... одна мечта двухъ мальчиковъ, одного 13 лѣтъ, другого 11 — уцѣлѣла!"

Вѣра въ Россію спасла Герцена на краю гибели. Въ первый періодъ своей литературной дѣятельности еще въ Россіи онъ является либераломъ, борцомъ за освобожденіе личности. Во второй періодъ онъ — врагъ буржуазіи, энтузіастъ соціализма, а затѣмъ безнадежный пессимистъ, не усматривающій въ Европѣ элементовъ, въ которыхъ можетъ найти опору будущій строй жизни. Теперь въ Лондонѣ онъ вступаетъ въ третій періодъ, когда онъ стремится претворить въ практику свои идеалы, приложить ихъ къ русской дѣйствительности; когда онъ проникается горячей вѣрой, что Россія можетъ осуществить то, чего не могло выполнить разлагающееся европейское общество; когда онъ сливаетъ идеалы западничества съ патріотическимъ энтузіазмомъ славянофиловъ. А событія въ Россіи давали основаніе къ этому вернувшемуся оптимизму. Императоръ Николай I умеръ, повѣяло освѣжающей атмосферой шестидесятыхъ годовъ, подготовлялось освобожденіе крестьянъ. Типографія пригодилась, и въ 1857 году при участіи Огарева сталъ выходить герценовскій „Колоколъ". Онъ

сталъ могучимъ факторомъ русской государственной и общественной жизни. Онъ почти открыто провозился въ Россію. На немъ воспитывалась русская молодежь, его боялись министры. „Написать въ „Колоколъ“ было угрозой для всесильныхъ бюрократовъ, которые не боялись ничего. Герценъ привѣтствовалъ освобожденіе крестьянъ. Онъ требовалъ освобожденія слова отъ цензуры, податного сословія — отъ тѣлесныхъ наказаній. Каждый вопросъ русской жизни встрѣчалъ откликъ на страницахъ „Колокола“, и къ его сильному голосу внимательно прислушивались. Оппозиція правительственному режиму въ его цѣломъ теперь прекратилась. Герценъ пересталъ быть революціонеромъ. Онъ не задумывался поддерживать и одобрять одни мѣропріятія правительства и порицать другія. Ослабѣла и страсть къ общимъ вопросамъ. Герценъ сталъ публицистомъ-практикомъ. Когда, во время польскаго возстанія въ 1863 году, Герценъ противъ воли, по настоянію русскихъ радикаловъ и революціонеровъ, выступилъ на защиту возстанія, это послужило началомъ паденія „Колокола“. Мятежъ былъ раздавленъ. Польша снова была закована въ цѣпи, и зажигательныхъ статей Герцена не могли простить ему восторжествовавшіе патріоты. Вліяніе „Колокола“ стало падать, и въ 1864 году Герценъ уѣхалъ въ Женеву. Черезъ шесть лѣтъ, 9-го января 1870 года, Герцена не стало. Его послѣдніе годы были исполнены пессимистическаго настроенія. Разочарованіе въ народныхъ массахъ, на которыя благодаря ихъ косности нельзя опереться, сознаніе, что необходима долгая подготовительная работа и просвѣщеніе темныхъ массъ, что всѣ революціи и баррикады были пока безплодны, наконецъ, что ему и его сверстникамъ не дождаться окончанія этой продолжительной просвѣтительной работы, — таковы были итоги этой многострадальной жизни. Одинъ за другимъ слѣдовали въ теченіе ея тяжелые удары

грубой внѣшней силы, но едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что самыя тяжелыя муки этотъ богато одаренный умъ перенесъ не въ борьбѣ съ желѣзнымъ гнетомъ николаевской эпохи, а въ борьбѣ со своими собственными сомнѣніями и отчаяніемъ. Безпощадны были условія, въ которыхъ приходилось жить и дѣйствовать людямъ, подобнымъ Чаадаеву, Бѣлинскому, Грановскому и Герцену, но еще болѣе безпощадно отражался въ ихъ сердцахъ мучительный процессъ, путемъ котораго русская общественная мысль шла къ выработкѣ опредѣленныхъ программъ и идеаловъ. Тюрьма и ссылка наложили глубокій отпечатокъ на душу Герцена, но ссора съ Грановскимъ по поводу матеріализма оставила незаживающую рану. Въ ту эпоху любившіе другъ друга люди расходились врагами на недѣлю изъ-за одной фразы Гегеля, а теорія для этихъ мечтателей была истинной практикой. Въ то время люди разныхъ теоретическихъ воззрѣній не могли быть друзьями, и Герценъ писалъ въ „Быломъ и Думахъ“ по поводу размолвки съ Грановскимъ: „Въ дѣйствительно близкихъ отношеніяхъ тожество *религіи*, тожество въ главныхъ теоретическихъ убѣжденіяхъ необходимо... Между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнью, нельзя было такъ глубоко расходиться. Еще бы у насъ было неминуемое дѣло, которое бы насъ совершенно поглощало, а то вѣдь, собственно, вся наша дѣятельность была въ сферѣ мышленія и пропаганды нашихъ убѣжденій... Какія же могли быть уступки на этомъ полѣ?“ Ко всѣмъ людямъ 40-хъ годовъ въ той или иной степени приложимы слова Некрасова:

Что враги? Пусть клевещутъ язвительнѣй,—
Я пощады у нихъ не прошу:
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!

Жизнь этихъ людей была драмой, ихъ мысль и творчество – трагедіей. Мы видѣли драму Герцена. Перейдемъ къ его трагедіи.

XI.

Первый періодъ литературной дѣятельности Герцена.—Индивидуалистическая точка зрѣнія. — Страданія личности и защита ея правъ. — Главныя мысли статьи „По поводу одной драмы“: личное и общее. — „Сорока-воровка“, „Докторъ Круповъ“ и „Кто виноватъ?“ — Типъ Бельтова и его значеніе. — Идеи реализма и защита научнаго метода въ статьѣ „Дилеттантизмъ въ наукѣ“ и въ другихъ статьяхъ этого періода.

Литературная дѣятельность Герцена не только продуктъ великаго и искренняго ума, жадно ищущаго истины, но и памятникъ умственной жизни эпохи, когда мысль русской интеллигенціи, захваченная „роковыми вопросами“, искала отвѣта не въ дефектахъ общественнаго строя, а во внутреннемъ мірѣ отдѣльной личности. Исторія литературной дѣятельности Герцена—это исторія перехода отъ индивидуализма къ соціальному идеалу. Эти „роковые вопросы“ въ общечеловѣческой, почти абстрактной формѣ, безъ опредѣленныхъ очертаній, безъ прямого отношенія къ русской дѣйствительности, въ формѣ скорѣе моральныхъ, чѣмъ соціальныхъ или научныхъ проблемъ, волновали умы мыслящей части русскаго общества:

Отчего подъ ношей крестной
Изнываетъ вѣчно правый?
Отчего вездѣ богатый
Встрѣченъ почестью и славой?
Кто виной?..

Это тѣ вопросы, которые смутили покой стараго барства, когда постепенно мѣняющіяся условія хозяйственной жизни начали приводить къ банкротству старый укладъ помѣщичьей жизни, заставили прислу-

шаться къ воплямъ и стонамъ крѣпостного крестьянства, которое до сихъ поръ эксплуатировали съ спокойною совѣстью по привычкѣ и по традиціи. И на первыхъ порахъ пробудившаяся гуманная мысль у болѣе чуткихъ представителей барства металась въ разныя стороны, не находя пути, который указывала исторія. Дѣла не могло еще быть, и силы растрачивались на мучительную теоретическую работу, на споры и рѣчи. Въ своихъ стихотвореніяхъ, полныхъ тоски и благородныхъ стремленій, Некрасовъ отразилъ этотъ психологическій моментъ въ исторіи русскаго общества, состоявшаго тогда изъ Агариныхъ, Рудиныхъ и Бельтовыхъ:

Словно брала ихъ чужая кручина,
Все разсуждали: какая причина—
Вотъ ужъ который теперича вѣкъ
Бѣденъ, несчастливъ и золъ человѣкъ!

Первый наиболѣе плодотворный періодъ литературной дѣятельности Герцена, начавшійся по возвращеніи изъ ссылки и длившійся до 1847 года, отмѣченъ произведеніями, въ которыхъ ярко отразилось это настроеніе русскаго общества въ 40-хъ годахъ. Мы остановимся на главныхъ произведеніяхъ этого періода. Его общая точка зрѣнія, его основное настроеніе, которое цѣликомъ заключалось въ идеѣ личности, опредѣляется въ строкахъ, написанныхъ въ 1846 году („Капризы и раздумье“, т. VIII женевскаго изданія). Личность для него выше идеи, субъективное пристрастіе выше объективной справедливости. Пристрастіе лежитъ въ основѣ всего лучшаго, идея въ основѣ всего безличнаго и отвлеченнаго. „Предпочтеніе, которое мать оказываетъ своему ребенку, есть вопіющее пристрастіе; мать, которая была бы только справедлива къ дѣтямъ, могла бы служить образцомъ сухого и бездушнаго существа. Семейная любовь—такое же пристрастіе, не выдерживающее критики, какъ любовь къ отечеству“. Герценъ

привѣтствуетъ слова Мизантропа, заявившаго: „L'ami du genre humain ne peut pas être le mien“, толкуя ихъ въ томъ смыслѣ, что тотъ, кто другъ всѣмъ, не можетъ быть моимъ другомъ. Онъ возстаетъ противъ афоризмовъ: „Идеи—все, человѣкъ—ничего“, „всеобщему надобно жертвовать частнымъ“. Онъ приводитъ въ примѣръ нѣмцевъ, которые такъ любятъ теоріи, а на практикѣ жертвуютъ „всѣмъ міромъ и всѣми идеями въ пользу тихой семейной жизни съ подругою дней и ночей, которая останется вѣрна мужу лѣтъ сорокъ при жизни да лѣтъ двадцать послѣ его смерти“. Любить въ человѣкѣ только идею значитъ любить эту идею, а не самого человѣка.

Это общее настроеніе Герцена, это предпочтеніе, оказываемое личности передъ цѣлымъ, развивается въ цѣльную обоснованную теорію въ наиболѣе характерномъ для упомянутаго періода произведеніи Герцена, въ статьѣ „По поводу одной драмы“, написанной въ 1842 году.

Пьеса, которую видѣлъ Герценъ въ театрѣ, послужила поводомъ для обоснованія его воззрѣній. Сюжетъ пьесы—излюбленный сюжетъ жоржъ-сандовскихъ романовъ: семейный конфликтъ.—20-лѣтній юноша Эмиль полюбилъ 28-лѣтнюю дѣвицу Генріетту, на которой и женился. Послѣдствія этого неравнаго брака не трудно было предвидѣть. Черезъ пять лѣтъ онъ не любитъ больше Генріетты и уже страстно влюбленъ въ живущую у нихъ въ домѣ Полину. Далѣе рядъ жертвъ, которыя приносятъ эти трое несчастныхъ людей другъ другу. Полина съ согласія Эмиля, въ которомъ побѣдило чувство долга, удаляется изъ его дома. Генріетта, видя страданія своего мужа, исчезаетъ и симуллируетъ смерть. Тогда Эмиль отыскиваетъ Полину и женится на ней. Случай сталкиваетъ его съ Генріеттой. „Она бросается къ нему; но онъ, окаменѣлый, полумертвый, потерянный, отвѣчаетъ на ея порывъ новостью о сво-

емъ бракѣ". Слабая Генріетта не вынесла удара. Она умираетъ, прощая его и завѣщая беречь Полину. И двоеженецъ, поверженный въ прахъ, остается съ страшными угрызеніями совѣсти. „Всѣ люди въ этой драмѣ,—заключаетъ Герценъ,—люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющіе свой долгъ; а между тѣмъ одинъ изъ нихъ казненъ смертью, а двое другихъ—участіемъ въ этой казни".

Главныя мысли статьи, поводомъ къ которой послужила упомянутая пьеса,—это кругъ тѣхъ идей, среди которыхъ вращалась мысль тогдашней интеллигенціи. Современную эпоху Герценъ называетъ промежуточной эпохой. Поколѣніе, современное ему, утратило цѣльность, которая составляла главный признакъ міровоззрѣнія отцовъ. Въ старину не думали, не критиковали, „жили по-писанному". Новый „сварливый, ко всему привязывающійся" вѣкъ разрушилъ традицію и сжегъ все огнемъ критики. Стало просторно, но просторъ даромъ не достается. „Мы узнали, что вся отвѣтственность, падавшая внѣ ихъ, падаетъ на насъ; самимъ пришлось смотрѣть за всѣми и занять мѣста привидѣній, которыя стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно... Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы и, вмѣсто того чтобы наслаждаться жизнью, мы мучаемся". Такова главная черта мыслящаго общества 40-хъ годовъ. Оно не можетъ жить по старинѣ, оно задумалось, внесло критику въ жизнь вмѣсто традиціи, не можетъ непосредственно наслаждаться жизнью, превратилось въ поколѣніе Гамлетовъ, Рудиныхъ и „рыцарей на часъ", много говорящихъ и мыслящихъ, но неспособныхъ къ дѣлу. Это тѣ люди, въ которыхъ пробудились „мечты и волшебная власть возвышающей душу природы, пламя юности, мужество, страсть и великое чувство свободы", но которые не сразу нашли примѣненіе этимъ новымъ чувствамъ.

Какъ же рѣшаетъ Герценъ „роковые вопросы“, какъ относится онъ къ разыгравшейся передъ нимъ драмѣ, къ неумирающему вопросу о вѣчныхъ страданіяхъ личности? Прежде всего онъ высказываетъ свою любимую мысль, что частное и личное не должно быть принесено въ жертву общему. Сухой формализмъ легко нашелъ бы виновнаго въ разыгравшейся драмѣ. Онъ осудилъ бы тѣхъ, кто не до конца исполнилъ свой долгъ и не сумѣлъ заглушить личнаго чувства во имя идеи брака. Но не таково,—говоритъ Герценъ,—христіанское ученіе о бракѣ, до котораго не можетъ возвыситься сухой формализмъ. Правда, послѣдній „допускаетъ, что *основаніе* браку есть любовь; это его естественнаая непосредственность; но послѣ вѣнчанія любовь не нужна,—вы перешли границу естественныхъ влеченій, въ сферу нравственности, гдѣ уже нѣтъ ни плача, ни воздыханій, никакой страстности, а есть скука и тупое исполненіе долга, котораго смыслъ утратился и котораго внутренняя Психея отлетѣла. Сознаніе, что я жертвую всею сердечной стороной бытія для нравственной идеи брака,—вотъ награда. Словомъ, бракъ для брака. Самое высшее развитіе такого брака будетъ, когда мужъ и жена другъ друга терпѣть не могутъ и исполняютъ ex officio супружескія обязанности“. Въ этихъ словахъ скрыты могучая апологія правъ личности и протестъ противъ принциповъ и абсолютныхъ началъ, которымъ должны приноситься въ жертву ея страсти и желанія: „Сердце знаетъ, что наслажденіе есть также право всего живущаго, ищетъ его и манитъ имъ; за что оно имъ пожертвуетъ,—формализму до этого нѣтъ дѣла“. Таковъ первый выводъ, къ которому пришелъ Герценъ по поводу пьесы: въ ней нѣтъ виновныхъ, каждый изъ ея героевъ имѣлъ право любить, ревновать, желать счастья. Какъ же объяснить причину ихъ страданій? За что казнена одна невинная смертью, а двое другихъ—участіемъ въ этой

казни? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ раскрывается положительная сторона міросозерцанія Герцена, чувствуется его признаніе, что отъ личнаго рано или поздно неизбѣжно придется перебросить мостъ къ общему, отъ индивидуальнаго перейти къ соціальному. Герои драмы были виновны, не въ томъ, что обладали страстями и жаждали счастья и наслажденія: „закулисная вина несчастія этихъ людей—тѣснота и неестественная для человѣка жизнь въ праздности, преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе". Личныя страсти и счастье не въ жертву должны быть принесены общему; напротивъ, поднимаясь до этого общаго, человѣкъ придаетъ больше красоты, силы и прочности личному счастью. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преображается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею ядовитая жгучесть страстей. Поэтому, если бы *человѣчность* героевъ драмы „не ограничилась первой ступенью, т.-е. семейною жизнью,—катастрофы этой, конечно, не было". Если бы Эмиль кромѣ личныхъ привязанностей былъ бы захваченъ любовью къ родинѣ, искусству, наукѣ, то „остался ли бы онъ сложа руки, въ ничтожной праздности, разжигая бездѣйствіемъ страсти, истощая силы души на противодѣйствіе несчастной любви"? Тогда любовь могла бы быть лишь случайной гостьей, она не нарушила бы его мира съ женой, потому что „онъ былъ бы сильнѣе всего той стороной бытія, которой онъ не развилъ". А ихъ жизнь была „бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула". Тотъ, кто основалъ все свое благо на семейной жизни, строитъ домъ на пескѣ. Такимъ образомъ, даже

указывая на огромное значеніе общественныхъ интересовъ, провозглашая ихъ первенствующую роль въ человѣческой жизни, Герценъ стоитъ на индивидуалистической точкѣ зрѣнія, мотивируя эту роль прежде всего воспитательнымъ значеніемъ общественныхъ и всякихъ общихъ интересовъ, ихъ дѣйствіемъ въ качествѣ факторовъ, упрочивающихъ и расширяющихъ личное счастье человѣка. Соціальная проблема сама по себѣ чужда ему. Общее не есть самодовлѣющая цѣль, оно — психологическій факторъ. Проникнуться стремленіемъ къ общему человѣкъ долженъ ради самого себя, ради своего счастья, такъ какъ подобное стремленіе упрочиваетъ это счастье. Въ своей статьѣ Герценъ является моралистомъ и психологомъ, но не соціологомъ. Онъ говоритъ о томъ, что свободному духу невыносимо сознаніе своей зависимости отъ случайности. Это сознаніе настолько оскорбительно для человѣка, что онъ придумываетъ грозную судьбу и покоряется ей, хочетъ, чтобы бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, т.-е. стояли бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ. И вотъ, чтобы избавиться отъ этой оскорбительной власти случайностей, получить силу переносить ихъ удары, необходимо „подниматься и развиваться въ сферу разумную и вѣчную всеобщаго“. Такимъ образомъ, Герценъ неясно предчувствуетъ, что страданіе и счастье личности находятся въ зависимости не отъ случайности, а отъ „всеобщаго“. Но онъ не переноситъ центра вниманія на это „всеобщее“, не изучаетъ законовъ его жизни. Въ переустройствѣ общественныхъ отношеній онъ не видитъ главнаго пути къ счастью отдѣльной личности.

Мысли, высказанныя въ статьѣ „По поводу одной драмы“, легли въ основу его беллетристическихъ произведеній: „Сорока-воровка“, „Докторъ Круповъ“ и „Кто виноватъ?“ Правда, въ нихъ широко захвачены общественные вопросы, крѣпостное право разверты-

А. И. Герценъ.

UNIV. OF MICH.

вается во всѣхъ своихъ темныхъ, мрачныхъ краскахъ. Но центръ—личность, ея страсти и чувства. Герценъ погружается во внутренній міръ героевъ. Онъ слѣдитъ, главнымъ образомъ, за ихъ личной жизнью и мало интересуется ими съ той стороны, съ которой онъ могъ бы освѣтить главный общественный вопросъ эпохи, именно съ точки зрѣнія ихъ отношеній къ крестьянамъ. Сердечная жизнь Бельтова, героя романа „Кто виноватъ?", его вкусы и скука больше занимаютъ Герцена, чѣмъ взаимоотношеніе помѣщичьяго и крестьянскаго классовъ. Онъ изображаетъ горе и слезы людскія, но за этими картинами чувствуется моралистъ и психологъ, а не соціологъ, разглядывающій въ частныхъ страданіяхъ отраженіе соціальныхъ непорядковъ. Любовь и семейные конфликты, утонченная внутренняя жизнь остаются главными темами его произведеній въ теченіе 40-хъ годовъ.

Въ „Сорокѣ-воровкѣ" разсказана трогательная повѣсть крѣпостной артистки Анеты, игравшей въ театрѣ князя Скалинскаго, богатаго мецената, страстнаго любителя искусства, человѣка съ огромнымъ вкусомъ, сумѣвшаго создать хорошую труппу изъ своихъ дворовыхъ людей. Анета была великая артистка. Когда она играла въ „Сорокѣ-воровкѣ", она потрясла до глубины души присутствовавшаго въ театрѣ артиста звуками своего голоса. „Откуда взялись такіе звуки въ этой юной груди; они не выдумываются, не пріобрѣтаются изъ сольфеджей, а бываютъ выстраданы, приходятъ наградой за страшные опыты". По прихоти своего владѣльца, эта дѣвушка, которую судьба обрекла быть рабой, попала въ міръ сценической иллюзіи и почуяла въ себѣ божественную искру вдохновенія, ее выучили по-французски, возили въ Италію и Парижъ, она видѣла Тальму и Марсъ. Но вотъ она попадаетъ къ новому владѣльцу—князю Скалинскому. Меценатъ смотрѣлъ на нее не только какъ на артистку, и когда

встрѣтилъ отпоръ со стороны дѣвушки, старый селадонъ, не привыкшій къ отказамъ, считавшій свою благосклонность счастьемъ для тѣхъ, кого онъ удостаивалъ ею, возненавидѣлъ Анету. Начался рядъ мелкихъ жестокихъ преслѣдованій и издѣвательствъ, начиная съ того, что ей давались неподходящія или мелкія роли, обращались на „ты", и кончая публичными оскорбленіями, обвиненіями въ развратѣ. „Онъ не такъ могъ бы поступить со мною,—разсказываетъ дѣвушка артисту, — онъ поделикатился, онъ меня уважилъ гоненіями, въ то время какъ онъ могъ наказать меня розгами". Несчастная не вынесла этой жизни. Почти на-зло князю полюбила она. Этотъ романъ не оставилъ ей „тѣхъ кроткихъ сладкихъ воспоминаній счастья, упоеній, какъ у другихъ: въ немъ все лихорадочно, безумно, въ немъ не любовь, а отчаяніе, безвыходность". Черезъ два мѣсяца послѣ родовъ она умерла. Артистъ заканчиваетъ ея печальную повѣсть слѣдующими словами: „Бѣдная артистка!—думалъ я:—что за безумный, что за преступный человѣкъ сунулъ тебя на это поприще, не подумавъ о судьбѣ твоей? Зачѣмъ разбудили тебя? Затѣмъ только, чтобы сообщить вѣсть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя въ независимости, и великій талантъ, не извѣстный тебѣ самой, не мучилъ бы тебя; можетъ-быть, подчасъ и поднималась бы со дна души твоей непонятная грусть, зато она оставалась бы непонятной". Повѣсть кончается бѣгствомъ артиста изъ богатыхъ чертоговъ князя, который ухаживалъ за своимъ гостемъ и стремился удержать на своей сценѣ профессіональнаго даровитаго артиста, предлагая ему хорошія условія. „Климатъ здѣшній нездоровъ для художника", говоритъ онъ своему товарищу, и бѣжитъ въ свой старый театръ, „съ его декораціями, въ которыхъ мудрено отличить тѣнистую аллею отъ рѣки, въ которомъ море спокойно, а стѣны волнуются". Когда товарищъ напоминаетъ

ему, что тамъ нетрудно умереть съ голоду, онъ восклицаетъ: „А здѣсь отъ сытости. Голодъ можно вылѣчить кускомъ хлѣба... Болѣзни отъ сытости не такъ легко лѣчатся“.

Кто не помнитъ разсказа Счастливцева въ „Лѣсѣ“ Островскаго, — разсказа о томъ, какъ изголодавшійся артистъ попалъ къ зажиточному родственнику, гдѣ чинно текла жизнь, гдѣ его встрѣтили привѣтливо, гдѣ онъ обогрѣлся, „поправился и толстѣть уже сталъ“. Да вдругъ какъ-то за обѣдомъ пришла ему мысль въ голову: не удавиться ли мнѣ? „Я, знаете ли, тряхнулъ головой, чтобы она вышла; погодя немного опять эта мысль, вечеромъ опять. Нѣтъ, вижу, дѣло плохо, да ночью и бѣжалъ изъ окопка“. Есть что-то чуждое и враждебное свободному духу въ общепринятомъ строѣ жизни. „Свобода, Санчо,—говорилъ Донъ-Кихотъ своему оруженосцу, покидая раззолоченныя палаты герцога,—есть одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ даровъ неба людямъ... Среди этихъ изысканныхъ блюдъ и замороженныхъ напитковъ мнѣ казалось, что я страдаю отъ голода, потому что я не могъ ими пользоваться съ той свободою, какъ если бы они принадлежали мнѣ... Счастливъ тотъ, кому Небо даетъ кусокъ хлѣба, за который онъ долженъ благодарить только Небо и никого другого“. Та же идея непримиримости между истинной свободой человѣка, съ одной стороны, и мѣщанскими требованіями — съ другой, положена въ основу „Сорокиворовки“. Въ заключеніе своей повѣсти Герценъ приводитъ резюме славянофила, слушавшаго разсказъ артиста объ Анетѣ: „Все-таки... зачѣмъ она не обвѣнчалась тайно?“ Больше, чѣмъ желаніе посмѣяться надъ православными крайностями славянофильства, скрыто въ этомъ замѣчаніи. Оно еще ярче должно выставить непримиримый конфликтъ между индивидуальной свободой и предубѣжденіями. Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, на чьей сторонѣ симпатіи автора. Міръ ин-

дивидуальной жизни блещетъ разнообразными красками, представляетъ собою богатую сложную гамму тонкихъ, полныхъ внутренней красоты ощущеній, представляетъ самодовлѣющую цѣль, оправдывающую царственную роль человѣка. И въ видѣ контраста съ этимъ прекраснымъ міромъ все, чѣмъ общество опутало жизнь человѣка, представляется банальнымъ, трафаретнымъ кодексомъ, который поддерживается стадными инстинктами ординарностей, боящихся выйти за предѣлы традиціи. Все выдающееся гибнетъ въ этомъ мѣщанскомъ мірѣ, гдѣ всѣ живутъ не во имя своихъ естественныхъ чувствъ и стремленій, а ради какихъ-то предписаній, принесенныхъ откуда-то со стороны, установленныхъ чужой внѣшней силой.

Если въ „Сорокѣ-воровкѣ" Герценъ является апологетомъ личности, ея страстей и правъ ея сердца, то въ „Докторѣ Круповѣ" передъ нами крайній индивидуалистъ, приближающійся къ идеямъ Штирнера и Ницше, почти предшественникъ современной намъ поэзіи безумія, возставшей противъ мѣщанства, его логическо-правильнаго мышленія и его трафаретной морали во имя безумія и опьянѣнія. Ненависть къ мѣщанству и установленному имъ строю жизни приводитъ къ отрицанію всѣхъ его цѣнностей и къ культу того, что нарушаетъ этотъ строй. Теоретическія требованія мѣщанства заключаются въ правильномъ, логическомъ пониманіи жизни, въ общеобязательномъ методѣ мышленія, которое не признаетъ ничего ирраціональнаго, объявляетъ безуміемъ и караетъ всякое изъ ряду вонъ выходящее своеобразное воззрѣніе. И современные противники мѣщанства возводятъ въ идеалъ противоположную крайность, — провозглашаютъ культъ безумія, какъ высшаго отрицанія мѣщанской правильности мышленія. Практическія требованія мѣщанства сводятся къ однородному общепринятому порядку жизни, къ трезвости и традиціонной морали,

къ соблюденію установленныхъ формъ въ проявленіи сердечныхъ чувствъ, къ освященію любви бракомъ. И какъ противоположная крайность, возводятся въ культъ опьянѣніе и полная свобода чувства. Докторъ Круповъ взялъ на себя задачу показать несостоятельность мѣщанства, приведя его точно въ гегелевской тріадѣ къ его противоположности. Онъ составилъ интересныя записки, въ которыхъ доказываетъ, что безуміе является истиннымъ названіемъ для мѣщанскаго благоразумія. Уже въ дѣтствѣ онъ былъ пораженъ судьбой своего злополучнаго товарища Левки, котораго тщетно старались научить грамотѣ и, наконецъ, оставили въ покоѣ, признавъ его идіотомъ. Съ тѣхъ поръ Левкой больше не интересовались. Несчастный одинокій мальчикъ полюбилъ Крупова, и въ судьбѣ этого ребенка Круповъ впервые постигъ ужасъ мѣщанства и красоту своеобразной индивидуальности. Въ немъ зародились антисоціальныя чувства. Чѣмъ,— думалъ Круповъ,—Левка хуже другихъ? Онъ не приноситъ никакой пользы, ну, а пятьдесятъ поколѣній, которыя жили только для того на этомъ клочкѣ земли, чтобы ихъ дѣти не умерли съ голоду сегодня и чтобы никто не зналъ, зачѣмъ они жили, и для чего жили, гдѣ же польза ихъ существованія? Наслажденіе жизнью—но они ею никогда не наслаждались, по крайней мѣрѣ гораздо меньше Левки. Дѣти? Дѣти могутъ быть и у Левки, это дѣло нехитрое. Зачѣмъ Левка не работаетъ? Что за бѣда; онъ ни у кого ничего не проситъ, кое-какъ сытъ. Работа не наслажденіе, кто можетъ обойтись безъ работы, тотъ не работаетъ, всѣ остальные на селѣ работаютъ безъ всякой пользы, работаютъ цѣлый день, чтобы съѣсть кусокъ черстваго хлѣба, а хлѣбъ ѣдятъ для того, чтобы завтра работать, въ твердой увѣренности, что все выработанное принадлежитъ не имъ. Эти мысли Крупова чрезвычайно характерны. Въ нихъ заключается про-

тестъ противъ соціальнаго принципа, противъ идеи труда на пользу общую, въ виду того примѣненія, которое нашелъ и трудъ и общественная дѣятельность въ мѣщанскомъ міровоззрѣніи и въ крѣпостническомъ строѣ жизни. Круповъ указываетъ на жизнь помѣщика, который ничего не дѣлаетъ, а пользы получаетъ больше всѣхъ, и жизнь котораго болѣе пуста, чѣмъ жизнь Левки. Итакъ, язвы существующаго общественнаго строя привели доктора Крупова не къ мысли о борьбѣ съ этими язвами, ни къ идеѣ общественнаго переустройства, а къ отрицанію самыхъ общественныхъ началъ, къ апологіи безраздуманнаго индивидуальнаго существованія. Если крѣпостное право создаетъ трутней, праздныхъ людей, не думающихъ о своемъ общественномъ долгѣ, то отсюда слѣдуетъ, что не крѣпостное право нужно отмѣнить, а просто относиться безъ порицанія къ тѣмъ, кто не желаетъ работать на пользу общую и, по крайней мѣрѣ, открыто слѣдуетъ своимъ индивидуальнымъ влеченіямъ. „Левка никогда дома не живетъ, не исполняетъ ни гражданскихъ, ни семейныхъ обязанностей сына, брата. Ну, а тѣ, которые дома живутъ, развѣ исполняютъ?“ Изъ общественнаго неустройства для Крупова нѣтъ другого выхода, какъ въ міръ индивидуальной жизни: Левка „вжился въ природу“, онъ понимаетъ ея красоты по-своему, а для другихъ жизнь есть „пошлый обрядъ, тупое одно и то же, ни къ чему не ведущее“. И Круповъ приходитъ къ выводу, что причина всѣхъ гоненій на Левку состоитъ въ томъ, что „Левка глупъ на свой особенный салтыкъ, а другіе повально глупы“. По Крупову, какъ будто выходитъ, что единственнымъ спасеніемъ отъ „повальной глупости“ является „глупость на свой особенный салтыкъ“.

Впослѣдствіи, сдѣлавшись докторомъ по душевнымъ болѣзнямъ, Круповъ убѣдился еще болѣе въ справедливости мысли, поразившей его во время раз-

мышленій надъ судьбой Левки. Онъ убѣдился, что „офиціальные, патентованные сумасшедшіе въ сущности и не глупѣе и не поврежденнѣе всѣхъ остальныхъ, но только самобытнѣе, сосредоточеннѣе, независимѣе, оригинальнѣе, даже можно сказать геніальнѣе тѣхъ“. Раздражительная злоба безумныхъ является результатомъ того, что окружающіе жестоко отрицаютъ ихъ любимую идею. „Все несчастіе явно безумныхъ—ихъ гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные со всей злобой слабыхъ характеровъ запираютъ ихъ въ клѣти, поливаютъ холодной водой и пр.“. И Круповъ всюду наблюдаетъ этихъ „повально-поврежденныхъ“. Къ нему, какъ къ доктору, является жена съ горькими жалобами отчаянія на ненавистнаго мужа и этотъ мужъ съ проклятіями по адресу своей жены. Онъ даетъ единственный совѣтъ, диктуемый здравымъ разсудкомъ: „Зачѣмъ вамъ этотъ адъ совмѣстной жизни, вѣдь вы богаты, что васъ держитъ другъ возлѣ друга, разъ вы не любите одинъ другого“. Въ отвѣтъ онъ слышитъ: „За кого вы меня считаете, я родился въ благочестивой дворянской семьѣ“... Чиновники канцеляріи поражаютъ Крупова сходствомъ съ его больными. Онъ убѣдился, что чиновничество есть особое специфическое пораженіе мозга, и ему даже стали противны журнальныя нападки на чиновниковъ, такъ какъ смѣяться надъ больными жестоко. Вліяніе эпидеміи было до того сильно въ канцеляріи, что поступающіе туда здоровые люди чувствовали тоску по безумію и „излѣчивались отъ умственныхъ способностей спиртными напитками“. *Докторъ Круповъ*—жестокая сатира на тотъ строй жизни, который создало офиціальное мѣщанство. Въ этомъ произведеніи слышится вопль умственно-аристократической личности о свободѣ, о вызвышенной своеобразной жизни, о всестороннемъ самоопредѣленіи индивидуальности, точно

такъ же, какъ звучитъ этотъ вопль въ печальной повѣсти о погибшей артисткѣ. Крѣпостное право и хранитель этого института, офиціальное мѣщанство, образуютъ только фонъ, на которомъ разыгрываются душевныя драмы. Нигдѣ авторъ не противопоставляетъ имъ другого общественнаго строя, при которомъ не могло бы быть этого гнетущаго униженія человѣческой личности, грубаго оскорбленія тонко чувствующей натуры.

Лучшимъ произведеніемъ этого періода былъ романъ „Кто виноватъ?“ Въ самомъ заглавіи его отразилось основное настроеніе идеалистовъ 40-хъ годовъ. „Роковые вопросы“, вопросы о причинахъ человѣческихъ страданій, вопросы объ его виновникахъ, стояли передъ ними. Миръ традиціоннаго существованія былъ нарушенъ, исчезали постепенно патріархальныя идилліи стараго барства, жившаго по старинѣ, свыкшагося съ мыслью о своемъ правѣ на угнетеніе человѣческой личности. Роковые вопросы встали во всемъ своемъ грозномъ значеніи и требовали отвѣта. И люди 40-хъ годовъ поставили ихъ, но не могли дать отвѣта. Въ романѣ Герцена больше безсилія и тайной тоски, чѣмъ спокойной увѣренности въ томъ, куда итти. Въ этомъ романѣ много сарказма, когда изображается жизнь „ихъ превосходительствъ“, когда развертываются картины разврата, описываются проявленія жестокаго и наивнаго эгоизма,—словомъ, все то, что, какъ грязная накипь, всплывало на поверхность крѣпостническаго быта. Но много грусти и нѣжной безсильной любви слышится при изображеніи Круциферскихъ и Крупова, при разсказѣ о скитаніяхъ Бельтова. Кто виноватъ въ той драмѣ, которая разыгралась между этими благородными характерами? Чистый мечтательный юноша, со студенческой скамьи, Круциферскій попадаетъ въ домъ генерала Негрова. Въ этомъ домѣ одно существо возвышается надъ общимъ уровнемъ,—это Любанька,

плодъ добрачнаго увлеченія его превосходительства, его дочь отъ приглянувшейся ему крѣпостной дѣвки. Ея превосходительство простила мужу его „грѣхъ“ и взяла Любаньку въ барскій домъ. Тяжело приходилось бѣдной дѣвушкѣ отъ доброты ихъ превосходительствъ. Въ качествѣ благодѣтельницы, Негрова не находила нужнымъ быть деликатной, не избѣгала оскорбительныхъ намековъ на происхожденіе Любаньки. Глубокая и тонкая натура, Любанька тяжело страдала отъ грубаго прикосновенія къ ея ранѣ. Круциферскій влюбился и женится на Любанькѣ къ тайному удовольствію Негрова, не знавшаго, куда сбыть Любаньку, и къ большому неудовольствію генеральши, которая сама заглядывалась на интереснаго и робкаго юношу. Круциферскій женился, несмотря на предостереженіе своего опытнаго друга доктора Крупова: „Не пара тебѣ твоя невѣста, ужъ что ты хочешь — эти глаза, этотъ цвѣтъ лица, этотъ трепетъ, который иногда пробѣгаетъ по ея лицу — она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы; а ты — да что ты? Ты — невѣста, ты, братецъ, нѣмка, ты будешь жена — ну, годно ли это?“ Слова Крупова оказались пророческими, и сущность романа заключается въ непримиримомъ конфликтѣ страстей и чувствъ, который возникъ съ появленіемъ на сцену Бельтова. Бельтовъ — одинъ изъ тѣхъ героевъ, вереница которыхъ проходитъ чрезъ русскую литературу, начиная съ Онѣгина и Печорина. Далѣе мы остановимся подробнѣе на этой фигурѣ. Бельтовъ явился для того, чтобы разбудить Круциферскую. Съ его появленіемъ поняла она, что ея любовь къ мужу не была истинной любовью. И три героя стали лицомъ другъ къ другу со своими благородными чувствами, колеблющіеся между долгомъ и природой. Столкновеніе этихъ трехъ натуръ составляетъ главный предметъ романа, и Герценъ производитъ тщательный анализъ созданнаго имъ положенія. Неизбѣжность кон-

фликта и связанныхъ съ нимъ страданій лежала въ самой природѣ героевъ. Круциферскій—нѣжная и любящая натура, натура женская и податливая: „Онъ имѣлъ столько простосердечія и чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на невѣдѣніе ребенка“. Во всѣхъ его дѣйствіяхъ была та же кротость, что и на лицѣ, то же спокойствіе, та же искренность и та же робкая задумчивость. „Нужно ли говорить, какъ такой человѣкъ долженъ былъ любить свою жену? Любовь его росла, тѣмъ болѣе, что ничего не развлекало его; онъ не могъ двухъ часовъ провести, не видавши темно-голубыхъ глазъ своей жены, онъ трепеталъ, когда она выходила со двора и не возвращалась въ назначенный часъ; словомъ, ясно было, что всѣ корни его бытія были въ ней“. Иной характеръ имѣла любовь Бельтова къ Круфицерской. Сильной натурѣ,—говоритъ авторъ, „не занятой ничѣмъ особенно“, почти невозможно защититься отъ вліянія энергичной женщины. Пылкій отъ природы, „увлекающійся отъ непривычки къ самообузданію“, Бельтовъ не разъ отдавался во власть какой-нибудь хорошенькой кокетки, не разъ до безумія влюблялся въ танцовщицу или примадонну. Въ началѣ знакомства онъ пытался и въ отношенія къ Круциферской внести пріемы привычнаго кокетства, но она была такъ естественна и проста, что у Бельтова вскорѣ прошла охота интриговать ее. Онъ полюбилъ ее, потому что она „поняла его грусть, поняла ту острую закваску, которая бродила въ немъ и мучила его“; понявши, она не могла больше смотрѣть на него безъ участія, безъ симпатіи, а глядя на него такъ, она все болѣе и болѣе узнавала его, съ каждымъ днемъ раскрывались для нея новыя и новыя стороны этого человѣка, „обреченнаго уморить въ себѣ страшное богатство силъ и страшную ширь пониманія“. Бельтовъ сразу оцѣнилъ разницу между „добросо-

вѣстно-нравоучительнымъ участіемъ“ Крупова, „романтическимъ сочувствіемъ“ Круциферскаго и „тѣмъ вѣрнымъ тактомъ“, который онъ видѣлъ въ ней. Она стала для него необходимостью. Онъ чувствовалъ, что она одна можетъ спасти его. Что же переживала Круциферская, ставшая столь дорогой и необходимой этимъ обоимъ людямъ? Она любитъ своего мужа, относящагося къ ней съ такой беззавѣтной трогательной нѣжностью: „Я люблю его, мнѣ было бы невозможно не любить его,—пишетъ она въ своемъ дневникѣ. — Надо имѣть каменное сердце, чтобы не любить такого человѣка... Я не боюсь признаться, что и Бельтова люблю, это такой сильный человѣкъ, что я не могу не любить его, это человѣкъ, призванный на великое, необыкновенный человѣкъ; изъ его глазъ свѣтится геній“. Она думаетъ, что ему нужна „любовь иная“, что „нѣжная дружба женщины“ могла бы облегчить его страданія. Нѣтъ надобности прибавлять, что Круциферскій скоро догадался о чувствахъ своей жены, и, измученный борьбой между чувствомъ ревнивой злобы и благородной жаждой жертвы, онъ „изнемогъ, палъ подъ бременемъ такой ноши“, впервые въ жизни напился у товарища, вступивъ на наклонный путь. Бельтовъ, повинуясь чувству долга, покинулъ городъ, разбитый, съ тупымъ равнодушіемъ ко всему въ мірѣ, и отправился снова скитаться. А Круциферская, съ разбитымъ сердцемъ, тоже повинуясь долгу, осталась жить при мужѣ, и едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что Бельтовъ былъ правъ, когда передъ отъѣздомъ сказалъ Крупову, что эта жертва не спасетъ Круциферскую. „Кто виноватъ?“—Этотъ вопросъ авторъ предоставляетъ рѣшить читателю, стараясь самъ остаться въ тѣни, въ роли объективнаго разсказчика событій. Но его собственный голосъ нетрудно услышать въ страстныхъ словахъ Бельтова. Если любовь мужа дала ему такія права, отчего же „любовь другого, искрен-

няя, глубокая, не имѣетъ никакихъ правъ?“ Онъ знаетъ, что въ ея сердцѣ пробудилось отвѣтное чувство. Онъ проситъ, чтобы она хоть разъ въ жизни была откровенной, „сошла поглубже въ свою душу и посмотрѣла, что тамъ дѣлается“. Быть откровеннымъ это значитъ сбросить предубѣжденія и традиціи, наслоившіяся надъ человѣкомъ вѣками, отыскать самого себя, противопоставить голосъ природы общественнымъ требованіямъ. Герценъ не рѣшаетъ вопроса „кто виноватъ?“, но идея освобожденія человѣческой личности—главный мотивъ этого романа. „Герой всѣхъ романовъ Искандера (Герцена),—говоритъ Бѣлинскій, - всегда былъ и будетъ одинъ и тотъ же: это человѣкъ, понятіе общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значенія. Искандеръ по преимуществу поэтъ гуманности“. У него есть одна основная мысль, которая является какъ чувство, какъ страсть. „Это—страданіе, болѣзнь при видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и еще болѣе безъ умысла“. Таковъ смыслъ герценовскаго романа—правильно поставленный вопросъ объ освобожденіи человѣческой личности и безсиліе передъ этой проблемой.

Это безсиліе ярко воплотилось въ лицѣ главнаго героя романа. Бельтовъ — типъ той „умной ненужности“, о которой говорилъ Герценъ по поводу своего отца. Его исторія—это исторія Агариныхъ, Рудиныхъ, Лаврецкихъ, даже Обломовыхъ и безконечной вереницы дворянъ, тоскующихъ подобно ему и не находящихъ дѣла для примѣненія своихъ силъ. Характеризуя Бельтова, мы можемъ опредѣлить происхожденіе и главныя черты этихъ лишнихъ людей.

Воспитаніе Бельтова точно нарочно велось такимъ образомъ, чтобы Россія казалась ему какимъ-то невѣдомымъ, чуждымъ краемъ, который менѣе всего упоминался въ усвоенныхъ имъ знаніяхъ. Онъ развивался

подъ руководствомъ честнаго женевца, изучившаго всѣ педагогическіе трактаты отъ Эмиля и Песталоцци до Базедова и Николаи. Этотъ женевецъ отказался отъ предложенныхъ ему 4,000 р. жалованья, взявъ только 1,200 р., на томъ основаніи, что „собирать капиталъ - дѣло безчестное“. Вотъ кому ввѣрили воспитаніе будущаго владѣльца пустошей и угодій. Женевецъ зналъ всевозможные педагогическіе идеалы, кромѣ одного,—именно, что важнѣйшее дѣло воспитанія состоитъ въ приспособленіи молодого ума къ окружающему. Молодой отшельникъ росъ, изучая ботанику и біографіи великихъ людей. Были приняты всѣ мѣры, чтобы онъ не имѣлъ понятія о дѣйствительности. „Вмѣсто горькаго посвященія въ жизнь, ему передали блестящіе идеалы; вмѣсто того, чтобы вести на рынокъ и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балетъ и увѣрили ребенка, что эта грація, что это музыкальное сочетаніе движеній съ звуками—обыкновенная жизнь“. Бельтовъ воспитался по рецепту женевца, Лаврецкаго воспитывали по Руссо, Рудинъ самъ научился мыслить по Гегелю, и они становились мечтателями, а не людьми дѣла, безсильные передъ русской дѣйствительностью. Университетъ дополнилъ эту систему. Товарищи Бельтова усвоивали западную философію и „чертили себѣ колоссальные планы“, не подозрѣвая, что одинъ изъ нихъ кончитъ преферансомъ и должностью начальника отдѣленія, другой пьянствомъ въ провинціальной глуши, и т. д.

Что же получилось изъ этого воспитанія? Набросать портретъ Бельтова и его сверстниковъ нетрудно. Они живутъ въ одинаковыхъ условіяхъ жизни, въ нихъ съ изумительной точностью повторяются однѣ и тѣ же черты. Бельтовъ богатъ, и это прежде всего нужно имѣть въ виду. Ему не нужно думать о хлѣбѣ насущномъ; его какъ и всѣхъ этихъ тоскующихъ ге-

роевъ, „наслѣдье богатыхъ отцовъ освободило отъ малыхъ трудовъ“. Если они бѣдны, какъ Рудинъ, они все равно безсильны добывать трудомъ необходимое, живутъ на чужой счетъ или бѣдствуютъ. Далѣе, Бельтовъ уменъ и образованъ. Онъ возвышается не только надъ обитателями уѣзднаго городка, но и въ Петербургѣ сразу обращаетъ на себя вниманіе „простою рѣчью, многостороннимъ образованіемъ и пылкимъ пламеннымъ умомъ“. Даже чиновники отдѣленія, куда опредѣлился Бельтовъ, враждебные всякому свѣжему дуновенію, благоговѣйно преклонявшіеся предъ канцелярскими традиціями, поняли, что Бельтовъ — „малый умный“. За границей онъ удивлялъ нѣмецкихъ спеціалистовъ многосторонностью русскаго ума, французовъ глубокомысліемъ. Другая черта Бельтова — полная неспособность засыпать пропасть, раздѣляющую теорію отъ практики, идею отъ дѣла. „Ходитъ и со всякой дрянью носится,—говоритъ о немъ столоначальникъ,—горячится, точно отца родного рѣжутъ, а онъ спасаетъ... всѣ они только *на словахъ* выѣзжаютъ: я-де злоупотребленія искореню, а самъ не знаетъ, какія злоупотребленія и въ чемъ они“. И Бельтовъ покинулъ службу, „не дослуживъ четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ до пряжки“. Онъ пошелъ по медицинской части, но вскорѣ бросилъ и это, рѣшивъ, что онъ артистъ, и сталъ заниматься живописью. И все это съ паѳосомъ, съ грандіозными планами при всякомъ новомъ увлеченіи, съ благородной жаждой дѣла и жертвы, съ снисходительнымъ отношеніемъ къ окружающимъ. Когда по поводу увлеченія медициной мать Бельтова высказала опасеніе насчетъ „прилипчивыхъ болѣзней“, ея сынъ, съ снисходительностью скромнаго героя, нѣжно сказалъ: „Маменька! какой вы эгоистъ, преисполненный любви! Жить, сложа руки, конечно, безопаснѣе; но я полагаю, что на бездѣйствіе надобно также имѣть призваніе, какъ и на дѣятельность“.

Третья черта Бельтова—его безсознательный наивный эгоизмъ, развившійся на почвѣ его барской избалованности. Бельтовъ никогда не думалъ о тѣхъ, чьими усиліями досталась ему на долю праздная и сытая жизнь. Онъ проигрываетъ крупныя суммы въ карты и не замѣчаетъ, что его мать, слабая и состарѣвшаяся не по лѣтамъ, поѣхала въ Бѣлое Поле поправлять бреши, сдѣланныя векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутныя увлеченія сына, да копить новыя деньги, чтобы Володя на чужой сторонѣ ни въ чемъ не нуждался.

Въ лицѣ Бельтова передъ нами одинъ изъ яркихъ типовъ лишняго человѣка. Какъ же относится къ нему авторъ? Вскрылъ ли онъ тѣ нити, которыя связуютъ Бельтовыхъ съ условіями тогдашней русской жизни, сказалъ ли онъ прямо и ясно, что крѣпостное право было той почвой, на которой возникали и развивались эти „умныя ненужности", сознавалъ ли онъ, что измѣняющіяся экономическія условія дѣлали невозможнымъ дальнѣйшее наивное и спокойное существованіе мыслящей части русскаго дворянства, что эти тоскующіе герои должны были появиться какъ предвѣстники будущаго, что самое страданіе ихъ должно быть расплатой за прошлое и указаніемъ новыхъ путей, по которымъ направится общественная жизнь, отвѣчающая назрѣвшимъ потребностямъ?

Несомнѣнно, что Герценъ сознавалъ связь между обезпеченнымъ положеніемъ Бельтова и его тоскою. „Вамъ жизнь надоѣла отъ праздности,—говоритъ ему Круповъ, — вы, какъ всѣ богатые люди, не привыкли къ труду. Дай вамъ судьба опредѣленное занятіе, да отними она у васъ Бѣлое Поле, вы бы стали работать для себя изъ хлѣба, а польза-то вышла бы для другихъ; такъ-то все на свѣтѣ и дѣлается". Нужно ли доказывать, что Герценъ врагъ эксплуатаціи, что угнетеніе крестьянъ дворянами всегда встрѣчалось рѣз-

кимъ осужденіемъ съ его стороны? Но, съ другой стороны, съ какимъ теплымъ сочувствіемъ обрисована личность Бельтова. Уже Бѣлинскій замѣтилъ, что въ изображеніи этого празднаго человѣка скрывается извѣстная двойственность, что къ концу романа герой измѣненъ авторомъ. Бельтовъ, вначалѣ просто праздный эгоистъ, становится въ концѣ неоцѣненнымъ геніемъ, которому нѣтъ мѣста и дѣла среди житейской пошлости и окружающаго общества съ его низменными интересами. Его тоска не чужда самому автору. „Зачѣмъ мы проснулись?“ съ отчаяніемъ восклицаетъ Герценъ въ своемъ дневникѣ. Пока старый порядокъ еще не былъ расшатанъ неудержимымъ ходомъ экономическаго развитія, замѣчаетъ Бельтовъ (Плехановъ) въ своей статьѣ о Некрасовѣ, эти странные люди представляли собою чрезвычайно отрадное, но очень рѣдкое исключеніе, были тѣми одинокими ласточками, которыя не дѣлали весны и сами задыхались въ тяжелой атмосферѣ всеобщей спячки. Не только Герценъ, но и Толстой и Тургеневъ, Пушкинъ и другіе наши великіе художники „изображали дворянскій бытъ не съ его отрицательной стороны, т.-е. не съ той стороны, съ которой обнаружилось бы противорѣчіе интересовъ дворянства съ интересами крестьянства, а съ той, съ которой *это противорѣчіе совсѣмъ незамѣтно*, и съ которой дворянинъ, жившій болѣе или менѣе суровой эксплуатаціей крестьянина, все-таки оказывается человѣкомъ, способнымъ понимать и переживать многія важнѣйшія человѣческія чувства; стремленіе къ истинѣ, исканіе серьезнаго общественнаго дѣла, жажду борьбы, любовь къ женщинѣ, наслажденіе природой и т. п.“. Поскольку обитатели дворянскихъ гнѣздъ переживали эти чувства, они и интересовали художника, а отношеніе ихъ къ крестьянамъ или обходилось совершенно (Печоринъ) или обрисовывалось легкимъ штрихомъ (Онѣгинъ, за-

мѣняющій барщину легкимъ оброкомъ, Пьеръ Безухій, строящій школы и больницы), либо рисовалось въ видѣ патріархальныхъ идиллій. Ужасовъ крѣпостного права мы почти не видимъ въ романахъ писателей-дворянъ. Почти одиноко стоящія „Записки охотника" тоже представляютъ скорѣе психологическій, чѣмъ соціальный интересъ. Но мы забѣжали впередъ. Бельтовъ остается прекраснымъ памятникомъ „проснувшихся" представителей гуманнѣйшей части дворянства. Его тоска по свободной жизни была залогомъ лучшаго, хотя и неяснаго еще будущаго.

Въ то время какъ Герценъ рисовалъ фигуры Круповыхъ и Бельтовыхъ, въ лицѣ которыхъ воплощалъ свое собственное тоскующее стремленіе къ полному освобожденію человѣческой личности,—его мысль работала надъ изысканіемъ путей, ведущихъ къ завоеванію истины и пересозданію жизни. Въ сороковыхъ же годахъ одновременно съ романомъ „Кто виноватъ?" пишетъ онъ свои статьи о „Дилеттантизмѣ въ наукѣ", о „Буддизмѣ въ наукѣ" и т. д. Эти статьи интересны потому, что въ нихъ заключается предчувствіе той роли, которую должно будетъ сыграть точное знаніе въ разрѣшеніи роковыхъ вопросовъ жизни. Герценъ чувствуетъ несостоятельность метафизики и идеализма и противопоставляетъ имъ позитивное изслѣдованіе, матеріализмъ и методы, заимствованные у естествознанія. „Главное, что дѣлаетъ науку *ученыхъ* трудною и запутанною,—говоритъ онъ,—это метафизическія бредни и тьма-тьмущая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ". Онъ нападаетъ на дилеттантовъ за то, что они „держатся за мечты". Но „человѣкъ, поднявшійся до современности, съ живой душой, не можетъ удовлетвориться внѣ науки. Глубоко прострадавъ пустоту субъективныхъ убѣжденій, постучавшись во всѣ двери, чтобы утолить жгучую

жажду возбужденнаго духа и нигдѣ не находя истиннаго отвѣта, измученный скептицизмомъ, обманутый жизнью, онъ идетъ нагой, бѣдный, одинокій и бросается въ науку". Не слѣдуетъ, конечно, думать, что Герценъ окончательно порвалъ съ метафизикой и идеализмомъ и выступилъ законченнымъ проповѣдникомъ чисто-эмпирическаго изслѣдованія. Онъ смѣшиваетъ еще оба направленія. Такъ, напримѣръ, Гегель у него „высшій представитель науки". То „всеобщее", которое упускаютъ изъ виду цеховые ученые, погружающіеся въ частности, у Герцена иногда сильно сбивается на Абсолютъ докантовской метафизики. Но, съ другой стороны, онъ высказываетъ рядъ цѣнныхъ мыслей, дѣлающихъ его предшественникомъ послѣдующаго научнаго отношенія ко всѣмъ вопросамъ теоретической мысли, общественной и частной жизни. Во-первыхъ, онъ провозглашаетъ, что факты, а не прирожденныя идеи должны лечь въ основу всякаго познанія. Міръ фактическій, говоритъ онъ, служитъ основой науки; наука, опертая не на природѣ, не на фактахъ, есть именно туманная наука дилеттантовъ". Люди отвлеченной метафизики должны опуститься изъ своего поднебесья именно въ *физику* (въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова), и въ нее же должны подняться роющіеся въ землѣ спеціалисты. Послѣ католической науки новая наука требовала иныхъ, болѣе положительныхъ фактическихъ основаній. Она не требуетъ ничего впередъ, не дастъ никакихъ началъ на-вѣру. Во-вторыхъ, онъ выступаетъ поборникомъ идеи демократизаціи знаній. Привычка превращать научную работу въ исключительное достояніе избранныхъ, традиціонное убѣжденіе, что наука — принадлежность исключительно ученаго цеха, является наслѣдіемъ католической эпохи, когда наука находилась въ вѣдѣніи посвященныхъ. Наука становится теперь достояніемъ всѣхъ. Всегда будетъ техническая часть отдѣльныхъ

отраслей знанія, и она останется дѣломъ спеціалистовъ, но „не въ ней дѣло“. Наука въ „высшемъ смыслѣ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни“. Всякую мысль можно высказать просто и ясно. Ученые, подрывши во имя всеобщаго права изслѣдованія касту католическихъ духовныхъ пастырей, обнаруживаютъ стремленіе образовать новую касту изъ самихъ себя. Спеціалистъ, проводящій жизнь въ монотонномъ и одностороннемъ занятіи, не можетъ претендовать на истину въ большей степени, чѣмъ любой купецъ или артистъ. Напротивъ, есть основаніе думать, что любой человѣкъ, искусившійся самыми событіями, прошедшій черезъ тысячи разнообразныхъ столкновеній съ людьми, будетъ обладать болѣе яснымъ взглядомъ и болѣе глубокою мыслью, чѣмъ цеховой ученый. Наконецъ, третья важная идея этихъ статей—это мысль о конечной цѣли науки: она должна овладѣть жизнью, „потребовать права голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни“. Одинъ изъ главныхъ упрековъ, которые дѣлаетъ Герценъ ученому цеху, заключается въ томъ, что цеховой ученый разобщился съ современностью, и „нужны нечеловѣческія усилія, чтобы ему войти живымъ звеномъ въ живую цѣпь“.

Такіе взгляды или, вѣрнѣе, предчувствіе новыхъ путей, на которые вступала русская мысль, унесъ Герценъ съ собою за границу. Къ идеалистическому міровоззрѣнію съ первыхъ шаговъ русской общественной мысли стали примѣшиваться элементы матеріализма, а къ либерально-гуманнымъ идеямъ—соціалистическія. Мы видѣли, что уже Бѣлинскій во вторую половину своей дѣятельности склоняется къ мысли, что въ разрѣшеніи соціальной проблемы скрывается разгадка рокового вопроса о страданіяхъ человѣческой личности. И въ старыя идеалистическія представленія Бѣлинскаго подъ конецъ его жизни все болѣе

вторгается духъ научнаго изслѣдованія, методы естествознанія, матеріалистическія струи. И Герценъ, какъ видимъ, уже въ 40-хъ годахъ, въ ту эпоху, когда онъ весь еще захваченъ проблемой личности, склоняется къ матеріализму. Онъ преклоняется предъ методами естествовѣдѣнія, гдѣ „нельзя такъ играть, какъ въ философіи". Тамъ изслѣдователю приходится отказаться отъ своей личности, отъ своихъ субъективныхъ воззрѣній, такъ какъ органы его чувствъ — неутомимые свидѣтели. „Въ этомъ отношеніи матеріалисты стоятъ выше,—говоритъ онъ,—и могутъ служить примѣромъ мечтателямъ-дилеттантамъ... Какую теорію ни броситъ, какимъ личнымъ убѣжденіемъ ни пожертвуетъ химикъ, если опытъ покажетъ другое,—ему не придетъ въ голову, что цинкъ ошибочно дѣйствуетъ, что селитряная кислота—нелѣпость. Къ философіи же каждый приступаетъ съ своей маленькой эгоистичной философіей, въ которой „удовлетворены всѣ мечты, всѣ прихоти эгоистическаго воображенія". Не видны ли въ этихъ словахъ проблески научнаго соціализма и начинающееся отреченіе отъ идеалистическаго либерализма: фактъ долженъ быть поставленъ на мѣсто идеи. Реальныя силы и ихъ отношенія, а не наши идейныя усилія, вызванныя нашими идеалами, опредѣляютъ ходъ исторіи. Наука должна опереться на природу и овладѣть всѣми вопросами жизни. Бѣлинскій умеръ въ предчувствіи этихъ новыхъ воззрѣній. Герценъ унесъ ихъ съ собой за границу. Здѣсь предъ нимъ открылись новыя перспективы. До сихъ поръ передъ русскимъ мыслящимъ обществомъ стоялъ общій врагъ. И Бѣлинскій, и Чаадаевъ, и Герценъ, исходя изъ разныхъ основъ, сходились на одномъ—на отрицаніи офиціальной Россіи. Отмѣна крѣпостного права была до такой степени насущной необходимостью, что передъ этимъ общимъ зломъ умолкали несогласія, не видны были различные пути. Но близилась эпоха реформъ

Александра II. Предстояло вступить на путь положительной творческой работы и людямъ, стоявшимъ въ одномъ лагерѣ, пришлось разойтись по разнымъ дорогамъ.

XII.

Послѣдніе годы николаевскаго царствованія.—Начало реформъ имп. Александра II. —Правительство и общество въ эпоху реформъ.—Тайныя общества.-Реакція.—Литературная дѣятельность Герцена за границей и главныя идеи его въ теченіе этого періода.—„Съ того берега". — „Русскій народъ и соціализмъ".—„Письма къ старому товарищу".—Заключеніе.

Послѣдніе годы царствованія императора Николая были эпохой жестокаго правительственнаго террора. Время, отдѣляющее кончину Бѣлинскаго отъ кончины Николая, было самымъ мрачнымъ періодомъ въ исторіи русскаго общества. Эпоха Бѣлинскаго представлялась теперь сравнительно счастливымъ временемъ. „Благо Бѣлинскому, умершему во-время", это восклицаніе опредѣляетъ подавленное состояніе лучшихъ умовъ. Въ это время дѣлалъ первые шаги русскій соціализмъ. Онъ не былъ еще такимъ широкимъ теченіемъ, какъ либерализмъ. Онъ былъ еще мечтой, далекой цѣлью отдѣльныхъ личностей. Онъ не претворялся въ практическое дѣло или въ опредѣленную организацію. Но правительство Николая казнило не только за поступки, но и за идеи, за преступныя мысли, и въ 1848 году былъ раскрытъ „заговоръ" Петрашевскаго, чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ. Вина „заговорщиковъ" заключалась въ томъ, что они собирались у Петрашевскаго, обсуждали вопросы соціальнаго и политическаго характера, причемъ одни изъ нихъ являлись сторонниками республиканскаго строя, другіе допускали въ качествѣ переходной конституціонную форму правленія, третьи стояли за учрежденіе общинъ

въ родѣ фалангъ Фурье, которыя должны были замѣнить существующую систему европейскаго политическаго строя. Эти платоническіе планы, раскрытые при помощи шпіоновъ, вызвали драконовскую кару. Двадцать одинъ человѣкъ, большею частью молодые офицеры и чиновники, были приговорены къ смертной казни, которая, впрочемъ, была замѣнена каторгой или отдачей въ солдаты. Послѣ этой жестокой расправы воцарилось, по выраженію Туна, полное безмолвіе, длившееся до конца николаевскаго царствованія.

Какъ ни жестоко было отношеніе николаевскаго правительства ко всякому проявленію независимой русской мысли, именно въ это царствованіе рядомъ съ либерализмомъ начинало крѣпнуть соціалистическое направленіе, — лучшее свидѣтельство того, что теоретическія ученія не зависятъ отъ давленія сверху и являются только идеологіей реальныхъ интересовъ, возникающихъ въ массахъ. Уже въ проектахъ декабристовъ мы встрѣчаемъ слѣды соціалистическаго ученія. „Мнѣ казалось,—говоритъ Пестель въ своей „Русской Правдѣ", — что главное стремленіе нынѣшняго вѣка состоитъ въ борьбѣ между массами народными и аристократіями всякаго рода, какъ на богатствѣ, такъ и на происхожденіи основанными". Мы уже видѣли далѣе, какое огромное вліяніе оказали соціалистическія идеи на кружокъ Герцена и Огарева, а затѣмъ на все западническое направленіе съ Бѣлинскимъ во главѣ. Незадолго до смерти императора Николая подавленная русская мысль начинала пробуждаться снова. Было ясно, что страшный гнетъ становится невыносимымъ и разразится катастрофой. Крымскій разгромъ сыгралъ роль этой катастрофы. Это былъ смертный приговоръ системѣ офиціальнаго народничества. Вступленіе на престолъ императора Александра II въ 1855 году сопровождалось большими ожиданіями со стороны русскаго общества. И начи-

навшаяся „эпоха великихъ реформъ“, когда съ почвы общаго протеста пришлось перейти на почву положительной строительной работы, сразу обнаружила, что и въ отдѣльныхъ группахъ народныхъ массъ, и среди ихъ идеологовъ пониманіе народныхъ интересовъ далеко не одинаково.

Правительство вовсе не было склонно передать рѣшеніе судебъ Россіи въ руки общества. Главную изъ назрѣвшихъ реформъ оно проводило по прежнему бюрократическимъ путемъ. Вызваннымъ въ Петербургъ представителямъ дворянства было предложено дать только письменные отвѣты на поставленные вопросы, и даже запрещено было устраивать публичныя собранія. По мѣрѣ развитія работъ реакціонное направленіе ихъ усиливалось. Въ февралѣ 1860 г., по смерти Ростовцева, человѣка либеральнаго образа мыслей, предсѣдателемъ редакціонной коммиссіи былъ назначенъ извѣстный реакціонеръ, защитникъ помѣщичьихъ интересовъ графъ Панинъ. Такимъ образомъ, даже либеральная часть дворянства была обманута въ своихъ ожиданіяхъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ Ланскій въ своемъ докладѣ, который былъ одобренъ государемъ, писалъ, что правительству полезно имѣть отъ депутатовъ „справки не о коренныхъ началахъ, которыя признаны неизмѣнными, не о развитіи ихъ, которое принадлежитъ самому правительству, а единственно только о примѣненіи проектированныхъ общихъ правилъ къ особеннымъ условіямъ каждой мѣстности. Посему не должно развиваться мечтаніямъ, будто бы избранные комитетомъ члены призываются для разрѣшенія какихъ-либо законодательныхъ вопросовъ или измѣненія въ государственномъ устройствѣ“. Недовольство дворянъ выразилось въ цѣломъ рядѣ адресовъ, въ которыхъ въ почтительной формѣ проводилась идея необходимости участія народнаго или дворянскаго представительства въ рѣшеніи общегосудар-

ственныхъ вопросовъ. Но правительство отвѣчало на эти домогательства выговорами, внушеніями и даже ссылками и запретило дворянскимъ собраніямъ касаться вопроса объ освобожденіи крестьянъ, давъ ясно понять, что рѣшеніе государственныхъ вопросовъ будетъ осуществляться только верховной властью при помощи бюрократіи безъ участія общественныхъ элементовъ.

Такой политики держалось правительство во время подготовительныхъ работъ. Въ прогрессивномъ обществѣ уже въ это время обнаруживались два теченія: одно-либеральное, державшееся примирительнаго направленія по отношенію къ правительству, другое — соціалистическое, относившееся съ недовѣріемъ къ намѣреніямъ правительства. Вначалѣ и тѣ и другіе, и либералы и соціалисты, относились съ полнымъ сочувствіемъ къ молодому монарху, который самъ взялъ на себя иниціативу освобожденія крестьянъ. Напомнимъ въ краткихъ чертахъ послѣдующія событія. Соціалисты выставляли три главныхъ требованія: личное освобожденіе крестьянъ, передачу въ ихъ собственность всей земли, которую они обрабатывали до освобожденія, даромъ или за умѣренное вознагражденіе, и сохраненіе общины, которая въ глазахъ соціалистовъ являлась зерномъ будущаго соціалистическаго строя. Еще до реформы между соціалистами и либералами обнаруживалось разногласіе по вопросу объ отношеніи къ правительству. Въ то время какъ первые постепенно теряли вѣру въ правительство, либералы надѣялись на то, что реформа будетъ осуществлена царемъ. Когда, наконецъ, день 19-го февраля принесъ давно жданную вѣсть объ освобожденіи крестьянъ, реформа не удовлетворила оппозиціонныя партіи. Крестьянамъ досталась не вся обрабатываемая ими земля, которая во многихъ мѣстахъ была значительно урѣзана въ пользу помѣщиковъ. Кромѣ того выкупные платежи ложились

большей тяжестью на крестьянъ, чѣмъ прежніе оброки. Мѣстами у крестьянъ получилось впечатлѣніе, что положеніе ихъ ухудшилось по сравненію съ предшествовавшимъ временемъ крѣпостничества, потому что земли у нихъ стало меньше, а платить приходилось больше. Чтобы обезпечить поступленіе платежей въ казну, крестьянамъ запрещено было покидать свои надѣлы, и они остались такимъ образомъ прикрѣпленными къ землѣ. Съ этого момента до нашихъ дней не прекращалось недовольство крестьянства, продолжающаго жить мечтой о томъ, что земля вся цѣликомъ принадлежитъ ему и рано или поздно должна стать его собственностью. Съ этого момента до нашихъ дней аграрный вопросъ остается неразрѣшенной проблемой. Уже тотчасъ послѣ опубликованія манифеста начались аграрныя волненія, которыя подавлялись силой, иногда жестокими мѣрами.

Если крестьянство не было удовлетворено реформой, то еще менѣе были довольны интеллигентскія оппозиціонныя группы. Либералы не только находили неудовлетворительнымъ самое освобожденіе крестьянъ въ томъ видѣ, какъ оно было выполнено 19-го февраля. Они требовали реформы государственнаго строя на конституціонныхъ началахъ, что, по ихъ мнѣнію, являлось логическимъ слѣдствіемъ даже неполной реформы, похоронившей старый сословный и бюрократическій строй. Офицеры организовали тайное общество, выпустившее три номера газеты „Великоруссъ". Послѣдній номеръ, которымъ закончилось существованіе газеты, заключалъ въ себѣ адресъ императору Александру II. Авторы адреса просили о созывѣ „представителей русской націи, чтобы они составили конституцію для Россіи". Далѣе авторы адреса требовали доведенія крестьянской реформы до конца, устраненія злоупотребленій во всѣхъ отрасляхъ государственнаго управленія. Адресъ указывалъ на „величайшія бѣд-

ствія“, которыя ждутъ Россію въ случаѣ неисполненія этихъ требованій. Несмотря на радикальный характеръ намѣченныхъ въ немъ реформъ, „Великоруссъ“ не имѣлъ революціоннаго характера. Газета предлагала добиваться осуществленія ихъ мирнымъ путемъ, при помощи подачи всеподданнѣйшаго адреса, рекомендовала удерживать молодежь отъ демонстрацій и самый адресъ предполагала подать тогда, когда большинство публики будетъ подготовлено къ этому и можно будетъ собрать многочисленныя подписи и приступить къ выбору депутатовъ для представленія адреса государю. Адресъ этотъ никогда не удалось подать государю. Именно въ это время усиливается расколъ между либерализмомъ и радикальнымъ соціализмомъ. Въ то время какъ либералы (какъ видно и изъ проекта упомянутаго адреса) стоятъ на конституціонной точкѣ зрѣнія и на почвѣ легальныхъ домогательствъ и ходатайствъ,—вторые все болѣе переходятъ на путь революціонной борьбы, отказываются отъ довѣрія не только правительству, но и либеральному обществу, съ его наполовину дворянскимъ составомъ и недостаточно радикальными требованіями. Главное отличіе либерализма отъ нарождавшагося соціализма заключалось именно въ этомъ отношеніи къ правительству, въ мирномъ характерѣ перваго и революціонной тактикѣ второго. Соціализмъ предполагалъ опереться не на общество, а на „народъ“, который, замѣчаетъ Сватиковъ, понимался тогда въ формѣ крайне отвлеченной. Въ это понятіе входили и войска, и молодежь, и крестьяне. Второе различіе заключалось и въ самой программѣ. Въ либеральныхъ требованіяхъ преобладалъ идеалъ политической свободы, представлявшійся конкретно въ формѣ конституціи, въ соціалистическихъ—съ первыхъ шаговъ движенія преобладаетъ экономическій и соціальный идеалъ, причемъ соціалисты въ своихъ политическихъ требованіяхъ

были республиканцами, не скрывали своего равнодушія къ вопросу о конституціи, осуществленію которой „не слѣдуетъ ни помогать, ни мѣшать“. „Великоруссъ“ былъ выразителемъ либеральныхъ требованій, посланіе „къ молодому поколѣнію“ извѣстнаго поэта М. Л. Михайлова, появившееся тоже осенью 1861 года, было раннимъ выраженіемъ болѣе радикальныхъ требованій. Это посланіе взволновало студенческую молодежь, и безъ того уже оппозиціонно настроенную вслѣдствіе репрессій противъ университетовъ, склонило ее къ радикально-соціалистической программѣ и привело на каторгу его автора. Въ посланіи говорилось о равенствѣ всѣхъ передъ закономъ, въ государственныхъ тягостяхъ, податяхъ и повинностяхъ, о невмѣшательствѣ правительства въ вопросъ объ отмѣнѣ или сохраненіи общины, о контролѣ народа надъ расходованіемъ собранныхъ съ него денегъ. Разойдясь уже въ годъ осуществленія крестьянской реформы, либералы и соціалистически настроенные радикалы продолжали все болѣе расходиться въ своихъ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. Либеральное движеніе выражалось по преимуществу въ подачѣ адресовъ, радикально-соціалистическое — въ образованіи тайныхъ обществъ. На адреса, исходившіе отъ либеральнаго дворянства различныхъ губерній, напримѣръ, тверского и московскаго, правительство отвѣчало прямыми или косвенными репрессіями. Изъ тайныхъ обществъ необходимо упомянуть общество подъ названіемъ „Земля и Воля“ и „Молодую Россію“. Первое въ 1863 году выпустило брошюру подъ заглавіемъ „Что нужно народу?“. Отвѣтомъ служило самое наименованіе общества. Второе произвело особенно сильный переполохъ не только среди правительства, но и среди умѣренно-либеральныхъ группъ общества. Въ своей прокламаціи 1862 года эта революціонная организація призывала къ цареубійству, къ умерщвленію всей

царской фамиліи, объявляла войну не только правительству, но и либераламъ и всѣмъ группамъ, державшимся мирной тактики. Всѣ люди порядка были напуганы появленіемъ этого общества. На него возлагали отвѣтственность за всѣ смуты, между прочимъ за ужасные пожары, истребившіе въ Петербургѣ многочисленныя зданія. Правительство начало жестокія преслѣдованія: члены „Земли и Воли“ и другихъ тайныхъ обществъ вѣшались, разстрѣливались и ссылались въ каторжныя работы. Печать подвергалась гоненіямъ, „Современникъ“ былъ запрещенъ, Чернышевскій сосланъ. Само либеральное общество повернуло вправо подъ вліяніемъ революціонныхъ страховъ, и пропасть, отдѣлявшая русскій либерализмъ отъ соціализма, еще болѣе углубилась. Уже воззваніе „Молодой Россіи“ отказалось отъ стараго дѣленія страны на политической основѣ. Оно дѣлило Россію не на правительство и оппозицію, а клало въ основу экономическій принципъ. Россія, по ихъ мнѣнію, дѣлится на двѣ партіи: въ одной — народъ, въ другой — всѣ имущіе классы. Либеральничающіе собственники хотя и обижены правительствомъ, не дающимъ имъ конституціи взамѣнъ отнятой у нихъ даровой рабочей крестьянской силы, но имущественная партія въ душѣ готова поддерживать существующій политическій строй. И воззваніе требовало кровавой революціи и радикальнаго измѣненія „всѣхъ безъ исключенія основъ современнаго общества“.

Вспыхнувшее въ 1863 году польское возстаніе еще болѣе содѣйствовало дифференціаціи русскаго общества. Соціалисты-радикалы сочувствовали движенію, и между русскими тайными обществами и поляками завязались сношенія. Либералы колебались вначалѣ, но вскорѣ чувство патріотизма взяло верхъ, особенно когда иностранныя державы стали поддерживать возстаніе. Талантливый публицистъ Катковъ, нѣкогда

принадлежавшій къ кружку Бѣлинскаго, сталъ глашатаемъ этихъ патріотическихъ чувствъ. Не только либералы, но и болѣе радикальные круги русскаго общества стали относиться отрицательно къ польскому возстанію, когда руководство имъ оказалось въ рукахъ польскихъ помѣщиковъ и аристократовъ, и Катковъ искусно сумѣлъ поставить вопросъ объ избавленіи крестьянъ отъ помѣщичьяго гнета въ Польшѣ. Кромѣ польскаго возстанія, русское революціонное движеніе задерживалось либеральными реформами правительства. 1-го января 1864 года получило силу закона Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ. Какъ и крестьянская реформа, земское самоуправленіе было проведено въ значительной степени при участіи реакціонныхъ элементовъ и бюрократіи. Достаточно отмѣтить, что первыя два трехлѣтія существованія земства среди гласныхъ было дворянъ 45,5% и 44,9%, а крестьянъ 38,5% и 37,4%, и въ теченіе четверти вѣка сохранялось такое соотношеніе, изъ чего ясно видно, что Положеніе 1864 года менѣе всего имѣло въ виду обезпечить крестьянству вліятельный голосъ въ дѣлахъ мѣстнаго хозяйства. Послѣдовавшая вскорѣ затѣмъ судебная реформа и временныя правила о цензурѣ и печати, нѣсколько облегчившія положеніе послѣдней,—все это ослабляло революціонное движеніе и возбуждало въ либеральныхъ слояхъ общества надежду на скорое введеніе конституціи. Въ особенности земское самоуправленіе представлялось первымъ шагомъ на этомъ пути. Земскія учрежденія представлялись ячейкой, изъ которой вырастетъ земскій соборъ. Несмотря на то, что реформы не вполнѣ удовлетворяли либераловъ, тѣмъ не менѣе онѣ содѣйствовали повороту либеральной части общества вправо и вмѣстѣ съ указанными выше причинами (польское возстаніе, страхъ передъ революціей) еще болѣе содѣйствовали расколу среди русскаго прогрессивнаго

общества. Наконецъ, въ 1866 году совершилось событіе, послѣ котораго правительство окончательно повернуло на реакціонный путь. Одно изъ тайныхъ обществъ организовало покушеніе на императора Александра II, разсчитывая этимъ путемъ вызвать броженіе въ народѣ. Одинъ изъ членовъ организаціи Каракозовъ, произвелъ 4-го апрѣля 1866 года неудачное покушеніе на цареубійство, при чемъ спасеніе государя было приписано крестьянину, и такимъ образомъ покушеніе получило совершенно не тотъ смыслъ, который хотѣли придать ему заговорщики,—желавшіе показать, что оно исходитъ изъ среды народа. Съ этого момента начинается рѣшительная реакція, императорскій рескриптъ 23-го мая 1866 года объявляетъ задачей правительства охрану вѣковыхъ устоевъ общества, религіи и священнаго права собственности противъ революціи, начинаются преслѣдованія печати, репрессіи противъ оппозиціонныхъ общественныхъ дѣятелей, урѣзываются на практикѣ права земствъ.

Таковъ приблизительно былъ ходъ событій съ вступленія на престолъ императора Александра II до конца 60-хъ годовъ. Разсмотримъ вкратцѣ, какъ относился къ нимъ Герценъ. Послѣ смерти Николая I Герценъ обратился къ молодому монарху съ письмомъ, въ которомъ въ пламенныхъ выраженіяхъ призывалъ его „дать свободу русскому слову“ и „смыть съ Россіи позорное пятно крѣпостного состоянія“. Онъ подсказывалъ императору ту либеральную программу, которая ликвидировала бы печальное наслѣдіе николаевской эпохи, эпохи безмолвія и рабства. Въ 1855 г. стала выходить въ Лондонѣ „Полярная Звѣзда“, а въ 1857 г.—„Колоколъ“, и Герценъ становится руководителемъ русскаго общественнаго мнѣнія. Мы уже видѣли, какое огромное вліяніе оказывалъ „Колоколъ“ не только на общество, но и на правительственныя сферы. Освобожденіе крестьянъ съ землею, освобожденіе печати отъ

цензуры, гласный судъ и отмѣна тѣлеснаго наказанія — таковы были минимальныя требованія „Колокола“. Это изданіе не было органомъ революціи. Напротивъ, въ первые годы царствованія Александра II, когда оппозиціонное общество и даже радикальные элементы вѣрили въ благія начинанія правительства, „Колоколъ“ иногда шелъ рука-объ-руку съ правительствомъ, поддерживая тѣ его дѣйствія, которыя соотвѣтствовали либеральнымъ стремленіямъ. И правительство считалось съ „Колоколомъ“. Такъ, коммиссія по вопросу объ освобожденіи крестьянъ принимала въ соображеніе его указанія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Герценъ подвергалъ рѣзкой критикѣ ложные шаги правительства, обличалъ злоупотребленія, отмѣчалъ половинчатый характеръ правительственныхъ начинаній. 19-е февраля 1861 года Герценъ привѣтствовалъ восторженной статьей. Правда, онъ видѣлъ въ крестьянской реформѣ только „первый шагъ“, и ждалъ второго, но онъ заявлялъ, что имя Александра II уже теперь „стоитъ выше всѣхъ его предшественниковъ“, что „ни русскій народъ ни всемірная исторія не забудутъ“ никогда, что онъ „боролся во имя человѣческихъ правъ, во имя состраданія противъ хищной толпы закоснѣлыхъ негодяевъ“. И изъ дали своей ссылки Герценъ привѣтствовалъ императора именемъ „освободителя“. Мы видимъ, что Герценъ принадлежалъ къ умѣренной оппозиціи, и по мѣрѣ того, какъ усиливалось разочарованіе русскаго общества, вліяніе Герцена начало падать, и пропасть между нимъ и радикальными элементами стала углубляться. Еще въ 1860 году изъ кружка Чернышевскаго вышло открытое письмо въ „Колоколѣ“, упрекающее Герцена въ умѣренности и оптимизмѣ и требующее отъ него призыва къ возстанію и къ борьбѣ съ правительствомъ императора Александра II, который „вскорѣ пойдетъ по пути своего отца“. Революціонный манифестъ къ

„Молодой Россіи“ въ 1862 г. окончательно низлагалъ Герцена, какъ руководителя русскаго освободительнаго движенія, въ виду умѣреннаго характера „Колокола“. Одновременно съ радикальными группами на Герцена ополчилась и начавшая торжествовать реакція. Освободительныя стремленія поляковъ были поддержаны „Колоколомъ“, и на Герцена ополчился Катковъ, когда, повернувъ вправо, онъ началъ борьбу съ польскимъ возстаніемъ и русской революціей. Паденію герценовскаго вліянія содѣйствовали появившіяся въ „Колоколѣ“ зажигательныя статьи, поддерживавшія польское возстаніе и звавшія къ насилію. Герценъ помѣстилъ ихъ неохотно, подъ вліяніемъ Бакунина и по настоянію представителей польскаго комитета. Герценъ чувствовалъ, что возстаніе не вызоветъ сочувствія въ Россіи, такъ какъ является дворянскимъ, шляхетскимъ, а не народнымъ возстаніемъ. И, тѣмъ не менѣе, уступая друзьямъ, онъ выступилъ защитникомъ безнадежнаго дѣла. Это усилило позицію Каткова. На Герцена посыпались обвиненія со стороны реакціи, его обвиняли чуть ли не въ принадлежности къ обществу поджигателей. Съ польскимъ возстаніемъ окончилось вліяніе Герцена. Съ переѣздомъ въ Женеву въ 1864 году Герцену пришлось столкнуться съ представителями молодого поколѣнія, посѣщавшими его, и онъ убѣдился, какая глубокая пропасть выросла между нимъ и ими.

Таковъ въ общихъ чертахъ ходъ русскаго общественнаго движенія послѣ смерти императора Николая I и участіе, которое принималъ въ этомъ движеніи Герценъ. Разсмотримъ теперь главныя идеи Герцена во второй заграничный періодъ его литературной дѣятельности. Въ задачу историко-литературнаго обзора не входитъ разсмотрѣніе всѣхъ политическихъ и общественныхъ воззрѣній Герцена. Но необходимо отмѣтить тѣ его идеи, которыя тѣсно связаны съ нашими

общественно-литературными направленіями. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что среди многочисленныхъ колебаній, среди моментовъ отчаянія и горячей вѣры можно выдѣлить три главныя вѣхи, которыя отмѣчаютъ путь развитія общественно-литературной дѣятельности Герцена: во-первыхъ, граничащее съ отчаяніемъ разочарованіе въ западно-европейской культурѣ, въ буржуазномъ строѣ западно-европейской жизни, въ возможности осуществленія соціалистическихъ идеаловъ; во-вторыхъ, близкое къ славянофильству преклоненіе предъ Россіей, ея самобытнымъ укладомъ жизни, прославленіе общины; наконецъ, въ-третьихъ, синтезъ западническихъ и славянофильскихъ идей, легшій въ основу народничества, глубокая вѣра въ то, что Россія призвана осуществить соціалистическій идеалъ, который провозглашенъ въ Европѣ, но котораго ея дряхлѣющее общество не въ силахъ осуществить: русскій народъ и его общинный строй жизни представляетъ собою благородную почву, на которой взойдетъ зерно соціализма, брошенное западно-европейской мыслью. И надъ этими основными настроеніями царитъ то неопредѣленное стремленіе къ свободѣ, та ненависть къ гнету и насилію, та скорбь о поруганномъ человѣческомъ достоинствѣ и о подавленной личности, которыя являлись характерными чертами всѣхъ идеалистовъ, воспитавшихся въ атмосферѣ крѣпостничества и полицейскаго режима николаевской эпохи. Эти идеи—главныя идеи Герцена въ заграничный періодъ его литературной дѣятельности. Онъ не перестаетъ неутомимо повторять ихъ. Въ рѣдкой статьѣ „Колокола“ мы не встрѣтимъ отголосковъ той или другой изъ этихъ идей. Въ статьѣ „Repetitio est mater studiorum“ („Кол.“ 1861, № 107) онъ самъ иронизируетъ надъ тѣмъ, что ему приходится твердить одно и то же. Въ этой статьѣ мы найдемъ сжатую формулу его міровоззрѣнія. „Мысль Запада

легко усвоивается нами—у насъ нѣтъ азіатскаго отвращенія къ наукѣ". Но историческій бытъ Запада для насъ необязателенъ. Мы отдѣлились отъ своего народа и утратили связь съ нимъ. „Его *незападный бытъ* былъ непонятенъ намъ, да и не интересовалъ насъ. Между тѣмъ Западъ коснулся вопросовъ, несовмѣстныхъ съ его государственными формами, и на первый случай срѣзался. И мы вспомнили тутъ особенно ярко, что подъ внѣшними западными формами русскаго государства сохранился какой-то *иной* народный бытъ, основанный на *иномъ понятіи* объ отношеніи человѣка къ *землѣ* и *ближнему*. Труды славянофиловъ подготовили матеріалъ для пониманія,—имъ принадлежитъ честь и слава почина. Они первые поняли, что въ подавленныхъ и дремлющихъ силахъ народа русскаго, въ разъединеніи народа съ государствомъ, въ тѣсныхъ формахъ, сдѣланныхъ не по мѣркѣ, въ которыя попалась русская жизнь, больше, чѣмъ tabula rasa, -задатокъ будущаго развитія. Что же тутъ удивительнаго, что, видя народъ общинный, артельный, съ *своимъ* понятіемъ о правѣ на землю и о круговой порукѣ, живущій въ какомъ-то чужестранномъ государственномъ неустройствѣ, которое ничему не удовлетворяетъ, ни, наконецъ, даже защитѣ границъ, нашлись люди, которые предположили, что этотъ народъ ближе къ осуществленію экономическаго, т.-е. соціальнаго переворота, чѣмъ римско-феодальная, мѣщански-индустріальная Европа? Сказалъ же Христосъ, что богатому Никодиму труднѣе совлечь съ себя стараго Адама, чѣмъ нищему. То, что на Западѣ можетъ совершиться рядомъ катастрофъ, потрясеній, то можетъ развиться въ Россіи на основаніи существующаго. Одинъ фактъ *общиннаго владѣнія землею*... и передѣлежа полей самъ по себѣ оправдываетъ предположеніе, что наша невоздѣланная почва, нашъ черноземъ способнѣе для посѣва зерна, собраннаго съ западныхъ

полей". Въ этомъ отрывкѣ основные элементы общественнаго міросозерцанія Герцена: преклоненіе предъ западной мыслью и наукой, признаніе необходимости соціальнаго переворота, идея самобытнаго развитія русскаго народа, вѣра въ его миссію, основанная, прежде всего, на фактѣ существованія общины, наконецъ мысль о взаимномъ непониманіи между интеллигенціей и народомъ. Изъ этой послѣдней мысли вытекала та опредѣленная идея Герцена, которая дѣлаетъ его родоначальникомъ народничества: интеллигентамъ слѣдуетъ не поучать народъ и не устраивать его счастье, а, напротивъ, учиться у него. Въ другой статьѣ „Мясо освобожденія" („Кол." 1862, № 121) Герценъ нападаетъ на вождей революціи, которые, „желая возстановить свободу народа, для скорости обращались съ нимъ какъ съ матеріаломъ благосостоянія, какъ съ *мясомъ освобожденія*". Вожди, эти „квартальные правъ человѣческихъ" и „Петры I свободы" долго не слыхали, что говоритъ „государь-народъ". Они были увѣрены, что „лучше народъ поучать, чѣмъ учиться у него". Славянофиламъ Герценъ обязанъ идеей самобытности русскаго народа и горячей вѣрой въ его миссію, западникамъ—уваженіемъ къ западной мысли и наукѣ. Самъ онъ своеобразно слилъ и то, и другое въ одно цѣлое и положилъ начало народничеству. Такова схема развитія его общественныхъ воззрѣній. Но и отчаяніе Герцена, и его протестъ противъ мѣщанскаго строя европейской жизни, и его „духовное возвращеніе на родину" (какъ удачно назвалъ послѣдній актъ его душевной драмы С. Н. Булгаковъ) сопровождались потокомъ идей и мыслей, обогатившихъ нашу литературу прекрасными твореніями, къ обзору которыхъ мы теперь обращаемся.

„Съ того берега" была первая книга, изданная Герценомъ на Западѣ. Рядъ статей, составляющихъ ее, былъ написанъ по-русски въ 1848 и 1849 году. Въ

1850 году она произвела много шума въ Германіи. Эта книга — прекрасный памятникъ не только политическо-философской, но и художественной литературы. Чтобы понять это произведеніе, слѣдуетъ вспомнить, послѣ какого страшнаго разгрома пролетаріата и соціализма писалъ Герценъ эти пропитанныя горечью и отчаяніемъ строки. Февральская революція 1848 года была великой попыткой пролетарскихъ массъ осуществить однимъ ударомъ идеалы соціалистическаго строя; за эту мечту рабочіе подставляли подъ пули свои головы на баррикадахъ. Но когда побѣда была одержана, тогда выяснилось, что капиталистическій строй далеко еще не сыгралъ своей роли. На сторонѣ буржуазіи была организація. Она крѣпко держала въ своихъ рукахъ нити экономической жизни, армію и пушки. Она провела своихъ представителей въ составъ временнаго правительства. Еще не было реальной почвы для существованія національныхъ мастерскихъ, которыя были неохотно открыты правительствомъ въ уступку соціалистическимъ требованіямъ. И когда послѣ закрытія этихъ мастерскихъ, около которыхъ кормились безработные, пролетаріатъ возсталъ съ цѣлью вырвать власть изъ рукъ буржуазнаго правительства,—тогда кровавые іюньскіе дни показали, какъ преувеличена была вѣра пролетаріата въ наступленіе трудового царства на землѣ. Четыре дня лилась кровь на улицахъ Парижа, тысячи рабочихъ пали жертвой этой вѣры, на четвертый день, 26-го іюня, возстаніе было подавлено, и буржуазія снова закрѣпила свою власть надъ трудящимися классами.

Первое чувство Герцена было безысходное отчаяніе. Сразу были опрокинуты надежды всей жизни, вѣра въ Западъ, въ человѣчество. „Съ того берега“ даетъ яркую картину этого отчаянія, безсильной злобы и жажды мести. „Вечеромъ 26-го іюня мы услышали послѣ побѣды National'я надъ Парижемъ правильные

залпы, съ небольшими разстановками... Мы всѣ взглянули другъ на друга, у всѣхъ лица были зеленыя... „Вѣдь это разстрѣливаютъ“,—сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ стеклу окна. За такія минуты ненавидятъ десятъ лѣтъ, мстятъ всю жизнь. — Горе тѣмъ, кто прощаетъ такія минуты!“ Герценъ не видитъ элементовъ, на которые можно было бы опереться, не видитъ силъ, которыя выкуютъ новую жизнь. „Проклятіе тебѣ, годъ крови и безумія, годъ торжествующей пошлости, звѣрства, тупоумія!“—обращается онъ къ истекшему 1849 г. „До какого времени слезъ и отчаянія мы дожили!.. Послѣдняя надежда, которая согрѣвала, поддерживала, надежда на месть — на месть безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что въ груди у современнаго человѣка есть сердце,—исчезаетъ; душа осталась безъ зеленаго листа, все облетѣло... и все затихло... мгла и холодъ распространяются... только порой топоръ палача стукнетъ, падая; да пуля, тоже палача, просвищетъ, отыскивая благородную грудь юноши, разстрѣливаемаго за то, что онъ вѣрилъ въ человѣчество“.

Это первое чувство отчаянія и злобы, которое наполняетъ письма „Съ того берега“, начинаетъ постепенно принимать болѣе ясныя формы. Герценъ разбирается въ ошибкахъ прошлаго и старается установить пути будущаго. Онъ останавливается на двухъ теченіяхъ, которыя несли знамя революціи,—на либерализмѣ и утопическомъ соціализмѣ. Въ его горькихъ упрекахъ этимъ теченіямъ слышится голосъ замѣчательнаго политическаго мыслителя, который набросалъ яркую картину соціальной борьбы, развертывавшейся въ Европѣ, и правильно опредѣлилъ роли каждой изъ борющихся группъ. Герценъ указываетъ на то, что либерализмъ является освободительнымъ движеніемъ буржуазіи, которая не дойдетъ въ этомъ направленіи

до конца. Либералы хотятъ кружковой, а не общенародной свободы, они освободители, пока дѣло касается освобожденія всего, что дорого образованному классу. Но они реакціонеры, когда видятъ, что чувство свободы овладѣваетъ массами и опасность угрожаетъ „современной цивилизаціи, образу жизни, религіи, условной нравственности". Они долго „шутили съ идеей революціи—и дошутились до 24-го февраля". Народный ураганъ вознесъ ихъ на вершину колокольни и указалъ имъ, куда они идутъ и куда ведутъ другихъ; посмотрѣвши на открывавшуюся передъ ними пропасть, они поблѣднѣли. Люди, провозглашавшіе республику, сдѣлались палачами свободы. Прежніе либералы стали ретроградами, измѣнниками, инквизиторами. „Либералы всѣхъ странъ со времени реставраціи звали народы на низверженіе монархически-феодальнаго устройства во имя равенства, во имя слезъ несчастнаго, во имя страданій притѣсненнаго, во имя голода неимущаго. Они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись, наконецъ, что перешли собственныя желанія. Они опомнились, когда изъ-за полуразрушенныхъ стѣнъ явился – не въ книгахъ, не въ парламентской болтовнѣ, не въ филантропическихъ разглагольствованіяхъ, а на самомъ дѣлѣ – пролетарій, работникъ съ топоромъ и черными руками, голодный и едва одѣтый рубищемъ. Этотъ „несчастный, обдѣленный братъ", о которомъ столько говорили, котораго такъ жалѣли, спросилъ, наконецъ, гдѣ же его доля во всѣхъ благахъ, въ чемъ *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступомъ улицы Парижа, покрыли ихъ трупами и спрятались отъ *брата* за штыками осаднаго положенія, спасая цивилизацію и порядокъ".

Таково отношеніе Герцена къ европейскому либерализму: великая французская революція была бур-

жуазной революціей; уничтоживъ феодально-монархическую Европу, она создала новый гнетъ въ лицѣ мѣщанско-буржуазной Европы. Она умираетъ. Не ей выполнить великое дѣло освобожденія человѣчества. Въ ней „всѣ побѣждены, все побѣждено, а побѣдителя нѣтъ“. Старая Европа не въ силахъ „обновить свою остывающую кровь и броситься стремглавъ въ это необозримое будущее, куда увлекаетъ ее необозримая сила“. Великое значеніе книги „Съ того берега“ заключается не только въ геніальномъ пониманіи историческаго момента; протестъ противъ буржуазной Европы 1848 года превратился здѣсь въ неотразимую критику мѣщанства вообще. Въ злобѣ дня Герценъ сумѣлъ уловить неумирающія основы. Изъ преходящихъ событій минуты онъ извлекъ вѣчные уроки, и его краткій блещущій парадоксами памфлетъ надолго останется лучшимъ выраженіемъ горечи и ненависти современнаго человѣчества, бьющагося въ тискахъ торжествующаго мѣщанства. Онъ былъ смертнымъ приговоромъ не только отжившему политическому строю, но и соціальному строю, который обреченъ на гибель, но который еще крѣпко цѣпляется за жизнь. Въ книгѣ Ч. Вѣтринскаго (Герценъ. Спб. 1908) приведенъ интересный разсказъ Мальвиды ф.-Мейзенбургъ, участницы освободительнаго движенія въ Германіи, свидѣтельствующій о томъ, что вдохновенный протестъ Герцена вливалъ могучія силы во все, что рвалось къ лучшему будущему и бросалось на бой съ старымъ отживающимъ міромъ. „Огневой потокъ живого чувства, страсти и страданія, жгучая любовь, неумолимая логика, ѣдкая сатира, холодное презрѣніе, подъ которымъ кроется разочарованіе вѣрующаго, стоическое самоотреченіе и полный отчаянія скептицизмъ,—все это бурно хлынуло на меня со страницъ этой книги, разбудило въ душѣ моей тысячеголосые отзвуки и озарило безжалостнымъ свѣтомъ истины и

разлагающимъ пламенемъ критики все недавно пережитое—отъ весеннихъ надеждъ февраля и марта 1848 г. вплоть до событій въ Вѣнѣ и до 2-го декабря 1852 г. съ его свитой рѣзни, тюремъ, каторги. Какъ поразило меня это отраженіе нашихъ собственныхъ разрушенныхъ идеаловъ и желаній, нашихъ собственныхъ безнадежности и покорности—въ душѣ русскаго!.. Еще больше поражала въ книгѣ смѣлость и сила мыслителя, который, въ противоположность большинству, послѣ столькихъ разочарованій, не сталъ тѣшиться революціонными иллюзіями и смѣло погрузилъ насъ въ самую рану, примѣнилъ горькія истины историческаго развитія къ оцѣнкѣ и нашихъ ошибочныхъ надеждъ и напрямикъ, безъ фразъ опредѣлилъ причину неудачи".

„Съ того берега"—книга разочарованія, за которой скрывается глубокая вѣра въ соціализмъ. „Письмо къ Мишле"—самое яркое изъ ряда произведеній („Крещеная собственность", „Старый міръ и Россія", „Концы и начала" и другія), въ которыхъ Герценъ выступаетъ родоначальникомъ народничества, полуславянофиломъ, съ горячей вѣрой въ то, что именно русскому народу предстоитъ осуществить идеалы соціализма, оказавшіеся не подъ силу Европѣ. Письмо къ Мишле носитъ названіе „Русскій народъ и соціализмъ". Оно было напечатано въ 1851 году. Оно было отвѣтомъ на статью Мишле, появившуюся въ L'Evenement. Отвѣчая на нападки Мишле, Герценъ беретъ подъ свою защиту русскій народъ. Главныя идеи „Письма" слѣдующія. Славянскій міръ, несмотря на русско-польскія отношенія и на взаимную вражду отдѣльныхъ славянскихъ племенъ, не такъ разнороденъ, какъ кажется. И подъ властью турокъ, и подъ „благословеніемъ черногорскаго владыки", и въ византійской Россіи, и подъ бюрократическимъ ярмомъ Австріи живетъ народъ физіологически и этнографически тожествен-

ный. Россія является „зерномъ кристаллизаціи, тѣмъ центромъ, къ которому тяготѣетъ стремящійся къ единству славянскій міръ, и это тѣмъ болѣе, что Россія покуда единственная часть великаго племени, сложившаяся въ сильное и независимое государство“. Другая важная идея этой статьи — мысль о коммунизмѣ, какъ основномъ вопросѣ столѣтія. „Развѣ въ XIX столѣтіи есть какой-нибудь серьезный интересъ, лежащій внѣ вопроса о коммунизмѣ, внѣ вопроса о раздѣлѣ земли“. Изъ этой идеи вытекаетъ та, которую можно считать итогомъ соціальныхъ чаяній Герцена. Русскій народъ—общинникъ по природѣ, община—залогъ его великой роли въ осуществленіи коммунистическаго строя. „Жизнь русскаго народа до сихъ поръ ограничивалась общиной; только въ отношеніи къ общинѣ и ея членамъ признаетъ онъ за собою права и обязанности. Внѣ общины ему все кажется основаннымъ на насиліи... Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства и отъ императорской цивилизаціи, отъ выкрашенныхъ по-европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи. Общинная организація, хотя и сильно потрясенная, устояла противъ вмѣшательства власти; она благополучно дожила *до развитія соціализма въ Европѣ*“. Поэтому русское правительство такъ боится освобожденія крестьянъ, и при всемъ своемъ всемогуществѣ, при полномъ порабощеніи всѣхъ общественныхъ силъ оно чувствуетъ тревогу: „на мѣсто либерализма, который императоръ Николай гналъ съ ожесточеніемъ“, совершенно напраснымъ, потому что „этотъ экзотическій цвѣтокъ не можетъ укорениться на русской почвѣ, встаетъ другой вопросъ, грозный какъ громовая туча“. Правительство поняло, что освобожденіе крестьянъ сопряжено съ освобожденіемъ земли; что „освобожденіе земли, въ свою очередь, начало соціальной революціи, провозглашеніе сельскаго коммунизма“. Наконецъ, изъ этихъ

идей вытекаетъ преклоненіе передъ русскимъ крестьяниномъ, то преклоненіе, которое долго служило одушевляющимъ стимуломъ крупнаго литературнаго направленія. Не интеллигенція, а именно крестьянинъ совершитъ эту соціальную революцію. Образованные классы, прошедшіе черезъ западную цивилизацію,— только „закваска, посредники между русскимъ народомъ и революціонной Европой". И Герценъ восторженно восклицаетъ: „Человѣкъ будущаго въ Россіи — *мужикъ*, точно такъ же, какъ во Франціи—работникъ". Отъ этой сжатой формулы могутъ и въ наше время вести исторію своего возникновенія двѣ главныя соціалистическія партіи: соціалъ-демократы съ ихъ тяготѣніемъ къ „работнику" и соц.-революціонеры съ ихъ вѣрой въ крестьянскій классъ. Въ дальнѣйшемъ развитіи своихъ мыслей Герценъ выступаетъ апологетомъ этого мужика, онъ склоненъ къ идеализаціи его быта и вѣрованій, столь типичной для будущихъ народниковъ: крестьяне рѣдко обманываютъ другъ друга; между ними господствуетъ почти неограниченное довѣріе, они не знаютъ контрактовъ и письменныхъ условій; семейный бытъ у нихъ сильно развитъ и т. д. „Письмо" пестритъ этими похвалами крестьянству. Таковы основныя идеи статьи „Русскій народъ и соціализмъ". Послѣдующія представляютъ только дальнѣйшее развитіе этихъ идей. Въ „Крещеной собственности" мы слышимъ тревогу за неприкосновенность общины. Коснуться ея — это значитъ отдать русскій народъ, связанный по рукамъ и ногамъ, помѣщику и полиціи. Такое покушеніе было бы преступленіемъ въ то время, „когда Европа оплакиваетъ свое раздробленіе полей и всѣми силами стремится къ какому-нибудь общинному устройству". Артель — лучшее доказательство „естественнаго безотчетнаго сочувствія славянъ съ соціализмомъ".

Намъ остается упомянуть о послѣдней стадіи въ

развитіи идей Герцена. Это моментъ грусти и тоски, вернувшихся къ нему въ послѣдніе годы жизни. Послѣ польскаго возстанія, торжества реакціи въ Россіи, разрыва съ молодежью и паденія „Колокола“ Герценъ посвятилъ свой досугъ „Былому и Думамъ“ и философскимъ размышленіямъ. Онъ подвелъ грустные итоги своимъ мечтамъ и вѣрованіямъ. Онъ видѣлъ, что осуществленіе ихъ отдалилось въ неопредѣленное будущее, и его вѣра была снова поколеблена, всѣ пути къ счастью родины снова показались сомнительными и длинными. Не разъ возникалъ вопросъ, почему Герценъ среди многочисленныхъ системъ Запада, въ которыя онъ углублялся, не остановился внимательно на одномъ ученіи, которому предстояла такая великая роль въ исторіи умственнаго развитія европейскаго общества. Когда Герценъ писалъ свои полныя отчаянія письма „Съ того берега“, въ это время „Коммунистическій манифестъ“ Маркса уже переводился на всѣ языки, озарялъ новымъ свѣтомъ соціальныя отношенія въ европейскомъ обществѣ. Въ этихъ двухъ твореніяхъ есть немало точекъ соприкосновенія — одинаково могучая критика буржуазіи, одинаково вѣрное пониманіе силъ, дѣйствующихъ въ развитіи историческаго процесса. И у Герцена мы находимъ отрицательное отношеніе къ идеалистическому пониманію исторіи, признаніе реальныхъ интересовъ массъ ея главнымъ факторомъ. Что же помѣшало Герцену вступить на путь научнаго соціализма? Почему, разочарованный крушеніемъ утопическихъ идеаловъ, онъ не вступилъ на путь, который диктовался ходомъ вещей, и не остановился на великой системѣ, которая придала соціалистическому движенію новыя силы? Трудно съ увѣренностью отвѣтить на этотъ вопросъ. Въ своей статьѣ о Герценѣ В. Богучарскій (Изъ прошлаго русскаго общества) тщательно изслѣдовалъ этотъ вопросъ. Главной причиной враждебныхъ отношеній Герцена къ

Марксу были личные счеты. Марксъ будто бы пустилъ инсинуаціи и клеветы на друга Герцена Бакунина. Подъ конецъ жизни Герценъ измѣнилъ свое отношеніе къ марксизму. Но едва ли личныя столкновенія могли послужить единственнымъ основаніемъ, почему Герценъ не вступилъ на путь научнаго соціализма. Если Герценъ и не былъ знакомъ съ сочиненіями Маркса, то, во всякомъ случаѣ, такой крупный соціальный умъ не могъ не уловить его идей и не погрузиться въ ихъ изученіе, если бы онъ обладалъ предрасположеніемъ къ нимъ. Намъ кажется, что въ ученіи Маркса, которое въ своемъ конечномъ логическомъ выводѣ приводитъ къ полному отрицанію значенія личности, исчезающей за реальнымъ интересомъ класса, было что-то чуждое и враждебное всему духовному складу Герцена, для котораго проблема личности никогда не исчезла и даже въ моменты его высшаго увлеченія соціальнымъ вопросомъ сохранила свое мѣсто въ его міровоззрѣніи. Что Герценъ могъ знать и слышать объ идеяхъ Маркса хотя бы изъ устъ своихъ друзей, показываютъ письма Бакунина къ Герцену. Изъ этихъ писемъ видно, что не одни личные счеты отдѣляли друзей Герцена отъ марксистовъ. „Марксъ,—пишетъ въ 1869 г. Бакунинъ („Письма М. А. Бакунина къ Герцену и Огареву". Спб. 1907 г., стр. 333),—несомнѣнно полезный человѣкъ въ Интернаціональномъ обществѣ. Онъ въ немъ еще до сихъ поръ одинъ изъ самыхъ твердыхъ, умныхъ и вліятельныхъ опоръ соціализма, одна изъ самыхъ сильныхъ преградъ противъ вторженія въ него какихъ бы то ни было буржуазныхъ направленій и помысловъ. И я никогда не простилъ бы себѣ, если бы, для удовлетворенія личной мести, я уничтожилъ или даже уменьшилъ его несомнѣнно благодѣтельное вліяніе. А можетъ случиться, и, вѣроятно, случится, что мнѣ скоро придется вступить съ нимъ въ борьбу, *не за личную обиду, а по во-*

просу о принципѣ, по поводу государственнаго коммунизма, котораго онъ и предводительствуемая имъ партія, англійская и нѣмецкая, горячіе поборники. Ну, тогда будемъ драться не на животъ, а на смерть. Но все въ свое время, теперь же время не пришло".

Какъ бы то ни было, но Герценъ прошелъ мимо научнаго соціализма, хотя не разъ близко подходилъ къ его идеямъ. Лучшимъ памятникомъ разочарованія, овладѣвшаго имъ въ концѣ жизни, являются его „Письма къ старому товарищу", подъ которымъ разумѣлся Бакунинъ. Въ этихъ письмахъ итоги всей жизни, „соціально-политическое завѣщаніе Герцена" (по выраженію Ч. Вѣтринскаго). Герценъ особенно рѣзко подчеркиваетъ теперь ту мысль, что не „начала и теоріи", а „методы, практика и оцѣнка силъ, средствъ и времени" — главная причина разногласія у тѣхъ, у кого „конечное разрѣшеніе одно". Главнымъ тормазомъ къ достиженію желаннаго идеала является отсутствіе пониманія и знанія у того большинства, которое наиболѣе страдаетъ и стремится выйти изъ своего положенія, въ лицѣ городскихъ рабочихъ, но „удержано старымъ традиціоннымъ міросозерцаніемъ другой и самой многочисленной части"; никакіе перевороты не дадутъ этихъ знаній. 1848 годъ былъ возстаніемъ въ минуту отчаянія и гнѣва людей, спохватившихся „только на баррикадахъ, что у нихъ нѣтъ знамени". Поэтому сплоченный въ одну дружину консервативный міръ раздавилъ это возстаніе. Герценъ не сомнѣвается и теперь, что „исключительному царству капитала и безусловному праву собственности пришелъ конецъ". Но онъ не вѣритъ, что взорвать старый міръ — значитъ создать новый. Послѣдній не можетъ возникнуть на развалинахъ прошлаго, пока нѣтъ для него достаточно твердой почвы. „Подорванный порохомъ весь міръ буржуазный, когда уляжется дымъ и расчистятъ развалины, снова начнетъ съ разными

измѣненіями—*какой-нибудь буржуазный міръ*. Потому, что онъ внутри *не конченъ, и потому еще, что ни міръ построяющій* ни новая организація не настолько готовы, чтобы пополниться, осуществляясь". Всѣ опоры стараго міра еще не расшатаны. Народное сознаніе—фактъ, и съ нимъ слѣдуетъ бороться. Никто не виноватъ въ соціальныхъ нелѣпостяхъ современнаго быта. Надобно смотрѣть проще, физіологичнѣе. „Экономическій переворотъ имѣетъ необъятное преимущество передъ всѣми религіозными и политическими революціями въ трезвости своей основы... По мѣрѣ того, какъ онъ выростаетъ изъ состоянія неопредѣленнаго страданія и недовольства, онъ невольно становится на *реальную почву*". Быть-можетъ, никогда Герценъ такъ близко не подходилъ къ марксизму, какъ въ этихъ посмертныхъ письмахъ. Никогда не смотрѣлъ онъ „физіологичнѣе" на ходъ историческаго процесса, никогда не говорилъ такъ ясно о безплодности личныхъ и идейныхъ усилій, если они не сопровождаются естественнымъ развитіемъ реальныхъ силъ и отношеній. „Обрушивать отвѣтственность за былое и созременное на послѣднихъ представителей „прежней правды", дѣлающейся „настоящей правдой", такъ же нелѣпо, какъ было нелѣпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы". Поэтому и соціализмъ долженъ выйти изъ сферы утопій и фантазій. Пора перестать стыдить собственниковъ ихъ богатствомъ, склонять ихъ „на добровольную бѣдность страшной картиной страданій". Не безнравственность и незаконность собственниковъ слѣдуетъ указывать. Имъ слѣдуетъ доказать, что „нелѣпость контрафорсовъ" обладанія вошла въ сознаніе неимущихъ, въ силу чего оно становится *невозможнымъ*. „Имъ надобно показать, что борьба противъ неотвратимаго—безсмысленное истощеніе силъ и что чѣмъ упорнѣе она и длиннѣе, тѣмъ къ бо́льшимъ потерямъ и гибе-

лямъ она приведетъ". Это — развитіе основной идеи научнаго соціализма, той мысли, что крушеніе капиталистическаго строя неизбѣжно въ силу хода экономическаго развитія, а не въ силу идеальныхъ и нравственныхъ соображеній. Но, становясь на точку зрѣнія научнаго соціализма, Герценъ остается утопистомъ въ томъ смыслѣ, что обращается (если ужъ не къ доброму сердцу), то къ разуму и расчету эксплуатирующихъ классовъ, и подобно Сенъ-Симону и Фурье не возлагаетъ главныхъ надеждъ на силы и организацію эксплуатируемыхъ. Основная идея „Писемъ"-- необходимость продолжительной предварительной работы, необходимость тщательной подготовки массъ. „На неразумѣніи и невѣжествѣ зиждется вся прочность существующаго порядка". Онъ не боится слова „постепенность". Великіе перевороты не дѣлаются разпуздываніемъ дурныхъ страстей. Онъ не вѣритъ „въ серьезность людей, предпочитающихъ ломку и грубую силу развитію и сдѣлкамъ".

Рядомъ съ Бѣлинскимъ Герценъ стоитъ у колыбели новой русской литературно-общественной мысли. Отъ него также можно вести святѣйшія традиціи новѣйшей нашей литературы, съ ея боевымъ пыломъ, съ мощно бьющимся въ ней пульсомъ соціальной и политической жизни, съ мученическимъ вѣнцомъ ея лучшихъ вождей. Мы пережили уже народничество, родоначальникомъ котораго былъ Герценъ, жизнь разбила многія его вѣрованія, община не крѣпла, а рушилась, путь къ соціализму во многомъ пошелъ не по тому направленію, которое рисовалось воображенію Герцена, и, тѣмъ не менѣе, его творенія не утратили своего значенія. Разныя проблемы основного соціальнаго вопроса охвачены въ нихъ оригинальнымъ и великимъ, хотя и нетерпѣливымъ, умомъ. Будущее исправитъ не одну ошибку Герцена, но оно долго будетъ питаться его идеями. Его жизнь была драмой,

исторія его мысли - трагедіей. Русская общественная мысль только что расправляла свои крылья, когда онъ началъ писать, и въ пламенномъ стремленіи нетерпѣливаго духа разобраться въ наплывѣ идей, которыя рождали и дѣйствительность, и западная философія, въ поспѣшномъ желаніи примѣнить къ первой вторую заключался источникъ страданій и Бѣлинскаго, и Герцена. Гоненія николаевской полиціи были для этихъ людей ничтожными уколами по сравненію съ неустанными преслѣдованіями ихъ собственнаго пытливаго духа.

Бѣлинскій и Герценъ воплотили въ своемъ лицѣ работу общественной мысли, проснувшейся въ 30-е годы истекшаго вѣка. Знакомство съ сомнѣніями и колебаніями, пережитыми ими, а вмѣстѣ съ ними и русскимъ обществомъ, поможетъ намъ глубже заглянуть во внутренній міръ героевъ, которыхъ начала съ этихъ поръ выводить русская художественная литература.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТДѢЛЪ I.

Николаевская эпоха.—Западныя вліянія: сенсимонизмъ и гегеліанство.—Бѣлинскій.

Стр.

I. Николаевская эпоха.—Основной принципъ правительственной системы. — Бюрократія.— Чиновничество, церковь, армія, внѣшняя политика Россіи. — Общество. —Теоретическое обоснованіе системы офиціальной народности.—Формула: православіе, самодержавіе, народность.—Прогрессивные элементы.—Наука.—Графъ Уваровъ.—Положеніе университетовъ. -Культурная роль университетовъ: Грановскій.—Положеніе литературы 5

II. Западныя вліянія.—Различіе историческихъ условій, вліявшихъ на развитіе общественной мысли въ Германіи и во Франціи. — Нѣмецкая метафизическая философія.—Лоокъ и Юмъ.—Кантъ и его ученіе о познаніи.—Фихте.—Шеллингъ.=Гегель.—Абсолютная идея и діалектическій методъ; гегеліанство и дѣйствительность. 26

III. Сенъ-Симонъ.—Его ученіе: отношеніе къ наукѣ и къ религіи, къ рабочимъ и предпринимателямъ. — Попытка примиренія религіи и науки. — Защита промышленнаго строя.—Фурье и организація фаланги. -Жоржъ-Сандъ.—Романы, въ которыхъ рѣшается семейный вопросъ: „Индіана“ и „Жакъ“.—Соціальные романы: „Грѣхъ г. Антуана“.—Идеализація деревни. 55

Стр.

IV. Бѣлинскій. — Дѣтство. — Школа. — Университетъ. — Юношеская трагедія „Дмитрій Калининъ". — Вліяніе Надеждина. — Кружки. — Станкевичъ. — Вопросъ о „переворотѣ" въ направленіи Бѣлинскаго по переѣздѣ въ Петербургъ. — Начало славянофильства. — Послѣдніе годы жизни Бѣлинскаго 74

ОТДѢЛЪ II.

Три главныхъ направленія въ русской литературѣ 40-хъ годовъ: офиціальная народность, славянофильство и западничество. — Булгаринъ. — Хомяковъ, Кирѣевскіе, Аксаковъ. — Чаадаевъ. — Бѣлинскій.

V. „Литературныя мечтанія". — Основная точка зрѣнія Бѣлинскаго въ этой статьѣ. — Взгляды на народъ, на офиціальную дѣйствительность, на русскую исторію, на прошлое русской литературы, на искусство. — Общественный элементъ въ „Литературныхъ мечтаніяхъ". — Либерализмъ и соціализмъ 91

VI. Періодъ „фихтіанства". — Культъ „я" въ этотъ періодъ. — Статья о системѣ нравственной философіи Дроздова, какъ отраженіе этого періода. — Главныя мысли этой статьи: преклоненіе предъ апріорнымъ методомъ познанія и отрицаніе эмпирическаго метода; сознаніе, какъ основа нравственности; безпрерывное совершенствованіе субъекта, какъ основная задача человѣка. — Гегеліанскій періодъ. — Діалектическій методъ и „разумная дѣйствительность" — главныя гегеліанскія идеи, воспринятыя Бѣлинскимъ. — Вопросъ о томъ, правильно ли понялъ Бѣлинскій Гегеля. — Идеализація николаевскаго режима въ письмахъ этого періода. — Статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцелѣ, какъ отраженіе гегеліанскаго періода. — Политическія и эстетическія идеи, высказанныя въ этихъ статьяхъ 112

VII. Причины, обусловившія „переломъ" въ міросозерцаніи Бѣлинскаго. — Критика кружка, пробужденіе общественныхъ интересовъ, нападки на дѣйствительность николаевской эпохи и на отвлеченную философію. — Главные представители, органы и писатели-художники направленія офиціальной народности. — Отно-

Стр.

шенія между славянофилами и западниками.—Главные представители и органы славянофильскаго направленія. — Міросозерцаніе славянофиловъ.—Связь ихъ основной идеи съ ученіемъ Шеллинга.—Мистическое представленіе о народѣ.—Историческія воззрѣнія славянофиловъ: различіе между ходомъ европейской и ходомъ русской исторіи, идеализація русской старины, взглядъ на петровскую реформу.—Православіе, самодержавіе и народность съ славянофильской точки зрѣнія.—Заслуги школы и отрицательныя стороны ея вліянія 136

VIII. Западничество, его органы и представители. — Чаадаевъ.—Европейская реакція и мистицизмъ.—„Философическія письма".—Европа и Россія и сравнительная оцѣнка ихъ прошлаго и настоящаго у Чаадаева.—Его отношеніе къ славянофильству, западничеству и офиціальной Россіи.—Чаадаевъ и освободительное движеніе 163

IX. Міросозерцаніе Бѣлинскаго въ 40-хъ годахъ.—Переходъ къ реальной, научно - позитивной точкѣ зрѣнія.—Приложенія этой точки зрѣнія къ исторіи, къ ученію о національности и народѣ и къ общественнымъ вопросамъ.—Эстетическія воззрѣнія.—Главныя идеи натурализма: вѣрное изображеніе дѣйствительности, анализъ ея, общественная роль искусства, отношеніе поэта къ изображаемому, чистое и тенденціозное искусство, защита угнетенныхъ.—Бѣлинскій и офиціальное народничество.—Бѣлинскій и славянофилы.—Бѣлинскій и передовая литература.—Бѣлинскій въ исторіи русской мысли. 180

ОТДѢЛЪ III.

Герценъ.

X. Бѣлинскій и Герценъ. — Обстановка, въ которой совершалось развитіе Герцена.—Дѣтская въ барскомъ домѣ.—Слуги и народъ.—Деревня и природа.—Императоръ Николай и Герценъ.—Впечатлѣніе декабрьскаго бунта.— Огаревъ.— Университетъ.— Ссылка.—Литературныя отношенія Герцена въ 40-хъ годахъ.—За границей.—Разочарованіе послѣ 1848 года—„Колоколъ".—Заключеніе 206

Стр.

XI. Первый періодъ литературной дѣятельности Герцена.— Индивидуалистическая точка зрѣнія. — Страданія личности и защита ея правъ.—Главныя мысли статьи „По поводу одной драмы": личное и общее.— „Сорока-воровка", „Докторъ Круповъ" и „Кто виноватъ".— Типъ Бельтова и его значеніе. — Идеи реализма и защита научнаго метода въ статьѣ „Дилеттантизмъ въ наукѣ" и въ другихъ статьяхъ этого періода 234

XII. Послѣдніе годы николаевскаго царствованія.— Начало реформъ императора Александра II. — Правительство и общество въ эпоху реформъ. — Тайныя общества. —Реакція. — Литературная дѣятельность Герцена за границей и главныя идеи его въ теченіе этого періода. - „Съ того берега".—„Русскій народъ и соціализмъ". — „Письма къ старому товарищу".— Заключеніе 261

Указатель источниковъ.

Полное собраніе сочиненій *Бѣлинскаго*. Подъ редакціей и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Т. I—VIII. Спб. 1900—1907 гг.

Сочиненія *Бѣлинскаго*. Съ портретомъ и собраніемъ писемъ автора, гравюрой съ картины Наумова и статьей А. М. Скабичевскаго. Т. I—IV. Спб. 1906—1907 гг.

В. Г. Бѣлинскій. Избранныя сочиненія. Съ пред. и вступительн. статьей Н. Котляревскаго. Въ двухъ томахъ. Спб. 1898 г.

А. Н. Пыпинъ. Характеристики литературныхъ мнѣній отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ. Изданіе 3-е. Спб. 1906 г.

А. Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Изд. 2-е. Спб. 1908 г.

С. А. Венгеровъ. Эпоха Бѣлинскаго. Спб. 1905 г.

Его же. Очерки по ист. русск. литературы. Спб. 1907 г.

В. А. Мякотинъ. Изъ исторіи русскаго общества.

Мих. Лемке Николаевскіе жандармы. Спб. 1908 г.

Его же. Очерки по ист. русской цензуры. Спб. 1904 г.

В. А. Никитенко. Моя повѣсть о самомъ себѣ. Т. I — II. Спб. 1905 г.

А. К. Бороздинъ. Литерат. характеристики. Т. I - II. Спб. 1903 1907 гг.

А. И. Кирпичниковъ. Очерки по исторіи новой русской лит. Т. I—II. Изд. 2-е. Москва. 1903 г.

Исторія Россіи въ XIX в. Изд. Т-ва бр. А. и И. Гранатъ, въ особенности статьи. *Сакулина*, О русской литературѣ, и *И. И. Бороздина*, Университеты въ Россіи въ первой половинѣ XIX вѣка.

Ч. Вѣтринскій. Грановскій и его время. Изд. 2-е. Спб. 1905 г.

В. М. Семевскій. Изъ исторіи общественныхъ движеній въ Россіи въ концѣ 1840 годовъ.

С. Г. Сватиковъ. Общественное движеніе въ Россіи. Ростовъ-на-Дону. 1905 г.

А. Тунъ. Исторія революціонныхъ движеній въ Россіи.

П. Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи. Изд. 2-е. Спб. 1903 г.

Бельтовъ. За двадцать лѣтъ. Спб. 1905 г.

Ивановъ-Разумникъ. Исторія русской общественной мысли. Т. I—II. 1907 г.

В. Богучарскій. Изъ прошлаго русскаго общества. Спб. 1904 г.

Туганъ-Барановскій. Очерки изъ исторіи новѣйшей политической экономіи. Спб. 1906 г.

Виппперъ. Общественныя ученія и историческія теоріи XVIII и XIX вв.

Жоржъ-Сандъ. Романы, особенно „Le péché de monsieur Antoine".

В. Виндельбандъ. Исторія новой философіи. Т. II. Отъ Канта къ Ницше. Спб. 1905 г.

Куно-Фишеръ. Исторія новой философіи. Пер. подъ ред. Н. О. Лосскаго.

В. Вундтъ. Введеніе въ философію. Пер. С. Штейнберга и С. Львова. Спб. 1902 г.

А. Шаховъ. Гете и его время. Изд. 3-е. Спб. 1908 г.

Кронеберъ. Философія Канта и ея значеніе въ исторіи мысли. Спб. 1898 г.

Кэрдъ. Гегель. Съ статьями кн. Трубецкого и Вл. Соловьева. М. 1898 г.

М. Гершензонъ. П. Я. Чаадаевъ. Жизнь и мышленіе. Спб. 1908 г.

Сочиненія *А. И. Герцена,* въ 11 томахъ. Genève—Bale-Lyon.

Сочиненія *А. И. Герцена* и переписка съ Н. А. Захарьиной. Т. I—VII. Спб. 1906 г.

А. Діесперовъ. А. И. Герценъ.

Письма *М. А. Бакунина* къ Герцену и Огареву. Спб. 1907 г.

Ч. Вѣтринскій. Герценъ. Спб. 1908 г.

Ч. Вѣтринскій. Въ сороковыхъ годахъ. М. 1899 г.

В. П. Батуринскій. А. И. Герценъ, его друзья и знакомые. Т. I. Спб. 1904 г.

С. П. Булгаковъ. Душевная драма Герцена. Кіевъ. 1905 г.

Книгоиздательство „ЗАРЯ“

Москва, кн. маг. „Сотрудникъ Провинціи“, уг. Тверского бул. и М. Бронной, Тел. 27-96.

П. Коганъ. Очерки по исторіи древнихъ литературъ. Т. I. *Греческая литература.* Изданіе II. Ц. 1 р. 25 к.

— Очерки по исторіи западно европейск. литературъ. Т. I. В. I. *Средніе вѣка, Данте. Эпоха Возрожденія. Сервантесъ. Шекспиръ. Ложноклассн. направл. и начало націонализма. Мильтонъ. Локкъ. Корнель. Мольеръ. Просвѣтительн. и сантиментальн. направленіе. Нѣмецк. литература въ XVIII в. Лессингъ. Гёте. Шиллеръ. Романтизмъ и поэзія „міровой скорби“. Новалисъ. Байронъ.* Изд. VI. Ц. 1 р. 50 к.

— Очерки по исторіи западно европейск. литературъ. Т. III. В. I. *Соціальн. подкладка соврем. поэзіи. Максъ Штирнеръ. Ницше. Ибсенъ. Метерлинкъ. Шницлеръ. О. Уайльдъ.* Изд. II. Ц. 1 р. 25 к.

— Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы. Т. I. В. II. *Кающееся дворянство. Лишніе люди. И. С. Тургеневъ. Л. Н. Толстой. Д. В. Григоровичъ.* Изд. II. Ц. 1 р.

— Очерки по исторіи новѣйш. русск. литературы. Т. III. Современники. В. III. Мистики и богоискатели. *Мережковскій. А. Бѣлый. В. Ивановъ.* Ц. 1 р.

— Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы. Т. III. Современники Вып. I. *Купринъ. Арцыбашевъ. Сологубъ. Юшкевичъ. Телешовъ.* и др. Изд. Ц. 1 р.

П. Коганъ. Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы. Т. I. В. I. *Николаевская эпоха. Западныя вліянія: сенъ-симонизмъ и гегеліанство. Бѣлинскій. Три главныхъ направленія въ русской литературѣ 40-хъ гг.: оффиціальн. народность, славянофильство и западничество. Бумаринъ. Хомяковъ. Кирѣевскіе. Аксаковъ. Чаадаевъ. Герценъ.* Изд. III. Ц. 1 р.

— Бѣлинскій и его время Ц. 70 к.

— Бѣлинскій (Для народа и школъ) Ц. 30 к.

Юмористическая библіотека.

№ 1. **К. Макушинскій.** Веселые разсказы и романтическія исторіи. Пер. *В. Блажеевича.* Ц. 1 р.

№ 2. **Шоломъ Алейхемъ.** Юмористическіе разсказы. Перев. *Я. Данилина.* Ц. 1 р.

№ 3. **Розы и шипы.** Избр. разсказы изъ „Simplicissimus'a". Перев. *С. Бердяева.* Ц. 1 р.

№ 4. **К. Макушинскій.** Романтическія исторіи и „Въ калейдоскопѣ". Пер. *В. Блажеевича.* Ц. 1 р.

№ 5. **Маркъ Твэнъ.** Разсказы. Пер. *Я. Данилина.* Ц. 1 р.

173
172
1

П. Коганъ.

Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Выпускъ II.

v. 1
p7. 2

Изданіе второе

МОСКВА
Книгоиздательство „ЗАРЯ"
1910 г.

Типографія «Общественная Польза». Бол. Тверская-Ямская д. 20.

Предисловіе къ первому изданію.

Настоящій выпускъ представляетъ собою непосредственное продолженіе перваго выпуска „Очерковъ“. Вопреки первоначальному плану, представители чистой поэзіи (Тютчевъ, Фетъ и т. д.) войдутъ въ слѣдующій выпускъ.

Авторъ книги считаетъ своимъ долгомъ выразить глубокую благодарность Владимиру Владимировичу Каллашу, который оказалъ ему содѣйствіе при выполненіи настоящей работы своими цѣнными указаніями и совѣтами.

Май 1909. П. К.

Предисловіе ко второму изданію.

Настоящее второе изданіе печатается съ незначительными поправками и измѣненіями.

Іюнь 1910. П. К.

ОТДѢЛЪ IV.

Кающееся дворянство.—Лишніе люди.—И. С. Тургеневъ.—Л. Н. Толстой.—Д. В. Григоровичъ.

I.

Роль дворянства въ литературѣ 40-хъ и 60-хъ годовъ.—Появленіе разночинца въ литературѣ. — Его происхожденіе и міровоззрѣніе.—Зарожденіе крупной буржуазіи. — Идеологія дворянства и отношеніе писателей-дворянъ къ разночинской идеологіи: Тургеневъ.—Эстетическое направленіе: Тютчевъ, Фетъ и Майковъ.—Изображеніе буржуазіи въ литературѣ: Островскій и Гончаровъ. — Роль разночинцевъ въ исторіи развитія русской литературы.

Главныя общественно - литературныя направленія охарактеризованныя выше, свидѣтельствуютъ о томъ, что русская литература въ 40-хъ и 50-хъ годахъ оставалась по преимуществу дворянской. До декабрьскихъ событій дворянство было единственнымъ классомъ, который могъ руководить политической и умственною жизнью народа. Мы уже видѣли, что послѣ 1825 г. правительство приняло энергичныя мѣры для того, чтобы парализовать умственную жизнь общества Съ другой стороны возникла оффиціальная идеологія, консервативное общественно-литературное направленіе, въ которомъ правительственная система нашла свое философское и литературное выраженіе. Разгромъ декабристовъ пробилъ глубокую брешь въ дворянскомъ классѣ. Лучшіе элементы сословія были выброшены за бортъ, сосланы или запуганы. Реакціонеры подняли голову и почувствовали свою силу. Дворянство, если такъ можно выразиться, разбилось на группы, но при всемъ своемъ различіи эти группы продолжали оставаться впо-

нѣ или въ своихъ преобладающихъ настроеніяхъ дворянскими и послѣ 14-го декабря. Оффиціальное народничество, славянофильство и западничество,—эти три главныхъ теченія 40-хъ годовъ, представители которыхъ сломали столько копій во взаимной борьбѣ,—имѣли одинъ общій признакъ: подавляющее большинство писателей, стоявшихъ во главѣ каждаго изъ этихъ теченій, принадлежало къ дворянскому сословію, и тѣ идеи, которыя они проводили, были вскормлены либо долгой привычкой къ политическому командованію, либо атмосферой усадебной культуры, либо скорбью о начинающемся разложеніи этой культуры. Крѣпостное право, а вмѣстѣ съ нимъ и усадебный бытъ пали въ 60-хъ годахъ, но періодъ между декабрьскимъ бунтомъ и 60-ми годами былъ преддверіемъ новой жизни, предчувствіемъ гибели отживающаго дворянскаго строя. Новыя условія экономической жизни, развитіе мѣнового и денежнаго хозяйства и рядъ другихъ причинъ *) сдѣлали невозможнымъ дальнѣйшее существованіе крѣпостного строя. И разложеніе его давало себя чувствовать задолго до его оффиціальной отмѣны. Какъ всегда бываетъ въ эпохи кризиса, въ моментъ умиранія извѣстной хозяйственной формы жизни, тотъ классъ, который долженъ утратить свое господствующее положеніе, дѣлаетъ послѣднія усилія, чтобы удержать за собою прежнюю роль. Оффиціальная народность была выраженіемъ этихъ усилій дворянства. Глубокая связь, существовавшая между крѣпостнымъ правомъ и идеологіей оффиціальной народности, лучше всего высказалась въ словахъ Уварова, увѣрявшаго, что крѣпост-

---

*) Объ условіяхъ хозяйственной жизни, вызвавшихъ паденіе крѣпостного права, см.: Н. А. Рожковъ, „Экономическое развитіе Россіи въ первой половинѣ XIX в.“ („Ист. Россіи“, изд. Гранатъ).

ное право одно осталось отъ всего, что было „прежде Петра I“, и что оно не можетъ быть тронуто „безъ всеобщаго потрясенія“.

Таково было первое естественное русло, по которому устремилась мысль господствующаго класса, когда смѣна хозяйственныхъ формъ жизни потрясла его господство. Это былъ путь консерватизма, стремленіе спасти то, чего нельзя спасти.

Но, какъ всегда бываетъ въ такія эпохи умиранія, среди господствующей группы оказались и прогрессивные элементы, которые стремились принять участіе въ новой жизни и желали такъ или иначе разрѣшить назрѣвшія новыя задачи. Славянофильство и западничество были выраженіемъ этихъ прогрессивныхъ стремленій. Первое не заключало въ себѣ зерна жизни. Несмотря на прогрессивный характеръ своего ученія, славянофилы могли видѣть русскую жизнь только подъ тѣмъ угломъ зрѣнія, который установился вѣками на основахъ общинно-земледѣльческаго быта. Отвлеченный характеръ ихъ ученія, ихъ идеализмъ, отсутствіе реальныхъ устоевъ въ ихъ идеяхъ,—все это результатъ несоотвѣтствія между ихъ демократическими стремленіями, съ одной стороны, и усадебнымъ бытомъ, въ предѣлахъ котораго они хотѣли осуществить эти стремленія,—съ другой. Нельзя было, съ одной стороны, любить народъ, идеализировать его, желать ему свободы и человѣчески-достойнаго существованія, а съ другой—идеализировать старую православно-монархическую Россію, говорить о смиреніи народа, объ его отвращеніи къ государствованію, объ его индифферентномъ отношеніи къ политической жизни страны. Въ общественномъ смыслѣ славянофильство, его отвлеченная любовь и интересъ къ народу были такимъ же симптомомъ разложенія дворянско-крѣпостническаго строя, какъ и консервативное мракобѣсіе оффиціальнаго народничества.

Зерно жизни, какъ показала послѣдующая исторія, таило въ себѣ только то направленіе, которое носило неточное названіе западничества. Но причиной его жизненности служило то обстоятельство, что оно съ самаго начала стало втягивать въ среду своихъ представителей недворянскіе элементы. Именно—кружки, культивировавшіе это направленіе, послужили каналами, черезъ которые мыслящая часть дворянства совершила переходъ отъ своихъ классовыхъ традицій къ новымъ задачамъ русской общественной мысли. Одинъ фактъ появленія Бѣлинскаго среди дворянской интеллигенціи былъ въ этомъ отношеніи яркимъ показателемъ. Огромное вліяніе, которымъ пользовался этотъ первый великій разночинецъ въ литературѣ, все еще дворянской по настроенію, свидѣтельствовало о томъ, въ какую сторону должна была направиться мыслящая часть дворянства, не желавшая примкнуть къ реакціи или къ славянофильскимъ утопіямъ. Этотъ путь былъ одинъ—сліяніе съ тѣми свѣжими силами, съ тѣми новыми общественными группами, которыя могли разрѣшить проблему, непосильную дворянскому классу. Постепенное торжество разночинскаго элемента и идей, принесенныхъ имъ, составляетъ самое характерное явленіе изучаемой эпохи. Если вначалѣ разночинецъ втягивается въ дворянскую литературу и поддается воздѣйствію дворянской идеологіи, то постепенно разночинскій элементъ усиливается, затѣмъ пріобрѣтаетъ господствующее положеніе и втягиваетъ въ кругъ своихъ идей прогрессивные элементы дворянства. Вотъ почему въ тѣхъ кружкахъ, которые мы встрѣчаемъ въ 40-хъ годахъ, сливаются старыя усадебныя традиціи и новыя демократическія идеи. Первая встрѣча прогрессивныхъ, мыслящихъ дворянъ и разночинцевъ привела къ своеобразной поэзіи, въ которой сенъ-симонизмъ уживался рядомъ съ тайной, а иногда и явной тоской о патріархальныхъ формахъ

крѣпостного быта. Вотъ почему западническое направленіе даже не можетъ быть причислено къ дворянскимъ теченіямъ. Оно завоевывало себѣ все болѣе господствующее положеніе по мѣрѣ освобожденія отъ дворянскихъ традицій и усиленія разночинскаго элемента и новыхъ идей, принесенныхъ разночинцами.

Что такое разночинство? Возникновеніе его вызвано тоже разложеніемъ формъ крѣпостного хозяйства. До паденія этого послѣдняго разночинцы существовали въ литературѣ, но они представляли незначительное меньшинство. Съ паденіемъ крѣпостного права они властно заявляютъ о себѣ. Подъ разночинцами слѣдуетъ разумѣть нечиновную и недворянскую интеллигенцію и ту часть мыслящаго дворянства, которая отрѣшилась отъ своихъ классовыхъ традицій. Только интеллигентный пролетарій органически чувствовалъ необходимость уничтоженія стараго строя отношеній, въ которомъ онъ не находилъ простора для примѣненія своихъ силъ. Бѣлинскій — первая ласточка этой весны. Онъ былъ первымъ яркимъ представителемъ той группы, которой принадлежало ближайшее будущее. Онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи тѣхъ наслѣдственныхъ земель, которыя достались Герцену и другимъ его сверстникамъ. Ему приходилось тяжелымъ трудомъ завоевывать себѣ средства къ существованію. Его знанія и талантъ были его единственнымъ оружіемъ въ борьбѣ за жизнь. Правда, Бѣлинскій не доставилъ еще торжества разночинскому міросозерцанію. Онъ жилъ въ эпоху преобладанія дворянской идеологіи и самъ въ значительной мѣрѣ втягивался въ кругъ идей прогрессивнаго дворянства. Но это не помѣшало ему стать предшественникомъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, которые въ качествѣ представителей разночинской интеллигенціи въ 60-хъ годахъ заняли господствующее положеніе въ литературѣ. У Бельтова („За

двадцать лѣтъ") мы находимъ мѣткую характеристику разночинца. „Жить зря", бродить „разочарованнымъ" безъ всякаго дѣла онъ не можетъ уже потому, что онъ не помѣщикъ, а пролетарій, хотя бы и дворянскаго происхожденія. Онъ долженъ въ потѣ лица своего зарабатывать хлѣбъ свой. Нашъ разночинецъ прежде всего спеціалистъ,—химикъ, механикъ, медикъ, ветеринаръ и т. п. Правда, при современныхъ порядкахъ въ Россіи онъ также часто, почти всегда, оказывается „скованнымъ для дѣйствительности", если только не хочетъ входить со своей совѣстью въ постыдныя сдѣлки. Въ этомъ-то и заключается трагизмъ его положенія, потому-то голова его полна „проклятыхъ" вопросовъ. Но онъ уже не складываетъ рукъ передъ окружающими его препятствіями, онъ смѣется надъ безплоднымъ разочарованіемъ, онъ ищетъ практическаго выхода, стремится передѣлать общественныя отношенія. Поэтому общественные интересы преобладаютъ у него надъ всѣми прочими. Чисто литературные вопросы занимаютъ его сравнительно очень мало. На первыхъ порахъ онъ совершенно отрицалъ эстетику, смѣялся надъ Пушкинымъ, а позднѣе хотя и отказался отъ этихъ крайностей, но восхищался искусствомъ и поэзіей только мимоходомъ, не считая ихъ за настоящее дѣло и предпочитая имъ статьи по общественнымъ вопросамъ и изслѣдованіе народной жизни. Жестоко ошибаются, однако, тѣ, которые считаютъ его „грубымъ матеріалистомъ". Онъ какъ нельзя болѣе далекъ отъ нравственнаго матеріализма. Въ своей нравственности онъ—чистокровный идеалистъ, но его идеализмъ благодаря особенностямъ его общественнаго и историческаго положенія носитъ особенный отпечатокъ. Онъ—протестантъ и борецъ по самому своему положенію. Его вниманіе поглощено борьбой, и ему просто „некогда заниматься словесностью" ради словесности, „боготворить красоту", наслаждаться ис-

кусствомъ. Онъ увлекается той поэзіей, которая „проявляется въ подвигахъ, а не въ словахъ“. И его общественная дѣятельность чрезвычайно богата примѣрами того, что можно назвать поэзіей подвига. Отсюда его пренебреженіе къ отдѣльной рѣчи, его неуклюжій и грубый, иногда неправильный языкъ. Онъ презираетъ философію, не любитъ Гегеля, не знаетъ иностранныхъ языковъ, и все это отличаетъ его отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ, съ которыми онъ сходится только въ одномъ, что такъ же, какъ и они „честенъ мыслью сердцемъ чистъ“.

Таковы были главныя группы, оказавшія вліяніе на развитіе русской литературы въ изучаемую эпоху. Рядомъ съ ними слѣдуетъ отмѣтить появленіе крупной буржуазіи, которая въ эпоху паденія крѣпостного права еще не составляла особаго класса съ специфическими особенностями, свойственными капиталисту нашего времени. Въ то время трудъ и капиталъ еще не стояли враждебно другъ противъ друга, и капиталисты не представляли изъ себя могущественной группы, психика которой въ ея главныхъ основахъ опредѣлялась опасностью пролетарскаго движенія. Въ этой нарождающейся группѣ уже въ изучаемую эпоху обозначались разнородныя теченія. Рядомъ съ образованнымъ купечествомъ выступали самодуры-торговцы. Первые, въ родѣ Боткина, представители крупнаго купечества, желали развитія въ Россіи буржуазіи по примѣру Запада, гдѣ она стояла во главѣ умственной и экономической жизни страны. Они были заражены общимъ идеализмомъ эпохи, склонны были внести поправки въ экономическія отношенія Запада, выражали сочувствіе рабочему классу, но выше всего цѣнили духъ дѣловитости и честнаго предпринимательства и въ его развитіи видѣли выходъ и спасеніе Россіи. Классовыя противорѣчія между трудомъ и капиталомъ еще не были ясны, и потому представители

образованнаго купечества еще не имѣли предъ собою въ конкретной формѣ той новой проблемы, которая должна была народиться вмѣстѣ съ развитіемъ капитализма, именно рабочаго вопроса. Вотъ почему, быть можетъ, даже и не слѣдуетъ выдѣлять тогдашнюю образованную часть буржуазіи въ особую группу, и правильнѣе было бы разбить все мыслящее общество на двѣ группы: дворянскую и недворянскую. Темныя стороны тогдашняго купечества развивались на основахъ патріархальныхъ формъ, которыхъ держалась еще торговля. Эти темныя стороны заключались въ самодурствѣ и деспотизмѣ въ семьѣ и въ лавкѣ, въ мелкихъ и крупныхъ мошенничествахъ, культивируемыхъ на почвѣ отсутствія строгихъ юридическихъ отношеній, на почвѣ патріархальнаго довѣрія, взяточничества и бюрократическаго произвола.

Отмѣтивъ главныя общественныя группы, опредѣлявшія ходъ русской литературы въ 40-хъ и 60-хъ годахъ, необходимо, хотя бы въ краткихъ чертахъ, выяснить, какъ встрѣтились въ литературѣ различныя идеологіи, выросшія на почвѣ этихъ групповыхъ интересовъ и какія общественно-литературныя направленія возникли благодаря ихъ встрѣчѣ.

Писатели, принадлежавшіе къ группѣ мыслящаго прогрессивнаго дворянства, создали своеобразную поэзію умирающей барской культуры,—поэзію, полную трогательной грусти. Въ ихъ изображеніи исчезающаго міра часто больше тоски объ этомъ мірѣ, чѣмъ яснаго сознанія новыхъ нарождающихся формъ жизни. Тургеневъ — лучшій представитель этого теченія въ русской литературѣ. Поэзія Тургенева — величайшій памятникъ этой эпохи. Она увѣковѣчила важный моментъ въ исторіи русской общественности, показала, какъ всѣ общественныя движенія, всѣ идеи, выдвигавшіяся различными группами, нарождавшимися въ теченіе 40-хъ и 60-хъ годовъ, преломлялись въ умѣ

прогрессивнаго русскаго дворянина, воспитавшагося на идеалахъ 40-хъ годовъ. Онъ не только отразилъ тоску этого дворянина въ лицѣ своихъ „лишнихъ людей“, въ лицѣ Рудиныхъ и Лаврецкихъ. Онъ всю жизнь искалъ „настоящаго“ человѣка, того, кто поведетъ общество впередъ, того, кто укажетъ выходъ, и не находилъ этого человѣка среди новыхъ людей или не могъ понять его.

Это разочарованіе и этотъ безсильный порывъ къ дѣлу были однимъ изъ главныхъ мотивовъ поэзіи прогрессивнаго дворянства. Разсмотримъ теперь, какъ встрѣтились въ литературѣ дворянская и разночинская идеологія. Мы уже указывали на то, что эта встрѣча въ общемъ носила дружественный характеръ. Но, можетъ-быть, нигдѣ не сказывается такъ ярко живучесть классовой психики, какъ именно въ этой встрѣчѣ. Въ изображеніи разночинца писателями-дворянами всегда сохранялся барскій оттѣнокъ и извѣстная доля непониманія. Лучшій примѣръ—тургеневскій Базаровъ. Въ отношеніи къ нему автора чувствуется скорѣе нѣчто въ родѣ изумленія къ чуждой натурѣ, чѣмъ глубокое пониманіе ея. И въ произведеніяхъ Л. Толстого, который сталъ совѣстью новаго человѣчества, мы встрѣтимъ на первыхъ порахъ тотъ же преобладающій мотивъ и тотъ же типъ кающагося дворянина, старающагося уплатить вѣковой долгъ дворянства народу. Какъ великій моралистъ и художникъ, Толстой сумѣетъ впослѣдствіи расширить тоску своей дворянской совѣсти въ великое нравственное ученіе, сумѣетъ окинуть весь міръ окомъ привилегированнаго человѣка, постигшаго всю глубину нравственнаго паденія господствующихъ классовъ, питающихся трудомъ народныхъ массъ и взявшихъ себѣ право командованія этими массами. Но въ изучаемую эпоху Толстой тоже, подобно Тургеневу, является прежде всего пѣвцомъ той тоски, тѣхъ сомнѣній и порывовъ

къ дѣлу, которые овладѣли душой мыслящаго дворянина. Народъ является не столько предметомъ главнаго вниманія Толстого, сколько фономъ, на которомъ развертывается душевная драма дворянина. Никто не станетъ отрицать, что образы крестьянъ, выведенныхъ въ „Утрѣ помѣщика", нарисованы кистью геніальнаго художника. Но, съ другой стороны, можно ли спорить о томъ, что ихъ назначеніе заключается въ томъ, чтобы помочь автору глубоко проникнуть во внутренній міръ центральнаго героя Нехлюдова. Точно также и Платонъ Каратаевъ въ „Войнѣ и мирѣ", это раннее воплощеніе будущихъ нравственныхъ идеаловъ Толстого, является въ качествѣ эпизодическаго лица для того, чтобы сыграть крупную роль въ исторіи нравственнаго развитія Пьера Безухова. При всемъ различіи талантовъ Тургенева и Толстого, при всемъ несходствѣ путей, по которымъ направилась ихъ мысль, поэзія того и другого выросла на почвѣ этого интереса къ тоскѣ кающагося дворянина, его стремленія послужить народу, на почвѣ пробудившагося въ немъ, съ потрясеніемъ крѣпостного строя, сознанія, что въ основѣ его жизни лежитъ ложь. Неудивительно поэтому, что, рисуя ужасы крѣпостного права, и Тургеневъ, и Толстой останавливаютъ свое вниманіе не на самомъ фактѣ эксплоатаціи крестьянства, не на противорѣчіи классовыхъ интересовъ крестьянства и дворянства, — словомъ, не на томъ фактѣ, который былъ первоосновой всѣхъ темныхъ сторонъ тогдашней жизни. Они предпочитаютъ изображать Рудиныхъ, Лаврецкихъ и Нехлюдовыхъ, т.-е. людей благородныхъ, умѣющихъ идеально любить женщинъ, литературу, философію и справедливость. Въ совершающемся на ихъ глазахъ великомъ историческомъ процессѣ ихъ взоръ останавливается съ любовью и сочувствіемъ на мукахъ, которыми сопровождается умираніе прошлаго, но этотъ взоръ не всегда ясно различаетъ элементы будущаго.

На этой же почвѣ выросли и два прославленныхъ разсказа Григоровича, который своими искусственными мужиками, изображенными кистью нѣсколько сантиментальнаго барина, пытался послужить народу, душу котораго ему трудно было понять глубоко.

Въ эпохи крушенія сложившихся формъ хозяйственной жизни, пессимизмъ и эстетизмъ часто шли рука-объ-руку. Для просвѣщенной части господствующаго класса, не умѣющей по своему общественному положенію, по своимъ вкусамъ и традиціямъ сразу слиться съ новыми общественными группами, остается выходъ не только въ тоскѣ и пессимизмѣ. Эта просвѣщенная группа, не нашедшая своимъ силамъ примѣненія въ возникающемъ мірѣ новыхъ отношеній, часто находитъ для этихъ силъ выходъ въ отвлеченной философской дѣятельности, въ чистомъ искусствѣ, въ повышенномъ интересѣ къ эстетическимъ и философскимъ проблемамъ. Байронъ и Шатобріанъ, жившіе въ эпоху ликвидаціи феодальныхъ отношеній, были одновременно эстетами и пессимистами, поэтами міровой скорби и романтиками. Неудивительно поэтому, что рядомъ съ меланхолически-нѣжной поэзіей умирающаго барства, рядомъ съ пессимизмомъ и разочарованіемъ Рудиныхъ мыслящая часть дворянства выдвигаетъ поэтовъ чистаго искусства, которымъ жизнь и природа представляются отраженіемъ высшей гармоніи, блѣднымъ снимкомъ сверхчувственнаго міра. Поэты этого направленія, Фетъ, Майковъ, Тютчевъ, свято охраняютъ неприкосновенность искусства, стоятъ въ сторонѣ отъ общественной и политической борьбы. Они—пѣвцы того заоблачнаго міра, въ который всегда можетъ уйти мысль человѣка, утомленнаго жизнью, утратившаго вѣру въ силы общества, въ его власть надъ ходомъ этой жизни. Эта поэзія всегда выдвигается обществомъ въ эпохи кризисовъ, является для

него утѣшеніемъ въ разочарованіяхъ, поддерживая представленіе о надземной гармоніи, въ которой разрѣшаются противорѣчія скорбнаго земного существованія. Этимъ объясняется, почему эстетическое направленіе нашего времени, вскормленное кризисомъ современнаго буржуазнаго строя жизни, снова съ любовью обратило свой взоръ къ этимъ поэтамъ, которые воплотили въ безсмертные стихи безсильное томленіе по идеальной гармоніи.

Разсмотримъ теперь, какъ отнеслась дворянская литература къ другимъ общественнымъ теченіямъ, выдвинутымъ русской дѣйствительностью. Городской пролетаріатъ, который начиналъ завоевывать себѣ первые шаги въ художественной литературѣ, почти не затронутъ писателями-дворянами. Въ то время, какъ Успенскій уже изображалъ городской пролетаріатъ въ „Нравахъ Растеряевой улицы", а Чернышевскій и теоретически, и въ художественной формѣ разрабатывалъ вопросы соціализма, для Тургенева и Толстого пролетарскій классъ и то направленіе соціализма, которое связано съ его появленіемъ на исторической аренѣ, оставались чуждыми. Тургеневъ почти не касается городского пролетаріата. Даже въ его перепискѣ съ Герценомъ, по поводу соціалистическихъ идей этого послѣдняго, вопросъ идетъ только о мужикѣ. Само собою разумѣется, что въ эту эпоху нельзя было предвидѣть грядущаго значенія городского пролетаріата, и поскольку писатели-дворяне въ родѣ Герцена развивали соціалистическія идеи,—эти идеи они старались осуществить въ формахъ того уклада жизни, который сложился въ русской деревнѣ въ эпоху крѣпостничества. Это неумѣніе типичныхъ писателей-дворянъ разобраться въ новыхъ направленіяхъ, обнаружившихся въ русской общественной мысли, ярко характеризуется самымъ заглавіемъ тургеневскаго романа „Дымъ". Тургеневъ нашелъ слово, опре-

дѣлявшее съ точки зрѣнія стараго барства смыслъ общественной борьбы, разыгравшейся внѣ предѣловъ усадебной и деревенской психики. Это слово—дымъ. Дымомъ представлялись рѣчи и споры новыхъ людей писателю, который и въ этомъ романѣ не могъ скрыть своей симпатіи къ старымъ дворянскимъ гнѣздамъ. Дальше мы увидимъ, что Толстой въ эту эпоху былъ склоненъ рисовать патріархально-идиллическія картины деревенской жизни и такъ же далеко стоялъ отъ новыхъ теченій умственной жизни. Къ революціоннымъ кружкамъ дворянская литература отнеслась отрицательно. Въ „Нови“ революціонное движеніе представлено въ качествѣ безпочвенной затѣи, непродуманныхъ попытокъ. Революціонеры изображены либо незрѣлыми энтузіастами, либо узкими фанатиками идеи. И здѣсь талантъ Тургенева достигаетъ своего прежняго блеска, главнымъ образомъ при изображеніи страданій кающагося дворянина, его разочарованія въ революціонной дѣятельности.

Мы намѣтили тѣ главные мотивы, которые должны были звучать въ художественномъ творчествѣ писателей-дворянъ. Это были меланхолическіе мотивы, выражавшіе тоску просвѣщенной части стараго барства, или культъ чистаго искусства, или безсильный порывъ къ дѣлу. Сталкиваясь съ представителями другихъ общественныхъ классовъ, лучшіе художники дворянскаго класса умѣли улавливать ихъ типичныя черты, нерѣдко выводили ихъ въ качествѣ людей настоящаго дѣла, предвидѣли ихъ грядущее общественное значеніе. Но въ общемъ въ томъ изображеніи буржуазіи, разночинца, революціонера, народа, которое мы встрѣчаемъ въ дворянской литературѣ, всегда оставался элементъ непониманія и отчужденія, и нужно было появленіе писателей изъ буржуазной среды, писателей-разночинцевъ, писателей изъ народа для того,

чтобы буржуазія, разночинцы и народъ нашли своихъ собственныхъ правдивыхъ бытописателей, пѣвцовъ своихъ чувствъ и настроеній.

Выяснивъ отношеніе прогрессивной дворянской литературы къ различнымъ общественнымъ группамъ и ихъ идеологіи, разсмотримъ теперь, какъ, въ свою очередь, общественно-литературныя теченія, созданныя этими послѣдними, отнеслись къ дворянству, къ самимъ себѣ и другъ къ другу. Лучшими изобразителями возникающаго класса крупной буржуазіи были Островскій и Гончаровъ. Первый увѣковѣчилъ нравы купечества, сохранявшаго патріархальныя формы отношеній, деспотизмъ и самодурство, возникшія на основахъ этихъ формъ. Гончаровъ вывелъ передъ нами мыслящихъ представителей зарождающагося капитализма, далъ, если можно такъ выразиться, идеологію этого класса. Гончаровъ перенесъ центръ вниманія изъ деревни въ городъ, и сообразно съ этимъ литература пріобрѣла другой колоритъ. Меланхолія и трогательная поэзія умиранія, вѣющая надъ романами Тургенева, смѣняется дѣловой атмосферой въ романахъ Гончарова. Къ старому барству идеологъ буржуазіи отнесся безпощадно. Въ лицѣ Обломова онъ категорически осудилъ Рудиныхъ и Лаврецкихъ, тѣхъ лишнихъ людей, которыхъ Тургеневъ не могъ не окружить поэтическимъ ореоломъ. Въ лицѣ Адуева и Штольца онъ возвеличилъ тотъ умѣренный либерализмъ, практицизмъ, тотъ культъ полезнаго и дѣлового, который должна была воздвигнуть просвѣщенная часть буржуазіи на мѣсто отживающихъ представленій. Такъ же сурово отнеслась буржуазная мысль къ нигилисту и вообще революціонеру, что ярко сказалось въ фигурѣ Марка Волохова, который изображенъ Гончаровымъ далеко въ не привлекательныхъ чертахъ. Перенеся въ „Обыкновенной исторіи“ дѣйствіе снова изъ города въ деревню, Гончаровъ склоненъ даже къ

идеализаціи барства на счетъ революціонера Волохова, хотя и здѣсь, какъ всегда, его симпатіи склоняются на сторону трезвыхъ и дѣловитыхъ людей, въ родѣ Штольцевъ и Тушиныхъ. Въ общемъ, однако, буржуазная идеологія въ изучаемую эпоху не получила своего полнаго выраженія, хотя въ ней обозначились уже типичныя черты класса, которому предстояло занять господствующее положеніе въ слѣдующія десятилѣтія.

Болѣе крупное вліяніе на ходъ русской литературы оказало появленіе разночинца. Мы видѣли уже, что встрѣча прогрессивной части дворянства съ разночинцемъ въ лицѣ Бѣлинскаго носила на первыхъ порахъ совершенно дружескій характеръ. Черезъ разночинцевъ даже совершался переходъ мыслящаго дворянства къ новымъ идеямъ. Но тѣмъ не менѣе какъ въ изображеніи разночинца писателями-дворянами скрывалась доля отчужденности и непониманія, такъ съ своей стороны писатели-разночинцы проявляли съ самаго начала извѣстное отрицательное отношеніе къ барской идеологіи, а въ 60-хъ годахъ это отношеніе перешло въ открытую вражду. Достаточно вспомнить некрасовскую „Родину“, чтобы понять, въ какомъ свѣтѣ рисовались разночинцу дворянскія гнѣзда, съ такой любовью обрисованныя Тургеневымъ. Если Рудинъ и Лаврецкій представляютъ собою „лишнихъ людей“ передъ мягкимъ судомъ „своего“ же брата-дворянина, если Обломовъ воплощаетъ тѣхъ же героевъ передъ болѣе суровымъ судомъ просвѣщеннаго идеолога дѣловитой буржуазіи, то некрасовскій Агаринъ—лишній человѣкъ, заклейменный безпощаднымъ приговоромъ разночинца, подошедшаго къ нему съ желчью и горечью. Въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ происходитъ открытый разрывъ разночинцевъ въ лицѣ Добролюбова и Чернышевскаго съ идеалистами 40-хъ годовъ. Особенно жестоко обру-

шивается на „лишнихъ людей“ Добролюбовъ. Рѣзкому осужденію подвергается ихъ непригодность къ дѣлу, ихъ склонность къ отвлеченному философскому мышленію. Писаревъ, чувствовавшій связь между прогрессивными тенденціями разночинской литературы и идеализмомъ предшествовавшаго поколѣнія, былъ, однако, воплощеннымъ отрицаніемъ этого мечтательнаго безпочвеннаго идеализма, которому онъ противопоставилъ прямолинейный матеріализмъ и „разрушеніе эстетики“. Впослѣдствіи, когда кончился этотъ великій споръ между „отцами и дѣтьми“, стало ясно, что тоска „лишнихъ людей“ и мятежный пылъ разрушителей вытекали изъ одного и того же горячаго чувства любви къ правдѣ и народу, и генетическая пріемственность между обоими направленіями стала безспорнымъ фактомъ.

Если писатели-разночинцы отнеслись въ общемъ отрицательно къ тоскѣ просвѣщенныхъ дворянъ, оставшихся не у дѣлъ, если по отношенію къ идеологіи, созданной этими послѣдними, писатель-разночинецъ занялъ положеніе разрушителя,—зато литература, возникшая съ появленіемъ разночинца, дала яркую картину быта и глубокое освѣщеніе внутренняго міра тѣхъ общественныхъ слоевъ, которые не могли найти правильнаго освѣщенія у писателей-дворянъ. Городская бѣднота, чиновничій пролетаріатъ, наконецъ, самъ разночинецъ, интеллигентъ, профессіоналъ, пробивающій себѣ дорогу,—эти элементы общества, остававшіеся въ тѣни у писателей-дворянъ, становятся любимыми героями писателей-разночинцевъ. Мы встрѣтимъ ихъ въ раннихъ разсказахъ Достоевскаго, у Успенскаго, Помяловскаго, въ пѣсняхъ Некрасова. Наконецъ, и всѣ прежнія общественно-литературныя направленія пріобрѣтаютъ новую окраску подъ перомъ писателя-разночинца. Соціализмъ пріобрѣтаетъ болѣе опредѣленныя формы у Чернышевскаго, который въ своемъ ро-

манѣ „Что дѣлать“ проводитъ идеи Фурье и у котораго мы не встрѣчаемъ мечтательнаго оттѣнка, окрашивавшаго соціалистическія идеи Герцена. Разночинская литература иначе отнеслась къ революціонному движенію, чѣмъ писатели-дворяне, обнаружила больше интереса къ нарождающемуся пролетаріату, придала болѣе демократическую окраску народничеству. Даже та моральная струя въ русской художественной литературѣ, которая нашла свое благороднѣйшее выраженіе въ философскихъ трудахъ Толстого, окрашена въ произведеніяхъ разночинца Достоевскаго горечью и страданіемъ *).

Таковы общественныя группы, настроенія и чувства которыхъ отразились въ литературѣ изучаемой эпохи. Только ознакомившись съ этими общественными группами и съ тѣми отношеніями, въ которыя они стали другъ къ другу, можно перейти къ изученію отдѣльныхъ писателей и литературныхъ направленій. Мы не имѣемъ въ виду дать полный обзоръ русской художественной литературы изучаемой эпохи. Наша задача заключается въ томъ, чтобы охарактеризовать литературную дѣятельность главныхъ представителей трехъ вышеуказанныхъ общественныхъ группъ. Причемъ въ настоящемъ выпускѣ мы ограничимся наиболѣе крупными художниками, отразившими въ своихъ творепіяхъ настроенія и чувства стараго барства. Выдающимся представителямъ литературы, отразившей первые шаги нарождающейся буржуазіи и міровоззрѣніе разночинца, будетъ посвященъ слѣдующій выпускъ. Писатели этихъ группъ очень часто являются почти сверстниками или выступленіе ихъ на литературное поприще приходится на близкіе другъ къ другу пері-

*) Въ настоящемъ томѣ мы имѣли въ виду охарактеризовать только тѣхъ писателей, литературная дѣятельность которыхъ типична для 40-хъ годовъ. Вотъ почему идеологіи 60-хъ гг. мы касаемся лишь вскользь, поскольку она уясняетъ идеологію 40-хъ гг. Характеристика 60-хъ гг. будетъ дана въ слѣдующемъ томѣ.

оды. Тургеневъ родился въ 1818, Л. Толстой —въ 1828, Григоровичъ—въ 1822, представители чистой поэзіи, Фетъ и Майковъ, родились: первый—въ 1820, второй—въ 1821 г., Алексѣй Толстой родился въ 1817, Тютчевъ—въ 1803 г. Наконецъ, два писателя, у которыхъ мы находимъ наиболѣе яркое изображеніе представителей буржуазіи, Гончаровъ и Островскій, родились: первый—въ 1812, а второй—въ 1823 г. Творенія этихъ писателей являются великимъ памятникомъ, увѣковѣчившимъ чувства и настроенія русскаго общества въ изучаемую эпоху.

II.

Тургеневъ.—Впечатлѣнія дѣтства и юности.—Крѣпостное право, усадебная обстановка, университетъ, Бѣлинскій.—«Записки охотника» и аннибалова клятва.—Роль „Записокъ охотника" въ развитіи антикрѣпостническихъ идей.—Разсказы, проникнутые духомъ протеста противъ крѣпостного права.—Разсказы, освѣщающіе лучшія черты русскаго крестьянства, его идеализмъ, его нравственныя представленія и творческую силу.

Тургеневъ—лучшій представитель той поэзіи, которая отразила настроеніе мыслящаго барства въ эпоху разложенія крѣпостного хозяйства. Онъ принадлежалъ къ числу просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. На всю жизнь сохранилъ онъ ту привычку, которую усвоили люди сороковыхъ годовъ,—привычку отводить всякое явленіе къ общему началу. До конца жизни онъ оставался не только великимъ художникомъ, но и мыслителемъ, который стремился разобраться въ совершающихся явленіяхъ, стремился установить общую точку зрѣнія на нихъ. Ни одно крупное общественное или философское теченіе не прошло мимо Тургенева. Онъ чутко откликался на каждое, старался занять по отношенію къ каждому опредѣленную позицію. Благодаря этому, оставленное имъ литературное наслѣдіе—не только крупный художественный памятникъ, озарившій съ новыхъ сторонъ внутренній міръ человѣка. Его произведенія — великій культурно-историческій памятникъ, увѣковѣчившій важный періодъ въ исторіи

нашей общественности. Всѣ вопросы, волновавшіе русское общество начиная съ сороковыхъ годовъ и кончая шестидесятыми, затронуты Тургеневымъ. Различныя общественныя группы, принявшія участіе въ умственной работѣ, подготовлявшей дѣло освобожденія русскаго народа отъ устарѣвшихъ формъ хозяйственной и политической жизни, выведены Тургеневымъ, хотя не всегда онъ могъ вѣрно понять ихъ. И надъ всей этой полосой русской общественной жизни, воспроизведенной въ его творчествѣ, лежитъ грустный колоритъ, который наложила на нее кисть художника-дворянина, воспитаннаго въ обстановкѣ усадебнаго быта,— художника, который въ изображаемомъ имъ процессѣ лучше умѣлъ чувствовать закатъ догорающаго міра, чѣмъ первые яркіе проблески зари будущаго.

Жизнь Тургенева, впечатлѣнія дѣтства и юности обусловили характеръ этой поэзіи. Это тѣ впечатлѣнія, которыя разбудили не одного барчука той эпохи. Ужасы крѣпостного права, свѣтлое воспоминаніе о какомъ-нибудь дворовомъ, который своими качествами навсегда поселилъ доброе чувство къ народу, гувернеры и гувернантки, отвращеніе къ гнету и насилію и въ то же время извѣстная привычка къ барской праздности, которой вполнѣ нельзя было искоренить уже никогда впослѣдствіи, несмотря на усилія просвѣщеннаго ума и чуткой совѣсти,—эти впечатлѣнія общи и для Тургенева, и для Герцена, и для славянофиловъ, выросшихъ въ усадебной атмосферѣ, въ обстановкѣ стараго барства.

Если Герцену не пришлось видѣть самыхъ страшныхъ картинъ крѣпостного быта, такъ какъ въ его семьѣ сравнительно хорошо обращались съ людьми, то Тургеневъ не могъ этого сказать о себѣ. Отецъ его былъ свѣтскимъ человѣкомъ, гусарскимъ офицеромъ, который прельстилъ его мать своей необыкновенной красотой и изяществомъ. Въ смыслѣ внутренняго со-

держанія красивый жуиръ былъ, повидимому, довольно безцвѣтнымъ существомъ. Зато мать Тургенева обладала властной и жестокой натурой. Не только къ крѣпостнымъ, но и къ дѣтямъ она была безпощадна. Тургенева, по его собственнымъ словамъ, „драли“ безъ всякой жалости чуть ли не каждый день. Однажды старая приживалка за что-то донесла на него матери. „Мать безъ всякаго суда и расправы тотчасъ же начала меня сѣчь, сѣкла собственными руками и на всѣ мои мольбы сказать, за что меня наказываютъ, приговаривала: самъ знаешь, самъ долженъ знать, самъ догадайся, за что я сѣку тебя“. Мальчика довели до того, что онъ хотѣлъ бѣжать изъ родного дома. Если мать Тургенева такъ обращалась съ дѣтьми, то нетрудно представить себѣ, что продѣлывала жестокая помѣщица со своими крѣпостными. Здѣсь царила система издѣвательствъ и утонченнаго мучительства. Дѣтей отнимали отъ родителей, раздѣляли любящихъ людей, не жалѣли розогъ и побоевъ. Такъ же обращались въ этомъ гнѣздѣ самодурства и деспотизма съ учителями, которыхъ не стѣснялись увольнять по всякому поводу, а при случаѣ подвергали жестокой расправѣ. Въ этомъ темномъ царствѣ свѣтлымъ лучомъ для Тургенева былъ дворовый человѣкъ Лобановъ. Благодаря ему мальчикъ услышалъ звуки настоящей русской рѣчи въ домѣ, гдѣ даже слуги должны были говорить на иностранныхъ языкахъ. Лобановъ изображенъ въ разсказѣ „Пунинъ и Бабуринъ“, имѣющемъ, несомнѣнно, автобіографическое значеніе. Онъ научилъ мальчика любить русскую рѣчь, русскіе стихи и литературу: „невозможно передать чувство, которое я испытывалъ, когда онъ внезапно, словно сказочный пустынникъ или добрый духъ, появлялся предо мною съ извѣстной книгой подъ мышкой“. Они уходили въ глушь сада, куда никто не могъ проникнуть за ними, гдѣ зеленые листья и высокія травы

укрывали ихъ отъ всего міра. И Пуннинъ-Лобановъ читалъ „торжественно, заливчато, закатисто“, читалъ Сумарокова, Кантемира и „Россіаду“ Хераскова, которая особенно восхитила мальчика.

Таковы впечатлѣнія дѣтства. Далѣе московскіе пансіоны и, наконецъ, университетъ, куда Тургеневъ поступаетъ въ 1833 году. Недолго пробылъ Тургеневъ въ московскомъ университетѣ, такъ какъ въ 1834 году Тургеневы переѣхали въ Петербургъ. Но едва ли можно сомнѣваться, что идеалистическій паѳосъ, который царилъ въ это время среди университетской молодежи, не могъ не коснуться Тургенева. Если тамъ, въ глуши Орловской губерніи, въ родовомъ имѣніи матери, онъ черпалъ матеріалъ для трагедій, изображенныхъ въ „Запискахъ охотника“ и въ „Муму“, то здѣсь онъ видѣлъ Рудиныхъ, Покорскихъ и Михалевичей, видѣлъ гегеліанцевъ, спорившихъ до утра, съ ихъ восторженностью, съ ихъ наивнымъ, но благороднымъ идеализмомъ. Станкевичъ еще былъ въ это время въ университетѣ. Тургеневъ сблизился съ нимъ позднѣе въ Римѣ, по его письма свидѣтельствуютъ о томъ, какъ умѣлъ авторъ „Рудина“ цѣнить благороднаго мечтателя, бывшаго яркимъ воплощеніемъ идеалистическихъ стремленій эпохи. „Насъ постигло великое несчастье, Грановскій, — писалъ Тургеневъ изъ Берлина 4-го іюля 1840 года.—Едва я могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашей гордостью и надеждой. 24-го іюня въ Нови скончался Станкевичъ. Я бы могъ, я бы долженъ здѣсь кончить письмо... Что остается мнѣ сказать—къ чему вамъ теперь мои слова?.. Я сблизился съ нимъ въ Римѣ; я его видѣлъ каждый день и началъ оцѣнять его свѣтлый умъ, теплое сердце, всю прелесть его души“... Въ Петербургѣ, гдѣ Тургеневъ продолжалъ свое университетское образованіе, онъ познакомился съ тогдашнимъ

литературнымъ міромъ благодаря профессору русской словесности Плетневу. Въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Тургенева мы находимъ любопытный эпизодъ, который свидѣтельствуетъ о могучемъ вліяніи Бѣлинскаго на умы. Вмѣстѣ со всей молодежью Тургеневъ пришелъ въ восторгъ отъ вышедшей въ 1836 году книжки стиховъ Бенедиктова. Но вотъ однажды утромъ студентъ-товарищъ сообщаетъ Тургеневу о появленіи въ кондитерской Беранже номера „Телескопа“ со статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ „критиканъ“ осмѣлился посягнуть на того, кто сталъ общимъ идоломъ. „Я немедленно отправился къ Беранже,—разсказываетъ Тургеневъ,—прочелъ всю статью отъ доски до доски и, разумѣется, тоже воспылалъ негодованіемъ. Но—странное дѣло!—и во время чтенія, и послѣ къ собственному моему изумленію и даже досадѣ что-то во мнѣ невольно соглашалось съ критиканомъ“, находило его доводы убѣдительными... „неотразимыми“. Напрасно Тургеневъ съ юношескимъ упрямствомъ продолжалъ въ кругу товарищей рѣзко нападать на Бѣлинскаго. Что-то шептало ему, что „онъ“ былъ правъ. И вскорѣ Тургеневъ пересталъ читать Бенедиктова.

По окончаніи филологическаго факультета петербургскаго университета Тургеневъ отправился дополнять свое образованіе въ Берлинъ. Здѣсь онъ встрѣтилъ Станкевича, Грановскаго, Бакунина и, по его собственнымъ словамъ, „съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера“. Здѣсь онъ убѣдился, какую слабую подготовку далъ ему петербургскій университетъ, здѣсь, повидимому, укрѣпился онъ на всю жизнь въ своемъ западничествѣ, такъ какъ къ этому моменту относится знаменитое мѣсто его „Воспоминаній“, въ которомъ онъ противопоставляетъ Европу своей родинѣ. На этой послѣдней ничто не могло удержать его. „Почти все,

что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувство смущенія, негодованія, — отвращенія, наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся“, даже рискуя потерять многое, что было дорого моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился внизъ головою въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился „западникомъ“ и остался имъ навсегда“.

По возвращеніи изъ-за границы Тургеневъ пытался посвятить себя ученой дѣятельности, затѣмъ пробовалъ служить, но, наконецъ, набрелъ на свой настоящій путь. Мы уже видѣли, что первый замѣтный литературный шагъ его получилъ благословеніе Бѣлинскаго, которому русская литература обязана открытіемъ многихъ великихъ талантовъ. Мать его, которая отождествляла писателя и писца и считала литературу отнюдь не дворянскимъ дѣломъ, была не особенно довольна появленіемъ „Параши“ и пришла въ негодованіе, когда узнала, что на одно изъ сочиненій ея сына написана критика и что такимъ образомъ поповичъ имѣлъ дерзость судить дворянина. Она вымещала свое возмущеніе на сынѣ, и ему приходилось терпѣть большую нужду.

Въ 1847 году въ журналѣ „Современникъ“ въ отдѣлѣ „Смѣсь“ былъ напечатанъ разсказъ „Хорь и Калинычъ“. Разсказъ, который редакція, точно стыдясь его и скрывая отъ взоровъ читателя, помѣстила на задворкахъ журнала, произвелъ огромное впечатлѣніе и сразу выдвинулъ Тургенева въ первые ряды русской литературы. И западники, и славянофилы сошлись въ оцѣнкѣ этого произведенія. „Вотъ что значитъ,—писалъ К. Аксаковъ,—прикоснуться къ землѣ и народу: вмигъ дается сила!.. Талантъ, таившійся въ

сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченьи и потому небывалыхъ состояніяхъ души, — этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ". Бѣлинскій нѣсколько позднѣе по поводу этого же и другихъ разсказовъ отмѣтилъ замѣчательный талантъ Тургенева и его основное качество—глубокій реализмъ. Тургеневу, по словамъ Бѣлинскаго, никогда не удалось бы создать такой характеръ, котораго онъ не встрѣтилъ бы въ дѣйствительности. Остановимся подробнѣе на „Запискахъ охотника". Послѣ 1847 года они продолжали появляться въ „Современникѣ", а въ 1852 году вышли отдѣльнымъ изданіемъ.

„Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ, для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердаго характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибалова клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда".

Эти безсмертныя слова вошли впослѣдствіи во всѣ учебники литературы. Они вспоминались всякій разъ, когда заходила рѣчь о „Запискахъ охотника", и служили эпиграфомъ къ первому крупному творенію Тургенева. И даже въ настоящее время, когда мы можемъ болѣе объективно взглянуть на отодвинувшееся отъ насъ прошлое, когда мы знаемъ, что „аннибалова клятва" была далеко не единственнымъ и даже не главнымъ стимуломъ тургеневскаго творчества,—даже теперь эти слова остаются лучшими словами, какія

когда-либо были сказаны великимъ художникомъ, остаются свидѣтельствомъ благороднаго порыва, пламеннаго стремленія послужить родному народу. Въ послѣднее время критика достаточно выяснила истинную роль „Записокъ охотника“ и ихъ автора въ исторіи освобожденія крестьянъ [1]). Теперь эта роль уже не представляется такой боевой, какой она казалась современникамъ, и тѣмъ не менѣе „Записки охотника“ и въ нашихъ глазахъ остаются не только замѣчательнымъ художественнымъ произведеніемъ, но и выдающимся памятникомъ въ исторіи развитія русской общественной мысли.

Правда, общій тонъ „Записокъ“ не боевой. Количество разсказовъ, которые проникнуты духомъ протеста противъ крѣпостного права, не велико. Можно даже сказать, что они теряются среди разсказовъ, которые навѣяны наслѣдственными симпатіями Тургенева къ патріархальной сторонѣ отношеній, взрощенныхъ крѣпостническимъ бытомъ. Отчасти боевой тонъ былъ смягченъ благодаря внѣшнимъ причинамъ. Въ своихъ письмахъ (см. „Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева“. Спб. 1885) Тургеневъ не разъ упоминаетъ о давленіи цензуры. Такъ, въ письмѣ къ Я. П. Полонскому 13-го января 1874 г. онъ предлагаетъ для сборника „Складчина“ изъ ненапечатанныхъ, но сохранившихся у него разсказовъ изъ „Записокъ охотника“. „Всѣхъ ихъ,—говоритъ онъ,—напечатано 22, но заготовлено было около 30. Иные очерки остались недоконченными изъ опасенія, что цензура ихъ не пропуститъ“. Далѣе мы имѣемъ свидѣтельство, что Тургеневъ умѣлъ видѣть не только патріархальныя идилліи, возникавшія на почвѣ крѣпостнего права, не

---

[1]) См. особенно: Н. М. Гутьяръ, Иванъ Серг. Тургеневъ, Юрьевъ, 1907, и А. Е. Грузинскій. Къ исторіи „Записокъ охотника“ (Статья въ его „Литературныхъ очеркахъ“. М. 1908).

только забитыхъ и смиренныхъ крестьянъ, которыхъ онъ выводилъ даже въ разсказахъ, проникнутыхъ враждой и ненавистью въ рабству. Такъ, Тургеневъ началъ, но не закончилъ разсказъ „Землеѣдъ“, потому что зналъ, что „никакая тогдашняя цензура его не пропустила бы“. Сюжетомъ для этого разсказа послужилъ дѣйствительный случай: крестьяне уморили своего помѣщика, который ежегодно урѣзывалъ у нихъ землю и котораго они прозвали за то землеѣдомъ, „заставивъ его скушать фунтовъ восемь отличнѣйшаго чернозему“. Въ своихъ придиркахъ цензура дошла до того, что въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда“ улучшила наружность двухъ военныхъ (авторъ писалъ: „съ благородными, но нѣсколько изношенными лицами“, послѣ цензурнаго туалета осталось: „съ весьма благородными лицами“, — см. А. Е. Грузинскій, 1. с.). Но даже въ томъ видѣ, въ какомъ „Записки охотника“ появились передъ современниками, онѣ произвели сильное впечатлѣніе на всѣ слои образованнаго общества. Графиня Растопчина сказала про нихъ Чаадаеву: „Voilà un livre incendiaire“. И. С. Аксаковъ удивлялся тому, какъ цензура пропустила эту книгу, которая представлялась ему „стройнымъ рядомъ нападеній, цѣлымъ батальнымъ огнемъ противъ помѣщичьяго быта“. Даже отставка цензора Львова послѣдовала въ связи съ пропускомъ „Записокъ охотника“. Наконецъ, самымъ вѣскимъ свидѣтельствомъ общественнаго значенія „Записокъ охотника“ служитъ заявленіе императора Александра II. По словамъ Тургенева, императоръ велѣлъ сказать ему, что его книга „была однимъ изъ главныхъ двигателей его рѣшенія“ освободить крестьянъ. По другимъ свидѣтельствамъ, императоръ выразился еще опредѣленнѣе и лично заявилъ Тургеневу, что мысль о необходимости освобожденія крестьянъ ни на минуту не оставляла его съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочелъ „Записки охотника“.

Не только своимъ художественнымъ созданіемъ, но и своей практической дѣятельностью Тургеневъ доказалъ, какъ глубоко было его сочувствіе къ закрѣпощенному народу. По смерти матери онъ отпустилъ на волю своихъ дворовыхъ, которые изъявили на то согласіе. Когда появились первыя извѣстія о готовящейся реформѣ, Тургеневъ внимательно слѣдилъ за ходомъ ея. Когда же стало извѣстно о предстоящемъ опубликованіи манифеста, Тургеневъ писалъ изъ Парижа П. В. Анненкову: „Когда мое письмо къ вамъ дойдетъ, вѣроятно, уже великій указъ,—указъ, ставящій царя на такую высокую и прекрасную ступень, выйдетъ". Онъ называетъ этотъ день „великимъ днемъ". И послѣ реформы онъ приложилъ немало силъ, устраивая богадѣльню, школу и другія учрежденія для своихъ крестьянъ.

Всѣ эти факты и вліяніе „Записокъ охотника" на умы не оставляютъ сомнѣнія относительно гуманныхъ и просвѣщенныхъ воззрѣній Тургенева. Они навсегда утвердятъ за нимъ почетную роль въ исторіи общественнаго движенія въ Россіи. Тѣмъ съ большей смѣлостью, не опасаясь упрековъ, можно отмѣтить, что творецъ „Записокъ охотника" въ своемъ первомъ твореніи былъ не бойцомъ, а художникомъ, душа котораго тѣсно сроднилась съ усадебнымъ бытомъ. Ему дорогъ былъ тотъ міръ, который долженъ былъ рушиться вмѣстѣ съ паденіемъ крѣпостного права. Онъ былъ не столько врагомъ, сколько другомъ и поэтомъ этого міра. Великій художникъ не нуждается въ оправданіи, и его слава не померкнетъ отъ того, что мы признаемъ, что въ его первомъ твореніи чувствовался поэтъ-дворянинъ, который любилъ смиреніе страдалицы Лукерьи, наивную мечтательность Касьяна и идеализмъ Калиныча. Цензура и внѣшнія причины могли повліять на смягченіе боевого тона разсказовъ, но они не могли пере-

создать художника, не могли навязать ему того любовнаго чувства, съ которымъ онъ воспѣваетъ свѣтлые маменты патріархальнаго быта, сложившагося на основахъ крѣпостническаго строя. Мы знаемъ, что и послѣ освобожденія крестьянъ онъ любилъ во время пріѣздовъ въ Спасское собирать ихъ передъ террасой барскаго дома, поддерживая старый русскій обычай. Онъ предлагалъ имъ угощеніе, дарилъ крестьянкамъ платки и ленты, слушалъ ихъ пѣсни, любовался ихъ хороводами. Едва ли нужно повторять, что Тургеневъ, какъ просвѣщенный человѣкъ своего времени, пламенно желалъ отмѣны крѣпостного права. Но, съ другой стороны, трудно отрицать, что благодаря воспитанію, благодаря унаслѣдованнымъ вѣковымъ традиціямъ и вкусамъ его художественный геній проявлялъ особенную чуткость къ тѣмъ настроеніямъ и чувствамъ, которыя переживала лучшая часть мыслящаго барства въ эпоху кризиса старыхъ формъ хозяйственной жизни. Вся послѣдующая литературная дѣятельность Тургенева, который почти уже не возвращался къ крестьянину и рисовалъ тоску Рудиныхъ и Лаврецкихъ,—эта дѣятельность подтверждаетъ, въ какой сферѣ талантъ его чувствовалъ свою родную стихію. Въ этомъ разладѣ, въ этомъ неумѣньи разобраться въ отдѣльныхъ моментахъ совершающагося переворота заключается причина той грусти, того меланхолическаго колорита, которымъ окрашены всѣ его творенія. Недаромъ его дворянское происхожденіе и меланхолическая грусть прежде всего бросились въ глаза такому тонкому психологу, какъ Брандесъ. „Какъ писатель, — говоритъ датскій критикъ, — онъ сохранилъ дворянскій отпечатокъ... У Тургенева незамѣтно и тѣни того, что прямо указывало бы на аристократа; но читатель выноситъ изъ его произведеній то впечатлѣніе, что авторъ обладаетъ природной душевной деликатностью и что онъ всегда жилъ въ хорошемъ обществѣ. Онъ былъ свѣт-

скій человѣкъ, и въ его произведеніяхъ всюду чувствуется жизненный опытъ свѣтскаго человѣка... Скорбь Тургенева въ одно и то же время скорбь патріота, пессимиста и друга человѣчества. Несмотря на свой кажущійся космополитизмъ, онъ былъ патріотъ, но патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энтузіазма къ русскому народу своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соотечественниковъ. Онъ находилъ, что у него нѣтъ великаго прошлаго". Мы, ближе знающіе Тургенева, можемъ видѣть преувеличеніе, скрывающееся въ этой тирадѣ. Но мнѣніе датскаго критика очень цѣнно, такъ какъ оно—результатъ непосредственнаго впечатлѣнія и опредѣляетъ сущность настроенія, преобладающаго въ тургеневской поэзіи. Важное значеніе происхожденія Тургенева для пониманія его поэзіи отмѣчаетъ и проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій, который въ слѣдующихъ словахъ характеризуетъ общественную группу, выставившую Тургенева. Это были „добрые господа", интересовавшіеся всѣмъ на свѣтѣ, читавшіе умныя книги на иностранныхъ языкахъ и толстые русскіе журналы. Это былъ цвѣтъ тогдашней интеллигенціи. Разносторонне образованные, съ широкими общечеловѣческими интересами, истинные „европейцы"—въ русскомъ смыслѣ этого слова, они были лучшими представителями просвѣщенія, мысли и совѣсти своего времени. А такъ какъ они по своему спеціальному положенію, воспитанію и образу жизни были — *бары, господа*, то просвѣщеніе, мысль и совѣсть, представляемыя ими, носили на себѣ нѣкоторый отпечатокъ *барственности*".

Таковъ преобладающій тонъ и „Записокъ охотника". И тѣмъ не менѣе въ нѣсколькихъ разсказахъ раскрываются ужасы крѣпостного права, развертываются невидимыя снаружи трагедіи, обнаруживаются мрачныя скрытыя жестокости. Попирается человѣческое

достоинство, льются крестьянскія слезы, любящія существа отрываются другъ отъ друга для удобства и удовольствія наивныхъ людей, которые въ унаслѣдованной привычкѣ къ командованію и эксплоатаціи часто не сознаютъ того, что творятъ. Простъ разсказъ помѣщика Звѣркова о горничной его жены Аринѣ („Ермолай и мельничиха"), наивная искренность звучитъ въ его негодованіи. Случайно проѣзжала его жена черезъ деревню, случайно увидѣла „прехорошенькую дочь" старосты, которая особенно понравилась господамъ тѣмъ, что у нея было что-то подобострастное въ манерахъ. „Она мнѣ нравится, Коко, возьмемъ ее". — „Съ удовольствіемъ", — и плачущую дѣвочку, „сдуру" не понявшую своего счастья, увезли изъ родного дома. Но облагодѣтельствованная дѣвочка такъ и не могла оцѣнить благодѣянія. Десять лѣтъ прослужила, пользуясь господской лаской, и вдругъ бросилась въ ноги Звѣркову, который „терпѣть не могъ" подобнаго униженія человѣческаго достоинства, и стала молить его объ одной милости: о разрѣшеніи выйти замужъ, обѣщая при этомъ по-прежнему служить барынѣ. Мастерскими красками изобразилъ авторъ негодованіе наивнаго деспота, возмутившагося черной неблагодарностью дѣвушки. „Доложу вамъ, я такой человѣкъ: ничто меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность". Когда бѣдная дѣвушка обратилась съ той же просьбой вторично, благовоспитанный Звѣрковъ, такъ боявшійся унизить человѣческое достоинство, не выдержалъ и „съ сердцемъ прогналъ ее". Когда же несчастная послушалась голоса своего сердца вопреки волѣ барина, послѣдній вышелъ изъ себя, приказалъ остричь ее и сослать въ деревню. Въ „Малиновой водѣ" передъ нами другой типъ помѣщика, хлѣбосола. Графъ Петръ Ильичъ любилъ пожить. Гости, пиры и музыка не покидали его дома. „Кафтаны шитые, па-

рики, трости, духи, ладеколонъ перваго сорта, табакерки, картины этакія большущія, изъ самаго Парижа выписывалъ, — разсказываетъ о немъ его дворовый Туманъ.—Задастъ банкетъ—Господи, владыко живота моего! Фейвирки пойдутъ, катанья! Даже изъ пушекъ палятъ!“ Казалось бы, ничего трагическаго нѣтъ въ этой картинѣ, кромѣ мысли о разореніи, которое рано или поздно ждало графа. Но въ свой разсказъ Туманъ вставляетъ одну подробность,—и кажется, будто долгій стонъ народнаго горя и муки ворвался въ хоромы графа и заглушилъ ликующіе звуки барскаго разгула. Графъ приближалъ къ себѣ „матресокъ“, какъ выразился Туманъ, и подпадалъ подъ ихъ власть. Особенно свирѣпствовала одна, Акулина. „Племяннику моему лобъ забрила: на новое платье щеколадъ ей обронилъ... и не одному ему забрила лобъ“. Дорого обходилась распущенность графа его крѣпостнымъ. Въ разсказѣ „Льговъ“—немудрая повѣсть Сучка, шестидесятилѣтняго старика, отставного двороваго, „босоногаго, оборваннаго и взъерошеннаго“. Но въ этой простой исторіи издѣвательство надъ человѣческой личностью достигаетъ апогея. Несчастный перебывалъ во всевозможныхъ должностяхъ. Онъ былъ и поваромъ, и кучеромъ, и кофишенкомъ, и актеромъ, и рыболовомъ. Каждый новый владѣлецъ имѣнія игралъ этой человѣческой душой по своей прихоти. Одной барынѣ не понравилось имя Сучка, и она велѣла замѣнить его настоящее имя Кузьма Антономъ. Другая застала его кучеромъ и, презрительно бросивъ ему: „Ну, какой ты кучеръ, посмотри на себя!“—повелѣла ему быть рыболовомъ. Изъ актеровъ его разжаловали въ повара за то, что его братъ убѣжалъ. Былъ онъ и въ казачкахъ, и „фалеторомъ“, и садовникомъ, и доѣзжачимъ. Особенно трагическое впечатлѣніе производитъ краткій разсказъ Сучка объ его артистической дѣятельности: „На кеятрѣ игралъ. Барыня наша у себя

кеятеръ завела... Вотъ меня возьмутъ и нарядятъ; я такъ и хожу наряженный, или стою, или сижу, какъ тамъ придется. Говорятъ: вотъ что говори—я и говорю. Разъ слѣпого представлялъ... Подъ каждую вѣку мнѣ положили по горошинѣ". Ему было двадцать лѣтъ, когда его выпороли за то, что онъ, упавъ съ лошади, зашибъ ее, и отдали въ ученье въ Москву. Словомъ, самое утонченное воображеніе не въ состояніи изобрѣсти тѣхъ пытокъ, которымъ въ своей наивно-простодушной жестокости подвергали Сучка часто незлые люди. Потрясающее впечатлѣніе производитъ разсказъ „Бурмистръ", въ которомъ Тургеневъ вывелъ самый отталкивающій типъ крѣпостника. Аркадій Павловичъ Пѣночкинъ -- человѣкъ благовоспитанный, безукоризненно говоритъ по-французски, любитъ повторять, что о подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ же блага. Пѣночкинъ не любитъ рѣзкихъ движеній, не повышаетъ голоса — и даже, въ случаѣ такъ-называемой печальной необходимости, тычетъ рукой прямо, спокойно приговаривая: „вѣдь я тебя просилъ, любезный мой" или: „что съ тобою, другъ мой, опомнись", причемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ. Но за его мягкимъ и пріятнымъ голосомъ, за его деликатностью скрывается холодная жестокость и безпощадный тупой эгоизмъ. Плотно позавтракавъ, онъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился. Произошла слѣдующая безобразная сцена.

— Отчего вино не нагрѣто? — спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжалъ Аркадій Павловичъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, по-

крутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павловичъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

— Pardon mon cher,—промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на камердинера.—Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія и позвонилъ. Вошелъ человѣкъ, толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

— Насчетъ Ѳедора... распорядиться,—проговорилъ Аркадій Павловичъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ толстый и вышелъ.

И пока пороли несчастнаго камердинера, забывшаго нагрѣть вино, Пѣночкинъ напѣвалъ какой-то французскій романсъ и обдумывалъ, какъ лучше провести день. Еще ярче выступаетъ фигура этого благовоспитаннаго „европейца", когда онъ выслушиваетъ жалобу двухъ крестьянъ на бурмистра Софрона. Одинъ былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, другой—малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ на босу ногу и подпоясанные веревками. „Батюшка, разорилъ въ конецъ,—говорилъ старикъ.—Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ". Сначала Пѣночкинъ съ неудовольствіемъ взглянулъ на бурмистра, но когда послѣдній упомянулъ о недоимкѣ, числящейся за старикомъ, помѣщикъ пришелъ въ бѣшенство, осыпалъ его бранью и чуть было не бросился съ кулаками на его сына, и только присутствіе гостя удержало „европейца" отъ некультурнаго поведенія. Страшно становится за мужиковъ Пѣночкина, когда одинъ крестьянинъ сообщаетъ Тургеневу о неизбѣжныхъ послѣдствіяхъ этого инцидента.

„Заѣстъ онъ его теперь; заѣстъ человѣка совсѣмъ Староста теперь его забьетъ. Экой безталанный, подумаешь, бѣдняга!“

Фигуру Пѣночкина дополняетъ Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ („Два помѣщика“). Вотъ знаменитая сцена, поражающая, какъ и всѣ картины самоуправства, нарисованныя въ „Запискахъ охотника“, добродушіемъ истязателей:

Между тѣмъ воздухъ затихъ совершенно. Лишь изрѣдка вѣтеръ набѣгалъ струями и, въ послѣдній разъ замирая около дома, донесъ до нашего слуха звукъ мѣрныхъ и частыхъ ударовъ, раздававшихся въ направленіи конюшни. Мардарій Аполлоновичъ только-что донесъ къ губамъ налитое блюдечко и уже расширилъ было ноздри, безъ чего, какъ извѣстно, ни одинъ коренной русакъ не втягиваетъ въ себя чая, но остановился, прислушался, кивнулъ головой, хлебнулъ и, ставя блюдечко на столъ, произнесъ съ добрѣйшей улыбкой и какъ бы невольно вторя ударамъ: „Чюки-чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ!“

— Это что такое?—спросилъ я съ изумленіемъ.

— А тамъ по моему приказанію шалунишку наказываютъ... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вотъ что намедни за обѣдомъ намъ служилъ. Еще съ такими большими бакенбардами ходитъ.

Самое лютое негодованіе не устояло бы противъ яснаго и кроткаго взора Мардарія Аполлоновича.

Приведенные разсказы, если присоединить къ нимъ извѣстные „Муму“ и „Постоялый дворъ“, составляютъ не только въ „Запискахъ охотника“, но и вообще въ творчествѣ Тургенева почти все, въ чемъ можно уловить негодующій протестъ противъ рабства, заглушенный звукъ революціонной трубы. Этихъ разсказовъ немного. Ихъ было бы, вѣроятно, больше и ихъ тенденція была бы яснѣе, если бы драконовская ни-

колаевская цензура не наложила на нихъ свою тяжелую руку. Но выигралъ ли бы отъ этого Тургеневъ какъ художникъ? Мы думаемъ, что нѣтъ. Общій колоритъ „Записокъ“ свидѣтельствуетъ о томъ, что авторъ и по самому складу своего таланта не могъ быть боевымъ пѣвцомъ народнаго горя. Если не считать ненапечатаннаго „Землеѣда“, эпизода въ разсказѣ „Контора“ и еще двухъ—трехъ менѣе яркихъ типовъ и эпизодовъ, мы не видимъ ни одной попытки нарисовать типъ протестующаго крестьянина, въ которомъ пробудилась человѣческая личность. А исторія говоритъ намъ, что такихъ было немало, и исторія зарегистрировала не одинъ фактъ, напоминающій „Землеѣда“. Не одни цензурныя условія, но и сама натура Тургенева заставляла его съ любовью останавливаться на типахъ смиренныхъ крестьянъ, вскормленныхъ крѣпостнымъ бытомъ, на той психикѣ, которая являлась, быть-можетъ, незамѣтно для автора, опорой сложившихся отношеній.

Его крестьяне—смиренники, носители той идеи смиренія, которую ставили въ заслугу русскому народу славянофилы. Тургеневъ противопоставляетъ ихъ угнетателямъ, и при всей объективности великаго художника нетрудно видѣть, что именно эта черта въ русскомъ народѣ поразила болѣе всего его воображеніе. Эти люди, нищіе, оборванные, „на босую ногу“, люди, надъ которыми вѣчно свиститъ бичъ деспота и эксплоататора, съ благоговѣніемъ цѣлуютъ бичущую ихъ руку. Сучекъ, надъ которымъ такъ жестоко издѣвались его многочисленные собственники, ни разу не возвысилъ голоса. Ни одинъ жестъ его не выдалъ, что въ несчастномъ старикѣ гнѣздится хотя бы неясное сознаніе несправедливости, хотя бы глухое чувство обиды. Покорность, самоотверженіе, стремленіе занять какъ можно меньше мѣста на землѣ и отреченіе отъ своей личности ради удобствъ другого,—эти качества, которыя возвеличитъ Л. Н. Тол-

стой въ Платонѣ Каратаевѣ, „работникѣ“ и въ многочисленныхъ герояхъ,—эти качества составляютъ сущность натуры и Сучка, и Васьки буфетчика, и всѣхъ этихъ истязуемыхъ и поруганныхъ героевъ Тургенева. Вспомните переходъ вбродъ черезъ прудъ: „Сучокъ карабкался, болталъ ногами, прыгалъ и таки-выбирался на болѣе мелкое мѣсто, но даже въ крайности не рѣшался хвататься за полу моего сюртука“. Подобно Каратаеву, онъ принимаетъ факты такъ, какъ они есть. Мысль о критическомъ отношеніи къ нимъ не приходитъ ему въ голову. На изумленный вопросъ, какое же можетъ быть ученье въ двадцать лѣтъ, онъ находитъ только одинъ отвѣтъ: „Стало-быть, ничего, можно, коли баринъ приказалъ“. Разсказывая о своихъ истязателяхъ, не сознавая трагическаго смысла своего разсказа, онъ относится съ благоговѣніемъ къ ихъ памяти. „Покойница Татьяна Васильевна — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться“. Онъ благодаритъ Бога равно за все: и за рѣдкія минуты маленькой радости, и за долгіе дни безпросвѣтнаго горя. „А я, батюшка, не жалуюсь. И слава Богу, что въ рыболовы произвели. А то вотъ другого, такого же, какъ я, старика — Андрея Пупыря — въ бумажную фабрику, въ черпальную, барыня приказала поставить“. Или: „Какое, батюшка, жалованье... Харчи выдаются— то слава Тебѣ Господи! много доволенъ. Продли Богъ вѣка нашей госпожѣ“. А что отвѣчаетъ на вопросъ автора о причинѣ наказанія буфетчикъ Васька, безотвѣтная жертва Стегунова: „А подѣломъ, батюшка, подѣломъ. У насъ по пустякамъ не наказываютъ; такого заведенья у насъ нѣту — ни, ни. У насъ баринъ не такой; у насъ баринъ... такого барина въ цѣлой губерніи не сыщешь“.

„Вотъ она старая Русь!“—подумалъ авторъ, выслушавъ слова Васьки. И эта старая Русь не многими поэтами была воспѣта такъ, какъ Тургеневымъ. Онъ

постигъ практику и философію этого смиренія и воплотилъ ихъ въ яркія фигуры. Его Ѳома Кузьмичъ („Бирюкъ") — фанатикъ долга. Онъ не умѣетъ подходить къ фактамъ съ критическимъ анализомъ. Онъ воспринялъ свои нравственныя представленія безъ провѣрки и слѣпо слѣдуетъ тому, что признано установившимся строемъ. Тщетно умоляетъ его о пощадѣ несчастный мужичонка, котораго онъ захватилъ во время кражи лѣса. Его не трогаетъ печальный видъ мужика „мокраго, въ лохмотьяхъ, съ длинной растрепанной бородой". Его не трогаютъ ссылки пойманнаго на нужду и разореніе, его отчаянье, почти безумные вопли. Ему и въ голову не могъ придти вопросъ, почему онъ долженъ посвятить всѣ свои силы охранѣ господскаго лѣса. „Вязанки хвороста не дастъ утащить, — говорили о немъ мужики; — въ какую бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться — силенъ, дескать, и ловокъ, какъ бѣсъ... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами, ни на какую приманку не идетъ". Такова практика могучихъ натуръ, создававшихся на почвѣ крѣпостническихъ отношеній. Великія силы народныя, достойныя лучшей участи, находили себѣ приложеніе въ беззавѣтномъ служеніи крѣпостническимъ формамъ жизни, и на этихъ покорныхъ натурахъ, на этомъ своеобразномъ величіи по преимуществу останавливался взоръ художника, которому трудно было уловить зародыши будущаго, подслушать еще неясно звучавшіе голоса протеста и злобы. Въ лицѣ бирюка мы видимъ, въ чемъ находилъ себѣ выходъ богатый запасъ силъ, дремавшихъ въ народѣ.

Но, можетъ быть, ни въ чемъ художественный геній Тургенева не проявился такъ ярко, какъ въ изображеніи мечтателей, теоретиковъ смиренія, въ обнаруженіи богатаго своеобразнаго міра идей, о Богѣ, при-

родѣ и правдѣ, міра, который сложился въ душѣ крестьянина... Онъ подслушалъ его поэтическія преданія среди степного простора, и въ заповѣдныхъ лѣсахъ, и ночью при фантастическомъ свѣтѣ костра, когда темное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стоитъ надъ нами со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ; когда сладко стѣсняется грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ,—запахъ русской ночи, когда кругомъ не слышно ни звука и дрожь пробѣгаетъ по тѣлу при внезапномъ шумѣ плеснувшей въ рѣкѣ рыбы или прибрежнаго тростника, поколебленнаго набѣжавшей волной. Онъ умѣлъ передать поэзію великаго смиренія, заглянуть въ наивную душу, населившую міръ живыми силами и духами, перелить въ слова музыку пѣсни,—безбрежной русской пѣсни, отъ которой вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо-широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ глазами, уходя въ безконечную даль. И не только все поэтическое и идеальное, что вѣками складывалось въ душѣ крѣпостного народа, собралъ онъ. Онъ проникъ въ самую глубь, откуда билъ этотъ богатый родникъ поэзіи. Онъ подслушалъ шопотъ дѣтей ночью у костра, когда жутко становится на душѣ и рождается міръ сказокъ, яркихъ и страшныхъ.

Его смиренники не только страдальцы. Они мыслители, философы. У нихъ своя космологія, своя система морали, которую они развиваютъ во всѣхъ деталяхъ. Сколько глубины таится въ простыхъ словахъ Лукерьи („Живыя мощи"). Нѣкогда первая красавица во всей дворнѣ, полная, высокая, румяная, хохотунья, плясунья и пѣвунья, предметъ обожанія деревенскихъ парней, а теперь страшная мумія съ высохшей одноцвѣтной головой — Лукерья не произноситъ ни одной жалобы, не бросаетъ ни одного упрека Небу. Она полюбила, и, когда душа ея была полна поэзіей любви,

она не умѣла спать и вышла ночью въ садъ слушать пѣвца любви—соловья. И ей почудилось, что въ воздухѣ прозвучалъ любимый голосъ, звавшій ее, она оступилась, упала и навсегда прикована къ подмосткамъ, которые господская доброта какъ милостыню бросила этому живому трупу. Она умѣла любить, какъ умѣютъ немногіе. Она сумѣла и прощать, и потрясенный останавливается читатель передъ этимъ величіемъ духа, не растратившаго своихъ сокровищъ въ страданіи. Тотъ, кого она любила, женился на другой, и она вынесла ему приговоръ, сотканный изъ любви и жертвы: „Очень онъ меня любилъ — да вѣдь человѣкъ молодой — не оставаться же ему холостымъ. И какая ужъ я ему могла быть подруга? А жену онъ нашелъ себѣ хорошую, добрую,—и дѣтки у нихъ есть... И очень ему, слава Богу, хорошо“. Господа, которымъ она служила, безплодно пытавшіеся излѣчить ее, порѣшили, что „въ барскомъ домѣ держать калѣкъ неспособно“, и помѣстили ее въ плетеный сарайчикъ, куда ставятъ ульи на зиму. И она любила и благословляла ихъ. Она развиваетъ своеобразную теорію счастья и морали. Истинная добродѣтель и истинное счастье въ отреченіи. Она лишена радостей жизни, но зато свободна и отъ ея соблазновъ, отъ опасности грѣха. „Многимъ хуже моего бываетъ. Хоть бы то взять: иной здоровый человѣкъ очень легко согрѣшить можетъ; а отъ меня самъ грѣхъ отошелъ“. Природа для нея живой міръ. Она слышитъ, какъ кротъ подъ землею роется, какъ цвѣтетъ липа въ саду или гречиха въ полѣ. Она творитъ поэтическіе міры, которыхъ не знаютъ культурные поэты. Она бесѣдуетъ въ этихъ видѣніяхъ съ Христомъ, и Онъ зоветъ ее къ себѣ: „Не бойся, говоритъ, невѣста Моя разубранная, ступай за Мною; ты у Меня въ царствѣ небесномъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія“. Здѣсь въ глуши русской деревни родилась эта

философія, которая учитъ, что въ удаленіи отъ міра, въ сліяніи съ природой можно обрѣсти Бога, — философія, которая заставляетъ человѣка считать себя звеномъ въ конечной цѣпи мірозданія, чувствовать свой нравственный долгъ въ служеніи высшему надземному началу. Ту же проповѣдь смиренія слышимъ мы изъ устъ другого простолюдина-мечтателя („Касьянъ съ Красивой Мечи"). Онъ тоже сливается съ природой, чувствуетъ себя частью великаго цѣлаго. И въ его глазахъ видимый міръ есть созданіе благой высшей воли, а потому всякій протестъ есть грѣхъ, всякое убійство, всякая попытка измѣнить жизнь природы есть возстаніе противъ Бога. „Все благо, правъ судьбы законъ". Вездѣ хорошо. „Какъ пойдешь, — говоритъ Касьянъ, — и полегчитъ, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу ты виднѣй, и поется ладнѣй". Касьянъ упрекаетъ охотника за то, что онъ убилъ коростеля. Онъ допускаетъ употребленіе въ пищу рыбы, „нѣмой твари", которая „не веселится и не чувствуетъ", даже домашней птицы, потому что она „Богомъ опредѣлена для человѣка". Но все, что говоритъ его душѣ о ликованіи природы, о трепетѣ жизни, разлитой въ ней, представляется Касьяну святыней. „Коростель—птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла"...

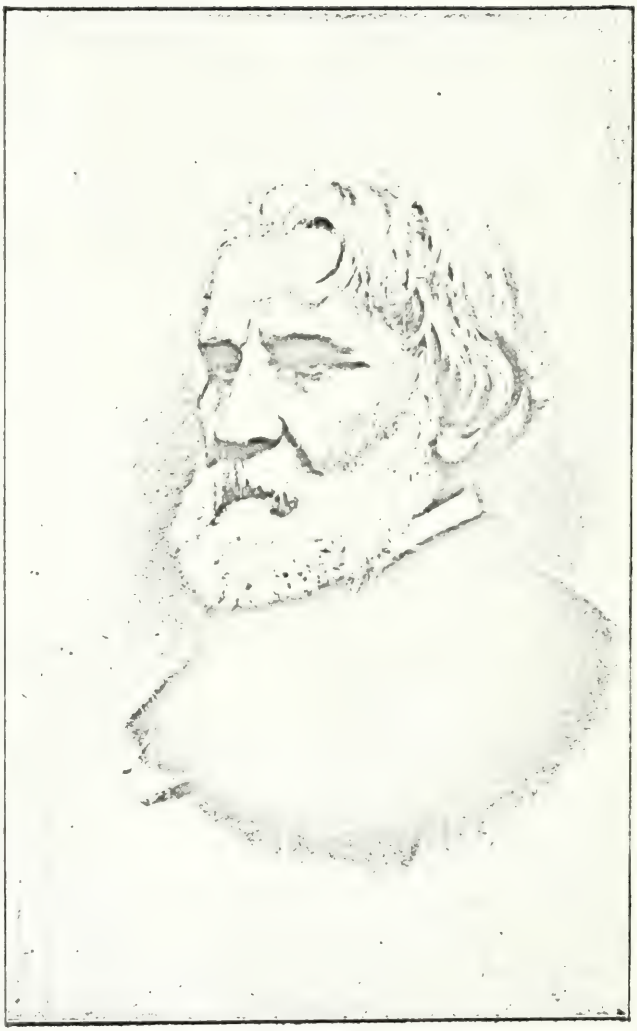
Проникнувъ глубоко въ нравственный міръ крестьянства, Тургеневъ въ разсказѣ „Пѣвцы" въ лицѣ двухъ пѣвцовъ, вступившихъ между собою въ состязаніе, показываетъ богатые родники поэзіи, которые скрываются въ душѣ народа. Особенно захватываетъ пѣсня Якова, вышедшаго побѣдителемъ. Въ его голосѣ была и неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и слабость, и какая-то

увлекательно-безпечная, грустная скорбь. „Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась... Помнится, я видѣлъ однажды, вечеромъ во время отлива, на плоскомъ, песчаномъ берегу моря, грозно и тяжко шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья навстрѣчу знакомому морю, навстрѣчу низкому, багровому солнцу: я вспомнилъ о ней, слушая Якова". „Бѣжинъ лугъ" дополняетъ серію разсказовъ, раскрывавшихъ богатыя силы, заложенныя въ русскомъ народѣ. Предъ нами нѣсколько крестьянскихъ ребятишекъ, стерегущихъ табунъ въ лѣтнюю ночь. Они разсказываютъ другъ другу страшныя вещи о домовомъ, котораго одинъ изъ ребятъ слышалъ своими ушами, о русалкѣ, которая манила съ дерева слободскаго плотника Гаврилу и на всю жизнь сдѣлала его „невеселымъ", о покойномъ баринѣ, который выходитъ по ночамъ изъ могилы и ищетъ разрывъ-траву, потому что его давитъ могила. Жутко и страшно становится отъ этихъ разсказовъ, полныхъ мрачной и грустной поэзіи. Таинственные звуки, раздающіеся въ лѣсу, заставляютъ вздрагивать ребятъ и прижиматься другъ къ другу. И на фонѣ этой великолѣпной безлунной ночи вырисовывается безстрашная фигура самаго интереснаго изъ мальчиковъ, Павлуши, который смѣло бросается въ лѣсъ, за собаками, встревоженными какимъ-то шумомъ, и спокойно возвращается, не встрѣтивъ ожидаемаго волка.

Но самымъ драгоцѣннымъ памятникомъ крестьянскаго быта той эпохи остается первый разсказъ — „Хорь и Калинычъ". Предъ нами два противоположныхъ типа: одинъ — дѣлецъ, человѣкъ практической инициативы, другой—мечтатель-идеалистъ. Оба прі-

ятеля,—разсказываетъ авторъ,—нисколько не походили другъ на друга. Хорь былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т.-е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями. Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ. Хорь расплодилъ большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой онъ боялся, а дѣтей не бывало вовсе. Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина, Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ. Хорь любилъ Калиныча и оказывалъ ему покровительство. Калинычъ любилъ и уважалъ Хоря. Хорь говорилъ мало, посмѣивался и разумѣлъ про-себя; Калинычъ объяснялся съ жаромъ, хотя и не пѣлъ соловьемъ какъ бойкій фабричный человѣкъ... Калинычъ стоялъ ближе къ природѣ, Хорь же—къ людямъ, къ обществу. Когда Тургеневъ разсказывалъ обоимъ пріятелямъ о своихъ поѣздкахъ за границу, Хорь много разспрашивалъ, но интересовался по преимуществу вопросами административными и государственными, Калиныча больше трогали описанія горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ. Хорь не умѣлъ читать, Калинычъ былъ грамотенъ.

Отличительная черта Хоря—умъ, трезвый, дѣловой умъ. Всякій фактъ онъ изслѣдуетъ исключительно съ точки зрѣнія практическихъ послѣдствій и своихъ интересовъ. Онъ не знаетъ никакихъ общихъ принциповъ и точекъ зрѣнія, кромѣ тѣхъ, которыя складываются какъ выводъ, какъ равнодѣйствующая изъ реальныхъ отношеній. Съ практической мѣркой онъ подходитъ ко всѣмъ людямъ и ко всѣмъ явленіямъ. Къ помѣщику Полутыкину онъ относится съ оттѣнкомъ пренебреженія и ироніи, потому что Полутыкинъ



„ему сапоговъ не сошьетъ“. Ему чужды рабскія рѣчи о господской непогрѣшимой волѣ, о преданности, о патріархальныхъ традиціяхъ. Онъ просто смотритъ на Полутыкина какъ на реальный фактъ, съ которымъ нужно считаться и изъ котораго слѣдуетъ извлечь всю возможную пользу. Онъ устроилъ свои отношенія на основахъ взаимной выгоды. Онъ платитъ ему большой оброкъ, за то пользуется полной независимостью. Откупиться на волю онъ не желаетъ, такъ какъ подъ помѣщикомъ онъ лучше защищенъ отъ всякихъ покушеній чиновниковъ и, конечно, это практическое удобство не промѣняетъ на эфемерный идеалъ личной свободы. Выгода, интересъ, — эти могучіе стимулы, возведенные въ культъ буржуазіей, глубоко постигнуты Хоремъ, въ которомъ можно видѣть ранняго представителя идеи честнаго предпринимательства и наживы. Онъ не любитъ ничего, что не относится къ дѣлу, онъ презираетъ бабъ, считаетъ пустяками ихъ ссоры, ради которыхъ „не стоитъ рукъ марать“. Въ этой фигурѣ воплощается то могучее усиліе, сосредоточенное на одной цѣли, которое позволило новымъ людямъ, людямъ иниціативы, овладѣть міромъ и возвести свой престолъ на развалинахъ умирающаго дворянства, съ его практической безпомощностью, съ его романтическими преданіями, барской праздностью и неспособностью понять смыслъ новыхъ зарождающихся отношеній капиталистическаго вѣка. Хорь и Полутыкинъ, это—торжествующее будущее и разлагающееся прошлое.

Въ своемъ цѣломъ „Записки охотника“—правдивая эпопея усадебнаго и крестьянскаго міра, но эпопея, на которую легла не только печать гуманнаго противника рабства, но, можетъ-быть, еще въ большей степени меланхолическая грусть души, сроднившейся со старымъ патріархальнымъ міромъ отношеній, съ поэзіей смиренія, съ мечтательной философіей, съ

жуткимъ чувствомъ, навѣваемымъ таинственными звуками въ лѣсу, — словомъ, съ тѣмъ міромъ, который долженъ былъ рушиться съ паденіемъ крѣпостного права. Если въ „Запискахъ охотника“ протестъ противъ насилія и гнета порою заглушаетъ еще тоску поэта объ умирающемъ мірѣ, то въ слѣдующихъ произведеніяхъ эта тоска становится преобладающимъ чувствомъ, и поэтъ-дворянинъ достигаетъ апогея своей творческой силы. Уже въ „Записки охотника“ была включена повѣсть о внутренней трагедіи „лишняго человѣка“. Въ 1855 году былъ написанъ первый большой романъ Тургенева „Рудинъ“, въ 1858—„Дворянское гнѣздо“.

III.

„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и „Дневникъ лишняго человѣка“.—Происхожденіе и міросозерцаніе „лишняго человѣка“.—„Рудинъ“. - Настроеніе, господствующее въ этомъ романѣ.—Гегеліанство Рудина.—Воспитаніе и исторія Рудина.—Праздность и кружки.—Паносъ и краснорѣчіе Рудина.—Его практическія попытки и безсиліе.—Отношеніе автора къ герою и роль Рудиныхъ въ жизни.—„Дворянское гнѣздо“, какъ лучшее выраженіе тургеневскихъ настроеній.—Воспитаніе Лаврецкаго.—Практическая дѣятельность Лаврецкаго.—Дала ли она ему удовлетвореніе?

Тургеневъ принадлежитъ къ числу художниковъ-мыслителей. Онъ не только создавалъ художественные образы. Онъ хотѣлъ самъ быть ихъ комментаторомъ. Онъ утвердилъ за своими главными героями имя, ярко опредѣлившее ихъ общественное значеніе. „Гамлеты“ и „лишніе люди“,—эти названія устанавливаютъ ихъ главные признаки. Они — люди мысли и анализа, во-первыхъ, они — люди непригодные къ жизни, во-вторыхъ. Еще до появленія Рудина и Лаврецкаго Тургеневъ заставилъ лишняго человѣка раскрыть передъ нами причины и сущность своихъ страданій. „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“,—желчный представитель мысля-

щаго дворянства. Его исторія — печальная біографія этихъ ненужныхъ людей. Онъ проклинаетъ всѣ этапы того обычнаго пути, который они проходили. Онъ превосходно говоритъ по-французски, еще лучше по-нѣмецки. Три года онъ провелъ за границей, въ одномъ Берлинѣ пробылъ восемь мѣсяцевъ, „Гегеля изучилъ, Гёте зналъ наизусть“, былъ „долго влюбленъ въ дочь германскаго профессора, женился на чахоточной барышнѣ, лысой, но весьма замѣчательной личности“. Въ такія карикатурныя формы облекаетъ озлобленный умъ доморощеннаго Гамлета обычный путь, который проходилъ идеалистъ 40-хъ годовъ. Несмотря на карикатурный характеръ разсказа, этапы этого пути ярко обрисованы „Гамлетомъ“: Гегель, заграница и любовь,— любовь нелѣпая съ точки зрѣнія разсудка, но расцвѣченная богатыми узорами наивнаго и восторженнаго идеалиста,—таковы эти этапы. „Гамлетъ“ не щадитъ себя и своего поколѣнія. Онъ указываетъ безплодность эстетическаго и идеалистическаго направленія. „Посудите сами... какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью? И какъ прикажете примѣнить ее къ нашему быту, да не ее одну, энциклопедію, а вообще нѣмецкую философію... Зачѣмъ же ты таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ? Ты бы и потребности ея узналъ, и будущность, и насчетъ своего, такъ сказать, призванія тоже въ ясность бы пришелъ... Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то,—да молчитъ она, голубушка. Пойми меня, дескать, такъ; а мнѣ это не подъ силу“. Такова была трагедія передового дворянства 40-хъ годовъ. Не тому они учились, чему слѣдовало учиться. Да и не могли они учиться тому, чему слѣдовало: молчала передъ ними русская жизнь, и „не подъ силу“ имъ было понять ее. Не всегда такъ суровъ къ грѣху дворян-

ства Тургеневъ. Даже въ озлобленныхъ рѣчахъ „Гамлета“ слышится не столько бичующій голосъ, сколько жалость къ себѣ и мрачный пессимизмъ передъ неразрѣшимой загадкой жизни. Въ „Дневникѣ лишняго человѣка“ этотъ пессимизмъ, это отчаяніе становятся еще болѣе безысходными, и авторъ не находитъ отвѣта на вопросъ, почему гибнутъ въ безплодныхъ порывахъ лучшіе умы и благородныя сердца. „О, Боже мой, Боже мой! Я вотъ умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанетъ биться... И неужели же оно затихнетъ навсегда, не извѣдавъ ни разу счастья, не расширяясь ни разу подъ сладостнымъ бременемъ радости? Увы!—это невозможно“...

И Тургеневъ въ цѣлой вереницѣ поэтическихъ образовъ увѣковѣчилъ картину страданій идеалиста 40-хъ годовъ. Рудинъ былъ самымъ яркимъ изъ этихъ образовъ и принадлежитъ къ числу прекраснѣйшихъ созданій Тургенева. „Вѣдь ужъ мало остается насъ, братъ,—говоритъ Рудину Лежневъ въ концѣ романа,—вѣдь мы съ тобою послѣдніе могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать въ старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа рѣдѣетъ вокругъ насъ, когда новыя поколѣнія идутъ мимо насъ къ не нашимъ цѣлямъ, намъ надобно крѣпко держаться другъ за друга“. Этими грустными словами опредѣляется настроеніе, проникающее первый большой романъ Тургенева. Это поэзія осенняго очарованія, послѣднихъ яркихъ лучей солнца, озаряющихъ золотой дождь опадающихъ листьевъ. Весь запасъ паѳоса, вся жажда добра и дѣла, всѣ муки наслѣдственнаго грѣха и проснувшейся совѣсти, все безсиліе и отчаяніе умирающаго класса, наконецъ, могучій порывъ къ высшей гармоніи,—порывъ, создающій титановъ на высотахъ отвлеченной мысли и безпомощныхъ пигмеевъ на низинахъ жизни,—все это вылилось въ Рудинѣ. Его творецъ — не врагъ своего

героя. Они — свои. Они говорятъ однимъ языкомъ и живутъ въ общемъ кругѣ понятій. Тургеневу приписывали двойственное отношеніе къ Рудину. Но въ этой двойственности скрывается глубокое единство. Онъ вѣренъ себѣ и въ тѣ моменты, когда казнитъ Рудина за его слабости, и въ тѣ моменты, когда рисуетъ его искренній паѳосъ, зажигательное дѣйствіе его рѣчей. Онъ казнитъ его какъ свой своего, и скорбь родственной натуры, тоска товарища по дѣлу чувствуется въ этомъ бичеваніи. Они могли „враждовать въ старые годы“, но теперь, „когда новыя поколѣнія идутъ мимо нихъ, не къ ихъ цѣлямъ“, они чувствуютъ больше, чѣмъ когда-нибудь, сродство своихъ душъ, и общая тоска по умирающей культурѣ, общая скорбь о взрощенныхъ вѣками привычкахъ и вкусахъ, о ненужномъ, но дорогомъ кругѣ понятій отодвигаетъ на второй планъ тѣ различія и ту вражду, которая отдѣляетъ ихъ другъ отъ друга. Много внутренней трогательной нѣжности вложилъ Тургеневъ въ изображеніе Рудина. Она чувствуется и тогда, когда звучатъ рѣчи Рудина, и этой нѣжностью затушевывается легкая иронія, съ которой временами подходитъ къ нимъ авторъ. Слезы неподдѣльнаго умиленія звенятъ въ описаніи ночныхъ студенческихъ споровъ, кружка Покорскаго, точно списаннаго съ кружка Станкевича. И пусть жизнь насмѣялась надъ паѳосомъ Рудина и метафизическими увлеченіями студенческихъ кружковъ,—безпочвенная жажда добра и дѣла, гегеліанство съ его гармонической картиной міра, все, чѣмъ питалась мысль идеалистовъ 40-хъ годовъ, оторванныхъ отъ реальной жизни и жившихъ своей грезой объ абсолютномъ разумѣ и гармоніи, — надъ всѣмъ этимъ не смѣется Тургеневъ. Онъ не бичуетъ этихъ усилій и порывовъ. Погребая ихъ, онъ хоронитъ свои собственныя святыни, справляетъ тризну о томъ мірѣ, съ которымъ умретъ самое дорогое и интимное его собствен-

наго духа. Онъ не попытается оживить того, въ комъ нѣтъ жизни, но онъ проводитъ его въ могилу сочувственнымъ словомъ, разскажетъ міру объ его предсмертныхъ страданіяхъ, раскроетъ предъ нами богатый міръ страстей и чувствъ, выросшихъ на почвѣ этой догорающей культуры, окинетъ новымъ взглядомъ и природу, и человѣка, и мірозданіе.

Рудинъ представляетъ собою самое яркое воплощеніе типа „лишняго человѣка", съ которымъ мы уже познакомились въ лицѣ Бельтова. Его характернѣйшая черта — своеобразный умъ, — умъ, склонный къ апріорнымъ построеніямъ, усвоившій метафизическіе методы мышленія. Начиная съ Онѣгина и кончая Обломовымъ, всѣ „лишніе люди" въ умственномъ отношеніи стоятъ цѣлой головой выше окружающаго ихъ общества. Умъ Рудина — особый, отвлеченный умъ. Онъ — истинное дитя, этой идеалистической эпохи, ея привычки искать проявленія абсолютнаго разума въ частныхъ явленіяхъ, ея философіи безъ фактовъ. Первое столкновеніе Рудина съ Пигасовымъ—раннее проявленіе будущаго конфликта отцовъ и дѣтей. „Смерть моя общія разсужденія... всякій толкуетъ о своихъ убѣжденіяхъ",—говоритъ Пигасовъ. „Стало-быть, по-вашему убѣжденій нѣтъ". —„Нѣтъ".—„Это ваше убѣжденіе?" — „Да". — „Какъ же вы говорите, что ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай". Въ этомъ столкновеніи, изъ котораго Рудинъ такъ остроумно вышелъ побѣдителемъ, отразился весь смыслъ возникающей борьбы между идеализмомъ и матеріализмомъ. Гдѣ путь къ познанію истины? Въ чувственномъ мірѣ, въ мірѣ явленій, или въ мірѣ сверхчувственномъ, въ мірѣ, который открывается намъ въ прирожденныхъ идеяхъ, въ непреложныхъ убѣжденіяхъ, живущихъ внутри насъ. Кто правъ, Рудинъ или Пигасовъ, гегеліанецъ, ищущій внутри себя отвѣта на вопросъ о тайнахъ міра, или матеріалистъ Пигасовъ, кото-

рый вѣритъ только „опыту, собственному чувству“. „Стремленіе къ отысканію общихъ началъ въ частныхъ явленіяхъ есть одно изъ коренныхъ свойствъ человѣческаго ума“,—таковъ былъ девизъ Рудина и его эпохи. Этотъ строй мысли былъ навѣянъ философіей Гегеля и Шеллинга, и воспоминанія современниковъ говорятъ намъ, что, онъ создавалъ возвышенное настроеніе, тотъ паѳосъ который былъ отличительной чертой Рудина. „Съ какой юношеской и благородной гордостью, — говоритъ біографъ Станкевича,—понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія,—словомъ, становился ея центромъ, судьей и объяснителемъ... Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни“. Герценъ въ „Быломъ и Думахъ“ не безъ ироніи вспоминалъ объ этомъ наивномъ стремленіи московскихъ гегеліанцевъ искать въ каждомъ явленіи слѣдовъ міроваго разума. „Все *въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью... Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту“ или къ „трагическому въ сердцѣ“. Рудинъ—лучшее въ литературѣ отраженіе этого идеалистическаго настроенія. Онъ обладалъ удивительной

способностью подходить къ каждому явленію съ точки зрѣнія отвлеченной категоріи, озирать его съ высотъ того космоса, гдѣ земныя страсти и житейскія драмы окрашивались въ своеобразные причудливые цвѣта. Къ какому бы факту ни прикоснулся Рудинъ, онъ запутывалъ его метафизическими умствованіями, и если активно вмѣшивался въ жизнь,—это вмѣшательство превращало простыя и ясныя вещи въ загадочные сфинксы. Отношенія и интересы, которые легко разрѣшились бы при помощи здраваго смысла, превращаются въ неразрѣшимыя проблемы передъ лицомъ космоса. Когда его другъ Лежневъ влюбился, Рудинъ сдѣлалъ изъ этого обыкновеннаго событія фактъ мірового значенія. „Онъ пришелъ въ восторгъ неописанный,—разсказываетъ Лежневъ, — поздравилъ, обнялъ меня и тотчасъ же пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія". Въ концѣ-концовъ Рудинъ разбилъ счастье своего пріятеля. „Вслѣдствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, и своей и чужой, пришпиливать словомъ, какъ бабочку булавкой, онъ пустился обоимъ намъ объяснять насъ самихъ, наши отношенія, какъ мы должны вести себя, деспотически заставлялъ отдавать себѣ отчетъ въ нашихъ чувствахъ и мысляхъ, хвалилъ насъ, порицалъ, вступилъ даже въ переписку съ нами, вообразите! Сбилъ насъ съ толку совершенно!"

Мы видѣли выше, какія общественныя условія породили типъ гегеліанца въ русской общественной жизни. Безъ Рудина мы не имѣли бы живой фигуры, конкретнаго образа, увѣковѣчившаго цѣлую полосу нашей общественности. Тѣ черты, которыя въ разрозненномъ видѣ сохранились въ историческихъ документахъ эпохи, облечены здѣсь въ плоть и кровь. И не только наивный идеалистъ эпохи воскресаетъ предъ нами изъ дали прошлаго, воскресаетъ и обстановка,

въ которой складывались и развивались подобныя натуры.

Исторія Рудина, это—исторія самого Герцена, Тургенева, ихъ героевъ Бельтова, Лаврецкаго и сотенъ другихъ представителей пробудившагося дворянства. Различны частности, но неизмѣненъ общій фонъ картины. Одни изъ нихъ были богаты, другіе бѣдны, у однихъ были просвѣщенные, у другихъ невѣжественные родители. Но ходъ развитія одинаковъ во всѣхъ случаяхъ. Усадебная обстановка и дворянская праздность въ дѣтствѣ, университетъ, Гегель и заграница въ юности, муки мысли, благородныя пламенныя исканія потомъ, практическая непригодность къ жизни, безсиліе и разочарованіе въ итогѣ. Рудинъ былъ сынъ бѣдныхъ помѣщиковъ. Но мать замѣнила ему средства: „толокномъ однимъ питалась, и всѣ, какія были у ней денежки употребила на него". Рудинъ былъ бѣденъ, но заботы матери привели къ тому, что къ нему вполнѣ были примѣнимы слова Некрасова: „Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ освободило отъ малыхъ трудовъ". Послѣ дѣтства въ уютной обстановкѣ усадебнаго барства подъ крыломъ матери—университетъ. И здѣсь забота о насущномъ хлѣбѣ невѣдома Рудину. Сначала дядя, потомъ какой-то князь. Бѣдные родственники, приживалы и прихлебатели, этотъ старый міръ, въ которомъ сливается искреннее простодушіе и наивное попраніе человѣческаго достоинства, оживаетъ передъ нами въ брошенныхъ вскользь словахъ Лежнева. Барскіе вкусы, привычку къ праздности, близко соприкасавшейся съ тунеядствомъ, усвоивали себѣ не только владѣльцы огромныхъ помѣстій, но и ихъ бѣдные родственники и штаты приживаловъ и приживалокъ. Университетъ!.. Московскій университетъ 30-хъ и 40-хъ годовъ! При одномъ упоминаніи о немъ воскресаетъ благородная фигура Станкевича, студенческіе кружки, горячіе споры

и пламенное стремленіе къ истинѣ, воскресаетъ вся эта атмосфера наивнаго идеализма, общественное движеніе, еще не дифференцировавшееся, скорѣе предвѣстіе настоящаго общественнаго движенія. „Какъ вспомню я наши сходки,—разсказываетъ Лежневъ,—ну, ей Богу же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго. Вы представьте: сошлись человѣкъ пять—шесть мальчишекъ, одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи,—говоримъ иногда вздоръ, восхищаемся пустяками; но что за бѣда!.. Покорскій сидитъ, поджавъ ноги, подпираетъ блѣдную щеку рукой; а глаза его такъ и свѣтятся. Рудинъ стоитъ посрединѣ комнаты и говоритъ, говоритъ прекрасно, ни дать, ни взять—молодой Демосѳенъ передъ шумящимъ моремъ; взъерошенный поэтъ Субботинъ издаетъ повременамъ и какъ бы во снѣ отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній буршъ, сынъ нѣмецкаго пастора Шеллеръ, прослывшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимаго молчанія, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; самъ веселый Щитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаетъ и только ухмыляется; два—три новичка слушаютъ съ торжественнымъ наслажденіемъ... А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ уже и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ... и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали и понятнѣе... Эхъ! славное было тогда время, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ!"

Рудинъ прошелъ обѣ стадіи, обычныя въ исторіи развитія мыслящаго дворянина той эпохи: дѣтство, пріучившее его къ праздности, не давшее ему основъ для практической дѣятельности, и юность, развившую въ немъ безплодный паѳосъ и отвлеченный энтузіазмъ. Его жизнь соотвѣтствовала этой подготовкѣ. Разсмотримъ тѣ черты, которыя раскрывались въ этомъ „лишнемъ человѣкѣ“ при столкновеніи съ дѣйствительностью.

Рудинъ — вдохновенный ораторъ. Изъ его рѣчи трудно извлечь практическіе выводы. Онъ держится больше общихъ разсужденій. Но внутренне онъ сливается съ тѣмъ космосомъ, съ тѣмъ міровымъ абсолютнымъ разумомъ, присутствіе котораго всегда чувствовала душа восторженнаго гегеліанца; и потому рѣчь Рудина, несмотря на ея приподнятый тонъ, дышала искренностью, заражала его паѳосомъ окружающихъ, и особенно сильно дѣйствовала на молодежь. Онъ говорилъ мастерски, увлекательно, не совсѣмъ ясно... но самая эта неясность придавала особую прелесть его рѣчамъ. Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна—вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Рудинъ говорилъ о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе

временной жизни человѣка. Вѣчное во временномъ, раскрытіе абсолютной идеи въ преходящихъ явленіяхъ жизни, обнаруженіе міровой гармоніи въ повседневныхъ фактахъ, — эти исканія русскихъ гегеліанцевъ давали имъ тотъ паѳосъ краснорѣчія, которымъ владѣлъ Рудинъ. Его рѣчи, такъ же, какъ и все его существо, были предчувствіемъ будущаго, симптомомъ пробужденія мысли, уже родившейся, уже зовущей къ правдѣ.

Въ жизни Рудинъ безпомощенъ и несостоятеленъ. Онъ кончаетъ полнымъ банкротствомъ, и его разсказъ въ эпилогѣ—печальная повѣсть идеалиста, не нашедшаго примѣненія своимъ богатымъ силамъ. Онъ пытался дѣйствовать, приносить пользу, вліять на ходъ жизни, но эти попытки остались безрезультатными Онъ встрѣтилъ богатаго чудака, бездарнаго, но одержимаго неутомимымъ рвеніемъ къ наукѣ. Рудинъ увлекся планами широкихъ практическихъ затѣй, которыя можно было осуществить на средства богатаго пріятеля. Онъ накупилъ агрономическихъ книгъ, хотя и не прочелъ ихъ, затѣялъ рядъ усовершенствованій и нововведеній. Другъ дорожилъ его каждой мыслью, принималъ всѣ его предложенія, хотя и смотрѣлъ на него съ тайнымъ недовѣріемъ. Два года Рудинъ почти безконтрольно распоряжался средствами, два года онъ пользовался рѣдко встрѣчающимися въ жизни благопріятными условіями для примѣненія своихъ силъ. И онъ не создалъ ничего. Дѣло шло плохо. Начались ссоры съ богатымъ пріятелемъ. Гегель оказался безполезнымъ для сельскаго хозяина, а къ практической дѣятельности Рудинъ не готовился. И какъ знать, почему постигла Рудина неудача. Авторъ ничего не говоритъ объ ея причинахъ. Онъ не упоминаетъ о томъ, что крѣпостное хозяйство сотрясалось въ своихъ основахъ, и не въ деревнѣ нужно было искать себѣ дѣла лучшимъ силамъ страны, не въ заплатахъ на ветхомъ

платьѣ стараго дворянскаго общества. Не по тѣмъ же ли причинамъ скучалъ всю жизнь предшественникъ Рудина Онѣгинъ, который тоже пробовалъ реформировать сельское хозяйство?

Чтобъ только время проводить,
Сперва задумалъ нашъ Евгеній
Порядокъ новый учредить.

Геніальный поэтъ въ безсмертной строфѣ увѣковѣчилъ трагедію реформаторскихъ стремленій просвѣщеннаго и скучающаго дворянства. Отъ скуки замѣняли они легкимъ оброкомъ „яремъ барщины старинной", врѣзываясь клиномъ въ сложившіяся формы хозяйственныхъ отношеній, не создавая ничего для крушенія этихъ формъ и пріобрѣтая репутацію „опаснѣйшихъ чудаковъ" въ глазахъ сосѣдей. По этимъ же причинамъ Лаврецкій, подводя итоги своему прошлому, съ грустью призналъ безполезной свою жизнь, хотя сознательно работалъ надъ улучшеніемъ быта своихъ крестьянъ.

Но Рудинъ пытался примѣнить свои силы не только въ деревнѣ. Онъ столкнулся и съ той сферой, куда устремлялось въ это время вниманіе Штольцевъ и Соломиныхъ, гдѣ иниціативѣ, уму и изобрѣтательности былъ открытъ широкій просторъ. Онъ захотѣлъ быть предпринимателемъ, войти въ ту новую только еще нарождавшуюся группу крупной буржуазіи, которая не состояла изъ чистыхъ хищниковъ, а представляла собою людей мыслящихъ, органически связывающихъ идею общаго блага съ мыслью о развитіи буржуазіи. Рудинъ сошелся съ нѣкимъ Курбеевымъ. Это былъ, по его словамъ, человѣкъ удивительно ученый, „творческая голова въ дѣлѣ промышленности и предпріятій торговыхъ". У нихъ возникъ рядъ смѣлыхъ проектовъ и между прочимъ идея превратить одну рѣку въ судоходную. Умный Лежневъ однимъ вопросомъ опредѣляетъ причину неудачи: „Этотъ

Курбеевъ былъ капиталистъ?“ Идеалисты и гегеліанцы не понимали роли капитала въ промышленной жизни. Рудинъ началъ дѣло безъ денегъ, онъ думалъ дѣйствовать однимъ убѣжденіемъ, онъ вѣрилъ, что его затѣя есть „общеполезное дѣло“, — обычная ошибка людей отживающаго класса, не умѣющихъ разобраться въ новыхъ формахъ жизни. Столь же печальное фіаско потерпѣла и третья попытка Рудина. Онъ обладалъ знаніями, владѣлъ рѣчью и способностями, онъ сталъ преподавателемъ гимназіи. Свою первую лекцію онъ прочелъ точно въ лихорадкѣ: вниманіемъ, участіемъ и изумленіемъ свѣтились лица его юныхъ слушателей. Но дальше – та же неспособность къ медленному, кропотливому труду, къ „малымъ дѣламъ“. Ученики плохо понимали вдохновеннаго оратора, въ рѣчи котораго было мало фактовъ и много горячаго увлеченія. Товарищи не взлюбили страннаго педагога, который хотѣлъ „коренныхъ преобразованій“. Учитель математики сбилъ его на какомъ-то памятникѣ XV вѣка. Словомъ, произошелъ обычный конфликтъ между тѣмъ, кто „дѣла себѣ исполинскаго ищетъ“, и тѣми, кто принужденъ такъ или иначе влачить существованіе среди „малыхъ трудовъ“. Рудинъ оказался непригоднымъ ни къ какому дѣлу. Въ жизни ему оставалось только влачить праздное существованіе. „Очень страненъ,— говоритъ А. К. Бороздинъ,—тотъ упрекъ, который дѣлается ему нѣкоторыми критиками за то, что онъ не поладилъ во имя блага учениковъ съ разными закорузлыми педантами и интриганами, такъ какъ поладить съ ними значило отказаться отъ мысли о преобразованіяхъ“. Съ этой точки зрѣнія А. К. Бороздинъ считаетъ несправедливымъ упрекать Рудина и за разрывъ его съ богатымъ чудакомъ-помѣщикомъ, и за всѣ остальныя его неудачи. Если критикъ имѣетъ въ виду Добролюбова, произнесшаго безпощадный приговоръ надъ „лишними людьми“, и вообще „дѣтей“,

сурово осудившихъ „отцовъ“, то онъ упускаетъ изъ виду, что Рудина и его сверстниковъ упрекали совсѣмъ не за это. Не въ томъ заключался недостатокъ этихъ людей, что они не умѣли поддѣлываться къ „закорузлымъ“ людямъ. Ихъ вина состояла въ отсутствіи умѣнья, способности и охоты для правильной борьбы съ этими людьми. Они не видѣли тѣхъ общественныхъ силъ, въ сліяніи съ которыми они могли бы отыскать прочный базисъ для плодотворнаго и полезнаго дѣла. Да и едва ли примѣнимо здѣсь слово „вина“. Нельзя винить людей, которыхъ традиція, воспитаніе и крѣпостническій строй жизни сдѣлали неприспособленными къ жизни. Рудинъ страдаетъ отъ своего неумѣнья взяться за дѣло, отъ непониманія жизни. Но едва ли можно спорить противъ того, что человѣкъ, не сумѣвшій осуществить въ гимназіи ни одного изъ задуманныхъ имъ „коренныхъ преобразованій“, ничего не сумѣвшій сдѣлать въ теченіе двухъ благопріятныхъ лѣтъ въ деревнѣ своего богатаго друга, оказавшійся наивнымъ мечтателемъ въ затѣянномъ имъ крупномъ предпріятіи, — что такой человѣкъ непригоденъ къ жизни. Всюду носителямъ лучшихъ идей и стремленій приходится сталкиваться съ „закорузлыми“ людьми, и выходъ не всегда состоитъ въ томъ, чтобы „ладить“ съ ними. Рудинъ не умѣлъ „ладить“, и это— свѣтлая сторона его натуры. Но Рудинъ не умѣлъ бороться и дѣйствовать, и въ этомъ его вина и его трагедія. Онъ былъ бариномъ по натурѣ, несмотря на свою бѣдность.

Мы видѣли, что представляетъ собою Рудинъ какъ мыслитель и членъ общества. Но, быть-можетъ, ни въ чемъ специфическія особенности его натуры не проявились такъ рѣзко, какъ въ его отношеніи къ своему личному счастью. У него была дѣвушка, которая его любила, дѣвушка необыкновенная, и предъ ней онъ оказался тѣмъ же безсильнымъ трусомъ, тѣмъ же без-

помощнымъ мечтателемъ, какимъ былъ въ жизни. Даже для того, чтобы осуществить свое право на личное счастье, не хватило силъ у этого человѣка. Наталья съ захватывающимъ интересомъ слушала его вдохновенныя рѣчи. Она полюбила его потому, что для нея слово и дѣло было одно, и она не сомнѣвалась, что за этими горячими рѣчами скрывается сильная воля и способность къ дѣлу. Въ первый разъ она смутилась и задумалась, когда онъ сказалъ ей, что ему пора отдохнуть. „Вамъ пора отдыхать... Отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стать полезнымъ. Кому же какъ не вамъ"... Она была потрясена, она поняла, кто былъ передъ ней, когда на ея вопросъ „что дѣлать?" послѣ отказа со стороны матери онъ отвѣтилъ: „покориться". Да и что могъ отвѣтить Рудинъ? Что дѣлалъ онъ всю свою жизнь, какъ не покорялся обстоятельствамъ. Онъ могъ говорить пламенныя рѣчи о любви, пока отъ него требовались только рѣчи. Но онъ оказался малодушнымъ, жалкимъ трусомъ, когда и личное счастье потребовало отъ него дѣла. „Такъ вотъ, вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвахъ". Наташа даетъ жестокій урокъ Рудину: „Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи, но знаете ли, если бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной", знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась".

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о роли Рудиныхъ въ жизни. У Рудина много достоинствъ. Онъ бережетъ свою свободу, онъ не уживается тамъ, гдѣ приходится вступать въ компромиссъ. Но его безпомощность и непригодность къ жизни лишаютъ его независимости, заставляютъ идти на компромиссы иного рода, мелкіе и постыдные. Онъ живетъ на чужой счетъ и не замѣчаетъ, что нерѣдко попадаетъ въ

положеніе приживала. Его самолюбіе, его желаніе всегда облекаться въ нарядъ необыкновеннаго человѣка заставляютъ его искать убѣжища въ позѣ и въ искусственномъ паѳосѣ. Рудинъ всегда позируетъ, и тогда, когда ни съ того, ни съ сего пріѣхалъ къ Волынцеву со своимъ непрошеннымъ довѣріемъ и уваженіемъ, и тогда, когда пишетъ свое прощальное письмо Наталіи, и тогда, когда приходитъ проститься съ Дарьей Михайловной. И въ самой рисовкѣ, въ самой позѣ Рудина много искренности. Есть люди, для которыхъ поза является ихъ естественнымъ состояніемъ, слово — ихъ единственнымъ дѣломъ. Таковъ Рудинъ. Оставляютъ ли слѣдъ по себѣ подобные люди? Отвѣтомъ можетъ служить восторженное поклоненіе юнаго Басистова: „Клянусь, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!“ Много споровъ возбудилъ вопросъ объ отношеніи самого Тургенева къ своему герою. Авторъ строже судитъ его въ первой половинѣ романа и мягче—во второй. Раздраженіе Лежнева противъ Рудина въ концѣ-концовъ превращается въ восторженный панегирикъ ему. Но эта двойственность только кажущаяся. Она — правдивое выраженіе мятущагося ума, страстно ищущаго истины, отраженіе колебаній той эпохи. Не въ паденіи заключается высшее несчастье человѣка: оно—въ сознаніи паденія. И не было противорѣчія въ томъ, что чувство раздраженія и негодованія противъ героя смѣшивалось въ душѣ Тургенева съ чувствомъ нѣжной жалости къ нему и преклоненія передъ его благороднымъ, хотя и безплоднымъ энтузіазмомъ. Творецъ Рудина умѣлъ негодовать при видѣ пропадающей силы, но умѣлъ цѣнить самую силу.

Каждая эпоха оставляетъ поучительный урокъ человѣчеству, произноситъ свое слово, ставитъ личность

въ новое, раньше невѣдомое отношеніе къ міру, открываетъ въ человѣческой душѣ новый уголокъ. И то вѣчное, что извлечетъ исторія изъ думъ и настроеній идеалиста 40-хъ годовъ, нашло свое воплощеніе въ лицѣ Рудина. Его имя уже стало нарицательнымъ именемъ, символомъ ума, который въ отчаяніи видитъ, что перерѣзанъ таинственный нервъ, отдѣляющій его отъ воли. „Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего именно потому, что въ немъ натуры, крови нѣтъ; но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ и не принесъ уже пользы; что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣньѣ исполнять собственные замыслы?“

Въ „Рудинѣ“ Тургеневъ изобразилъ внутренній міръ „лишняго человѣка“. Въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ онъ увѣковѣчилъ обстановку, въ которой подготовлялась и развертывалась его психологическая трагедія. Тусклыми красками осени окрашена эта повѣсть. Мы въ мірѣ мягкихъ проселочныхъ дорогъ, своенравныхъ старушекъ, рукъ которыхъ никогда не покидаютъ проворно бѣгающія спицы, въ мірѣ „Символовъ и Эмблемъ“ Максимовича-Амбодика съ изображеніями въ родѣ „купидона и медвѣдя, лижущаго своего медвѣжонка“, въ мірѣ религіозныхъ и любящихъ нянь, сказки которыхъ съ трепетомъ слушаетъ на ночь барчонокъ. Сюда не доносился шумъ города, первый говоръ машинъ, первые радостные крики рождающагося общества. И странными кажутся здѣсь оторвавшіяся отъ стараго гнѣзда блудныя дѣти, когда они возвращаются на родину, обожженныя огнемъ страстей, чуждыхъ этимъ мирнымъ полямъ, потрясенныя идеями, непонятными въ этихъ пріютахъ традиціи и вѣры. Имъ никогда уже не слиться гармонически съ этой усадебной атмосферой, но имъ никогда и не уйти отъ ея могучей власти. Всегда одинокими будутъ блуждать они по океану

жизни и здѣсь, и въ столицѣ, не приставъ ни къ одной пристани, повсюду принося свою тоску. Приложившись головой къ подушкѣ и скрестивъ руки на груди, Лаврецкій глядѣлъ на пробѣгавшіе вѣеромъ загоны полей, на медленно мелькавшія ракиты, на глупыхъ воронъ и грачей, съ тупой подозрительностью взиравшихъ бокомъ на проѣзжавшій экипажъ, на длинныя межи, заросшія чернобыльникомъ, полынью и полевой рябиной; онъ глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы,—вся эта, давно имъ невиданная, русская картина навѣвала на его душу сладкія и въ то же время почти скорбныя чувства, давила грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ. Образы прошедшаго не спѣша поднимались, всплывали въ его душѣ, мѣшаясь и путаясь съ другими представленіями. Лаврецкій, Богъ знаетъ почему, сталъ думать о Робертѣ Пилѣ... о французской исторіи... о томъ, какъ бы онъ выигралъ сраженіе, если бы былъ генераломъ. Ему чудились выстрѣлы и крики.

Это настроеніе царитъ въ романѣ. Выстрѣлы и крики сливаются въ причудливую амальгаму съ воспоминаніями дѣтства. Образы Роберта Пиля и французской исторіи врываются въ мирный просторъ безпредѣльныхъ полей. Шумъ міровой жизни, разъяренный ревъ волнующагося человѣческаго моря впервые достигъ до слуха сонныхъ обитателей „дворянскихъ гнѣздъ“ и смутилъ ихъ покой, смутилъ безплодно. Лаврецкіе и Рудины принесли съ собою знанія, пробудившуюся мысль и совѣсть передового дворянства. Но они натолкнулись на вѣковыя традиціи, на глубоко укоренившіяся формы крѣпостного быта. Они ничего не могли сдѣлать для его потрясенія, потому что ихъ сердца сочувственнымъ крикомъ отзывались на каждый ударъ колокола сельской церкви, звавшій къ заутренѣ,

на шопотъ листьевъ въ старомъ саду. „Сладкія и въ то же время скорбныя“ чувства навѣвала на душу эта картина, „давила его грудь какимъ-то пріятнымъ давленіемъ“. Не этимъ людямъ предстояло разрушить міръ отношеній, который былъ ихъ роднымъ міромъ. То, что они принесли съ собою изъ другого міра, только нарушило гармонію въ ихъ собственной душѣ, поселило въ ней разладъ, но не дало имъ побѣды надъ прошлымъ. Исторія Лаврецкаго вскрываетъ предъ нами новую сторону общей картины. Лаврецкій и Рудинъ— типы одного порядка. Хотя въ ихъ общественномъ положеніи, во внѣшнихъ событіяхъ ихъ жизни много несходнаго, но строй мыслей того и другого обусловленъ традиціями и настроеніями усадебнаго барства.

Воспитаніе Лаврецкаго подготовило его къ тому, чтобы онъ всю жизнь провелъ въ разладѣ съ самимъ собою. Его колыбель окружала атмосфера мрачныхъ ужасовъ и патріархальныхъ идиллій крѣпостничества. Его прадѣдъ былъ человѣкъ „бѣшенаго нрава, безумной щедрости и алчности неутолимой“. Онъ былъ богатъ. Преданія объ его самоуправствѣ и жестокостяхъ долго сохранялись въ его помѣстьѣ. Дѣдъ Лаврецкаго былъ хлѣбосолъ и самодуръ. Какъ тараканы, сползались знакомые и незнакомые люди въ его обширныя, теплыя и неопрятныя хоромы, „все это наѣдалось, чѣмъ попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вонъ, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ не въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ“. Таковы типы предковъ—эти яркіе этапы процесса разоренія дворянства. Отецъ Лаврецкаго Иванъ воспитывался у богатой тетки подъ руководствомъ цѣлаго штата учителей и француза-гувернера, и когда явился въ деревню къ отцу, то сразу возбудилъ его неудовольствіе своими столичными привычками и костюмами и своими „вольтерьян-

скими" идеями. Лаврецкій былъ плодомъ его связи съ крѣпостной дѣвушкой Малашей, на которой Иванъ Лаврецкій женился на-зло взбѣшенному отцу. Ставши по смерти отца владѣльцемъ имѣнія, Иванъ Лаврецкій вернулся изъ-за границы англоманомъ. Но его англоманство выразилось не въ переустройствѣ имѣнія, гдѣ все, кромѣ нѣсколькихъ внѣшнихъ перемѣнъ, осталось по-старому, а въ системѣ воспитанія, которую онъ примѣнилъ къ сыну. Онъ рѣшилъ сдѣлать изъ него „спартанца". Онъ одѣлъ сына по-шотландски, двѣнадцатилѣтній мальчикъ сталъ ходить съ обнаженными икрами и съ пѣтушьимъ перомъ на складномъ картузѣ; воспитателемъ его сталъ молодой швейцарецъ, изучившій гимнастику до совершенства; музыку, какъ занятіе, недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совѣту Жанъ-Жака Руссо, и геральдика для поддержанія рыцарскихъ чувствъ,—вотъ чѣмъ долженъ былъ заниматься будущій „человѣкъ"; его будили въ четыре часа, тотчасъ же окачивали холодной водой и заставляли бѣгать вокругъ столба на веревкѣ. Отецъ счелъ долгомъ поселить въ немъ съ раннихъ лѣтъ презрѣніе къ женщинѣ. Нелѣпое воспитаніе исказило натуру Лаврецкаго, и онъ вступилъ въ жизнь, совершенно неподготовленный къ ней. Если барская усадьба вообще давала мало матеріала для пониманія жизни, то Лаврецкій, благодаря воспитанію, вдвойнѣ оказывался „умной ненужностью" въ Россіи. Съ людьми онъ не умѣлъ сходиться, женщинамъ не смѣлъ взглянуть въ глаза. Далѣе университетъ... Фигура Михалевича, энтузіаста и стихотворца, имѣвшаго вліяніе на Лаврецкаго,—лучшее свидѣтельство того, что и Лаврецкаго коснулось то дыханіе идеализма, та атмосфера споровъ и отвлеченныхъ словопреній, которыми дышали тогдашніе студенческіе кружки.

Лаврецкій оказался въ жизни тѣмъ же „лишнимъ человѣкомъ“, что и Рудинъ. Его личная жизнь была разбита съ первыхъ же шаговъ. Онъ не зналъ женщинъ и принялъ за божество недостойную женщину. Варвара Павловна насмѣялась надъ его любовью, и онъ ушелъ отъ своей жены. Его жажда дѣла, его стремленіе разобраться въ окружающей жизни и выполнить свой долгъ передъ обществомъ принесли ему не больше удовлетворенія, чѣмъ Рудину его попытки къ практической дѣятельности. Правда, вернувшись въ деревню, онъ какъ-будто имѣетъ въ виду опредѣленную программу дѣйствій. Когда Паншинъ его спрашиваетъ, что онъ намѣренъ дѣлать, Лаврецкій отвѣчаетъ: „Пахать землю и стараться какъ можно лучше ее пахать“. Мало того,—онъ развиваетъ эту программу, приближаясь къ славянофильскимъ идеямъ. Онъ доказалъ Паншину „невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный, привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна, не отклонялся, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ“. Въ этой кратко формулированной программѣ много неопредѣленнаго. Изъ нея съ непреложной ясностью вытекаетъ лишь одно, что Лаврецкій не представлялъ себѣ дѣла внѣ своей усадьбы. Ни одного слова о крѣпостномъ правѣ, какъ первоисточникѣ всѣхъ золъ, ни одного намека на знаменитыя слова Тургенева: „въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ — крѣпостное право“. Тургеневъ не изображаетъ намъ своего героя съ точки зрѣнія того соціальнаго конфликта, который принялъ та-

кую острую форму. Мы почти не видимъ Лаврецкаго въ роли помѣщика. Мы не знаемъ, какъ онъ осуществлялъ свою программу. Тоскующій дворянинъ обрисованъ передъ нами съ той стороны, съ которой мы видимъ, что онъ умѣетъ любить и глубоко чувствовать, умѣетъ тонко понимать искусство. Только вскользь упоминаетъ авторъ о попыткахъ Лаврецкаго „порядокъ новый учредить". Но зато онъ сливается въ одно цѣлое со своимъ героемъ, сочувственный откликъ родственной романтической натуры звучитъ въ его душѣ, когда онъ уноситъ своего героя въ царство любовнаго упоенія или въ міръ грезъ. И чудится, будто романтическое томленіе было истинной стихіей и Лаврецкаго, и его творца, общественный пылъ ихъ растворялся въ этой стихіи, и романъ превращается въ печальный гимнъ умирающей культурѣ, въ погребальную пѣсню, въ которой звенятъ слезы тоски о старомъ мірѣ, въ которомъ очарованное око уже не видитъ истязуемыхъ рабовъ, а усматриваетъ однѣ только счастливыя идилліи, и до человѣческаго слуха доносятся не стоны крестьянства, а пѣвучій потокъ торжествующихъ звуковъ великаго, непонятаго Лемма. Тургеневу, гуманному врагу крѣпостного права, пришлось сыграть особую роль въ борьбѣ съ этимъ страшнымъ врагомъ. Ему предстояло оплакать умирающее царство, и можно ли бросить упрекъ великому художнику, что онъ по-своему сдержалъ свою „аннибалову клятву", что въ процессѣ начинавшагося освобожденія онъ съ особенной любовью прислушивался къ звону тѣхъ душевныхъ струнъ, которыя звучали въ его собственной душѣ. Торжественно лилась музыка Лемма. „Сладкая, страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце; она вся сіяла, вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святого; она дышала безсмертной грустью и ухо-

дила умирать въ небеса". Эта мелодія, „уходившая умирать въ небеса, — символъ „дворянскаго гнѣзда", символъ идеалистическаго воодушевленія 40-хъ годовъ, предчувствіе новой жизни и похоронная пѣснь старой. И недаромъ Лаврецкій слушалъ похолодѣлый и блѣдный отъ восторга, недаромъ „эти звуки такъ и впивались въ его душу, только-что потрясенную счастьемъ любви". Вотъ въ чемъ состояла истинная стихія этихъ людей. Правда, въ эпилогѣ еще въ двухъ—трехъ словахъ упоминается о дѣятельности Лаврецкаго въ деревнѣ. Онъ „имѣлъ право быть довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя, онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ". Но такая дѣятельность не могла удовлетворить мыслящій умъ просвѣщеннаго человѣка. Даже лучшій хозяинъ въ крѣпостномъ хозяйствѣ едва ли могъ найти удовлетвореніе. „Мы,—говоритъ Леврецкій, обращаясь въ молодому поколѣнію,—хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть,—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!--а вамъ надобно дѣла дѣлать, работать",—значитъ, не считалъ свое дѣло Лаврецкій настоящимъ дѣломъ. Иначе не сказалъ бы онъ въ заключеніе своей жизни: „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!" Не считалъ его дѣла настоящимъ дѣломъ и чуткій правдивый художникъ. Иначе не сказалъ бы Тургеневъ о немъ: „Что сказать о людяхъ, еще живыхъ, но ушедшихъ съ земного поприща". Рудинъ погибъ на баррикадѣ безъ цѣли въ чужой странѣ и въ чужой борьбѣ, и эта случайная смерть избавила его отъ необходимости влачить безплодное существованіе. Лаврецкій дожилъ до старости, но для жизни и дѣла онъ умеръ такъ же рано, какъ и Рудинъ.

IV.

Тургеневъ и Віардо.—Разрывъ съ русскимъ обществомъ.—Примиреніе съ обществомъ и послѣдніе годы жизни.—Общее настроеніе, которымъ проникнутъ романъ „Наканунѣ".—Инсаровъ среди русскихъ интеллигентовъ. — Характеристика Инсарова.—Заглавіе романа.—Происхожденіе „Отцовъ и дѣтей", отношеніе Тургенева и критики къ Базарову. — „Отцы": Павелъ Петровичъ Кирсановъ. — Міросозерцаніе Базарова и характеръ его.—Послѣдователенъ ли онъ? — Общее настроеніе, царящее въ „Отцахъ и дѣтяхъ".

Когда въ „Современникѣ" появился „Хорь и Калинычъ", Тургеневъ уже находился за границей. Въ 1850 г. онъ вернулся въ Россію, получивъ извѣстіе о смерти матери. Именно въ это время онъ занимался устройствомъ своихъ крестьянъ, и въ этотъ періодъ времени его постигла та „непріятность", которая входитъ въ качествѣ обычнаго факта въ біографическій формуляръ почти каждаго русскаго писателя. Послѣ появленія „Записокъ охотника" на Тургенева стали смотрѣть косо. Его пребываніе за границей и близкія отношенія къ лицамъ, не пользовавшимся репутаціей благонадежныхъ людей,—все это навлекло на Тургенева неудовольствіе властей, и ничтожнаго предлога было достаточно для его ареста, послѣдовавшаго въ 1852 году. Тургеневъ былъ сосланъ въ свое село Спасское безъ права выѣзда. Добившись, наконецъ, свободы, онъ уѣхалъ въ 1855 году за границу. Съ этого времени его жизнь тѣсно связана съ семействомъ знаменитой въ свое время артистки Віардо-Гарсіа, съ которой Тургеневъ познакомился еще въ срединѣ сороковыхъ годовъ и съ которой его разлучила на время ссылка. Исторія отношеній Тургенева къ этой семьѣ еще и въ настоящее время не выяснена вполнѣ. До смерти матери, когда Тургеневъ страшно бѣдствовалъ, почти лишившись поддержки деспотической старухи, недовольной его литературными занятіями, онъ нашелъ въ семьѣ Віардо гостепріимство. Онъ находился у нихъ во Франціи въ этотъ тяжелый періодъ своей

жизни, и, несомнѣнно, гостепріимству этой семьи онъ обязанъ тѣмъ, что могъ приняться за работу. „Здѣсь,— говорилъ онъ Фету,—не имѣя средствъ жить въ Парижѣ, я провелъ всю зиму въ полномъ одиночествѣ, питаясь бульономъ изъ курицы и яичницей, которые мнѣ готовила старая служанка. Здѣсь, чтобы заработать себѣ денегъ, я написалъ большую часть „Записокъ охотника“.

Трудно въ настоящее время установить опредѣленно характеръ отношеній Тургенева къ этой семьѣ, съ которой онъ ѣздилъ изъ города въ городъ, но большинство біографовъ сходится на томъ, что у супруговъ Віардо Тургеневъ искалъ того, чего ему недоставало на родинѣ. Ихъ сорокалѣтняя дружба до конца жизни нашего писателя сохранила характеръ артистической и интеллектуальной симпатіи. Тургеневъ былъ одинокимъ съ дѣтства въ домѣ матери, онъ не разъ подвергался впослѣдствіи жестокимъ нападкамъ со стороны печати и молодежи, не разъ заявлялъ о томъ, что мрачная дѣйствительность, которую онъ видѣлъ передъ собою въ Россіи, отталкивала его отъ себя дѣлала его чуждымъ этой дѣйствительности, одинокимъ. Онъ былъ горячимъ западникомъ, и въ Европѣ онъ нашелъ ту развитую художественную, литературную и научную жизнь, которой онъ не находилъ у себя на родинѣ. Въ семьѣ Віардо, жившей въ атмосферѣ артистическихъ и умственныхъ интересовъ, Тургеневъ могъ найти надлежащую оцѣнку своей тонкой и изящной натурѣ и вкусамъ,—оцѣнку, которой онъ часто не находилъ у себя на родинѣ. Повидимому, главной основой его привязанности къ семьѣ Віардо было то, что въ лицѣ ея онъ встрѣтилъ понимающихъ его людей, близкихъ ему по своимъ вкусамъ и кругу его интересовъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ его письма къ супругамъ Віардо. Здѣсь и разсужденія объ артистическихъ успѣхахъ г-жи Віардо, тонкія замѣчанія и со-

вѣты относительно ея игры, сообщенія о новыхъ прочитанныхъ книгахъ, отвѣты на высказанныя въ ея письмахъ замѣчанія о Мендельсонѣ, о музыкѣ и литературѣ, здѣсь детальные отчеты о мысляхъ и настроеніяхъ, навѣянныхъ той или другой книгой, сообщенія о посланныхъ къ Віардо книгахъ, о политическихъ событіяхъ и т. д. Та нѣжность, которой проникнуты письма, написанныя Тургеневымъ въ тяжелыя минуты его жизни, свидѣтельствуетъ о томъ, что у Віардо онъ встрѣчалъ или всегда надѣялся встрѣтить сочувственный откликъ и участіе. Имъ онъ сообщаетъ о своемъ арестѣ и въ письмѣ отъ 1-го мая 1852 года проситъ хранить „все это“ втайнѣ, такъ какъ малѣйшей замѣтки въ газетѣ „будетъ достаточно, чтобы окончательно погубить“ его. При этомъ онъ прибавляетъ слѣдующія характерныя строки: „Ваши письма и воспоминанія о прошедшихъ дняхъ, о Куртавенелѣ,—въ нихъ все мое богатство. Я долго не останавливаюсь на этомъ изъ боязни расчувствоваться. Вы хорошо знаете, что мое сердце всегда съ вами, и сказать это я могу особенно теперь... Моя жизнь кончена, въ ней нѣтъ больше очарованія; я съѣлъ весь свой бѣлый хлѣбъ: будемъ жевать оставшійся пеклеванный“.

Несмотря на подобныя признанія, пестрящія въ письмахъ Тургенева къ Віардо, остается подъ сомнѣніемъ, нашелъ ли онъ въ этой семьѣ вполнѣ тотъ откликъ, котораго искалъ. Его тоска и чувство одиночества не разсѣялись до конца жизни. Такъ, въ письмѣ къ Я. П. Полонскому отъ 7-го апрѣля 1877 года онъ пишетъ, что одно стихотвореніе Полонскаго привело его въ глубокое уныніе. „А чтобы ты понялъ, почему,— прибавляетъ дальше Тургеневъ, — я выписываю нѣсколько строкъ изъ своего дневника: „Полночь. Сижу я опять за своимъ столомъ... а у меня въ душѣ темнѣе темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; какъ мигъ какой, пролетаетъ день, пустой,

безцѣльный, безцвѣтный. Смотришь: опять вались въ постель. Ни права жить, ни охоты нѣтъ, дѣлать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать". Дальше Тургеневъ даже не хочетъ выписывать,—„очень ужъ уныло",—и называетъ себя и Полонскаго „двумя черепками разбитаго сосуда". Мы не знаемъ фактовъ, но несомнѣнно, что повременамъ по крайней мѣрѣ Тургеневъ чувствовалъ себя очень тяжело у своихъ друзей...

„Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Наканунѣ" (1860 г.) доставили Тургеневу громкую славу, и появленіе каждаго изъ этихъ романовъ было выдающимся литературнымъ событіемъ. Но появленіе въ 1862 году „Отцовъ и дѣтей" вызвало цѣлую бурю и ожесточенныя нападки на Тургенева. Были недовольны и „отцы", и „дѣти". Старое поколѣніе обвиняло самого Тургенева въ нигилизмѣ, въ томъ, что онъ создалъ чуть ли не сатиру на это поколѣніе и солидаренъ съ Базаровымъ. Молодежь, напротивъ того, усматривала въ типѣ Базарова карикатуру на молодое поколѣніе и называла Тургенева отступникомъ, который измѣнилъ дѣлу свободы. Герценъ рѣзко порицалъ этотъ романъ, и между нимъ и Тургеневымъ возникаютъ враждебныя отношенія. Разрывъ Тургенева съ „Современникомъ", имѣвшій мѣсто незадолго до этого, и нападки на него, послѣдовавшія затѣмъ въ этомъ журналѣ, — все это сильно повліяло на настроеніе Тургенева. Еще недавно кумиръ молодежи, писатель съ огромнымъ общественнымъ вліяніемъ, онъ почувствовалъ, что между нимъ и русскимъ обществомъ легла глубокая пропасть. Его пессимизмъ усилился. Одинокимъ и ненужнымъ почувствовалъ себя великій писатель, и свое настроеніе онъ излилъ въ поэтическомъ отрывкѣ „Довольно". „Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову въ обѣ руки и велѣть сердцу молчать. Полно нѣжиться сладкой нѣгой неопредѣленныхъ, но

плѣнительныхъ ощущеній, полно бѣжать за каждымъ новымъ образомъ красоты, полно ловить каждое трепетаніе ея тонкихъ и сильныхъ крылъ. Все извѣдано— все перечувствовано много разъ... усталъ я. Что мнѣ въ томъ, что въ это самое мгновенье заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобѣдною страстью? Что въ томъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, среди тишины и нѣги и блеска вечера, въ росистой глубинѣ неподвижнаго куста, соловей вдругъ сказался такими волшебными звуками, точно до него на свѣтѣ не водилось соловьевъ, и онъ первый запѣлъ первую пѣснь о первой любви? Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу разъ— и какъ вспомнишь, что все это будетъ продолжаться такъ цѣлую вѣчность—словно по указу, по закону— даже досадно станетъ!" Все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла, и Тургеневъ чувствовалъ, что состарѣлся, что не быть ему больше тѣмъ, какимъ онъ былъ „въ счастливые дни, когда онъ самъ разгорался какъ заря и пѣлъ какъ соловей".

Въ срединѣ 60-хъ годовъ Тургеневъ переселяется въ Баденъ, гдѣ онъ прожилъ по сосѣдству съ Віардо въ выстроенномъ имъ домѣ до 1870 года. Здѣсь Тургеневъ могъ видѣть многочисленныхъ съѣзжающихся сюда представителей русскаго общества, и эти наблюденія дали ему матеріалъ для слѣдующаго его крупнаго романа „Дымъ", который былъ напечатанъ въ 1867 году. Романъ этотъ тоже вызвалъ оживленные толки въ обществѣ и немало нападокъ на автора. Послѣ 1870 года Тургеневъ жилъ въ Парижѣ. Изъ-за границы онъ продолжалъ слѣдить за русской жизнью, чутко откликаясь на всѣ новыя теченія въ русскомъ обществѣ. Въ 70-хъ годахъ развилась соціалистическая пропаганда въ народѣ. Молодежь толпами уходила въ деревни пропагандировать революціонныя идеи, и Тургеневъ, внимательно изучавшій это дви-

женіе, печатаетъ въ 1877 году послѣднее изъ своихъ большихъ произведеній, романъ „Новь“. Романъ, въ которомъ движеніе изображалось въ видѣ затѣи незрѣлой молодежи, не могъ возстановить симпатій молодого поколѣнія къ знаменитому автору. Между тѣмъ слава его въ Европѣ росла. Оксфордскій университетъ поднесъ ему почетный дипломъ доктора обычнаго права, въ литературномъ мірѣ Франціи Тургеневъ пользовался всеобщимъ признаніемъ.

Въ февралѣ 1879 года Тургеневъ прибылъ въ Россію, и въ этотъ пріѣздъ кончилась великая распря между нимъ и русскимъ обществомъ. Онъ зналъ, что его популярность упала, и даже не хотѣлъ идти въ засѣданіе Общества любителей россійской словесности, опасаясь какой-нибудь враждебной выходки. Но произошло нѣчто совершенно неожиданное. Когда крупная фигура Тургенева съ характерной сѣдой головой появилась въ залѣ, раздался громъ рукоплесканій, одинъ изъ студентовъ обратился къ писателю съ импровизированной рѣчью, а предсѣдатель Общества тутъ же провозгласилъ автора „Записокъ охотника“ почетнымъ членомъ Общества, что вызвало новую бурю овацій. „Возстановилась,—замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ Н. Я. Стечкинъ,—его популярность, поруганная неизвѣстно почему послѣ „Отцовъ и дѣтей“. Тургеневъ сдѣлался теперь предметомъ безпрерывныхъ овацій въ Москвѣ и Петербургѣ. Реакціонная печать обрушилась на романиста, но тѣ оваціи, предметомъ которыхъ былъ Тургеневъ въ 1880 г., въ знаменитые „пушкинскіе дни“, во время открытія памятника Пушкину въ Москвѣ, доказали, что миръ между писателемъ и обществомъ былъ теперь прочёнъ. Московскій университетъ избралъ его своимъ почетнымъ членомъ, а публика проявленіемъ своихъ восторговъ заставила забыть даже 1879 годъ. 22-го августа 1883 г. не стало автора „Рудина“. Онъ умеръ за границей, и

его смерть дала поводъ къ грандіозной сочувственной манифестаціи всего образованнаго міра. Европейская и американская печать посвятила Тургеневу восторженные некрологи. Многочисленная публика, представители науки, искусства и литературы прощались съ его тѣломъ на вокзалѣ въ Парижѣ. Въ Петербургѣ похоронная процессія растянулась на нѣсколько верстъ, сотни вѣнковъ и депутацій слѣдовали за гробомъ. Несмѣтныя толпы народа покрывали не только улицы, но балконы, заборы, даже крыши домовъ на прилегающихъ улицахъ.

Въ „Рудинѣ" и „Дворянскомъ гнѣздѣ" Тургеневъ выразилъ тоску лишняго человѣка, пропѣлъ отходную умирающей усадебной культурѣ. Возбужденіе и жажда дѣла, овладѣвшія русскимъ обществомъ съ воцареніемъ Александра II, дали толчокъ къ повороту въ творчествѣ Тургенева. „Наканунѣ" былъ первымъ крупнымъ романомъ, въ которомъ Тургеневъ выступаетъ съ новой задачей: онъ стремится отыскать „настоящаго человѣка",—человѣка дѣла, активную личность. Тургеневъ чувствовалъ, что нарождаются новыя силы, которыя придутъ на смѣну Рудинымъ и Лаврецкимъ, что въ обществѣ уже зрѣетъ тотъ типъ, въ которомъ нуждается Россія, человѣкъ воли, типъ больше дѣйствующей, чѣмъ мыслящей и анализирующей личности. Гамлеты думаютъ, но не дѣйствуютъ, Донъ-Кихоты дѣйствуютъ, не раздумывая, очертя голову, бросаются въ опасность, не охлаждая своего пыла анализомъ. Тургеневъ въ своей статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ" развилъ эту мысль о дѣйствующихъ и анализирующихъ натурахъ. Онъ отдалъ предпочтеніе Донъ-Кихоту передъ Гамлетомъ. Его Рудины и Лаврецкіе — натуры гамлетовскія. Его Инсаровъ — воплощеніе той активной силы, которую видѣлъ Тургеневъ въ Донъ-Кихотѣ. „Наканунѣ", это—радостный крикъ предчувствія, нетерпѣливое стремленіе художника

найти конкретный образъ, котораго еще не было въ русской дѣйствительности и котораго она ждала, требовала. Это было наканунѣ великихъ реформъ. Казалось, что теперь дѣло только за людьми, за сильными личностями, которыя сумѣютъ растворить ся въ общенародномъ дѣлѣ, получить могучія силы и желѣзную волю въ служеніи ясному народному дѣлу. Этотъ порывъ, это нетерпѣливое сознаніе потребности въ сильныхъ людяхъ воплотилъ Тургеневъ въ своемъ романѣ.

Въ чемъ заключается обаяніе Инсарова? Что даетъ ему могучую власть надъ окружающими и покоряетъ ему сердце такой дѣвушки, какъ Елена? Въ Инсаровѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго, и въ то же время онъ окруженъ въ романѣ особымъ ореоломъ, всѣ относятся къ нему какъ къ существу необыкновенному. Его обаяніе заключается только въ той задачѣ, которой онъ служитъ. Его обаяніе—только въ ясномъ сознаніи цѣли, которое даетъ ему желѣзную волю и неопреодолимую силу. Въ немъ есть то, чего недоставало русскимъ людямъ и чего они такъ пламенно искали. Онъ знаетъ, что нужно дѣлать для своей родины. Его сердце бьется въ унисонъ съ сердцемъ его народа. Великое счастье для мыслящаго человѣка, если онъ сознаетъ, что не безпочвенно работаетъ его мысль, что его идеи вырастаютъ изъ глубины народнаго сердца. Этого счастья не знала русская интеллигенція, состоявшая въ своемъ большинствѣ изъ мыслящаго барства, метавшаяся въ въ своемъ безплодномъ стремленіи послужить народному дѣлу. Сколько образованныхъ русскихъ людей той эпохи пожертвовали бы многимъ, чтобы имѣть право сказать тѣ слова, которыя съ ясной и открытой совѣстью произноситъ Инсаровъ. „Замѣтьте: послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я,—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость“. Для русской интеллигенціи отступала на второй планъ

та мысль, что между маленькой Болгаріей и великой Россіей глубокая разница, что простая, хотя и огромная задача, стоявшая передъ небольшимъ народомъ, не можетъ идти въ сравненіе съ сложными политическими, соціальными и нравственными проблемами, волновавшими русское общество. Русская интеллигенція жаждала этой „увѣренности и крѣпости", которой владѣлъ Инсаровъ и которой не было у нея, она искала этой твердой почвы, которая была у него, она чувствовала, что только тогда, когда она также сольется въ нераздѣльное цѣлое съ народомъ, у насъ появятся свои Инсаровы. Спустя десятилѣтіе она бросится къ народу, начнется знаменитое „хожденіе въ народъ". Инсаровъ былъ типомъ будущаго, психологической программой, образцомъ, до котораго не дошелъ еще русскій интеллигентъ.

Именно съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ подходить къ Инсарову. Только на фонѣ тогдашней русской дѣйствительности становится понятнымъ обаяніе этого въ сущности ограниченнаго человѣка. Это видятъ всѣ, видитъ Елена, видитъ Берсеневъ, видитъ даже талантливый, но неустойчивый Шубинъ. Инсаровъ не можетъ идти въ сравненіе съ русскими интеллигентами. Онъ не знаетъ тѣхъ широкихъ научныхъ проблемъ, которыя занимаютъ Берсенева. Ему чужды необъятные горизонты и заманчивыя перспективы, поддерживавшія энтузіазмъ въ душѣ русскихъ гегеліанцевъ. Онъ не интересуется искусствомъ, и ему не понять восторговъ и слезъ, полетовъ и паденій Шубина. Но онъ цѣльный человѣкъ, и въ этомъ его сила. Русскіе интеллигенты живутъ безпочвенными идеалами. Все, что они дѣлаютъ, полезно и прекрасно; наука и искусство нужны народу такъ же, какъ и свобода, но народъ еще не знаетъ и не понимаетъ ихъ цѣлей; и въ этихъ цѣляхъ есть что-то ложное, что-то такое, что всегда будетъ отравлять высокія минуты наслажденія наукой

и искусствомъ. Елена сравниваетъ Инсарова съ Берсеневымъ, и ея чуткое сердце сразу отгадало, въ чемъ заключается преимущество послѣдняго. Въ Инсаровѣ нѣтъ лжи въ упомянутомъ выше смыслѣ, нѣтъ искусственности и отвлеченности. „Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ; это первый человѣкъ, котораго я встрѣчаю, который не лжетъ; всѣ другіе лгутъ; все лжетъ". Ложь или, вѣрнѣе, отсутствіе реальной почвы придавало трагическій отпечатокъ всѣмъ, даже самымъ благороднымъ стремленіямъ прогрессивнаго дворянства, представлявшаго тогдашнюю русскую интеллигенцію, и Елена чувствовала это. Внѣ народа и безъ народа нѣтъ величія даже въ величайшихъ идеяхъ, въ величайшихъ порывахъ, живущихъ въ душѣ избранной части общества: таковъ былъ тайный голосъ, сжимавшій сердца лучшихъ людей эпохи. „Андрей Петровичъ, — думала Елена, — можетъ-быть, ученѣе его, можетъ-быть, даже умнѣе... Но я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій. Когда *тотъ* говоритъ о своей родинѣ, онъ растетъ и растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ, — онъ дѣлаетъ и будетъ дѣлать". Еще лучше опредѣляетъ недостатки и преимущества Инсарова Шубинъ: „Талантовъ никакихъ, поэзіи нема, способностей къ работѣ пропасть, память большая, умъ не разнообразный и не глубокій, но здравый и живой, суть и сила и даже даръ слова, когда рѣчь идетъ объ его, между нами сказать, скучнѣйшей Болгаріи... Суть, суть, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ со своею землею связанъ—не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молъ, въ насъ живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнѣе: стоитъ только турокъ вытурить, велика штука!"

Таково значеніе Инсарова въ исторіи русскаго общественнаго движенія. Онъ послужилъ для проясненія общественнаго сознанія. Онъ далъ возможность русскимъ интеллигентамъ оглянуться на себя, увидать богатый запасъ интеллектуальныхъ силъ и идеализма, который придавалъ людямъ 40-хъ годовъ столько нравственной красоты и благородства, и въ то же время сознать то основное несчастье русской интеллигенціи, которое отнимало у этихъ силъ и у этого идеализма ихъ реальное значеніе, подрѣзывало крылья у могучихъ орловъ, превращая ихъ въ безсильныхъ мучениковъ идеи при всей широтѣ ихъ замысловъ и порывовъ.

Нетрудно уловить тѣ свойства характера, которыя дѣлали Инсарова полной противоположностью Рудинымъ и Лаврецкимъ. Онъ прежде всего человѣкъ дѣла, а не слова. Онъ опредѣляетъ человѣка и квалифицируетъ нравственныя цѣнности только по проявленію ихъ въ дѣйствіи. Онъ не принимаетъ совершенно въ расчетъ тѣхъ силъ и того паѳоса, который имѣется на-лицо, но не выразился въ активномъ усиліи. „Вы очень любите свою родину?“—спрашиваетъ Елена. Сколько вдохновенныхъ рѣчей могъ бы сказать на эту тему Рудинъ, который не сумѣлъ бы претворить любовь къ родинѣ въ активный шагъ, въ реальное дѣйствіе. Инсаровъ отвѣчаетъ простой фразой, но фразой, въ которой сказался онъ весь: „Это еще неизвѣстно... Вотъ когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ“. Чувства и люди квалифицируются въ его глазахъ только по активнымъ проявленіямъ.

Другая черта Инсарова, отдѣляющая его отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ, это — почти грубый матеріализмъ, отсутствіе поэзіи, мечтательности и идеализма въ смыслѣ той эпохи. Онъ—почти предшественникъ

Базарова въ своей органической враждебности всякой мечтѣ и всякому романтизму, который мѣшаетъ настоящему дѣлу. Когда онъ „швырнулъ“ въ воду великана-нѣмца, оскорбившаго Елену во время прогулки, ее „перевернуло“. Она точно на минуту почувствовала, что въ немъ нѣтъ того эстетическаго благородства, того внутренняго изящества, которое было преимуществомъ русскихъ интеллигентовъ: „Заступиться онъ умѣетъ,— пишетъ Елена въ своемъ дневникѣ.—Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или, можетъ-быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь— дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу. Онъ не согласился. Кто изъ нихъ правъ?“ Искусства Инсаровъ не признаетъ. Надъ любовью онъ хотя и не смѣется подобно Базарову, но онъ умѣетъ подавлять въ себѣ это чувство лучше Базарова. Онъ сообщаетъ Берсеневу, что уѣхалъ бы, если бы влюбился, такъ какъ никогда ради личнаго чувства не измѣнитъ своему долгу. Когда онъ почувствовалъ, что полюбилъ Елену, онъ холодно и жестоко сдержалъ свое слово. Онъ хотѣлъ уѣхать, не простившись, не повидавшись съ нею въ послѣдній разъ, даже не сдѣлавъ попытки узнать, какія чувства питаетъ она къ нему. Онъ согласился только тогда соединить ея судьбу со своею, когда она сама отыскала его, когда она растворила свою личность въ его личности и вмѣстѣ съ его личностью растворилась въ дѣлѣ его родины. Онъ, любившій Елену такъ, какъ умѣютъ любить подобныя ему сильныя натуры, ничѣмъ не пожертвовалъ для ея личности, для ея вкусовъ, потребностей и привычекъ. Онъ уничтожилъ совершенно ея личность: „Тебѣ придется разорвать всѣ твои связи съ отечествомъ, съ родными... Ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ... тамъ одна между чужими, ты, можетъ-быть, принуждена будешь работать“...

Онъ ни на мгновеніе не задавался вопросомъ, вынесетъ ли любимое имъ существо эту страшную ломку. Онъ, не задумываясь, принесъ бы свою жизнь въ жертву родинѣ, онъ не пощадилъ бы для нея и счастья, и жизни любимой женщины.

Наконецъ, весь обликъ Инсарова, всякій шагъ его есть воплощенное отрицаніе психики мыслящаго барства. Онъ разсчитываетъ свое время и силы. Онъ безъ размышленія истратитъ нѣсколько дней для того, чтобы уладить ссору между соотечественниками, возникшую изъ-за пустяка, но онъ подумаетъ о томъ, затратить ли время на чтеніе Фейербаха. Первое имѣетъ прямое отношеніе къ тому дѣлу, которому онъ служитъ, Фейербахъ можетъ оказаться безполезнымъ къ уясненію его задачи. Берсеневъ предлагаетъ ему послѣ обѣда пройти къ Стаховымъ, но онъ отвѣчаетъ, что этотъ вечеръ уже назначенъ для переписки съ болгарскими друзьями, а потому визитъ къ Стаховымъ долженъ быть отложенъ до другого раза. Берсеневъ съ добродушіемъ русскаго барина предлагаетъ ему переѣхать къ себѣ на дачу, конечно, и не заикаясь о какихъ-нибудь матеріальныхъ расчетахъ. Но Инсаровъ категорически опредѣляетъ ту сумму, которую онъ обязанъ уплатить Берсеневу. Словомъ, каждый шагъ его, каждое слово и движеніе есть прямая противоположность халатности и простодушію, которыя выросли на почвѣ патріархальныхъ усадебныхъ отношеній. Инсаровъ, это—та противоположность, которой искала натура Тургенева а вмѣстѣ съ нимъ и все мыслящее барство той эпохи. И самое нетерпѣніе, съ которыми ждало русское общество этого человѣка, ясность представленія о немъ говорили о томъ, что Россія находится „наканунѣ“, что кончаются расчеты съ прошлымъ, что недалеко уже появленіе русскаго Инсарова. „И недолго намъ ждать его,—писалъ Добролюбовъ,—за это ручается то лихорадочное, мучительное нетер-

пѣніе, съ которымъ мы ожидаемъ его появленія въ жизни. Онъ необходимъ для насъ, безъ него вся наша жизнь идетъ какъ-то не въ зачетъ, и каждый день ничего не значитъ самъ по себѣ, а служитъ только кануномъ другого дня. Придетъ же онъ наконецъ, этотъ день!"

Подъемъ общественнаго самосознанія, вызванный паденіемъ крѣпостного права и реформами, выдвинули на сцену новыхъ людей, и Тургеневъ обращаетъ свой взоръ въ тѣ новыя сферы, которыя шли на смѣну усадебному міру. Чуткій художникъ, откликавшійся на всѣ новыя общественныя и умственныя теченія въ русскомъ обществѣ,—Тургеневъ измѣнилъ бы себѣ, если бы не попытался изобразить разночинца, этого новаго героя, побѣдоносно завоевывшаго себѣ господствующее мѣсто на исторической аренѣ. Впослѣдствіи, когда мы подведемъ итоги новому міросозерцанію въ лицѣ Писарева и лучшихъ представителей тогдашней критики, мы увидимъ, что Базаровъ не былъ вѣрнымъ выразителемъ новыхъ стремленій. Но и до знакомства съ разночинской литературой нетрудно понять, что Тургеневъ, художникъ-дворянинъ, не могъ органически слиться съ новымъ типомъ. Для него разночинецъ былъ предметомъ наблюденія. „Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ,—разсказываетъ Тургеневъ,—маленькомъ городкѣ на островѣ Уайтѣ,—дѣло было въ августѣ 1860 года,—когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и дѣтей"... Въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось—на мои глаза—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько от-

дать себѣ въ немъ отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ бы желая провѣрить правдивость собственныхъ ощущеній".

„Отцы и дѣти"--самое заглавіе свидѣтельствуетъ о томъ, что романъ долженъ былъ представить борьбу двухъ поколѣній. Эта борьба, какъ увидимъ дальше, происходила въ литературѣ. Писаревъ разрушалъ эстетику; матеріализмъ и позитивизмъ вступилъ въ бой съ романтическими мечтами и идеализмомъ. Тургеневъ изобразилъ этотъ конфликтъ, но изобразилъ по-своему. Никто лучше Писарева не опредѣлилъ отношенія автора къ его героямъ. Онъ вѣрно угадалъ, что Тургеневъ не былъ вполнѣ на сторонѣ ни «отцовъ», ни «дѣтей». Съ отцами его связывало органическое сродство душъ, но еще въ Рудинѣ и Лаврецкомъ онъ сумѣлъ пропѣть имъ отходную. «Дѣти» были чужды ему, но онъ словно съ завистью любовался на нѣкоторыя качества ихъ, недостававшія его сверстникамъ. Онъ, какъ тонко подмѣтилъ проф. Овсянико-Куликовскій, изображалъ въ лицѣ Базарова свое дополненіе. „Когда онъ создавалъ Базарова, онъ чувствовалъ въ себѣ русскаго дворянина добраго стараго времени,--говоритъ Овсянико-Куликовскій,—онъ сознавалъ свою--дворянскую—общественную и политическую несостоятельность и жаждалъ образа, въ которомъ были бы даны задатки иного призванія; онъ лелѣялъ и облюбовывалъ черты силы, практическаго, дѣлового ума, черты натуры мощной, «наполовину выросшей изъ почвы, можетъ-быть, недоброй». Онъ какъ бы собралъ въ себѣ въ эту минуту всю сумму дворянской мягкости, доброты, эстетики, прекраснодушія, оторванности отъ почвы и т. д. и ощущалъ душевную потребность—увидѣть и полюбить воплощеніе противоположныхъ чертъ—базаровскихъ». Въ сущности Писаревъ первый правильно опредѣлилъ отношеніе автора къ своему

герою, въ то время, какъ одни считали Базарова карикатурой на молодое поколѣніе, а другіе негодовали за то, что авторъ „ползалъ у ногъ Базарова“. Тургеневъ,—писалъ Писаревъ,—смотритъ на настоящее съ высоты прошедшаго. „Развитіе его личнаго міросозерцанія окончилось, но способность наблюдать за движеніемъ чужой мысли, понимать и воспроизводить всѣ ея изгибы осталась во всей своей свѣжести и полнотѣ... Представители прошлаго, „отцы“, изображены съ безпощадной вѣрностью; они люди хорошіе, но объ этихъ хорошихъ людяхъ не пожалѣетъ Россія; въ нихъ нѣтъ ни одного элемента, который дѣйствительно стоило бы спасать отъ могилы и забвенія: а между тѣмъ есть и такія минуты, когда этимъ отцамъ можно полнѣе сочувствовать, чѣмъ самому Базарову».

Выяснивъ отношеніе Тургенева къ своему герою, перейдемъ къ самому роману и остановимся прежде всего на „отцахъ“. Яркимъ представителемъ и защитникомъ старшаго поколѣнія является Павелъ Петровичъ Кирсановъ. Романъ построенъ такимъ образомъ, что „отцы“ пасуютъ передъ „дѣтьми“ и Павелъ Петровичъ изъ споровъ съ Базаровымъ отнюдь не выходитъ побѣдителемъ. Тургеневъ имѣлъ при этомъ въ виду опредѣленный умыселъ. Въ письмѣ къ Случевскому 14-го апрѣля 1862 года онъ говоритъ: „Базаровъ постоянно разбиваетъ П. П., а не наоборотъ... *Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса...* Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хорошихъ* представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко... Н. П. (Николай Петровичъ), это—я, Огаревъ и тысячи другихъ, П. П. (Павелъ Петровичъ)—Столыпинъ, Есаковъ, Боссетъ—то же наши современники. Они лучшіе изъ дворянъ—и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать ихъ несостоятельность“. И дѣйствительно, Павелъ Петровичъ обладаетъ многими

качествами, которыя дѣлаютъ его „лучшимъ изъ дворянъ“. Въ немъ много прирожденнаго джентльмэнства. Онъ самъ заявляетъ съ гордостью, что его „всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ“. Онъ защищаетъ искусство, поэзію, требуетъ, чтобы у каждаго человѣка были идеалы и принципы. Онъ человѣкъ умный, не способенъ погрязнуть въ мелкихъ интересахъ провинціальнаго дворянства, къ которому относился съ пренебреженіемъ. Его уважали представители и старшаго, и молодого поколѣнія, въ особенности за его „безукоризненную честность“. Хозяйственныя дрязги наводили на него тоску, и онъ небрежно оказывалъ денежную помощь своему брату Николаю Петровичу, хозяйство котораго, заведенное недавно на новый ладъ, „скрипѣло какъ немазанное колесо“. Въ этомъ джентльмэнѣ много общаго съ „лишними людьми“, съ Онѣгиными и Лаврецкими. И итоги его жизни тѣ же, что и у нихъ. Это—„лишній человѣкъ“ въ новой обстановкѣ, безполезный, скучающій и тоскующій, но уже съ примѣсью озлобленія, такъ какъ онъ чувствуетъ, что на него ополчаются. Лаврецкіе могли грустить, но имъ не зачѣмъ было раздражаться. Кирсановымъ нельзя успокоиться на меланхолическомъ far niente въ своихъ дворянскихъ гнѣздахъ, потому что новые люди явились и потрясли ихъ покой. Подобно многимъ „лишнимъ людямъ“ Кирсановъ погубилъ свою жизнь благодаря неудачной любви. Онъ истратилъ эту жизнь на романтическое чувство и одинокій доживалъ свои дни въ деревнѣ, слывя среди мѣстныхъ дамъ за «очаровательнаго меланхолика». Этотъ старый типъ «лишняго человѣка» съ его меланхоліей, джентльмэнствомъ, прогрессивными и гуманными воззрѣніями, еще недавно обрисованный Тургеневымъ съ такимъ нѣжнымъ сочувствіемъ, пріобрѣтаетъ теперь въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ новый видъ передъ безпощаднымъ судомъ

Базарова. Разночинецъ грубо разоблачилъ то, что скрывалось въ поэзіи стараго барства. Базаровъ не цѣнитъ ни ихъ любовной тоски, ни ихъ гуманнаго обращенія съ крестьянами. Вотъ какой итогъ подводитъ Базаровъ жизни Кирсанова: „Человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакой человѣкъ—не мужчина, но самецъ. Ты говоришь, что онъ не счастливъ: тебѣ лучше знать; но дурь изъ него не вся вышла. Я увѣренъ, что онъ не шутя воображаетъ себя дѣльнымъ человѣкомъ, потому что читаетъ Галиньяшку и разъ въ мѣсяцъ избавитъ мужика отъ экзекуціи“. Такъ осудилъ Тургеневъ устами Базарова тѣхъ, про кого онъ сказалъ: „Это я, Огаревъ, мои современники“.

Базаровъ—разночинецъ. Онъ—сынъ лѣкаря и самъ съ гордостью заявляетъ, что его дѣдъ землю пахалъ. Впервые Тургеневъ сдѣлалъ разночинца центральной фигурой романа. Базаровъ прежде всего—позитивистъ и матеріалистъ. Для него не существуетъ вѣры, общихъ принциповъ и апріорныхъ идеаловъ, всего того, чѣмъ такъ богата была предшествующая эпоха. „Я не вѣрю ни во что“,—говоритъ онъ Павлу Петровичу. Порядочный химикъ въ его глазахъ „въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта“. Даже „науки вообще“ онъ не признаетъ: „есть науки, какъ есть ремесла, знанія, а наука вообще не существуетъ вовсе». Естествознаніе представляется ему единственно важнымъ занятіемъ. «Лягушекъ рѣзать», изслѣдовать природу,—вотъ чему посвящаетъ свои силы Базаровъ. Сообразно съ этимъ онъ считаетъ чепухой, „романтизмомъ“ искусство, красоту, паѳосъ и любовь,—все, къ чему такъ восторженно относились идеалисты 40-хъ годовъ. Когда ему говорятъ о принципахъ, о логикѣ исторіи, онъ противопоставляетъ имъ только

факты, только очевидныя матеріальныя побужденія. „Вы не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей“. Споръ Базарова съ Кирсановымъ,—это тотъ же конфликтъ Пигасова съ Рудинымъ, споръ позитивиста съ идеалистомъ, споръ о томъ, существуютъ ли прирожденныя апріорныя нравственныя представленія въ душѣ человѣка или только одни чувственныя воспріятія опредѣляютъ наши поступки и воззрѣнія. „Принциповъ нѣтъ, а есть ощущенія; отъ нихъ все зависитъ“,—говоритъ Базаровъ,—но роли перемѣнились. Рудинъ разбилъ Пигасова. Базаровъ торжествуетъ надъ Кирсановымъ. Базаровъ словно мститъ эпохѣ идеализма за то, что она обманула ожиданія общества,—эпохѣ, когда обличалось взяточничество, говорилось „объ отсутствіи дорогъ, торговли, правильнаго суда“. „Мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ-называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ“...

Такимъ образомъ, Базаровъ провозглашаетъ единственный стимулъ дѣятельности: потребность. Никакихъ идеаловъ, только факты и голыя потребности. Онъ дѣйствуетъ въ силу того, что признаетъ полезнымъ. Для своего времени онъ считаетъ самымъ полезнымъ отрицаніе, а потому отрицаетъ все безъ остатка. На замѣчаніе Кирсанова, что нельзя только разрушать, необходимо и строить, Базаровъ отвѣчаетъ: „Это ужъ не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить“. Эту разрушительную работу, это отрицаніе онъ называетъ нигилизмомъ. Если

довести до ея логическаго конца проповѣдь Базарова, мы увидимъ, что она должна привести къ признанію личности, ея инстинкта, единственнымъ движущимъ началомъ жизни. Отреченіе, ограниченіе личности во имя общества и его интересовъ отрицаются, и на мѣсто ихъ возводится культъ силы и эгоизма. „Мы ломаемъ, потому что мы сила". Базаровъ въ этихъ словахъ приближается къ Ницше. Жизнь есть борьба. Превосходство того или другого начала опредѣляется его силой. Когда Кирсановъ говоритъ, что „милліоны раздавятъ" этихъ проповѣдниковъ-разрушителей, Базаровъ спокойно замѣчаетъ: „Коли раздавятъ, туда и дорога". Вообще въ проповѣди Базарова много такого, что напоминаетъ проповѣдь Заратустры. Всякая личность должна считать свою сущность единственнымъ началомъ, свое „само" ставить выше всего. Пусть эти самодовлѣющія личности борятся каждая за свое существованіе, и въ этой борьбѣ погибнетъ все слабое и ненужное и удержится все то, что ведетъ человѣчество въ сверхчеловѣческія высоты. Для Базарова нѣтъ ничего священнаго. Онъ не хочетъ никакихъ авторитетовъ, идоловъ и кумировъ. Даже для народа онъ не дѣлаетъ исключенія. Онъ смѣется надъ общиной, глумится надъ вѣрой въ мужика, который „радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ", и увѣряетъ, что въ „современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ", нѣтъ ни одного установленія, которое бы не вызывало „полнаго и безпощаднаго отрицанія". Его другъ Аркадій думаетъ, что всякій долженъ способствовать счастью мужика. „А я,—говоритъ Базаровъ,—и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да на что мнѣ его спасибо. Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ,—ну, а дальше?"

Тургеневъ не совсѣмъ вѣрно изобразилъ нигилиста-разночинца и матеріалиста. Онъ не могъ уловить его положительныхъ стремленій. Матеріализмъ и нигилизмъ вовсе не были проповѣдью голаго эгоизма. Напротивъ, его истинные представители, какъ увидимъ, горѣли пламенемъ жертвы и жаждой служенія народу не меньше, чѣмъ предшествующая эпоха. Подъ ихъ грубой матеріалистической проповѣдью скрывалось желаніе основать дѣло осуществленія народнаго счастья на фактахъ, на научныхъ основахъ, уйти отъ тѣхъ безпочвенныхъ, хотя и благородныхъ мечтаній, которыя принесли столько разочарованій. Вотъ почему Тургеневъ придалъ Базарову тотъ оттѣнокъ меланхоліи и грусти, котораго не было у его прототиповъ въ жизни. Они знали, чего хотѣли. Изъ проповѣди для нихъ вытекалъ опредѣленный методъ дѣйствій, и имъ былъ чуждъ душевный разладъ. Тургеневъ не могъ уловить этого. Онъ вложилъ въ отрицаніе и разрушеніе ту душевную тоску, которая жила въ немъ самомъ. Идеологъ мыслящаго барства съ его идеализмомъ и гуманностью могъ представить нигилиста только въ видѣ одинокаго лишняго человѣка, страдающаго отъ своего отрицанія, рвущагося къ служенію на благо народа и впадающаго въ противорѣчіе съ собственными теоріями. И его Базаровъ изъ грубаго матеріалиста и разрушителя не разъ превращается въ тоскующаго лишняго человѣка, и въ словахъ его звучатъ тѣ же рѣчи, которыя раздавались въ устахъ Рудиныхъ и Лаврецкихъ. Эти рѣчи сводятся къ одному мотиву: „хочу послужить людямъ, но не умѣю и не знаю какъ“. Временами Базаровъ завидуетъ своимъ родителямъ, которые хлопочутъ, толкуютъ, у которыхъ весь день „напичканъ занятіями“. Временами ему становится грустно при мысли, что часть времени, которую ему удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ его не было и не будетъ. „А въ этомъ

атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже". Онъ завидуетъ муравью, который тащитъ упирающуюся полумертвую муху и въ качествѣ животнаго имѣетъ право не признавать чувства состраданія, „не то, что нашъ братъ самоломанный". Базаровъ призналъ, такимъ образомъ, что человѣку не уйти отъ чувства состраданія, отъ сознанія связи и солидарности съ другими людьми, что голый инстинктъ и эгоизмъ возможны только въ животномъ царствѣ. Не разъ выдаетъ онъ, что ему трудно осуществить свои теоріи. „Ѣшь, пей и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нѣтъ; тоска одолѣваетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними". Словомъ, Тургеневъ не нашелъ выхода въ нигилизмѣ. Позавидовавъ силѣ новыхъ людей, создавъ въ лицѣ Базарова своего любимѣйшаго героя, воплотивъ въ немъ ту мощь, къ которой безплодно стремился онъ самъ,—Тургеневъ кончилъ тѣмъ, что надѣлилъ его своей собственной тоской, не разглядѣлъ самаго главнаго въ новыхъ людяхъ, именно того обстоятельства, что у нихъ были положительные идеалы и не было тоски и душевнаго разлада.

Базаровъ измѣняетъ не только своей матеріалистической философіи. Онъ не остается до конца вѣрнымъ своей враждѣ къ романтизму и сантиментальнымъ чувствамъ. Въ разговорахъ съ Одинцовой „онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединѣ, онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ". И этотъ человѣкъ съ его холоднымъ умомъ и злой ироніей измѣнилъ себѣ, когда бросилъ Одинцовой: „Такъ знайте же, что я люблю васъ глупо, безумно". Онъ дерется на дуэли съ Павломъ Петровичемъ, хотя сознаетъ, что это глупо, и небрежно объясняетъ Аркадію: „Вотъ что значитъ съ феодалами

пожить. Самъ въ феодалы попадешь и въ рыцарскихъ турнирахъ участвовать будешь". Лежа на смертномъ одрѣ, онъ посылаетъ къ Одинцовой сообщить, что умираетъ. Онъ, называвшій отца „презабавнымъ старикашкой" и подсмѣивавшійся надъ трогательною любовью обоихъ стариковъ, говоритъ передъ смертью Одинцовой: „Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ. Это чепуха, но не разувѣряйте старика. Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать приласкайте. Вѣдь такихъ людей какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать... Я нуженъ Россіи... Нѣтъ, видно, не нуженъ".

Такъ закончилъ повѣсть сильнаго человѣка поэтъ умирающей культуры. Тѣхъ людей, которые шли бодро впередъ, онъ обвѣялъ тѣмъ же меланхолическимъ осеннимъ дыханіемъ, какъ и прежнихъ героевъ, и не бодрымъ гимномъ будущему, а тоскливымъ безсиліемъ лишняго человѣка прозвучали послѣднія слова умирающаго Базарова: „не нуженъ". И мертвымъ безсиліемъ кладбища вѣетъ и отъ этого произведенія. Щемящей тоской проникаетъ въ сердце заключительная картина: „Есть небольшое сельское кладбище, въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи. Какъ почти всѣ наши кладбища, оно являетъ видъ печальный... Овцы безвозбранно бродятъ по могиламъ. Но между ними есть одна, до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное: однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ похороненъ въ этой могилѣ. Къ ней изъ недалекой деревушки часто приходятъ два уже дряхлыхъ старичка—мужъ съ женою... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна?" Таковъ итогъ романа. Тургеневъ кончилъ его порывомъ стараго

идеалиста. Онъ не осудилъ того, чье „бунтующее сердце скрылось въ этой могилѣ“, но душою онъ былъ не съ нимъ, а съ тѣми, кто пользовался въ борьбѣ съ жизнью старымъ оружіемъ--молитвой и слезами.

V.

Новыя теченія среди русской интеллигенціи и молодежи, возникшія съ началомъ реакціи. — Отношеніе къ нимъ Тургенева.—Реакціонная Россія и интеллигенція въ „Дымѣ“. — Правильно ли изобразилъ ихъ Тургеневъ.—Положительные идеалы и отрицаніе Потугина. — Изображеніе революціонныхъ кружковъ въ романѣ „Новь“.—Неждановъ.—Соломинъ.—Женщины у Тургенева: Лиза, Наталья, Елена, Маріанна.—„Стихотворенія въ прозѣ“, какъ самое яркое выраженіе души Тургенева и его общаго настроенія.

Въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ Тургеневъ сдѣлалъ попытку заглянуть во внутренній міръ новыхъ людей. Онъ не понялъ ихъ, и это непониманіе углублялось по мѣрѣ того, какъ Тургеневъ старался охватить общественныя и умственныя теченія, развивавшіяся въ чуждыхъ ему сферахъ. Въ 1867 году появляется „Дымъ“. За нѣсколько лѣтъ, отдѣляющихъ это произведеніе отъ „Отцовъ и дѣтей“, произошло много важныхъ событій. За это время революціонная организація „Молодая Россія“ выпустила свою боевую прокламацію, призывавшую къ цареубійству и напугавшую всѣхъ благонамѣренныхъ людей, произошли знаменитые петербургскіе пожары, вспыхнуло польское возстаніе, наконецъ раздался выстрѣлъ Каракозова, который былъ поворотнымъ моментомъ въ политикѣ правительства. Императорскій рескриптъ объявлялъ задачей правительства охрану вѣковыхъ устоевъ общества, религіи и священнаго права собственности. Началась рѣшительная реакція, репрессіи противъ печати. Реакціонная партія, которая исказила дѣло реформъ, мѣшала ихъ осуществленію въ полной мѣрѣ и этимъ въ значительной степени подготовила ихъ неуспѣхъ, теперь

торжествовала, старалась урѣзать компетенцію уже созданныхъ учрежденій, издѣвалась надъ либералами и радикалами, осмѣивала революціонное движеніе. Напротивъ того, оппозиціонная часть общества, раньше находившая себѣ выходъ въ дѣятельности по осуществленію реформъ, теперь въ значительной мѣрѣ ушла въ подполье, организовывала революціонныя тайныя общества. Здѣсь, въ этой подпольной Россіи продолжала зрѣть идея о необходимости дальнѣйшей борьбы съ вѣковымъ произволомъ и насиліемъ. Здѣсь глубоко было сознаніе недостаточности произведенныхъ реформъ. И при всѣхъ промахахъ, при извѣстной незрѣлости молодежи, которая принимала главное участіе въ этой революціонной дѣятельности, она была согрѣта вѣрой въ великое будущее Россіи, пылала жаждой жертвы, стремилась отдать свою жизнь народному дѣлу.

Въ „Дымѣ“ Тургеневъ изобразилъ это новое направленіе общественной мысли. Онъ представилъ намъ и типы, порожденные сплотившейся реакціей, и новыхъ людей, выдвинутыхъ новыми формами освободительнаго движенія. Могъ ли понять идеологъ отодвинутаго исторіей мыслящаго дворянства эти новыя формы? Пессимизмъ, который проникаетъ всѣ произведенія Тургенева, въ „Дымѣ“ проявляется еще съ большей силой. Авторъ не вѣритъ въ новыхъ людей. Онъ даже глумится надъ ними,—глумится болѣе жестоко, чѣмъ надъ сановными представителями реакціи. И въ нарисованной имъ пессимистической картинѣ только образы, сотканные изъ любви и поэзіи, эти старые излюбленные образы его творчества, озарены прежнимъ яркимъ свѣтомъ.

Тутъ была почти вся fine fleur нашего общества „вся знать и моды образцы“,—такъ начинаетъ Тургеневъ характеристику сановной и аристократической Россіи, представители которой съѣхались въ Баденъ.

Нѣсколькими злыми штрихами очерчена каждая фигура: графъ X, несравненный дилеттантъ, который такъ божественно „сказываетъ“ романсы, а въ сущности двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкривь и вкось указательнымъ пальцемъ по клавишамъ, и поетъ не-то какъ плохой цыганъ, не-то какъ парижскій коаферъ; восхитительный баронъ Z, мастеръ на всѣ руки,—и литераторъ, и администраторъ, и ораторъ, и шулеръ; князь Y, другъ религіи и народа, составившій себѣ во время оно, въ блаженную эпоху откупа громадное состояніе продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ; блестящій генералъ О. О., который что-то покорилъ, кого-то усмирилъ; государственные люди, дипломаты, тузы съ европейскими именами, мужи совѣта и разума, воображающіе, что золотая булла издана папой и что англійскій „poortax“ есть налогъ на бѣдныхъ. Это люди, которые проклинаютъ новыя либеральныя теченія, обличительную печать, отмѣну крѣпостнаго права. „Журналы! — восклицаетъ одинъ изъ нихъ.—Обличеніе! Если бы отъ меня зависѣло, я бы въ этихъ вашихъ журналахъ только и позволилъ печатать, что таксы на мясо или на хлѣбъ да объявленія о продажѣ шубъ да сапоговъ“. Они жалуются на разореніе дворянства; имѣнія продаются съ аукціона, никто не хочетъ ихъ покупать. Они требуютъ возврата къ прошлому. „Мы разорены... мы унижены... Мы должны предостерегать, мы должны говорить съ почтительной твердостью: воротитесь, воротитесь назадъ!.. Надо передѣлать все сдѣланное... и девятнадцатое февраля, насколько возможно“. Здѣсь съ презрѣніемъ и ненавистью говорятъ о новыхъ людяхъ, объ образованіи. „Я не врагъ такъ-называемаго прогресса, — замѣчаетъ „снисходительный генералъ“, — но всѣ эти университеты да семинаріи тамъ да народныя училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга... вотъ гдѣ нужно остановиться... Не позво-

ляйте умничать черни, а ввѣрьтесь аристократіи, въ которой одной и есть сила".

Но вотъ передъ нами другая Россія, и сатирическая злоба автора развертывается еще шире. Можно подумать, что мы находимся среди подонковъ общества, и русскіе эмигранты состояли изъ сброда негодяевъ и шарлатановъ. Главой кружка, интеллигентовъ, выведенныхъ авторомъ, является Губаревъ. Кружокъ напоминаетъ тѣхъ людей, которыми восхищался Репетиловъ, и выраженіе „шумимъ, братецъ, шумимъ", вполнѣ опредѣляетъ характеръ дѣятельности кружка. Здѣсь легко возводятъ въ геніи, дѣлаютъ „событія" изъ ничтожныхъ фактовъ, занимаются сплетнями, воюютъ на почвѣ маленькихъ оскорбленныхъ самолюбій. Авторъ не уловилъ даже намека на широкія задачи, на способность къ жертвѣ, на горячее чувство любви къ народу. Вліяніе Губарева авторъ устами Потугина объясняетъ тѣмъ, что русскій человѣкъ требуетъ надъ собой господина, ему нуженъ баринъ. „Губаревъ захотѣлъ быть начальникомъ, всѣ его начальникомъ и признали"... Онъ и славянофилъ, и демократъ, и соціалистъ, и все, что угодно, а имѣніемъ его управлялъ и теперь еще управляетъ братъ, хозяинъ въ старомъ вкусѣ, изъ тѣхъ, что дантистами величали... А вѣдь только за нимъ и есть, что онъ умныя книжки читаетъ да все въ глубину устремляется". Ни дара слова, ни настоящей глубины и программы у Губарева нѣтъ. Съ таинственнымъ видомъ передаютъ эти люди о скрытыхъ замыслахъ Губарева, и только въ концѣ романа раскрывается весь безнадежный взглядъ автора на вождей интеллигентныхъ кружковъ, когда онъ заставляетъ Литвинова встрѣтиться съ Губаревымъ на почтовой станціи въ глуши Россіи. „Па-адлецы, па-адлецы! — кричалъ вождь революціоннаго кружка.—Мужичье поганое! Бить ихъ надо, вотъ что; по мордамъ бить, вотъ имъ какую свободу въ зубы!"

И не только генералы, аристократы и эмигранты, разночинцы и революціонеры даютъ пищу пессимизму Тургенева. Устами Потугина онъ выражаетъ свой безнадежный взглядъ на русскій народъ и интеллигенцію, на всѣ стороны русской дѣйствительности. Слушая рѣчи Потугина, иногда кажется, будто передъ нами старикъ съ обычнымъ старческимъ брюзжаніемъ на молодое поколѣніе. Революціонные кружки въ глазахъ Потугина безплодны. Въ нихъ говорятъ о значеніи, о будущности Россіи, но всегда въ общихъ чертахъ, бездоказательно, безвыходно: „жуютъ, жуютъ они этотъ несчастный вопросъ, словно дѣти кусокъ гумиластика; ни соку, ни толку". О русскихъ людяхъ, русскомъ національномъ характерѣ и направленіяхъ мысли онъ самаго низкаго мнѣнія. „Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ большей частью живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ-называемое направленіе надъ нами власть возьмѣетъ... теперь, напр., мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское униженіе. Новый баринъ народился—стараго долой! То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ; въ ухо Якова, въ ноги Сидору! Вспомните, какія въ этомъ родѣ происходили у насъ продѣлки! Мы толкуемъ объ отрицаніи, какъ объ отличительномъ нашемъ свойствѣ; но и отрицаемъ-то мы не такъ, какъ свободный человѣкъ, разящій шпагой, а какъ лакей, лупящій кулакомъ, да еще, пожалуй, лупитъ онъ по господскому приказу". Мало удовлетворяютъ Потугина славянофилы: „прекраснѣйшіе люди, а та же смѣсь отчаянья и задора, тоже живутъ буквой „буки". Все, молъ, будетъ, будетъ. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ... Но постойте, потерпите:

все будетъ. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать? А потому что мы — молъ, образованные люди—дрянь; но народъ... о, это великій народъ! Видите этотъ армякъ? Вотъ откуда все пойдетъ. Всѣ другіе идолы разрушены, будемте же вѣрить въ армякъ". Уничтоживъ все, Потугинъ только въ рѣдкихъ случаяхъ пытается указать ту положительную программу дѣйствій, которую онъ противопоставляетъ различнымъ группамъ русской интеллигенціи. Прощаясь съ Литвиновымъ, уѣзжающимъ въ Россію, онъ даетъ ему такой напутственный совѣтъ: „Всякій разъ, когда вамъ придется приниматься за дѣло, спросите себя: служите ли вы цивилизаціи—въ точномъ и строгомъ смыслѣ слова,—проводите ли одну изъ ея идей, имѣетъ ли вашъ трудъ тотъ педагогическій европейскій характеръ, который единственно плодороденъ въ наше время у насъ? Если такъ — идите смѣло впередъ: вы на хорошемъ пути, и дѣло ваше—благое! Слава Богу! Вы не одни теперь. Вы не будете „сѣятелемъ пустыни"; завелись уже и у насъ труженики... піонеры". Въ этихъ словахъ сказался Тургеневъ, убѣжденный западникъ, идеалистъ сороковыхъ годовъ, взгляды котораго кристаллизовались въ предшествующую эпоху. Неопредѣленная вѣра въ „цивилизацію", отсутствіе опредѣленной практической программы, неспособность примѣнить эту вѣру къ практическимъ задачамъ, выдвинутымъ русской жизнью,—все это осталось и въ „Дымѣ",—въ романѣ, который долженъ былъ отразить стремленія новыхъ людей.

Осталась не только эта отчужденность отъ русской внѣусадебной жизни. Сохранился и тотъ интересъ къ личному чувству, которое составляло всегда главную тему тургеневскихъ романовъ и которое такъ гармонировало съ общимъ настроеніемъ идеалистической эпохи. Разговоры на политическія темы, составляющіе главную тему въ началѣ романа, мало-по-малу усту-

паютъ мѣсто новому сюжету, любви Литвинова къ Иринѣ. Прежній Тургеневъ, меланхолическій пѣвецъ дѣвушекъ, взрощенныхъ усадебной культурой, поэтъ Лизы и Елены, воскресаетъ передъ нами, когда мы читаемъ трогательныя страницы, посвященныя горю Тани, покинутой Литвиновымъ для Ирины. Все, вплоть до доброй старушки въ лицѣ Капитолины Марковны, весь міръ стараго барства съ его религіозными кроткими дѣвушками, не имѣющими своихъ задачъ въ жизни, поджидающими своихъ суженыхъ,—этотъ міръ снова обрисованъ авторомъ нѣжными любовными красками, и этотъ міръ, точно укоряющій призракъ, выходитъ въ послѣдній разъ изъ могилы, словно для того, чтобы показать обществу, сколько красоты и поэзіи, сколько мира, уюта и тишины утратило оно, покинувъ старыя дворянскія гнѣзда и окунувшись въ сутолоку новой шумной городской жизни. Сцена примиренія Литвинова съ Таней—почти символъ. Мятущемуся духу русскаго интеллигента негдѣ найти убѣжища, кромѣ домика на холмѣ съ его острымъ мезониномъ и рядомъ окошекъ, ярко рдѣющихъ на вечернемъ солнцѣ, того домика, за стѣнами котораго патріархальное счастье и тихая идиллія. Изъ бурь жизни, изъ власти неровной, истерической женщины Литвиновъ, едва не погибшій въ пучинѣ страстей, едва спасшійся изъ міра борьбы, политическихъ столкновеній и корыстныхъ вожделѣній, нашелъ истинное счастье здѣсь, среди этого сада, въ тиши деревни, въ уютномъ домикѣ, подлѣ кроткой любящей дѣвушки. „Дымъ, дымъ!“—этимъ словомъ опредѣляетъ онъ новый міръ, и его устами говоритъ самъ авторъ, не умѣвшій разобраться въ непонятныхъ явленіяхъ этого новаго міра и въ минуты тоски и отчаянія съ любовью уносившійся въ запущенную усадьбу, гдѣ такъ уютно жилось старому барству, еще не выбитому изъ колеи неумолимымъ ходомъ исторіи.

Еще въ большей степени отчужденность Тургенева отъ новыхъ теченій русской жизни обнаруживается въ романѣ „Новь". Долгое пребываніе за границей, неспособность отрѣшиться отъ той культуры и того міровоззрѣнія, которыхъ Тургеневъ былъ самымъ яркимъ представителемъ въ художественной литературѣ, обусловили его отношеніе къ революціонному движенію 70-хъ годовъ и къ тому явленію, за которымъ утвердилось характерное названіе: „хожденіе въ народъ". „Кто помнитъ,—говоритъ проф. Овсянико-Куликовскій,—70-е годы, тотъ хорошо знаетъ, что въ извѣстномъ движеніи того времени принимали участіе не только зеленые и легковѣрные юноши или тупицы въ родѣ Остродумова, но и люди зрѣлые, умные, даровитые, раздѣлявшіе, однако, общую иллюзію о высокихъ душевныхъ качествахъ русскаго народа, дѣлающихъ будто бы возможною и плодотворною извѣстную дѣятельность для него и среди него. Идеализація народа, довѣріе къ нему въ его современномъ состояніи,—это была общая черта и глупыхъ, и умныхъ, и юныхъ, и зрѣлыхъ, и даровитыхъ, и бездарныхъ. Во всемъ можно было сомнѣваться, все подвергать критикѣ,—одна лишь святыня народной идеи была неприкосновенна. И между тѣми, кто служилъ этой идеѣ, были люди куда умнѣе и образованнѣе не только Маркелова, но и Нежданова". Не такъ отнесся къ революціонерамъ Тургеневъ. Онъ превратилъ ихъ въ людей невѣжественныхъ и ограниченныхъ, даже пошлыхъ и жалкихъ. Въ лучшемъ случаѣ онъ видѣлъ въ нихъ незрѣлыхъ искателей истины, „лишнихъ людей", не находящихъ выхода своимъ активнымъ силамъ. Онъ написалъ въ „Нови" жестокую сатиру на этихъ людей, такъ же, какъ въ „Дымѣ" безпощадно и несправедливо осмѣялъ русскую интеллигенцію и эмигрантовъ. Предъ нами цѣлый рядъ фигуръ. Капитонъ Голушкинъ, сынъ разбогатѣвшаго торговца изъ старо-

вѣровъ, производилъ впечатлѣніе дурковатаго парня съ большимъ самолюбіемъ. Это — революціонеръ изъ купцовъ, протежирующій каскадныхъ актрисъ и напоминающій скорѣе самодуровъ Островскаго, чѣмъ героевъ и мучениковъ революціи. Его главной страстью была жажда популярности: „греми, молъ, Голушкинъ, по всему свѣту". Онъ самодовольно заявлялъ, что бросился въ оппозицію; онъ былъ до того невѣжественъ, что вначалѣ путалъ это слово съ „позиціей". Въ дѣйствительности же его привлекла къ революціонерамъ та же жажда популярности. Она заставляла его, человѣка скупого, бросать деньги, устраивать попойки, говорить о необходимости пропаганды (слово, которое онъ выговаривалъ съ трудомъ) и вообще стараться о томъ, чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Рядомъ съ Голушкинымъ—Паклинъ, такая же карикатурная фигура. Паклинъ трусливъ и жалокъ. Онъ играетъ жалкую роль передъ величественнымъ бариномъ, къ которому забѣжалъ впередъ съ искреннимъ намѣреніемъ въ минуту опасности и который насмѣялся надъ нимъ, извлекши изъ него все, что нужно было для обнаруженія дѣла. Третья фигура — Маркеловъ, не лишенный благородства, грубый съ аристократами и обходительный съ мужикомъ, но человѣкъ ограниченный и бездарный. Авторъ постарался и этому герою, возбуждающему нѣкоторое сочувствіе, приписать черточки пошлости. Онъ полюбилъ дѣвушку, но она измѣнила ему самымъ безцеремоннымъ образомъ и вышла замужъ за адъютанта. Съ тѣхъ поръ Маркеловъ ко всѣмъ предметамъ своей ненависти присоединилъ и адъютантовъ. Далѣе, Машурина и Остродумовъ, болѣе мелкіе дѣятели революціи, изображены людьми недалекими. По поводу Машуриной Тургеневъ дѣлаетъ вылазку противъ дѣвушекъ, участвовавшихъ въ революціонномъ движеніи, — вылазку, въ которой сказалось несправедливое оскорбительное предубѣжденіе извѣстныхъ

слоевъ общества, упрекавшихъ революціонные кружки въ распущенности и цинизмѣ. И у Достоевскаго въ его „Бѣсахъ“, и у Гончарова въ изображеніи Марка Волохова, и особенно въ „Панурговомъ стадѣ“ Крестовскаго мы встрѣтимъ отраженіе этого предразсудка. Тургеневъ отдалъ дань этимъ предразсудкамъ въ язвительномъ и злобномъ замѣчаніи. Сообщивъ, что Машурина добилась „неустаннымъ трудомъ“ аттестата и была „очень цѣломудренная дѣвица“, Тургеневъ сопровождаетъ это сообщеніе слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Дѣло неудивительное!—скажетъ иной скептикъ, вспомнивъ то, что было сказано о ея наружности. Дѣло удивительное и рѣдкое! — скажемъ мы“.

Но, можетъ-быть, ни въ чемъ такъ ярко не сказалось отрицательное отношеніе къ революціонному движенію, какъ въ выведенной авторомъ фигурѣ Нежданова. Эта фигура обличаетъ въ авторѣ снова великаго художника, который умѣетъ быть правдивымъ, какъ только берется за понятныя и родственныя ему по духу натуры. Въ образѣ Нежданова представленъ „кающійся дворянинъ“, „лишній человѣкъ“ въ новой обстановкѣ, въ революціонныхъ кружкахъ. Тоска и муки Нежданова понятны Тургеневу. Онъ тщетно пытается уйти изъ міра поэзіи и любви и броситься въ сферу великаго, грубаго и жестокаго дѣла. Тщетно старается онъ отрѣшиться отъ своихъ эстетическихъ привычекъ, отъ своего отвращенія ко всему, на чемъ нѣтъ отпечатка изящества и благородства. Тщетно старается онъ пить водку, пользоваться развязнымъ жаргономъ революціонеровъ, слиться съ народомъ. Ему противны грязные мужики, ему непонятенъ и недоступенъ этотъ міръ, изъ котораго его постоянно влечетъ въ міръ поэзіи и любви, въ міръ мысли и личныхъ чувствъ. Нежданов родился отъ князя Г., богача, генералъ-адъютанта и отъ гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки. Генералъ пустилъ его по „эстетикѣ,

т.-е. по историко-филологическому факультету, и послѣ смерти оставилъ на его долю небольшой капиталъ, проценты съ котораго выдавались Нежданову въ видѣ пенсіи его братьями, князьями Г. Неждановъ имѣлъ аристократическую внѣшность. Неждановъ — лишній человѣкъ въ новой обстановкѣ. Та тоска, которую переживало кающееся дворянство, не находившее примѣненія своимъ силамъ, здѣсь пріобрѣтаетъ особенно жгучую силу. Здѣсь отпрыскъ стараго барства устремляется въ ту сферу дѣятельности, которая была ему особенно враждебна. Неждановъ прежде всего баринъ, и притомъ просвѣщенный баринъ, съ типичными чертами идеалиста сороковыхъ годовъ, съ его метафизическимъ и эстетическимъ складомъ ума. „О, какъ я проклинаю эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наслѣдіе моего аристократическаго отца". Что до того, что онъ незаконный сынъ аристократа и добываетъ себѣ хлѣбъ своимъ трудомъ, — по воспитанію и вкусамъ онъ типичное дитя барской культуры. Его философствующій на манеръ Рудина умъ, его эстетическіе вкусы и безсиліе передъ грубой дѣйствительностью ранятъ его больнѣе потому, что онъ живетъ и дѣйствуетъ позднѣе ихъ, когда жизнь предъявляла иныя требованія. Рудины и Лаврецкіе не такъ ясно чувствуютъ причину своихъ страданій. Неждановъ даетъ себѣ ясный отчетъ. Онъ понимаетъ, что та культура и тѣ вкусы, которые вѣками прививались дворянской средѣ, оказались безплодными теперь, когда потребовалось новое дѣло. „Какое право,—говоритъ Неждановъ про своего отца,— имѣлъ онъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу—да и пихнулъ ее въ воду? — Эстетика — да въ грязь!.." Неудивительно, что изъ агитаторскихъ попытокъ Нежданова ничего не выходитъ. „Самъ чувствую, что не гожусь.

Точно скверный актеръ въ чужой роли". И онъ кончаетъ тѣмъ же, чѣмъ кончили всѣ „лишніе люди", умираетъ безцѣльно, нелѣпо и передъ самоубійствомъ въ послѣднемъ письмѣ онъ дѣлаетъ то же признаніе, которое до него сдѣлали и Рудинъ, и Лаврецкій, и Базаровъ. Онъ объявляетъ ненужной свою жизнь, видитъ, что дѣлалъ, не настоящее дѣло. „Настоящимъ" для Нежданова была только его любовь къ Маріаннѣ, стихи, которые онъ писалъ, его гамлетовскія сомнѣнія,—словомъ, все то, чѣмъ жили люди 40-хъ годовъ и что совершенно напрасно Тургеневъ бросилъ въ среду молодежи 70-хъ годовъ,—молодежи, не знавшей сомнѣній, твердо шедшей по тому пути, который она считала истиннымъ.

Въ „Нови" Тургеневъ какъ-будто обрѣлъ, наконецъ, настоящаго человѣка,—человѣка дѣла, а не слова, человѣка, который зналъ, что дѣлаетъ и куда идетъ. Соломинъ, повидимому,—тотъ образецъ, который Тургеневъ хотѣлъ противопоставить незрѣлой революціонной молодежи. Соломинъ — разночинецъ, сынъ дьячка. Онъ — механикъ, учился въ Англіи и управляетъ фабрикой. Онъ даже англійскаго мануфактуриста поразилъ своими знаніями и постановкой дѣла. Авторъ нѣсколько разъ подчеркиваетъ, что Соломинъ — тотъ идеалъ, который онъ обрѣлъ въ концѣ-концовъ. На фабрикѣ его любили, рабочіе относились къ нему съ довѣріемъ и глубокимъ уваженіемъ. Устами Паклина авторъ такъ опредѣляетъ Соломина: „Такіе, какъ онъ—они-то вотъ и суть настоящіе. Ихъ сразу не раскусишь, а они — настоящіе, повѣрьте; и будущее имъ принадлежитъ. Это не герои; это даже не тѣ „герои труда", о которыхъ какой-то чудакъ — американецъ или англичанинъ — написалъ книгу для назиданія насъ, убогихъ; это крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно!" Посмотримъ, что же представляетъ изъ себя

этотъ человѣкъ, который долженъ былъ указать настоящій путь русскому обществу. Объ его положительныхъ качествахъ мы знаемъ по разсказамъ окружающихъ или должны вѣрить на́-слово автору. Въ этомъ отношеніи Соломинъ скорѣе—отвлеченная схема, чѣмъ живой образъ. Онъ — программа, а не конкретная фигура. Мы почти не видимъ его на фабрикѣ, не видимъ, какъ и чѣмъ добился онъ довѣрія со стороны рабочихъ, въ чемъ проявилась его воля и дѣловитость. Мы имѣемъ объ этой сторонѣ его дѣятельности въ сущности не больше свѣдѣній, чѣмъ о деревенской дѣятельности Лаврецкаго, котораго тоже не видимъ за работой. Соломинъ — искусственный образъ, поскольку авторъ хотѣлъ нарисовать въ немъ человѣка дѣла, не знающаго сомнѣній, идущаго впередъ по разъ намѣченному пути. Едва ли въ 70-е годы среди революціонеровъ могъ отыскать авторъ этого уравновѣшеннаго человѣка, освободившагося отъ сомнѣній и внутренняго разлада, благодаря дѣятельности на фабрикѣ, довольствующагося своимъ дѣломъ. Во всякомъ случаѣ, авторъ не выяснилъ, почему ищущая дѣла и тоскующая русская интеллигенція просмотрѣла путь, по которому шелъ Соломинъ и въ которомъ можно было найти удовлетвореніе.

Если въ жизни и попадались подобные люди, то они были скорѣе ловкими дѣльцами въ родѣ Штольца, чѣмъ друзьями революціонеровъ. Соломинъ — проповѣдникъ малыхъ дѣлъ, постепеновщины. Ему чужды широкіе идеалы русской интеллигенціи: „Вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите... а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь; а пока—ребеночка вы помоете, или азбуку покажете, — или больному лѣкарство дадите... вотъ вамъ и начало... Вы будете чумичкой, горшки мыть, щипать куръ... А тамъ, кто знаетъ, можетъ-быть, спасете отечество". Тяжелый путь разочарованій и внут-

ренних колебаній нужно было пройти Тургеневу для того, чтобы отыскать въ концѣ-концовъ спасеніе родины въ этомъ сомнительномъ идеалѣ. И трудно повѣрить, что носителя этого идеала полюбила такая дѣвушка, какъ Маріанна. Да и вообще отношеніе революціонеровъ къ Соломину и его отношеніе къ нимъ представляетъ трудно разрѣшимую загадку. Нелегко понять, почему Соломинъ пользовался у нихъ авторитетомъ. Въ революцію онъ не вѣрилъ, спорить не любилъ, и авторъ не разъ даетъ понять, что Соломинъ въ душѣ считалъ своихъ друзей дѣтьми. Что же побуждало Соломина сближаться съ ними? Авторъ только мимоходомъ указываетъ причину этого сближенія. „Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ — и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ — ибо былъ самъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго „ничего ты не подѣлаешь“ и котораго долго готовить надо — да не такъ и не тому, какъ *ты*“. Такимъ образомъ превосходство Соломина заключалось только въ томъ, что онъ отрицательно относился къ революціонной дѣятельности своихъ друзей. Казалось бы, при такомъ ясномъ умѣ, при такомъ трезвомъ пониманіи событій, Соломинъ долженъ былъ доказать друзьямъ несостоятельность ихъ стремленій, предостеречь ихъ отъ гибельнаго пути. Трудно понять, какимъ образомъ могъ этотъ человѣкъ спокойно смотрѣть, какъ катились въ бездну тѣ, кого онъ называлъ своими друзьями. Правда, онъ замѣчаетъ, что „другихъ путей нѣтъ“. Но тѣмъ болѣе странной, чтобы не сказать некрасивой, является его роль среди революціонеровъ. Онъ ничего не сдѣлалъ для того, чтобы направить ихъ на правильный путь, чтобы провести свои взгляды. Онъ ничѣмъ не пожертвовалъ, въ то время, какъ другіе шли на каторгу и на висѣлицу. Соломинъ занялъ сомнительную позицію

по отношенію къ революціи. Онъ не хотѣлъ уйти отъ тѣхъ, помимо которыхъ „все-таки не было другого пути“. Но онъ оставался среди нихъ, не раздѣлялъ ихъ риска и даже не хотѣлъ тратить словъ для споровъ съ ними. „Онъ,—говоритъ авторъ,—и держался въ сторонѣ, не какъ хитрецъ и виляга, а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ. А послушать... отчего не послушать—и даже поучиться, если такъ придется“. Позиція выгодная,—но едва ли кто-нибудь согласится съ Тургеневымъ, что для человѣка, занявшаго эту позицію, больше подходитъ опредѣленіе „малаго со смысломъ“, чѣмъ „хитреца и виляги“. Послѣ разгрома революціоннаго движенія одинъ Соломинъ благополучно выплылъ на поверхность среди тонувшихъ. „Этотъ молодцомъ,—разсказываетъ о немъ въ концѣ романа Паклинъ,—вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросилъ и лучшихъ людей съ собой увелъ... Теперь, говорятъ, свой заводъ имѣетъ—небольшой—гдѣ-то тамъ въ Перми на какихъ-то артельныхъ началахъ. Этотъ дѣла своего не оставитъ! Онъ продолбитъ! Клювъ у него тонкій—да и крѣпкій зато. Онъ молодецъ! А главное: онъ не внезапный исцѣлитель общественныхъ ранъ“. Таковъ итогъ поисковъ Тургенева. „Настоящій“ человѣкъ, обрѣтенный имъ въ послѣднемъ изъ его крупныхъ романовъ, оказался предпринимателемъ честнымъ, но про котораго все-таки можно сказать: „себѣ на умѣ“. Тургеневъ въ лицѣ Соломина, такъ же, какъ и Гончаровъ въ лицѣ Штольца, уловилъ новую восходящую силу—буржуа-предпринимателя. Послѣ паденія крѣпостного права обнаружилось въ извѣстной части дворянства тяготѣніе къ предпринимательской дѣятельности. Сановный дворянинъ Сипягинъ ухаживаетъ за Соломинымъ, желая переманить его на свою фабрику. Но Соломинъ вскрываетъ несостоятельность этихъ новыхъ попытокъ

дворянъ: всѣ ихъ фабрики въ концѣ-концовъ „попадаютъ въ руки купцовъ“, потому что они, по выраженію Соломина, «чужаки» и чиновники. У дворянъ нѣтъ „коммерческаго расчета“ и „выдержки“, они не способны къ „правильнымъ промышленнымъ предпріятіямъ“, къ „настоящему финансовому дѣлу“. Соломинъ, какъ и вся просвѣщенная часть тогдашняго купечества и промышленнаго міра, вѣрилъ, что въ созданіи могущественнаго капиталистическаго класса заключается спасеніе Россіи, и отождествлялъ свое обогащеніе съ обогащеніемъ народа — гордая и ошибочная вѣра всей европейской буржуазіи, выдвинувшей свое господство на развалинахъ дворянскаго міра.

Пѣвецъ умирающей усадебной культуры, Тургеневъ создалъ безсмертные женскіе образы, родившіеся въ этомъ догорающемъ мірѣ. Его женщины—послѣдніе отпрыски стараго міра и первыя ласточки свѣтлаго будущаго. Его женщины не поборницы женскаго равноправія въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы понимаемъ теперь это слово. Онѣ соткапы изъ любви и жертвы. Красота и сила наиболѣе активныхъ женскихъ характеровъ проявляется только въ борьбѣ за своихъ избранниковъ. Внѣ мужчинъ эти активныя натуры не знаютъ своихъ самостоятельныхъ задачъ. Лучшія изъ нихъ умѣютъ растворять свою личность въ стремленіяхъ этихъ избранниковъ. Онѣ развертываютъ свои силы только тогда, когда отстаиваютъ свое право любить того, кого избрало сердце, но передъ лицомъ любимаго человѣка онѣ отказываются отъ своей личности, отъ своей независимости, отъ активнаго проявленія своей воли — точь-въ-точь героини жоржсандовскихъ романовъ, поднявшія революцію противъ мужского господства, но только въ области сердечныхъ отношеній. Куда ушли богатыя силы, которыми надѣлила природа Лизу, Наталью, Елену, Маріанну? Каждая беззавѣтно отдавала ихъ любимому человѣку, и

если тѣ или иныя причины разлучали ее съ нимъ, она или уходила въ монастырь, или выходила замужъ безъ энтузіазма и страсти, или пропадала безъ цѣли на чужой сторонѣ. Тургеневскія женщины—продуктъ усадебной культуры. Имъ невѣдомы мечты о равныхъ съ мужчиной правахъ на образованіе и общественную дѣятельность. И, тѣмъ не менѣе, онѣ полны силы и обаянія. Отдаваясь беззавѣтно любимому человѣку, растворяя въ его стремленіяхъ весь богатый міръ своей души, тургеневская женщина взамѣнъ того предъявляетъ ему высокія требованія. Она не легко удовлетворяется. Ея идеалъ слишкомъ возвышенъ. Она больше мужчинъ полна предчувствіемъ новаго человѣка, ея сердце ждетъ того „настоящаго", котораго не могъ найти Тургеневъ въ тогдашнемъ обществѣ. Въ своемъ страстномъ стремленіи отыскать его она часто принимаетъ свою грезу за дѣйствительность. Ея греза предупреждаетъ дѣйствительность. Не только у Тургенева, но и у Гончарова и у Островскаго мы находимъ этотъ типъ дѣвушки съ пламенной жаждой идеала, съ неопредѣленной потребностью жертвы. Не знаетъ, чего хочетъ, Ольга, но она чувствуетъ, что въ Обломовѣ она любила свою собственную грезу, что не удовлетворитъ ее и Штольцъ, что не было еще въ жизни того, чего неясно ждала ея душа. Томилась и погибла въ «Грозѣ» Катерина, такъ и не выяснивъ порывовъ своего духа, стремившагося на широкій вольный просторъ. И недаромъ Добролюбовъ считалъ появленіе такого типа лучшимъ залогомъ свѣтлаго будущаго Россіи. Тургеневъ увѣковѣчилъ эти прекрасные образы, сохраняющіе и до нашего времени свое обаяніе и чарующую красоту, несмотря на то, что далеко уже впередъ ушла русская женщина, несмотря на то, что она примѣняетъ свои силы на аренѣ борьбы за свои человѣческія права, а не растрачиваетъ ихъ больше на то, чтобы идти за Руди-

UNIV. OF MICH.

ными и Инсаровыми или отмаливать грѣхи человѣчества. Но для своего времени Натальи и Елены были великой культурной силой. Предъ ихъ яснымъ умомъ обнажалось безсиліе Рудиныхъ и отвлеченный складъ души Берсеневыхъ. Ихъ суда боялись мыслящіе люди эпохи. Съ неподражаемой силой изобразилъ Тургеневъ это могучее вліяніе женщины въ лицѣ Елены. Она—высшая судебная инстанція. Съ трепетомъ ждутъ ея рѣшенія и откровенно выдающій себя легкомысленный Шубинъ, и скрытный Берсеневъ. Ея приговору незримо подчиняются всѣ окружающіе, и цѣнность каждаго изъ нихъ опредѣляется степенью ея вниманія и симпатіи.

Исторія [illegible]ушки, рожденной въ усадебной обстановкѣ, изображена въ „Дворянскомъ гнѣздѣ". Родители мало входили во внутренній міръ богатой души ребенка. Отданная на попеченіе гувернантки, ничтожнаго существа, Лиза нашла себѣ друга въ лицѣ няни Агафьи Власьевны, воплотившей идею религіознаго смиренія, которое пустило такіе глубокіе корни въ крѣпостническомъ быту и такъ идеализировалось писателями-дворянами. Агафья Власьевна поселила въ душѣ Лизы то мистическое настроеніе, тѣ религіозныя и аскетическія представленія, которыя царили въ ея собственной душѣ. Она сообщала ей не сказки. «Мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ разсказываетъ она житіе Пречистой Дѣвы, житіе отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мученицъ; говоритъ она Лизѣ, какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду,—и царей не боялись, Христа исповѣдывали; какъ имъ птицы небесныя кормъ носили, и звѣри ихъ слушались; какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты вырастали». Холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, въ которую няня часто уводила ее, разбудивъ на зарѣ, „самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ,

осторожное возвращеніе въ домъ, въ постельку,—вся эта смѣсь запрещеннаго страннаго, святого, потрясала дѣвочку, проникала въ глубь ея существа". Результатъ этого воспитанія не трудно было предвидѣть. Лиза научилась жить внутренней жизнью, внѣшній міръ занималъ ее меньше, чѣмъ ея собственныя мечты. Въ ея умѣ создалась та философія, которую подслушалъ раньше Тургеневъ у Лукерьи, Касьяна и Калиныча. Она вѣрила, что составляетъ лишь частицу мірозданія, что ея жизнь должна раствориться въ міровой жизни, а ея счастье и радости должны быть принесены въ жертву высшимъ цѣлямъ Божества. „Образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ". Ея идеалъ—идеалъ чистаго аскетизма. Она бѣжитъ земныхъ радостей и жажду счастья считаетъ грѣховнымъ стремленіемъ, которое необходимо заглушать въ себѣ Она не даетъ человѣку права судить человѣка, такъ какъ всѣ мы ходимъ въ грѣхѣ. „Вы должны простить, если хотите, чтобы васъ простили",—говоритъ она Лаврецкому по поводу его разрыва съ женой. Ея страхъ передъ земнымъ счастьемъ, какъ передъ чѣмъ-то грѣховнымъ и преступнымъ, обрисовывается въ сценѣ ея объясненія съ Лаврецкимъ. Она боится отдаться счастью, которое улыбнулось ей на мгновенье, и тихо произноситъ: „Это все въ Божьей власти". И когда обнаруживается, что жена Лаврецкаго жива, Лиза видитъ въ этомъ подтвержденіе своей вѣры. Они должны искупить свой минутный порывъ къ счастью. „Теперь вы сами видите, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога". И Лиза требуетъ, чтобы Лаврецкій „исполнилъ свой долгъ" и примирился съ женой. „А въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?"—спрашиваетъ Лаврецкій. Постриженіе Лизы въ монастырѣ служитъ

отвѣтомъ на этотъ вопросъ. „Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо... Отзываетъ меня что-то; тошно мнѣ, хочется мнѣ запереться навѣкъ". Старые аскетическіе идеалы средневѣковья звучатъ въ этихъ словахъ. Міръ погрязъ въ грѣхѣ, и только мимо жизни, внѣ ея, можно обрѣсти спасеніе; къ небу, а не къ землѣ долженъ быть обращенъ взоръ человѣка; не въ устроеніи земного личнаго счастья, а въ жертвѣ во имя высшей цѣли — долгъ человѣка. Въ этомъ непринятіи жизни, въ этомъ неумѣніи и нежеланіи слиться съ новыми задачами коренилось одно изъ самыхъ своеобразныхъ направленій мысли, возникшихъ въ эпоху ликвидаціи дворянской культуры,—то направленіе, которое нашло своего глубочайшаго идеолога въ лицѣ Л. Н. Толстого. Его ученіе, стоящее въ сторонѣ отъ большой дороги жизни, его великая нравственная проповѣдь, проникнутая мыслью о приматѣ мірового начала надъ личнымъ и съ пренебреженіемъ отвращающаяся отъ суетной злобы дня,—это ученіе выросло изъ той же почвы, которая взрастила смиреніе Лукерьи, мечтательность Калиныча и мистическую вѣру Лизы.

Какъ ни далеко стоятъ отъ Лизы другіе женскіе образы, созданные Тургеневымъ, но у нихъ есть общая черта. Анализъ, внутренняя работа духа больше свойственна имъ, чѣмъ активная дѣятельность. Всѣ онѣ обладаютъ силой и часто непоколебимой волей, но эта воля не направлена на активное вмѣшательство въ жизнь, не претворяется въ стремленіе пересоздать жизнь согласно своимъ идеаламъ. Эта воля у Лизы выражается въ могучемъ усиліи отречься отъ жизни. У Натальи она проявляется въ беззавѣтной любви, въ умѣньи отречься отъ своей личности во имя

любимаго человѣка. Она такъ же, какъ и Лиза, любитъ мысль больше слова, свою мечту больше дѣйствительности. „Она говорила мало, слушала и глядѣла внимательно, почти пристально,—точно она во всемъ хотѣла дать себѣ отчетъ. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лицѣ ея выражалась тогда внутренняя работа мыслей... Она чувствовала глубоко и сильно, но и тайно; она и въ дѣтствѣ рѣдко плакала, а теперь даже вздыхала рѣдко, и только блѣднѣла слегка, когда что-нибудь ее огорчало". Для мечты и «внутренней работы мыслей» нѣтъ надобности въ другой обстановкѣ, кромѣ барской усадьбы. Наталья такъ же сроднилась съ ней и такъ же любила ее, какъ и Лиза. „Какъ можно скучать въ деревнѣ?—говоритъ она Рудину.—Я очень рада, что мы здѣсь. Я здѣсь очень счастлива". Ея любовь къ Рудину—скорѣе жажда любви, чѣмъ любовь, скорѣе порывъ къ созданной ею мечтѣ, чѣмъ сознательное влеченіе къ правильно понятому человѣку. Она съ самаго начала видитъ внутреннюю фальшь, скрывающуюся въ словахъ Рудина. Она разоблачаетъ ее на каждомъ шагу: и тогда, когда выражаетъ свое удивленіе по поводу его замѣчанія о желаніи отдохнуть, и тогда, когда на его слова о средствахъ, восклицаетъ: «Какъ вамъ не найти средства». Каждое слово Рудина говоритъ ей о томъ, что она ошиблась въ его словахъ. Послѣднее объясненіе съ нимъ окончательно раскрываетъ ей глаза: „Вы ли это, вы ли это, Рудинъ?" Она выше его своей силой, своей рѣшительностью и умѣньемъ бороться за свое счастье. Тогда какъ онъ умѣлъ только „покоряться" при столкновеніи съ препятствіями, она умѣла отвѣтить матери, что скорѣе умретъ, чѣмъ выйдетъ за другого. Когда она шла на послѣднее свиданіе съ Рудинымъ, она мысленно прощалась со своимъ домомъ и со всѣмъ прошедшимъ, которое было ей такъ дорого. Она не задумыва-

ясь послѣдовала бы за нимъ. И всѣ эти богатыя душевныя силы, вся эта могучая воля способны развернуться только въ одной сферѣ,—въ сферѣ любви. Послѣ отъѣзда Рудина для Натальи не существовало больше цѣли. «Ей такъ горько, и противно, и пошло казалось жить; такъ стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что въ это мгновеніе она бы, вѣроятно, согласилась умереть». И Наталья кончила тѣмъ, что вышла замужъ за Волынцева, который меньше всего могъ удовлетворить ея требованіямъ. Авторъ не разсказываетъ подробностей объ ея семейной жизни и ограничивается только короткимъ сообщеніемъ, которое вкладываетъ въ уста Басистова: „Она спокойна какъ всегда, но кажется довольна". Да еще въ эпилогѣ Лежневъ на вопросъ Рудина, счастлива ли Наталья, отвѣчаетъ утвердительно. Автору нечего сказать о своей героинѣ. Ея сила, ея обаяніе не находили себѣ больше простора съ тѣхъ поръ, какъ она утратила любимаго человѣка. И если дорогъ намъ до сихъ поръ этотъ поэтическій женскій образъ, то потому, что любовь Натальи и ея слезы были первымъ симптомомъ пробужденія русской женщины, такимъ же пламеннымъ и безплоднымъ порывомъ къ жертвѣ и идеалу, какимъ горѣла прогрессивная дворянская интеллигенція эпохи. Когда Рудинъ пробудилъ въ ней чувство любви, она „долго сидѣла въ недоумѣніи на своей кроваткѣ" и „вдругъ сжала руки и горько заплакала". „О чемъ она плакала—Богъ вѣдаетъ!"—прибавляетъ авторъ. Но эти слезы, это томленіе были символомъ. Жизнь не могла развернуться еще въ своемъ реальномъ значеніи передъ всѣми этими пробудившимися силами, но ихъ пробужденіе служило симптомомъ недалекой уже смерти отживающаго строя.

То, на что была готова и способна Наталья, совершила Елена. Она сумѣла порвать съ прошлымъ, со всей обстановкой, съ которой она сроднилась, она,

избалованная съ дѣтства, сумѣла пойти на лишенія, бросилась въ невѣдомое будущее, не побоялась превратностей измѣнчивой военной жизни. Въ ней больше порывистости, чѣмъ въ Натальѣ. Въ ней больше жажды активнаго дѣла. „Чтеніе одно ее не удовлетворяло: она съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра; нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала о нихъ своихъ знакомыхъ". Ея покровительствомъ пользовались всѣ притѣсняемые, вплоть до насѣкомыхъ и гадовъ. Она рано завоевала себѣ независимость въ домѣ. Но и благотворительность, и все то, въ чемъ находили себѣ примѣненіе ея силы, были только преддверіемъ къ настоящему проявленію этой активной силы, которая развернулась во всей своей красотѣ и обаяніи только въ чувствѣ любви. Всю жизнь до встрѣчи съ Инсаровымъ она искала дѣла и не знала, въ чемъ оно. Она болѣла одной тоской со всей тогдашней интеллигенціей. Она чувствовала, что мало одного энтузіазма, мало однихъ высокихъ качествъ, нужно примѣненіе ихъ. „Быть доброй—этого мало; дѣлать добро... да; это главное въ жизни",—пишетъ она въ своемъ дневникѣ. Но какъ это дѣлать? „О, если бы кто-нибудь мнѣ сказалъ: вотъ что ты должна дѣлать"... Не будемъ упрекать Елену за то, что она не могла заглянуть въ другіе, недворянскіе слои русскаго общества, гдѣ уже начинали находить себѣ „дѣло" русскіе люди. Ея происхожденіе и окружающая среда скрыли отъ нея эти сферы. Какъ и вся тургеневская поэзія, этотъ прелестный образъ былъ только предчувствіемъ будущаго. Елена—воплощенный порывъ, безраздумное самоотверженіе. Эти богатыя силы ушли на чужое дѣло, растворились въ стремленіи чужого человѣка. „Отчего онъ не русскій?" И какія силы! Намъ придется терпѣть униженія, опасности...—говорилъ онъ. „Я люблю тебя",—отвѣчала она. „Тебѣ при-

дется отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ... одна между чужими ты будешь работать".—„Я люблю тебя". И когда онъ умеръ, она писала родителямъ: „...Мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Димитрія... Я не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Д. останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни".

Изъ тургеневскихъ героинь Маріанна на первый взглядъ ближе всѣхъ подходитъ подъ понятіе передовой женщины въ современномъ смыслѣ этого слова. Ея страданія и ея думы переходятъ далеко за предѣлы личнаго чувства. „Мнѣ кажется иногда, что я страдаю за всѣхъ притѣсненыхъ, бѣдныхъ, жалкихъ на Руси... Нѣтъ, не страдаю—а негодую за нихъ, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить". Она рвалась въ Сибирь, потому что ей „хотѣлось извѣдать самой, посмотрѣть собственными глазами, какъ живутъ ссыльные... загнанные". Она негодовала на себя „и на всѣхъ этихъ спокойныхъ, зажиточныхъ, сытыхъ". При той общей тенденціи, которую проводилъ Тургеневъ въ „Нови", онъ, конечно, не могъ отнестись сочувственно къ ея революціонной дѣятельности. Когда Нежданов разсказалъ ей о своихъ планахъ, „благодарность, гордость, преданность, рѣшимость—вотъ чѣмъ переполнялась ея душа". Охваченная энтузіазмомъ, она не задумываясь предоставляетъ себя въ распоряженіе революціонеровъ, готова служить общему дѣлу, „сдѣлать все, что будетъ нужно, пойти куда прикажутъ". Она отдавалась дѣлу, которое въ такомъ карикатурномъ видѣ изображено Тургеневымъ. Она не поняла, что слова Нежданова вовсе не были для нея указаніемъ настоящаго дѣла. Она бросилась на это дѣло только потому, что искала примѣненія своимъ силамъ: „Жажда дѣятельности, жертвы, жертвы немедленной—вотъ чѣмъ томилась она". Она не понимала, что сочувствовала Нежданову не за то дѣло, которому онъ служилъ: она сочувствовала „той нрав-

ственной болѣзни, которой онъ страдалъ и которая не была чужда ей". Елену не занимала сама по себѣ Болгарія, она отдалась этому чуждому ей дѣлу только ради любимаго человѣка. Такъ и Маріанна шла за любимымъ человѣкомъ, а его дѣло оставалось ей чуждымъ, какъ оставалось оно, впрочемъ, чуждымъ и ему самому. Ея душѣ сталъ чуждъ Неждановъ, когда она встрѣтила болѣе сильнаго человѣка Соломина. Какъ не понялъ Тургеневъ революціонеровъ, такъ не могъ онъ изобразить и той женщины, которой искалъ,—женщины-дѣятельницы, умѣющей ставить себѣ общественныя задачи помимо мужчины, дающей исходъ своимъ идеальнымъ порывамъ не только въ отреченіи и любви.

Предъ нами прошла вереница яркихъ образовъ, нарисованныхъ рукой великаго художника. Этими образами поэтъ хотѣлъ повѣдать русскому обществу свои думы, указать пути. Гдѣ же настоящій Тургеневъ? Нашелъ ли онъ свой идеалъ, нашелъ ли „настоящаго" человѣка и дѣйствительно ли успокоилось его сердце, бившееся чувствомъ пламенной любви къ родной странѣ, когда онъ нашелъ Соломиныхъ и имъ подобныхъ? Было бы глубокой ошибкой отвѣтить утвердительно на этотъ вопросъ. Поэтъ-дворянинъ не могъ найти въ своей средѣ тѣхъ, кто повелъ бы Россію впередъ. И итоги его думъ получились грустные. Если бы оставалось какое-нибудь сомнѣніе относительно общаго міросозерцанія Тургенева, то его „Стихотворенія въ прозѣ" совершенно разсѣиваютъ ихъ. По проникающему ихъ безнадежному пессимизму они могутъ сравниться только съ „Діалогами" Леопарди, этимъ поэтическимъ памятникомъ, возникшимъ въ эпоху ликвидаціи дворянско-католическаго строя на Западѣ *).

---

*) См. мои „Очерки по ист. зап.-европ. лит.", т. II.

Что такое толпа, что такое человѣчество и какъ относится оно къ своимъ друзьямъ, къ тѣмъ, кто во имя его гибли въ тюрьмахъ и на эшафотахъ, къ тѣмъ, кто разсыпали передъ нимъ сокровища своего духа, своего ума и таланта? Толпа встрѣчаетъ свистками и хохотомъ геніевъ и рукоплещетъ шарлатанамъ и подражателямъ („Два четверостишія"). Народъ не понимаетъ мучениковъ идеи, и когда слышитъ о томъ, что одинъ изъ его защитниковъ взошелъ на висѣлицу, каждый старается только о томъ, чтобы добыть веревку, которая удушитъ героя, потому что, по народному повѣрью, она приноситъ счастье („Чернорабочій и бѣлоручка"). Авторъ не видитъ въ мірѣ ничего свѣтлаго. Люди насмѣялись надъ самыми святыми чувствами, надъ благодарностью, дружбой, любовью. Верховное существо подводитъ другъ къ другу („Пиръ у Верховнаго существа") двухъ прекрасныхъ дамъ. Имя одной было: „благодѣтельность", имя другой—„благодарность". Дамы несказанно удивились: съ тѣхъ поръ, какъ стоялъ свѣтъ, онѣ встрѣчались въ первый разъ. Въ мірѣ торжествуютъ только клевета и глупость. Для человѣка не существуетъ высшаго удовольствія, какъ оклеветать своего ближняго („Довольный человѣкъ"). Безмозглый пошлякъ можетъ прослыть за умника, если станетъ беззастѣнчиво ругать все и всѣхъ, потому что всѣ боятся критики, потому что „житье дуракамъ между трусами" („Дуракъ"). Къ успѣху въ жизни кривые пути ведутъ вѣрнѣе, чѣмъ прямые. Ни умъ, ни богатство не обезпечиваютъ такъ надежно карьеры юноши, какъ способность „нравиться старымъ женщинамъ" („Восточная легенда"). Только изрѣдка взоръ поэта отдыхаетъ на картинахъ любви и самоотверженія, на подвигахъ состраданія и жертвы. Онъ благоговѣетъ передъ маленькой героической птичкой, сумѣвшей грудью защитить своего птенчика передъ грозной пастью разсвирѣпѣвшаго

животнаго,—и думаетъ о томъ, что „любовь сильнѣе смерти и страха смерти“, что только „ею, только любовью держится и движется жизнь“ („Воробей“). Онъ пишетъ восторженный гимнъ женщинѣ, которая ушла отъ блеска великосвѣтской жизни, отъ зависти дамъ и поклоненія мужчинъ и умерла отъ тифа въ походномъ госпиталѣ, въ болгарской деревушкѣ, отдавъ всѣ свои силы, всѣ „завѣтные клады“ своей души помощи ближнимъ („Памяти Ю. П. Вревской“). Онъ преклоняется передъ мужикомъ, который принялъ сироту въ свой разоренный домишко, отказавшись для этого отъ послѣдней роскоши: соли къ похлебкѣ („Два богача“). Но даже и эти свѣтлыя картины, изрѣдка мелькающія на сѣромъ фонѣ пошлости, корыстолюбія и эгоизма, не измѣняютъ общаго грустнаго настроенія „Стихотвореній“, и Тургеневъ создаетъ своеобразную философію, которая не только по основнымъ идеямъ, но даже по формѣ и сюжетамъ напоминаетъ философію infelicità, развитую Леопарди въ его „Діалогахъ“. И у Тургенева такъ же, какъ у итальянскаго пессимиста, человѣчество оказывается игрушкой въ рукахъ высшихъ издѣвающихся надъ нимъ силъ. Родъ людской жалокъ и ничтоженъ передъ лицомъ этихъ силъ. Люди со своими страстями, желаніями и борьбою, мнящіе себя царями природы,—еле видимыя козявки передъ вѣчностью. Какъ и Леопарди, Тургеневъ выводитъ гигантовъ, чтобы ярче оттѣнить ничтожество человѣческаго рода. Въ стихотвореніи „Разговоръ“ бесѣдуютъ двѣ горы, Юнгфрау и Финстерааргорнъ, на которыхъ еще не бывало человѣческой ноги. Отъ вопроса до отвѣта проходятъ тысячелѣтія—одна минута для обоихъ великановъ. „Что тамъ внизу?“ — „Воды синѣютъ; чернѣютъ лѣса; сѣрѣютъ груды скученныхъ камней; около нихъ все еще копошатся козявки, знаешь, тѣ двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня“. Эти козявки — люди. Еще ты-

сячелѣтія—одна минута для гигантовъ,—и воды сузились, рѣже стали лѣса, меньше стало „козявокъ“, холодъ одѣваетъ землю. Еще минута — и вблизи „все прочистилось“, только „вдали по долинамъ есть еще пятна, и шевелится что-то“. Наконецъ, еще одинъ послѣдній взглядъ—„опрятно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь... Вездѣ нашъ снѣгъ, ровный снѣгъ и ледъ, застыло все, хорошо теперь, спокойно“. Такъ кончился разговоръ двухъ великановъ. Они уснули. Спитъ зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкшей землей. Тысячелѣтія жизни человѣческаго рода, океаны слезъ и крови, заливавшія землю, радости, страданія, геній и творчество—все это предъ лицомъ вѣчности мимолетное явленіе, исторія котораго исчерпывается двумя—тремя краткими фразами. Та же мысль о жестокости человѣческаго жребія и холодномъ равнодушіи природы высказана въ другомъ діалогѣ, „Природа“, напоминающемъ леопардіевскій діалогъ „Природа и исландецъ“. „О чемъ твоя дума?—спрашиваетъ человѣкъ природу.—Не о будущихъ ли судьбахъ человѣчества размышляешь ты? Не о томъ ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и счастья?“ И какимъ сарказмомъ звучитъ отвѣтъ Природы, занимавшейся въ это время вопросомъ объ увеличеніи силы мышцъ блохи. „Развѣ мы, люди, не любимыя дѣти твои?“—въ изумленіи восклицаетъ человѣкъ. Онъ лепечетъ самыя заповѣдныя слова: „добро, разумъ, справедливость“. Но Природа смѣется надъ самонадѣяннымъ человѣкомъ. Всѣ твари ея дѣти. Она одинаково обо всѣхъ заботится и одинаково всѣхъ истребляетъ. Разумъ, справедливость, добро,—эти слова, выдуманныя человѣкомъ,—для нея не законъ. Она дала жизнь человѣку, она отниметъ ее и дастъ другимъ, червямъ или людямъ—ей все равно.

Въ этой грустной философіи сверкаютъ всѣ тѣ идеи, которыя посѣщаютъ человѣческій умъ всегда

въ эпохи кризиса, идеи, которыя съ новой силой воскресли въ наше время. Въ нихъ слышится отчаяніе великаго ума, не умѣющаго справиться съ новыми задачами, выдвинутыми жизнью. И взоръ его уходитъ отъ земли, стремится проникнуть за предѣлы здѣшняго міра, тамъ, въ невѣдомыхъ высотахъ отыскать высшую силу, управляющую міромъ, поселившую слезы и отчаяніе на землѣ. Пессимизмъ Тургенева—такое же бѣгство отъ большой дороги жизни, какъ сектантство графа Толстого, какъ эстетизмъ Тютчева и представителей чистаго искусства, какъ вся эта дворянская литература, ушедшая отъ реальнаго движенія жизни, отъ естественно развивавшагося соціальнаго процесса.

VI.

Л. Н. Толстой и человѣчество. — Великое недоразумѣніе между ними.—Толстой и усадебная культура.—Вопросъ о „переворотѣ" въ міросозерцаніи Толстого.—Біографія и исторія душевнаго развитія Толстого. -„Дѣтство, отрочество и юность".—Общій характеръ повѣсти.—Николенька Иртеньевъ. — Черты свѣтскаго человѣка въ немъ.—Его характеръ, наблюдательность, совѣстливость, самолюбіе, застѣнчивость, воображеніе, склонность къ анализу. — Типы изъ народа. — „Утро помѣщика": Нехлюдовъ.—„Казаки": Оленинъ.

Весь образованный міръ преклоняется въ настоящее время передъ „великимъ писателемъ земли русской". Толстой сталъ совѣстью новаго человѣчества, которое чтитъ въ немъ недосягаемую нравственную силу, неизмѣримо высоко поднявшуюся надъ волнующимся житейскимъ моремъ. Всѣ великіе русскіе художники, талантъ которыхъ развивался въ той же средѣ и въ ту же эпоху, что и геній Толстого, подобно ему, не пошли за шумнымъ теченіемъ жизни. Но никто изъ нихъ не можетъ сравниться съ Толстымъ въ томъ колоссальномъ нравственномъ вліяніи, которымъ онъ пользуется среди русскаго общества. По-

добно многимъ своимъ сверстникамъ, онъ погрузился въ глубины своего собственнаго духа, но въ то время, какъ одни кончили меланхолической мечтой о природѣ и человѣчествѣ, другіе ушли въ міръ фантазіи и красоты,—Толстой нашелъ исходъ своимъ дѣятельнымъ силамъ въ великой работѣ надъ нравственнымъ усовершенствованіемъ своей личности. Онъ не принесъ этихъ силъ въ жертву политической и общественной борьбѣ. Онъ ушелъ отъ нея, ушелъ отъ той арены, на которой разыгрывается скорбная драма нашего временнаго бытія, отдался своей вѣрѣ съ упрямствомъ сектанта и въ глубинѣ своего собственнаго духа старается отыскать тѣ вѣчныя основы морали, которыя однѣ, по его мнѣнію, выведутъ человѣчество на путь истинной жизни. Міръ и Толстой живутъ обособленной жизнью и никогда не поймутъ другъ друга. Поглощенные печалями и радостями минуты, идя къ осуществленію матеріальныхъ задачъ тернистымъ путемъ политической борьбы, тяжелыми жертвами завоевывая каждый шагъ на пути къ осуществленію соціальной справедливости,—люди не могутъ подняться на тѣ высоты, откуда звучитъ пророческая проповѣдь мудраго старца о христіанской любви и свободѣ. Жизнь не ждетъ. Измученные голодомъ, тупѣя отъ непосильнаго труда, загнанные въ тьму невѣжественнаго и безсмысленнаго существованія,—угнетенные и эксплоатируемые не вѣрятъ больше въ силу проповѣди и молитвы, не слушаютъ больше призывовъ къ смиренію и терпѣнію, не хотятъ думать о той высшей цѣли, которая такъ ясно видна счастливому и безстрастному аристократическому духу Толстого. Но среди борьбы, среди своихъ, быть-можетъ, низменныхъ, но неотвратимыхъ заботъ человѣчество съ благоговѣніемъ прислушивается къ голосу мудрости, несущемуся изъ Ясной Поляны. Оно привыкло вѣрить, что, когда оттуда раздается вѣщее слово по поводу злобы дня, это

слово рождено въ глубокомъ умѣ, который сумѣлъ очиститься отъ страсти и преходящихъ интересовъ минуты, искажающихъ ясную работу мысли. И это слово, идущее изъ великаго и искренняго сердца, направленное противъ всѣхъ формъ насилія, противъ всѣхъ формъ корысти и эксплоатаціи, съ особенной силой поражаетъ сильныхъ и корыстныхъ своего времени. И великій проповѣдникъ, зовущій къ смиренію и отреченію, къ миру и братству, противъ воли своей сѣетъ мятежъ и разжигаетъ злобу. Его слово, которое, по мысли его, должно поселить любовь и покой въ сердцахъ людей, гремитъ мятежнымъ набатомъ, отдается раскатами революціонной трубы по всему міру. Общество всегда пользовалось идеями великихъ умовъ для своихъ временныхъ цѣлей. Оно прочло въ „Ревизорѣ“ смертный приговоръ старой крѣпостнической и и бюрократической Россіи, услышало призывъ къ борьбѣ противъ насилія и гнета. А творецъ „Ревизора“ приглашалъ людей заглянуть въ темный городъ ихъ собственнаго духа, вспомнить о томъ высшемъ ревизорѣ, который рано или поздно предстанетъ передъ ними въ лицѣ ихъ совѣсти. Толстой говоритъ о непротивленіи злу, о томъ, что поднявшій мечъ отъ меча погибнетъ. Онъ имѣетъ въ виду одинаково и угнетателей, и тѣхъ угнетенныхъ, которые при помощи меча хотятъ избавиться отъ угнетателей. Но общество сроднилось съ мыслью, что мечъ находится въ рукахъ только угнетателя, оно не видитъ меча въ рукахъ того, кто пользуется имъ противъ сильныхъ въ защиту слабыхъ. И слово, направленное противъ всякой вражды и злобы, общество воспринимаетъ по-своему и куетъ изъ него новое оружіе противъ угнетателей и эксплоататоровъ. Вотъ почему такъ трепещутъ этого могучаго слова властные и сильные и такъ чтятъ его угнетенные и эксплоатируемые, хотя оно часто направляется противъ тѣхъ и другихъ одинаково, противъ всѣхъ злобствую-

щихъ и враждующихъ. Вѣчное недоразумѣніе между проповѣдникомъ, чей пророческій взоръ смотритъ въ вѣчность, и страдающимъ человѣчествомъ, чье усиліе направлено на исцѣленіе самыхъ невыносимыхъ общественныхъ недуговъ. Онъ требуетъ реформы собственной личности, общество — реформы учрежденій. Люди требуютъ ломки сковывающихъ ихъ внѣшнихъ условій, онъ приглашаетъ ихъ произвести ломку внутри ихъ собственнаго духа. Они хотятъ политической революціи, онъ зоветъ къ революціи сознанія. Онъ говоритъ: уничтожьте въ себѣ все суетное и ненужное, сохраните только истинно-человѣческое и вѣчное,—и тогда сами собою рушатся тюрьмы и распадутся цѣпи. Общество говоритъ: уничтожьте сначала тюрьмы и цѣпи, и тогда можно будетъ думать объ истинно-человѣческомъ и вѣчномъ. Толстой и міръ не поймутъ другъ друга. Міръ всегда будетъ воспринимать его идеи только въ тѣхъ практическихъ цѣляхъ, которыя опредѣляются интересами минуты, а Толстой до конца жизни будетъ свидѣтелемъ того, что жизнь продолжаетъ нестись мимо него неудержимымъ потокомъ, и не остановитъ этого потока его могучее слово, а напротивъ, оно будетъ унесено его бурнымъ стремленіемъ; изъ этого слова удержится лишь то, что найдетъ себѣ мѣсто въ общемъ движеніи, и человѣчество возьметъ себѣ изъ сокровищницы этого богатаго духа только то, что выдержитъ испытаніе передъ самымъ неумолимымъ судьею—исторіей, ходъ которой опредѣляется единственнымъ факторомъ — мѣняющимися потребностями и интересами массъ.

Усадебная культура, опредѣлившая общій тонъ литературной дѣятельности Толстого, повліяла не только въ томъ отношеніи, что онъ до старости остался внѣ большой дороги жизни, остался „лишнимъ человѣкомъ“ въ широкомъ смыслѣ этого слова, въ томъ высшемъ моральномъ значеніи, которое всегда принадлежало

мудрецамъ и пророкамъ. Происхожденіе, воспитаніе и окружающая обстановка навсегда прикрѣпили мысль Толстого къ деревнѣ. Онъ не любитъ города. Подобно Тургеневу, Герцену и другимъ представителямъ просвѣщеннаго и гуманнаго барства, тамъ, въ глубинѣ русской деревни ищетъ невольно Толстой своихъ идеаловъ. Это влеченіе къ деревнѣ проникало творчество и Тургенева, и Герцена, несмотря на ихъ западничество, на ихъ исканія истины среди бурь и революцій. Толстой только субъективнѣе и своеобразнѣе ихъ. Онъ не заглушалъ голоса, идущаго изъ глубины его собственнаго духа, звуками, доносящимися изъ чуждой обстановки, шумомъ цивилизаціи и сутолокой города. Толстой просто отвергъ эту цивилизацію. Если Тургеневъ уже нашелъ то, слово—„дымъ",—которымъ въ умѣ мыслящаго барства опредѣлялись стремленія разныхъ слоевъ русскаго общества, то въ глазахъ Толстого тотъ путь, по которому идетъ оно, всегда будетъ путемъ грѣха и безумія. Толстой довелъ до логическаго конца то отрицательное отношеніе къ новой русской дѣйствительности, которое было однимъ изъ главныхъ элементовъ въ творчествѣ Тургенева. Въ усадьбѣ и деревнѣ, въ ихъ строѣ, въ понятіяхъ и вкусахъ, созданныхъ здѣсь, ищетъ онъ той исходной точки, отъ которой можетъ произойти истинная жизнь. Незамѣтно для самого автора его творенія являются эпопеей дворянскаго хозяйства въ эпоху крѣпостничества, картиной неурядицъ и психологической смуты, возникшихъ въ деревнѣ послѣ освобожденія. Незамѣтно для автора великій нравственный идеалъ, поставленный имъ передъ человѣчествомъ, сложился изъ тѣхъ характерныхъ чертъ русскаго крестьянина, которыя были облюбованы гуманнымъ русскимъ барствомъ и наличность которыхъ превращала крѣпостническій строй въ патріархально-идиллическое существованіе. Тургеневскіе Касьяны и Лу-

керьи — прототипы Платона Каратаева и работника. Позднѣйшая религіозная и моральная проповѣдь Толстого, его ученіе о Высшемъ Существѣ и его цѣляхъ, о непротивленіи злу, объ отреченіи, о долгѣ и смиреніи,—все это мы уже слышали изъ устъ Сучка, Лукерьи и Калиныча. Великіе художники умѣютъ свои личныя впечатлѣнія превращать въ глубокую оригинальную философію, при свѣтѣ которой жизнь получаетъ новые, раньше неизвѣстные цвѣта и формы. Свою болѣзнь и свою тоску Леопарди разлилъ по всему міру, и печальнымъ сталъ міръ, и эта болѣзнь и эта тоска, которая была бы личнымъ незамѣченнымъ горемъ въ душѣ простого человѣка, стала въ душѣ генія новой философской возможностью, новой точкой зрѣнія, съ которой иной, еще невѣдомой представилась и жизнь, и исторія, и природа. Толстой—геніальнѣйшій выразитель тѣхъ новыхъ философскихъ возможностей, которыя возникли на почвѣ великаго экономическаго процесса. Его совѣсть, ставшая совѣстью новаго человѣчества, это—благородная жажда пробудившагося передового барства, которое почувствовало потребность заплатить свой долгъ за вѣковую эксплоатацію крестьянства, за цѣлыя столѣтія командованія и празднаго существованія. Это пробужденіе совѣсти, наступающее всегда въ эпоху потрясенія господства извѣстной группы, Толстой, какъ великій художникъ, сумѣлъ превратить въ фактъ мірового значенія. Тоской этой совѣсти онъ наполнилъ міръ, и иными предстали предъ нами и исторія, и жизнь, и природа. Великимъ заблужденіемъ и наивной самонадѣянностью объявилъ онъ желаніе однихъ людей устраивать судьбу другихъ, стремленіе командовать и насаждать на землѣ счастье, дерзкую попытку человѣка брать на себя дѣло Бога. Великимъ преступленіемъ провозгласилъ онъ эксплоатацію и праздность и всю искусственную цивилизацію съ ея ненужной роскошью, извращенными

вкусами, и противопоставилъ ей безыскусственную жизнь, ограниченныя простыя потребности и несложныя воззрѣнія, которыя онъ подсмотрѣлъ и подслушалъ на полѣ, на *землѣ*, единственномъ источникѣ, дающемъ питаніе человѣку.

Философское ученіе Толстого возникло позднѣе и не принадлежитъ къ занимающей насъ эпохѣ. Но необходимо было забѣжать нѣсколько впередъ для того, чтобы убѣдиться, что грань, отдѣляющая его художественную дѣятельность отъ философской и публицистической, не такъ уже рѣзка и что позднѣйшія идеи Толстого не были неожиданностью, а развивались вполнѣ естественно съ самаго начала его литературной дѣятельности. Въ своей „Исповѣди“ Толстой самъ разсказываетъ исторію этого „переворота“, происшедшаго въ немъ въ 70-хъ годахъ: „На меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ-будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать“. Онъ увидалъ, что впереди „ничего нѣтъ, кромѣ погибели“, онъ всѣми силами „стремился прочь отъ жизни“. Онъ боялся, что покончитъ жизнь самоубійствомъ. Знакомая тоска,—тоска Герцена и Тургенева. Вѣра въ Россію спасла Герцена. „Общеніе съ народомъ“ спасло Толстого. Два года такого общенія произвели „переворотъ“. Ему опротивѣла жизнь его круга, который онъ опредѣляетъ словами „богатые ученые“. Въ новомъ значеніи предстали передъ нимъ „всѣ наши дѣйствія, разсужденія, наука, искусство“. Онъ понялъ, что все это—„баловство“ и „искать смысла въ этомъ нельзя“. Былъ ли это „переворотъ“? Не былъ ли здѣсь скорѣе естественный ходъ развитія, стремленіе „богатаго ученаго“ уйти къ тѣмъ, трудами которыхъ созидалась взрастившая его культура. Мережковскій правъ, когда замѣчаетъ по поводу этого „переворота“, засвидѣтельствованнаго самимъ Толстымъ и его близкими: „Трудно было бы усомниться въ столь силь-

ныхъ и достовѣрныхъ свидѣтельствахъ, если бы у насъ не было источника еще болѣе достовѣрнаго— собственныхъ художественныхъ произведеній Толстого, которыя въ сущности отъ перваго до послѣдняго не что иное какъ одинъ пятидесятилѣтній дневникъ, одна безконечно-подробная исповѣдь".

Дѣтство графа Толстого, по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя оно должно было заронить въ душу ребенка, въ существенныхъ чертахъ напоминаетъ уже извѣстные намъ дѣтскіе годы Тургенева и Герцена. Та же уютная обстановка усадебнаго барства, тѣ же теплыя воспоминанія о преданныхъ дворовыхъ, вводящихъ ребенка въ духовный міръ народа, гувернеръ, гувернантка сосѣдей, наконецъ, тяжелыя картины крѣпостного быта, изрѣдка диссонансомъ врывающіяся въ этотъ міръ праздности и покоя,—таковы обычныя впечатлѣнія, изъ которыхъ складывалось это дѣтство. Обстановка, окружавшая Толстого, быть-можетъ, только тѣмъ отличалась отъ обстановки, гдѣ рождались Лаврецкіе и Рудины, что онъ принадлежалъ къ высшему кругу, къ высшимъ слоямъ русскаго дворянства, куда общественная и философская мысль проникала съ бо́льшимъ трудомъ, чѣмъ въ круги средняго дворянства; гдѣ мыслящій умъ и чуткая совѣсть отдѣльныхъ единицъ особенно рѣзко чувствовали безсодержательность и „ненужность" развертывавшагося предъ ними существованія. Отецъ Толстого принадлежалъ къ старинному знатному роду. Онъ былъ сыномъ казанскаго губернатора, которому пришлось взять это мѣсто, такъ какъ онъ сильно пошатнулъ свое состояніе пиршествами, балами и театрами, которые онъ устраивалъ въ своемъ имѣніи. Послѣ его смерти и женитьбы своего сына на Волконской бабушка Л. Н. съ его отцомъ поселилась въ Ясной Полянѣ, родовомъ имѣніи князей Волконскихъ. Родъ князей Волконскихъ, изъ котораго происходила мать Толстого, принадлежитъ къ числу

старинныхъ и знатнѣйшихъ дворянскихъ фамилій. Ея отецъ былъ генералъ-аншефомъ при Екатеринѣ II. Толстой родился 28-го августа 1828 года въ Ясной Полянѣ. Его мать умерла, когда ему было $1^1/_2$ года, но онъ сохранилъ о ней самое свѣтлое воспоминаніе, хотя зналъ ее только по разсказамъ окружающихъ. „Она,— разсказываетъ Толстой,—представлялась мнѣ такимъ высокимъ, чистымъ, духовнымъ существомъ, что часто въ средній періодъ моей жизни, во время борьбы съ одолѣвавшими меня искушеніями, я молился ея душѣ, прося ее помочь мнѣ, и эта молитва всегда помогала много“. Отецъ Толстого проводилъ время преимущественно въ занятіяхъ по хозяйству. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ дворянъ эпохи наполеоновскихъ войнъ, которые нѣсколько фрондировали николаевское правительство и не считали возможнымъ служить. Отецъ остался въ памяти Толстого въ качествѣ независимаго, ласковаго и учтиваго человѣка. Онъ долго помнилъ блестящіе выѣзды отца на охоту, вечера, проведенные вмѣстѣ съ бабушкой, отцомъ и тетушками, раскладыванье пасьянсовъ,—словомъ, всю обычную обстановку барскаго быта. Ужасы крѣпостного права прошли мимо ребенка. Уже только послѣ смерти отца Толстой узналъ, что тѣлесныя наказанія производились въ ихъ домѣ. Однажды онъ встрѣтилъ кривого Кузьму, помощника кучера, „человѣка женатаго и уже немолодого“, поразившаго дѣтей „печальнымъ видомъ“. Оказалось, что Кузьму вели на гумно „наказывать“. Мальчикъ испыталъ „ужасное чувство“, и когда разсказалъ объ этомъ тетушкѣ, она упрекнула дѣтей за то, что они не остановили возмутительнаго дѣла. „Ея слова,—разсказываетъ Толстой,—еще больше огорчили меня... Я никакъ не думалъ, чтобы мы могли вмѣшиваться въ такое дѣло, а между тѣмъ оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дѣло было совершено“. Въ общемъ, повидимому, Тол-

стому не пришлось часто переживать „ужаснаго чувства“ при видѣ безобразныхъ сценъ, возникавшихъ на почвѣ крѣпостныхъ отношеній, и усадебно-крѣпостническій строй рисовался ему въ видѣ свѣтлой идилліи. „Не только моя мать, но и всѣ окружавшія мое дѣтство лица, отъ отца до кучеровъ, представляются мнѣ исключительно хорошими людьми. Вѣроятно, мое чистое, любовное чувство, какъ яркій лучъ, открывало мнѣ въ людяхъ (они всегда есть) лучшія ихъ свойства, и то, что всѣ люди эти казались мнѣ исключительно хорошими, было гораздо ближе къ правдѣ, чѣмъ то, когда я видѣлъ одни ихъ недостатки“. Огромное вліяніе на Толстого имѣла его тетя Татьяна Александровна Ергольская, къ которой онъ повременамъ испытывалъ „вспышки восторженно умиленной любви“. Это была прекрасно воспитанная женщина, замѣнившая ему мать и своей любовью къ дѣтямъ усиливавшая общее настроеніе любви и мира, складывавшееся въ душѣ Толстого въ Ясной Полянѣ. Она научила его „духовному наслажденію любви“: „она не словами, а всѣмъ своимъ существомъ заражала меня любовью“. Далѣе, учитель-нѣмецъ Ѳедоръ Ивановичъ Рессель, увѣковѣченный въ „Дѣтствѣ“ въ лицѣ Карла Ивановича, фигуры изъ народа, дворовые и юродивые, особенно полудурачокъ Акимъ, помощникъ садовника, навѣявшій въ „Дѣтствѣ“ страницы, посвященныя юродивому Гришѣ, экономка Прасковья Исаевна, съ которой списана въ „Дѣтствѣ“ Наталья Саввишна,—таковъ былъ міръ, окружавшій ранніе годы будущаго писателя.

Толстому было девять лѣтъ, когда умеръ его отецъ, и его опекуншей сдѣлалась его тетя графиня Остенъ-Сакенъ. По смерти ея онъ перешелъ къ другой тетѣ, Юшковой, которая увезла его въ Казань и вмѣстѣ съ его братьями отдала въ университетъ. Толстому было 13 лѣтъ, когда его привезли въ Казань. Только послѣ

продолжительной предварительной подготовки онъ поступилъ въ 1844 году на факультетъ восточныхъ языковъ. Но ученье шло плохо. Толстой отдавалъ въ это время дань молодости. Въ качествѣ родовитаго молодого человѣка, съ богатыми связями, онъ всюду былъ желаннымъ гостемъ. Его видѣли на всѣхъ балахъ, великосвѣтскихъ собраніяхъ и любительскихъ спектакляхъ. Разсѣянная свѣтская жизнь мѣшала занятіямъ. Невысокое состояніе тогдашней университетской науки тоже не могло содѣйствовать возбужденію интереса къ университетскимъ занятіямъ, и Толстой покинулъ университетъ, не окончивъ его и получивъ свидѣтельство, изъ котораго слѣдовало, что „въ преимуществахъ по чинопроизводству“ онъ сравнивается только „съ лицами, получившими образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и принадлежитъ ко второму разряду гражданскихъ чиновниковъ“. Въ 1847 г. Толстой поселился въ Ясной Полянѣ съ цѣлью помогать своимъ крестьянамъ, переживъ, повидимому, то душевное состояніе, которое онъ изобразилъ въ „Утрѣ помѣщика“. Подобно Нехлюдову, онъ убѣдился въ безплодности своихъ попытокъ, хотя мы и здѣсь не имѣемъ свидѣтельства того, что Толстой понялъ главную причину всѣхъ неудачъ просвѣщеннаго и гуманнаго барства, главную помѣху, препятствовавшую осуществленію его благихъ начинаній, именно самый фактъ существованія крѣпостного права. Далѣе слѣдуетъ тотъ періодъ жизни Толстого, о которомъ онъ самъ писалъ въ своей „Исповѣди“: „Безъ ужаса, омерзѣнія и боли сердечной не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дуэли, чтобы убить, проигрывалъ въ карты, проѣдалъ труды мужиковъ, казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе, убійство... Не было преступленія, котораго бы я не совершалъ, и за все это меня хвалили, считали

и считаютъ мои сверстники сравнительно нравственнымъ человѣкомъ. Такъ жилъ я десять лѣтъ!“ Въ этой тирадѣ подведенъ итогъ жизни и дѣятельности человѣка, принадлежавшаго къ высшимъ слоямъ дворянства. Это — самообличеніе, покаяніе эксплоататора и тунеядца, нашедшаго въ себѣ достаточно мужества и благородства, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы выставить въ истинномъ свѣтѣ жизнь, ужасы которой раскрылись передъ проснувшейся совѣстью великаго человѣка. Внѣшніе факты въ этотъ періодъ его жизни несложны. Послѣ неудачной попытки устроить своихъ крестьянъ онъ уѣзжаетъ въ Петербургъ, пытается то снова отдаться университетскимъ занятіямъ, то хочетъ поступить въ военную службу, то бросается въ азартную карточную игру и предается такому разгулу, что нѣсколько разъ оказывается на краю гибели. Временами имъ овладѣвало мрачное отчаяніе, онъ готовъ былъ на самые безумные поступки. Его спасла поѣздка на Кавказъ, куда онъ уѣхалъ въ 1851 году и гдѣ участвовалъ въ войнѣ съ горцами, нерѣдко подвергая свою жизнь смертельной опасности. Здѣсь среди роскошной кавказской природы, сыгравшей такую великую роль въ развитіи нашихъ геніальнѣйшихъ поэтовъ, среди полудикихъ, но цѣльныхъ натуръ въ лицѣ терскихъ казаковъ, Толстой впервые ясно почувствовалъ свое призваніе. Здѣсь была написана его первая повѣсть „Исторія моего дѣтства“, напечатанная въ 1852 году въ „Современникѣ“. Съ Кавказа онъ переводится въ дѣйствующую противъ Турціи армію и попадаетъ затѣмъ въ Севастополь во время осады, гдѣ снова его жизнь подвергается не разъ серьезной опасности. На Кавказѣ ярко обнаружились тѣ настроенія, которыя впослѣдствіи станутъ главными настроеніями Толстого: отрицательное отношеніе къ культурной жизни и любовь къ безыскусственному, простому существо-

ванію, близкому къ природѣ. „Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки!—пишетъ онъ своимъ знакомымъ.—Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу предъ собою: вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ правдѣ или во лжи: вы или я. Коли бъ вы знали, какъ мнѣ мерзки и жалки вы въ вашемъ обольщеніи! Какъ только представятся мнѣ, вмѣсто моей хаты, моего лѣса и моей любви, эти гостиныя, эти женщины съ припомаженными волосами надъ подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящіяся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этотъ лепетъ гостиныхъ, обязанный быть разговоромъ и не имѣющій никакихъ правъ на это,—мнѣ становится невыносимо гадко... Поймите одно и повѣрьте одному. Надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и впрахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастья и за меня и за себя“.

Послѣ сдачи Севастополя въ 1855 году Толстой пріѣхалъ въ Петербургъ и, какъ человѣкъ, уже успѣвшій заявить себя даровитымъ писателемъ, былъ принятъ съ распростертыми объятіями въ кружкѣ литераторовъ, группировавшихся около „Современника“. Въ составъ этихъ литераторовъ входили Панаевъ, Некрасовъ, Тургеневъ, Островскій, Гончаровъ, Григоровичъ, Фетъ и другіе. Но добрыя отношенія Толстого съ петербургскими литераторами продолжались недолго. Своеобразная натура Толстого, независимость его характера, не позволявшія ему подчиняться всему, что носило хотя бы слабый отпечатокъ группы или кружковщины, скоро поставили его во враждебныя отно-

шенія ко многимъ членамъ кружка. Аристократической натурѣ Толстого было чуждо и даже враждебно разночинское направленіе, преобладавшее среди тогдашнихъ литераторовъ. Наконецъ, онъ не могъ не видѣть ихъ недостатковъ, а между тѣмъ исканіе нравственно совершенной личности среди всѣхъ колебаній и уклоненій всегда оставалось внутренней потребностью Толстого. Впослѣдствіи въ своей „Исповѣди“ онъ писалъ, что взгляды этихъ писателей „подъ распущенность его жизни подставили теорію, которая ее оправдывала“. Онъ убѣдился, что взгляды, усвоенные имъ вмѣстѣ съ ними, совершенно изгладили въ немъ „всѣ его прежнія попытки сдѣлаться лучше“. Они показались ему много ниже тѣхъ людей, которыхъ онъ встрѣчалъ въ своей военной жизни, самоувѣренными жрецами „вѣры писательской“. „Люди эти мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понялъ, что вѣра эта—обманъ“. И здѣсь Толстой почувствовалъ себя „лишнимъ человѣкомъ“. И здѣсь обнаружилась его основная черта (а вмѣстѣ съ нимъ черта всего передового гуманнаго барства этой эпохи)—неспособность къ коллективной медленной работѣ, которая диктовалась ходомъ исторіи, отрицательное отношеніе къ тѣмъ людямъ, среди которыхъ намѣчались элементы ближайшаго будущаго, и одинокое стремленіе отыскать истину среди тѣхъ понятій и вкусовъ, съ которыми съ дѣтства сроднилась его душа. Порвавъ съ петербургскими литераторами и лишившись поддержки критики, которая стала замалчивать теперь его произведенія, — Толстой занялъ съ этого момента совершенно особое мѣсто въ русской литературѣ, внѣ всякихъ направленій и школъ. Это мѣсто постепенно было признано за нимъ, и до сихъ поръ онъ занимаетъ его, не считаясь ни съ чѣмъ, идя своей особой дорогой, часто поражая самыя святыя традиціи и вѣрованія русскаго общества. Его жизнь послѣ разрыва съ петербургскими литераторами долго еще

отмѣчается сомнѣніями и колебаніями. Онъ бросается въ разныя сферы дѣятельности. Онъ ищетъ примѣненія своимъ силамъ, и долго на его дѣятельности отражаются типичныя черты лишнихъ людей. Онъ часто разочаровывается, переходитъ отъ одного дѣла къ другому. Онъ возобновляетъ основанную имъ въ Ясной Полянѣ школу, съ изумительнымъ усердіемъ изучаетъ педагогическое дѣло. Въ 1861 г. онъ принимаетъ на себя обязанности мирового посредника, но вскорѣ покидаетъ ихъ, видя, что не въ силахъ бороться съ дворянами, противникомъ которыхъ онъ не разъ выступалъ, защищая интересы крестьянъ. Его идеалы и стремленія пріобрѣтаютъ постепенно все болѣе и болѣе характеръ великихъ, но отвлеченныхъ идеаловъ, неосуществимыхъ въ рамкахъ реальной дѣйствительности, практически безплодныхъ для несовершеннаго человѣческаго общества. Онъ создаетъ анархическую школу, безъ малѣйшаго намека на дисциплину, возстаетъ противъ педагогическихъ и научныхъ традицій, требуетъ полной свободы для народа въ выборѣ нужныхъ и полезныхъ ему знаній, отрицаетъ за интеллигентами право навязывать народу традиціонныя знанія и чуждыя ему убѣжденія. Къ педагогическому дѣлу онъ возвращается нѣсколько разъ, пишетъ „Азбуку“ для крестьянскихъ дѣтей, пропагандируетъ свои методы, вызывая подозрѣніе правительства и расколъ среди педагоговъ. Въ 1862 году Толстой женился, и съ этого момента наступилъ тотъ періодъ его жизни, о которомъ онъ самъ написалъ слѣдующее: „Въ эти 18 лѣтъ я жилъ правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никакимъ осуждаемымъ общественнымъ мнѣніемъ порокамъ, но всѣ интересы мои ограничивались эгоистическими заботами о семьѣ, объ увеличеніи состоянія, о пріобрѣтеніи литературнаго успѣха и всякаго рода удовольствіями“. Изъ этихъ словъ видно, что и семейная жизнь Толстого, представляющая со-

бою рѣдкій образецъ семейнаго счастья, не могла утолить его стремленія къ высшей лучшей жизни, что и семья не заглушила голоса, ставившаго въ душѣ его немолчно вопросъ о томъ, въ чемъ заключается истинная жизнь и истинное дѣло человѣка,—вопросъ, который былъ поставленъ исторіей передъ мыслящей частью дворянства и который Толстой разрѣшилъ въ концѣ-концовъ обращеніемъ къ религіи, свободной отъ мистицизма, суммирующей практическіе нравственные идеалы, обезпечивающіе разумную и добрую жизнь на землѣ. Написанный въ теченіе 60-хъ годовъ романъ „Война и миръ", а затѣмъ въ 70-е годы—романъ „Анна Каренина" свидѣтельствуютъ о томъ, какъ упорно его геніальный умъ продолжалъ искать смысла жизни.

Семейное счастье не оказалось тѣмъ идеаломъ, который могъ удовлетворить Толстого, и послѣ 18 лѣтъ покоя и счастья онъ снова сталъ мучиться сомнѣніями и очутился лицомъ къ лицу съ тѣмъ вопросомъ, который не переставалъ занимать его съ первыхъ лѣтъ его сознательной жизни. „Подобно тому, какъ на тлѣющій костеръ, — говоритъ Бирюковъ, — наваливаютъ кучу хвороста и онъ какъ-будто тухнетъ, такъ и на Л. Н-ча во время его приближенія къ рѣшенію этого мірового вопроса навалилась куча земныхъ благъ: семейное счастье, слава, богатство, общественная дѣятельность, куча горючаго матеріала, который должно было прожечь тлѣющее подъ ними пламя. И подобно Соломону на вершинѣ славы своей, подобно царевичу Сиддартѣ, окруженному всѣми благами и соблазнами міра, онъ прожегъ весь этотъ матеріалъ своимъ сознаніемъ и сказалъ: все суета. Онъ снова остался передъ вѣчнымъ вопросомъ: зачѣмъ онъ живетъ и какой смыслъ жизни міра и его самого? Жизнь его остановилась, и онъ сталъ мучительно искать выхода изъ этого ужаснаго безнадежнаго поло-

женія". Онъ нашелъ этотъ исходъ въ вѣрѣ, причемъ обратился къ первоисточнику христіанской религіи—къ Евангелію. Со своей обычной пламенной искренностью принялся онъ за изученіе его текста, и на основаніи его создаетъ свое толкованіе христіанства, идущее вразрѣзъ съ церковной традиціей. Онъ пишетъ свои знаменитыя книги „Въ чемъ моя вѣра" и „Царство Божіе внутри насъ", въ которыхъ христіанство трактуется не какъ мистическое ученіе, а какъ новое жизнепониманіе. Оффиціальная церковь изгоняетъ его изъ своей среды. Но ученіе его находитъ многочисленныхъ сторонниковъ во всѣхъ концахъ міра, и онъ пріобрѣтаетъ безпримѣрный въ исторіи нравственный авторитетъ среди читающаго человѣчества.

Жизнь Толстого была безпрерывнымъ исканіемъ правды. Его творенія были отраженіемъ этихъ исканій. Въ его первомъ произведеніи, „Дѣтство", изображено состояніе его собственной души въ дѣтскіе годы. Біографы Толстого (особенно Левенфельдъ и Бирюковъ) достаточно выяснили, какія живыя лица послужили оригиналами для фигуръ, выведенныхъ въ первой повѣсти Толстого. Нѣкоторыя изъ нихъ являются собирательными образами, въ которыхъ соединились типичныя черты нѣсколькихъ окружавшихъ лицъ. Въ отцѣ главнаго героя повѣсти, Николеньки, Толстой изобразилъ Исленева, сосѣда по имѣнію и пріятеля своего дѣйствительнаго отца. Подъ именемъ Мими описана гувернантка сосѣдей, подъ именемъ Катеньки—воспитанница, жившая въ семьѣ Л. Н., Дунечка Темяшева. Въ лицѣ Натальи Саввишны изображена Прасковья Исаевна, служившая экономкой въ домѣ графовъ Толстыхъ. Образъ юродиваго Гриши навѣянъ фигурой полудурачка Акима, помощника садовника, и т. д. Но для насъ важны не эти детали, важно не то, съ какого живого лица списана та или другая черта художественнаго образа. Гамлетъ Шекс-

пира тоже списанъ съ современниковъ (и критика даже отыскала его оригиналъ), но Гамлетъ сталъ тѣмъ не менѣе воплощеніемъ мукъ и сомнѣній своей эпохи и отраженіемъ меланхоліи новаго человѣчества. Первая повѣсть Толстого дорога намъ прежде всего какъ поэтическая картина усадебнаго міра, которая вмѣстѣ съ „Сномъ Обломова“ и главами, изображающими воспитаніе Лаврецкаго, является великимъ культурнымъ памятникомъ. Дорога фигура главнаго героя, потому что ея исторія, это — первые шаги самого Толстого, это—картина условій, опредѣлившихъ одинъ изъ путей, по которымъ развивалась мысль пробудившагося барства, та вѣтвь этого пути, которая не освѣщена у Герцена, Тургенева и другихъ художниковъ дореформеннаго дворянства. Безъ Николеньки Иртеньева мы не имѣли бы картины зарожденія одного изъ самыхъ крупныхъ теченій въ исторіи этого дворянства, того теченія, изъ котораго въ итогѣ получился самъ Толстой и его послѣдователи. Вспомните общее настроеніе тургеневскихъ романовъ. Ихъ герои росли въ обстановкѣ, гдѣ все удаляло отъ реальной дѣйствительности, гдѣ все подготовляло къ безсилію передъ жизнью, воспитывало будущихъ пессимистовъ и мечтателей. Григоровичъ воплотилъ другую струю въ развитіи психики кающагося дворянства, его сантиментальныя слезы передъ страданіями крестьянина, его искусственную барскую скорбь по поводу этихъ страданій. У Тютчева, Фета и поэтовъ чистаго искусства мы найдемъ то же удаленіе отъ жизни. Они воплотили третье теченіе, родственное тургеневскому, приведшее къ культу фантазіи и искусства, къ гимнамъ во славу интенсивной жизни души. Толстого роднитъ съ его собратьями общій признакъ—удаленіе отъ жизни, перемѣщеніе центра тяжести во внутреннюю жизнь души. Но онъ является выразителемъ новаго теченія въ исторіи, кающагося дворянства. Онъ

не пошелъ ни по одному изъ указанныхъ только-что путей, хотя у него можно отмѣтить черты каждаго изъ нихъ. Съ первыхъ шаговъ своей сознательной жизни онъ началъ интенсивно работать надъ своимъ нравственнымъ міромъ, и его первая повѣсть была отраженіемъ ранней стадіи этой работы. При всемъ несходствѣ талантовъ Тургенева и Толстого они оба сходились въ стремленіи комментировать свои собственныя произведенія и выводимые ими образы, въ стремленіи не только изобразить развертывающуюся передъ ними жизнь, но и отнести ее къ общимъ началамъ, отчетливо подчеркнуть свое отношеніе къ ней. Эта особенность вытекала изъ той задачи, которая стояла передъ мыслящимъ дворянствомъ наканунѣ реформъ. Уже первые критики Толстого указали на это сходство. П. Анненковъ въ „Современникѣ" въ 1855 году отмѣтилъ тотъ любопытный фактъ, что и Тургеневъ, и Толстой въ своихъ первыхъ произведеніяхъ избрали форму разсказа отъ собственнаго лица. „Съ нея началъ Тургеневъ и на ней еще стоитъ гр. Л. Н. Т., два повѣствователя, весьма различные по качествамъ своимъ и по направленію, но сходные тѣмъ, что у обоихъ чувствуется присутствіе мысли въ разсказахъ"...

„Я убѣжденъ въ томъ, что, ежели мнѣ суждено прожить до глубокой старости и разсказъ мой догонитъ мой возрастъ, я старикомъ семидесяти лѣтъ буду точно такъ же невозможно-ребячески мечтать... Я убѣжденъ, что нѣтъ человѣческаго существа и возраста, лишеннаго этой благодѣтельной, утѣшительной способности мечтанія". Эти слова, изъ „Юности", являются программой жизни не только Толстого, но и всѣхъ писателей, выросшихъ съ нимъ въ одну эпоху и въ одинаковой атмосферѣ, вплоть до Тургенева и Фета. Непринятіе жизни, мечта, противопоставленная ея грубому ходу,—такова общая основа ихъ творчества.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое представляетъ изъ себя трилогія Толстого, какъ не эпопею безплодныхъ попытокъ искренняго и совѣстливаго ума примкнуть къ той или иной сторонѣ жизни. Исторія Николеньки Иртеньева, это—первое отрицаніе всѣхъ формъ жизни, которое разовьется впослѣдствіи въ сложное ученіе, это—первый могучій протестъ противъ призраковъ, за которыми гонится человѣчество, и призывъ къ внутренней нравственной работѣ, какъ къ единственному исходу для мыслящаго ума и чуткой совѣсти. Николенька не живетъ, а анализируетъ. Онъ—рабъ своей среды и въ то же время ея палачъ. Онъ одержимъ всѣми ея предразсудками, онъ старается пройти весь путь, предназначенный великосвѣтскому ребенку, а потомъ юношѣ, наслаждаться его удовольствіями, презирать его презрѣніемъ, ненавидѣть его ненавистью и любить его любовью. И этотъ путь не дается ему. Вступая на него, онъ разрушаетъ его, потому что анализирующій умъ и искреннее сердце видятъ фальшь и искусственный характеръ этого пути. Что было самымъ жестокимъ ударомъ для Николеньки, что особенно глубоко захватывало его въ изображенные три періода его жизни? Все то, что задѣвало его какъ барина, какъ будущаго свѣтскаго человѣка, какъ существо, призванное блистать въ обществѣ и наслаждаться балами, охотой и всякими барскими удовольствіями. Ребенкомъ онъ не знаетъ бо́льшаго горя, какъ свое некрасивое лицо. Онъ молитъ Бога „сдѣлать чудо“— превратить его въ красавца. Онъ готовъ за красивое лицо отдать „все, что имѣлъ въ настоящемъ, все, что могъ имѣть въ будущемъ“. На него находятъ минуты отчаянія, онъ воображаетъ, что „нѣтъ счастія на землѣ для человѣка съ такимъ широкимъ носомъ, толстыми губами и маленькими сѣрыми глазами“. Неудачное па во время мазурки приводитъ его въ ужасъ. „Всѣ презираютъ меня и всегда будутъ презирать.

Мнѣ закрыта дорога ко всему: къ дружбѣ, любви, почестямъ... все пропало!“ Вмѣстѣ со своими высокорожденными товарищами онъ презираетъ Илиньку Грапа, „сына бѣднаго иностранца“, казавшагося ему „такимъ презрѣннымъ существомъ, о которомъ не стоитъ ни жалѣть, ни думать“. Новый костюмъ, первый выѣздъ на лошади, первый балъ, нелѣпая поддѣлка подъ свѣтскій разговоръ со своей маленькой дамой по кадрили,—все это крупнѣйшія событія въ жизни Николеньки. Пройдутъ года, дѣтство смѣнится юностью, но Николенька останется сыномъ своей среды. Во время университетскаго экзамена онъ будетъ чувствовать ненависть къ профессору, несправедливо обидѣвшему его, притомъ чувство обиды усилится презрѣніемъ къ профессору за то, что, по его понятіямъ, онъ не былъ изъ людей comme il faut, въ чемъ убѣдили Николеньку „его короткіе, крѣпкіе и круглые ногти“. Ставъ студентомъ, онъ думаетъ „только о мундирѣ, треугольной шляпѣ, собственныхъ дрожкахъ, собственной комнатѣ и, главное, о собственной свободѣ“. Онъ прежде всего отправится въ модный магазинъ купить ненужныя и не привлекающія его вещи, захочетъ порисоваться передъ товарищемъ дрожками и своимъ костюмомъ, купитъ табаку и будетъ курить съ отвращеніемъ до головокруженія и обморока, лишь бы быть такимъ, какъ полагается быть въ его кругу, пройти по шаблону тотъ этапъ, который проходятъ всѣ.

Эфемерныя свѣтскія удовольствія была та пристань, куда прежде всего устремились дѣятельныя духовныя силы богато одареннаго ребенка. Толстому нужно было показать крушеніе этихъ стремленій, показать, что для пробудившагося ума не могло быть удовлетворенія въ служеніи призрачнымъ идеаламъ свѣтскаго общества. Николенька обладаетъ такими качествами, которыя не даютъ ему погрязнуть въ суетной свѣтской жизни. Онъ одаренъ тонкой наблюда-

тельностью, которая позволяетъ ему легко улавливать фальшь этой жизни. Его взоръ слѣдитъ за каждымъ движеніемъ старшихъ. Онъ видитъ, что крѣпостной Яковъ, усердный и преданный приказчикъ, фактически распоряжается его отцомъ. Онъ улавливаетъ фальшивый тонъ въ словахъ гостьи-княгини, которая старается непринужденно увѣрить его своенравную бабушку, что князь никакъ не могъ пріѣхать поздравить ее „несмотря на сильнѣйшее желаніе", и т. д. Далѣе, онъ одаренъ чуткой совѣстью. Онъ чувствуетъ неопредѣленные укоры ея всякій разъ, когда „падаетъ", т.-е. всякій разъ, когда подъ вліяніемъ укоренившихся въ немъ свѣтскихъ воззрѣній дѣлаетъ дурной поступокъ. Тайная тоска грызетъ его, послѣ того какъ онъ съ товарищами насмѣялся надъ Илинькой Грапомъ. Онъ „не совсѣмъ былъ убѣжденъ, что все это такъ смѣшно и весело". Онъ не понималъ, какъ онъ не подошелъ, не защитилъ, не утѣшилъ оскорбленнаго мальчика. И этотъ эпизодъ оставилъ „единственныя темныя пятна на страницахъ его дѣтскихъ воспоминаній". Эта чуткая совѣсть подсказала ему, что тотъ кругъ интересовъ, въ которомъ онъ живетъ, представляетъ собою узкую эгоистическую сферу. Въ первый разъ онъ ясно созналъ это, когда Катенька сказала ему, что рано или поздно имъ придется разстаться: „вы богаты—у васъ есть Петровское, а мы бѣдныя—у маменьки ничего нѣтъ". Тысячи „новыхъ неясныхъ мыслей" зароились въ головѣ Николеньки, и ему „стало совѣстно" за свое богатство и за бѣдность своихъ друзей. „Что же такое, что мы богаты, а онѣ бѣдны?—думалъ я,—и какимъ образомъ изъ этого вытекаетъ необходимость разлуки. Отчего же намъ не раздѣлить поровну того, что мы имѣемъ?" И въ то же время „какой-то практическій инстинктъ" уже говорилъ ему, что Катенька права и что было бы неумѣстно объяснять ей свою мысль. Пробудилась совѣсть, но не

пробудилось сознаніе, какъ направить жизнь согласно ея указаніямъ. Николенька одаренъ не только наблюдательностью и чуткою совѣстью. Въ немъ непомѣрно развито самолюбіе и въ его груди бьется доброе сердце. Онъ болѣзненно страдаетъ, когда старшіе мальчики относятся къ нему нѣсколько свысока, какъ къ младшему. Онъ любитъ Карла Ивановича и всѣхъ окружающихъ и плачетъ искренними слезами надъ каждымъ ихъ горемъ. Это самолюбіе порождаетъ другое чувство—застѣнчивость. Его мысль все время работаетъ надъ вопросомъ о томъ, какъ относятся къ нему окружающіе. Онъ запутывается въ этой работѣ. Она сковываетъ его движенія и дѣйствія. Онъ боится сдѣлать поступокъ, который можетъ вызвать критическое отношеніе съ ихъ стороны. Не находя исхода въ жизни, его дѣятельныя духовныя силы находятъ себѣ пищу въ работѣ воображенія. И въ итогѣ въ лицѣ Николеньки въ другой формѣ развивается уже извѣстный намъ типъ „лишняго человѣка“ съ его основными признаками: безсиліемъ передъ практическими вопросами жизни и съ богатой внутренней жизнью, съ интенсивной работой ума, съ разъѣдающимъ мучительнымъ анализомъ.

Николенька — будущій Толстой. Его первые шаги подготовляютъ основы того міровоззрѣнія, которое разовьетъ авторъ „Войны и мира“ въ концѣ своей жизни. Въ свѣтской жизни, въ ея интересахъ, въ ея суетныхъ, пустыхъ стремленіяхъ онъ не нашелъ и не могъ найти удовлетворенія. Онъ не принялъ этой жизни. Онъ всѣми силами старался пойти по проторенному вѣками пути, но онъ оказался выше его благодаря своему уму и чуткой совѣсти. Въ чемъ же могли найти исходъ этотъ умъ и эта совѣсть? Николенька могъ послѣдовать Тургеневу. Онъ могъ дать себѣ „Аннибалову клятву“. Онъ могъ хотя бы и дѣтскимъ умомъ понять, что ложь и безсодержательность

той жизни, въ которой онъ тщетно пытался найти удовлетвореніе, имѣютъ свои причины. Онъ могъ, подобно Тургеневу, почувствовать въ себѣ тотъ общественный пылъ, который подвинулъ многихъ его сверстниковъ на великій подвигъ общественной борьбы. Тѣмъ болѣе, что ему не были чужды мысли, которыя могли навести его на этотъ путь. Уже разговоръ съ Катенькой заставилъ его призадуматься о судьбѣ людей, стоявшихъ внѣ его круга. „Путешествіе", съ котораго онъ считалъ начало своего отрочества, навело его на дальнѣйшія размышленія въ этомъ направленіи. „Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль, что не мы одни, т.-е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи". Эта мысль росла и ширилась по мѣрѣ того, какъ мчалась мимо него безконечная колея русской жизни, которую онъ видѣлъ пока только изъ брички, увозившей его въ Москву. „Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило, по крайней мѣрѣ, такое же семейство, какъ наше, на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ, на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, какъ я привыкъ видѣть это въ Петровскомъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ,—мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ, что же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? И изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ? какъ воспитываютъ своихъ дѣтей? учатъ ли ихъ? пускаютъ ли играть? какъ наказываютъ? и т. д.". Вопросъ былъ поставленъ правильно. Именно въ этомъ направленіи работала мысль русской интеллигенціи,

не только возникающей разночинской, но и той дворянской, которая способна была совершить переходъ отъ традицій своего класса къ новымъ задачамъ. Казалось бы, программа дѣятельности, вытекавшая изъ этихъ вопросовъ, была ясна. Изслѣдовать русскую дѣйствительность, изучать практически жизнь народа, выяснять причины, обусловившія отрицательныя стороны этой жизни и отдать свои силы на борьбу съ этими причинами, на служеніе народу, — таково было логическое слѣдствіе, вытекавшее изъ поставленныхъ юнымъ умомъ вопросовъ. И мы знаемъ, что сверстники Николеньки старались разобраться въ этихъ вопросахъ. Но въ той средѣ, въ которой выросъ Николенька, мысль не могла направиться въ сторону такого реалистическаго отношенія къ дѣйствительности. Достаточно вспомнить, какими красками изображена въ повѣсти Толстого исторія Натальи Саввишны, чтобы убѣдиться, что эти люди слишкомъ свыклись со своими привилегіями, что они органически сроднились съ мыслью о томъ, что массы крѣпостныхъ людей должны растворять свою личность въ ихъ интересахъ и даже капризахъ, что у этихъ крѣпостныхъ безкорыстіе, добродѣтель, самоотверженіе, всѣ лучшія качества души могутъ расточаться только въ ограниченной сферѣ рабскаго служенія господамъ. Наталья Саввишна, заслужившая похвалы и награды господъ за свою кротость и преданность въ должности горничной и няни, осмѣлилась полюбить оффиціанта Фоку и дерзнула попросить дѣдушку о разрѣшеніи выйти замужъ. Въ наказаніе „за неблагодарность“ несчастная была сослана на скотный дворъ въ степную деревню. Даже того заглушеннаго протеста, который вызывали подобные возмутительные факты у Тургенева, мы не находимъ у Толстого. Дѣтскій умъ Николеньки не былъ потрясенъ этой исторіей. Напротивъ, съ трогательнымъ сочувствіемъ передаетъ онъ дальнѣйшую исто-

рію Натальи Саввишны,—исторію, которая является какъ бы многолѣтнимъ искупленіемъ грѣха молодости. Черезъ шесть мѣсяцевъ ее возвратили на прежнюю должность, „такъ какъ никто не могъ замѣнить ее“, и жестокій наивный эгоизмъ деспотовъ-баръ не только не поселилъ въ ея душѣ чувства возмущенія; напротивъ, она упала въ ноги дѣдушкѣ, просила возвратить ей милость и ласку и „забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она каялась, уже болѣе не возвратится“. И дальше слѣдуетъ цѣлая эпопея подвиговъ любви и самоотверженной преданности, исторія души, отрекшейся отъ счастья и собственной жизни и растворившей себя въ чужихъ интересахъ и желаніяхъ. Она расплакалась, когда ей за ея двадцатилѣтніе труды предложили вольную и ежегодную пенсію. „Должно-быть, я вамъ чѣмъ-нибудь противна, что вы меня со двора гоните“. Рабы теряютъ все, даже желаніе разбить свои цѣпи, — такими словами заключилъ бы, можетъ-быть, врагъ крѣпостного права эту повѣсть о трогательномъ поступкѣ Натальи Саввишны. Но умъ барчонка не могъ понять трагизма, таившагося въ этомъ фактѣ. Вотъ тѣ слова, которыми сопровождаетъ Иртеньевъ свой разсказъ. „Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себѣ: вся ея жизнь была любовь и самопожертвованіе. Я такъ привыкъ къ ея безкорыстной, нѣжной любви къ намъ, что и не воображалъ, чтобы это могло быть иначе, нисколько не былъ ей благодаренъ и никогда не задавалъ себѣ вопросъ: а что, счастлива ли она? довольна ли?“

Мы отмѣтили тѣ черты, изъ которыхъ складывалось міровоззрѣніе Иртеньева — Толстого. Это было, во-первыхъ, безплодное стремленіе погрузиться въ суетную свѣтскую жизнь и полное крушеніе этой попытки, — словомъ, непринятіе жизни высшихъ слоевъ народа, въ которые впослѣдствіи Толстой включилъ

не одно только свѣтское общество и которые объединилъ подъ названіемъ „мы, люди ученые богатые“. Во-вторыхъ, это было непониманіе тѣхъ путей, которые вели къ борьбѣ съ этой ложной жизнью „людей ученыхъ богатыхъ“, чуждое, если не враждебное отношеніе къ ломкѣ внѣшнихъ отношеній, полное непониманіе роли и значенія крѣпостного права, говоря короче, это было неприятіе общественнаго усилія. Наконецъ, въ-третьихъ, это было пробужденіе ума и совѣсти, стремленіе во что бы то ни стало найти выходъ. На этой послѣдней чертѣ и необходимо остановиться подробнѣе, чтобы понять, что первая повѣсть Толстого обнаруживаетъ будущаго мыслителя не только въ отрицательной, но и въ положительной части его ученія.

Въ чемъ же заключается эта положительная сторона, поскольку она обнаружилась въ первой повѣсти? Это — прежде всего преклоненіе передъ народной вѣрой и народной правдой. Свое нравственное ученіе Толстой подслушалъ у простыхъ людей. Нетрудно уловить тотъ тайный оттѣнокъ ироніи, то скрытое отрицаніе, которыя сквозятъ въ изображеніи высшаго круга. Вся повѣсть, даже въ эту раннюю пору жизни Толстого, ведется въ такомъ тонѣ, точно что-то ненужное, что-то „ненастоящее“ скрывается въ жизни высшаго круга и въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ отца, и въ церемоніи поздравленія бабушки, и въ забавахъ гостей, и въ охотѣ, и въ строгомъ этикетѣ, царившемъ за столомъ, и въ первыхъ самостоятельныхъ шагахъ, въ первыхъ молодеческихъ выходкахъ мальчиковъ, ставшихъ взрослыми. Но что-то глубокое и „настоящее“ таится въ жизни простыхъ людей. Здѣсь Толстой не иронизируетъ, здѣсь серьезное выраженіе пріобрѣтаетъ его лицо. Эти люди и живутъ, и чувствуютъ по-настоящему. Въ ихъ жизни нѣтъ фальши. Особенно ярко эта идея проглядываетъ въ опи-

саніи скорби, которой была встрѣчена въ домѣ смерть матери. Въ проявленіи горя у культурныхъ людей всегда есть примѣсь чего-то искусственнаго, своего рода тщеславіе. „Тщеславіе въ горести выражается желаніемъ казаться или огорченнымъ, или несчастнымъ, или твердымъ; и эти низкія желанія, въ которыхъ мы не признаемся, но которыя почти никогда—даже въ самой сильной печали—не оставляютъ насъ, лишаютъ ее силы, достоинства и искренности". Наталья Саввишна, которая была больше всѣхъ потрясена кончиной своей барыни, набросилась на Фоку, когда онъ потребовалъ восемь фунтовъ пшена, кричала, что не дастъ потачки за барское добро. Умъ ребенка былъ пораженъ этимъ переходомъ отъ трогательнаго чувства къ мелочнымъ расчетамъ. Но впослѣдствіи онъ понялъ, что именно въ этой способности заниматься своимъ обычнымъ дѣломъ заключалось отсутствіе всякой фальши: „горе такъ сильно подѣйствовало на нее, что она не находила нужнымъ скрывать, что можетъ заниматься посторонними предметами". Вообще, Наталья Саввишна оставила неизгладимый слѣдъ въ душѣ Иртеньева — Толстого. Она — прототипъ Платона Каратаева. Въ ней онъ нашелъ черты, изъ которыхъ былъ созданъ впослѣдствіи его идеалъ праведной жизни. Вся ея жизнь была любовь и самопожертвованіе. Вся ея жизнь была трудъ; она всегда была чѣмъ-нибудь занята: или вязала чулокъ, или рылась въ сундукахъ, или считала бѣлье. Вся ея жизнь была служеніемъ долгу; причемъ этотъ долгъ она понимала такъ, какъ будутъ понимать его впослѣдствіи всѣ толстовскіе праведники: безъ анализа, протеста и критики, благоговѣйно склоняясь предъ волей Высшаго Существа, пославшаго ее въ міръ, выполнять свое назначеніе на томъ мѣстѣ, на которомъ она застала себя. Ей поручено хранить барское добро и служить господамъ. И она выполняетъ и то, и дру-

гое безраздумно и просто. Ей въ голову не придетъ спросить себя, почему она должна была принести имъ въ жертву себя, за что любила и благословляла она тѣхъ людей, которые въ сущности жестоко эксплоатировали ее. Смиреніе, отреченіе отъ личнаго счастья и страстей, отказъ отъ самонадѣяннаго вмѣшательства въ предначертанія Божества, отъ гордаго стремленія перестраивать жизнь людей—таковы тѣ элементы, которые лягутъ впослѣдствіи въ основу толстовскаго ученія и которые впервые онъ уловилъ въ русскомъ народѣ. Типы изъ народа, выведенные въ первой повѣсти Толстого, уже говорятъ о направленіи его исканій, о будущей проповѣди опрощенія. Насмѣшливый, когда рѣчь идетъ о господахъ, онъ съ чувствомъ почтительной робости склоняется предъ вѣрой народной; затаивъ дыханіе, почти съ мистическимъ страхомъ слѣдитъ онъ за молитвой юродиваго Гриши, и на всю жизнь останется въ его памяти эта молитва. „Много воды утекло съ тѣхъ поръ, много воспоминаній о быломъ потеряли для меня значеніе и стали смутными мечтами, даже и странникъ Гриша давно окончилъ свое послѣднее странствованіе, но впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на меня, и чувство, которое возбудилъ, никогда не умрутъ въ моей памяти. О, великій христіанинъ Гриша! Твоя вѣра была такъ сильна, что ты чувствовалъ близость Бога; твоя любовь такъ велика, что слова сами собой лились изъ устъ твоихъ, — ты ихъ не повѣрялъ разсудкомъ“...

Какой же выводъ сложился въ душѣ Иртеньева изъ разнородныхъ дѣтскихъ впечатлѣній? Онъ нашелъ въ юности своего друга въ лицѣ Дмитрія Нехлюдова, какъ нашелъ Герценъ Огарева. Они тоже почти мальчиками дали другъ другу клятву, какъ дали ее на Воробьевыхъ горахъ Герценъ и Огаревъ, какъ далъ себѣ Аннибалову клятву Тургеневъ, какъ давали ее тысячи другихъ восторженныхъ юношей дворянскаго

круга, искавшіе и не умѣвшіе найти исхода своему, благородному пылу, своей жаждѣ подвига и жертвы своему стремленію послужить народу. „Дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу,—говоритъ Нехлюдовъ Иртеньеву.—Мы будемъ знать другъ друга, и намъ не будетъ совѣстно". Взаимная нравственная поддержка — вотъ въ чемъ клялись другъ другу два мальчика у Толстого. „Дружба съ Дмитріемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія. Сущность этого взгляда состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному усовершенствованію и что усовершенствованіе это легко, возможно и вѣчно". Таковъ былъ выводъ, который одинъ оставался яснымъ и непреложнымъ среди смуты, царившей въ умѣ Иртеньева. Онъ, выше всего цѣнившій людей comme il faut, чувствовавшій отвращеніе къ тѣмъ, кто не были достойны этого имени, — онъ въ глубинѣ души своей уже возставалъ противъ ложной жизни, — и первая повѣсть Толстого есть въ сущности изображеніе перваго шага на томъ пути, который рано или поздно долженъ привести человѣка къ освобожденію отъ сѣтей лжи, опутавшихъ его душу. Это первый протестъ противъ міросозерцанія comme il faut, первая попытка поставить его передъ судомъ народной правды.

„Утро помѣщика" — второй этапъ на этомъ пути. Если психологія Иртеньева, по справедливому замѣчанію проф. Овсянико-Куликовскаго, была не психологіей обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, а психологіей русской великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженной въ трехъ возрастахъ, то въ исторіи кн. Нехлюдова мы находимъ продолженіе личной душевной драмы Толстого въ молодости. Не случайно этотъ „отрывокъ" появился между „Дневникомъ лишняго человѣка" и „Рудинымъ". Герой „отрывка" князь Нехлюдовъ—тотъ же лишній человѣкъ,

тотъ же мученикъ совѣсти, попавшій со своимъ стремленіемъ дѣлать дѣло въ безнадежно-унылую полосу русской жизни, въ эпоху безвременья, въ мрачные 50-е годы. Общее настроеніе „отрывка"—то же, что и въ трилогіи. Предъ нами душевный міръ великосвѣтскаго барина съ мыслящимъ умомъ и чуткой совѣстью. Предъ нами не столько правдивая эпопея деревенскаго хозяйства, могущая вскрыть дѣйствіе основного недуга тогдашней дѣйствительности—крѣпостного права, сколько картина чувствъ и настроеній, царившихъ въ душѣ баръ въ эпоху потрясенія старыхъ формъ хозяйственной жизни. Внутренняя работа, совершавшаяся въ душѣ Николеньки, — главный сюжетъ трилогіи. Всѣ дѣйствующія лица, всѣ событія не имѣютъ самостоятельнаго значенія. Они — фонъ, на которомъ авторъ ярко оттѣняетъ единственно интересующій его вопросъ, процессъ нравственнаго развитія своей души. „Утро помѣщика" преслѣдуетъ тѣ же задачи. Было бы глубокой ошибкой думать, что Толстой имѣлъ въ виду хотя бы даже тѣ цѣли, которыя преслѣдовалъ Тургеневъ своими „Записками охотника", т.-е. изображеніе тяжелаго положенія крѣпостного крестьянства. Могъ ли Нехлюдовъ улучшить положеніе своихъ крестьянъ тѣми средствами, которыми онъ пользовался, или нужны были другія средства,—эта соціальная сторона изображеннаго въ „отрывкѣ" историческаго момента мало занимаетъ Толстого. Центральная фигура — баринъ, а не крестьяне. Не *ихъ*, а *его* муки занимаютъ автора. Не подъемъ ихъ экономическаго, нравственнаго и умственнаго состоянія интересуетъ его, а душевная драма пробудившагося барства. И новый актъ этой драмы является новымъ торжествомъ излюбленныхъ идей Толстого.

Князю Нехлюдову было 19 лѣтъ, когда онъ, прервавъ свой университетскій курсъ, рѣшилъ посвятить

свою жизнь счастью своихъ крестьянъ, пріѣхалъ въ свою деревню и занялся дѣлами своего разстроеннаго имѣнія. Онъ убѣдился, что „главное зло заключается въ самомъ жалкомъ бѣдственномъ положеніи мужиковъ, и зло такое, которое можно только исправить трудомъ и терпѣніемъ“. Онъ чувствовалъ въ себѣ способность „быть хорошимъ хозяиномъ“. Онъ писалъ своей тетушкѣ: „Зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается такая благородная, ближайшая и блестящая обязанность“. Онъ постигъ, что единственное счастье, не зависящее отъ случая, счастье, принадлежащее человѣку вполнѣ, это — любовь и самоотверженіе. Не прошло и года, и отъ его благородной мечты не осталось ничего. „Я недоволенъ, потому что я здѣсь не знаю счастья,—думалъ онъ черезъ годъ,— а желаю, страстно желаю счастья. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? За что? Кому отъ этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не легче, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжелѣе“.

Въ чемъ же заключалась причина неудачъ Нехлюдова? Напомнимъ главные эпизоды „отрывка“. Когда крестьянинъ Чурисъ попросилъ у него „сошекъ“, чтобы подпереть сараи, Нехлюдовъ, убѣдившись, что заплаты не помогутъ, что изба и сараи почти развалились и грозятъ гибелью семьѣ Чуриса, предлагаетъ мужику переселиться въ одну изъ новыхъ каменныхъ избъ, построенныхъ на новомъ хуторѣ. Нехлюдовъ не могъ подавить при этомъ самодовольной улыбки при мысли о благодѣяніи, которое онъ оказываетъ мужику. Чурисъ отвѣтилъ на предложеніе барина плохо скрытой насмѣшкой и рѣши-

тельнымъ отказомъ. Что заставило Чуриса отвергнуть благодѣяніе барина? Новыя избы, которыми такъ гордился Нехлюдовъ, нисколько не привлекали крестьянъ. „Мудреныя избы! — говорилъ Чурисъ. — Ребята смѣялись, что не магазеи ли будутъ, отъ крысъ хлѣбъ засыпать. Избы важныя!“ Чурисъ слишкомъ свыкся со своимъ полуразрушеннымъ обиталищемъ, чтобы предпочесть ему тѣ удобства, которыя такъ цѣнилъ барскій вкусъ Нехлюдова. Правда, недавно накатина съ потолка разбила его бабу, и не сегодня — завтра обвалившаяся изба раздавитъ его самого. Но эта опасность, эти радости и печали—его родныя радости и печали. Онъ не хочетъ избавиться отъ нихъ цѣною коренной ломки всѣхъ своихъ привычекъ и всего, что вѣками укрѣплялось въ душѣ крестьянина. Чтобы понять и полюбить преимущества новыхъ избъ, выстроенныхъ Нехлюдовымъ, нужно было обладать барской, а не крестьянской психикой. Нехлюдовъ не спрашивалъ крестьянъ, когда строилъ новыя избы. Онъ не понималъ, что тѣ удобства, которыя цѣнилъ онъ, что тѣ блага, которыя безспорны въ глазахъ культурнаго общества, не являются удобствами и благами въ глазахъ милліоновъ людей, вскормленныхъ другими условіями, выросшихъ въ другихъ понятіяхъ. Онъ явился въ деревню не помогать людямъ жить, а самонадѣяннымъ повелителемъ, который задумалъ перевернуть вверхъ дномъ вѣковые устои сложившагося порядка жизни. За его кротостью, за его самоотверженной любовью скрывается самодовольство капризнаго деспота. Правда, онъ не сѣчетъ своихъ крестьянъ за то, что они не желаютъ быть счастливыми по его указкѣ. Правда, онъ не переселитъ Чуриса насильно въ новую избу, хотя могъ бы это сдѣлать. Но онъ едва сдерживаетъ въ себѣ чувство возмущенія и злобы, когда эти люди проявляютъ полное равнодушіе къ привезенному изъ столицы счастью, и въ концѣ-

концовъ между Нехлюдовымъ и тѣми господами, которые учили крестьянъ розгами усвоивать „человѣческія“ понятія, разница не такъ ужъ велика. Само собою разумѣется, что понятія Нехлюдова имѣютъ больше права на имя общечеловѣческихъ, чѣмъ понятія Чуриса. Но что могъ бы возразить Нехлюдовъ на эту реплику своего мужика: „Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное: и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что ли, бабѣ стирать, скотину ли поить, и *все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное*, и гумно, и огородишко, и ветлы—вотъ что мои родители садили, и батюшки наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправитъ, много довольны вашей милостью останемся; а нѣтъ, такъ и въ старенькой свой вѣкъ какъ-нибудь доживемъ. Заставь вѣкъ Бога молить, не сгоняй ты насъ съ гнѣзда насиженнаго“. И повсюду, куда ни появлялся Нехлюдовъ со своими непрошенными благодѣяніями, онъ наталкивался на стѣну идей, вкусовъ и понятій, чуждыхъ и непонятныхъ его барскому уму. Вѣковая гора, выросшая между народомъ и культурными классами общества, оставалась непроходимой, и тщетно гуманный и образованный баринъ однимъ ударомъ надѣялся срыть то, что нарастало въ теченіе столѣтій. Нужды и страданія народа въ его умѣ принимали не тѣ формы, въ которыя облекалъ ихъ умъ самого народа. Вѣковое недовѣріе эксплоатируемыхъ массъ къ ихъ эксплоататорамъ давало себя чувствовать на каждомъ шагу. Иронія и скрытность, — вотъ чѣмъ отвѣчали мужики Нехлюдову, который шелъ къ нимъ съ открытымъ сердцемъ. Повсюду онъ встрѣчалъ это чуждое, непонятное, которое принимало видъ чего-то страшнаго, неодолимаго. Что долженъ былъ почувствовать Нехлюдовъ у другого мужика, лѣнтяя Давыдки Бѣлаго, къ которому онъ явился съ пропо-

вѣдью труда, въ тотъ моментъ, когда мать его грохнулась въ ноги барину и обратилась къ нему со своей просьбой, дико прозвучавшей въ ушахъ Нехлюдова. Она умоляла его, чтобы онъ заставилъ силой дѣвку Васютку выйти замужъ за ея сына. Какимъ ужаснымъ должно было показаться это средство гуманному сердцу культурнаго барина! А между тѣмъ въ глазахъ крестьянки оно было единственнымъ простымъ и естественнымъ средствомъ спасенія гибнущей семьи. Но особенно ярко полная несостоятельность Нехлюдова обнаруживается въ его предложеніи богатому мужику Дутлову. Дутловъ занимался извозомъ и принадлежалъ къ числу богатыхъ мужиковъ. Нехлюдову показалось, что онъ можетъ лучше устроить жизнь Дутлова и его семьи. Онъ хотѣлъ дать движеніе капиталу богатаго мужика, лежавшему безъ движенія. Нехлюдовъ предложилъ ему купить пополамъ рощу въ казенномъ лѣсу и основать крупное хозяйственное предпріятіе. Но едва онъ заикнулся объ этомъ, Дутловъ пришелъ въ сильное волненіе и сталъ клятвенно увѣрять барина, что у него нѣтъ денегъ. Вѣковое недовѣріе къ господамъ заговорило въ его душѣ, ужасъ при одной мысли, что чуждая ему барская рука вмѣшивается въ его жизнь и захочетъ перекраивать ее по-своему, — все это превратило богатаго мужика сразу въ непроницаемую тайну, — и Нехлюдовъ ушелъ отъ него съ тѣмъ же чувствомъ тайнаго стыда и недовольства.

И не разрѣшилъ своей задачи Нехлюдовъ. Почему? Его приказчикъ далъ бы ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Онъ смѣялся въ душѣ надъ ненужными затѣями и относился съ снисходительной насмѣшкой къ чудаку-барину. Онъ увидалъ бы причину его неудачи въ томъ, что баринъ не умѣлъ выдавать насильно замужъ крестьянскихъ дочерей, не прибѣгалъ при случаѣ къ розгамъ и т. д., — словомъ, не пользовался

всѣмъ тѣмъ, что вытекаетъ какъ неизбѣжное логическое слѣдствіе, изъ самаго факта существованія рабства. Враги крѣпостного права нашли бы иной, но тоже ясный отвѣтъ. Они сказали бы, что Нехлюдовъ взялся за дѣло не съ той стороны,—ему нужно было отпустить на волю своихъ крестьянъ, посвятить свои силы борьбѣ со страшнымъ врагомъ, стоявшимъ на пути къ прогрессу и развитію Россіи. Они сказали бы, что подачками нельзя искупить вѣкового грѣха дворянства передъ народомъ, что нельзя, съ одной стороны, проповѣдывать уваженіе къ труду и человѣческому достоинству, а съ другой — поддерживать строй, основанный на тунеядствѣ и попраніи человѣческаго достоинства, что невозможно, съ одной стороны, вносить въ жизнь извѣстной среды культурныя понятія, прививать ей культурныя потребности и формы существованія, а съ другой—держать ее въ состояніи, враждебномъ всякой культурѣ. Хотѣлъ ли Толстой дать одинъ изъ этихъ двухъ отвѣтовъ, которые предложила бы крѣпостническая и передовая Россія, между которыми не было ничего общаго, кромѣ того, что та и другая одинаково понимали значеніе борьбы, та и другая дѣлали центромъ вниманія жизнь и учрежденія. Толстой сталъ внѣ этихъ борющихся силъ. Онъ хотѣлъ сказать своей повѣстью совсѣмъ другое. Идея его повѣсти выясняется въ тѣхъ грезахъ, которыя овладѣваютъ Нехлюдовымъ послѣ горькихъ разочарованій. Въ этихъ грезахъ свѣтлой и красивой рисуется ему та самая жизнь, которую онъ хотѣлъ измѣнить. Ему чудятся добрые голубые глаза Чуриса, съ нѣжностью глядящіе на сынишку, въ которомъ онъ, кромѣ сына, видитъ спасителя и помощника. „Вотъ это любовь",—шепчетъ Нехлюдовъ. Вспоминается ему мать Юхванки съ выраженіемъ терпѣнія и всепрощенія въ старческомъ лицѣ. Чудится ему сынъ Дутлова Илья, котораго онъ хотѣлъ удалить отъ его лошадей, прикрѣпивъ

къ задуманному имъ хозяйственному предпріятію. Ясно представилъ онъ себѣ тройку потныхъ лошадей и красивую сильную фигуру Илюшки съ свѣтлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свѣжимъ румянцемъ и свѣтлымъ пухомъ, только-что начинающимъ покрывать его губу и подбородокъ. Просторомъ и волей дышитъ жизнь ямщика. Тройки, несущіяся мимо съ грохотомъ колесъ, звономъ колокольчиковъ и крикомъ, постоялые дворы съ бѣлолицыми широкогрудыми хозяйками, поэзія ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, — вотъ что хотѣлъ отнять онъ у Илюшки во имя чуждыхъ ему предпріятій, рожденныхъ въ культурномъ умѣ барина. „Славно!"—шепчетъ себѣ Нехлюдовъ, и мысль: зачѣмъ онъ не Илюшка, тоже приходитъ ему. „Зачѣмъ онъ не Илюшка?" Въ этихъ словахъ итогъ, къ которому пришелъ гуманный и просвѣщенный представитель поколебленнаго барства. Не учить народъ, не передѣлывать его жизнь на свой культурный ладъ, а учиться у него, смириться передъ его великой правдой—вотъ что рекомендуетъ Толстой людямъ своего круга. „Отрѣшитесь отъ самонадѣянной и гордой вѣры въ свое право устраивать счастье чужихъ людей, не берите на себя дѣла Бога, учитесь у простыхъ, близкихъ къ природѣ людей ихъ довольству и смиренію предъ Высшей волей",—слышимъ мы изъ каждой строки повѣсти, въ которой чувствуется будущій проповѣдникъ смиренія и опрощенія.

И та же идея, то же противопоставленіе фальши, проникающей жизнь культурнаго общества, и великой правды, сокрытой въ безыскусственномъ, близкомъ къ природѣ существованіи простыхъ людей, составляетъ нервъ одной изъ лучшихъ повѣстей Толстого „Казаки". Эта повѣсть—продолженіе автобіографіи Толстого. Ея герой, Оленинъ, — слѣдующая стадія въ исторіи его развитія. Оленинъ и казаки — два міра, столь же чуждые другъ другу, какъ Нехлюдовъ и его крестья-

не. Кавказъ, его природа, являющаяся какъ бы могучей преградой, за которую не можетъ проникнуть искусственная жизнь культурнаго общества, его обитатели съ ихъ ясными, простыми воззрѣніями на жизнь произвели умиротворяющее дѣйствіе на душу Толстого, бѣжавшаго сюда отъ бурь и потрясеній столичной жизни. И этотъ моментъ своей внутренней исторіи онъ воплотилъ въ лицѣ Оленина. Герой повѣсти — типичный свѣтскій человѣкъ, замиравшій въ присутствіи всякой молодой и красивой женщины, чувствовавшій невольное удовольствіе, когда ему оказывалъ на балѣ вниманіе такой знатный человѣкъ, какъ князь Сергѣй, отдававшійся и свѣтской жизни, и карьерѣ, и любви, и хозяйству. И, тѣмъ не менѣе, онъ не былъ удовлетворенъ. Онъ давно зналъ, что любви нѣтъ, что почести и званіе—вздоръ. Онъ переживалъ тотъ же порывъ къ высшей жизни, что и Иртеньевъ, и Нехлюдовъ. „Онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ,—на искусство ли, на науку ли, на любовь ли къ женщинѣ, или на практическую дѣятельность,—не силу ума, сердца, образованія, а тотъ неповторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ, и какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется“. Убѣгая отъ суетности и пустоты свѣтской жизни, отъ рестораннаго чада, картъ и женщинъ, Оленинъ зачисляется юнкеромъ въ одинъ изъ кавказскихъ полковъ. На Кавказѣ онъ находитъ ту жизнь, которая предстала ему живымъ укоромъ его прежней ложной жизни. „Никакихъ здѣсь нѣтъ бурокъ, стремнинъ, Амалатъ-бековъ, героевъ и злодѣевъ,—думалъ онъ,—люди живутъ, какъ живетъ природа: умираютъ, родятся, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются и опять умираютъ,

и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ". Здѣсь онъ познакомился съ дядей Ерошкой, съ сильнымъ казакомъ огромнаго роста съ сѣдою, какъ лунь, бородою. Ерошка былъ полонъ здоровымъ чувствомъ жизни. Онъ вѣрилъ, что „Богъ все сдѣлалъ на радость человѣку", что „ни въ чемъ грѣха нѣтъ". Ему нѣтъ дѣла до національной вражды и злобы. Онъ равнодушенъ къ тому, что одни называютъ другихъ гяурами, что татары ненавидятъ армянъ, армяне—татаръ. Всякій свой законъ держитъ. Онъ любитъ всякаго — „только бы пьяница былъ". Здѣсь, въ тѣнистыхъ зеленыхъ садахъ среди моря виноградника, со всѣхъ сторонъ слышались смѣхъ, пѣсни, веселье, женскіе голоса и мелькали яркія цвѣтныя одежды женщинъ. Здѣсь онъ встрѣтилъ и полюбилъ Марьяну, гордую красавицу-казачку, истинное дитя природы. Ея красота, ея женственная прелесть и сила заключались въ могучемъ инстинктѣ жизни, въ здоровьѣ и силѣ, въ ея близости къ природѣ. „Тяжелая непрестанная работа занимала всю жизнь молодой дѣвки". Раннимъ утромъ на зарѣ она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платкомъ и босикомъ бѣжала къ скотинѣ.

Этотъ міръ, въ который окунулся Оленинъ, болѣзненное дитя свѣтской культуры, произвелъ на него освѣжающее дѣйствіе. Онъ пережилъ все то, что знакомо намъ уже изъ душевной драмы Нехлюдова. Прежде всего, онъ возненавидѣлъ свѣтское общество, ложь и фальшь его жизни. Онъ испыталъ тяжелое, непріятное чувство, когда на Кавказъ пріѣхалъ его столичный знакомый князь Бѣлецкій и привезъ съ собою циничные разговоры о женщинахъ, французскія фразы, мечты о чинахъ, и на Оленина „пахнуло снова всей той га-

достью, отъ которой онъ отрекся". Онъ написалъ уже извѣстное намъ письмо, звучавшее восторженнымъ гимномъ въ честь безыскусственной жизни и протестомъ противъ культурной лжи въ стилѣ „Новой Элоизы": „Какъ вы мнѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастіе, и что такое жизнь", и т. д.

Другое чувство, овладѣвшее Оленинымъ и тоже знакомое намъ уже по трилогіи и „отрывку", заключалось въ сознаніи, что истинное счастье состоитъ въ любви и жертвѣ. Онъ понялъ, что счастье состоитъ въ томъ, чтобы жить для другихъ. „Въ человѣка вложена потребность счастья; стало-быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т.-е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе". Наконецъ, еще одно чувство, которое наполнило душу Оленина, это—страстное стремленіе стать такимъ, какими были эти простые люди, и сознаніе безплодности этихъ стремленій. Онъ полюбилъ Марьяну, но зналъ, что жениться на ней и перенести ее въ ту среду, гдѣ царила ложь, было немыслимо. Не ей нужно было дойти до него и его круга, а ему слѣдовало подняться до ея правды. Онъ съ отчаяніемъ спрашивалъ себя, какъ поступить. Сдѣлать ее своей любовницей было бы убійствомъ, сдѣлать барыней, „женой Дмитрія Андреевича" было бы еще хуже. И мучительный крикъ вырывается изъ его груди. „Ахъ, зачѣмъ я не Илюшка?"—думалъ Нехлюдовъ. „Вотъ ежели бы я могъ сдѣлаться казакомъ, Лукашкой,—думаетъ Оленинъ,—красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пѣснями, уби-

вать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я и зачѣмъ я,—тогда бы другое дѣло, тогда бы мы могли понять другъ друга, тогда бы я могъ быть счастливъ". И онъ пробовалъ отдаваться этой жизни, но чувствовалъ „свою слабость, свою изломанность". Онъ не могъ забыть своего „сложнаго, уродливаго, негармоническаго прошедшаго".

Таковъ былъ Толстой въ 50-е годы, въ печальную полосу русской исторіи, въ эпоху, когда не одинъ онъ метался въ безсильныхъ поискахъ счастья и истиннаго дѣла, когда не одинъ мыслящій дворянинъ искалъ исхода своимъ благороднымъ порывамъ, своей жаждѣ добра и жертвы. Уже въ первыхъ повѣстяхъ обозначился тотъ путь, по которому направлялась эта геніальная натура. Въ теченіе слѣдующаго десятилѣтія, въ эпоху 60-хъ годовъ онъ создаетъ великую эпопею, окрашивающую широкій потокъ жизни тѣмъ же основнымъ настроеніемъ.

VII.

«Война и миръ» какъ глубочайшее выраженіе нравственныхъ воззрѣній Толстого.—Наполеонъ.—Кутузовъ.—Платонъ Каратаевъ.—Исторія душевнаго развитія князя Андрея Болконскаго и Пьера Безухова.—Изображеніе высшаго дворянства въ „Аннѣ Карениной".—Его упадокъ.—Каренинъ.—Облонскій.—Графъ Вронскій.—Левинъ какъ выразитель идеаловъ Толстого.—Идеалъ женщины у Толстого.—Заключеніе.

„Война и миръ" — величайшее изъ произведеній Толстого. Это не только грандіозная картина русской жизни въ одну изъ знаменательнѣйшихъ эпохъ нашей

исторіи, не только богатая галлерея національныхъ типовъ и неизсякаемый источникъ для пониманія внутренняго міра человѣка. Это—наиболѣе глубокое выраженіе философскихъ и нравственныхъ идеаловъ Толстого. Столкновеніе двухъ народовъ или, вѣрнѣе, Наполеона и Россіи послужило для нашего писателя фономъ, на которомъ онъ изобразилъ конфликтъ двухъ нравственныхъ началъ, борьбу гордой личности, дерзающей вершить судьбу человѣчества, и покорнаго смиренія передъ цѣлями высшей силы. Побѣда Россіи надъ Наполеономъ въ величественной эпопеѣ Толстого является не только реальной побѣдой одного народа надъ другимъ. Это—торжество той нравственной идеи, носителемъ которой Толстой считаетъ русскій народъ. Эта идея сказывается и въ солдатскихъ сценахъ, въ серьезномъ и смиренномъ отношеніи къ долгу простыхъ людей, и въ распоряженіяхъ Кутузова, и въ глубокой нравственной работѣ, которая совершается въ душѣ Пьера и въ душѣ Андрея, и въ преклоненіи передъ простой правдой Платона Каратаева. Всѣ части картины расположены такъ, что образуютъ гармоническое цѣлое, и временами кажется, что всѣ герои и движущіяся другъ противъ друга массы—только проявленія высшей силы, раскрывающейся въ въ нихъ, и романъ Толстого представляется не реальнымъ твореніемъ, а символической картиной, полной таинственнаго смысла. „Глубокое и вѣрное духу народа чутье,--говоритъ Мережковскій,--указало Толстому на изображеніе борьбы Россіи съ Наполеономъ, какъ на самую высшую задачу для современнаго художника. Трудность ея соотвѣтствовала величію главнымъ образомъ потому, что трудность эта была *двойная*—требовала взаимодѣйствія двухъ равныхъ и противоположныхъ силъ, изъ которыхъ каждая въ отдѣльности встрѣчается рѣдко,—двухъ направленій философскаго

и художественнаго созерцанія: предстояло изобразить не только океанъ стихіи народной во всей *широтѣ* его, до послѣднихъ горизонтовъ, но и самую уединенную, обособленную вершину, остріе человѣческой личности, сознаніе и волю героя, во всей *высотѣ* ихъ, до послѣдней высшей точки, до обожествленнаго *я*, ибо въ изображаемой трагедіи было два главныхъ дѣйствующихъ лица, два борющихся противника—Россія и Наполеонъ. И только изъ совершеннаго созерцанія этихъ обоихъ дѣйствующихъ лицъ могло проистекать совершенное созерцаніе самого практическаго дѣйствія; только по силѣ удара можно было судить о силѣ сопротивленія, по размаху молота, уже занесеннаго, чтобы „раздавить Россію",—о твердости камня, о который страшный молотъ разбился вдребезги, по величію Наполеона—о величіи Россіи. Одного нельзя было понять, одного нельзя было изобразить безъ другого".

Величіе Наполеона и его пораженіе представляютъ собою картину, полную не только драматическаго интереса, но и глубокаго нравственнаго смысла. Мастерскими штрихами обрисовалъ Толстой фигуру самонадѣяннаго властителя Франціи, упоеннаго успѣхомъ, ослѣпленнаго славой и приписывающаго своей личности движеніе историческихъ событій. Даже въ незамѣтныхъ сценахъ, въ малѣйшихъ жестахъ чувствуется безумная гордость ничтожества, самомнѣніе человѣка, привыкшаго вѣрить, что каждое движеніе его руки разсыпаетъ счастье или сѣетъ горе среди тысячъ людей. Небрежной рукой прикрѣпляетъ онъ орденъ Почетнаго Легіона къ груди храбрѣйшаго изъ русскихъ солдатъ послѣ Тильзита. „Какъ-будто бы Наполеонъ зналъ, что для того, чтобы навсегда этотъ солдатъ былъ счастливъ, награжденъ и отличенъ отъ всѣхъ въ мірѣ, нужно было только, чтобы его, Напо-

леонова рука удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеонъ только приложилъ крестъ къ груди Лазарева и, пустивъ руку, обратился къ Александру, какъ-будто онъ зналъ, что крестъ долженъ прилипнуть къ груди Лазарева". И крестъ дѣйствительно прилипъ, потому что русскія и французскія услужливыя руки, мгновенно подхвативъ крестъ, прицѣпили его къ мундиру. Раболѣпіе окружающихъ вознесло „маленькаго человѣка" на такую высь, что онъ дѣйствительно вѣрилъ въ свою способность измѣнять ходъ исторіи и вліять на судьбы народовъ. Онъ привыкъ, что „присутствіе его на всѣхъ концахъ міра, отъ Африки до степей Московіи одинаково поражаетъ и повергаетъ людей въ безуміе самозабвенія". Это бездушное величіе, не сознающее своего ничтожества, особенно ярко проявляется во время свиданія Наполеона съ Балашовымъ передъ началомъ войны двѣнадцатаго года. Онъ встрѣтилъ обычнымъ привѣтствіемъ посла императора Александра, но онъ говорилъ съ нимъ какъ „человѣкъ, дорожащій всякой минутой своего времени и не снисходящій до того, чтобы приготавливать свои рѣчи, а увѣренный въ томъ, что онъ всегда скажетъ хорошо и что нужно сказать". Во время разговора онъ смотрѣлъ мимо Балашова. Было очевидно, что личность этого послѣдняго нисколько не интересовала Наполеона. „Видно было, что только то, что происходило въ *его* душѣ, имѣло интересъ для него. Все, что было внѣ его, не имѣло для него значенія, потому что все въ мірѣ, какъ ему казалось, зависѣло только отъ его воли". Наполеонъ былъ до того влюбленъ въ себя, что въ разговорѣ съ Балашовымъ держалъ себя такъ, словно предъ нимъ стоялъ человѣкъ, который сочувствовалъ ему во всемъ, радовался его торжеству и оскорбленіямъ, расточаемымъ имъ по адресу императора Александра. Въ минуту гнѣва онъ вышелъ

изъ себя, говорилъ вещи, за которыя, по мнѣнію Балашова, онъ долженъ былъ устыдиться впослѣдствіи. Но при новой встрѣчѣ съ посломъ Наполеонъ не только не чувствовалъ никакой неловкости, а, напротивъ, старался ободрить Балашова. Видно было, что онъ давно уже не вѣрилъ въ возможность ошибокъ съ своей стороны: „въ его понятіи все, что онъ дѣлалъ, было хорошо не потому, что оно сходилось съ представленіемъ того, что хорошо и дурно, но потому, что *онъ* дѣлалъ это". На почтительныя попытки возразить Наполеонъ обращался къ Балашову съ такимъ видомъ, словно хотѣлъ сказать: „Знаю, такъ говорить ваша обязанность, но вы сами въ это не вѣрите, вы убѣждены мною". Слово „я" — любимое слово Наполеона. Указывая Балашову на тѣ выгоды, которыя Россія могла извлечь изъ дружбы съ нимъ, онъ не замѣчаетъ даже, какое оскорбленіе наноситъ императору Александру фразами въ родѣ слѣдующихъ: „Я далъ бы вашему государю эти провинціи (Молдавію и Валахію) такъ же, какъ я далъ ему Финляндію" или: „Всѣмъ этимъ онъ былъ бы обязанъ моей дружбѣ. О, какое прекрасное было бы царствованіе". И на полѣ битвы и въ тѣ моменты, когда онъ обдумываетъ диспозицію будущаго сраженія Наполеонъ чувствуетъ себя творцомъ событій, центромъ міра, предметомъ общаго вниманія.

Этому гордому самомнѣнію, этой ослѣпленной личности, скользящей надъ бездной, противопоставлена другая сила въ лицѣ вождя русской арміи. Кутузовъ—антиподъ Наполеона. Онъ—національный герой не только въ историческомъ значеніи этого слова, но и въ высшемъ символическомъ смыслѣ. Онъ—не только побѣдитель Наполеона на полѣ битвы. Онъ—побѣдитель его на томъ высшемъ полѣ, гдѣ происходитъ борьба вѣчныхъ нравственныхъ началъ. Онъ — носитель той

идеи, которую Толстой считалъ выраженіемъ народной правды. Въ противоположность Наполеону „въ этомъ старикѣ“ не было ничего личнаго. „У него не будетъ ничего своего,—думалъ про него князь Андрей. —Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ, но онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, ничему полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ. Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли, — это неизбѣжный ходъ событій; и онъ умѣетъ видѣть, умѣетъ понимать ихъ значеніе, я, въ виду этого значенія умѣетъ отрекаться отъ участія въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли, направленной на другое. А главное, почему вѣришь ему,—это то, что онъ русскій“... Въ этой характеристикѣ національнаго героя Толстой снова выступаетъ апологетомъ нравственнаго принципа, господствовавшаго въ его повѣстяхъ. Личное должно отступить на задній планъ передъ тѣмъ, что „сильнѣе и значительнѣе“ его воли. Побѣда Кутузова это—побѣда Христа надъ антихристомъ, отреченія и смиренія надъ гордой мятежной личностью. Долголѣтнимъ военнымъ опытомъ Кутузовъ зналъ и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертью, нельзя одному человѣку, и зналъ, что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго, не мѣсто, на которомъ стоятъ войска, не количество пушекъ и убитыхъ людей, а неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этой силой и руководилъ ею, насколько это было въ его власти. И этимъ чувствомъ смиренія передъ высшей силой, этимъ „отсутствіемъ личнаго“ велики всѣ дѣйствующія лица разыгрывающейся трагедіи, отъ главнокомандующаго до послѣдняго солдата. Только нѣкоторые офицеры, адъютанты и приближенные Кутузова своими часто-

любивыми планами, своими мечтами о карьерѣ, составляютъ исключеніе. Настоящіе побѣдители, это—герои въ родѣ Тушина, просто исполняющаго свой долгъ, растворяющаго свою личность въ общемъ дѣлѣ. Тушинъ совершенно забываетъ о своемъ *я*. Онъ—частица великаго цѣлаго. Не разсуждая, не мечтая объ отличіи, онъ ежеминутно рискуетъ жизнью, и, только очутившись передъ лицомъ своего начальника, приходитъ въ себя и начинаетъ чувствовать себя личностью, воля которой могла оказать то или другое вліяніе на ходъ событій.

Но лучшимъ выраженіемъ идеаловъ Толстого является фигура Платона Каратаева. Одинъ изъ критиковъ назвалъ Кутузова Каратаевымъ въ фельдмаршальскомъ мундирѣ. И дѣйствительно, Каратаевъ былъ такимъ же проявленіемъ народнаго духа, какъ Кутузовъ, выразителемъ народной воли. Оба — орудія стихійнаго, неотразимаго—народной массы, жизни милліоновъ. Каратаевъ — крестьянинъ, и его міросозерцаніе сложилось на основахъ крестьянскаго или, какъ онъ выговаривалъ, „христіанскаго“ быта. Какія же идеи заключаетъ въ себѣ міросозерцаніе Каратаева? Прежде всего идею счастья, для котораго созданъ человѣкъ, того счастья, которое заключается въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ потребностей. Каратаевъ счастливъ. Никто въ мірѣ не въ состояніи нарушить его счастья, потому что несчастье проистекаетъ отъ излишествъ, чуждыхъ Каратаеву. Тѣ потребности, удовлетвореніе которыхъ необходимо для существованія человѣка, Каратаевъ всегда можетъ удовлетворить самъ. Онъ всегда за дѣломъ. Онъ занятъ тѣмъ нормальнымъ трудомъ, который обезпечиваетъ человѣку жизнь и здоровье. Онъ пекъ, варилъ, шилъ, строгалъ, тачалъ сапоги. Онъ никогда никого не утруждалъ, такъ какъ эти разно-

образныя житейскія знанія позволяли ему добывать все необходимое. Эта простота потребностей и привычка къ полезному труду давали ему независимость, обезпечивали счастье и здоровье; несмотря на то, что ему было за пятьдесятъ лѣтъ, онъ не зналъ утомленія и шутя переносилъ лишенія въ плѣну. И этому счастью позавидовалъ Пьеръ, какъ позавидовалъ Нехлюдовъ Ильѣ и Оленинъ—казакамъ. Тоскующій баринъ, не находившій себѣ мѣста, не умѣвшій найти исхода своимъ силамъ, увидѣлъ что-то глубокое и серьезное въ этой простой и ясной жизни крестьянина. „Пьеру чувствовалось что-то пріятное, успокоительное и круглое въ этихъ скорыхъ движеніяхъ, въ этомъ благоустроенномъ въ углу его хозяйствѣ, въ запахѣ даже этого человѣка“... Этотъ „эпикуреизмъ“ Каратаева, это довольство и личное счастье не только не противорѣчатъ идеѣ жертвы и отреченія отъ своей личности, но, напротивъ, гармонически сливаются съ нею. „Не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ“—девизъ Каратаева. Всѣ моменты его жизни не были его твореніемъ. Его судьбу рѣшали другіе. Вмѣсто брата взяли его въ солдаты. Въ минуту усталости застрѣлили его французскіе солдаты. И Каратаевъ не роптал. Онъ вѣрилъ, что гдѣ-то въ высшемъ мірѣ ходъ жизни опредѣлялся въ цѣляхъ высшей справедливости, вѣрилъ, что „рокъ головы ищетъ“, и съ умиленіемъ разсказываетъ исторію о купцѣ, который за преступленіе другого человѣка умеръ на каторгѣ, не дождавшись освобожденія и награды, назначенной ему послѣ обнаруженія его невинности. „А его ужъ Богъ простилъ — померъ“,—закончилъ Каратаевъ свой разсказъ о купцѣ. Это смиреніе передъ высшимъ закономъ жизни, передъ Божьей правдой, даетъ Каратаеву великую силу любви ко всему живущему. Онъ одинаково ласковъ и съ Пьеромъ, и съ собачкой, онъ лю-

битъ все, въ чемъ слышится трепетъ жизни, подобно Касьяну и Лукерьѣ. И любовь его и ласковость особенныя. Въ этой любви тоже отсутствовала примѣсь личнаго. Онъ любилъ въ каждой личности проявленіе высшаго начала и потому не привязывался ни къ кому особенно. Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ; но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,— не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ въ плѣну. И въ то же время Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему, ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ. Несмотря на то, что потребности Каратаева ограничены самымъ необходимымъ, не слѣдуетъ думать, что жизнь его сводится къ примитивнымъ, почти животнымъ интересамъ. Каратаевъ живетъ не только глубокой нравственной, но и эстетической жизнью. Онъ любитъ пѣсни. Но эстетическая жизнь его души носитъ тоже своеобразный отпечатокъ, чуждый искусственному творчеству культурнаго общества. Его пѣсня свободна отъ сложныхъ требованій техники, отъ мысли о постороннемъ слушателѣ. Она—естественная потребность здоровой натуры послѣ нормальнаго утомленія отъ трудовъ. Онъ поетъ только по ночамъ послѣ работы. Онъ пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсенники, знающіе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ такъ, какъ поютъ птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было такъ же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкіе, нѣжные, почти женскіе, заунывные, и лицо его при этомъ бывало очень серьез-

но. Каратаевъ — носитель идеаловъ Толстого. Онъ — живое воплощеніе его будущей религіозно-нравственной системы, его философскихъ и эстетическихъ идей. Онъ—носитель того міросозерцанія, которое отыскалъ Толстой въ крестьянской жизни, которое спасло его отъ отчаянія, какъ спасало прикосновеніе къ народу многихъ баръ той эпохи, какъ спасло оно Пьера, познавшаго истину послѣ знакомства съ Каратаевымъ. Это—ученіе о любви и жертвѣ, объ отреченіи, но отреченіи не отъ естественной потребности счастья, а отъ излишествъ и вкусовъ, привитыхъ господствующимъ классамъ, какъ думаетъ Толстой, ложной цивилизаціей. Проповѣдь Толстого не является проповѣдью чистаго буддизма или аскетизма, такъ же, какъ и эпикуреизма. Его ученіе, по вѣрному замѣчанію одного критика (Л. Е. Оболенскаго), есть „слитіе воедино этихъ обоихъ полюсовъ человѣческой морали“, въ ней „примиряется и то, что наша жизнь имѣетъ смыслъ только въ связи съ безконечнымъ (буддизмъ), и то, что о ней слѣдуетъ заботиться... въ томъ смыслѣ, чтобы эта жизнь выполняла божественный законъ, т.-е. развивала тѣ блага, которыя сообразны этому закону, и устраняла тѣ, которыя ему противорѣчатъ... тогда она станетъ не только временной и земной, но и божественной, вѣчной въ смыслѣ вѣчности своего божественнаго закона“.

Каратаевъ, Кутузовъ, Тушинъ, солдаты, наконецъ, вся стихійная борьба русскаго народа противъ Наполеона являются, такимъ образомъ, только частями общей символической картины, изображающей торжество народной правды надъ идеалами ложной культуры. Въ этой картинѣ не доставало бы самаго главнаго эпизода, если бы Толстой не показалъ, какъ къ этой правдѣ приводится душа интеллигента и даже не интеллигента вообще, а интеллигента-барина, пред-

ставителя великосвѣтскаго общества. Исторія духовнаго развитія двухъ главныхъ героевъ романа, князя Андрея Болконскаго и Пьера Безухова, это — исторія Иртеньева и Нехлюдова, только болѣе глубоко и детально разработанная. Это въ новой формѣ знакомая намъ исторія души пробудившагося барства въ эпоху ликвидаціи стараго хозяйственнаго уклада жизни.

Князь Андрей отъ идеала гордой, самонадѣянной личности въ началѣ романа черезъ путь страданій и житейскаго опыта приходитъ къ идеалу христіанской любви и смиренія передъ высшей правдой въ концѣ своей жизни. Въ первый разъ мы видимъ его блестящимъ офицеромъ. Онъ отправляется на войну. Наполеонъ — предметъ его зависти. Онъ сгораетъ отъ честолюбія. Онъ одержимъ той сатанинской гордостью, которая толкаетъ человѣка на вмѣшательство въ жизнь, заражаетъ его, по мнѣнію Толстого, безумной мыслью, будто личность можетъ измѣнить ходъ того неотвратимаго, что зовется жизнью. Андрей мечтаетъ одинъ перевернуть судьбы народовъ, своими силами повернуть колесо исторіи. Наканунѣ Аустерлицкой битвы онъ мечтаетъ о своемъ „Тулонѣ“, о томъ счастливомъ случаѣ, который выдвинетъ его въ первые ряды людей, вершащихъ судьбу Россіи. Ему чудится опасный моментъ сраженія. Всѣ растерялись. Онъ одинъ указываетъ выходъ, одинъ оказывается въ состояніи выполнить его, ему предоставляютъ полную власть, онъ спасаетъ армію, онъ герой, слѣдующую битву уже выигрываетъ одинъ. „Ну, а потомъ?“ — шепчетъ ему тайный голосъ. И онъ не находитъ отвѣта. Онъ не ищетъ его. Величайшее, по мнѣнію Толстого, заблужденіе человѣческаго ума,—вѣра въ способность личности вліять на судьбу людей, — находитъ въ князѣ Андреѣ свое высшее выраженіе. „Я не знаю, что будетъ потомъ, не хочу и не могу знать, но ежели хочу

этого, хочу славы, хочу быть извѣстнымъ людямъ, хочу быть любимымъ ими, то вѣдь я не виноватъ, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого!“ Онъ ничего не любитъ, „какъ только славу и любовь людскую“. Какъ ни дороги ему близкіе люди, отецъ, сестра, жена, но онъ отдалъ бы ихъ всѣхъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ онъ не знаетъ и не будетъ знать. И романъ Толстого долженъ былъ показать, какъ пришелъ Андрей къ сознанію нелѣпости подобнаго міровоззрѣнія. Именно на полѣ битвы, при видѣ потоковъ крови и страданій, при видѣ сраженій, ходъ которыхъ опредѣлялся не усиліями личности, а какой-то невѣдомой волей, сталъ исцѣляться Андрей отъ своихъ индивидуалистическихъ воззрѣній. Слушая приказанія Багратіона, онъ, „къ удивленію, замѣчалъ, что приказаній никакихъ отдаваемо не было“, и князь Багратіонъ только дѣлалъ видъ, что все совершавшееся помимо его воли согласовалось съ его намѣреніями. Слѣдя за ходомъ битвы, князь Андрей убѣждался, какъ мало значила предусмотрительность вождей, тщательно обдуманные планы единичныхъ умовъ, тѣ техническіе термины, въ которые военная наука укладываетъ различные моменты сраженія. Дѣйствительность была сильнѣе всего. Она отливалась въ такія неожиданныя формы, которыя опрокидывали всѣ усилія единичной воли, всѣ измышленія отдѣльнаго ума. Онъ видитъ, что солдаты производятъ какія-то дѣйствія: „Это не можетъ быть атака, потому что они не двигаются, это не можетъ быть карре: они не такъ стоятъ“. Онъ слушаетъ докладъ полкового командира Багратіону объ отбитіи атаки французовъ, но чувствуетъ, что полковой командиръ „придумалъ это военное названіе тому, что происходило въ его полку, но онъ дѣйствительно

самъ не зналъ, что происходило въ эти полчаса во ввѣренныхъ ему войскахъ". Онъ глубоко задумывается послѣ инцидента съ Тушинымъ. Онъ видитъ, что истинный героизмъ прячется въ массѣ и чуждается славы, что оффиціальное признаніе, котораго онъ такъ жаждалъ, и истинный подвигъ—совершенно чуждыя другъ другу начала, и князю Андрею было грустно и тяжело: „все это было такъ странно, такъ не похоже на то, чего онъ надѣялся". Полученная имъ рана оставила въ душѣ Андрея глубокій слѣдъ. Истекая кровью, онъ понялъ, что „ничего не зналъ до сихъ поръ". Наполеонъ со своимъ мелкимъ тщеславіемъ и радостью побѣды показался ему мелочнымъ, и онъ думалъ „о ничтожности величія, о ничтожности жизни, которой никто не могъ понять значенія, и объ еще большемъ ничтожествѣ смерти, смыслъ которой никто не могъ понять и объяснить изъ живущихъ". Андрей, благодаря войнѣ и страданію прошелъ второй этапъ своего развитія. Онъ почувствовалъ, что первый этапъ былъ ложью, что жажда славы была заблужденіемъ. Для него наступилъ періодъ исканій, — „какъ хорошо было бы знать, гдѣ искать помощи въ этой жизни и чего ждать послѣ нея за гробомъ!" Онъ убѣждается, что ничего нѣтъ вѣрнаго, кромѣ ничтожества всего того, что ему понятно и „величія чего-то непонятнаго, но важнѣйшаго".

Онъ проходитъ одинъ за другимъ рядъ этаповъ. Въ разговорѣ съ Пьеромъ онъ рѣзко нападаетъ на усилія послѣдняго поднять благосостояніе мужика, нападаетъ на школы и больницы, заведенныя Пьеромъ. „Ты хочешь вывести его изъ его животнаго состоянія и дать ему нравственныхъ потребностей, а мнѣ кажется, что единственно возможное счастье есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь сдѣлать его мною, не давъ ему моихъ средствъ". Онъ смѣется надъ проектомъ Пьера

объ освобожденіи крестьянъ. Мужику не хуже отъ того, что его бьютъ, сѣкутъ, ссылаютъ въ Сибирь. Если и нужно освободить крестьянъ, то ради самихъ дворянъ, которые гибнутъ нравственно, „наживаютъ себѣ раскаянье, подавляютъ это раскаянье и грубѣютъ оттого, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо". Въ сущности въ этой изувѣрской проповѣди выражена озлобленнымъ умомъ та же идея о безплодности вмѣшательства въ жизнь, о необходимости оцѣнивать общественныя явленія только съ точки зрѣнія ихъ вліянія на нравственную жизнь человѣка. „Мнѣ жалко человѣческаго достоинства, — говоритъ Андрей,—спокойствія совѣсти, чистоты, а не ихъ спинъ и лбовъ, которыхъ сколько ни сѣки, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами". На-время въ душѣ Андрея снова просыпается жажда дѣятельности и вѣра въ значеніе личности при встрѣчѣ съ Сперанскимъ. Онъ видѣлъ въ немъ разумнаго, строго мыслящаго, огромнаго ума человѣка, энергіей и упорствомъ достигшаго власти и употребляющаго ее только для блага Россіи. Князь Андрей восхищался имъ какъ раньше Наполеономъ. Но вскорѣ онъ убѣдился, что его участь въ государственной законодательной дѣятельности—такая же праздная работа, какъ и его дѣятельность въ арміи на войнѣ. Ему стало смѣшно, какъ онъ могъ ждать чего-то отъ Сперанскаго, и когда онъ вспомнилъ своихъ мужиковъ, то, „приложивъ къ нимъ права лицъ, которыя онъ распредѣлялъ по параграфамъ", князь Андрей удивился, какъ могъ онъ такъ долго заниматься этой безплодной работой. И только лежа на смертномъ одрѣ послѣ новой раны, князь Андрей понялъ смыслъ жизни. Онъ понялъ, что „состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ", — словомъ, „та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой его учила княжна Марья, и которой

онъ не понималъ,—вотъ отчего ему было жалко жизни, вотъ оно то, что еще оставалось ему, если бы онъ былъ живъ". Его предсмертныя мысли принадлежали любви. „Любовь мѣшаетъ смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существуетъ только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Богъ, и умереть — значитъ мнѣ, частицѣ любви, вернуться къ общему и вѣчному источнику".

Еще болѣе сложный путь проходитъ Пьеръ. Его исторія, это—исторія самого Толстого, онъ тоже бросается отъ одного занятія къ другому, ищетъ исхода своимъ дѣятельнымъ силамъ, стремится удовлетворить запросы своей совѣсти въ тѣхъ или другихъ формахъ служенія ближнему. И онъ, подобно Толстому, находитъ успокоеніе, прикоснувшись къ народу, приходитъ къ народной правдѣ, благодаря Платону Каратаеву. Пьеръ, подобно Андрею, началъ съ восхищенія Наполеономъ, но въ другомъ отношеніи. Въ его глазахъ Наполеонъ былъ носителемъ идей французской революціи, которая была „великимъ дѣломъ", потому что она, несмотря на крайности, провозгласила „права человѣка, эмансипацію отъ предразсудковъ и равенство гражданъ". И въ то же время Пьеръ проводитъ свою жизнь въ кутежахъ и оргіяхъ. Но его душа не находитъ успокоенія. Демократическія идеи, провозглашенныя революціей, не захватываютъ его существа. Онъ разсуждаетъ о нихъ и одобряетъ ихъ, какъ передовой человѣкъ своего времени. Но не въ этихъ идеяхъ могъ онъ найти то, что дало бы смыслъ его жизни. Кутежи еще менѣе могли удовлетворить ищущую душу Пьера. Далѣе мы видимъ Пьера богачомъ и графомъ Безуховымъ. Новая ложь окружила его, и на-время ему показалось, что онъ нашелъ удовлетвореніе и смыслъ въ жизни. Онъ „почувствовалъ себя до такой степени окруженнымъ, заня-

тымъ, что ему только въ постели удавалось остаться одному съ самимъ собою". Дѣла, управляющій, присутственныя мѣста, просители,—все это, какъ показалось, заполнило его жизнь, дало пищу исканіямъ его духа. Ему „такъ естественно казалось, что всѣ его любятъ, такъ казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбилъ его, что онъ не могъ не вѣрить въ искренность людей, окружавшихъ его". Онъ чувствовалъ себя „центромъ какого-то важнаго общаго движенія", чувствовалъ, что „отъ него что-то постоянно ожидается". Его опутываютъ той ложью, которой опутана жизнь всякаго вліятельнаго и богатаго человѣка. Эти путы, эта ложь находятъ свое самое яркое выраженіе въ его женитьбѣ на Эленъ. Онъ чувствовалъ, что „что-то гадкое, противоестественное, нечестное было въ этомъ бракѣ", что-то гадкое, „запрещенное" было въ томъ чувствѣ, которое она возбуждала въ немъ, что она не любила его, что она была глупа и развратна. И, тѣмъ не менѣе, онъ женился на ней. Объ этомъ позаботились родные Эленъ, къ этому направляли его волю всѣ окружающіе, и ложь показалась ему правдой. „Нѣтъ, она не глупа, она прекрасная дѣвушка",—рѣшилъ онъ. И ложь этого брака стала ему ясна послѣ дуэли съ Долоховымъ, убійцей котораго онъ считалъ себя. Онъ понялъ, что женился не любя", что „обманулъ и себя и ее". Онъ краснѣлъ при воспоминаніи о медовомъ мѣсяцѣ.

Отъ кутежей, отъ демократическихъ идей, отъ упоенія богатствомъ, свѣтскими удовольствіями и красавицей-женой Пьеръ переходитъ къ новому увлеченію. Отвергнувъ прежніе пути, онъ ищетъ выхода для своей тоскующей совѣсти въ масонствѣ. Масонъ, казалось ему, разсказалъ ему его самого и ярко формулировалъ муки его совѣсти. „Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Какъ вы ее проводили? Въ буйныхъ оргіяхъ и развратѣ. Все получая отъ общества

и ничего не отдавая ему, вы получили богатство. Какъ вы употребили его? Что вы сдѣлали для ближняго своего? Подумали ли вы о десяткахъ тысячъ вашихъ рабовъ, помогли ли вы имъ физически и нравственно? Нѣтъ. Вы воспользовались ихъ трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вотъ что вы сдѣлали. Избрали ли вы мѣсто служенія, гдѣ бы приносили пользу своему ближнему? Нѣтъ, вы въ праздности проводили свою жизнь. Потомъ вы женились, государь мой, взяли на себя отвѣтственность въ руководствѣ молодой женщины и что же вы сдѣлали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергнули ее въ пучину лжи и несчастья. Человѣкъ оскорбилъ васъ, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите свою жизнь". И Толстой продолжаетъ пересмотръ всѣхъ сторонъ жизни. Показавъ устами масона ложь прежней жизни Пьера, онъ вскрываетъ ложь самого масонства. Оно тоже не дало Пьеру удовлетворенія. Изъ трехъ назначеній масонства онъ не исполнялъ того, которое предписывало каждому человѣку быть образцомъ нравственной жизни, и утѣшалъ себя тѣмъ, что зато исполнялъ другое назначеніе—исправленія рода человѣческаго, и гордился своей щедростью. Онъ видѣлъ изъ-подъ масонскихъ фартуковъ и знаковъ мундиры и кресты, которыхъ добивались въ жизни знатные члены ложъ. И Пьеръ покинулъ масонство, убѣдившись, что въ основѣ дѣятельности братьевъ лежала та же ложь и что масонство не указало пути его исканіямъ. И только въ плѣну, узнавъ Каратаева и прикоснувшись въ лицѣ его и солдатъ къ народу, онъ обрѣлъ „то спокойствіе и довольство собой, къ которымъ онъ тщетно стремился прежде". Исторія Пьера, это—исторія отреченія отъ всѣхъ видовъ лжи, царящей въ жизни, это исторія ложныхъ путей, черезъ которые нужно было пройти для того, чтобы придти къ истин-

ному. „Онъ долго,—говоритъ авторъ,—въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи, онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ, онъ искалъ этого путемъ мысли, — и всѣ эти исканія и попытки, всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ".

„Война и миръ"—народная эпопея, но въ этой эпопеѣ всѣ детали служатъ фономъ, на которомъ развертывается жизнь души, особенно близкой ея автору. Исторія мыслящаго представителя великосвѣтскаго общества служитъ центральнымъ сюжетомъ этой эпопеи. Безсодержательная жизнь великосвѣтской среды, которая въ изображеніи Толстого пріобрѣтаетъ, какъ и въ повѣстяхъ, характеръ чего-то ненужнаго, ненастоящаго, ужасы войны, Наполеонъ съ его наивнымъ самомнѣніемъ, Кутузовъ съ его умомъ и вѣрнымъ пониманіемъ событій, Каратаевъ и простые люди, Сперанскій и бюрократическія претензіи на устроеніе счастья милліоновъ, наконецъ, равнодушные и умные карьеристы или пустые эпикурейцы, или просто незатѣйливые добрые люди, въ родѣ кн. Василія, Курагина, Николая Ростова,— все это поучительные эпизоды, уроки жизни для Андрея и Пьера. Оба они дополняютъ другъ друга. По справедливому замѣчанію проф. Овсянико-Куликовскаго, князь Андрей принадлежитъ къ числу людей „дѣла", къ призваннымъ дѣятелямъ на почвѣ общественной или государственной, Пьеръ, напротивъ,—натура, не пригодная для практической дѣятельности. Кн. Андрей—лучшій

представитель аристократіи, типичный „человѣкъ чести и долга, съ призваніемъ къ широкой государственной дѣятельности, дѣятель оппозиціи“. Онъ умираетъ рано, до декабрьской революціи, но онъ типиченъ для той среды, изъ которой вышли ея вожди. Пьеръ, напротивъ того,—идеалистъ, несклонный къ практической дѣятельности, способный къ самоуглубленію, ищущій осуществленія свободы внутри самого человѣка, а не въ преобразованіи внѣшнихъ отношеній. Андрей умираетъ рано, и эта ранняя смерть избавляетъ автора отъ трудной необходимости указать тотъ выходъ, на которомъ успокоилась бы въ концѣ-концовъ эта активная натура, жаждущая практическаго дѣла. Онъ умираетъ случайно отъ раны. Его смерть не была необходимостью, логически вытекающей изъ его жизни. Такъ умирали и другіе „лишніе люди“, не находившіе примѣненія своимъ активнымъ силамъ, не исключая даже Лаврецкаго, который хотя и дожилъ до старости, но для жизни умеръ рано. Толстой, какъ великій художникъ, чувствовалъ, что для Андрея не было выхода, что такія дѣятельныя натуры не могли найти примиренія въ тогдашней обстановкѣ русской жизни. Поэтому выходъ, который указалъ онъ обществу, изображенъ въ исторіи Пьера, натуры созерцательной. Пьеръ ближе Толстому, и въ итогѣ онъ и найденный имъ выходъ являются новымъ моментомъ въ автобіографіи Толстого,—моментомъ, логически слѣдующимъ за исторіей Иртеньева, Нехлюдова и Оленина.

Если въ „Войнѣ и мирѣ“ передъ нами обрисованы лучшіе представители высшаго дворянства, въ эпоху, предшествовавшую декабрьской революціи, то въ „Аннѣ Карениной“ мы видимъ тѣ пути, по которымъ направлялись отдѣльныя группы этого класса послѣ паденія крѣпостного права. Та гордость и независимость, которой отличаются старый князь Болконскій и его сынъ Андрей, уже поколеблены въ великосвѣт-

ской средѣ. Князья Болконскіе — не бюрократы. Они усвоили отъ своихъ предковъ привычку къ командованію, они умѣютъ не смиряться ни предъ кѣмъ и удаляются въ родовыя помѣстья, когда въ высшихъ сферахъ не мирятся съ ихъ независимымъ характеромъ. Они не боятся разрушить свою военную или чиновничью карьеру, не льстятъ и не поддѣлываются. Они не нуждаются ни въ чинахъ, ни въ казенномъ жалованьи, потому что они слишкомъ знатны для первыхъ и слишкомъ богаты для второго. Въ ихъ душѣ мысль о государственномъ служеніи хотя и соединяется съ чувствомъ честолюбія, облагораживается однако инстинктивной вѣрой въ свое прирожденное право управлять народомъ, какимъ-то неопредѣленнымъ сознаніемъ своей отвѣтственности передъ исторіей за судьбы государства. Въ „Аннѣ Карениной“ этотъ типъ независимаго и гордаго потомка Рюриковичей исчезаетъ. Паденіе крѣпостного права потрясло экономическое благосостояніе высшаго дворянства, а вмѣстѣ съ тѣмъ отразилось на его психикѣ. Князья и графы обѣднѣли. Они ищутъ службы для жалованья. Своими старыми связями, именами своихъ предковъ они пользуются для полученія хорошихъ казенныхъ мѣстъ, которыя нерѣдко являются главнымъ источникомъ ихъ существованія. Они не прочь порою пойти на поклонъ къ дѣльцамъ, ростовщикамъ и крупнымъ представителямъ торговаго и промышленнаго міра для полученія выгоднаго мѣста. Даже Вронскій, нѣсколько напоминающій независимыхъ представителей командующаго класса своими богатствами, своимъ пренебреженіемъ къ служебной карьерѣ, своимъ инстинктивнымъ презрѣніемъ къ людямъ не своего круга, — даже Вронскій не можетъ идти въ сравненіе съ Андреемъ Болконскимъ.

Толстой вывелъ представителя высшей бюрократіи въ лицѣ Каренина. Алексѣй Александровичъ отли-

чался упорнымъ честолюбіемъ, сдержанностью, честностью и самоувѣренностью. Онъ—по-своему талантливый бюрократъ, человѣкъ настоящаго дѣла. Его характерная черта, какъ государственнаго человѣка, состояла въ пренебреженіи къ оффиціальной перепискѣ, въ сокращеніи ея, въ прямомъ, насколько возможно, отношеніи къ живому дѣлу и въ экономности. Онъ—одинъ изъ добросовѣстнѣйшихъ и энергичныхъ людей, но бюрократъ съ ногъ до головы, и его энергія, его могучія силы уходятъ не на живое, нужное дѣло. Непосредственные и живые инстинкты, потребности сердца и порывы духа сковываются работой холоднаго ума, яснымъ разсчетомъ трезвой мысли. Онъ — реалистъ до мозга костей. Въ каждомъ затруднительномъ случаѣ онъ быстро разсчитываетъ преимущества того или другого рѣшенія, опредѣляетъ шансы успѣха. И это даетъ ему возможность сравнительно легко выходить изъ колебаній и сомнѣній. Онъ—человѣкъ дѣла, дѣйствія прежде всего. Для него нѣтъ неразрѣшимыхъ задачъ, которыя терзали Рудина и Лаврецкаго. Какъ ни тяжело для него то или иное рѣшеніе, онъ все-таки его приметъ. Остаться на распутьи, не остановиться ни на чемъ онъ не можетъ. Онъ воспитался въ канцеляріяхъ, гдѣ бумажное искусство и чиновничій умъ пріучился находить исходы всегда, не исключая и тѣхъ случаевъ, когда исхода не можетъ быть. И Каренинъ переноситъ эту фальшь изъ департамента въ область сердечной жизни, въ ту область, гдѣ теоретическія построенія еще менѣе могутъ исправить и исцѣлить какія бы то ни было страданія. Онъ хочетъ и здѣсь взять факты такими, какъ они есть, и, холодно и ясно обсудивъ ихъ, вывести изъ нихъ наиболѣе разумное рѣшеніе. Узнавъ объ измѣнѣ жены, онъ испыталъ „жестокую боль“. Но это длилось недолго. Послѣ признанія Анны онъ, „къ удивленію своему и радости, почувствовалъ совершенное

освобожденіе". Его занимало одно,—„вопросъ о томъ, какъ наилучшимъ, наиприличнѣйшимъ, удобнѣйшимъ для себя и потому справедливѣйшимъ образомъ отряхнуться отъ той грязи, которою она забрызгала его въ своемъ паденіи, и продолжать идти по своему пути дѣятельной, честной и полезной жизни". Онъ исходитъ не отъ себя, не отъ своего сердца, не отъ потребностей своей души, а отъ сложившихся формъ жизни и дѣйствій, которыя были приняты въ его кругу. Онъ перебираетъ мысленно „подробности образа дѣйствій людей, находившихся въ такомъ же положеніи, какъ и онъ". Онъ обсуждаетъ дуэль, разводъ, раздѣльную жизнь съ женой, холодно взвѣшиваетъ преимущества и неудобства каждаго изъ этихъ рѣшеній, отвергаетъ ихъ всѣ и останавливается на одномъ — удержать ее при себѣ, скрывъ отъ свѣта случившееся и употребивъ всѣ зависящія мѣры для прекращенія связи и, „главное, въ чемъ самому себѣ не признавался—для наказанія ея". Онъ застылъ въ формахъ бюрократическаго рѣшенія вопросовъ. Онъ не понялъ, что ясный и трезвый выводъ его ума столкнется съ ирраціональной жизнью женской души, что всѣ тонкія и вѣрныя построенія разума будутъ сметены непосредственнымъ чувствомъ любви и страсти. Трагедія Каренина—новое художественное воплощеніе той идеи, которая красной нитью проходитъ черезъ всѣ творенія великаго писателя. Черезъ страданіе пришелъ онъ къ тому единственному выводу, который могъ дать спокойствіе его душѣ, къ мысли, что истинное счастье заключается въ любви и отреченіи отъ искусственнаго счастья, отъ ложныхъ страстей и потребностей, рожденныхъ фальшивой культурой. Тонкіе расчеты бюрократическаго ума оказались несостоятельными передъ высшимъ таинственнымъ смысломъ жизни. Каренинъ всю свою жизнь былъ могучимъ оплотомъ сложившихся формъ общественной жизни, въ непогрѣшимости ко-

торыхъ онъ ни на минуту не сомнѣвался, и вотъ этотъ надменный бюрократъ оказывается жалкимъ и безсильнымъ существомъ передъ сложной жизнью женской души, которую онъ пытался уложить въ рамки своихъ схемъ. Онъ увидѣлъ Анну на одрѣ болѣзни, изстрадавшуюся, жестоко заплатившую за свою вину, и онъ простилъ ее, и „счастье прощенія открыло ему его обязанность“, онъ „молилъ Бога только о томъ, чтобы онъ не отнялъ у него счастья прощенія“. Жизнь Каренина была ложью. Его раскаяніе, его мистицизмъ, въ который онъ впадаетъ подъ конецъ своей жизни и который отдаетъ его въ руки шарлатановъ,—печальная кара, изъ которой великій художникъ куетъ новое оружіе въ защиту своихъ идей, вскрываетъ ложь современной жизни, указываетъ, какъ не слѣдуетъ жить, и разоблачаетъ эфемерность фальшивыхъ радостей, влекущихъ человѣчество и закрывающихъ отъ него истинный смыслъ жизни.

Еще болѣе яркимъ свидѣтельствомъ упадка высшаго дворянства является фигура князя Степана Аркадьевича Облонскаго. Это—эпикуреецъ, добродушный и безпринципный, утратившій совершенно ту гордость, независимость и родовыя помѣстья, которыя придавали извѣстное благородство и красоту командующимъ классамъ въ ту эпоху, когда еще не было потрясено ихъ господство. Своимъ происхожденіемъ и связями онъ пользуется для того, чтобы обезпечить себѣ праздное существованіе хорошо оплачиваемымъ казеннымъ мѣстомъ. Половина Москвы и Петербурга были родня и пріятели Степана Аркадьевича. Ему бы смѣшно показалось, если бы ему сказали, что онъ не получитъ мѣста съ тѣмъ жалованьемъ, которое ему нужно. Къ дѣлу своему онъ относится съ полнымъ равнодушіемъ, вслѣдствіе чего онъ никогда не увлекался и не дѣлалъ ошибокъ. По своимъ воззрѣніямъ онъ—либералъ, но не потому, чтобы онъ находилъ

либеральное направленіе разумнымъ, но потому, что оно подходило ближе къ его образу жизни. Оно давало ему право бранить бракъ, что вполнѣ гармонировало съ его враждебнымъ отношеніемъ къ семейной жизни. Либеральное направленіе ему нравилось еще потому, что онъ не любилъ молебновъ и страшныхъ словъ о томъ свѣтѣ, что онъ любилъ вообще побранить все въ Россіи, такъ какъ имѣлъ долги и денегъ ему не хватало. Но этого тунеядца любили и сослуживцы, и всѣ окружающіе за его добродушіе, за отсутствіе зависти и честолюбія. Какъ дворянинъ и помѣщикъ, онъ—живое воплощеніе экономическаго и политическаго паденія сословія. Онъ сбываетъ за полцѣны кулаку родовыя помѣстья, прокучивая въ короткое время полученныя деньги. Онъ добивается мѣста „члена комиссіи отъ соединеннаго агентства кредитно-взаимнаго баланса южно-желѣзныхъ дорогъ". И при всемъ своемъ добродушіи даже онъ испытываетъ чувство неловкости при мысли о томъ, что онъ, потомокъ Рюрика, князь, долженъ часами дожидаться въ пріемной вліятельнаго дѣльца, какого-то Болгаринова, отъ котораго зависитъ назначеніе на это мѣсто, что онъ не слѣдуетъ примѣру предковъ, служившихъ правительству, и выступаетъ на новое поприще. Та же безпринципность руководитъ Облонскимъ и въ его отношеніяхъ къ людямъ, и въ семейныхъ отношеніяхъ. Онъ не разборчивъ въ знакомствахъ. Онъ готовъ зачислить въ число своихъ пріятелей всякаго, кто предложитъ ему „завтракъ съ лафитомъ", и возбуждаетъ негодованіе Левина тѣмъ, что ѣздитъ къ желѣзнодорожному богачу Мальтусу, который безчестными путями нажилъ свое состояніе. Облонскій—символъ упадка родовитаго дворянства. Свои гербы, родословныя дерева, родовыя помѣстья оно размѣниваетъ на деньги, доживая въ традиціонной праздности послѣдніе дни и постепенно уступая свое мѣсто торжествующимъ Ря-

бининымъ, Болгариновымъ и Мальтусамъ. „У дѣтей Рябинина будутъ средства къ жизни и образованію, а у твоихъ, пожалуй, не будетъ“,—говоритъ Левинъ Облонскому, формулируя въ этой фразѣ сущность происходящаго экономическаго переворота, перехода экономическаго господства изъ рукъ землевладѣльческаго дворянства въ руки предпринимателей-капиталистовъ.

Болѣе другихъ походитъ на типъ прежняго независимаго аристократа графъ Вронскій. Онъ обладаетъ огромнымъ состояніемъ и не нуждается въ казенной службѣ. Но его независимость далеко не напоминаетъ независимости Болконскихъ. Въ немъ нѣтъ того благороднаго жара, который дѣлаетъ князя Андрея государственнымъ человѣкомъ, заставляетъ его искать вліянія на судьбы государства безъ примѣси постороннихъ мыслей. Андрей тоже честолюбивъ, но его честолюбіе носитъ благородный оттѣнокъ. Въ немъ течетъ кровь тѣхъ князей-воиновъ, которые взамѣнъ своей власти несли великія обязанности, сражаясь въ первыхъ рядахъ своей дружины. Въ честолюбіи и независимости Вронскаго нѣтъ этой непосредственности. Его коснулась уже бюрократическая муть, въ которую окунулось высшее дворянство, выгнанное изъ своихъ имѣній купцами и ростовщиками и устремившееся въ погоню за хлѣбными мѣстами. Первые шаги Вронскаго въ свѣтѣ и на службѣ были удачны, но онъ сдѣлалъ ошибку, отказавшись отъ предложеннаго ему мѣста въ надеждѣ, что этотъ отказъ придастъ ему большую цѣну. „Но оказалось, что онъ былъ слишкомъ смѣлъ, и его оставили, и, волей-неволей сдѣлавъ себѣ положеніе человѣка независимаго, онъ носилъ его, весьма тонко и умно держа себя, такъ, какъ-будто онъ ни на кого не сердился, не считалъ себя никѣмъ обиженнымъ“. Но въ дѣйствительности ему было тяжело, и червь честолюбія просыпался въ немъ всякій разъ, когда онъ слышалъ о служебныхъ успѣхахъ своихъ

товарищей по корпусу. У него былъ сводъ правилъ, который освобождалъ его отъ всякихъ сомнѣній и колебаній въ жизни. Онъ зналъ, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно; что лгать не надо мужчинамъ, но женщинамъ можно; что обманывать нельзя никого, но мужа можно. Его отношеніе къ людямъ лучше всего выясняется въ небольшомъ эпизодѣ. Вронскій былъ прикомандированъ къ одному иностранному принцу, пріѣхавшему въ Петербургъ. Эта миссія была тяжела Вронскому потому, что въ принцѣ онъ видѣлъ свой портретъ. „Это былъ очень глупый и очень самоувѣренный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человѣкъ, и больше ничего. Онъ былъ джентльмэнъ, — это была правда, и Вронскій не могъ отрицать этого. Онъ былъ ровенъ и не искателенъ съ высшими, былъ свободенъ и простъ въ обращеніи съ равными и былъ презрительно добродушенъ съ низшими. Вронскій самъ былъ таковымъ и считалъ это большимъ достоинствомъ; но въ отношеніи принца онъ былъ низшій, и это презрительно-добродушное отношеніе къ нему возмущало его“. И весь запасъ честолюбія Вронскаго ушелъ на мелкія побѣды и ничтожныя стремленія. Онъ велъ широкую свѣтскую жизнь, онъ улаживалъ „исторіи“, случавшіяся съ его товарищами по полку, радовался своему успѣху въ обществѣ и у женщинъ и гордился тѣмъ, что былъ баловнемъ въ полку, гдѣ его цѣнили за богатство, аристократическое происхожденіе и за то, что онъ былъ добрымъ товарищемъ. Величайшимъ горемъ его жизни была несчастная случайность, лишившая его побѣды на скачкахъ: „въ первый разъ въ жизни онъ испыталъ величайшее несчастье, несчастье неисправимое и такое, въ которомъ виною онъ самъ“. И въ его лицѣ великій врагъ современной культурной жизни, Толстой снова произноситъ осуждающій приговоръ ложному счастью и призрачнымъ идеаламъ,

въ погонѣ за которыми богатые и культурные люди забываютъ естественныя потребности духа и здоровыя нормальныя радости жизни. Вронскій, подобно Каренину, безсильно отступаетъ передъ высшимъ таинственнымъ смысломъ жизни, когда она обрушивается на него своею тяжестью. Его романъ съ Анной, который представлялся такимъ простымъ съ точки зрѣнія его „кодекса“, оказался сложнымъ и непостижимымъ фактомъ. Онъ зналъ, какъ держать себя по отношенію къ ней: она была порядочная женщина, и онъ уважалъ ее какъ законную жену. У него не было сомнѣній и по отношенію къ мужу: единственное, на что имѣлъ право мужъ, это—потребовать отъ него удовлетворенія съ оружіемъ въ рукахъ, и Вронскій всегда былъ готовъ къ дуэли. Но сводъ его правилъ оказался слишкомъ узкимъ. Анна страдала, потому что у нея былъ сынъ, Каренинъ не дрался на дуэли, а превратилъ его жизнь въ сплошное страданіе тѣмъ, что рѣшилъ поддерживать ложь, сковавшую всѣхъ трехъ героевъ. И Вронскій утратилъ руководящую нить. Онъ запутался въ сѣтяхъ той лжи, которую представляетъ изъ себя искусственная жизнь высшаго общества. Для рѣшенія загадки жизни не годятся „правила“ Вронскаго, какъ не подошли „правила“ Каренина. Всѣ эти „правила“—продуктъ извращенной, а не истинной жизни. Уже въ первыхъ повѣстяхъ и въ „Войнѣ и мирѣ“ безпредѣльная ширь жизни, обрисованная Толстымъ, служитъ только фономъ, на которомъ развертывается исторія развитія его собственной души. И „Анна Каренина“ не составляетъ исключенія. Въ романѣ выведенъ герой, который является новымъ этапомъ въ великой автобіографіи Толстого.

Левинъ—выразитель идеи романа. Его устами авторъ высказываетъ свои воззрѣнія. Онъ стоитъ особнякомъ среди другихъ героевъ и разоблачаетъ ложь каждаго момента несущейся мимо него жизни. Онъ—живое от-

рицаніе всѣхъ стремленій культурнаго общества, современнаго ему воспитанія, общественной дѣятельности, свѣтскаго кодекса правилъ, идейной борьбы. Въ земской дѣятельности онъ разочаровался: съ одной стороны, это „игра въ парламентъ“, съ другой—средство „для уѣздной coterie наживать деньжонки“. Въ свѣтской жизни и воспитаніи онъ чувствовалъ какую-то ложь, какъ ни привлекательно и поэтично казалось ему то, что скрывалось въ ея изяществѣ. Онъ не понималъ, для чего въ семьѣ Щербацкихъ „тремъ барышнямъ нужно было говорить черезъ день по-французски и по-англійски, для чего онѣ въ извѣстные часы играли поперемѣнкамъ на фортепіано... для чего ѣздили эти учителя французской литературы, музыки, рисованія, танцевъ; для чего въ извѣстные часы всѣ три барышни съ m-lle Linon подъѣзжали въ коляскѣ къ Тверскому бульвару въ своихъ атласныхъ шубкахъ“ и т. д. Непонятны были модные длинные ногти свѣтскихъ франтовъ ему, жителю деревни, гдѣ стараются „привести руки свои въ такое положеніе, чтобы ими удобно было работать“, обстригаютъ для этого ногти, засучиваютъ рукава. Не могъ понять обжорства въ ресторанахъ житель деревни, гдѣ стараются „скорѣе наѣсться, чтобы быть въ состояніи дѣлать свое дѣло“. Впечатлѣнія Левина въ столицѣ, это—тотъ же протестъ Оленина противъ лжи, проникающей свѣтскую жизнь, то же бѣгство Нехлюдова въ деревню, тѣ же исканія Пьера. И выходъ изъ лжи, проникающей жизнь его круга, Левинъ, подобно другимъ героямъ Толстого, находитъ только при соприкосновеніи съ трудовой естественной жизнью простого народа. Такіе разнородные по душевному складу писатели, какъ Тургеневъ и Толстой, видѣли для здоровыхъ элементовъ усадебнаго барства одинъ и тотъ же выходъ. Лаврецкій собирался пахать землю и притомъ пахать ее какъ можно лучше. Левинъ осуществляетъ

это намѣреніе на глазахъ читателя. Онъ работаетъ вмѣстѣ съ мужиками. Онъ коситъ траву, и его охватываетъ „пріятное ощущеніе холода по жаркимъ вспотѣвшимъ плечамъ“. Онъ чувствуетъ, что у него нѣтъ ни мыслей, ни желаній, кромѣ одного, „чтобы не отстать отъ мужиковъ и какъ можно лучше сработать“. Счастливѣйшими минутами его жизни были тѣ моменты, когда онъ чувствовалъ, что сравнялся съ крестьянами въ быстротѣ и ловкости, а особенно тѣ, когда, дойдя до рѣки, онъ пилъ изъ нея воду, и эта теплая вода съ плавающей зеленью казалась ему прекраснѣйшимъ напиткомъ въ мірѣ. Вскорѣ совершенно исчезло разстояніе, отдѣлявшее барина отъ крестьянъ, Левинъ пересталъ ѣздить домой обѣдать, ѣлъ тюрьку со старикомъ-крестьяниномъ, и она казалась ему болѣе вкусной, чѣмъ его домашній обѣдъ. Черезъ крестьянина можетъ спастись баринъ, не трудовая жизнь народа должна идти на выучку къ культурѣ, а напротивъ, эта послѣдняя лживая жизнь высшаго общества должна смириться передъ простой и великой народной правдой. Характеръ Левина разработанъ глубже и шире, чѣмъ его предшественниковъ. Идея опрощенія въ „Аннѣ Карениной“ поставлена лицомъ къ лицу съ сложными условіями современной дѣйствительности. Левинъ стоитъ во главѣ сложнаго хозяйства. Онъ не только практикъ, но и теоретически работаетъ надъ экономическими вопросами. Ему приходится имѣть дѣло и съ дворянствомъ, и съ купцами, и съ учеными экономистами, и съ крестьянами. И онъ сумѣлъ справиться съ той задачей, съ которой не удалось справиться Нехлюдову. Левинъ пришелъ къ тому выводу, къ которому въ свое время пришелъ Пьеръ. Когда Пьеръ сбросилъ съ себя ярмо умствованій и принциповъ, когда онъ просто отдался непосредственному инстинкту жизни, ему вдругъ стало ясно все, что до тѣхъ поръ составляло для него предметъ за-

трудненій. Онъ зналъ, кому отказывать и кого удовлетворять. Толстой — врагъ умствованій. Сквозь строки его твореній можно прочесть рѣшительную филиппику противъ тѣхъ общихъ началъ, теорій и принциповъ, къ которымъ развитая культурная мысль стремится отнести частные факты и явленія жизни. Творецъ „Войны и мира“ не замѣчаетъ, что онъ часто становится проповѣдникомъ нравственнаго квіетизма, что его проповѣдь простоты и безыскусственнаго отношенія къ жизни граничитъ порою съ полнымъ отрицаніемъ нравственнаго усилія, что часто онъ рекомендуетъ человѣку безраздумное признаніе общепринятыхъ представленій о порядочности, и лучшимъ выходомъ изъ колебаній и сомнѣній представляется ему просто добросовѣстное въ общепринятомъ смыслѣ исполненіе своего дѣла въ томъ положеніи, въ которое поставила человѣка судьба. Пьеръ не задумался передать въ полное владѣніе безсердечной женщинѣ тысячи своихъ рабовъ, чтобы откупиться отъ нея. Левинъ, который, несомнѣнно, противопоставляется празднымъ аристократамъ, обрѣлъ спокойствіе и прочную опору своимъ дѣйствіямъ въ сомнительномъ идеалѣ. „Прежде, когда онъ старался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало бы добро для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но самая дѣятельность всегда была нескладная, не было полной увѣренности въ томъ, что дѣло необходимо нужно“. Когда же онъ просто занялся дѣломъ, онъ получилъ увѣренность, „что дѣло его необходимо“. Хозяйство вмѣстѣ съ охотой „наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имѣла для него никакого смысла, когда онъ думалъ“. Теперь онъ твердо зналъ, *что* нужно дѣлать и *какъ* дѣлать и какое дѣло важнѣе другого. И слѣдующія строки являются отвѣтомъ на вопросъ, *что дѣлать?*—на тотъ вопросъ, надъ которымъ билась и мучилась русская интеллигенція:

„Онъ зналъ, что нанимать рабочихъ надо было какъ можно дешевле; но брать въ кабалу ихъ, давая впередъ деньги, дешевле, чѣмъ они стоятъ, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать въ безкормицу мужикамъ солому можно было, хотя и жалко было ихъ; но постоялый дворъ и питейный, хотя они и доставляли доходъ, надо было уничтожить. За порубку лѣсовъ надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафовъ; и хотя это и огорчало караульщиковъ и уничтожало страхъ, нельзя было не отпускать загнанную скотину. Петру, платившему ростовщику десять процентовъ въ мѣсяцъ, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброкъ мужикамъ-неплательщикамъ". Разсужденія приводили его въ сомнѣнія и мѣшали ему видѣть, „что должно и что не должно", но когда онъ не думалъ, а жилъ, онъ чувствовалъ въ душѣ своей „присутствіе непогрѣшимаго судьи, рѣшавшаго, который изъ двухъ возможныхъ поступковъ лучше и который хуже, и какъ только онъ поступалъ не такъ, какъ нужно, онъ тотчасъ же чувствовалъ это". Итакъ, жизнь Левина текла безъ колебанія. Его мучило только отсутствіе цѣли и смысла въ ней, и, подобно всѣмъ героямъ Толстого, онъ открылъ эту цѣль и этотъ смыслъ черезъ крестьянина. „Подавальщикъ" Ѳедоръ случайно сказалъ при немъ: „Фоканычъ — правдивый старикъ. Онъ для души живетъ. Бога помнитъ". И эти слова произвели въ душѣ Левина „дѣйствіе электрической искры, вдругъ преобразившей и сплотившей въ одно цѣлое рой разрозненныхъ, безсильныхъ, отдѣльныхъ мыслей, никогда не перестававшихъ занимать его". Онъ понялъ, что поступалъ какъ ребенокъ, когда старался разумомъ отыскать „значеніе силъ природы и смыслъ жизни человѣка", что всѣ философскія теоріи въ сущности только „страннымъ несвойственнымъ че-

ловѣку путемъ“ приводятъ его „къ знанію того, что онъ давно знаетъ и такъ вѣрно знаетъ, что безъ того и жить бы не могъ“. Словомъ, Левинъ „жилъ для души“ и „помнилъ Бога“ раньше, чѣмъ узналъ это. И простой мужикъ открылъ ему смыслъ его собственной жизни, и онъ пересталъ искать этого смысла разумомъ, который не можетъ открыть этотъ смыслъ. Это знаніе просто *дано* каждому человѣку, и нужно только не заглушать его въ себѣ ложью искусственной культурной жизни. Послѣ этого открытія вся жизнь Левина получила смыслъ. Онъ зналъ, что будетъ по-прежнему сердиться на кучера Ивана, спорить, некстати высказывать свои мысли, не понимать разумомъ, зачѣмъ онъ молится, и все-таки молиться. „Но жизнь моя теперь,—говоритъ онъ,—вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мною, каждая минута ея—не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее“.

Левинъ обрѣлъ свой идеалъ. Этотъ идеалъ—добросовѣстный помѣщикъ, старающійся поменьше эксплоатировать крестьянъ, покупающій свое благосостояніе неустаннымъ трудомъ. Идеалъ Толстого не выходитъ за предѣлы усадьбы и земли. Для мятущейся души представителя родовитаго земледѣльческаго дворянства онъ не видитъ другого исхода, какъ добросовѣстное служеніе той миссіи, которая возложена на него его происхожденіемъ. Онъ обрѣтаетъ этотъ идеалъ въ соприкосновеніи съ крестьянствомъ, добрымъ руководителемъ котораго онъ долженъ бы быть по историческому представленію объ истинномъ помѣщикѣ. Толстой инстинктивно видитъ идеалъ въ той жизни, въ той дѣятельности, которая нѣкогда создала могущество и богатство высшаго дворянства и которая одна могла удержать его отъ разложенія и вырожденія. Этотъ идеалъ естественной простой трудовой жизни,

это возстаніе противъ лжи и испорченности свѣтскаго общества отражается и на женскихъ образахъ, выведенныхъ Толстымъ. Между героинями Тургенева и Толстого лежитъ цѣлая пропасть. Тургеневъ выводилъ дѣвушекъ, полныхъ предчувствіемъ будущаго. Онѣ—женщины прежде всего. Ихъ сила, красота и энергія раскрываются только въ любви. Но онѣ требовательны къ своимъ избранникамъ. Онѣ ищутъ сильныхъ людей, людей дѣла, онѣ пытаются порою сами проявить свою активную силу не только въ сферѣ любви, но и въ общественной дѣятельности. Не таковы героини у Толстого. У него почти не встрѣтишь дѣвушки, интересы которой переходили бы за предѣлы суетныхъ свѣтскихъ удовольствій и флирта. Лучшія изъ его героинь—честныя матери и супруги, которымъ невѣдомы томительныя думы о человѣчествѣ, неясные, но широкіе, захватывающіе порывы тургеневскихъ женщинъ. Въ своей средѣ Толстой не нашелъ ни Елены, ни Маріанны. Вспомнимъ, какъ начинается любовь тургеневской дѣвушки. Въ этой любви нѣтъ даже оттѣнка страсти, къ ней не примѣшивается ничто земное. Подъ непроницаемымъ покровомъ скрываетъ авторъ грѣховныя чувства. Мы видимъ только духовную сторону отношеній между Натальей и Рудинымъ, Еленой и Инсаровымъ, Лизой и Лаврецкимъ. Вспомнимъ теперь, какъ зарождается любовь въ романахъ Толстого. Пьеръ влюбился въ Эленъ на вечерѣ. Она была въ „открытомъ по тогдашней модѣ спереди и сзади платьѣ“. Она находилась „въ такомъ близкомъ разстояніи отъ его глазъ, что онъ своими близорукими глазами невольно различалъ живую прелесть ея плечъ и шеи, и такъ близко отъ его губъ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нея“, и т. д. Она имѣла вызывающій видъ и точно говорила: „Вы не замѣчали, что я женщина?“—и Пьеръ почувствовалъ, что она „должна быть его женой, что это не могло

быть иначе". Такое же возбуждающее дѣйствіе производитъ на Вронскаго Анна. Ревнивымъ взоромъ слѣдила за ними на балу Кити и видѣла „знакомую ей самой черту возбужденія отъ успѣха". Она видѣла, что „Анна пьяна виномъ возбуждаемаго ею восхищенія", видѣла „дрожащій, вспыхивающій блескъ въ глазахъ и улыбку счастья и возбужденія, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацію, вѣрность и легкость движеній". Даже у самыхъ поэтическихъ и чистыхъ героевъ и героинь Толстого любовь начинается съ физическаго возбужденія, по большей части въ чаду бала. Князь Андрей пошелъ танцовать съ Наташей Ростовой только потому, что она „первая изъ хорошенькихъ женщинъ" попала ему на глаза; „но едва онъ обнялъ этотъ тонкій подвижной станъ, и она зашевелилась такъ близко отъ него и улыбнулась такъ близко ему, вино ея прелести ударило ему въ голову: онъ почувствовалъ себя ожившимъ и помолодѣвшимъ, когда, переводя дыханье и оставивъ ее, остановился и сталъ глядѣть на танцующихъ". Толстой никогда не забываетъ напомнить, что женщина прежде всего самка. Даже Анна Каренина послѣ пережитыхъ ею страданій, несмотря на ея глубокую любовь къ Вронскому, кокетничаетъ съ Левинымъ и безсознательно, „какъ она дѣйствовала въ отношеніи ко всѣмъ молодымъ мужчинамъ", старалась возбудить въ немъ чувство любви къ себѣ.

Княжна Марья составляетъ на первый взглядъ исключеніе среди героинь Толстого. Она напоминаетъ нѣсколько тургеневскую Лизу по своему глубоко-религіозному чувству, по своимъ аскетическимъ наклонностямъ. Она любитъ размышлять, что такъ рѣдко бываетъ съ другими дѣвушками у Толстого. Она вѣритъ, что „религія, одна только религія, можетъ насъ избавить отъ отчаянія". Она безропотно склоняетъ голову передъ несчастьемъ и вѣритъ, что оно является

особой милостью Творца, выраженіемъ Его безконечной благости, такъ какъ всѣ Его дѣйствія, „хотя мы ихъ большею частью не понимаемъ, суть только проявленія Его безконечной любви къ Своему творенію“. Подобно Лизѣ, она видѣла свое назначеніе въ отреченіи и жертвѣ. „Мое призваніе — быть счастливой другимъ счастьемъ, счастьемъ любви и самопожертвованія“. Подобно Лизѣ, княжна Марья считаетъ грѣховной и преступной самую мысль о земныхъ радостяхъ, о любви и счастьи. Но и въ изображеніи грѣховныхъ отступленій отъ аскетическаго идеала Толстой и Тургеневъ рѣзко расходятся между собою. Лиза только на мгновеніе поддалась обаянію рѣчей Лаврецкаго, допустила мысль о возможности счастья. Въ изображеніи ея земного порыва поэтъ не повелъ насъ за предѣлы безгрѣшной мечты, и она не сошла съ того пьедестала чистой религіозной жизни, на который возвелъ ее Тургеневъ. Совершенно иначе изобразилъ Толстой грѣховный порывъ княжны Марьи. „Она, безсильно опустивъ глаза и руки, молча сидѣла и думала. Ей представлялся мужъ, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно-привлекательное существо, переносящее ее вдругъ въ свой, совершенно другой, счастливый міръ. Ребенокъ *свой*, такой, какого она видѣла вчера у дочери кормилицы, представлялся ей у своей собственной груди... Въ помышленіяхъ о бракѣ княжнѣ Марьѣ мечталось и семейное счастье и дѣти, но главною, сильнѣйшею и затаенной ея мечтою была любовь земная“. И, подобно тургеневской Лизѣ, она старается молитвой искупить эту жажду счастья, она спрашиваетъ Бога, какъ подавить въ сердцѣ „мысли дьявола“, какъ отказаться „отъ злыхъ помысловъ“, чтобы спокойно исполнять Его волю. И въ то же время грѣховныя мечты не покидаютъ ее.

Въ русской литературѣ трудно указать писателя, который создалъ такой ослѣпительно художественный

образъ женщины-самки, какъ Толстой. Великому писателю земли русской почти неизвѣстенъ типъ женщины въ родѣ тургеневской Маріанны или гончаровской Ольги, мысль которыхъ не удовлетворяется предѣлами дѣтской и кухни и неопредѣленно стремится къ болѣе широкой сферѣ. Толстовскій идеалъ женщины—въ семьѣ и въ домашнемъ хозяйствѣ. Душа мятущагося барина находитъ успокоеніе на лонѣ природы, въ здоровомъ естественномъ трудѣ, въ освобожденіи отъ суетности и пустоты свѣтской жизни. Женщина обрѣтаетъ безмятежный миръ въ уходѣ за дѣтьми и мужемъ, цѣликомъ растворяя свою личность въ интересахъ семьи. И въ „Войнѣ и мирѣ", и въ „Аннѣ Карениной" мы находимъ толстовскій идеалъ семейнаго счастья. Тургеневъ любилъ изображать внутренній міръ дѣвушки, ея борьбу за свое счастье, исканія ея души, ожидающей своего избранника. Авторъ „Рудина" задергиваетъ завѣсу надъ ея дальнѣйшей судьбою. Мы не видимъ Натальи послѣ ея замужества, не знаемъ, что сталось съ Еленой. Еле-еле приподнята предъ нами завѣса, скрывающая Лизу въ монастырѣ или Маріанну послѣ пережитыхъ ею потрясеній. Точно только въ преддверіи зрѣлости, въ преддверіи долгой однообразной жизни раскрывается натура женщины. Иначе относится къ женщинѣ Толстой. Для него главное начинается послѣ замужества. Внутренній міръ матери есть то настоящее, гдѣ опредѣляется характеръ женщины. Можно почти сказать, что въ оцѣнкѣ женщины Толстой пользуется однимъ критеріемъ, степенью ея близости къ идеалу матери и семьянинки. Его отрицаніе обращается противъ тѣхъ женщинъ, которыя позволили восторжествовать въ себѣ инстинктамъ, уничтожившимъ въ нихъ матерей и женъ. Его идеалъ—тѣ, кто побѣдилъ эти инстинкты. Другихъ оцѣнокъ у Толстого почти нѣтъ. Женщина внѣ семьи, женщина въ ея стремленіи къ обществен-

ной дѣятельности, къ участію въ умственной и политической жизни страны для Толстого не существуетъ. Кити и Левинъ, Ростовъ и Марья, Пьеръ и Наташа, эти пары, въ лицѣ которыхъ идеализирована старая барская семья, — семья, гдѣ мужъ занятъ дѣлами по имѣнію, умственной и служебной жизнью, а жена— кухней и дѣтской,—эти пары представляютъ собою несомнѣнный идеалъ Толстого. Въ изображеніи жизни Пьера и Наташи Толстой самъ подвелъ итоги этому идеалу женщины. Въ чемъ же онъ заключается? Прежде всего служеніе семьѣ. „Предметъ, въ который погрузилась вполнѣ Наташа, была семья, т.-е. мужъ' котораго нужно было держать такъ, чтобы онъ нераздѣльно принадлежалъ ей, дому, и дѣти, которыхъ надо было носить, рожать, кормить и воспитывать". Что касается мужа, то изъ его жизни Наташа исключила все, что могло бы послужить ущербомъ для общихъ интересовъ семьи, но взамѣнъ того она считала своимъ долгомъ удовлетворять всѣ его малѣйшія желанія, которыя представлялись ей законными. Съ первыхъ дней супружества она заявила свои требованія. Пьеръ удивился очень этому новому для него воззрѣнію жены, состоявшему въ томъ, что каждая минута его жизни принадлежитъ ей и семьѣ. Онъ удивился этимъ требованіямъ, но „былъ польщенъ" и подчинялся имъ. „Подвластность Пьера заключалась въ томъ что онъ не смѣлъ не только ухаживать, но не смѣлъ съ улыбкой говорить съ другой женщиной, не смѣлъ ѣздить въ клубы на обѣды, *такъ*, для того, чтобы провести время, не смѣлъ расходовать деньги для прихотей" и т. д. Отлучки изъ дому допускались только по дѣламъ, въ которыя Наташа включила и занятія науками. „Взамѣнъ этого, Пьеръ имѣлъ полное право у себя въ домѣ располагать не только самимъ собою, какъ онъ хотѣлъ, но и всей семьей. Наташа у себя въ домѣ ставила себя на ногу рабы мужа, и весь домъ

ходилъ на цыпочкахъ, когда Пьеръ занимался—читалъ или писалъ въ своемъ кабинетѣ. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастіе, чтобы то, что онъ любилъ, постоянно исполнялось". Она угадывала его желанія, опредѣляла ихъ съ намека, и „образъ, мѣсто жизни, знакомства, связи, занятія Наташи, воспитаніе дѣтей",—все это дѣлалось согласно волѣ Пьера, или прямо выраженной или угаданной. Осталось ли что-нибудь въ Наташѣ изъ того, что нѣкогда составляло ея красоту? Она безжалостно покончила съ прошлымъ. Она „бросила сразу всѣ свои очарованія", и въ томъ числѣ самое сильное — пѣніе. Она не только покинула прежнее кокетство, перестала „взбивать локоны, надѣвать роброны и пѣть романсы", она пошла дальше и опустилась до небрежности и неряшества, избѣгала общества и любила только тѣхъ людей, къ которымъ она могла выйти большими шагами, растрепанная, въ халатѣ, и которымъ она могла сообщить послѣднія свѣдѣнія о состояніи желудка у ребенка. Вопросы отвлеченнаго характера не занимали ее. „Толки и разсужденія о правахъ женщинъ, объ отношеніяхъ супруговъ, о свободѣ и правахъ ихъ... эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она рѣшительно не понимала ихъ". Вопросы эти,—замѣчаетъ Толстой,—существовали только для тѣхъ людей, которые въ бракѣ видятъ одно удовольствіе, получаемое супругами другъ отъ друга, т.-е. одно начало брака, а не все его значеніе. Наташа просто слишкомъ была занята семьей, чтобы думать объ этихъ вопросахъ. Ей „нуженъ былъ мужъ". Мужъ былъ ей данъ; онъ далъ ей семью, и „такъ какъ всѣ силы душевныя ея были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семьѣ, она и не могла себѣ представить и не видѣла никакого интереса въ представленіи о томъ, что было бы, если бы было другое".

„Анной Карениной" заканчивается тотъ періодъ ли-

тературной дѣятельности Толстого, который относится къ интересующей насъ эпохѣ. Тургеневъ изобразилъ кающееся дворянство и кончилъ пессимизмомъ. Толстой увѣковѣчилъ высшій слой этого дворянства. Поэтому „ненужность“ этого класса, а вмѣстѣ съ нимъ и той культуры, той жизни, въ которой онъ вѣками игралъ роль командующаго класса, выступила въ твореніяхъ Толстого съ неотразимой ясностью. Но Толстой не впалъ въ отчаяніе, не пошелъ по пути Тургенева. Онъ хотѣлъ вернуть высшій классъ общества къ его вѣковой роли, къ землѣ и къ мужику, къ той сѣрой безыскусственной жизни массъ, отъ которой уходили крупные землевладѣльцы, гонимые ростовщиками, машинами и собственной распущенностью. И этотъ могучій порывъ совѣсти, проснувшейся отъ сотрясенія старыхъ формъ хозяйственной жизни, разрастется впослѣдствіи въ душѣ великаго аристократа въ безпримѣрный по своей силѣ и мощи протестъ противъ всякаго тунеядства и всякаго командованія, прозвучитъ по всему міру призывомъ къ простой и естественной жизни, къ освобожденію изъ сѣтей ложной культуры.

VIII.

Д. В. Григоровичъ.— Впечатлѣнія дѣтства: ужасы крѣпостного права, французскіе уроки, камердинеръ.— Литературныя знакомства и вліянія.—Исторія появленія „Деревни“ и „Антона Горемыки“ и отзывъ Бѣлинскаго объ этихъ повѣстяхъ. — Фальшивый тонъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ Григоровича. — Главныя черты, отличающія повѣсти „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“: пессимизмъ и реализмъ.— Изображеніе помѣщиковъ и семейной жизни крестьянина въ „Деревнѣ“.— Безправіе и нужды крестьянства въ повѣсти „Антонъ Горемыка“.— „Рыбаки“.— Заключеніе.

Въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1846 годъ почти одновременно съ „Хоремъ и Калинычемъ“ (былъ напечатанъ въ первой книжкѣ „Современника“ за 1847 годъ) появился разсказъ Д. В.

Григоровича „Деревня“. Этотъ разсказъ былъ такимъ же крупнымъ событіемъ, какъ и знаменитый разсказъ Тургенева. Григоровичъ можетъ занять почетное мѣсто въ исторіи просвѣщеннаго кающагося барства, стремившагося уплатить народу вѣковой долгъ дворянства. Въ одномъ отношеніи онъ даже ушелъ дальше Тургенева и Толстого въ этомъ благородномъ стремленіи: у Григоровича мужикъ занимаетъ центральное мѣсто въ его повѣствованіи, а не является фономъ, на которомъ развертывается исторія душевныхъ мукъ тоскующаго и ищущаго дворянства. Съ горькой ироніей говоритъ онъ въ „Деревнѣ“ о помѣщикѣ, прихоть котораго погубила несчастную Акулину: „Хотя разсказчикъ этой повѣсти чувствуетъ неизъяснимое наслажденіе говорить о просвѣщенныхъ, образованныхъ и принадлежащихъ къ высшему классу людяхъ; хотя онъ вполнѣ убѣжденъ, что самъ читатель несравненно болѣе интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавокъ еще глупыми мужиками и бабами, однако-жъ, онъ перейдетъ скорѣе къ послѣднимъ, какъ лицамъ, составляющимъ — увы! — главный предметъ его повѣствованія“. И въ то же время, быть-можетъ, никто въ такой степени, какъ Григоровичъ, не доказалъ безсилія тогдашняго барства овладѣть стоявшей передъ нимъ задачей, никто болѣе его не имѣетъ права на имя кающагося дворянина и лишняго человѣка. Критика давно уже установила недостатки разсказовъ Григоровича, давно уже признала, что въ нихъ звучитъ какая-то фальшивая или, по меньшей мѣрѣ, искусственная нота. Эта искусственность заключается въ томъ нѣсколько сантиментальномъ, барски-жалостливомъ отношеніи къ страданіямъ крестьянства, которое отличаетъ автора „Деревни“. И этотъ тонъ, проникающій его разсказы, свидѣтельствуетъ о томъ, что и Григоровичъ сумѣлъ заглянуть въ душу крестьянина только со стороны, что его раз-

сказы такъ же, какъ творенія Тургенева и Толстого были въ концѣ-концовъ скорѣе изображеніемъ тяжелаго душевнаго состоянія барства, чѣмъ раскрытіемъ души русскаго народа. Подобно Тургеневу и Толстому, Григоровичъ пишетъ не для крестьянина, а для барина. Подобно имъ, онъ хочетъ указать путь этому послѣднему, а не первому. „Нѣтъ исхода", — такъ можно формулировать итоги, къ которымъ пришелъ Тургеневъ. „Вернитесь къ землѣ и живите жизнью мужика",— таковъ призывъ, съ которымъ обращается Толстой къ людямъ своего круга. „Пожалѣйте мужика, пролейте слезу надъ его страданіями",—таковъ голосъ, звучащій въ разсказахъ Григоровича. Ни одному изъ этихъ трехъ представителей передовой дворянской литературы не пришло въ голову искать отвѣта внѣ своей среды. Въ самомъ ихъ смиреніи передъ мужикомъ, въ самой идеализаціи его слышится голосъ людей, воспитанныхъ въ сознаніи, что судьбы страны въ цѣломъ зависятъ отъ того, какъ поведутъ себя высшіе, а не низшіе классы. Въ этой инстинктивной вѣрѣ и заключается то общее, что роднитъ этихъ трехъ писателей при всемъ несходствѣ ихъ талантовъ и воззрѣній. Они не видѣли, или, если видѣли, то плохо понимали начинавшееся въ низахъ броженіе, которое одно рано или поздно опрокинетъ вѣковые устои насилія и несправедливости. Они остались внѣ тѣхъ путей, которыми должна была пойти Россія по смыслу исторіи, и ихъ положительные идеалы остались навсегда гуманнымъ порывомъ, лишеннымъ реальной почвы.

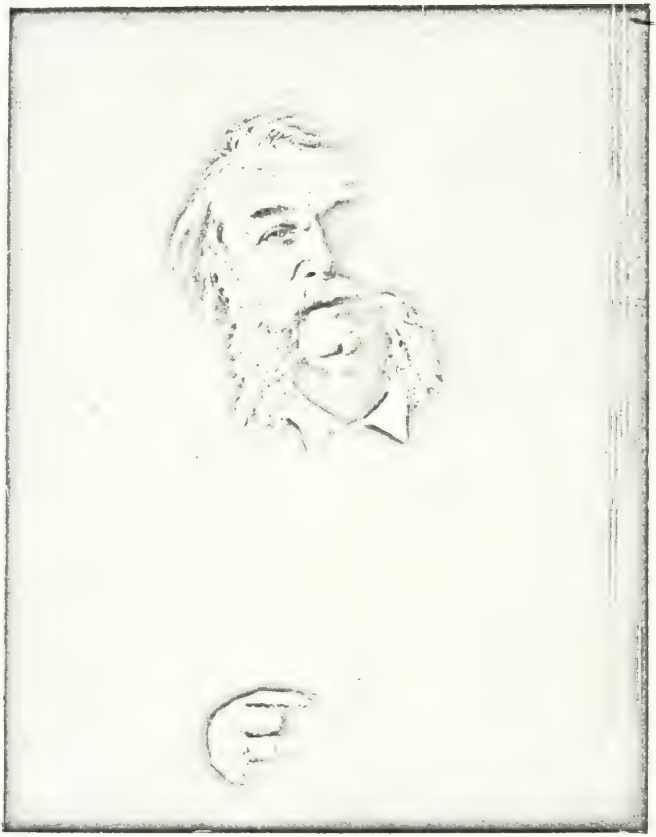
Дѣтство Григоровича богато общими для тогдашняго барства, не разъ здѣсь отмѣченными впечатлѣніями. Потрясающій эпизодъ изъ картинъ крѣпостного права, французскій языкъ, пансіоны и даже дворовый человѣкъ, обучающій ребенка русскому языку и прививающій ему любовь къ родному народу, — все это мы находимъ въ біографіи Григоровича.

Онъ родился въ 1822 году въ дворянской семьѣ и еще ребенкомъ потерялъ отца, полтавскаго помѣщика и отставного гусара. Мать Григоровича была француженка, дочь роялиста, погибшаго жертвой революціи. Воспитаніемъ мальчика завѣдывала бабушка со стороны матери, „шестидесятилѣтняя старуха, по замѣчательно сохранившаяся, умная, начитанная, вольтерьянка въ душѣ, насквозь пропитанная понятіями, господствовавшими во Франціи въ концѣ прошлаго столѣтія“. Въ своихъ воспоминаніяхъ Григоровичъ разсказываетъ потрясающій фактъ, одинъ изъ тѣхъ эпизодовъ, который всколыхнулъ мысль не одного чуткаго ребенка, вызвалъ на уста не одну „аннибалову клятву“. Ему врѣзался въ память одинъ изъ помѣщичьихъ домовъ, гдѣ пировали круглый годъ, „благо крестьяне, помимо другихъ повинностей, обязаны были поставлять къ барскому столу яйца, куръ, барановъ, грибы, ягоды и проч.“. Это былъ домъ съ многочисленной дворней, шутами, приживальщиками обоего пола. Попавъ туда съ матерью на званый обѣдъ, мальчикъ не могъ оторвать взора отъ маленькаго столика, за которымъ сидѣли шутъ и шутовка „въ желтыхъ халатахъ и колпакахъ съ нашитыми на нихъ изъ краснаго сукна изображеніями звѣрей. Хозяинъ этого дома былъ извѣстенъ во всемъ околоткѣ своей неукротимою строгостью. Когда онъ выѣзжалъ на улицу деревни, въ сопровожденіи крѣпостного Грызлова, его экзекутора или, вѣрнѣе, домашняго палача, ребятишки стремглавъ ныряли въ подворотни, бабы падали ничкомъ, у мужиковъ ознобъ пробѣгалъ по тѣлу. Его боялись всѣ домашніе, начиная съ жены. Побѣждая въ себѣ робость, намолившись и накрестившись въ образной, жена рѣшалась иногда просить мужа отпустить ее въ Москву для свиданія съ родственниками. Мужъ иногда соглашался, призывалъ къ себѣ тогда Грызлова и отдавалъ ему такое приказаніе: „Марья Ѳедо-

ровна въ Москву собирается; нужны деньги... Проѣзжая по деревнямъ, я видѣлъ много тамъ этой мелкоты, шуперы накопилось,—распорядись!“ Это значило, что Грызлову поручалось объѣхать деревни помѣщика, забрать по усмотрѣнію лишнихъ дѣтей и дѣвокъ, продать ихъ, а деньги доставить помѣщику. Самъ Григоровичъ говоритъ о томъ, какое сильное впечатлѣніе производили на него подобные разсказы о жизни помѣщиковъ. Другое яркое воспоминаніе дѣтства, это—уроки французскаго языка. Особенно тяжело достались будущему писателю глаголы „être“ и „avoir“, изъ-за которыхъ онъ пролилъ немало слезъ. До восьми лѣтъ мальчикъ не видалъ ни одной русской книги и, вѣроятно, никогда не научился бы родному языку, если бы не простые дворовые люди, не разъ игравшіе такую огромную роль въ развитіи нашихъ великихъ писателей. Воспоминанія Григоровича о камердинерѣ Николаѣ дышатъ такой любовью, какой проникнуты были стихи Пушкина, посвященные его нянѣ. „Онъ любилъ меня, какъ-будто я десять разъ былъ его роднымъ сыномъ, какъ-будто отецъ мой, передъ памятью котораго онъ благоговѣлъ, завѣщалъ ему утѣшать меня, любить и ласкать. О немъ можно сказать то же, что Филаретъ сказалъ о русскомъ народѣ: *въ немъ свѣту мало, но теплоты много.* По цѣлымъ часамъ караулилъ онъ, когда меня пустятъ гулять, бралъ на руки, водилъ по полямъ и рощамъ, разсказывалъ разныя приключенія и сказки. Не помню, конечно, его разсказовъ, помню только его ласковое сердечное обращеніе; за весь холодъ и одиночество моей дѣтской жизни я отогрѣвался только, когда былъ съ Николаемъ. Когда рѣшено было везти меня въ Москву и наступила минута разставанья съ Николаемъ, я, какъ изступленный, съ крикомъ бросился ему на шею, истерически рыдалъ, кричалъ и такъ крѣпко обхватилъ его руками, что пришлось силой меня оторвать“.

За этими впечатлѣніями дѣтства слѣдуетъ московская гимназія, въ которой Григоровичъ пробылъ всего два мѣсяца и запомнилъ только мальчиковъ, трунившихъ надъ нимъ и кричавшихъ ему надъ ухо: „команъ ву франсе“, и мучительные уроки, на которыхъ онъ постоянно терялъ голову, такъ какъ плохо читалъ по-русски и притомъ съ иностраннымъ акцентомъ. Далѣе, пансіонъ Монигетти, куда перевели мальчика, чуть не заболѣвшаго въ гимназіи нервной горячкой. У Монигетти Григоровичъ чувствовалъ себя хорошо, но, по его собственнымъ словамъ, его „умственныя способности не двинулись ни на одинъ градусъ“ за три года пребыванія въ пансіонѣ. По выходѣ изъ пансіона мальчикъ также случайно попадаетъ въ военное инженерное училище, только потому, что мать его въ разговорѣ съ другой дамой услыхала, что инженерное училище считается первымъ военно-учебнымъ заведеніемъ въ Россіи. Здѣсь Григоровичъ между прочимъ познакомился съ Достоевскимъ, который оказалъ на будущаго писателя большое вліяніе. „Первыя литературныя сочиненія, — разсказываетъ Григоровичъ, — читанныя мною на русскомъ языкѣ, были мнѣ сообщены Достоевскимъ“. Черезъ одного изъ своихъ товарищей Григоровичъ познакомился съ Некрасовымъ. Любовь къ чтенію и пристрастіе къ живописи, къ которой Григоровичъ почувствовалъ склонность очень рано, вредно отражались на его занятіяхъ въ инженерномъ училищѣ. Въ праздничные дни онъ посѣщалъ академію художествъ и бралъ тамъ уроки живописи и рисованія у одного художника. Наконецъ, счастливый случай избавилъ Григоровича отъ инженернаго училища. Однажды онъ не замѣтилъ великаго князя, проѣзжавшаго мимо него. Великій князь подозвалъ его, и, подъ вліяніемъ паническаго страха, юноша бросился въ какой-то картинный магазинъ, гдѣ хозяинъ, сжалившись надъ его судьбой, скрылъ его у

себя въ семьѣ. Григоровичъ разсчитывалъ, что великій князь не замѣтилъ его формы. Но по прибытіи въ училище онъ узналъ, что случай уже сталъ извѣстенъ, и „кондуктору“ (такъ называли воспитанниковъ училища) оставалось только сознаться въ своемъ преступленіи. Его привели во дворецъ. Великій князь велѣлъ посадить его подъ арестъ. Григоровичъ заболѣлъ, и перепуганная мать рѣшила его взять изъ училища. Онъ поступаетъ въ академію художествъ. Его пребываніе въ академіи ознаменовано первой любовью. Григоровичъ страстно влюбился въ воспитанницу театральной школы и былъ нѣкоторое время въ сильномъ отчаяніи, когда мать строго запретила ему жениться на ней. Своего художественнаго образованія Григоровичъ тоже не довелъ до конца и поступилъ на службу въ канцелярію директора театровъ Гедеонова. Эта служба дала ему возможность стать ближе къ театральнымъ, а впослѣдствіи къ литературнымъ кругамъ. Григоровичъ самъ сталъ писать, но первыя его вещи были пустяки, написанные по заказу. Болѣе интереса представляетъ исторія очерка „Шарманщики“, написаннаго для затѣяннаго Некрасовымъ изданія „Физіологія Петербурга“,—она свидѣтельствуетъ о томъ, какой сильный толчокъ развитію реалистическаго направленія далъ Гоголь, въ духѣ котораго стала воспитываться литературная молодежь. „Писать наобумъ, дать волю своей фантазіи, сказать себѣ: „и такъ сойдетъ!“—казалось мнѣ равносильнымъ безчестному поступку; у меня, кромѣ того, тогда уже пробуждалось влеченіе къ реализму, желаніе изображать дѣйствительность такъ, какъ она въ самомъ дѣлѣ представляется, какъ описываетъ ее Гоголь въ „Шинели“—повѣсти, которую я съ жадностью перечитывалъ. Я прежде всего занялся собираніемъ матеріала. Около двухъ недѣль бродилъ я по цѣлымъ днямъ въ трехъ Подъяческихъ улицахъ, гдѣ преимущественно сели-



лись тогда шарманщики, вступалъ съ ними въ разговоръ, заходилъ во всевозможныя трущобы, записывалъ потомъ до мелочи все, что видѣлъ и о чемъ слышалъ". Этотъ разсказъ—яркій моментъ въ исторіи русской литературы, эпизодъ, одинаково характерный и для „Записокъ охотника". Изученіе жизни, почти научное изслѣдованіе ея стало одной изъ задачъ литературы, покончившей съ романтизмомъ и вступившей на путь реализма. Писатели, художники бросались во всѣ уголки Россіи, стараясь поскорѣе собрать матеріалы для предстоявшей великой работы, и литература становилась союзницей общественной науки и публицистики. Большую пользу принесло Григоровичу знакомство съ кружкомъ братьевъ Бекетовыхъ, молодыхъ естественниковъ, у которыхъ онъ встрѣчалъ много выдающихся людей, между прочимъ Достоевскаго и поэта А. Н. Плещеева. Кружокъ этотъ оказалъ на него большое вліяніе въ томъ смыслѣ, что заставилъ его впервые серьезно взглянуть на жизнь и задуматься надъ цѣлымъ рядомъ вопросовъ. До тѣхъ поръ, по его собственнымъ словамъ, Григоровичъ читалъ много, но безъ всякаго выбора и системы, совершенно не интересовался общественными вопросами. Въ кружкѣ Бекетовыхъ онъ впервые услышалъ „живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія"; его самолюбію стало больно за его отсталость, онъ понялъ незначительность и незрѣлость своихъ прежнихъ произведеній, понялъ, что „дальше такъ идти нельзя", чувствовалъ, что „можетъ что-то сдѣлать", но для этого нужны другія условія, и прежде всего необходимо „разстаться съ праздной жизнью" въ Петербургѣ. Въ 1846 году онъ уѣхалъ въ деревню къ матери и здѣсь набрелъ, наконецъ, на случай, который послужилъ сюжетомъ для перваго крупнаго произведенія.

„Къ матушкѣ,—разсказываетъ Григоровичъ,—привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ матушка

разсказала ея исторію. Ее противъ воли выдали замужъ за грубаго молодого парня, котораго тоже приневолили взять ее въ жены; онъ возненавидѣлъ ее, чему немало способствовали его сестры, началъ ее бить въ трезвомъ и пьяномъ видѣ и заколотилъ почти до смерти; баба была въ злѣйшей чахоткѣ и врядъ ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чѣмъ жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлѣтней дѣвочки: „онъ и ее заколотитъ на смерть",—говорила она. Разсказъ этотъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Сюжетъ повѣсти былъ найденъ. Я тотчасъ же принялся его обдумывать и приводить въ повѣствовательную форму". И къ этому сюжету Григоровичъ отнесся съ такою же добросовѣстностью, какъ и къ „Шарманщикамъ". Первыя главы повѣсти стоили ему неимовѣрнаго труда. Онъ бился надъ каждой фразой, такъ какъ французскій языкъ давалъ себя чувствовать. Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя ему удавалось читать, онъ принялся усердно изучать его практически, проводилъ часы на мельницѣ, пользовался всякимъ случаемъ, чтобы побесѣдовать съ крестьянами, прислушивался къ ладу ихъ рѣчи, записывалъ выраженія, казавшіяся ему особенно живописными и характерными. Послѣ четырехъ мѣсяцевъ усидчивой работы повѣсть была готова, и Григоровичъ, полный самыхъ радужныхъ надеждъ, повезъ ее въ Петербургъ. Но Некрасовъ, заваленный дѣлами, продержавъ ее нѣсколько мѣсяцевъ, вдругъ возвратилъ ее автору, заявивъ, что не находитъ удобнымъ печатать ее въ „Современникѣ". Григоровичъ вынесъ убѣжденіе, что Некрасовъ не читалъ ея и просто хотѣлъ отдѣлаться. Благодаря встрѣчѣ у Бекетовыхъ съ извѣстнымъ критикомъ Валеріаномъ Майковымъ Григоровичу удалось напечатать ее въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ". Бѣлинскій ото-

звался съ похвалой о „Деревнѣ“, и слѣдующая повѣсть „Антонъ Горемыка“ была уже напечатана въ „Современникѣ“ въ 1847 году. Исторія обстоятельствъ, которыми сопровождалось появленіе этого разсказа,— новая характерная страница въ исторіи цензуры. Послѣдняя не разрѣшила печатать „Антона Горемыку“ на томъ основаніи, что „бѣдственное состояніе крестьянина представлено въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ“. Разсказъ былъ спасенъ благодаря заступничеству цензора Никитенко. Комитетъ согласился пропустить повѣсть подъ условіемъ уничтоженія послѣдней главы. „Она,—разсказываетъ Григоровичъ,—кончалась у меня тѣмъ, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотребленія управляющаго, зажигаютъ его домъ и бросаютъ его въ огонь. А. В. Никитенко, не сказавъ никому ни слова, сочинилъ конецъ, въ которомъ управляющій остается неприкосновеннымъ, а возмутившіеся крестьяне, передъ тѣмъ, чтобы быть отправленными на поселеніе, каются въ своихъ дѣйствіяхъ и просятъ прощенія“.

Обѣ повѣсти Григоровича были встрѣчены сочувственнымъ отзывомъ Бѣлинскаго. Если разборъ „Деревни“ отличался сдержанностью (благодаря тому, что повѣсть была напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а статья Бѣлинскаго въ „Современникѣ“), то „Антона Горемыку“ Бѣлинскій встрѣтилъ восторженно. Бѣлинскій правильно угадалъ главную черту таланта Григоровича. „Что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это блестящая сторона произведенія Григоровича, — писалъ Бѣлинскій по поводу „Деревни“.— Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла и умѣлъ высказать то и другое въ образахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его „Деревня“—одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго года“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Бѣлинскій находилъ, однако,

что у Григоровича нѣтъ „ни малѣйшаго таланта въ повѣсти“, но есть „замѣчательный талантъ для тѣхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературѣ названіе „физіологическихъ“. Фигуру Акулины критикъ нашелъ „довольно безцвѣтной и неопредѣленной“. Но уже восторженно звучитъ отзывъ о второй повѣсти, когда критикъ не былъ связанъ редакціонными соображеніями. Бѣлинскій даже какъ-будто измѣняетъ свой прежній взглядъ и замѣчаетъ: „Деревня“ и особенно „Антонъ Горемыка“ идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. „Антонъ Горемыка“ — больше, чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ— мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ — лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову тѣснятся мысли грустныя и важныя“. Бѣлинскій въ заключеніе выражаетъ пожеланіе, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ много. „И пусть,—заканчиваетъ критикъ свой отзывъ,—онъ не смущается бранью хулителей; эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта; чѣмъ большая ихъ стая бѣжитъ вслѣдъ успѣха, тѣмъ, значитъ, успѣхъ огромнѣе“. „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ принадлежатъ къ числу лучшихъ произведеній Григоровича. Быть-можетъ, это даже единственныя повѣсти, которыми опредѣляется его почетная роль въ исторіи нашей литературы. Въ нихъ дѣланный сантиментализмъ не такъ чувствуется. Искренній порывъ состраданія къ угнетенному народу, благородное стремленіе добросовѣстно изучить и въ

художественныхъ образахъ запечатлѣть его бытъ составляютъ неотъемлемыя достоинства этихъ двухъ произведеній, которыя остались не только славными памятниками въ исторіи передового барства, но даже и теперь не утратили извѣстнаго обаянія. Но въ этихъ повѣстяхъ Григоровичъ вылился весь. Ему нечего было больше сказать обществу. Его послѣдующіе большіе романы „Рыбаки", „Переселенцы", „Проселочныя дороги", появившіеся въ 50-хъ годахъ, не обладали художественными достоинствами. Григоровичъ не обладалъ чувствомъ мѣры. Онъ не умѣлъ сосредоточить дѣйствія около одной основной интриги, и его романы выходили скучными и растянутыми. Такъ же неудачны были его повѣсти, изображающія бытъ городскихъ интеллигентовъ, пустоту свѣтской жизни, внутренній міръ петербургскихъ фатовъ. Нѣкоторыя достоинства автора, его наблюдательность, тонкіе и мѣткіе отдѣльные штрихи не могли искупить отсутствія глубины и умѣнья широко захватывать изображаемую среду. Правда, въ „Рыбакахъ", „Переселенцахъ" и другихъ повѣстяхъ изъ крестьянской жизни лучшія качества литературнаго таланта Григоровича продолжаютъ сказываться: онъ остается въ нихъ тонкимъ, наблюдательнымъ, талантливымъ живописцемъ, бытописателемъ, гуманнымъ и просвѣщеннымъ врагомъ насилія и рабства. Но въ изображеніи чувствъ мужика, его любви, въ описаніи его признаній звучатъ фальшивыя ноты,—видна рука культурнаго человѣка, переносящаго барскія переживанія въ душу простого человѣка. И недаромъ за этими крестьянами утвердилась репутація „пейзанъ", списанныхъ у Жоржъ Сандъ. Въ 1858 году Григоровичъ совершилъ большое морское путешествіе, результатомъ чего явился „Корабль Ретвизанъ", описаніе этого путешествія. Въ 60-хъ годахъ Григоровичъ прекращаетъ надолго свою литературную дѣятельность и только въ 80-хъ годахъ возвращается

къ ней и пишетъ рядъ разсказовъ. Въ 1893 году появляются его „Литературныя воспоминанія“, въ которыхъ онъ сообщаетъ немало интересныхъ фактовъ о своихъ великихъ современникахъ-писателяхъ, хотя не всегда безпристрастно освѣщаетъ событія. Скончался онъ въ декабрѣ 1899 года.

„Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ проникнуты однимъ настроеніемъ. Безнадежной тоской и безысходнымъ отчаяніемъ вѣетъ отъ этихъ разсказовъ. Изба, жалкая изба горемычнаго Антона—символъ той приниженности, нищеты и горя, которыя свили себѣ гнѣздо въ русской деревнѣ. Эта изба бросалась въ глаза своей ветхостью: одинъ бокъ ея, примыкавшій къ околицѣ, почти сгнилъ до-тла, отчего остальная часть зданія покачнулась и сѣла на ту сторону. Кровля отъ тяжести давившей ее когда-то соломы приняла совершенно другое направленіе: она сползла напередъ и грозила ежеминутнымъ паденіемъ. Трубы не было, ее замѣнялъ глиняный горшокъ съ выбитымъ дномъ для дыму. Деревянный пѣтушокъ, красовавшійся, вѣроятно, въ лучшія времена на макушкѣ крыши, принялъ также свое направленіе во время общаго обвала и уныло свѣсился влѣво. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругомъ глиною, глядѣло невыразимо кисло. Изба со всѣхъ сторонъ подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику-нищему, наступившему на костыли свои, — словомъ, все на ней, какъ говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердцѣ, глядя на это жилище...

Или вотъ другая картина: „Осень. На дворѣ холодно; частый дождь превратилъ улицу въ грязную лужу; густой туманъ затянулъ село, и едва виднѣются, сквозь минутную сквозننину его, ветхія лачуги и обнаженныя нивы. Рѣзкій вѣтеръ раскачиваетъ

ворота и мечетъ по полямъ съ какимъ-то заунывнымъ болѣзненно хватающимъ за сердце воемъ груды пожелтѣвшихъ листьевъ. Улица пуста,—ни живой души... Все живущее прячется кто куда можетъ, лишь бы укрыться отъ холода и ненастья"... И только иногда въ упоительный лѣтній день слышится ликованіе во всей природѣ, во всемъ мірѣ, „все трепещетъ жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растеніе издаетъ какой-то шелестъ, сливающійся въ стройную, нѣжную гармонію; все, на что устремляются взоры, наполняетъ душу радостнымъ, непостижимо-прекраснымъ чувствомъ". Но и это ликованіе природы только ярче оттѣняетъ безпросвѣтную тоску деревни, бездонное море крестьянскихъ слезъ. Эти грустныя картины—лучшіе моменты обѣихъ повѣстей. Въ нихъ звучитъ больше участія къ меньшему брату, чѣмъ въ „Запискахъ охотника" или въ „Утрѣ помѣщика". Въ нихъ нѣтъ идиллическаго благодушія и патріархальнаго примиряющаго чувства, которое смягчало тоску передового барства. Мракъ, безпросвѣтный мракъ окуталъ деревню въ изображеніи Григоровича. Нигдѣ ни одной смягчающей краски. Ни одного свѣтлаго явленія, на которомъ могъ бы отдохнуть взоръ читателя. И если мрачныя картины разсчитаны на то, чтобы пробудить состраданіе въ сердцахъ угнетателей, а не злобу и месть въ сердцахъ угнетенныхъ, то онѣ выполняютъ эту задачу съ успѣхомъ. Авторъ не щадитъ нервовъ читателей, онъ разрываетъ его сердце потрясающими картинами, и эти картины явились во-время, когда сотрясался уже старый хозяйственный строй. Онѣ были симптомомъ, показателемъ и раньше попытокъ Нехлюдова и тоски Рудина озарили муки проснувшейся дворянской совѣсти.

Мрачное настроеніе, проникающее обѣ повѣсти, составляетъ ихъ основную черту. Но это настроеніе не превращаетъ автора въ тенденціознаго писателя,

искажающаго дѣйствительность въ угоду идеѣ. Напротивъ, Григоровичъ былъ писатель-реалистъ прежде всего. Онъ—почти собиратель документовъ, касающихся народнаго быта. Онъ пользуется каждымъ фактомъ для того, чтобы сообщить читателю то или другое свѣдѣніе относительно народныхъ обычаевъ и иногда изъ роли художника переходитъ въ роль этнографа. Этотъ интересъ къ народному быту, это стремленіе къ изученію народной жизни, такъ долго бывшей въ пренебреженіи у высшихъ классовъ, является второй характерной чертой творчества Григоровича. Не только славянофилы, обогатившіе русскую литературу цѣнными трудами, касавшимися различныхъ сторонъ народной жизни, — всѣ бросились изучать ее въ эпоху, когда явилась необходимость заплатить свой долгъ передъ русскимъ крестьяниномъ. Григоровичъ въ этомъ отношеніи, — быть-можетъ, наиболѣе характерный писатель эпохи. Мы уже видѣли, какъ добросовѣстно онъ изучилъ деревню, прежде чѣмъ приступилъ къ своей работѣ. И дѣйствительно, въ его повѣстяхъ немало интересныхъ свѣдѣній. Разсказывая о томъ, какъ послѣ смерти скотницы, ея родственницы рѣшили жребіемъ опредѣлить, кому достанется оставшаяся послѣ нея сиротка, — авторъ сообщаетъ, что этотъ способъ рѣшаетъ въ деревняхъ всякаго рода недоразумѣнія. У него же мы находимъ свѣдѣнія въ родѣ слѣдующаго: „Слово *авось* играетъ у насъ, какъ извѣстно, и понынѣ весьма важную роль и прикладывается русскимъ мужикомъ не только къ его собственному житью-бытью, но даже къ житью-бытью дѣтей его. Самый нѣжный отецъ, самая заботливая мать съ невыразимой безпечностью представляютъ свое дѣтище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическомъ развитіи ребенка, которое считается у нихъ главнымъ и въ то же время единственнымъ, ибо ни о какомъ другомъ и мысль не заходитъ

имъ въ голову. Не успѣетъ еще ребенокъ освободиться отъ пеленъ, какъ уже поручаютъ его сестрѣ, дѣвчонкѣ лѣтъ четырехъ или пяти, которая нянчится съ нимъ по-своему, т.-е. мнетъ и теребитъ его во сколько хватаетъ силенки, а иногда такъ пристукнетъ, что и черезъ двадцать лѣтъ отзовется". Эти свѣдѣнія были открытіемъ для русскаго общества, которое впервые узнавало о томъ, что милліоны дѣтей оставались безъ призора, что дѣти, отмораживающія себѣ ноги, забоданныя быками, тонущія въ ушатѣ или раздавленныя крестьянской телѣгой, представляютъ обычныя явленія въ крестьянскомъ быту. Эта черта творчества Григоровича была чертой того благороднаго реализма, который Бѣлинскій сумѣлъ опредѣлить благодаря появленію этой новой литературы послѣ Гоголя. Это былъ тотъ реализмъ, который ставитъ задачей художественной литературы собираніе документовъ о человѣкѣ и обществѣ. Этотъ реализмъ расширилъ содержаніе литературы до необъятныхъ предѣловъ, низвелъ ее изъ сферы барскихъ чертоговъ и возвышенныхъ чувствъ въ безпросвѣтный мракъ народнаго невѣжества и горя. Это былъ тотъ реализмъ, который уничтожилъ рѣзкую границу, отдѣляющую науку отъ литературы, и превратилъ писателя въ ученаго изслѣдователя. И именно этотъ реализмъ сдѣлалъ литературную дѣятельность общественнымъ служеніемъ, потому что изображать правдиво бытъ народа, это значило звать къ борьбѣ: факты сами говорили за себя.

Первая повѣсть, „Деревня", раскрываетъ передъ нами главнымъ образомъ семейную жизнь крѣпостного крестьянства и наивное безсердечіе дореформеннаго барства. Безчеловѣчный поступокъ помѣщика производитъ тѣмъ болѣе потрясающее впечатлѣніе, что совершившій его не понималъ того, что творилъ. Онъ не былъ въ сущности злымъ человѣкомъ и, быть-

можетъ, искренне вѣрилъ, что устраиваетъ настоящую счастливую семью. Случайно баринъ, проводившій обыкновенно лѣто за границей или на дачѣ, заглянулъ въ свою деревню, случайно попалась ему на глаза злополучная Акулина, и не въ добрый для нея часъ вздумалъ кузнецъ Силантій просить барина, чтобы пожаловалъ онъ ему невѣсту. И не вздумай баринъ заѣхать въ свое имѣніе, протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ея „тихо, безъ треволненій и переворотовъ". Но капризъ барина и его молодой супруги съ трогательными филантропическими наклонностями превратилъ жизнь Акулины въ ужасную трагедію. Кузнецъ хотѣлъ женить своего сына на дѣвкѣ изъ сосѣдней деревни, а капризъ барина заключался въ томъ, чтобы женить его на дѣвкѣ изъ своей деревни, а такъ какъ онъ случайно вспомнилъ объ Акулинѣ, то и приказалъ кузнецу обвѣнчать своего сына съ нею. Авторъ тонко обрисовалъ добродушіе наивнаго деспота, обрушившаго тяжелый ударъ на цѣлую семью, превратившаго въ адъ жизнь двухъ существъ. Тщетно старуха Силантія обнимала ноги барина „съ плачемъ и воплемъ" и умоляла его „не губить парня". Помѣщикъ прогналъ „глупую бабу". Акулина подстерегала барина, собираясь просить его о пощадѣ, но каждый разъ, какъ она видѣла его, рѣшимость покидала ее: „затаивъ дыханіе, дрожа какъ осиновый листъ, пропускала она его мимо, давъ себѣ слово въ слѣдующій же разъ безъ обиняковъ броситься въ ноги къ нему и прямо разсказать, въ чемъ дѣло. Но много разъ на день являлись такіе случаи, и тысячу разъ результатъ выходилъ одинъ и тотъ же". Она не смѣла даже шевельнуться, боясь обратить на себя его вниманіе. Трагическое впечатлѣніе усиливается тѣмъ, что помѣщикъ былъ „человѣкъ добрый, благонамѣренный и отнюдь не давалъ своимъ подчиненнымъ повода трепетать въ

его присутствіи". Онъ шелъ себѣ спокойно, „слегка покуривая сигару, безпечно поглядывая на стороны и не подозрѣвая даже, чтобы за сосѣднимъ плетнемъ или обвалившеюся перегородкой могло происходить что-либо подобное". Барыня, которую едва удалось заманить на лѣто въ деревню, между прочимъ соблазномъ филантропической дѣятельности среди крестьянъ, сначала заинтересовалась судьбою Акулины. Но едва началось вѣнчаніе, она „чувствовала тоску и сильный позывъ къ зѣвотѣ; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три тому назадъ, казалась ей весьма скучнымъ удовольствіемъ; невѣста была глупа и выглядывала настоящимъ уродомъ, женихъ и того хуже". Господа уѣхали домой, а вскорѣ навсегда покинули свою деревню, оставивъ страдать двухъ чуждыхъ другъ другу людей, которыхъ на всю жизнь связала ихъ барская прихоть, подаривъ имъ на прощаніе бѣленькую бумажку и заповѣдавъ жить „мирно и дружно".

Таковы помѣщики въ изображеніи Григоровича. Крестьяне вышли не лучше. Отсутствіе человѣческаго достоинства и какого-нибудь нравственнаго начала, невѣжество и пьянство, воровство и звѣрское безсердечіе,—только эти черты подмѣтилъ авторъ въ крестьянскомъ быту. „Деревня" — печальная картина семейной жизни. Первый день замужества Акулины вполнѣ выразилъ всю ея жизнь, все, что ожидало ее въ будущемъ. Вернувшись домой пьянымъ, Григорій хватилъ ее за волосы и однимъ движеніемъ руки повергъ на землю. „Бѣшенство, казалось, обуяло Григорія; тутъ все разомъ завозилось въ головѣ его: и неволя, съ которою онъ женился, и постороннія непріятности, и хмель, происшествіе утра, — кровь путала его; сначала долго возилъ онъ бѣдную женщину взадъ и впередъ по избѣ, самъ не замѣчая, что безпрерывно стукался по угламъ и прилавкамъ, и, нако-

нецъ, потащилъ ее вонъ". Акулина — типъ забитой русской крестьянки, переходящей изъ однѣхъ рукъ въ другія, типъ, точно выхваченный изъ народной русской пѣсни, поющей о неволѣ и горькой долѣ женщины, выданной замужъ за нелюбимаго человѣка. И недаромъ эпиграфы къ различнымъ главамъ авторъ взялъ изъ народныхъ пѣсенъ:

Ахъ, раскройся, мать-сыра земля,
Поглоти меня, несчастную!..
Ахъ, не жаль-то мнѣ роду-племени,
Не жаль-то мнѣ родимой сторонушки:
Мнѣ жаль-то малое дитятко;
Останется дитятко малешенько,
Малешенько дитятко, глупешенько,
Натерпится холода и голода.

Каждая глава — иллюстрація къ этимъ отрывкамъ. И въ результатѣ этой подневольной жизни — живой трупъ. Черезъ четыре года послѣ замужества трудно было узнать Акулину. „Оставалась только сухая, отцвѣтшая кожа да страшно выглядывавшія кости. Блѣдное лицо, изнуренное тяжкой жизнью и безвременьемъ, покрылось морщинами; скулы сильно выступили подъ мутными впалыми глазами, и вообще по всей физіономіи проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднѣлось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать въ ней и тѣни былого. Поступь ея стала медленна; идучи, она безпрерывно останавливалась, прикладывала свою тощую руку къ груди, и вслѣдъ за тѣмъ слышался тяжелый, жестокій долго не прерывавшійся кашель. Она, видимо, чахла"... И когда умирала Акулина, ея послѣдняя мольба была объ ея дѣвочкѣ Дунькѣ: „не бей ее". Любовь къ Дунькѣ — единственная свѣтлая точка въ этой мрачной картинѣ. Повѣсть заканчивается потрясающей сценой похоронъ. Въ страшную вьюгу повезъ пьяный Григорій убогій гробъ на кладбище, и вдругъ среди

завыванія вѣтра и шума мятелицы услышалъ крики. То бѣжала за гробомъ Дунька. А вьюга становилась все сильнѣе да сильнѣе; снѣжные вихри и ледяной вѣтеръ преслѣдовали младенца и забивались ему подъ худенькую его рубашонку и обдавали его посинѣвшія ножки, и повергали его въ сугробы... но онъ все бѣжалъ, все бѣжалъ... вьюга все усиливалась, вой вѣтра становился слышнѣе и слышнѣе; то взрывалъ онъ снѣжные хребты и яростно крутилъ ихъ въ замутившемся небѣ, то гналъ передъ собою необозриныя тучи снѣга и, казалось, силился затопить въ немъ поля, лѣса и все Кузьминское со всѣми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами"...

„Антонъ Горемыка" служитъ дополненіемъ этой печальной повѣсти, въ которой освѣщенъ семейный бытъ крестьянина и наивная жестокость барства. Во второй повѣсти предъ нами раскрывается весь ужасъ безправія и произвола, жертвой котораго сдѣлался обездоленный горемыка. Управляющій Никита Ѳедоровичъ самой внѣшностью своей производилъ отвратительное впечатлѣніе. На первый взглядъ не было ничего отталкивающаго въ „важности и спокойной гордости", стоявшей всегда въ чертахъ этого человѣка, „сознающаго въ себѣ чувство собственнаго достоинства"; его фигура, напротивъ того, имѣла какую-то пріятную соразмѣрность, даже стройность и была чрезвычайно характерна. „Но если всмотрѣться хорошенько,—говоритъ авторъ,—нельзя было не прочесть въ этихъ сѣрыхъ бойкихъ глазахъ, въ этой толстой круглой головѣ, важно закинутой назадъ, въ этихъ толстыхъ раздувшихся губахъ что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкаго, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцевъ, богатой избалованной дворни или аристократической передней". Просить

милости у Никиты Ѳедоровича было совершенно напраснымъ дѣломъ. Мужики прекрасно знали это и называли его „колотырникомъ“. Дрался управляющій безъ всякаго повода, колотилъ и бабъ, и мужиковъ; „просто, здорово живешь, казнитъ нашего брата“,—разсказывали про него крестьяне. Карьеру свою онъ сдѣлалъ нечистыми путями. Старый баринъ выдалъ за него свою любовницу. Она и выпросила для своего мужа мѣсто управляющаго. Въ безконтрольное распоряженіе этого человѣка была отдана судьба сотенъ людей. Тяжелая картина безправія и насилія раскрывается въ разсказѣ одного изъ мужиковъ. Послѣ смерти стараго барина молодые господа, сынъ и дочь его, поселились въ Петербургѣ. Они никогда не заглядывали въ свою деревню, и смущенный крестьянскій умъ не винилъ ихъ: „они рады бы, можетъ, особливо баринъ, въ чемъ помочь мужикамъ своимъ, да вишь отъ нихъ все шито да крыто; имъ сказываютъ: то хорошо, другое хорошо, знато, молъ, жить вашимъ крестьянамъ, ну, и ладно, они тому и вѣрятъ, а господа хорошіе, грѣхъ сказать“. Они души не чаяли въ управляющемъ. Доведенные до отчаянія, мужики отправили къ господамъ жалобу. Но письмо не дошло по назначенію, такъ какъ Никита Ѳедоровичъ имѣлъ своихъ друзей при господахъ. Узнавъ о жалобѣ, управляющій созвалъ мужиковъ и потребовалъ назвать виновника. Трепеща отъ ужаса, мужики почему-то рѣшили сдѣлать козломъ отпущенія Антона: „маленько мы поплошали, тогда сробѣли“. Съ тѣхъ поръ началась казнь Антона. Его брата Ермолая, женатаго парня, Никита Ѳедоровичъ „записалъ въ первое рекрутство“, а Антона сталъ тягать на барщину безъ перерыва. Запустилъ Антонъ собственную землю, братнина семья у него же на рукахъ осталась. Далѣе, у Антона отняли его участокъ земли и дали ему самый плохой во всей вотчинѣ. Сталъ разоряться нѣкогда зажиточный

мужикъ, сталъ продавать то лошадку, то корову, то овцу. И продавалъ за безцѣнокъ, такъ какъ управляющій не пускалъ его въ городъ, и приходилось сбывать все въ деревнѣ, гдѣ неимущіе мужики платили гроши. „Такъ-таки совсѣмъ и разорилъ его, — заканчиваетъ свой разсказъ крестьянинъ, — довелъ дотолѣва, что не осталось у него въ домѣ ни полщепочки, живетъ какъ бы день къ вечеру, и голодную собаку нечѣмъ стало изъ-подъ лавки выманить". По отношенію къ господамъ Никита Ѳедоровичъ держится искусной политики. Онъ прекрасно изучилъ ихъ и знаетъ, какъ вести себя, чтобы сохранить ихъ безусловное довѣріе. Собравъ оброкъ, онъ не посылаетъ денегъ барину, такъ какъ черезъ своего брата, состоящаго при баринѣ, знаетъ, что деньги ему теперь не нужны и что баринъ „опять сталъ ѣздить на игру". Меня не учить,—говоритъ Никита Ѳедоровичъ женѣ,—я вѣдь знаю, какъ съ ними справляться, съ господами-то: „нѣтъ у меня денегъ", написалъ ему, да и баста! „паръ, молъ, сударь, не запаханъ, овсы не засѣяны, греча перепрѣла", вотъ тебѣ и все; покричитъ, покричитъ, да и перестанетъ; развѣ они дѣло разумѣютъ; имъ что греча, что овесъ, что пшеница— все одно, а про чечевицу и не спрашивай... имъ вотъ только шуры-муры, рюши да трюши, да знай, денежекъ посылай; на это они лакомки". И, пользуясь этой небрежностью помѣщиковъ, Никита Ѳедоровичъ хозяйничаетъ въ полуразоренномъ имѣніи, беретъ взятки съ мельника, которому мирволитъ, и позволяетъ спаивать народъ, и всѣми способами обогащается на счетъ своего барина.

Задача повѣсти заключалась въ томъ, чтобы тронуть сердце читателя трагической участью Антона, жертвы безправія. Управляющій приказалъ Антону продать послѣднюю лошадь и внести подушныя. Поѣздка горемыки въ городъ, кража его лошади и без-

помощное состояніе мужика — лучшіе эпизоды повѣсти. Судъ, законъ, полиція — все, что могло помочь Антону, все, что питалось каторжнымъ трудомъ его и его собратьевъ, — все это оказалось чуждымъ, неприступнымъ, непонятнымъ и далекимъ въ минуту крестьянскаго горя. „Слушай, Антонъ, коли такъ, вотъ что ты сдѣлай: бѣги прямо въ судъ, никого не слушай, ступай какъ есть въ судъ“. И этотъ наивный совѣтъ мужика, и совѣты другихъ мужиковъ, называющихъ наиболѣе извѣстные притоны конокрадовъ, звучатъ насмѣшкой надъ бѣдой Антона. Гдѣ-то существовала чиновная и бюрократическая Россія, поглощавшая плоды труда милліоновъ крестьянъ, гдѣ-то сидѣли чиновники, скрипѣли перья, писались бумаги, раздавались чины и награды, и никому не было вѣдомо, что общаго между этой командующей канцелярской Россіей и той тяжкой повседневностью, которая угнетала стомилліонный народъ. Чувствовалъ ли Григоровичъ, въ чемъ заключалось основное зло? Имѣлъ ли онъ въ виду объявить безпощадную войну крѣпостному праву и безконтрольной бюрократіи и дать выходъ тому настроенію, которое вскорѣ пріобрѣло опредѣленную фоумулировку въ ушахъ всѣхъ мыслящихъ людей: „отмѣна рабства“. Стоитъ прислушаться внимательно къ общему тону повѣстей, мы увидимъ, что онѣ являются не чѣмъ инымъ, какъ однимъ изъ аккордовъ той общей покаянной пѣсни, которую пѣли представители передового барства. Вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права даже не затрогивается въ повѣстяхъ. Если даже принять въ расчетъ цензурныя искаженія, то и то придется вывести заключеніе, что „Антонъ Горемыка“ направленъ не противъ помѣщиковъ, а противъ управляющаго, что авторъ имѣлъ въ виду не столько самый институтъ крѣпостничества, сколько злоупотребленія, возникавшія на его почвѣ. Можно подумать, что Григоровичъ не сознавалъ, что са-

мый фактъ существованія рабства влечетъ за собою, въ качествѣ неизбѣжнаго слѣдствія, и нищету, и побои, и произволъ. Повѣсти Григоровича давали богатый матеріалъ для выясненія необходимости назрѣвшей реформы, онѣ могли служить могучимъ оружіемъ въ рукахъ противниковъ крѣпостного права, ихъ революціонизирующее вліяніе не подлежитъ сомнѣнію. Но едва ли можно спорить о томъ, что самъ авторъ больше былъ занятъ мыслью объ исправленіи помѣщиковъ, о возвращеніи ихъ къ ихъ обязанностямъ въ деревнѣ, чѣмъ мыслью объ уничтоженіи власти помѣщиковъ надъ крестьянами. Онъ писалъ не для угнетаемыхъ, а для угнетателей. Его „Деревня" преслѣдовала только одну цѣль. Она должна была сказать помѣщикамъ: „не поступайте такъ, какъ поступилъ Иванъ Гавриловичъ, не пропадайте по цѣлымъ годамъ вдали отъ своихъ деревень, живите здѣсь, на мѣстѣ, вдумывайтесь глубже въ нужды и интересы крестьянъ, не относитесь къ нимъ съ той барской небрежностью, съ какой отнесся къ Акулинѣ ея баринъ, и ваши имѣнія будутъ процвѣтать, крестьяне будутъ благоденствовать, и совѣсть ваша будетъ чиста". Какое другое значеніе могутъ имѣть эти постоянныя указанія на то, что основной причиной всѣхъ несчастій крестьянства является отсутствіе помѣщиковъ, ихъ невниманіе къ нуждамъ своихъ рабовъ. И въ первой, и во второй повѣсти къ этой первопричинѣ сводится трагедія главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Плохо приходилось мужику и тогда, когда господа не заглядывали въ свои усадьбы по цѣлымъ годамъ, и тогда, когда, отвыкнувъ отъ нихъ, они являлись неожиданно, и своимъ случайнымъ вмѣшательствомъ въ жизнь деревни,— вмѣшательствомъ, не основаннымъ на глубокомъ изученіи ея нуждъ,—наносили ей удары. Именно эта идея сквозитъ въ тѣхъ ироническихъ словахъ, въ которыхъ авторъ говоритъ объ Иванѣ Гавриловичѣ. „Ему уже,

правда, давно приходила мысль заглянуть туда (въ свое имѣніе) хоть разъ, посмотрѣть, все ли шло тамъ должнымъ порядкомъ, да какъ-то все не удавалось: то какъ на-зло одолѣютъ ревматизмы, и надо покориться волѣ врача, предписавшаго непремѣнную поѣздку въ Баденъ или Карлсбадъ, а оттуда въ Парижъ, гдѣ, по словамъ врача, только и можно было ожидать окончательнаго выздоровленія; то опять являлись какія-нибудь домашнія обстоятельства: жена родила, или общество, въ которомъ баринъ былъ однимъ изъ любезнѣйшихъ членовъ, переселялось почти на все лѣто въ Петергофъ, или на Каменный Островъ на дачи, или же просто не случалось вдругъ ни съ того, ни съ сего денегъ у нашего барина". Эта же идея слышится и въ словахъ мужиковъ, разсуждающихъ послѣ несчастья, случившагося съ Антономъ: „кабы они (т.-е. господа) здѣсь жили или понавѣдывались, примѣрно, хоть на-время, такъ ина была бы причина".

Если искать положительнаго идеала у Григоровича, то мы увидимъ, что этотъ идеалъ (хотя, быть-можетъ, не такъ ясно, какъ у Толстого) вырисовывается въ видѣ помѣщика-хозяина, въ родѣ Левина,—помѣщика, умѣющаго раціонально вести свое хозяйство, хранящаго въ своей душѣ вѣковую традицію о долгѣ дворянства, какъ руководящаго класса. Какъ ни различны воззрѣнія Тургенева, Толстого и Григоровича, но въ этихъ воззрѣніяхъ есть общая основа: всѣ трое ищутъ исхода въ деревнѣ, въ сложившихся вѣками отношеніяхъ, всѣ трое враждебны или чужды вновь возникающимъ формамъ жизни. У Тургенева крупный предприниматель-буржуа обрисованъ блѣдно; фабрику онъ изрѣдка покажетъ читателю, но какъ нѣчто отдаленное, для него самого еще неясное и неопредѣлившееся; рабочихъ мы не видимъ у Тергенева, если не считать двухъ—трехъ мимоходомъ брошенныхъ фразъ объ ихъ отношеніи къ Соломину. Зато тоску дворян-

ской души, ушедшей отъ земли, рвущейся къ дѣлу, муки дворянина, пытающагося пахать землю, онъ знаетъ и вскрываетъ во всѣхъ самыхъ скрытыхъ тайникахъ. Толстому не только чужды, но враждебны и непріятны новые классы общества, которымъ суждено было исторіей занять мѣсто сходящаго со сцены земледѣльческаго барства. Онъ тенденціозно изображаетъ Рябининыхъ и Болгариновыхъ, въ качествѣ людей, принесшихъ въ міръ идею голаго „чистогана" на мѣсто идеаловъ труда, на мѣсто нравственныхъ исканій, которыхъ носителями у Толстого всегда являются представители родовитаго и богатаго дворянства. Мучительные вопросы, терзавшіе русское общество, и Тургеневъ, и Толстой стремились разрѣшить въ деревнѣ, игнорируя или не понимая другія общественныя группы. Григоровичъ въ этомъ смыслѣ дополняетъ кругъ идей, въ которомъ вращалось передовое дворянство эпохи.

Авторъ „Деревни" наполняетъ цѣлыя страницы своихъ романовъ параллельными характеристиками крестьянъ и фабричныхъ, причемъ всѣ его симпатіи на сторонѣ прежняго крѣпостническаго уклада. Характерно, что писатель создавшій „Антона Горемыку", показавшій безысходный мракъ и безнадежное горе крестьянской жизни, тѣмъ не менѣе боится разстаться съ укладомъ, создавшимъ эти ужасы, когда дѣло доходитъ до рѣшительнаго слова. Онъ съ ненавистью рисуетъ разлагающее вліяніе фабрики на деревню. Казалось бы, послѣ „Деревни" и „Антона Горемыки" можно было бы не жалѣть о гибели этого стараго міра. Но, изобразивъ правдиво неприглядную жизнь деревни, Григоровичъ старается удержать этотъ старый міръ, какъ только столкнулся съ новой силой, грозящей ему гибелью. Онъ пишетъ большой романъ изъ деревенской жизни „Рыбаки", гдѣ излагаетъ результатъ своихъ наблюденій надъ „мужикомъ-фабричнымъ, промѣ-

нявшимъ соху на челнокъ, ниву на станъ, и мужикомъ-пахаремъ, который остался вѣренъ землѣ-кормилицѣ". Вотъ эти результаты: „Первое впечатлѣніе при въѣздѣ въ пахотную деревню будетъ, если хотите, не совсѣмъ выгодно: тутъ не увидите вы ситцевыхъ рубашекъ, самоваровъ, синихъ кафтановъ, не увидите гармоній и смазныхъ сапоговъ; но все это въ сущности одна только пустая внѣшность, которая можетъ обмануть поверхностный, далеко не наблюдательный взглядъ. Взамѣнъ всего этого пахотная деревушка, подобно плоской однообразной нивѣ чернозема, засѣянной свѣжимъ неиспорченнымъ зерномъ, сохраняетъ подъ скромной наружностью самыя добрыя сѣмена. Тутъ только найдете вы ту простую безхитростную жизнь, тотъ *истинно здравый житейскій смыслъ, который заключается въ безусловной покорности и полномъ примиреніи съ скромной долей, опредѣленной Провидѣніемъ;* тутъ видна домашняя, семейная жизнь, которая для всякаго человѣка,— тѣмъ болѣе для простолюдина,— служитъ залогомъ истиннаго счастья". Едва ли нужно доказывать, что Григоровичъ идеализируетъ въ подчеркнутыхъ нами словахъ тѣ же черты, которыя увѣковѣчилъ Тургеневъ въ лицѣ Касьяна и Лукерьи, а Толстой—въ лицѣ Платона Каратаева. Всѣ три писателя, гуманные противники рабства, благородные искатели правды и поборники счастья народнаго, не могли выйти изъ заколдованнаго круга деревни и, можетъ-быть, безсознательно воплощали съ особенной любовью тотъ идеалъ смиренія и покорности, который какъ-разъ выросъ на почвѣ крѣпостническаго строя. Всѣ трое чувствовали, что гдѣ-то создается новый укладъ отношеній, но, воспитавшись въ обстановкѣ усадебной культуры, всѣ трое не отнеслись къ нему съ надлежащимъ вниманіемъ, не поняли, что именно тамъ куются формы будущей жизни, что тамъ нужно искать разрѣшенія мучительныхъ вопросовъ. Тургеневъ не

могъ понять этого новаго міра и кончилъ пессимизмомъ. Толстой отвергъ его, и когда этотъ міръ возникъ на развалинахъ стараго, прошелъ мимо него, объявилъ ложью кипѣвшую внутри его борьбу, его горе и радости, остался одинокимъ сектантомъ, стоящимъ внѣ широкой и шумной дороги жизни. Григоровичъ кончилъ фальшивой идеализаціей крестьянства имъ же описаннаго въ мрачныхъ, но правдивыхъ красскахъ въ его первыхъ произведеніяхъ. „Рыбаки"—яркій примѣръ этого сантиментальнаго народничества. Это—обвинительный актъ противъ зачинающейся промышленной жизни и безсильныя попытки спасти умирающее. Въ фабричныхъ деревняхъ,—говоритъ авторъ „Рыбаковъ",—почти нѣтъ семейной жизни: здѣсь дѣти восьмилѣтняго возраста поступаютъ уже на фабрику къ какому-нибудь московскому или коломенскому купцу. Дурные примѣры губятъ молодое поколѣніе. Рабочіе отвыкаютъ отъ семьи, развратъ свиваетъ себѣ среди нихъ прочное гнѣздо. И въ то же время авторъ чувствуетъ, что „развитіе промышленности сильнѣйшимъ образомъ способствуетъ развитію матеріальнаго благосостоянія народа".

Этой идеей о разлагающемъ вліяніи фабрики проникнутъ романъ „Рыбаки". Всѣ отрицательныя черты рабочаго, какъ онѣ представляются Григоровичу, воплощены въ лицѣ Захара, который оказываетъ гибельное вліяніе на Гришку, пріемыша стараго рыбака Глѣба. Семья Глѣба—образецъ трудовой нравственной семьи, гдѣ все держится прочностью традиціи и семейнаго начала, повиновеніемъ главѣ семьи, Глѣбу, человѣку крутому, но трудолюбивому и сильному. Глѣбъ суровъ только къ праздности и пьянству, но онъ всегда готовъ поддержать работающаго и полезнаго человѣка. И Глѣба боятся всѣ. Даже самъ Захаръ, бравирующій передъ всѣми, робѣетъ передъ Глѣбомъ. Захаръ — „питомецъ фабрики", и его исто-

рія, это—исторія превращенія крестьянскаго мальчика въ негодяя подъ вліяніемъ условій фабричнаго труда. Съ семи лѣтъ до восемнадцати онъ просидѣлъ безвыходно за миткалевымъ станомъ. Когда дядя, „человѣкъ строгій, кредитный“, взялъ его къ себѣ, было уже поздно: Захаръ былъ испорченъ, волокитство и разныя продѣлки были его любимымъ занятіемъ. Не помогла и женитьба, при помощи которой дядя думалъ вернуть парня на истинный путь. Послѣ смерти дяди и жены Захаръ пошелъ снова по фабрикамъ и пріобрѣлъ отвратительныя замашки и самомнѣніе. Онъ занимался своей наружностью, гордился своими „побѣдами надъ прекраснымъ поломъ“, научился хвастаться и имѣлъ особыя наглыя манеры и развязный тонъ. Онъ научилъ Гришку пьянству и разврату, и „польстился, какъ выразился Глѣбъ, на жену его“. И въ противоположность Захару, вносящему деморализацію въ деревню, Ваня, сынъ Глѣба, долженъ воплощать ту народную правду, которая хранится только въ деревнѣ. Ваня жертвуетъ собою ради Гришки, которому уступаетъ любимую дѣвушку Дуню и за котораго идетъ въ солдаты. Когда возмущенный Глѣбъ, уже опредѣлившій мысленно въ солдаты Гришку, чуть не съ кулаками бросается на сына, Ваня говоритъ: „Выслушай меня, батюшка, слова мои, можетъ статься, батюшка, горькими тебѣ покажутся... Я, батюшка, во вѣки-вѣковъ не посмѣлъ бы передъ тобою слова сказать такого; да нужда, батюшка, заставила!.. Я, батюшка, пришелъ переговорить съ тобою о Гришкѣ... Батюшка, что ты дѣлаешь? опомнись... Зачѣмъ же ты тогда воспиталъ его? Затѣмъ ли поилъ, кормилъ, растилъ его, чтобы потомъ за насъ, за сыновей твоихъ, отвѣтъ держалъ... Батюшка, что ты хочешь дѣлать? опомнись. Вѣдь это выходитъ, батюшка, дѣлами добрыми торговать... Не бери, батюшка, тяжкаго грѣха на свою душу!.. Господь благословилъ насъ, берегъ

твой домъ, далъ тебѣ достатокъ... самъ ты сколько разъ говорилъ объ этомъ... Господь отступится отъ насъ за такое дѣло! Достатокъ твой не будетъ тогда Божьимъ благословеніемъ, все пойдетъ прахомъ—все назадъ возьметъ! за то и берегъ „Онъ“ насъ. Самъ же ты говоришь, что жили по правдѣ!“ И не столько въ этой проповѣди сына, сколько въ дѣйствіи, произведенномъ ею на крутого старика, сказывается искусственность и фальшь, столь свойственныя Григоровичу въ его разсказахъ послѣ „Деревни“ и „Антона Горемыки“. Трудно повѣрить, что суровый Глѣбъ, никогда не измѣнявшій своихъ рѣшеній, подъ вліяніемъ словъ сына сдѣлалъ ошибку, имѣвшую гибельныя послѣдствія для всей семьи. Заслуга Вани еще увеличивается тѣмъ, что онъ никому не разсказывалъ о величіи своей жертвы. Никто не узналъ, что Ваня любилъ Дуню, что онъ могъ достичь счастья, потому что родители обоихъ уже рѣшили сосватать ихъ, что онъ уступилъ ее Гришѣ, рѣшивъ не быть имъ помѣхой, и т. д. „Такъ простой русскій человѣкъ совершаетъ всегда великодушные поступки!“ Этими фальшиво звучащими словами заканчиваетъ авторъ разсказъ о жертвѣ Вани. Нѣтъ надобности доказывать, что цѣлые томы подобныхъ восклицаній не могутъ сравниться съ одной фигурой Каратаева въ смыслѣ достиженія тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдовалъ авторъ. Критика давно уже установила, насколько искусственны нѣжные и добродѣтельные пейзане Григоровича, и его значеніе въ литературѣ опредѣляется главнымъ образомъ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, занимающими почетное мѣсто среди памятниковъ покаянія и тоски передовой части русскаго барства.

Тургеневъ, Толстой и Григоровичъ увѣковѣчили великій моментъ въ исторіи русской общественной мысли. Но характеристика этого момента была бы не-

полна, если бы мы не остановились на другомъ крупномъ теченіи въ русской литературѣ той эпохи. Мы имѣемъ въ виду то эстетическое направленіе, которое тоже звало въ сторону отъ жизни, звало въ міръ фантазіи, по ту сторону земли. Оно имѣло своимъ источникомъ то же недовольство дѣйствительностью, и лучшими представителями его также были отпрыски старинныхъ дворянскихъ фамилій.

Оглавленіе.

Стр.

ОТДѢЛЪ IV.

Кающееся дворянство.— Лишніе люди.—И. С. Тургеневъ.—Л. Н. Толстой.—Д. В. Григоровичъ.

I. Роль дворянства въ литературѣ 40-хъ и 60-хъ годовъ.—Появленіе разночинца въ литературѣ.—Его происхожденіе и міровоззрѣніе.—Зарожденіе крупной буржуазіи.—Идеологія дворянства и отношеніе писателей-дворянъ къ разночинской идеологіи: Тургеневъ.—Эстетическое направленіе: Тютчевъ, Фетъ и Майковъ.—Изображеніе буржуазіи въ литературѣ: Островскій и Гончаровъ.—Роль разночинцевъ въ исторіи развитія русской литературы. 7

II. Тургеневъ. — Впечатлѣнія дѣтства и юности.—Крѣпостное право, усадебная обстановка, университетъ, Бѣлинскій.—«Записки охотника» и аннибалова клятва.—Роль „Записокъ охотника" въ развитіи антикрѣпостническихъ идей. — Разсказы, проникнутые духомъ протеста противъ крѣпостного права.—Разсказы, освѣщающіе лучшія черты русскаго крестьянства, его идеализмъ, его нравственныя представленія и творческую силу 24

III. „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда" и „Дневникъ лишняго человѣка". — Происхожденіе и міросозерцаніе „лишняго человѣка".—„Рудинъ". — Настроеніе, господствующее въ этомъ романѣ.—Гегеліанство Рудина. — Воспитаніе и исторія Рудина.—Праздность и кружки.—Паѳосъ и краснорѣчіе Рудина.—Его практическія попытки и безсиліе. —Отношеніе автора къ герою и роль Рудиныхъ въ жизни. —„Дворянское гнѣздо", какъ лучшее выраженіе тургеневскихъ настроеній.—Воспитаніе Лаврецкаго. — Практическая дѣятельность Лаврецкаго.—Дала ли она ему удовлетвореніе? 50

IV. Тургеневъ и Віардо.—Разрывъ съ русскимъ обществомъ.—Примиреніе съ обществомъ и послѣдніе годы жизни.—Общее настроеніе, которымъ проникнутъ романъ „Накануне". — Инсаровъ среди русскихъ интеллигентовъ.—Характеристика Инсарова.—Заглавіе романа.—Происхожденіе „Отцовъ и дѣтей", отношеніе Тургенева и критики къ Базарову.—„Отцы": Павелъ Петровичъ Кирсановъ. — Міросозерцаніе Базарова и характеръ его.—Послѣдователенъ ли онъ?—Общее настроеніе, царящее въ „Отцахъ и дѣтяхъ" 73

Стр.

V. Новыя теченія среди русской интеллигенціи и молодежи, возникшія съ началомъ реакціи. — Отношеніе къ нимъ Тургенева.—Реакціонная Россія и интеллигенція въ „Дымѣ".—Правильно ли изобразилъ ихъ Тургеневъ.—Положительные идеалы и отрицаніе Потугина.—Изображеніе революціонныхъ кружковъ въ романѣ „Новь". — Нежда-новъ. Соломинъ.—Женщины у Тургенева: Лиза, Наталья, Елена, Маріанна.—„Стихотворенія въ прозѣ", какъ самое яркое выраженіе души Тургенева и его общаго настроенія. 96

VI. Л. Н. Толстой и человѣчество.—Великое недоразумѣніе между ними.—Толстой и усадебная культура.—Вопросъ о „переворотѣ" въ міросозерцаніи Толстого.—Біографія и исторія душевнаго развитія Толстого.—„Дѣтство, отрочество и юность". — Общій характеръ повѣсти. — Николенька Иртеньевъ.—Черты свѣтскаго человѣка въ немъ.—Его характеръ, наблюдательность, совѣстливость, самолюбіе, застѣнчивость, воображеніе, склонность къ анализу.—Типы изъ народа.—„Утро помѣщика". Нехлюдовъ.—„Казаки". Оленинъ 124

VII. „Война и миръ", какъ глубочайшее выраженіе нравственныхъ воззрѣній Толстого.—Наполеонъ.—Кутузовъ.—Платонъ Каратаевъ. — Исторія душевнаго развитія князя Андрея Болконскаго и Пьера Безухова. — Изображеніе высшаго дворянства въ „Аннѣ Карениной". — Его упадокъ.—Каренинъ.—Облонскій.—Графъ Вронскій.—Левинъ, какъ выразитель идеаловъ Толстого.—Сравненіе женскихъ типовъ у Тургенева и Толстого.—Идеалъ женщины у Толстого. Заключеніе. 164

VIII. Д. В. Григоровичъ. — Впечатлѣнія дѣтства: ужасы крѣпостного права, французскіе уроки, камердинеръ. — Литературныя знакомства и вліянія. — Исторія появленія „Деревни" и „Антона Горемыки" отзывъ Бѣлинскаго объ этихъ повѣстяхъ. — Фальшивый тонъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ Григоровича.—Главныя черты, отличающія повѣсти „Деревня" и „Антонъ Горемыка": пессимизмъ и реализмъ.—Изображеніе помѣщиковъ и семейной жизни крестьянина въ „Деревнѣ". — Безправіе и нужды крестьянства въ повѣсти „Антонъ Горемыка".—Рыбаки".—Заключеніе 202

Указатель источниковъ.

Полное собраніе сочиненій И. С. Тургенева въ 12 томахъ. СПБ. Изд. Маркса. 1898 г.

Н. М. Гутьяръ. Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Юрьевъ. 1907 г.

А. Е. Грузинскій. Къ исторіи „Записокъ охотника" (въ „Лит. Оч.". М. 1908 г.).

Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева. СПБ. 1885 г.

Иностранная критика о Тургеневѣ. Пер. *Е. И. Ш.* Изд. 2-е.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій. Этюды о творчествѣ Тургенева. СПБ. 1904 г. Изд. 2-е.

И. И. Ивановъ. И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество.

К. Я. Стечькинъ. Изъ воспоминаній объ И. С. Тургеневѣ (съ прилож. семи его неизд. писемъ). СПБ. 1903 г.

И. С. Тургеневъ. Неизданныя письма къ г-жѣ Віардо и его французскимъ друзьямъ. М. 1900 г.

В. П. Батуринскій. Герценъ и Тургеневъ („Герценъ, его друзья и знакомые". СПБ. 1904 г.).

А. К. Бороздинъ. И. С. Тургеневъ („Литературныя характеристики. Т. II. В. II. СПБ. 1907 г.).

Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ (1862—1865 гг.). Кіевъ. 1901 г.

Сочиненія графа Л. Н. Толстого. Изданіе одиннадцатое. М. 1903 г.

Левъ Николаевичъ Толстой. Біографія. Т. I. По неизданнымъ матеріаламъ составилъ *П. Бирюковъ*.

П. Бирюковъ. Л. Н. Толстой (къ 80-лѣтнему юбилею). Изд. „Посредника". М. 1908 г.

Н. К. Михайловскій. Критическіе опыты. Гр. Л. Н. Толстой. СПБ. 1887 г.

А. Скабичевскій. Графъ Л. Н. Толстой какъ художникъ и мыслитель. СПБ. 1887 г.

Л. Н. Толстой, его философскія и нравственныя идеи. Критическій этюдъ *Л. Е. Оболенскаго*. Изд. 2-е. СПБ. 1887 г.

М. С. Громека. О Толстомъ. Критическій этюдъ по поводу романа „Анна Каренина". Изд. 5-е. М. 1894 г.

Л. Толстой и Достоевскій. *Д. С. Мережковскаго.* Т. I. СПБ. 1901 г. Т. II. СПБ. 1902 г.

Л. Н. Толстой. Монографія *Андреевича.* СПБ. 1905 г.

Левенфельдъ. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочиненія. М. 1897 г.

Евгеній Цабель. Графъ Левъ Николаевичъ Толстой. Переводъ съ нѣмецкаго В. Григоровича. Кіевъ. 1903 г.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій. Левъ Николаевичъ Толстой. Къ 80-лѣтію великаго писателя. СПБ. 1908 г.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій. Л. Н. Толстой какъ художникъ. Изд. 2-е. СПБ. 1905 г.

Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Собралъ *В. Зелинскій.* Части I, II, III. Изд. 3-е. М. 1903—1905 гг. Части IV, V, VI, VII. Изд. 2-е. М. 1902—1906 гг.

Полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича. Въ 12 томахъ. СПБ. Изданіе Маркса. 1896 г.

А. К. Боровинъ. Д. В. Григоровичъ. Въ „Лит. характеристикахъ". Томъ II. Вып. II. СПБ. 1907.

Книгоиздательство „ЗАРЯ“.

Москва, книжн. маг. „Сотрудникъ Провинціи“, уг. Тверского бульвара и М. Бронной, д. № 1. Телеф. 27-96.

Ю. Айхенвальдъ.

ОТДѢЛЬНЫЯ СТРАНИЦЫ.

Сборники педагогическихъ, философскихъ и литературныхъ статей.

ВЫПУСКЪ I.

СОДЕРЖАНІЕ: Шопенгауэръ о дѣтяхъ. — Очеркъ педагогическихъ воззрѣній Фихте. — О воспитаніи Д. С. Милля.—В. Гюго какъ поэтъ семьи и дѣтей.—Памяти Ушинскаго.—Предисловіе къ русск. переводу книги Элленъ Кей „Вѣкъ ребенка“.—Чувства пола у дѣтей.—О застѣнчивости.—Изъ мыслей Гете и о Гете.—Вл. Соловьевъ.—Очеркъ этическ. воззрѣній Н. Я. Грота.

Цѣна 1 р. 25 к.

ВЫПУСКЪ II.

СОДЕРЖАНІЕ: Педагогическій идолъ.—Р. Гильдебрандъ о преподаваніи родного языка.—Замѣтка о Рескинѣ.—Книга Фолькельта о Шопенгауэрѣ. — Брандъ философіи — Киркегоръ. — Монотеизмъ и любовь.—О Ницше.—Эдг. По.—Авель убивающій.—О книгѣ Радищева „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“.—Мережковскій о Лермонтовѣ.—Смѣшная смерть (Къ открытію памятника Гоголю).—Памяти Кольцова.—Письма Чехова.—Замѣтки о разныхъ книгахъ.

Цѣна 1 р. 25 к.

КРИТИЧЕСКІЕ АЛЬМАНАХИ

Книга I.

СОДЕРЖАНІЕ: „Оскаръ Уайльдъ“ *Ю. И. Айхенвальда.* — „Наши литературн. кумиры: Ст. Пшибышевскій. Мор. Метерлинкъ“ *П. С. Когана.*— „Дж. Рсденбахъ“ *Н Я. Абрамовича.*—„Ст. Пшибышевскій“. Литер. характеристика. *В. Фельдмана.* Перев. *Я. Мацкевича.*—„Ан. Франсъ“ *Г. Брандеса.*— „Арт. Шницлеръ“ *Г. Брандеса.* Перев. *А. Койранскаго.*—„Казимиръ Тетмайеръ“. Литер. характ. *Е. Загорскаго.*—„Германъ Бангъ“ *Г. Брандеса.* Перев. *А. Койранскаго.*—„Г. д' Аннунціо“ *Г. Брандеса.* Пер. *А. Койранскаго.*—„Ст. Выспянскій“. Крит. этюдъ *Вл. Высоцкаго.*—„Кн. Гамсунъ“ *Ш. Горелика.* Пер. *Я. Бера.*

Цѣна 1 р.

Книга II.

СОДЕРЖАНІЕ: „Ш. Бодлеръ. „Цвѣты зла“. *Ю. Айхенвальда.*—„Б. Зайцевъ“. Очеркъ *П. С. Когана.*— „А. Стриндбергъ“. Патол. этюдъ *С. Рамера.* Пер. *С. Чериковера.* „М. Метерлинкъ“ *І. Шлаффа.* Пер. *С. Чериковера.*—„Эм. Зола“ *Г. Сенкевича.* Пер. *И. Хвойника.* „Г. Ибсенъ“ *Г. Брандеса.* Пер. *С. Чериковера.*—„Ст. Пшибышевскій“. Пер. *И. Хвойника.*— „В. Сѣрошевскій“. Очеркъ *В. Фельдмана.* Перев. *И. Хвойника.*

Цѣна 1 р.

Юбилейный Чеховскій сборникъ

СОДЕРЖАНІЕ: „Человѣческій путь". **Н. А. Абрамовича** — „Антонъ Чеховъ". **А. Волынскаго.**—„Безъ крыльевъ". **М. Невѣдомскаго.** — „А. П. Чеховъ". **В. Розанова.** — „Бытъ, событія и небытіе". **Д. Философова.**

Обложка художн. **Ю. Артамонова.**

Цѣна 1 руб.

Критическая Библіотека

№ 1. Ю. Айхенвальдъ.—**Валерій Брюсовъ.** Съ портр. Ц. **20** к.
№ 2. С. Рамеръ.—**Августъ Стриндбергъ** (Патологич. очеркъ). Ц. **30** к.
№ 3. Н. Я. Абрамовичъ.—**Кнутъ Гамсунъ.** Ц. **20** к.
№ 4. Н. Я. Абрамовичъ.—**Фридрихъ Ницше.** Ц. **20** к.
№ 5. Н. Минскій.—**I. Толстой и реформація. II. Идеи „Саломеи".** Ц. **20** к.
№ 6. Зин. Венгерова.—**Анатоль Франсъ.** Ц. **20** к.
№ 7. Л. Козловскій.—**Вл Короленко.** Ц. **20** к.
№ 8. Георгъ Брандесъ.—**Генрихъ Ибсенъ.** Ц. **20** к.
№ 9. Іосифъ Шлафъ.—**Морисъ Метерлинкъ.** Ц. **20** к.

Собраніе соч. В. Бельше.

ТОМЪ I.

СОДЕРЖАНІЕ: Религія нашего времени.—Въ нѣдрахъ земли.—Гибель міра.—Тайна южнаго полюса.

Переводъ С. М. Чериковера и Я. Д. Мацкевича.

Цѣна 1 руб.

ТОМЪ II.

СОДЕРЖАНІЕ: Пять сказокъ жизни. — Непостижимое въ природѣ.—У берега моря.—Окаменѣвшее животное и живая мысль.

Переводъ С. М. Чериковера.

Цѣна 1 руб.

ТОМЪ III.

СОДЕРЖАНІЕ: Гибель животнаго царства.—Зачатки культуры у животныхъ.—Языкъ обезьянъ.—Сказки о драконахъ.—Опровергнутъ ли дарвинизмъ?

Переводъ С. М. Чериковера.

Цѣна 1 руб.

ТОМЪ IV.

СОДЕРЖАНІЕ: Тайна одного растенія.—Продолжительность существованія жизни на землѣ. — Кухня первобытнаго времени. — Вейсманъ и дарвинизмъ.

Переводъ С. М. Чериковера.

Цѣна 1 руб.

Готовится къ печати V томъ.

BINDING SECT. DEC 18 1964

PG
3016
K57
1911
t.1
vyp.1

Kogan, Petr Semenovich
Ocherki po istorii novieĭshei russkoĭ literatury

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY